

ДЮМА

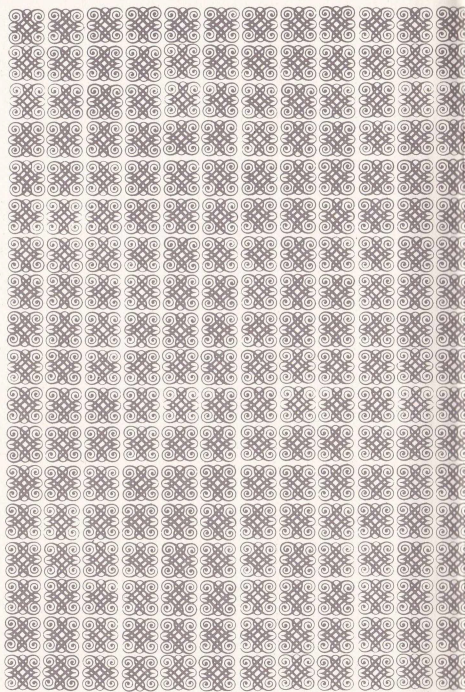


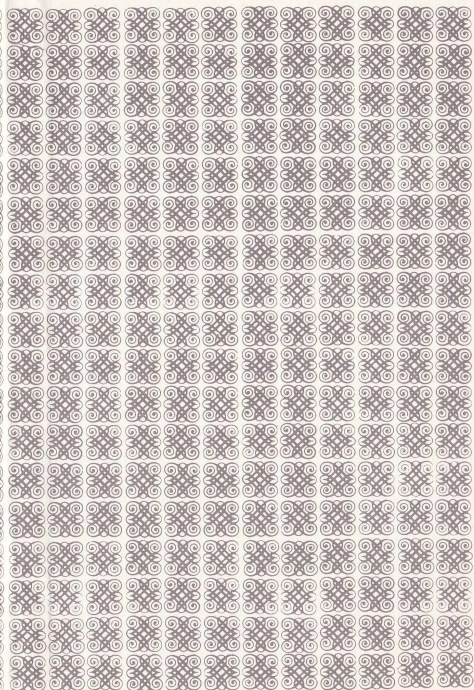
САЛЬВАТОР



АЛЕКСАНДР
ДЮМА

30





АЛЕКСАНДР
ДЮМА

Собрание сочинений
в тридцати пяти
томах

ТОМ
ТРИДЦАТЫЙ

ALEXANDRE
DUMAS

SALVATOR

Suite et fin
des Mohicans de Paris

PARIS

АЛЕКСАНДР
ДЮМА

САЛЬВАТОР
Окончание романа
“Могикане Парижа”
Части первая,
вторая

ФРЭД
МОСКВА, 1996

Перевод с французского
Составитель А. В. Кукаркин
Художник В. А. Белкин

Д 4703010100-020 Подписное
771-96

ISBN 5-7395-0062-1 (т. 30)

ISBN 5-7395-0001-X

- © А. Кукаркин. Составление, 1996
- © Т. Сикачева. Перевод на русский язык, 1996
- © В. Белкин. Художественное оформление, 1996
- © П. Пинкисевич. Иллюстрации, 1996



Ed. Dumas



САЛЬВАТОР

Часть
первая



I

Скачки с препятствиями

Двадцать седьмого марта в предрассветный час небольшой городок Кель—если только можно назвать Кель городом,—итак, небольшой городок Кель, как мы сказали, пришел в волнение. Вниз по единственной улице города неслись две почтовые кареты. Казалось, в ту минуту, как они помчатся по понтонному мосту, ведущему во Францию, одно неверное движение—и лошади, форейторы, кареты, седоки, окажутся в реке, которая (судя по названию и поэтическим легендам, сложенным в ее честь) является восточной границей с Францией.

Но обе кареты, будто соревновавшиеся в скорости, проехав две трети улицы, замедлили ход и наконец совсем остановились у большой двери в харчевню, над которой раскачивалась, поскрипывая, железная вывеска; на ней был намалеван господин в треуголке, высоких сапогах со шпорами и непомерно длинном синем фраке с красными отворотами; вывеска гласила: «У Великого Фридриха».

Хозяин харчевни и его жена, издали заслышав грохот колес, выскочили на порог: они уже и не надеялись заполучить клиентов—их обескуражила бешеная скачка; однако, к неописуемому удовольствию хозяина и его благоверной, обе почтовые кареты остановились у их дома. Тогда хозяин поспешил к дверце первой кареты, а его жена бросилась к другой.

Из первого экипажа проворно выскочил господин лет пятидесяти в наглухо застегнутом рединготе, черных панталонах и широкополой шляпе. Он смотрел уверенно; у него были жесткие усы, изогнутые брови, стрижка бобриком; брови—черные, как и глаза, над которыми они нависали, а волосы и усы—с проседью. Он кутался в широкий плащ.

Из другой кареты не спеша вышел молодцеватый весельчак крепкого сложения; на нем были полонез, обшитый золотым шнуром, и венгерка или, правильнее было бы сказать, расшитая шуба, в которую он был закутан с головы до пят.

Вид этой богатой шубы, непринужденность, с какой держался путешественник, вселяли уверенность, что перед вами — знатный валахский господарь проездом из Яссов или Бухареста или по крайней мере богатый мадьяр из Пешта, направляющийся во Францию для подписания дипломатической ноты. Однако очень скоро вы бы поняли свою ошибку, если бы взгляделись в знатного иностранца пристальнее. Несмотря на густые бакенбарды, обрамлявшие его лицо, несмотря на длинные усы, которые он подкручивал кверху с показной небрежностью, вы бы без труда распознали под аристократической внешностью вульгарные манеры, и наш незнакомец перешел бы из разряда принцев или аристократов, куда мы его поначалу определили, и занял свое место среди управляющих знатным домом или захолустных офицеришек.

Читатель, несомненно, узнал в путешественнике, вышедшем из первого экипажа, г-на Сарранти, как, очевидно, признал и мэтра Жибастье в седоке, путешествовавшем во второй карете.

Надеемся, вы не забыли, что г-н Жакаль, отправлявшийся в сопровождении Карманьоля в Вену, поручил папаше Жибастье дожидаться г-на Сарранти в Келе. Жибастье провалялся четверо суток в Почтовой гостинице, вечером пятого дня он увидел, как вдали показался Карманьоль верхом на почтовой лошади; поравнявшись с Жибастье, тот, не спешившись, передал ему от имени г-на Жакаля, что г-н Сарранти должен прибыть на следующее утро, 26-го; Жибастье предписывалось вернуться в Штейнбах; в гостинице «Солей» его будет ожидать почтовая карета, там для него будет приготовлен костюм, необходимый для исполнения полученных приказаний.

Приказания были незамысловаты, да исполнить их было не так-то просто: не терять из виду г-на Сарранти, тенью следовать за ним на протяжении всего пути, а по прибытии в Париж не отставать от него ни на шаг, но так, чтобы г-н Сарранти ничего не заметил.

Господин Жакаль полагался на всем известную ловкость, с которой Жибастье умел изменять свою внешность.

Жибастье без промедления отправился в Штейнбах, отыскал гостиницу, в гостинице — карету, а в карете — целый набор костюмов, из которых он и выбрал, сообразуясь с неудобствами в пути, какой потеплее — в нем он и предстал перед нами в начале нашего повествования.

Но, к его удивлению, минуло 26 марта, настал вечер, а он так и не заметил никого, кто напоминал бы ему описанного господина.

Наконец, около двух часов ночи он услышал шелканье кнута и звон колокольчиков. Он приказал заложить карету и, убедившись, что прибывший путешественник и есть г-н Сарранти, приказал форейтору трогать.

Десять минут спустя г-н Сарранти подъехал к гостинице. Он остановился лишь затем, чтобы переменить лошадей. Выпив бульону, он продолжал путь, следуя за тем, кому было поручено негласно сопровождать его самого.

Все произошло так, как предполагал Жибасье. В двух лье от Штейнбаха его нагнал экипаж г-на Сарранти. Но согласно правилам того времени, одному путешественнику запрещалось обгонять другого без разрешения на то последнего; ведь может статься, что на следующей почтовой станции окажется только одна свободная упряжка. Некоторое время кареты ехали одна за другой, и вторая покорно плелась в хвосте. Наконец г-н Сарранти потерял терпение и приказал кучеру спросить у Жибасье позволения пропустить его вперед. Жибасье был так любезен, что г-н Сарранти даже вышел из кареты, дабы лично поблагодарить венгерского дворянина. Затем путешественники раскланялись, г-н Сарранти снова сел в свой экипаж и, заручившись разрешением, помчался вперед, обгоняя ветер.

Жибасье последовал за ним и велел форейтору не отставать от г-на Сарранти.

Тот повиновался, и мы видели, как обе почтовые кареты влетели в Кель и остановились возле харчевни «У Великого Фридриха».

Путешественники вежливо раскланялись, но не обменялись ни единым словом. Они вошли в харчевню, сели за разные столы и спросили обед: г-н Сарранти — на чистейшем французском языке, Жибасье — с заметным немецким акцентом.

Продолжая хранить молчание, Жибасье со снисходительным видом отведаль все блюда, которые ему подавали, и расплатился. Видя, что г-н Сарранти поднялся, он тоже не спеша встал и молча занял место в экипаже.

Скачка продолжалась. Карета г-на Сарранти по-прежнему была впереди, но опережала Жибасье всего на двадцать футов.

К вечеру путешественники прибыли в Нанси. Новый форейтор г-на Сарранти, приглашенный шафером на свадьбу к двоюродному брату, решил, что будет совсем не смешно, если он опоздает к празднику только потому, что ему придется проехать каких-нибудь одиннадцать лье: до следующей станции и обратно. Его товарищ, предыдущий форейтор г-на Сарранти, предупредил его, что седок желает ехать как можно скорее, а платит весьма щедро. Тогда парень пустил лошадей в бешеный галоп, благодаря чему вернулся бы на полтора часа раньше обычного и поспел бы к началу торжества. Но в то самое мгновение, как карета въезжала в Нанси, — лошади, форейтор, экипаж опрокинулись, да так, что крик вырвался из груди чувствительного Жибасье: он выскочил из кареты и бросился на помощь г-ну Сарранти.

Жибасье действовал так больше для очистки совести: он был убежден, что после падения, свидетелем которого он явился, пострадавший нуждается скорее в утешениях священника, нежели в помощи попутчика.

К своему величайшему изумлению, он увидел, что г-н Сарранти цел и невредим, а у фореитора всего-навсего вывихнуты плечо да нога. Но если Провидение, словно заботливая мать, хранило людей, оно отыгралось на лошадях: одна расшиблась насмерть, а у другой оказалась перебита нога. Что касается кареты—передняя ось треснула, а тот бок, на который она завалилась, был разбит вдребезги.

О том, чтобы продолжать путешествие, не могло быть и речи.

Господин Сарранти отпустил несколько ругательств, что свидетельствовало о его далеко не ангельском характере. Однако ему ничего другого не оставалось, как смириться, что он, разумеется, и сделал бы, если бы не мадьяр Жибасье; тот на странном языке, смеси французского с немецким, предложил незадачливо-му попутчику пересест в его экипаж.

Предложение пришлось как нельзя кстати, да и сделано оно было, как казалось, от чистого сердца. Г-н Сарранти принял его не моргнув глазом.

Багаж г-на Сарранти перенесли в карету Жибасье, фореитору обещали прислать подмогу из Нанси (до города оставалось около одного лье), и скачка продолжилась.

Путешественники обменялись приличествующими случаю выражениями. Жибасье не был силен в немецком языке; подозревая, что г-н Сарранти, хоть он и корсиканец, владеет немецким в совершенстве, Жибасье старательно избегал расспросов и на любезности своего попутчика отвечал лишь «да» и «нет», причем акцент его становился все более французским.

Прибыли в Нанси. Карета остановилась у гостиницы «Великий Станислав», там же находилась почтовая станция.

Господин Сарранти вышел из кареты, снова рассыпался в благодарностях и хотел было откланяться.

— Вы совершаете оплошность, сударь,— заметил Жибасье.— Мне показалось, вы торопитесь в Париж. Вашу карету до завтра починить не успеют, и вы упустите целый день.

— Это тем более прискорбно,— кивнул Сарранти,— что такое же несчастье приключилось со мной, когда я выезжал из Ратисбонна: я уже потерял целые сутки.

Теперь-то Жибасье стало ясно, почему г-н Сарранти задержался с прибытием в Штейнбах, что заставило поволноваться мнимого мадьяра.

— Впрочем,— продолжал г-н Сарранти,— я не стану дожидаться, пока починят мою карету, куплю себе другую.

И он приказал станционному смотрителю подыскать ему экипаж, все равно какой: коляску, двухместную карету, ландо или даже кабриолет — лишь бы можно было немедленно отправиться в путь.

Жибасье подумал, что, как бы скоро это приказание ни было исполнено, он успеет поужинать, пока его попутчик осмотрит новый экипаж, сторгуется и перенесет в него свой багаж. У него

во рту крошки не было с восьми часов утра, и хотя в случае необходимости его желудок мог соперничать в воздержанности с желудком верблюда, осмотрительный Жибасье никогда не упускал возможности подкрепиться.

Очевидно, г-н Сарранти счел за благо последовать примеру благородного мадьяра; и вот оба путешественника, как и утром, сели за разные столы, звякнули в колокольчик, подзывая официанта, и с похвальным единством во взглядах, а также с одной и той же интонацией приказали:

— Официант, ужинать!

II

Гостиница «Великий Турок» на площади Сент-Андре-дез-Арк

Для тех из наших читателей, кого удивило то обстоятельство, почему г-н Сарранти не принял предложение г-на Жибасье — столь уместное для человека, который торопится, — скажем, что если и есть кто-нибудь хитрее сыщика, преследующего человека, так это именно преследуемый. Возьмите, к примеру, лисицу и борзую.

В душе у г-на Сарранти зародились неясные еще подозрения относительно этого самого мадьяра, что так плохо говорит по-французски и в то же время вполне вразумительно отвечает на все вопросы; напротив, когда к нему обращаются по-немецки, по-польски или по-валахски (а этими тремя языками г-н Сарранти владел в совершенстве), тот невпопад отвечает «*ia*» или «*nein*», сейчас же кутается в свою шубу и прикидывается спящим.

С того времени, как карета г-на Сарранти опрокинулась и он был вынужден проехать в обществе любезного, но весьма скупого на слова попутчика около полутора лье, он лишь укрепился в своих подозрениях. Когда г-н Сарранти заказывал ужин, то решил во что бы то ни стало обойтись без помощи мадьяра.

Вот почему он потребовал новый экипаж, не имея возможности дожидаться, пока починят разбитую карету, и не желая продолжать путь в обществе благородного венгра.

Жибасье был не промах и сейчас же почувал недоброе. Тогда он прямо за ужином приказал немедленно закладывать лошадей, объяснив это необходимостью прибыть на следующий день в Париж, где его ожидает посол Австрии.

Когда карета была готова, Жибасье с презрительным видом кивнул Сарранти, надвинул меховой колпак по самые уши и вышел вон.

Раз г-н Сарранти торопится, вполне вероятно, что он выберет кратчайший путь, во всяком случае до Лини. Там, очевидно, он оставит Бар-ле-Дюк справа и по Ансервильской дороге отправится через Сен-Дизье в Витри-ле-Франсе.

А вот что после Витри-ле-Франсе? Поедет ли г-н Сарранти в объезд через Шалон или изберет прямой путь через Фер-Шампенуаз, Куломьер, Креси и Лани?

До Витри-ле-Франсе разрешить этот вопрос г-ну Жибасье было не под силу.

Он приказал ехать через Тул, Лини, Сен-Дизье, однако в полутьме от Витри остановил форейтора, посоветовался с ним, а спустя несколько минут его карета оказалась набоку с перебитой передней осью.

Жибасье провел полчаса в томительном ожидании, так хорошо известном г-ну Сарранти. Наконец на подъеме показалась его почтовая карета.

Подъехав к опрокинутому экипажу, г-н Сарранти выглянул из кареты и увидел на дороге мадьяра; призвав на помощь форейтора, тот безуспешно пытался привести свой экипаж в порядок.

Если бы г-н Сарранти оставил Жибасье выпутываться из затруднительного положения в одиночку, с его стороны это было бы нарушением всяких приличий, ведь при таких же обстоятельствах Жибасье предоставил в его распоряжение собственный экипаж.

Итак, он предложил мадьяру место в своей карете, что Жибасье и исполнил с замечательной скромностью, предупредив, что только до Витри-ле-Франсе будет стеснять своим присутствием его превосходительство г-на де Борни (под этим именем путешествовал г-н Сарранти).

Необъятных размеров багаж мадьяра перенесли в карету г-на де Борни, и двадцать минут спустя они уже были в Витри-ле-Франсе.

Карета остановилась у почтовой станции.

Господин де Борни спросил свежих лошадей, Жибасье — какую-нибудь колымагу, дабы продолжить путь.

Станционный смотритель указал на старый кабриолет в сарае; похоже, Жибасье остался доволен экипажем, несмотря на его ветхость.

Не беспокоясь более о судьбе попутчика, г-н де Борни откланялся и приказал кучеру следовать в Фер-Шампенуаз, как и предвидел Жибасье.

Наш мадьяр сторговался со станционным смотрителем и пустился в путь, наказав форейтору ехать той же дорогой, что и предыдущий путешественник.

Он обещал в награду форейтору пять франков, когда они нагонят карету.

Тот пустил лошадей во весь опор, но Жибасье прибыл на следующую станцию, так никого и не встретив на дороге.

Жибасье расспросил станционного смотрителя и кучера: никто не приезжал со вчерашнего дня.

Стало ясно: Сарранти почуял неладное; во всеуслышанье он приказал кучеру ехать через Фер-Шампенуаз, а на самом деле выбрал Шалонскую дорогу.

Жибасье остался позади.

Нельзя было терять ни минуты, чтобы прибыть в Мо раньше Сарранти.

Жибасье бросил кабриолет, вынул из чемодана синий с золотом костюм правительственного курьера, надел лосины, мягкие сапоги, забросил за плечо мешок для депеш, сорвал фальшивые бороду и усы и приказал подать почтовую лошадь.

В мгновение ока лошадь была оседлана, и вот уже Жибасье мчался по Сезаннской дороге. Он рассчитывал добраться в Мо через Ферте-Гоше и Куломье.

Он оставил позади, не останавливаясь, тридцать лье.

Через Мо не проезжал ни один экипаж, похожий на тот, что описал Жибасье.

Жибасье приказал подать ужин в кухне, стал есть, пить и ждать.

Оседланная лошадь стояла наготове.

Так прошел час, и вот прибыла ожидавшаяся с таким нетерпением карета.

Стояла глубокая ночь.

Господин Сарранти приказал подать бульону прямо в карету и велел ехать в Париж через Кле: этого только и нужно было Жибасье.

Он вышел через черный ход, вскочил на коня и, обогнув улочку, выехал на парижскую дорогу.

Через десять минут он увидел позади огни — два фонаря на почтовой карете г-на Сарранти.

Все случилось так, как он хотел: он видел, оставаясь незамеченным. Теперь надо было подумать о том, чтобы его не слышали.

Он свернул на обочину и скакал, по-прежнему опережая карету на километр.

Прибыли в Бонди.

Там, словно по мановению руки, министерский курьер обрattился в фореитора, и тот кучер, что должен был отправляться в дорогу, за пять франков с радостью уступил ему свою очередь.

Подъехал г-н Сарранти.

До Парижа оставалось рукой подать: можно было не выходить из кареты; он выглянул из окна и спросил свежих лошадей.

— А вот они, хозяин, да какие! — подал голос Жибасье.

В самом деле, пара отличных белых першеронов уже была наготове; лошади ржали и били копытом.

— Да стойте вы смирно, окаянные! — закричал Жибасье, управляясь с дышлом с ловкостью заправского кучера.

Взнуздав лошадей, мнимый кучер подошел к дверце кареты с шапкой в руке и спросил:

— Куда едем, милейший?

— Площадь Сент-Андре-дез-Арк, гостиница «Великий Турок», — отвечал г-н Сарранти.

— Отлично! — отозвался Жибасье. — Считайте, что вы уже там.

— Как скоро мы будем на месте? — спросил г-н Сарранти.

— Через час с четвертью, если не будем нигде останавливаться! — пообещал Жибасье.

— Скорее в путь! Десять франков чаевых, если приедем через час.

— Как прикажете, хозяин.

Жибасье вскочил на подседельную лошадь и пустил коней в галоп.

Теперь-то он был уверен, что Сарранти у него в руках.

Подъехали к заставе. Таможенники произвели краткий до-смотр, которым они удостоивают путешественников, разъезжающих на почтовых, проговорили sacramентальное слово: «Поезжайте!» — и г-н Сарранти, семью годами раньше покинувший Париж через заставу Фонтенбло, теперь вновь въезжал через Птит-Виллет.

Четверть часа спустя карета влетела во двор гостиницы «Великий Турок» на площади Сент-Андре-дез-Арк.

Оказалось, что в гостинице всего две свободные комнаты, расположенные одна против другой: номер шесть и номер одиннадцать.

Г-н Сарранти выбрал комнату номер шесть, и лакей проводил его до двери.

Когда лакей спустился во двор, его окликнул Жибасье:

— Эй, скажите-ка, дружище...

— В чем дело, кучер? — презрительно отозвался лакей.

— Кучер! Кучер! — повторил Жибасье. — Ну да, я кучер. Что дальше? Разве в этом есть что-то унизительное?

— Да нет, конечно. Просто я вас называю кучером, раз вы кучер.

— Ну и ладно!

И он, ворча под нос, направился было к лошадям.

— Так чего вам было от меня нужно? — любопытствовал лакей.

— Мне? Ничего.

— А вы ведь только сейчас спросили...

— Что именно?

— «Скажите-ка, дружище!»

— Да, верно... Дело-то вот в чем: господин Пуарье... Вы, разумеется, его знаете?..

— Какого Пуарье?

— Ну, господина Пуарье.

— Не знаю я никакого Пуарье.

— Господина Пуарье, фермера из наших мест... Неужто не знаете? У господина Пуарье стадо в четыреста голов! Не знаете господина Пуарье?..

— Да говорю же вам, что не знаю никакого Пуарье.

— Тем хуже! Он приедет одиннадцатичасовым дилижансом из Пла-д'Этена. Знаете дилижанс Пла-д'Этена?

— Нет.

— Вы, стало быть, не знаете ничего? Чему же вас мать с отцом обучили, ежели вы не знаете ни господина Пуарье, ни дилижанса Пла-д'Этена?.. Да-а, надобно признать, что есть на свете легкомысленные родители.

— Да при чем здесь господин Пуарье?

— Я собирался передать вам от него сто су, но раз вы его не знаете...

— Я не против познакомиться.

— Если уж вы его не знаете...

— А зачем ему давать мне сто су? Не за красивые же глаза?..

— Нет, конечно, принимая во внимание, что вы косой.

— Не важно! Так почему господин Пуарье вам поручил передать мне сто су?

— Он хотел снять номер в гостинице, потому что у него есть дельце в Сен-Жерменском предместье; он мне сказал: «Шарпильон!..» Так меня зовут — Шарпильон, и это имя передается в нашей семье от отца к сыну...

— Очень приятно, господин Шарпильон, — заметил лакей.

— Он мне сказал: «Шарпильон! Передашь сто су служанке гостиницы «Великий Турок» на площади Сент-Андре-дез-Арк, пусть оставит за мной комнату». А где ваша служанка?

— Это ни к чему! Я сниму для него номер ничуть не хуже, чем она.

— Ну нет! Раз вы его не знаете...

— Это совсем не обязательно для того, чтобы снять комнату.

— А и впрямь! Не так вы глупы, как кажетесь!

— Благодарю!

— Вот сто су. Так вы сможете его узнать, когда он приедет?

— Господин Пуарье?

— Да.

— А он себя назовет?

— Ну конечно! У него нет оснований скрывать свое имя.

— В таком случае я провожу его в одиннадцатый номер.

— Как увидите толстого весельчака, закутанного в кашне и в коричневом рединготе, смело можете сказать: «Вот господин Пуарье». А засим, спокойной ночи! Да хорошенько натопите одиннадцатый номер, ведь господин Пуарье — мерзляк... Да, вот еще что. Мне кажется, он обрадуется, если в номере его будет дожидаться хороший ужин.

— Договорились! — кивнул лакей.

— Ох, как же это я мог забыть!.. — запричитал мнимый Шарпильон.

— Что такое?

— Да самое главное! Он пьет только бордо!

— Отлично! Бутылка бордо будет ждать его на столе.

— В таком случае ему нечего больше и желать, кроме как иметь такие же глаза, как у тебя, чтобы смотреть в сторону Бонди, дабы убедиться, не горит ли Шарантон.

Расхохотавшись собственной шутке, мнимый фореитор покинул гостиницу «Великий Турок».

А через четверть часа у ворот гостиницы остановился кабриолет, из которого вышел господин, в точности соответствовавший описанию Шарпильона, и представился г-ном Пуарье; его уже ждали, и лакей проводил его в одиннадцатый номер, куда уже был подан прекрасный ужин; бутылка бордо стояла на положенном расстоянии от огня и согрелась в достаточной мере, как и положено, перед тем как за нее возьмется истинный гурман.

III

Предают только те, кому доверяешь

Пять минут спустя г-н Пуарье устроился в комнате номер одиннадцать и знал ее так, словно прожил в ней всю жизнь.

Господин Пуарье обладал характером, позволявшим ему очень скоро сходитьсь с людьми, а также темпераментом, благодаря которому он быстро осваивался в любой обстановке; однако постоялец заявил лакею, что за ужином ему никто не нужен, что он любит есть в одиночестве, так, чтобы никто не подливал вина в еще не опустевший стакан и не уносил тарелку, когда она еще полна.

Оставшись один, мнимый Пуарье, или истинный Жибасье, прислушивался до тех пор, пока на лестнице не затихли шаги лакея, а затем приоткрыл дверь.

Как раз в эту минуту г-н Сарранти собрался выйти.

Жибасье притворил свою дверь, но запираТЬ не стал.

Перед уходом г-н Сарранти отдавал распоряжения служанке, стелившей ему постель; из его слов следовало, что он вернется через час-другой.

«Ого! — сказал себе Жибасье. — Хоть время и позднее, похоже, мой сосед собрался прогуляться. Поглядим, в какую сторону он направит стопы».

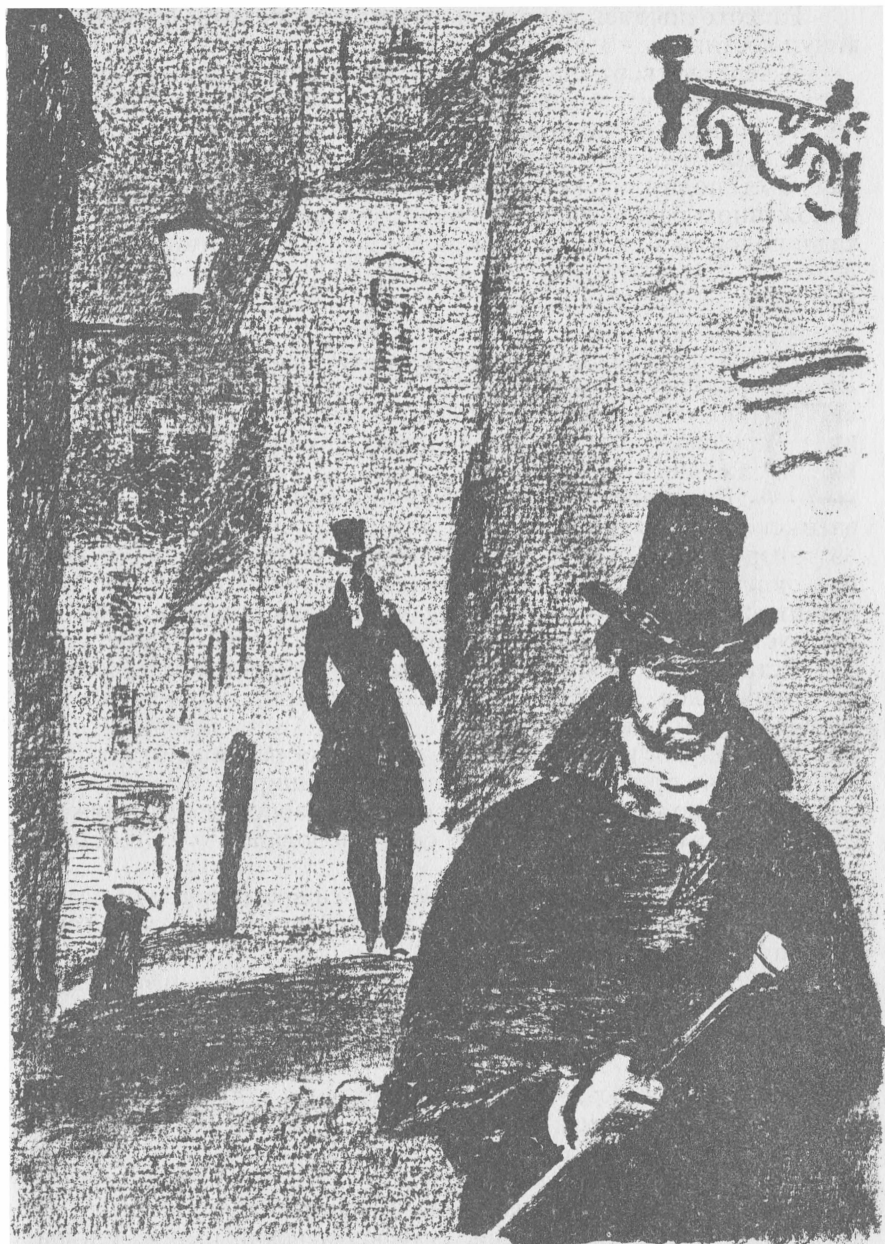
Жибасье задул две свечи, горевшие на столе, и отворил окно, прежде чем г-н Сарранти переступил порог гостиницы.

Спустя мгновение он увидел, как тот пошел по улице Сент-Андре-дез-Арк.

«Не сомневаюсь, что он вернется, — сказал себе Жибасье, — вряд ли он догадался, что я здесь и слышал его приказания. Впрочем, не будем лениться и исполним свой долг до конца: надобно разузнать, куда он идет».

Он поспешно спустился вниз и направился вслед за г-ном Сарранти через улицу Бюсси, Сен-Жерменский рынок, площадь Сен-Сюльпис и улицу По-де-Фер; там он увидел, как г-н Сарранти входит в дом, даже не взглянув на номер.

Жибасье оказался любопытнее: г-н Сарранти вошел в дом под номером двадцать восемь.



ОН ПОСПЕШНО СПУСТИЛСЯ ВНИЗ И НАПРАВИЛСЯ ВСЛЕД
ЗА Г-НОМ САРРАНТИ

Жибасье поднялся вверх по улице и спрятался за особняком Коссе-Бриссаков.

Долго ему ждать не пришлось: едва войдя в дом, г-н Сарранти сейчас же вышел.

Но вместо того, чтобы спуститься по улице По-де-Фер, он пошел вверх, иными словами, прошел мимо Жибасье; тот поспешно отвернулся к стене и двинулся по улице Вожирар. Свернув с улицы По-де-Фер, г-н Сарранти прошел вдоль театра Одеон со стороны артистического входа, потом пересек площадь Сен-Мишель, спустился по Почтовой улице и подошел к дому; на сей раз он взглянул на его номер.

Нашим читателям этот дом уже знаком; если же они его еще не узнали, то нам будет достаточно сказать о нем всего несколько слов. Расположенный со стороны Виноградного тупика против улицы Говорящего Колодца, он представлял собой не что иное, как таинственную воронку, через которую исчезли карбонарии, безуспешно разыскивавшиеся г-ном Жакалем в доме и чудесным образом найденные им во время опасного спуска за Жибасье.

Бывший каторжник изменился в лице при виде небезызвестной улицы Говорящего Колодца, а также самого колодца, где он провел несколько томительных и тоскливых часов, и на лбу у него выступил холодный пот. Впервые со времени своего отъезда из Отель-Дье в Кель он пережил неприятные минуты.

Улица была безлюдна. Подойдя к дому, г-н Сарранти остановился и стал, без сомнения, поджидать четверых товарищей, необходимых, чтобы войти в дом,—ведь, как помнят читатели, карбонарии входили в дом группами по пять человек.

Вскоре появились трое, закутанные в плащи; они подошли прямо к г-ну Сарранти и, обменявшись условным знаком, стали все вместе ждать пятого.

Жибасье огляделся и, не увидев ни души, счел, что настало время решительных действий.

Посвященный г-ном Жакалем в таинства необычного дома, знакомый с условными знаками масонского и других тайных обществ, он прямоком направился к группе, пожал первую же протянутую ему руку и подал условный знак: трижды махнул рукой от себя.

Один из собравшихся вставил ключ в замочную скважину, и все пятеро вошли в дом.

Внутри не осталось никаких следов вторжения Карманьоля через пролом в стене и Ветрогона—через слуховое окно: все было отремонтировано и покрашено заново.

На сей раз спускаться в катакомбы не понадобилось. Четверо незнакомых между собой руководителей были собраны с одной целью: выслушать секретный доклад г-на Сарранти.

Тот сообщил, что через три дня герцог Рейхштадтский прибудет в Сен-Ле-Таверни, где останется до той минуты, пока его

не покажут народу, как знамя, под которым и выступит все тайное общество.

Карбонарии при каждом удобном случае старались сбить полицию со следа. Вот и теперь они сговорились объявить общий сбор лож и вент на следующий день в церкви Успения и на прилегающих улицах во время похорон герцога де Ларошфуко.

Там же верховная вента и даст последние указания.

Во всяком случае, до прибытия герцога Рейхштадтского комитет останется в прежнем составе.

Разошлись в час ночи.

Жибасье боялся лишь одного: встретить у входа заговорщика, чье место он занял самовольно и столь бесцеремонно. К счастью, возле дома никого не оказалось. Очевидно, человек этот приходил, но, не обнаружив четверых своих товарищей и потеряв надежду их дожидаться, решил, что встреча отложена, и вернулся домой.

Г-н Сарранти простился с четырьмя соратниками в дверях, и Жибасье, уверенный, что тот возвратится в гостиницу «Великий Турок», скрылся за углом первой же улицы; взяв ноги в руки, он вернулся в гостиницу, опередив г-на Сарранти на десять минут, сел за стол и принялся за ужин с большим аппетитом и удовлетворением, как путешественник, проскакавший на полном ходу сорок миль, а также как человек, исполнивший свой долг.

Наградой за все его труды были шаги г-на Сарранти на лестнице: его походку Жибасье узнал бы из тысячи.

Дверь шестого номера отворилась и сейчас же захлопнулась.

Потом Жибасье услышал, как в замке дважды повернулся ключ. Это был верный знак, что г-н Сарранти больше не выйдет по крайней мере до утра.

— Покойной ночи, соседка! — пробормотал Жибасье.

Он позвонил.

Вошел лакей.

— Пригласите ко мне завтра утром... или, вернее, нынче в семь часов, — спохватился Жибасье, — комиссионера... Мне нужно будет отправить в город срочное письмо.

— Не угодно ли вам будет дать письмо мне, — предложил лакей, — тогда не придется будить вас из-за такой малости?

— Прежде всего, мое письмо — отнюдь не малость, — возразил Жибасье. — Кроме того, — прибавил он, — я вовсе не прочь встать пораньше.

Лакей поклонился и стал убирать со стола. Жибасье попросил его оставить аппетитного на вид холодного цыпленка, а также остатки бордо во второй бутылке, заметив, что, подобно королю Людовику XIV, он не может заснуть, если под рукой нет небольшого «запаса».

Лакей поставил на камин нетронутого цыпленка и начатую бутылку.

Потом он удалился, обещав привести комиссионера ровно в семь утра.

Когда лакей вышел, Жибасье запер дверь, открыл секретер, в котором, как он заранее убедился, были припасены перо, чернила и бумага, и стал описывать г-ну Жакалю свои дорожные впечатления от Келя до Парижа.

Наконец он лег.

В семь часов в дверь постучал комиссионер.

К этому времени Жибасье уже встал, оделся и был готов ринуться в бой. Он крикнул:

— Войдите!

В дверях показался комиссионер.

Жибасье бросил на него молниеносный взгляд и, прежде чем тот успел раскрыть рот, признал в нем уроженца Оверни: он мог без опаски доверить ему свое послание.

Жибасье дал ему двенадцать су вместо десяти. Описал все ходы во дворце на Иерусалимской улице, предупредил, что человек, которому адресовано письмо, должен прибыть из долгого путешествия в это же утро или в течение дня.

Если этот человек приехал, передать ему письмо в собственные руки от г-на Баньера де Тулона — таково было аристократическое имя Жибасье,—если же адресат еще не прибыл, оставить письмо у секретаря.

Получив исчерпывающие указания, овернец вышел.

Прошел час. Дверь г-на Сарранти по-прежнему оставалась закрыта. Правда, слышно было, как он ходит по комнате и переставляет мебель.

Желая чем-нибудь себя занять, Жибасье решил позавтракать.

Он позвонил, приказал лакею накрыть на стол, подать цыпленка и остатки бордо, потом отослал лакея.

Едва Жибасье вонзил вилку цыпленку в ножку и поднес нож к крылышку, как дверь его соседа скрипнула.

— Дьявольщина! — выругался он, поднимаясь. — По-моему, мы решили выйти довольно рано.

Его взгляд упал на стенные часы, они показывали четверть девятого.

— Эге! — молвил он. — Не так уж и рано.

Господин Сарранти стал спускаться по лестнице.

Как и накануне, Жибасье поспешил к окну, однако на этот раз отворять его не стал, а лишь раздвинул занавески. Но ожидания его были тщетны: г-н Сарранти не появлялся.

«Ого! Что же он делает внизу? Платит по счету? Невозможно же допустить, что он спустился скорее, чем я подошел к окну!.. Впрочем,—подумал Жибасье,—он мог пройти вдоль стены; но даже в этом случае далеко он уйти не мог».

Жибасье рывком распахнул окно и свесился вниз, крутя во все стороны головой.

Никого, кто напоминал бы г-на Сарранти.

Он подождал несколько минут, но так и не мог взять в толк, почему Сарранти не выходит. Он намеревался спуститься вниз

и расспросить о г-не Сарранти, как вдруг увидел наконец, как тот вышел из гостиницы и направился, как и накануне, в сторону Сент-Андре-дез-Арк.

— Могу себе представить, куда ты идешь,— пробормотал Жибасье.— Идешь ты на улицу По-де-Фер. Вчера ты никого не застал дома и хочешь испытать судьбу нынче утром. Я мог бы не утруждать себя этой прогулкой и не провожать тебя туда, но долг прежде всего.

Жибасье взялся за шляпу и кашне, спустился вниз, так и не притронувшись к дыпленку, и мысленно поблагодарил Провидение, заставившее его совершить небольшую утреннюю прогулку и тем самым нагулять аппетит.

Но, к величайшему изумлению г-на Жибасье, на нижней ступеньке его остановил господин, в котором он по лицу и по всему облику сейчас же признал полицейского агента низшего ранга.

— Ваши документы! — потребовал тот.

— Мои документы? — в изумлении переспросил Жибасье.

— Черт побери! — вскричал полицейский. — Вы отлично знаете: чтобы остановиться в гостинице, необходимо иметь документы.

— Вы правы, — согласился Жибасье. — Однако я никак не думал, что, путешествуя из Бонди в Париж, нужно иметь паспорт.

— Если в Париже у вас собственная квартира или вы останавливаетесь у друзей — не нужно; но если вы поселились в гостинице, вы должны предъявить документы.

— Ах, это так! — кивнул Жибасье, знавший лучше, чем кто бы то ни было, по опыту прошлой жизни, как необходим паспорт, когда ищешь кров. — Разумеется, я покажу вам свои документы.

И он стал шарить по карманам своего плаща.

Карманы оказались пусты.

— Куда же, черт возьми, они подевались?! — вскричал он.

Полицейский махнул рукой с таким видом, словно хотел сказать: «Если человек не находит документы сразу, он не находит их никогда».

Он жестом подозвал двух полицейских в черных рединготах и с толстыми палками в руках, ожидавших его приказаний стоя в дверях харчевни.

— Ах, черт подери! — воскликнул Жибасье. — Я знаю, что я сделал со своими бумагами.

— Тем лучше! — кивнул полицейский.

— Я оставил их в почтовой гостинице Бонди, когда сменил костюм курьера на кучерскую куртку.

— Как вы сказали? — заинтересовался полицейский.

— Ну да! — рассмеялся Жибасье. — К счастью, документы мне не нужны.

— Как это — не нужны?

— А так.

И он шепнул полицейскому на ухо:

— Я свой!

— Свой?!

— Да, пропустите меня!

— Ага! Вы, кажется, спешите?

— Я кое за кем слежу, — с заговорщицким видом сообщил Жибасье и подмигнул.

— Следите?

— Да, у меня на крючке заговорщик, и очень опасный заговорщик!

— Правда? И где же этот кое-кто?

— Черт возьми! Вы, должно быть, его видели. Он только что спустился; пятьдесят лет, усы с проседью, волосы бобриком, выправка военная. Не видели?

— Как же, как же! Видел!

— В таком случае арестовать надо было его, а не меня, — не переставая улыбаться, заметил Жибасье.

— Ну да! Только у него документы были, и в полном порядке. Потому я его и пропустил. А вот вы арестованы.

— Как?! Арестован?!

— Разумеется. Что, по-вашему, может мне помешать?

— Вы меня арестуете? Меня?

— Ну да, вас.

— Меня, личного агента господина Жакаля?

— Чем докажете?..

— Доказательство я вам представлю, за этим дело не станет.

— Слушаю вас.

— А тем временем мой подопечный улизнет, может быть! — в отчаянье вскричал Жибасье.

— Понимаю! Вы и сами не прочь сделать то же.

— Сбежать?! Да зачем же? Сразу видно, что вы меня не знаете! Чтобы я улизнул? Да ни за что на свете! Мое новое положение вполне меня устраивает...

— Ладно! Хватит болтать! — оборвал его полицейский.

— То есть, как это — хватит болтать?..

— Следуйте за нами, или...

— Или что?

— ...или мы будем вынуждены применить силу.

— Да ведь я же вам толкую, — вспыхнул Жибасье, — что я из личной полиции господина Жакаля!

Полицейский едва удостоил его презрительным взглядом, в котором ясно читалось: «Ну и фат же вы!»

Он пожал плечами и жестом подозвал двух полицейских в черных рединготах на помощь.

Те подошли, готовые вмешаться по первому знаку.

— Будьте осторожны, друг мой! — предупредил Жибасье.

— Я не друг тому, у кого нет паспорта, — возразил полицейский.

— Господин Жакаль вас строго накажет.

— Моя обязанность — препровождать в префектуру полиции путешественников без документов; у вас нет паспорта, и я отведу вас в префектуру, в чем же нарушения?

— Тысяча чертей! Говорю же вам, что...

— Покажите ваш «знак».

— Знак? — переспросил Жибасье. — Это низшим чинам, как у вас, положено иметь знак, я же...

— Ну да, вы для этого слишком важная птица, понимаю! Итак, дорогу вы не хуже нас знаете... Вперед!

— Вы настаиваете? — спросил Жибасье.

— Надо думать!

— Не жалуйтесь потом на судьбу!

— Довольно говорить! Следуйте за мной по доброй воле. В противном случае я буду вынужден применить силу.

Полицейский вынул из кармана пару наручников, которые так и напрашивались на знакомство с запястьями Жибасье.

— Будь по-вашему! — смирился Жибасье; он понял, что попал в дурацкое положение, которое могло еще более осложниться. — Я готов следовать за вами.

— В таком случае позвольте предложить вам руку, а эти двое господ пойдут сзади, — предупредил полицейский. — Вы, как мне кажется, способны сбежать от нас, не простившись, на первом же перекрестке.

— Я исполнял свой долг, — проговорил Жибасье, воздев кверху руку и будто призывая Бога в свидетели, что он сражался до последнего.

— Ну-ка, вашу руку, да поживее!

Жибасье знал, как должен положить руку арестованный на руку сопровождающего. Он не заставил просить себя дважды и облегчил полицейскому задачу.

Тот узнал в нем завсегдатая полицейского участка.

— Ага! — воскликнул он. — Похоже, такое случается с вами не впервой, милейший!

Жибасье взглянул на полицейского с таким видом, словно хотел сказать: «Будь по-вашему! Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

Вслух он решительно проговорил:

— Идемте!

Жибасье с полицейским вышли из гостиницы «Великий Турок» под руку, словно старые и добрые друзья.

Двое шпииков шли следом, изо всех сил стараясь показать, что не имеют к нашей парочке ровно никакого отношения.

Триумф Жибасье

Жибасье и полицейский направились, или, вернее было бы сказать, полицейский повел Жибасье на Иерусалимскую улицу.

Благодаря мерам предосторожности, принятым полицейским, проверявшим паспорта, всякий побег исключался, как понимают читатели.

Прибавим к вящей славе Жибасье, что он и не думал бежать.

Более того, его насмешливый вид, сострадательная улыбка, мелькавшая на его губах всякий раз, как он взглядывал на полицейского, беззаботность, раскованность и презрение, с какими он позволял вести себя в префектуру полиции, свидетельствовали, скорее, о том, что совесть его чиста. Словом, он, казалось, смирился, но вышагивал гордо, скорее как мученик, нежели как несчастная жертва.

Время от времени полицейский бросал на него косой взгляд.

По мере приближения к префектуре Жибасье не хмурился, а, напротив, становился все веселее. Он заранее предвкушал, какую бурю проклятий обрушит по возвращении г-н Жакаль на голову незадачливого полицейского.

Этот просветленный взгляд, сияющий, словно ореол на безмятежных лицах, начал пугать полицейского, арестовавшего Жибасье. В начале пути у него не было никаких сомнений в том, что он задержал важного преступника; на полпути он засомневался; теперь он был почти уверен, что дал маху.

Гнев г-на Жакаля, которым пугал его Жибасье, будто гроза, уже навис над его головой.

И вот мало-помалу пальцы полицейского стали разжиматься, высвобождая руку Жибасье.

Тот отметил про себя эту относительную свободу, неожиданно ему предоставленную; однако он отлично понимал, что заставило расслабиться дельтовидную мышцу и бицепс его спутника, и потому сделал вид, что не заметил его маневра.

Полицейский надеялся на прощение своего пленника, он как нельзя более забеспокоился, когда заметил, что по мере того, как его собственная хватка ослабевала, Жибасье все крепче вцеплялся в его руку.

Он поймал преступника, который не хотел его выпускать!

«Дьявольщина! — подумал он. — Уж не ошибся ли я?!»

Он на мгновение остановился в задумчивости, оглядел Жибасье с головы до ног и, видя, что тот, в свою очередь, окинул его насмешливым взглядом, затрепетал еще больше.

— Сударь! — обратился он к Жибасье. — Вы сами знаете, какие у нас суровые правила. Нам говорят: «Арестуйте!» — и мы арестовываем. Вот почему порой случается так, что мы совершаем досадные ошибки. Как правило, мы хватаем преступников.

Однако бывает, что по недоразумению мы нападаем и на честных людей.

— Неужели? — с издевательской усмешкой переспросил Жибасье.

— И даже на очень честных людей, — уточнил полицейский.

Жибасье бросил на него красноречивый взгляд, словно хотел сказать: «И я тому живое свидетельство».

Ясность этого взгляда окончательно убедила полицейского, и он прибавил с изысканной вежливостью:

— Боюсь, сударь, я совершил оплошность в этом роде; но еще не поздно ее исправить...

— Что вы имеете в виду? — презрительно поморщился Жибасье.

— Боюсь, сударь, я арестовал честного человека.

— Надо думать, черт подери, что боитесь! — отозвался каторжник, строго поглядывая на полицейского.

— С первого взгляда вы показались мне человеком подозрительным, но теперь вижу, что это не так; что, наоборот, вы — свой.

— Свой? — с высокомерным видом проговорил Жибасье.

— И, как я уже сказал, поскольку еще не поздно исправить эту ошибку...

— Нет, сударь, поздно! — перебил его Жибасье. — Из-за этой вашей ошибки человек, за которым я был приставлен следить, удрал... А что это за человек? Заговорщик, который через неделю совершит, может быть, государственный переворот...

— Сударь! — взмолился полицейский. — Если хотите, мы вместе отправимся на его поиски; и это будет сущий дьявол, если вдвоем мы...

В намерения Жибасье не входило разделить с кем бы то ни было славу от поимки г-на Сарранти.

Он оборвал своего собрата:

— Нет, сударь! И, пожалуйста, довершите то, что начали.

— О, только не это! — запричитал полицейский.

— Именно это! — гнул свое Жибасье.

— Нет, — снова возразил полицейский. — А в доказательство я ухожу.

— Уходите?

— Да.

— Как — уходите?

— Как все уходят: Выражаю вам свое почтение и поворачиваюсь к вам спиной.

Повернувшись на каблуках, полицейский в самом деле показал Жибасье спину; однако тот схватил его за руку и развернул к себе лицом.

— Ну уж нет! — молвил он. — Вы меня арестовали, чтобы препроводить в префектуру полиции, так и ведите меня туда.

— Не поведу!

— Поведете, черт вас раздери совсем! Или скажите, почему отказываетесь. Если я упущу своего заговорщика, господин Жакаль должен знать, по чьей вине это произошло.

— Нет, сударь, нет!

— В таком случае я вас арестую и отведу в префектуру, слышите?

— Вы арестуете меня?

— Да, я.

— По какому праву?

— По праву сильнейшего.

— Я сейчас кликну своих людей.

— Не вздумайте, иначе я позову на помощь прохожих. Вы знаете, что в народе вас не жалуют, господа полицейские. Я расскажу, что вы меня сначала арестовали без всякой причины, а теперь собираетесь отпустить, потому что боитесь наказания за превышение власти... А река-то, вот она, совсем рядом, черт возьми!..

Полицейский стал бледен как полотно. Уже начинала собираться толпа. Он по опыту знал, что люди в те времена были настроены по отношению к шпикам весьма агрессивно. Он бросил на Жибасье умоляющий взгляд и почти разжалобил каторжника.

Но вскормленный на изречениях г-на де Талейрана, Жибасье подавил это первое движение души: ему нужно было позаботиться о том, чтобы оправдаться в глазах г-на Жакаля.

Он, словно в тисках, зажал руку полицейского и, превратившись из пленника в жандарма, поволок его в префектуру полиции.

Во дворе префектуры собралась как никогда большая толпа.

Что было нужно всем этим людям?

Как мы уже сказали в предыдущей главе, все смутно угадывали приближение мятежа, и эта мысль витала в воздухе.

Толпа, заполнившая двор префектуры, состояла из тех, кто должен был сыграть в этом мятеже известную роль: все они явились за указаниями.

Жибасье, смолоду привыкший входить во двор префектуры в наручниках, а выезжать в забранной решеткой карете, на сей раз испытал неподдельную радость, чувствуя себя не арестованным, а полицейским.

Он вошел во двор как победитель, с высоко поднятой головой, задравши нос, а его несчастный пленник следовал за ним, как потерявший управление фрегат следует на буксире за гордым кораблем, летящим на всех парусах с развевающимся флагом.

В толпе произошло замешательство. Все полагали, что Жибасье находится на Тулонской каторге, и вдруг он выступает за старшего.

Однако Жибасье не растерялся: он стал раскланиваться налево и направо, одним кивал дружески, другим — покровительственно; над собравшимися прошелестел одобрительный шепот,

и к Жибасье стали подходить старые знакомые, выражая удовлетворение тем, что видят его в своих рядах.

Он пожимал руки и принимал поздравления, чем окончательно смутил несчастного полицейского, так что даже пожалел его в душе. Потом Жибасье представили старшему бригады, заслуженному фальсификатору, который, подобно самому Жибасье, на определенных условиях, оговоренных с г-ном Жакалем, перешел на службу полиции. Он был возвращен с Брестской каторги; таким образом, он не был знаком с Жибасье, и тот тоже его не знал; но, проводя время на берегу Средиземноморья, Жибасье частенько слышал об этом прославленном старике и уже давно мечтал пожать ему руку.

Старшина встретил его по-отечески тепло.

— Сын мой! — сказал он. — Я давно хотел с вами встретиться. Я был хорошо знаком с вашим отцом.

— С моим отцом? — изумился Жибасье, не знавший никакого отца. — Вам повезло больше, чем мне.

— И я по-настоящему счастлив, — продолжал старик, — узнавая в вас его черты. Если вам будет нужен совет, располагайте мною, сын мой; я весь к вашим услугам.

Собравшиеся, казалось, умирали от зависти, слыша, какой милости удостоен Жибасье.

Они обступили каторжника, и спустя пять минут г-н Баньер де Тулон получил в присутствии полицейского, совершенно оглушенного подобным триумфом, тысячу разнообразных предложений и выражений дружеских чувств.

Жибасье смотрел на него с видом превосходства и будто спрашивал: «Ну что, разве я вас обманул?»

Полицейский понурил голову.

— Ну, признайтесь теперь, что вы — осел! — сказал ему Жибасье.

— Охотно! — отозвался тот, готовый признать еще и не такое, попроси его об этом Жибасье.

— Раз так, — молвил Жибасье, — я вполне удовлетворен и обещаю вам свое покровительство, когда вернется господин Жакаль.

— Когда вернется господин Жакаль? — переспросил полицейский.

— Ну да, и я постараюсь представить ему ваш промах как чрезмерное усердие. Как видите, я человек покладистый.

— Да ведь господин Жакаль вернулся, — возразил полицейский; он боялся, как бы Жибасье не охладел в своих добрых намерениях, и хотел воспользоваться ими без промедления.

— Как?! Господин Жакаль вернулся? — вскричал Жибасье.

— Да, разумеется.

— И давно?

— Нынче утром, в шесть часов.

— Что ж вы раньше-то не сказали?! — взревел Жибасье.

— Да вы не спрашивали, ваше превосходительство, — смиренно отвечал полицейский.

— Вы правы, друг мой,—смягчившись, проговорил Жибасье.

— «Друг мой»!—пробормотал полицейский.— Ты назвал меня своим другом, о, великий человек! Приказывай! Что я могу для тебя сделать?

— Отправиться вместе со мной к господину Жакалю, черт подери! И немедленно!

— Идем!—с готовностью подхватил полицейский и широкими шагами направился к начальнику полиции.

Жибасье помахал собравшимся рукой, пересек двор, ступил под своды портика, украшавшего вход, поднялся по небольшой лестнице слева от входной двери (мы уже видели, как по ней поднимался Сальватор) на третий этаж, прошел по темному коридору направо и наконец остановился у кабинета г-на Жакаля.

Секретарь, узнавший не Жибасье, а полицейского, сейчас же распахнул дверь.

— Что вы делаете, дурачина?—возмутился г-н Жакаль.— Я же вам сказал, что меня нет ни для кого, кроме Жибасье.

— А вот и я, дорогой господин Жакаль!—прокричал Жибасье.

Он обернулся к полицейскому:

— Его нет ни для кого, кроме меня, слышите?

Полицейский с трудом удержался, чтобы не пасть на колени.

— Следуйте за мной,—приказал Жибасье.— Я вам обещал снисхождение и обещание свое сдержу.

Он вошел в кабинет.

— Как?! Вы ли это, Жибасье?!—воскликнул начальник полиции.— Я назвал ваше имя просто так, наудачу...

— И я как нельзя более горд тем, что вы обо мне помните, сударь,—подхватил Жибасье.

— Вы, стало быть, оставили своего подопечного?—спросил г-н Жакаль.

— Увы, сударь,—отвечал Жибасье,—это он меня оставил.

Господин Жакаль нахмурился. Жибасье толкнул полицейского локтем, будто хотел сказать: «Видите, в какую историю вы меня втянули?»

— Сударь!—вслух проговорил он, указывая на виновного.— Спросите этого человека. Я не хочу осложнять его положение, пусть он сам все расскажет.

Господин Жакаль поднял очки на лоб, желая получше разглядеть, с кем имеет дело.

— А-а, это ты, Фуришон,—молвил он.— Подойди ближе и скажи, как ты мог помешать исполнению моих приказаний.

Фуришон увидел, что ему не отвертеться. Он смирился и, как свидетель перед трибуналом, стал говорить правду, только правду, ничего, кроме правды.

— Вы—осел!—бросил полицейскому г-н Жакаль.

— Я уже имел честь слышать это от его превосходительства графа Баньера де Тулона,—сокрушенно проговорил полицейский.

Господин Жакаль, казалось, раздумывал, кто бы мог быть тот великий человек, что опередил начальника полиции и высказал о Фуришоне мнение, столь совпадающее с его собственным.

— Это я,—с поклоном доложил Жибасье.

— А-а, очень хорошо,—кивнул г-н Жакаль.— Вы путешествовали под вымышленным именем?

— Да, сударь,—подтвердил Жибасье.— Однако должен вам заметить, что я обещал этому несчастному попросить у вас для него снисхождения, принимая во внимание его полное раскаяние.

— По просьбе нашего любимого и преданного Жибасье,—с величавым видом молвил г-н Жакаль,—мы даруем вам полное прощение. Ступайте с миром и больше не грешите!

Он махнул рукой, отпуская незадачливого полицейского, и тот вышел, пятясь.

— Не угодно ли вам, дорогой Жибасье, оказать мне честь и разделить со мной скромный завтрак?—предложил г-н Жакаль.

— С большим удовольствием, господин Жакаль,—отвечал Жибасье.

— В таком случае давайте перейдем в столовую,—пригласил начальник полиции и пошел вперед, показывая дорогу. Жибасье последовал за г-ном Жакалем.

V

Провидение

Господин Жакаль указал Жибасье на стул.

Он стоял напротив него, по другую сторону стола.

Начальник полиции знаком приказал садиться; Жибасье, страстно желавший продемонстрировать г-ну Жакалю, что он не чужд правил хорошего тона, сказал:

— Позвольте прежде всего поздравить вас, господин Жакаль, с благополучным возвращением в Париж.

— Разрешите и мне выразить радость по тому же поводу,—куртуазно отвечал г-н Жакаль.

— Смею надеяться,—продолжал Жибасье,—что ваше путешествие завершилось успешно.

— Более чем успешно, дорогой господин Жибасье; но довольно комплиментов, прошу вас! Последуйте моему примеру и займите свое место.

Жибасье сел.

— Возьмите отбивную.

Жибасье зацепил отбивную.

— Давайте ваш бокал!

Жибасье повиновался.

— А теперь,—сказал г-н Жакаль,—ешьте, пейте и слушайте, что я скажу.

— Я весь внимание,— отозвался Жибасье, вгрызаясь в отбивную на косточке.

— Итак, по глупости этого полицейского,— продолжал г-н Жакаль,— вы упустили своего подопечного, дорогой господин Жибасье?

— Увы! — отвечал Жибасье, откладывая дочиста обглоданную кость на тарелку.— И, как видите, я в отчаянии!.. Получить столь ответственное задание, исполнить его с блеском — да простится мне такое выражение — и провалиться в самом конце!..

— Какое несчастье!

— Никогда себе этого не прощу...

Жибасье с сокрушенным видом махнул рукой.

— Ну что же,— невозмутимо продолжал г-н Жакаль, смакуя бордо и прищелкивая от удовольствия языком,— я буду снисходительнее: я вас прощаю!

— Нет-нет, господин Жакаль. Нет, я не приму ваше прощение,— проговорил Жибасье.— Я вел себя как дурак; словом, я оказался еще глупее, чем этот полицейский.

— Что вы могли поделать, дорогой господин Жибасье? Если не ошибаюсь, по этому поводу есть пословица: «Против силы...»

— Мне следовало уложить его одним ударом и бежать за господином Сарранти.

— Вы не успели бы сделать и двух шагов, как вас арестовали бы двое других.

— Ого-го! — вскричал Жибасье, потрясая кулаками, словно Аякс, бросающий вызов богам.

— Я же вам сказал, что прощаю вас,— продолжал г-н Жакаль.

— Если вы меня прощаете,— подхватил Жибасье, отказываясь от выразительной пантомимы, которой он с упоением предавался,— стало быть, вы знаете, как отыскать нашего подопечного. Вы позволите называть его нашим, не так ли?

— Что ж, неплохо,— заметил г-н Жакаль, довольный сообразительностью Жибасье, которую тот выказал, угадав, что, если начальник полиции не удручен, значит, у него есть основания сохранять спокойствие.— Неплохо! И я вам разрешаю, дорогой Жибасье, называть господина Сарранти «нашим» подопечным: он в той же мере принадлежит вам, как человеку, отыскавшему, а затем потерявшему его след, как и мне, обнаружившему его после того, как упустили вы.

— Невероятно! — изумился Жибасье.

— Что тут невероятного?

— Вы снова напали на его след?

— Вот именно.

— Как же это возможно? С тех пор как я его упустил, прошло не больше часа!

— А я обнаружил его всего пять минут назад.

— Так он у вас в руках? — спросил Жибасье.

— Да нет! Вы же знаете, что с ним нужно обращаться с особенной осторожностью. Я его возьму, или, вернее, вы его возьмете... Только уж на сей раз не упустите: его не так-то легко выследить незаметно.

Жибасье тоже очень надеялся снова напасть на след г-на Сарранти. Накануне в доме на Почтовой улице во время заседания пятерых заговорщиков, и среди них г-на Сарранти, была назначена встреча в церкви Успения; однако г-н Сарранти мог заподозрить неладное и не явиться в церковь.

И потом, Жибасье не хотел показывать, что у него есть эта зацепка.

Он решил набить себе цену.

— Как же я его найду?— спросил Жибасье.

— Идите по следу.

— Я же его потерял!..

— Потерять след нельзя, если на охоту вышли такой доезжий, как я, и такая ищейка, как вы.

— В таком случае нельзя терять ни минуты,— заметил Жибасье, полагая, что г-н Жакаль бахвалится, и пытаюсь толкнуть его на крайность. Он встал, будто приготовившись немедленно бежать на поиски г-на Сарранти.

— От имени его величества, которому вы имели честь спасти венец, я благодарю вас за ваше благородство и за вашу готовность, дорогой господин Жибасье,— молвил г-н Жакаль.

— Я ничтожнейший, но преданнейший слуга короля!— скромно ответил Жибасье и поклонился.

— Отлично!— похвалил г-н Жакаль.— Можете быть уверены, что ваша преданность будет оценена. Королей нельзя обвинить в неблагодарности.

— Нет конечно, неблагодарным бывает только народ!— философски отвечал Жибасье, устремив взгляд в небо.— Ах!..

— Браво!

— Так или иначе, дорогой господин Жакаль, оставим вопрос о неблагодарности королей и признательности народов в стороне. Позвольте вам сказать, что я весь к вашим услугам.

— Сначала доставьте мне удовольствие и съешьте крылышко вот этого цыпленка.

— А если он от нас ускользнет, пока мы будем есть это крылышко?

— Да нет, никуда он не денется: он нас ждет.

— Где это?

— В церкви.

Жибасье смотрел на г-на Жакаля со всевозраставшим любопытством. Каким образом начальник полиции оказался почти так же хорошо осведомлен, как сам Жибасье?

Впрочем, не это главное. Жибасье решил проверить, до каких пределов простиралась осведомленность г-на Жакаля.

— В церкви?! — вскричал он. — Мне бы следовало об этом догадаться.

— Почему? — поинтересовался г-н Жакаль.

— Человека, который мчится сломя голову, может извинить только одно: он торопится спасти свою душу.

— Чем дальше, тем интереснее, дорогой господин Жибасье! — хмыкнул начальник полиции. — Я вижу, вы наблюдательны, с чем я вас и поздравляю, потому что отныне вашей задачей будет наблюдение. Итак, повторяю, вашего подопечного вы найдете в церкви.

Жибасье хотел убедиться в том, что г-н Жакаль получил самые точные сведения.

— В какой именно? — спросил он в надежде захватить его врасплох.

— В церкви Успения, — просто ответил г-н Жакаль.

Жибасье не переставал изумляться.

— Вы знаете эту церковь? — продолжал настаивать г-н Жакаль, видя, что Жибасье не отвечает.

— Еще бы, черт побери! — отозвался Жибасье.

— Должно быть, только понаслышке, потому что на очень набожного человека вы непохожи.

— Я такой же, как все, — отвечал Жибасье, с безмятежным видом подняв глаза к потолку.

— Я не прочь укрепить с вашей помощью свою веру, — проговорил г-н Жакаль, наливая Жибасье кофе, — и если у нас будет время, я с удовольствием попрошу вас изложить ваши теологические принципы. У нас тут, на Иерусалимской улице, можно встретить величайших теологов, как вам, должно быть, известно. Вы привыкли жить в заточении и, верно, научились медитации. Вот почему я с истинным наслаждением когда-нибудь вас выслушаю. К сожалению, время идет, а сегодня у нас с вами еще много дел. Но слово вы дали, просто мы отложим это дело до другого раза.

Жибасье слушал, хлопая глазами и смакуя кофе.

— Итак, — продолжал г-н Жакаль, — вы найдете своего подопечного в церкви Успения.

— Во время заутрени, обедни или вечерни? — спросил Жибасье с непередаваемым выражением, то ли лукавым, то ли наивным.

— Во время обедни с певчими.

— Значит, в половине двенадцатого?

— Приходите к половине двенадцатого, если угодно; ваш подопечный прибудет не раньше двенадцати.

Именно в это время условились встретиться заговорщики.

— Сейчас уже одиннадцать! — вскричал Жибасье, бросив взгляд на часы.

— Да погодите вы, господин Торопыга! Вы еще успеете пропеть свою глаорию¹.

И он подлил водки в чашку Жибасье.

¹ Игра слов: «глория» — это и католическая молитва, и напиток (кофе с водкой).

— «Gloria in excelsis»¹,— проговорил Жибасье, поднимая чашку двумя руками на манер кадила, словно собирался воскурить ладан в честь начальника полиции.

Господин Жакаль наклонил голову с видом человека, убежденного в том, что заслуживает этой чести.

— А теперь,— продолжал Жибасье,— позвольте вам сказать нечто такое, что ничуть не умаляет вашей заслуги, перед которой я преклоняюсь и выражаю вам свое глубочайшее почтение.

— Слушаю вас!

— Я знал все это не хуже вашего.

— Неужели?

— Да. И вот каким образом мне удалось это разузнать.

Жибасье поведал г-ну Жакалю обо всем, что произошло на Почтовой улице: как он выдал себя за заговорщика, проник в таинственный дом и условился о встрече в полдень в церкви Успения.

Господин Жакаль слушал молча, а про себя восхищался проницательностью собеседника.

— Так вы полагаете, что на похоронах соберется много народу?— спросил он, когда Жибасье закончил свой рассказ.

— Не меньше ста тысяч человек.

— А в самой церкви?

— Сколько сможет там поместиться: две-три тысячи, может быть.

— В такой толчее разыскать вашего подопечного будет не так-то просто, дорогой Жибасье.

— Как говорится в Евангелии: «Иди да обрящешь».

— Я облегчу вам задачу.

— Вы?!

— Да! Ровно в полдень он будет стоять прислонившись к третьему пилястру слева от входа и разговаривать с монахом-доминиканцем.

На этот раз дар провидения, отпущенный г-ну Жакалю, настолько потряс Жибасье, что тот склонился, не проронив ни слова; подавленный его превосходством, Жибасье взял шляпу и вышел.

VI

Два джентльмена с большой дороги

Жибасье вышел из особняка на Иерусалимской улице как раз в ту минуту, как Доминик торопливо зашагал вниз по улице Турнон, после того как занес Кармелите портрет св. Пиаццента.

Во дворе префектуры не было никого, кроме трех человек.

Один из них отделился от остальных; это был невысокий худой человек.

¹ «Слава в вышних» (латин.).

— Вам поручено арестовать господина Сарранти?
— А вот и нет! Господина Дюбрея — такое имя он сам себе избрал, так пусть не жалуется!
— И вы арестуете его как заговорщика?
— Нет! Как бунтовщика.
— Значит, готовится серьезный бунт?
— Серьезный? Да нет! Но бунт я вам все-таки обещаю.
— Не считаете ли вы, что это довольно неосмотрительно, дорогой брат, поднимать бунт в такой день, как сегодня, когда весь Париж на ногах? — проговорил Жибасье, останавливаясь, дабы тем самым придать вес своим словам.
— Да, разумеется, но вы же знаете пословицу: «Кто не рискует, тот не выигрывает».
— Конечно, знаю. Однако сейчас мы рискуем всем сразу.
— Да, зато играем-то мы крапленными картами!
Это замечание немного успокоило Жибасье.
Впрочем, он все равно выглядел встревоженным или, скорее, задумчивым.

Объяснялось ли это страданиями, перенесенными Жибасье на дне Говорящего колодца и ожившими накануне в его памяти? Или тяготы стремительного путешествия и поспешного возвращения оставили на его лице отпечаток сплина? Как бы то ни было, а графа Баньера де Тулона обуревали в эти минуты то ли большая озабоченность, то ли сильное беспокойство.

Карманьоль приметил это и не преминул поинтересоваться о причине, как раз когда они огибали угол набережной и площади Сен-Жермен-л'Осеруа.

— Вы чем-то озабочены? — заметил он, обращаясь к Жибасье. Тот стряхнул с себя задумчивость и покачал головой.

— Что? — переспросил он.

Карманьоль повторил свой вопрос.

— Да, верно, — кивнул он. — Меня удивляет одна вещь, друг мой.

— Дьявольщина! Много чести для этой вещи! — заметил Карманьоль.

— Ну, скажем, беспокоит.

— Говорите! И я буду счастлив, если смогу помочь вам избавиться от этого беспокойства.

— Дело вот в чем. Господин Жакаль сказал, что я найду нашего подопечного ровно в полдень в церкви Успения у третьей колонны слева от входа.

— У третьей колонны, верно.

— И тот будет разговаривать с монахом.

— Со своим сыном, аббатом Домиником.

Жибасье взглянул на Карманьоля с тем же выражением, что смотрел на г-на Жакаля.

— Я считал себя сильным... Похоже, я заблуждался на свой счет.

— Зачем так себя принижать? — удивился Карманьоль.

Жибасье помолчал; было очевидно, что он делает над собой нечеловеческое усилие, дабы проникнуть своим рысьим взглядом в ослеплявшую его темноту.

— Либо это точное указание напрочь лживо...

— Почему?

— ...либо, если оно верно, я теряюсь в догадках и преисполнен восхищения.

— К кому?

— К господину Жакалю.

Карманьоль снял шляпу, как делает владелец бродячего цирка, когда говорит о господине мэре и представителях законной власти.

— А какое указание вы имеете в виду? — спросил он.

— Да все эти подробности: колонна, монах... Пусть господин Жакаль знает прошлое, даже настоящее — это я допускаю...

Слушая Жибасье, Карманьоль одобрительно кивал.

— ...но чтобы он знал и будущее — вот что выше моего понимания, Карманьоль.

Карманьоль захихикал, показывая белоснежные зубы.

— А как вы себе объясняете то обстоятельство, что он знает прошлое и настоящее? — спросил Карманьоль.

— В том, что господин Жакаль предсказал появление господина Сарранти в церкви, ничего удивительного нет: человек рискует жизнью, предпринимая попытку свергнуть правительство; вполне естественно, что в такие минуты он прибегает к помощи церкви и всех святых. В том, что господин Жакаль угадал выбор господина Сарранти — церковь Успения, — тоже ничего необычного: все знают, что она — средоточие бунтовщиков.

Карманьоль снова закивал.

— Господин Жакаль догадался, что господин Сарранти придет, скорее всего, в полдень, а не, скажем, в одиннадцать и не в полдвенадцатого — и это можно понять: заговорщик, часть ночи посвятивший своим темным делишкам и не обладающий богатырским здоровьем, не пойдет за здорово живешь к заутрене. Ничего необычного я не вижу и в том, что господин Жакаль предсказал: он будет стоять прислонившись к колонне... Проведя четверо суток в пути, человек чувствует усталость: неудивительно, что он прислонится к колонне, чтобы отдохнуть. И то, что он будет стоять скорее слева, чем справа, тоже понятно: глава оппозиции и не может сделать иного выбора. Все это хитро, умно, но в этом нет ничего невероятного: это можно вывести методом дедукции. Но что меня по-настоящему удивляет, что приводит меня в замешательство, сбивает с толку и обескураживает...

Жибасье умолк, словно пытаясь разгадать эту непостижимую для него тайну.

— Чего же вы не можете постичь?

— Каким образом господин Жакаль догадался, что именно у третьей колонны будет стоять господин Сарранти в определенный час, да еще разговаривать с монахом.

— Как?! — удивился Карманьоль? — И такая малость приводит вас в недоумение и омрачает ваше чело, досточтимый сеньор?

— Это, и ничто иное, Карманьоль, — отвечал Жибасье.

— Да это так же просто объясняется, как и все остальное.

— Ну да?!

— И даже еще проще.

— Неужели?

— Слово чести!

— Сделайте одолжение: приподнимите завесу таинственности и откройте мне этот секрет!

— С величайшим удовольствием.

— Я слушаю.

— Вы знаете Барбетту?

— Я знаю, что есть такая улица; она берет свое начало от улицы Труа-Павийон, а заканчивается на бывшей улице Тампль.

— Не то!

— Еще я знаю заставу с таким же названием, входившую когда-то в кольцо, опоясывавшее Париж во времена Филиппа-Августа; застава эта обязана своим названием Этьену Барбетту, дорожному смотрителю, управляющему монетным двором и купеческому старшине.

— Опять не то!

— Я знаю особняк Барбетта, где Изабелла Баварская решила дофином Карлом Седьмым. А герцог Орлеанский вышел из этого особняка дождливой ночью двадцать третьего ноября тысяча четыреста седьмого года и был убит...

— Хватит! — вскричал Карманьоль, задыхаясь, словно его заставили проглотить шпагу. — Хватит! Еще слово, Жибасье, и я пойду хлопотать для вас о кафедре истории.

— Вы правы! — согласился Жибасье. — Эрудиция меня погубит. Так о какой Барбетте вы ведете речь? Об улице, заставе или особняке?

— Ни о той, ни о другой, ни о третьем, прославленный бакалавр, — восхищенно взглянув на Жибасье, молвил Карманьоль и переложил кошелек из правого кармана в левый, подальше от своего спутника, не без оснований, возможно, полагая, что всего можно ожидать от человека, готового сознаться в том, что тот так много знает, и знающего, очевидно, еще больше такого, в чем он не сознается никогда.

— Нет, — продолжал Карманьоль. — Я имею в виду Барбетту, которая сдает стулья внаем в церкви святого Иакова и живет в Виноградном тупике.

— Что такое эта ваша Барбетта!.. — презрительно бросил Жибасье. — Какое ничтожное общество вы себе избрали, Карманьоль!

— Всего в жизни надо попробовать, высокочтимый граф!

— Ну и?..— промолвил Жибасье.

— Вот я и говорю, что Барбетта сдает стулья внаем; и на этих стульях мой друг Овсюг... Вы знаете Овсюга?

— Да, в лицо.

— ...и на этих стульях мой друг Овсюг гнушается сидеть.

— Какое отношение эта женщина, сдающая внаем стулья, на которых гнушается сидеть ваш друг Овсюг, имеет к тайне, которую я жажду разгадать?

— Самое прямое!

— Ну и ну!— проговорил Жибасье; он остановился, хлопая глазами, и покрутил пальцами, сцепив руки на животе, всем своим видом словно желая сказать: «Не понимаю!»

Карманьоль тоже остановился и заулыбался, наслаждаясь собственным триумфом.

Часы на церкви Успения пробили без четверти двенадцать.

Казалось, оба собеседника забыли обо всем на свете, считая удары.

— Без четверти двенадцать,— отметили они.— Отлично, у нас еще есть время.

Это восклицание свидетельствовало о том, что их беседа обоим была далеко не безразлична.

Впрочем, Жибасье казался более заинтересованным, чем Карманьоль, и потому именно он спрашивал, а Карманьоль отвечал.

— Я слушаю,— продолжал Жибасье.

— У вас, дорогой коллега, нет таких склонностей к святой Церкви, как у меня, и потому вы, может быть, не знаете, что все женщины, сдающие стулья внаем, отлично друг друга знают.

— Готов признать, что понятия об этом не имел,— отвечал Жибасье с откровенностью, свойственной сильным людям.

— Так вот,— продолжал Карманьоль, гордый тем, что сообщил нечто новое столь просвещенному человеку, как Жибасье,— эта женщина, сдающая стулья внаем в церкви Сен-Жак...

— Барбетта?— уточнил Жибасье, не желая упустить ни слова из разговора.

— Да, вот именно! Она дружит с женщиной, сдающей стулья внаем в церкви Сен-Сюльпис, и эта ее приятельница живет на улице По-де-Фер.

— Ага!— вскричал Жибасье, ослепленный догадкой.

— Догадались, к чему я клоню?

— Могу только предполагать, предчувствовать, догадываться...

— Так вот, женщина, сдающая стулья внаем в церкви Сен-Сюльпис, служит консьержкой, как я вам только что сказал, в том самом доме, до которого вы вчера ночью «довели» господина Сарранти и где живет его сын, аббат Доминик.

— Продолжайте!— приказал Жибасье, ни за что на свете не желавший упустить ниточку, за которую, как ему казалось, он ухватился.

— Когда господин Жакаль получил нынче утром письмо, в котором вы пересказывали ему вчерашние события, он прежде всего послал за мной и спросил, не знаю ли я кого-нибудь в том доме на улице По-де-Фер. Вы понимаете, дорогой Жибасье, как я обрадовался, когда увидел, что дом охраняет подруга моей приятельницы. Я только кивнул господину Жакалю и побежал к Барбетте. Я знал, что застаю у нее Овсюга: в это время он пьет кофе. В общем, я побежал в Виноградный тупик. Овсюг был там. Я шепнул ему на ухо два слова, он Барбетте — четыре, и та сейчас же побежала к своей подружке, сдающей внаем стулья в церкви Сен-Сюльпис.

— А-а, неплохо, неплохо! — похвалил Жибасье, начиная догадываться о том, куда клонит его собеседник. — Продолжайте, я не пропускаю ни одного вашего слова.

— Итак, нынче утром, в половине девятого, Барбетта отправилась на улицу По-де-Фер. Кажется, я вам сказал, что Овсюг в нескольких словах изложил ей суть дела. И первое, что она заметила, — письмо, просунутое в щель одной из дверей; оно было адресовано господину Доминику Сарранти.

«Хе-хе! Так ваш монах, стало быть, еще не вернулся?» — спросила Барбетта у своей приятельницы.

«Нет, — отвечала та, — я жду его с минуты на минуту».

«Странно, что его так долго нет».

«Разве этих монахов поймешь?.. А почему, собственно, вы им интересуетесь?»

«Да просто потому, что увидела адресованное ему письмо», — ответила Барбетта.

«Его принесли вчера вечером».

«Странно! — продолжала Барбетта. — Похоже, почерк-то женский!»

«Что вы! — возразила другая. — Вот уже пять лет аббат Доминик здесь живет, и за все время я ни разу не видела, чтобы к нему приходила хоть одна женщина».

«Что ни говорите, а...».

«Да нет, нет! Это писал мужчина. Знаете, он меня так напугал!..»

«Неужели он вас обругал, милочка?»

«Нет, слава Богу, пожаловаться не могу. Видите ли, я вздремнула... Открываю глаза — откуда ни возьмись передо мной высокий господин в черном».

«Уж не дьявол ли это был?»

«Нет, тогда бы после его ухода пахло серой... Он меня спросил, не вернулся ли аббат Доминик. «Нет, — сказала я, — пока не возвращался». — «Могу вам сообщить, что он будет дома нынче вечером или завтра утром». По-моему, есть чего испугаться!»

«Ну конечно!»

«А-а, — сказала я, — сегодня или завтра? Ну что же, буду рада его видеть». «Он ваш исповедник?» — улыбнулся незнакомец.

«Сударь! Запомните: я не исповедуюсь молодым людям его возраста». — «Неужели?.. Будьте добры передать ему... Впрочем, нет! У вас есть перо, бумага и чернила?» — «Еще бы, черт возьми! Можно было не спрашивать!» Я подала ему то, что он просил, и он написал это письмо. «А теперь дайте чем запечатать!» — «Вот этого-то как раз у нас и нет».

«Неужели и впрямь нет?» — удивилась Барбетта.

«Есть, разумеется. Да с какой стати я буду давать воск и облатки незнакомым людям?»

«Конечно, так можно и разориться».

«Дело не в этом! Как можно не доверять до такой степени, чтобы запечатывать письмо?!»

«Да и кроме того, запечатанное письмо невозможно прочесть после их ухода. Впрочем,— продолжала Барбетта, бросая взгляд на письмо,— почему же оно запечатано?»

«Ах, и не говорите! Он стал шарить в бумажнике... И уж так он искал, так искал, что все-таки нашел старую облатку».

«Вы, стало быть, так и не узнали, что в этом письме?»

«Нет, разумеется. Подумаешь! Я и без того знаю, что господин Доминик — его сын, что он будет ждать господина Доминика нынче в полдень в церкви Успения у третьей колонны слева, как приходишь в церковь; а в Париже он живет под именем Дюбрея».

«Значит, вы все-таки его прочли?»

«Я в него заглянула... Мне не давала покоя мысль, почему он непременно хотел его запечатать».

В эту минуту зазвонили часы на Сен-Сюльпис.

«Ах-ах!» — вскрикнула консьержка с улицы По-де-Фер. — Я совсем забыла!..»

«Что именно?»

«В девять часов — похоронная процессия. А мой прощелыга муженек улизнул в кабак. Всегда он так, ну всегда! И кого интересно я оставлю вместо себя охранять дверь? Кота?»

«А я на что?» — заметила Барбетта.

«Вы не шутите?! — обрадовалась консьержка. — Вы готовы меня выручить?»

«А как же! Люди должны друг другу помогать!»

Засим консьержка отправилась в Сен-Сюльпис сдавать внаем стулья.

— Да, понимаю,— кивнул Жибасье,— а Барбетта осталась одна и, в свою очередь, заглянула в письмо.

— Ну конечно! Она подержала его над паром, потом без труда распечатала и переписала. Десять минут спустя у нас уже был полный текст.

— И о чем говорилось в письме?

— То же, о чем рассказала консьержка дома номер двадцать восемь. Да вот, кстати, текст письма.

Карманьоль вынул из кармана лист бумаги и прочел вслух, в то время как Жибасье пробежал листок глазами.

«Дорогой сын!

Я нахожусь в Париже со вчерашнего вечера под именем Дюбрея. Прежде всего я навестил Вас: мне сообщили, что Вы еще не вернулись, но что Вам переслали мое первое письмо, и, значит, Вы скоро будете дома. Если Вы прибудете нынче ночью или завтра утром, жду Вас в полдень в церкви Успения у третьей колонны слева от входа».

— Ага, очень хорошо! — заметил Жибасье.

Так, за разговором, они подошли к паперти и вошли в церковь Успения ровно в полдень.

У третьей колонны слева стоял прислонившись г-н Сарранти, а Доминик, опустившись рядом с ним на колени и оставаясь незамеченным, целовал ему руку.

Впрочем, мы ошиблись: его видели Жибасье и Карманьоль.

VII

Как организовать мятеж

Двоим полицейским хватило одного взгляда; в ту же минуту они отвернулись и направились в противоположную сторону — к хорам.

Однако, когда они развернулись и не спеша двинулись в обратном направлении, Доминик по-прежнему стоял у колонны на коленах, а Сарранти исчез.

Жибасье был близок к тому, чтобы усомниться в непогрешимости г-на Жакаля, однако его восхищение начальником полиции лишь возросло: сцена, описанная и как бы предсказанная г-ном Жакалем, длилась не более секунды, но она все же имела место.

— Эге! — крикнул Карманьоль. — Монах на месте, а вот нашего подопечного я не вижу.

Жибасье поднялся на цыпочки, бросил натренированный взгляд в толпу и улыбнулся.

— Зато его вижу я! — заметил он.

— Где?

— Справа от нас, по диагонали.

— Так-так-так...

— Смотрите внимательнее!

— Смотрю...

— Что вы там видите?

— Академика, он нюхает табак.

— Так он надеется проснуться: ему кажется, что он на заседании... А кто стоит за академиком?

— Мальчишка! Он вытаскивает у кого-то из кармана часы.

— Должен же он сказать своему старому отцу, который час! Верно, Карманьоль?... Та-а-ак... А за мальчишкой?..

— Молодой человек подсовывает записочку девушке в молитвенник.

— Можете быть уверены, Карманьоль, что это не приглашение на похороны... А кого вы видите за этой счастливой парочкой?

— Толстяка, да такого печального, словно он присутствует на собственных похоронах. Я уже не в первый раз встречаю этого господина во время печальных церемоний.

— Ему, верно, не дает покоя грустная мысль, что к себе на похороны он прийти не сможет. Впрочем, вы уже близки к цели, друг мой. Кто там стоит за печальным стариком?

— А-а, и впрямь наш подопечный!.. Разговаривает с господином де Лафайетом.

— Неужели с самим де Лафайетом?— произнес Жибасье с уважением, какое даже самые ничтожные люди питали к благородному старику.

— Как?!— изумился Карманьоль.— Вы не знаете господина де Лафайета?

— Я покинул Париж накануне того дня, когда меня должны были ему представить как перуанского кацика, прибывшего для изучения французской конституции.

Двое полицейских, заложив руки за спину, с благодушным видом не спеша направились к группе, состоявшей из генерала де Лафайета, г-на де Маранда, генерала Пажоля, Дюпона (де л'Эра) и еще нескольких человек, которые примыкали к оппозиции и тем снискали всеобщую любовь. Вот в это время Сальватор и указал на полицейских своим друзьям.

Жибасье не упустил ничего из того, что произошло между молодыми людьми. Казалось, у Жибасье зрение было развито особенно хорошо: он одновременно видел, что происходит справа и слева от него, подобно людям, страдающим косоглазием, а также — спереди и сзади, подобно хамелеону.

— Я думаю, дорогой Карманьоль, что эти господа нас узнали,— проговорил Жибасье, одними глазами показав на пятерых молодых людей.— Хорошо бы нам расстаться — на время, разумеется. Кстати, так будет удобнее следить за нашим подопечным. Надо только условиться, где мы потом встретимся.

— Вы правы,— согласился Карманьоль.— Эта мера предосторожности нелишняя. Заговорщики хитрее, чем может показаться на первый взгляд.

— Я бы не стал высказываться столь категорично, Карманьоль. Впрочем, не важно, можете оставаться при своем мнении.

— Вам известно, что мы должны арестовать только одного из них?

— Конечно! А что делать с монахом? Он натравит на нас весь клир!

— А мы арестуем его как Дюбрея за то, что он учинит в церкви дебош.

— И ни за что другое!

— Хорошо!— кивнул Карманьоль и пошел вправо, а его собеседник нырнул влево.

Оба описали полукруг и расположились так: один — справа от отца, другой — слева от сына.

Началась месса.

Священник говорил слащаво, все сосредоточенно слушали.

По окончании мессы учащиеся Шалонской школы, доставившие гроб в церковь, подошли, чтобы снова его поднять и отнести на кладбище.

В ту минуту, как они склонились, чтобы в едином порыве поднять тяжелую ношу, высокий, одетый в черное, но без каких-либо знаков отличия человек появился словно из-под земли и повелительным тоном произнес:

— Не прикасайтесь к гробу, господа!

— Почему? — растерянно спросили молодые люди.

— Я не намерен с вами объясняться, — заявил господин в черном. — Не трогать гроб!!

Он повернулся к распорядителю и спросил:

— Где ваши носильщики, сударь? Где ваши носильщики?

Тот вышел вперед и сказал:

— Но я полагал, что тело должны нести эти господа...

— Я не знаю этих людей, — оборвал его человек в черном. — Я спрашиваю: где ваши носильщики? Немедленно приведите их сюда!

Можно себе представить, что тут началось! Нелепое происшествие произвело в церкви волнение; поднялся шум, предшествующий обыкновенно буре; толпа ревела от возмущения.

Очевидно, незнакомец чувствовал за собой силу, потому что в ответ на возмущение присутствовавших лишь презрительно ухмыльнулся.

— Носильщиков! — повторил он.

— Нет, нет, нет! Никаких носильщиков! — закричали учащиеся.

— Никаких носильщиков! — вторила им толпа.

— По какому праву, — продолжали молодые люди, — вы нам запрещаете нести тело нашего благодетеля, если у нас есть разрешение близких покойного?

— Это ложь! — выкрикнул незнакомец. — Близкие настаивают на том, чтобы тело было доставлено обычным порядком.

— Он говорит правду, господа? — обратились молодые люди к графам Гаэтану и Александру де Ларошфуко, сыновьям покойного, вышедшим в ту самую минуту вперед, чтобы идти за гробом. — Это правда, господа? Вы запрещаете нам нести тело нашего благодетеля и вашего отца, которого мы любили как родного?

В церкви стоял неописуемый шум.

Однако, когда присутствующие услышали этот вопрос и увидели, что граф Гаэтан собирается ответить, со всех сторон донеслось:

— Тише! Тише!

Все стихло как по мановению волшебной палочки, и в установившейся тишине отчетливо прозвучал негромкий голос графа Гаэтана:

— Близкие не запрещают, а, напротив, поручают вам сделать это, господа!

Его слова были встречены громким «ура!»; оно эхом прокатилось по рядам собравшихся и отдалось под сводами церкви.

Тем временем распорядитель привел носильщиков, и те взяли за носилки. Но когда граф Газтан выразил свою волю, они передали гроб учащимся, те подставили плечи и медленно двинулись из церкви.

Процессия беспрепятственно пересекла двор и вышла на улицу Сент-Оноре.

Незнакомец, учинивший беспорядок, исчез как по волшебству. В толпе перешептывались, спрашивая друг у друга, куда он делся, но никто не заметил, как он ушел.

На улице Сент-Оноре похоронная процессия перестроилась: впереди шли сыновья герцога де Ларошфуко, за ними следовали пэры Франции, депутаты, люди, известные благодаря личным заслугам или занимавшие высокое общественное положение, друзья и близкие покойного.

Герцог де Ларошфуко был генерал-лейтенантом. За гробом следовал почетный караул.

Казалось, страсти улеглись, как вдруг в ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, тот же незнакомец, послуживший причиной скандала в церкви, появился снова.

При виде его в толпе послышались возмущенные крики.

Однако незнакомец не обратил на крики ни малейшего внимания, приблизился к офицеру, командовавшему почетным караулом, и шепнул ему на ухо несколько слов.

Потом он приказал ему во всеуслышание оказать поддержку полиции, дабы помешать молодым людям нести гроб и поставить его на катафалк, а затем вывезти из Парижа.

Новое требование незнакомца, а в особенности то обстоятельство, что он прибег к помощи вооруженной силы, привело к тому, что толпа взорвалась возмущением и со всех сторон посыпались угрозы.

Перекрывая гул толпы, кто-то отчетливо выкрикнул:

— Нет, нет, не соглашайтесь... Да здравствует гвардия! Долой шпииков! Долой комиссара полиции! На фонарь его!

В ответ на эти крики вся толпа всколыхнулась, словно море во время прилива.

Комиссар полиции отпрянул.

Он поискал глазами крикуна и, окинув собравшихся грозным взглядом, обратился к офицеру с такими словами:

— Сударь! В другой раз приказываю вам прибегнуть к силе.

Офицер посмотрел на своих солдат: они были непреклонны и суровы, готовые исполнить любое приказание.

Снова послышались крики:

— Да здравствует гвардия! Долой шпииков!

— Сударь! — снова заговорил незнакомец в черном. — В третий, и последний раз приказываю прибегнуть к силе! У меня

категорический приказ; пеняйте на себя, если посмеете помешать мне его исполнить!

Офицер был побежден повелительным тоном комиссара и угрозой, звучавшей в его приказах. Он вполголоса отдал распоряжение, и мгновение спустя сверкнули штыки.

Это движение будто толкнуло толпу на крайность.

Крики, угрозы, призывы к отмщению понеслись со всех сторон.

— Долой гвардию! Смерть комиссару! Долой правительство! Смерть Корбьеру! На фонарь иезуитов! Да здравствует свобода печати!

Солдаты вышли вперед, чтобы захватить гроб.

Теперь, если читателю угодно перейти от общего к частностям и от описания толпы к портретам отдельных индивидов, эту толпу составлявших, мы приглашаем обратить взоры на персонажей нашего романа в ту минуту, как учащиеся Шалонской школы спускаются по ступеням церкви Успения и выходят на улицу Сент-Оноре.

Выйдя из церкви, г-н Сарранти и аббат Доминик незаметно сошлись, не подавая виду, что знакомы, и пошли в конец улицы Мондови, что рядом с площадью Оранжереи, напротив Тюильрийского сада, и там остановились; Жибасье и Карманьоль не спускали с них глаз.

Господин де Маранд и его друзья собрались на улице Монтарбор в ожидании, когда процессия двинется в путь.

Сальватор в сопровождении четверых друзей остановился на улице Сент-Оноре, на углу улицы Нев-дю-Люксембур.

Когда в толпе произошло движение, ряды сомкнулись, и молодые люди оказались всего в двадцати шагах от решетки, окружающей церковь Успения.

Они обернулись, заслышав крики, которыми возмущенные парижане, принимавшие участие в похоронной церемонии, встретили вмешательство вооруженных сил.

Впрочем, среди тех, кто выражал таким образом свое возмущение, громче других кричали те самые подозрительного вида господа, тут и там выглядывавшие из толпы.

Жан Робер и Петрус отвернулись с отвращением. В эту минуту они хотели только одного: как можно скорее удалиться от этого скопища людей, над которым словно нависла гроза. Однако они оказались зажаты в кольцо: не было ни малейшей возможности двинуться с места; надо было позаботиться прежде всего о личной безопасности, а потому все их усилия свелись к тому, чтобы не быть задавленными.

Сальватор, человек загадочный, которому были доступны не только тайны аристократии, но и уловки полиции, знал большинство из этих темных личностей, и не просто в лицо, а по именам; для любознательного Жана Робера, поэта с возвышенными чувствами, эти имена были словно вехи на неведомом пути, ведущем к кругам ада, описанным Данте.

Это были Овсюг, Увалень, Хлыст, Драчун — одним словом, вся та команда, которую наши читатели видели во время осады таинственного дома на Почтовой улице, когда один из них, незадачливый Мотылек, неудачно прыгнул вниз и разбился. Со всех сторон Сальватору подмигивали и знаками давали понять, что ему следует вести себя как можно осмотрительнее; и были среди этих людей Костыль и его собрат папаша Фрикасе, окончательно помирившиеся (папашу Фрикасе по-прежнему еще издали можно было узнать по сильному запаху валерьяны, поразившему когда-то Людовика в кабаке на углу улицы Обри-ле-Буше, где начиналась длинная история, которую мы сейчас представляем вниманию наших читателей); здесь же находились Фафиу и божественный Коперник (у них был общий интерес: Коперник боялся поссориться с Фафиу еще больше, чем Фафиу — с Коперником).

Коперник простил Фафиу непочтительный жест, который папц отнес на счет нервного потрясения, с которым тот не сумел совладать. Однако Коперник заставил Фафиу поклясться, что это более не повторится, и Фафиу исполнил это требование, но про себя сделал оговорку, благодаря которой иезуиты уверяют, что можно обещать что угодно и не сдержать слова.

В нескольких шагах от актеров и, к счастью, на безопасном от них расстоянии стоял Жан Бычье Сердце, держа под руку, словно жандарм — пленника (точь-в-точь как Жибасье недавно держал полицейского), высокую светловолосую девушку, рыночную Венеру, по имени Фифина, с извивающимся, как у змеи, телом.

Мы говорим «к счастью», потому что Жан Бычье Сердце нюхом чуял Фафиу, так же как Людовик чувствовал приближение папашы Фрикасе, хотя мы вовсе не хотим сказать, что от несчастного малого исходил тот же запах, что от кошатника (читатели помнят, какую глубокую ненависть, какое закоренелое отвращение питал могучий плотник к своему хрупкому сопернику).

Неподалеку находились двое приятелей, давших молодым людям бой в кабаке. Каменщик по прозвищу Кирпич, тот самый, что во время пожара сбросил из окна третьего этажа ребенка и жену на руки этому гераклу Фарнезе, прозванному Жаном Бычье Сердце, а потом прыгнул и сам. Кирпич, белый как известь, с которой он частенько имел дело, стоял под руку со смуглолицым великаном. Этот великан, этот титан, этот сын Тьмы оказался тем самым угольщиком, которого Жан Бычье Сердце прозвал однажды Туссенем Бунтовщиком.

Кроме перечисленных выше персонажей в толпе находились те самые люди в черном, которых мы видели во дворе префектуры: они ожидали последних приказаний г-на Жакаля и сигнала к отправлению.

В то мгновение, как солдаты приблизились к гробу, выставив штыки перед собой, около двадцати человек в порыве благородства бросились им наперерез, дабы защитить учащихся Шалонской школы, которые несли тело.

Офицера спросили, неужели он посмеет пустить в ход штыки против молодых людей, единственным преступлением которых является уважение к памяти их благодетеля; тот отвечал, что получил строгий приказ от комиссара полиции и вынужден подчиниться.

И он в последний раз потребовал от тех, кто хотел помешать ему исполнить долг, немедленно удалиться. Затем он обратился к тем из молодых людей, что несли гроб и были защищены живой стеной, и приказал им опустить гроб на землю.

— Не делайте этого! Не слушайте его! — закричали со всех сторон. — Мы с вами.

Судя по уверенности, с которой держались молодые люди, они решили не сдаваться и идти до конца.

Офицер приказал своим людям продолжать наступление; те вновь наставили штыки на толпу.

— Смерть комиссару! Смерть офицеру! — взывала толпа.

Человек в черном поднял руку. В воздухе мелькнул кастет, и какой-то человек, получив удар в висок, упал, обливаясь кровью.

В то время мы еще не пережили страшные волнения 5—6 июня и 13—14 апреля, а потому убитый человек еще мог произвести некоторое впечатление.

— Убивают! — закричали в толпе. — Убивают!

Словно ожидая только этого крика, две-три сотни полицейских вынули из-под рединготов кастеты, похожие на тот, которым только что размозжили голову несчастному.

Война была объявлена.

Те, у кого были палки, подняли их вверх; у кого были ножи, вынули их из карманов.

Умело подогреваемые страсти привели к взрыву.

Жан Бычье Сердце, человек отчаянной смелости, привыкший действовать по первому побуждению, забыл о предупреждениях Сальватора.

— Ага! — промолвил он, выпустив руку Фифины и поплевав на ладони. — Похоже, сейчас будет жарко!

Словно желая испытать свои силы, он схватил за грудки первого попавшегося полицейского и приготовился отшвырнуть его в сторону.

— Ко мне! На помощь! На помощь, друзья! — завопил полицейский, и голос его звучал все тише: хватка у Жана Бычье Сердце была железная.

Хлыст услышал этот отчаянный крик, ужом проскользнул в толпу, подкрался сзади и уже занес было над головой Жана Бычье Сердце короткую свинцовую дубинку, как вдруг Кирпич ринулся ему наперерез и перехватил дубинку, а тряпичник вплотную подошел к Хлысту, подставил ему ножку и опрокинул беднягу навзничь.

С этой минуты все смешалось, пронзительно закричали женщины.

Полицейский, которого Жан Бычье Сердце обхватил поперек туловища, как Геракл — Антея, выпустил кастет, и тот покатился к ногам Фифины. Она его подобрала и засучила рукава. С разведавшимися по ветру волосами, Фифина стала раздавать удары направо и налево всем, кто осмеливался к ней приблизиться. Два-три удара нашей Брадаманты, не уступавшие по силе мужским, привлекли к ней внимание нескольких полицейских, и ей, несомненно, пришел бы конец, если бы не Коперник и Фафиу, поспешившие на помощь.

При виде Фафиу, приближавшегося к Фифине, Жан Бычье Сердце решил действовать наверняка. Он швырнул в толпу полицейского и, обращаясь к паяцу, сказал:

— И ты туда же!

Он протянул руку и схватил Фафиу за шиворот.

Однако едва он до него дотронулся, как получил удар свинцовой дубинкой и выпустил жертву.

Он узнал поразившую его руку.

— Фифина! — взвыл он, закипая от гнева. — Ты что, хочешь, чтобы я тебя изничтожил?

— Ну ты, тряпка! Только попробуй поднять на меня руку!

— Не на тебя, а на него...

— Только взгляните на этого хулигана! — возмутилась она, обращаясь к Кирпичу и Костылю. — Он хочет задушить человека, который спас мне жизнь!

Жан Бычье Сердце испустил тяжелый вздох, похожий, скорее, на рык, потом обратился к Фафиу:

— Убирайся! И если твоя жизнь тебе дорога, не вставай больше у меня на пути!

Теперь посмотрим, что происходило в той стороне, где стояли Сальватор и четверо его товарищей.

Как мы видели, Сальватор посоветовал Жюстену, Петрусу, Жану Роберу и Людовику ни в коем случае ни во что не вмешиваться, однако Жюстен, по виду самый невозмутимый из всех, не послушался этого совета.

Расскажем сначала, как они стояли.

Жюстен расположился слева от Сальватора, трое других молодых людей держались позади него.

Вдруг Жюстен услышал в нескольких шагах от себя душераздирающий крик, детский голос зывал:

— Ко мне, господин Жюстен! На помощь!

Услышав свое имя, Жюстен бросился вперед и заметил Баболена, опрокинутого навзничь: полицейский избивал его ногами.

Жюстен стремительно бросился вперед, с силой оттолкнул полицейского и склонился, чтобы помочь Баболену подняться. Но в ту минуту, как он наклонялся, Сальватор увидел, что полицейский занес над его головой кастет. Он, в свою очередь, устремился на помощь, выбросив вперед руку и собираясь

принять удар на себя; но, к его величайшему изумлению, кастет замер в воздухе и почтительный голос произнес:

— Э-э, здравствуйте, дорогой господин Сальватор! Как я рад вас видеть!

Голос принадлежал г-ну Жакалю.

VIII

Арест

Господин Жакаль признал в Жюстене друга Сальватора и возлюбленного Мины; увидев, какая опасность угрожает молодому человеку, он в одно время с Сальватором бросился ему на помощь.

Вот как руки Сальватора и г-на Жакаля встретились.

Однако на этом покровительство г-на Жакаля не кончилось.

Он одним взмахом руки приказал своим людям не трогать молодых людей и отозвал Сальватора в сторонку.

— Дорогой мой господин Сальватор! — проговорил начальник полиции и приподнял очки, чтобы не упустить во время разговора ничего из того, что происходило в толпе. — Дорогой господин Сальватор! Позвольте дать вам хороший совет.

— Говорите, дорогой господин Жакаль.

— Дружеский совет... Вы же знаете, что я вам друг, не так ли?

— Лыщу себя надеждой, — отозвался Сальватор.

— Порекомендуйте господину Жюстену и другим лицам, могущим вас интересоваться, — глазами он указал на Петруса, Людовика и Жана Робера, — порекомендуйте им удалиться и... последуйте их примеру сами.

— Почему же это, господин Жакаль?! — вскричал Сальватор.

— Потому что с ними может случиться несчастье.

— Да ну?

— Да, — кивнул г-н Жакаль.

— Мы, стало быть, явимся свидетелями мятежа?

— Очень боюсь, что так. То, что сейчас происходит, о том свидетельствует. Именно так все мятежи и начинаются.

— Да, начинаются они все одинаково, — заметил Сальватор. — Правда, заканчиваются они, как правило, по-разному.

— Этот кончится хорошо, за это я отвечаю, — заверил г-н Жакаль.

— Ну, раз вы отвечаете!.. — бросил Сальватор.

— На этот счет я ничуть не сомневаюсь.

— Дьявольщина!

— Но вы должны понимать, что, несмотря на особое покровительство, которое я готов оказать вашим друзьям, с ними, как я уже сказал, может произойти несчастье. А потому попросите их удалиться.

— Увольте меня от этого, — попросил Сальватор.

— Отчего же?

— Они решили остаться до конца.

— С какой целью?

— Из любопытства...

— Знаете, не так уж это интересно.

— ...тем более что, судя по вашим словам, в одном можно быть уверенным: сила останется на стороне закона.

— Что, однако, не мешает вашим друзьям, если они останутся...

— Чему же?

— ...подвергнуть себя риску...

— Какому риску?

— Черт побери! Какому риску подвергается любой человек во время мятежа? Возможны неконституционные меры...

— В таком случае, дорогой господин Жакаль, как вы понимаете, не мне их жалеть.

— То есть, как?

— Они получают то, чего заслуживают.

— Что вы хотите этим сказать?

— Они пожелали увидеть мятеж: пусть расплачиваются за свое любопытство.

— Они хотели посмотреть на мятеж? — переспросил г-н Жакаль.

— Да, — отвечал Сальватор.

— Так они, значит, знали, что был должен вспыхнуть мятеж? Ваши друзья заранее знали о том, что здесь произойдет?

— Во всех подробностях, дорогой господин Жакаль. Даже самые бывалые моряки не могут предсказать бурю с большей проникаемостью, нежели мои друзья почуяли надвигающийся мятеж.

— В самом деле?

— Можете не сомневаться. Признайтесь, дорогой господин Жакаль, что только слепец может не понять, что здесь происходит.

— И что же происходит? — спросил г-н Жакаль, водружая очки на нос.

— А вы не знаете?

— Не имею ни малейшего представления.

— Тогда спросите вон у того господина, которого арестовывают на наших глазах.

— Где? — спросил г-н Жакаль, не поднимая очков; это свидетельствовало о том, что он не хуже Сальватора видел, что происходит. — У какого господина?

— Ах да, верно, у вас такое слабое зрение, что вы, наверное, не видите. Попробуйте, однако... Смотрите; вон там, в двух шагах от монаха.

— Да, в самом деле, я, кажется, вижу белое одеяние.

— Ах, клянусь Небом, это же аббат Доминик, друг несчастного Коломбана! — вскричал Сальватор. — А я-то полагал, что он в Бретани, в замке Пангоэлей.

— Он там действительно был и вернулся нынче утром,— сообщил г-н Жакаль.

— Нынче утром? Благодарю вас, вы прекрасно осведомлены, господин Жакаль,—с улыбкой подхватил Сальватор.— А рядом с ним, видите?..

— Да, черт возьми, там арестовывают какого-то человека, верно, и мне от всей души жаль этого господина.

— Так вы не знаете, кто это?

— Нет.

— А тех, кто его арестовывает, вы знаете?

— У меня такое слабое зрение... И потом, их там много, как мне кажется.

— Вы не знаете даже тех двоих, что держат его за шиворот?

— Да, да, эти парни мне знакомы. Но где, черт возьми, я мог их видеть? Вот в чем вопрос.

— Итак, вы не помните?

— По правде говоря— нет.

— Хотите я вам помогу?

— Доставьте мне это удовольствие!

— Того, что ростом пониже, вы видели, когда он отправлялся на каторгу, а высокого— когда он с каторги возвращался.

— Да, да, да!

— Теперь вспомнили?

— Да я их знаю как облупленных: они же находятся у меня на службе. Какого дьявола они там делают?

— Полагаю, они работают на вас, господин Жакаль.

— Уф!— произнес г-н Жакаль.— Не исключено, что сейчас чудаки работают на себя. Такое с ними случается.

— Да, в самом деле,—заметил Сальватор.— Один из них только что срезал у пленника часы.

— Я же вам говорил... Ах, дорогой господин Сальватор! Полиция так несовершенна!

— Кому вы это рассказываете, господин Жакаль!

И, не заботясь, видимо, больше тем, чтобы его дольше видели в обществе г-на Жакаля, Сальватор отступил на шаг и поклонился.

— Рад был увидеться с вами, господин Сальватор,— проговорил, отступая, начальник полиции и торопливо зашагал в ту сторону, где Жибасье и Карманьоль пытались арестовать г-на Сарранти.

Мы говорили «пытались», потому что, хотя г-на Сарранти и схватили за шиворот двое полицейских, он не намерен был сдаваться.

Прежде всего он попытался вступить в переговоры.

Заслышав слова: «Именем короля вы арестованы», которые шепнули ему с двух сторон Карманьоль и Жибасье, он отозвался в полный голос:

— Я арестован?! За что?

— Не надо шуметь!—вполголоса заметил на это Жибасье.— Мы вас знаем.

— Вы меня знаете? — вскричал Сарранти, смерив взглядом сначала одного, потом другого полицейского.

— Да, вы — Дюбрей, — отвечал Карманьоль.

Как помнят читатели, г-н Сарранти написал сыну, что находится в Париже под именем Дюбрея, и г-н Жакаль, не желавший придавать этому аресту политической окраски, посоветовал своим людям арестовать ловкого заговорщика как Дюбрея.

Видя, что его отца пытаются арестовать, Доминик поддался сыновнему чувству и бросился ему на помощь.

Однако г-н Сарранти жестом остановил его.

— Не вмешивайтесь в это дело, сударь, — сказал он монаху. — Я пал жертвой ошибки; я уверен, что завтра же меня освободят.

Монах поклонился и отступил: он воспринял слова отца как приказ.

— Разумеется, — подхватил Жибасье, — если мы ошибемся, то принесем вам свои извинения.

— А по какому праву вы налагаете на меня арест?

— Мы действуем согласно постановлению об аресте некоего господина Дюбрея, а вы так на него похожи, что я счел своей первой обязанностью вас арестовать.

— Однако, если вы боитесь огласки, почему задерживаете меня именно здесь?

— Да где встретили вас, там и задержали! — ухмыльнулся Карманьоль.

— Не говоря уж о том, что мы гонимся за вами с самого утра, — поддержал Жибасье.

— С самого утра?

— Ну да! С той самой минуты, как вы покинули гостиницу.

— Какую гостиницу? — удивился Сарранти.

— Ту, что находится на площади Сент-Андре-дез-Арк, — уточнил Жибасье.

Господина Сарранти словно осенило. Ему почудилось, что он уже видел лицо и слышал голос Жибасье.

Он вспомнил свое путешествие, мадьяра, курьера, кучера — все это как в тумане и в то же время достаточно ясно, скорее инстинктивно, чем осознанно, но сомнений у него не осталось.

— Ничтожество! — смертельно побледнев, бросил корсиканец и решительно запустил руку в складки плаща.

Жибасье увидел, как сверкнуло лезвие кинжала, и вполне возможно, что за этим последовала бы смерть, как гром сопутствует молнии, если бы не Карманьоль: он увидел и понял, что происходит, и обеими руками перехватил занесенное было оружие.

Чувствуя себя зажатым с обеих сторон, Сарранти неимоверным усилием сбросил с себя полицейских и, зажав в руке кинжал, прыгнул в толпу с криком:

— Дорогу, дорогу!

Но Жибасье и Карманьоль бросились следом, сзывая на помощь своих товарищей.

Вокруг г-на Сарранти в одно мгновение сомкнулось плотное кольцо; над его головой уже были занесены два десятка кастетов, и он, очевидно, пал бы, как бык под ударами мясников, но в эту минуту раздался приказ:

— Живым!.. Брать только живым!

Полицейские узнали голос своего начальника г-на Жакаля, и мысль о том, что они трудятся у него на виду, будто придали им сил: они так и набросились на г-на Сарранти.

Произошла ужасная свалка. Один человек отбивался от двадцати; потом он упал на одно колено, а вскоре и вовсе пропал из виду...

Доминик ринулся было ему на помощь, но толпа в панике шарахнулась в сторону и с криками устремила по улице, разлучив сына с отцом.

Монах уцепился за решетку особняка, чтобы обезумевшие от страха люди не унесли его вместе с собой; но когда толпа схлынула, г-н Сарранти вместе с избивавшими его полицейскими уже исчез.

IX

Официальные газеты

Мы дали читателям представление о том, какие сцены разыгрывала полиция г-на Делаво 30 марта благословенного 1827 года.

Чем объяснить такой скандал? Какова причина нелепой профанации, совершившейся над тем, что осталось от благородного герцога?

Никто этого не ведал.

Правительство не могло простить г-ну де Ларошфуко-Лианкуру искренности его убеждений. Чтобы урожденный Ларошфуко принадлежал к оппозиции и голосовал за нее!.. По правде говоря, в этом и состояло его преступление, это было оскорблением его величества, и правительство просто обязано было покарать виновного.

Оно позабыло о Ларошфуко-фрондере. Правда, он был наказан: сначала — выстрелом из аркебузы в лицо, затем — черной благодарностью.

Действительно, правительство мало-помалу лишило г-на де Ларошфуко — мы, разумеется, имеем в виду нашего современника — всех званий, а также возможности заниматься благотворительностью. И вот, притесняемый при жизни, он не нашел покоя и после смерти: правительство стремилось помешать благодарным согражданам засвидетельствовать свое почтение усопшему; оно пыталось противостоять любви и уважению, которое внушал парижанам герцог благодаря своей долгой и самоотверженной службе на ниве благотворительности и образования.

Толпа знала, откуда исходил приказ, и во всеуслышанье обвиняла г-на де Корбьера, которого заслуженно или нет сделали козлом отпущения всего кабинета министров 1827 года.

Мы еще будем свидетелями отвратительных сцен, беспорядков, мятежей, подстроенных самой полицией той эпохи. Пока же мы полагаем, что дали достаточно ясное представление об ужасной свалке и кровавой бойне, которыми закончились похороны прославленного герцога.

Что же послужило причиной того, как мужчины, женщины и дети хлынули сплошным потоком по улице и разлучили Доминика с г-ном Сарранти, сына с отцом.

В то мгновение, как мятеж достиг высшей точки, когда со всех сторон стали доноситься крики гибнущих в давке людей, завывания мужчин, жалобные стоны женщин, рыдания детей, иными словами — в ту минуту, как солдаты, примкнув штыки, двинулись на учащихся Шалонской школы, чтобы силой завладеть гробом, вдруг раздался пронзительный крик, а вслед за тем — оглушительный шум, после чего словно по волшебству вдруг стихли все другие крики, стоны, завывания человеческого океана.

На мгновение установилась пугающая тишина; можно было подумать, что неведомая сила лишила жизни сразу всех присутствующих.

Крик, заставивший замереть толпу, донесся из одного из окон, выходящих на площадь, где разыгралась эта кошунственная драма.

Толпа загудела, когда одного из юношей, несших гроб, ранил штыком солдат; между учащимися и солдатами завязалась борьба; и гроб с телом герцога с оглушительным грохотом упал на мостовую.

В ту же секунду свидетели этой жуткой сцены, словно пораженные громом, отпрянули, объятые необъяснимым ужасом, и подавленные юноши остались одни в образовавшемся вокруг них пространстве.

Это движение было неверно истолковано теми, кто испытал толчок, но не знал его причины: толпа хлынула в прилегающие улицы, основной поток затопил улицу Мондови.

Один из учащихся распластался на мостовой рядом с гробом: он получил удар штыком в бок. Товарищи подняли его и сомкнули ряды.

Кровавый след тянулся от гроба до того места, куда скрылся раненый.

Офицер, комиссар полиции и солдаты оказались хозяевами положения.

Сила осталась на стороне закона, как говорил Сальватор; он стоял на прежнем месте, одной рукой удерживая Жюстена, другой — Жана Робера, и говорил Петрусу и Людовику:

— Заклинаю вас: не двигайтесь!

Подавленные и пристыженные солдаты подошли к разбитому гробу, подобрали покров и знаки отличия покойного, вывалянные в грязи и частично угодившие в лужу.

Как мы уже сказали, вслед за раздавшимся из окна криком, леденящим кровь и перекрывшим все остальные крики, вслед за первым движением толпы, метнувшейся в разные стороны, наступила гробовая тишина.

Ни громкий протест, ни энергичная защита, ни бурное возмущение не способны были бы выразить упрека горше и угрозы более зловещей, чем эта сдержанность толпы, почтительное созерцание мертвого тела, молчаливое осуждение обидчиков.

И вот среди грозного молчания виновник всего этого кошунства, человек в черном, комиссар полиции, выскочил вперед, знаком приказал носильщикам взяться за гроб, поставить его на катафалк, а офицеру жестом дал понять, чтобы тот был наготове, потому что может понадобиться его помощь.

Вдруг комиссар и офицер смертельно побледнели, на их лицах выступил холодный пот: сквозь щели поврежденного во многих местах гроба они увидели, как в их сторону простерлась исхудавшая рука покойника, будто осуждавшего их действия, и, отделившись от тела, готова была вот-вот опуститься на мостовую.

Если кому-нибудь вздумается обвинить нас в стремлении нагнать на читателя ужас, советуем обратиться к выводам следствия, проведенного в результате этого скандального события: когда гроб с телом герцога де Ларошфуко привезли в Лианкур, где находится фамильный склеп семейства Ларошфуко, то в ночь, предшествовавшую погребению, пришлось не только заняться починкой гроба, сильно пострадавшего, как мы уже сказали, но и «вернуть в их естественное положение члены, отделившиеся от туловища»¹.

Поспешим прибавить — чтобы более не возвращаться к этой печальной теме, — что возмущение всколыхнуло всю Францию.

Все неправительственные газеты опубликовали отчет об этом отвратительном происшествии и вполне справедливо выразили гнев и презрение виновникам одиозной профанации.

Обе палаты откликнулись на всеобщее возмущение, в особенности палата эрзов, воспринявшая происшествие как оскорбление одного из ее членов; она не ограничилась осуждением этого надругательства над телом человека, единственное преступление которого состояло в том, что он голосовал против правительства: палата поручила своему хранителю печати провести расследование; и тот изложил на заседании палаты его результаты и во всеуслышанье обвинил полицию в преднамеренном скандале, скандале тем более предосудительном, что имели место многочисленные прецеденты, когда гроб несли на руках, например во время похорон Делиля, Беклара и г-на Эмери, настоятеля семинарии Сен-Сюльпис: тогда полиция разрешила нести останки друзьям и ученикам усопших. Гроб г-на Эмери был

¹ Ахилл де Волабель. «История двух Реставраций», т. 6, гл. VII. (Примеч. авт.)

перенесен таким образом слушателями его семинарии до самого кладбища Исси.

Господин де Корбьер выслушал все эти упреки и принял их со свойственными ему холодностью и высокомерием (на что порой палата отвечала гневными вспышками); он не только не счел нужным осудить действия полицейского, оскорбившего память достойнейшего человека, которого он, министр, оскорблял при жизни, но поднялся на трибуну и произнес следующее:

«Если бы выступавшие до меня ораторы ограничились выражением своих сожалений, я бы отнесся с пониманием к их чувствам и не стал бы брать слово. Но они жалуются на правительственные учреждения!.. Префект полиции и полицейские вели себя должным образом; они нарушили бы свои обязанности и навлекли на себя справедливое наказание с моей стороны, если бы действовали иначе».

Члены палаты поблагодарили хранителя королевской печати за доклад и решили дожидаться окончания судебного разбирательства. Разбирательство, разумеется, в положенный срок было окончено, да вот никаких результатов не принесло!

Пока оппозиционные и независимые газеты публиковали на первых полосах возмущенные статьи, выражавшие мнение всего населения, в правительственной прессе появилась нота, продиктованная, очевидно, из кабинета министров или из префектуры, потому что хотя заявления были напечатаны в трех различных газетах, они были похожи и по форме, и по содержанию.

Вот приблизительный текст этой ноты, цель которой заключалась в том, чтобы переложить ответственность за недавние беспорядки на «бонапартистов»:

«Гидра анархии снова поднимает голову, которая, как казалось совсем недавно, уже отсечена; революция, которую полагали угасшей, возрождается из пепла и стучится в наши двери. Она во всеоружии продвигается вперед, незаметно и бесшумно, и монархия вот-вот снова окажется лицом к лицу со своей извечной противницей.

Тревога, преданные слуги Его Величества! Восстаньте, верноподданные! Алтарь и трон, священник и король в опасности!

Имевшие вчера место прискорбные происшествия повлекли за собой неизбежное насилие; прозвучали угрозы, призывы к мятежу и убийствам.

По счастью, в руках префекта полиции уже за сутки до происшедших событий имелись все нити заговора. Благодаря усердию этого добросовестного исполнителя власти разговор провалился; г-н префект выражает надежду, что ему удалось усмирить бурю, в который уже раз угрожавшую поглотить наш корабль.

Был арестован руководитель этого крупного заговора. Он находится в руках полиции, и друзьям порядка, верноподданным короля, еще предстоит узнать, какую важность имел этот арест, когда им станет известно, что предводитель этого заговора, имевшего целью свергнуть монарха и восстановить на троне герцога Рейхштадтского,— не кто иной, как знаменитый

корсиканец Сарранти, прибывший недавно из Индии, где и был замышлен заговор.

Невозможно не содрогнуться при мысли об опасности, угрожавшей правительству Его Величества. Однако очень скоро ужас уступит место возмущению, и все еще раз увидят, чего можно ждать от людей, находившихся на службе у узурпатора, а теперь прислуживающих его сыну, когда узнают, что этот самый Сарранти, в течение нескольких дней скрывавшийся в столице, покинул Париж семь лет назад, когда подозревался в краже и убийстве.

Те из вас, кто читали газеты тех лет, помнят, может быть, что в небольшой деревушке Вири-сюр-Орж в 1820 году разыгралась ужасная драма. Один из уважаемых жителей кантона, возвратившись однажды вечером домой, увидел, что его сейф взломан, служанка убита, двое его племянников похищены, а воспитатель детей исчез.

Этим воспитателем был не кто иной, как г-н Сарранти.

По настоящему делу уже возбуждено уголовное следствие».

Х

Родство душ

Выразительный взгляд, который г-н Сарранти бросил аббату Доминику, а также несколько слов, которые он успел ему шепнуть в тот момент, когда его брали под стражу, повелевали несчастному монаху не вмешиваться и ничем не выдавать своего отношения к происходящему.

Когда толпа, разлучившая Доминика с отцом, схлынула, он бросился вверх по улице Риволи. Там он заметил небольшую группу взволнованных, гомонящих людей, торопливо шагавших в сторону Тюильри, и догадался, что в центре этой группы находится г-н Сарранти. Тогда он пошел следом, но на расстоянии; он старался действовать осмотрительно: ведь его ряса могла привлечь внимание полицейских.

В самом деле, в те времена Доминик был, может быть, единственным монахом-доминиканцем на весь Париж.

На углу улицы Сен-Никез группа остановилась, и с площади Пирамид, где, в свою очередь, остановился Доминик, он разглядел того, кто, как казалось, возглавлял отряд полицейских; этот человек кликнул фиакр, куда и посадили г-на Сарранти.

Доминик последовал за фиакром, пересек площадь Карусели так скоро, как позволяла ему ряса, и подошел к калитке Тюильрийской набережной в ту минуту, как фиакр сворачивал на Новый мост.

Стало понятно, что г-на Сарранти везут в префектуру полиции.

Когда фиакр исчез на углу набережной Люнет, аббат Доминик почувствовал, как кровь прилила к сердцу, а на ум стали приходить мысли одна ужаснее другой.

Два дня и две ночи, проведенные в томительном ожидании, волнения, пережитые в этот день, необъяснимый арест отца —

всего этого было более чем достаточно, чтобы сломить самого выносливого и мужественного человека.

Когда он вернулся к себе, уже стемнело. Он рухнул на кровать, позабыв о еде, и попытался заснуть. Но тысячи тревожных мыслей роились в мозгу и не давали ему покоя: четверть часа спустя он поднялся и в волнении зашагал по комнате словно для того, чтобы уснуть: ему было необходимо израсходовать остатки сил.

Снедавшее беспокойство выгнало его прочь из дому. С наступлением ночи его ряса не так бросалась в глаза и не привлекала любопытных взглядов. Он направил стопы к префектуре полиции, за дверью которой исчез его отец. Она напомнила Доминику бездну, в которую бросается шиллеровский ныряльщик и откуда его отцу, подобно этому ныряльщику, суждено выйти, испытав неподдельный ужас от увиденных там чудищ.

Однако он не рискнул туда войти. Если узнают, что Сарранти—его отец, он таким образом выдаст его настоящее имя.

Ведь г-н Сарранти был арестован под именем Дюбрея. Не лучше ли было оставить полицию в заблуждении, чтобы г-н Сарранти мог извлечь выгоду из вымышленного имени, за которым скрывался настойчивый и опасный заговорщик?

Доминик пока не знал, с какой целью его отец вернулся во Францию, однако догадывался, что речь идет о деле всей его жизни: отстаивании интересов императора или, вернее, его наследника, герцога Рейхштадтского. Два часа сын тенью бродил вокруг того места, где исчез его отец; он вышагивал вдоль улицы Дофин, выходил на площадь Арлей, а от набережной Люнет доходил до площади Дворца правосудия, не чая вновь увидеть того, кого безуспешно искал: было бы настоящим чудом разыскать экипаж, в котором Сарранти перевозили из Депо¹ в другую тюрьму; но Господь мог совершить такое чудо, и простосердечный, добрый, великодушный Доминик верил в Божью помощь.

На сей раз надежды его оказались тщетны. В полночь он вернулся к себе, лег, смежил веки и почувствовал такое изнеможение, что сейчас же заснул.

Но едва он задремал, как его стали одолевать кошмары один другого ужаснее; всю ночь они витали над его головой, а с рассветом Доминик почувствовал, что сон не освежил его, скорее, наоборот.

Он встал и попытался оживить в памяти видения ночи; ему почудилось, что среди мрачных теней промелькнул светлый и непорочный ангел.

Молодой человек подошел к Доминику, лицо у него было открытое и располагающее; он протянул Доминику руку и на незнакомом языке, который, однако, монах понял, сказал: «Обопрись на меня, я тебя поддержу».

Лицо его Доминику было знакомо. Но где, когда, при каких обстоятельствах он его видел? Да и существовал ли

¹ Центральный дом для бродяг в Париже. (Примеч. пер.)

в действительности этот пригрезившийся человек? Или это было всего лишь туманное воспоминание, которое, кажется, сопутствует нам из предыдущей жизни и появляется только во сне? Не было ли это видение воплощением надежды, этаким мечтой бодрствующего человека?

Доминик из всех сил пытался заглянуть в самые потаенные уголки своей памяти; в задумчивости он присел у окна на тот самый стул, где сидел накануне, разглядывая портрет св. Гиацинта, которого теперь не было с ним. Он вспомнил о Кармелите и Коломбане, а потом мысленно представил себе и Сальватора.

Вот кто был ангелом из его ночного кошмара; вот кто сидел в ночи у его изголовья и старался победить отчаянье Доминика.

И юный монах снова ясно вспомнил обстоятельства, при которых он познакомился с Сальватором. Он будто опять очутился в павильоне Коломбана в Ба-Медоне, где неспешно читал заупокойные молитвы, а из его глаз, поднятых к небу, катились слезы.

Вдруг в комнату, где лежал покойник, вошли двое молодых людей, обнажив и преклонив головы; это были Жан Робер и Сальватор.

Заметив тогда монаха, Сальватор радостно вскрикнул, и Доминик ни за что на свете не догадался бы, чем вызвана эта радость. Но Сальватор подошел к нему и взволнованным голосом, но довольно твердо произнес: «Отец мой! Сами того не подозревая, вы спасли жизнь стоящему перед вами человеку; и человек этот, никогда вас до сих пор не выдавший, бесконечно вам за это признателен. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь быть вам полезен; но всем самым святым, телом святого человека, только что отдавшего Богу душу, клянусь, что спасенная вами жизнь принадлежит вам». А он, Доминик, отвечал так: «Я охотно принимаю ваше предложение, сударь, хотя не знаю, когда и каким образом я мог оказать вам услугу, о которой вы говорите; впрочем, люди — братья и рождены, чтобы друг другу помогать. Итак, когда мне понадобится ваша помощь, я к вам приду. Как вас зовут и где вы живете?»

Читатели помнят, что Сальватор подошел к письменному столу Коломбана, написал свое имя и адрес на листе бумаги и подал монаху, а тот сложил листок и спрятал его в свой часослов.

Теперь Доминик поспешно подошел к книжному шкафу, взял со второй полки книгу и отыскал в ней упомянутый лист бумаги.

И сейчас же, будто описанная сцена произошла в тот же день, у него в памяти всплыл Сальватор, его костюм, черты лица, он вспомнил его голос — все-все до мельчайших подробностей и понял, что именно его видел во сне.

— В таком случае прочь сомнения, сам Господь меня наставляет на этот путь, — сказал он. — Сам не знаю почему, но мне показалось, что этот молодой человек дружен с одним из полицейских чинов, они и вчера разговаривали в церкви Успения. Через этого полицейского Сальватор и может узнать, за что арестовали моего отца. Нельзя терять ни минуты. Побегу-ка я к господину Сальватору!

Он торопливо завершил свой скромный туалет.

Когда он уже собрался уходить, вошла консьержка с чашкой молока в одной руке и с газетой—в другой. Но Доминику недосуг было ни читать газету, ни завтракать. Он приказал консьержке оставить все на столике и обещал вернуться через час-другой, а пока, сказал он, ему необходимо уйти.

Он сбежал по лестнице и через десять минут уже стоял на улице Макон перед домом Сальватора.

Он не нашел ни молотка, ни звонка.

Днем дверь отпиралась при помощи цепочки, потянув за которую вы приподнимали задвижку; а на ночь цепочка убира-лась внутрь, и дом оказывался заперт.

То ли никто еще не выходил из дома, то ли цепочка случайно оказалась изнутри, но отворить дверь оказалось совершенно невозможно.

Доминику пришлось постучать сначала кулаком, потом кам-нем, который он подобрал с земли.

Несомненно, он стучал бы долго, но залаял Роланд, преду-преждая Сальватора и Фраголу, что пришел незваный гость. Фрагола прислушалась.

— Это пришел друг,— заметил Сальватор.

— Почему ты знаешь?

— Пес лает радостно. Отвори окно, Фрагола, и убедись, кто к нам пришел.

Фрагола выглянула в окно и узнала аббата Доминика, того самого, которого она видела в день смерти Коломбана.

— Это монах,— сообщила она Сальватору.

— Какой монах?.. Аббат Доминик?

— Да.

— Я же тебе говорил, что это друг!— вскричал Сальватор.

Он поспешил вниз по лестнице, а впереди него несли Роланд: пес скатывался по ступеням всякий раз, как отворялась дверь.

XI

Бесполезные сведения

Сальватор с нежной почтительностью протянул руки на-встречу аббату Доминику.

— Это вы, отец мой!— воскликнул он.

— Да,— невозмутимо ответил монах.

— Добро пожаловать!

— Вы меня, стало быть, узнали?

— Вы же мой спаситель!

— Так вы мне, во всяком случае, сказали, и это произошло при слишком печальных обстоятельствах, которые вы, наверное, не забыли.

— Да, и я снова готов повторить, что я весь к вашим услугам.

— Вы помните, что вы тогда прибавили?

— Что если когда-нибудь вам понадобится моя помощь, то спасенная вами жизнь принадлежит вам.

— Как видите, я не забыл о вашем любезном предложении. Мне нужна ваша помощь, и вот я здесь.

За разговором они подошли к той самой небольшой столовой, что была украшена в соответствии с античным наброском из Помпеев.

Молодой человек указал монаху на стул и жестом приказал Роланду оставить гостя в покое: пес обнюхивал сутану аббата Доминика, словно сам хотел определить, при каких обстоятельствах видел его раньше. Сальватор сел рядом с монахом. Роланд, подчиняясь хозяину, забился под стол.

— Слушаю вас, отец мой,—молвил Сальватор.

Монах положил белую тонкую руку на руку Сальватора. Его знобило.

— Человек, к которому я испытываю глубокое почтение,—начал аббат Доминик,—всего несколько дней назад прибыл в Париж и вчера на моих глазах был арестован на улице Сент-Оноре рядом с церковью Успения, а я не посмел прийти ему на помощь, потому что был в сутане.

Сальватор кивнул.

— Я видел, отец мой,—сказал он,—и должен прибавить, что, к его чести, защищался он как лев.

Аббат при воспоминании о недавнем происшествии содрогнулся.

— Да,—подтвердил он,—и я боюсь, что при всей законности такого поведения его самозащиту вменят ему в вину.

— Так вы, стало быть, знакомы с этим господином?—пристально взглянув на монаха, продолжал Сальватор.

— Как я вам уже сказал, я к нему нежно привязан.

— А в чем его обвиняют?—полюбопытствовал Сальватор.

— Это-то мне и неизвестно; именно это я и хотел бы знать; вот я и пришел к вам за услугой: помогите мне разузнать, за что его арестовали.

— И это все, чем я могу быть вам полезен, отец мой?

— Да. Я помню, как вы приезжали в Ба-Медон в сопровождении господина, который, как мне показалось, занимает внушительную должность в полиции. Вчера я снова видел вас в его обществе. Я подумал, что через него вы, вероятно, сможете узнать, в чем повинен мой... мой друг.

— Как зовут вашего друга, отец мой?

— Дюбрей.

— Чем он занимается?

— В прошлом он военный, а в настоящее время живет, если не ошибаюсь, на свое состояние.

— Откуда он приехал?

— Издалека... Из какой-то азиатской страны...

— Он, стало быть, путешественник?

— Да,— печально покачал головой аббат.— Все мы — странники.

— Я надену редингот и буду к вашим услугам, отец мой. Мне бы не хотелось заставлять вас ждать. Судя по вашему печальному виду, вы очень обеспокоены.

— Да, очень,— подтвердил монах.

Сальватор, бывший до сих пор в блузе, перешел в соседнюю комнату и спустя минуту появился уже в рединготе.

— Приказывайте, отец мой! — сказал он.

Аббат торопливо поднялся, и оба вышли из дома.

Роланд поднял голову и провожал их умным взглядом до тех пор, пока не захлопнулась дверь. Но видя, что, по всей вероятности, он не нужен, раз его не зовут с собой, он опустил морду на лапы и глубоко вздохнул.

В воротах Доминик остановился.

— Куда мы идем? — спросил он.

— В префектуру полиции.

— Позвольте мне взять фиакр,— попросил монах.— Моя сутана бросается в глаза; возможно, я причину своему другу вред, если кто-то узнает, что я о нем беспокоюсь; мне кажется, это совершенно необходимая мера предосторожности.

— Я и сам хотел обратиться к вам с этим предложением.

Молодые люди подозвали фиакр и сели. В конце моста Сен-Мишель Сальватор вышел.

— Я буду вас ждать на углу набережной и площади Сен-Жермен-л'Осеруа,— сказал монах.

Сальватор в ответ кивнул. Фиакр поехал дальше по улице Барийри, Сальватор спустился по набережной Орфевр.

Господина Жакаля не было в префектуре. События, имевшие место накануне, привели Париж в волнение. Опасались или, выражаясь точнее, надеялись на беспорядки. Все полицейские во главе с г-ном Жакалем находились в городе, и привратник не знал, когда начальник полиции вернется.

Ждать было бесполезно; разумнее было отправиться на его поиски.

То ли благодаря тому, что Сальватор хорошо знал г-на Жакаля, то ли у него самого был отличный нюх, но он уже знал, где искать начальника полиции.

Он спустился по набережной, свернул направо и пошел по Новому мосту.

Не прошел он и нескольких шагов, как услышал, что кто-то барабанит в стекло экипажа, желая, по-видимому, привлечь его внимание. Он остановился.

Экипаж тоже остановился.

Распахнулась дверца.

— Садитесь! — сказали из кареты.

Сальватор хотел было извиниться и объяснить, что спешит на поиски приятеля, как вдруг узнал в человеке, от которого исходило приглашение, самого генерала Лафайета.

Не медля ни секунды, Сальватор сел рядом с ним.

Карета снова тронулась в путь, но очень медленно.

— Вы — господин Сальватор, не так ли? — спросил генерал.

— Да. Я дважды имел честь встретиться с вами по поручению верховной венты.

— Совершенно верно! Я вас узнал и потому остановил вас. Вы возглавляете ложу, не правда ли?

— Да, генерал.

— Сколько у вас человек?

— Не могу назвать точную цифру, генерал; однако должен сказать, что немало.

— Двести? Триста?

Сальватор улыбнулся.

— Генерал! — молвил он. — Когда я вам понадобится, обещаю вам три тысячи бойцов.

Генерал недоверчиво взглянул на Сальватора.

Сальватор уверенно кивнул.

Плядя Сальватору в лицо, невозможно было усомниться в его словах.

— Чем больше в вашем подчинении людей, тем более необходимо узнать вам новость.

— Какую?

— Венское дело провалилось.

— Я так и думал, — проговорил Сальватор. — Вот почему я посоветовал своим людям ни во что не вмешиваться.

— И правильно сделали. Сегодня готовится мятеж.

— Знаю.

— А ваши люди?

— Вчерашнее приказание распространяется и на сегодняшний день. А теперь, генерал, позвольте спросить: можно ли доверять источнику, из которого исходит эта новость?

— Я узнал о провале Венского дела от господина де Маранда, а тот — от герцога Орлеанского.

— Принцу, очевидно, известны подробности?

— Несомненно. Вчера прибыл курьер под видом торгового агента, отправленного фирмой Акроштейна и Эскелеса из Вены в Париж к Ротшильдам. На самом деле посланец должен был предупредить принца.

— Значит, на заговорщиков донесли?

— В точности неизвестно, подстроен ли этот провал полицией или это несчастный случай из тех, что способны изменить судьбу целой империи. Вы, конечно, знаете, что было решено там?

— Да. Один из руководителей заговора все нам рассказал. Герцог Рейхштадтский через посредство своей любовницы связался с бывшим сподвижником Наполеона, генералом Лебастаром

де Премоном. Юный принц дал согласие на свое похищение; оно должно было произойти в тот день, когда будет недоставать одной буквы в слове «ХАЙРЕ», написанном бронзовыми буквами над дверью виллы, которая расположена между въездом в Майдлинг и Зеленой горой. Это все, что мне известно.

— Ну так слушайте! Двадцать четвертого марта буква «Е» исчезла. В семь часов вечера герцог набросил на плечи плащ и вышел. Когда он подошел к Майдлингским воротам, один из сторожей (а сторожа в Шенбруннском дворце — из придворных жандармов) преградил герцогу путь.

«Это я,— проговорил принц.— Вы не узнаете меня?»

«Так точно, узнаю, ваша светлость,— отдавая честь, отвечал сторож,— однако...».

«Через два часа здесь будете стоять вы же?»

«Нет, монсеньор. Теперь половина восьмого, а ровно в девять меня сменят».

«Передайте тому, кто придет вам на смену, что я вышел, на случай, если вдруг он не знает меня в лицо. Пусть пропустит меня обратно. После горячих любовных ласк было бы невесело провести холодную ночь на дороге».

С этими словами принц сунул четыре золотые монеты жандарму в руку.

«Это вам на двоих с вашим товарищем,— прибавил он.— Будет несправедливо, если тому, кто меня выпустил, достанется все, а тому, кто впустит,— ничего».

Солдат принял золото, и герцог вышел за ворота. У подножия Зеленой горы его ждал экипаж в сопровождении четверых всадников. Герцог сел в карету, и лошади помчались рысью. Четверо верховых поскакали следом.

Одним из всадников был генерал Лебастар де Премон; ему надлежало на протяжении трех почтовых прогонов сопровождать карету верхом, а затем сесть рядом с герцогом и продолжать путь подле него. Кorteж обогнул Шенбруннский дворец и через Баумгартен и Нуттельдорф подъехал к Вейдлингену. В том месте расположен мост через Вьенн. Проехать по мосту оказалось невозможно: опрокинулась телега, в которой везли на продажу телят.

«Очистите дорогу!» — приказал генерал троим своим спутникам.

Те спешили и вознамерились было устранить препятствие. Однако в эту минуту из близлежащей харчевни вышел, сверкая каской и эполетами, генерал Гудон. За ним следовали еще два десятка человек.

«Поворачивайте назад!» — приказал генерал мнимому форейтору.

Тот понял, что настала решительная минута, и уже разворачивал лошадей, как вдруг с той стороны, откуда только что приехала карета герцога, раздался конский топот.

«Бегите, генерал! — закричал герцог.— Нас предали!»

«А как же вы, монсеньор?!...»

«За меня не тревожьтесь, мне ничего не грозит... Бегите же! Бегите!»

«Но, ваша светлость...».

«Приказываю вам бежать, или вы пропали! Если угодно, заклинаю вас именем моего отца: бегите!»

«Именем императора! — раздался мощный голос. — Всем стоять!»

«Слышите? — молвил герцог. — Бегите же, я так хочу! Я прошу вас!»

«Вашу руку, монсеньор!»

Герцог подал руку через окно кареты, генерал припал к ней губами. Затем он пришпорил коня и хлыстом заставил перепрыгнуть через парапет. Все слышали, как всадник и конь упали в воду, а больше — ни звука! Ночь стояла темная, и невозможно было разглядеть, что случилось с генералом. А герцога препроводили в Вену, в императорский дворец.

— И вы полагаете, генерал, — спросил Сальватор, — что телега опрокинулась на мосту случайно, как случайно по обе стороны моста появились солдаты?

— Может, и так; однако герцог Орлеанский придерживается другого мнения; он полагает, что полиция господина Меттерниха получила предупреждение от французской полиции... Теперь вы знаете все... Будьте осмотрительны!

Генерал приказал кучеру остановиться.

— Не беспокойтесь, генерал, — отвечал Сальватор.

Выходя из кареты, он замешкался.

— В чем дело? — спросил Лафайет.

— Могу ли я надеяться с вашей стороны на милость, которой был удостоен генерал Лебастар де Премон, прощаясь с герцогом Рейхштадтским?

И он приготовился поцеловать у генерала руку. Однако тот убрал руку и подставил ему обе щеки.

— Поцелуйте меня самого, если угодно, а ручку облобызайте первой же хорошенькой женщине, — сказал генерал.

Сальватор поцеловал генерала и вышел из кареты; она покатила к Люксембургскому дворцу.

А Сальватор пошел назад по улице Дофин, затем — через мост Искусств.

Фиакр ждал его на углу набережной и площади Сен-Жермен-л'Осеруа.

Несчастный Доминик и вовсе потерял бы голову от горя, если бы узнал все то, о чем генерал Лафайет поведал Сальватору!

Сальватор в двух словах сообщил монаху, что г-на Жакаля на месте не оказалось; он не стал рассказывать, что задержало его самого, и лишь объяснил причину задержки.

Но, повторяем, Сальватор знал, где искать г-на Жакаля.

Ни минуты не колеблясь, он приказал кучеру отвезти брата Доминика на угол улицы Нев-дю-Люксембур, и пока фиакр ехал

вдоль набережных, сам он пересек Луврский двор и спустился к улице Сент-Оноре.

Как он и предвидел, начиная от церкви св. Рока улица Сент-Оноре была запружена народом.

В Париже существуют любопытные, жадные до происшествий, а также любопытные, охочие до того, чтобы поглазеть на место происшествия.

И вот, десять или двенадцать тысяч таких зевак с женами и детьми пришли на место происшествия.

Это было похоже на народное гулянье в Сен-Клу или Версале.

В толпе любопытных Сальватор и рассчитывал отыскать г-на Жакаля.

Сальватор ринулся в самую гущу.

Мы не сможем в точности сказать, со сколькими людьми он обменялся взглядами и рукопожатиями, но все это — в полном молчании, только жестом он давал всем понять: «Ничего!» Так он добрался до улицы Пэ.

Против особняка Майенсов Сальватор остановился. Он увидел того, кого искал.

Г-н Жакаль, в потертом рединготе, шляпе в стиле Боливара и с зонтом под мышкой, брал щепоть табаку из табакерки с изображением Хартии; при этом он разглагольствовал о вчерашних событиях, обвиняя во всем полицию.

Когда г-н Жакаль поднял очки, то встретился взглядом с Сальватором; он ничем не выдал, что узнал Сальватора, но тот понял, что г-н Жакаль его увидел.

И верно, спустя мгновение начальник полиции снова взглянул в ту сторону, где стоял Сальватор, и в его глазах читался вопрос:

«Хотите мне что-то сказать?»

«Да», — так же взглядом отвечал комиссионер.

«Ступайте вперед: я иду следом».

Сальватор пошел вперед и свернул в ворота.

Г-н Жакаль повторил его маневр.

Сальватор обернулся, едва заметно поклонился, но руки не подал.

— Можете мне не верить, господин Жакаль, — сказал он, — но именно вас я искал.

— Я вам верю, господин Сальватор, — хитро посмеиваясь, отозвался начальник полиции.

— Мне помог случай, — продолжал Сальватор. — Ведь я только что из префектуры.

— Неужели? — удивился г-н Жакаль. — Вы удостоили меня чести зайти ко мне?

— Да, ваш привратник тому свидетель. Правда, он не мог сказать, где вас искать. Пришлось мне поломать голову, и я пустился на ваши поиски, веря в свою звезду.

— Могу ли я хоть чем-нибудь быть вам полезен, дорогой господин Сальватор?— предложил г-н Жакаль.

— Ну да,— кивнул молодой человек,— ежели, разумеется, пожелаете.

— Дорогой господин Сальватор! Вы слишком редко оказываете мне честь своими просьбами, и я не хотел бы упустить возможности оказать вам услугу.

— Дело у меня к вам нехитрое, в чем вы сейчас убедитесь. Друг одного моего приятеля был арестован вчера вечером во время беспорядков.

— Ага!— только и сказал г-н Жакаль.

— Это вас удивляет?— спросил Сальватор.

— Нет. Вчера, как я слышал, арестовали немало народу. Уточните, о ком вы говорите, господин Сальватор.

— Это несложно. Я как раз показывал вам на него в ту минуту, как его задерживали.

— А-а, так вы о нем?.. Странно...

— Значит, его точно арестовали?

— Не могу сказать наверное: у меня слабое зрение! Не напомните ли вы мне, как его зовут?

— Дюбрей.

— Дюбрей? Погодите, погодите,— вскричал г-н Жакаль, хлопнув себя по лбу, будто никак не мог собраться с мыслями.— Дюбрей? Да, да, да, это имя мне знакомо.

— Если вам нужно что-то уточнить, я мог бы прямо сейчас найти в толпе двоих полицейских, которые его арестовали. Я отлично запомнил их лица и непременно их узнаю, я в этом уверен...

— Вы полагаете?

— Тем более что я заметил их еще в церкви.

— Да нет, это ни к чему. Вы хотели что-то узнать об этом несчастном?

— Я хотел бы только услышать, на каком основании был арестован этот несчастный, как вы его называете?

— В настоящий момент это невозможно.

— Во всяком случае, вы обязаны мне сказать, где, по-вашему, он сейчас находится.

— В Депо, естественно... Если, конечно, какое-нибудь особо тяжкое обвинение не заставило перевести его в Консьержери или Форс.

— Это слишком расплывчато.

— Что же делать, дорогой господин Сальватор! Вы застали меня врасплох.

— Вас, господин Жакаль?! Да разве это возможно?

— Ну вот, и вы туда же! Намеряете на мое имя и на то, что я хитер как лис.

— Черт побери! Такая уж у вас репутация!

— Так знайте: в отличие от Фигаро я стою меньше, чем моя репутация, клянусь вам. Нет, я добрый человек, и в том моя сила.

Меня считают хитрецом, всюду подозревают подвох и никак не ожидают встретить во мне добряка. В тот день, когда дипломат скажет правду, он обманет всех своих собратьев: ведь они ни за что не поверят, что он не солгал.

— Дорогой господин Жакаль! Вам ни за что меня не убедить, что вы приказали арестовать человека, не имея на то причины.

— Послушаешь вас, так можно подумать, что я — король Франции.

— Нет. Вы — король Иерусалимской улицы.

— Вице-король, да и то... всего-навсего префект. Ведь в моем королевстве есть кое-кто повыше меня — господин де Корбьер да господин Делава.

— Итак, вы отказываетесь мне ответить? — в упор глядя на начальника полиции, спросил Сальватор.

— Не отказываюсь, господин Сальватор. Просто это невозможно. Что я могу вам сказать? Арестовали господина Дюбрея?

— Да, господина Дюбрея.

— Стало быть, на то имелись основания.

— Именно это я и хочу знать.

— Должно быть, он нарушил общественный порядок...

— Нет, потому что я наблюдал за ним как раз в ту минуту, как его задерживали. Напротив, он сохранял полное спокойствие.

— Тогда, значит, его приняли за кого-то другого.

— Неужели такое случается?

— Да кто же без греха? — парировал г-н Жакаль, набивая нос табаком.

— Позвольте мне проанализировать ваши ответы, дорогой господин Жакаль.

— Сделайте одолжение. Хотя, сказать по правде, слишком много чести вы им этим окажете, господин Сальватор.

— Личность арестованного вам неизвестна?

— Я видел его вчера впервые в жизни.

— И имя его вам ни о чем не говорит?

— Дюбрей?.. Нет.

— И вы не знаете, за что он задержан?

Господин Жакаль резким движением опустил очки на нос.

— Абсолютно не знаю, — отозвался он.

— Из этого я заключаю, — продолжал Сальватор, — что причина, по которой его задержали, незначительна и, несомненно, скоро он будет освобожден.

— О, разумеется, — в притворно-отеческом тоне отвечал г-н Жакаль. — Вы это хотели узнать?

— Да.

— Что же вы раньше-то не сказали? Я не возьмусь утверждать, что друг вашего приятеля уже на свободе в эту самую минуту. Однако, раз вы взялись за него хлопотать, можете не беспокоиться: как только вернусь в префектуру, я распахну перед этим человеком двери настежь.

— Благодарю! — стараясь проникнуть взглядом в самую душу полицейского, молвил Сальватор. — Так я могу на вас положиться?

— Передайте вашему приятелю, что он может спать спокойно. В моей картотеке за Дюбреем ничего не числится. Это все, что вы желали от меня узнать?

— Так точно.

— По правде говоря, господин Сальватор, — продолжал полицейский, наблюдая за тем, как рассеивается толпа, — вы обращаетесь ко мне за услугами, которые очень похожи на скопление народа: кажется, вот они у вас в руках... ан нет, это всего навсего мыльные пузыри.

— Дело в том, что порой сборища обязывают, как и услуги. Вот почему они так редки и, следовательно, тем и ценны, — со смехом проговорил Сальватор.

Господин Жакаль приподнял очки, взглянул на Сальватора, потом взялся за табак, а его очки снова упали на нос.

— Итак?... — полюбопытствовал он.

— Итак, до свидания, дорогой господин Жакаль, — отозвался Сальватор.

Он поклонился полицейскому, но, как и при встрече, не подал ему руки; перейдя улицу Сент-Оноре, он направился в ту сторону, где ожидал в фиакре Доминик, то есть на угол улицы Нев-дю-Люксембур.

Сальватор распахнул дверцу экипажа и протянул обе руки Доминики со словами:

— Вы мужчина, христианин и, стало быть, знаете, что такое страдание и смирение...

— Боже мой! — воскликнул монах, молитвенно складывая свои белые, изящные руки.

— Положение вашего друга серьезно, весьма серьезно.

— Значит, он все вам сказал?

— Напротив, он не сказал мне ничего, это меня и пугает. Он не знает вашего друга в лицо, имя Дюбрея он впервые услышал лишь вчера, он понятия не имеет, за что его арестовали... Берегитесь, брат мой! Повторяю вам: дело серьезное, очень серьезное!

— Что же делать?

— Возвращайтесь к себе. Я постараюсь навести справки со своей стороны, вы попытайтесь тоже что-нибудь разузнать. Можете на меня рассчитывать.

— Друг мой! — воскликнул Доминик. — Вы так добры, что...

— ...вы хотите мне что-то сообщить? — пристально взглянув на монаха, спросил Сальватор.

— Простите, что я с самого начала не сказал вам всю правду.

— Если еще не поздно, скажите теперь.

— Арестованного зовут не Дюбрей, и он мне не друг.

— Неужели?

— Это мой отец, господин Сарранти.

— Ага! — вскричал Сальватор. — Теперь я все понял!

Он взглянул на монаха и прибавил:

— Поезжайте в ближайшую церковь и молитесь!

— А вы?

— Я... попытаюсь действовать.

Монах взял Сальватора за руку и, прежде чем тот успел ему помешать, припал к ней губами.

— Брат! Брат! — вскричал Сальватор. — Я же вам сказал, что принадлежу вам телом и душой, но нас не должны видеть вместе. Прощайте!

Он захлопнул дверцу и торопливо зашагал прочь.

— В церковь Сен-Жермен-де-Пре! — приказал монах.

И пока фиакр катил по мосту Согласия неспешно, как и положено фиакру, Сальватор почти бегом поднимался по улице Риволи.

ХII

Призрак

Церковь Сен-Жермен-де-Пре, ее римский портик, массивные колонны, низкие своды, царящий в ней дух XVIII века — все говорило о том, что это один из самых мрачных парижских храмов; значит, там скорее, чем в другом месте, можно было побыть в одиночестве и обрести душевный подъем. Не случайно Доминик, снисходительный священник, но строгий человек, избрал Сен-Жермен-де-Пре, чтобы попросить Бога о своем отце.

Молился он долго; было уже пять часов, когда он вышел оттуда, спрятав руки в рукава и уронив голову на грудь.

Он медленно побрел к улице По-де-Фер, лелея робкую надежду, что отец уже вышел из тюрьмы и, возможно, заходил к нему.

И первое, о чем аббат спросил славную женщину, исполнявшую при нем обязанности консьержки и служанки, не приходил ли кто-нибудь в его отсутствие.

— Как же, отец мой, заходил какой-то господин...

Доминик вздрогнул.

— Как его зовут? — поспешил он с вопросом.

— Он не представился.

— Вы никогда его раньше не видели?

— Нет...

— Вы уверены, что это был не тот же господин, что приносил мне третьего дня письмо?

— Нет, того я узнала бы: никогда не видела таких сумрачных лиц, как у него.

— Несчастный отец! — пробормотал Доминик.

— Нет! — продолжала консьержка. — Человек, который заходил дважды — а он был два раза: в полдень и в четыре часа, — худой и лысый. На вид ему лет шестьдесят, у него глубоко посаженные глазки, а голова — как у крота, и вид у него совсем

больной. Думаю, вы скоро его увидите; он сказал, что у него дело, а потом он пойдет еще... Пустить его к вам?

— Разумеется,— рассеянно отвечал аббат; в эту минуту его занимала только мысль об отце.

Он взял ключ и намерился подняться к себе.

— Господин аббат...— остановила его хозяйка.

— Что такое?

— Вы, стало быть, уже обедали нынче?

— Нет,— возразил аббат.

— Значит, вы ничего не съели за целый день?

— Я об этом как-то не думал... Принесите мне что-нибудь из трактира на свой выбор.

— Если господину аббату угодно,— промолвила славная женщина, бросив взгляд в сторону печки,— я могу предложить отличный бульон.

— Пусть будет бульон!

— А потом я брошу на решетку пару отбивных; это будет гораздо вкуснее, чем в трактире.

— Делайте, как считаете нужным.

— Через пять минут бульон и отбивные будут у вас.

Аббат кивнул и стал подниматься по лестнице.

Войдя к себе, он отворил окно. Последние лучи заходящего солнца позолотили ветви деревьев в Люксембургском саду, на которых уже начинали набухать почки.

Сиреневатая дымка, повисшая в воздухе, свидетельствовала о приближении весны.

Аббат сел, оперся локтем о подоконник и залюбовался вольными воробышками, громко щебетавшими перед возвращением в грабовый питомник.

Верная данному слову, консьержка принесла бульон и пару отбивных; не желая прерывать размышления постояльца — а она уже привыкла видеть его задумчивым,— она придвинула стол к окну, у которого сидел монах, и подала обед.

У аббата вошло в привычку крошить хлеб и подкармливать птиц, слетавшихся к его окну, подобно древним римлянам, стекавшим к двери Лукулла или Цезаря.

Целый месяц окно оставалось закрытым; все это время птицы тщетно зывали к своему покровителю, сидя на внешней половине подоконника и с любопытством заглядывая через стекло.

Комната была пуста: аббат Доминик находился в это время в Пангоэле.

Но когда птахи увидали, что окно снова отворилось, они стали чирикать вдвое громче прежнего. Казалось, они передают друг другу добрую весть. Наконец некоторые из них, те, что были внимательнее других, решились подлететь к монаху.

Шум крыльев привлек его внимание.

— А-а, бедняжки! — молвил он. — Я совсем было о вас позабыл, а вы меня помните. Вы лучше меня!

Он взял, как раньше, хлеб и стал его крошить.

И вот уже вокруг него закружились не два-три самых отважных воробышка, а все его старые знакомцы.

— Свободны, свободны, свободны! — бормотал Доминик. — Вы свободны, прелестные пташки, а мой отец — пленник!

Он снова рухнул в кресло и глубоко задумался.

Он автоматически выпил бульон и проглотил отбивные с корочкой хлеба, мякиш от которого отдал птицам.

Тем временем день клонился к вечеру, освещая лишь верхушки деревьев да труб. Птицы улетели, и из грабового питомника доносился их затихающий щебет.

Все так же машинально Доминик протянул руку и развернул газету.

В двух первых колонках пересказывались события, имевшие место накануне. Аббат Доминик знал, чего можно ожидать от правительственной газеты, и пропустил эти колонки. Взглянув на третью, он задрожал всем телом, а на лбу у него выступил холодный пот: не успев еще прочесть статью, он выхватил взглядом несколько раз повторявшееся имя отца.

По какому же поводу упоминали в газете о г-не Сарранти?

Несчастный Доминик испытал потрясение сродни тому, что пережили сотрапезники Валтасара, когда невидимая рука начертала на стене три роковых слова.

Он протер глаза, будто подернувшиеся кровавой пеленой, и попытался читать. Но его руки, сжимавшие газету, дрожали, и строчки запрыгали перед глазами, будто солнечные зайчики, отраженные в колеблющемся зеркале.

Вы, разумеется, догадываетесь, что он прочел, не правда ли? В газете сообщалось о том, что его отец — вор и убийца!

Прочитав статью, он застыл на месте словно громом пораженный.

Вдруг он подскочил в кресле и бросился к секретеру с криком:

— Слава Богу! Эта клевета будет возвращена в преисподнюю, откуда она вышла!

И он достал из ящика уже известный читателям документ: исповедь г-на Жерара.

Он страстно припал губами к свитку, от которого зависела человеческая жизнь, более чем жизнь — честь! — честь его отца!

Доминик развернул драгоценный свиток, дабы убедиться в том, что в своей торопливости ничего не перепутал; он узнал почерк и подпись г-на Жерара и снова поцеловал документ, потом спрятал его на груди, вышел из комнаты, запер дверь и торопливо пошел вниз.

В это время навстречу ему поднимался незнакомец. Но аббат не обратил на него внимания и едва не прошел мимо, как вдруг почувствовал, что посетитель схватил его за рукав.

— Прощу прощения, господин аббат, — проговорил незнакомец, — а я как раз к вам.

Доминик вздрогнул при звуке его голоса, показавшегося ему знакомым.

— Ко мне?... Приходите позже,— сказал Доминик.— У меня нет времени снова подниматься вверх.

— А мне некогда еще раз приходить к вам,— возразил незнакомец и на сей раз схватил монаха за руку.

Доминик испытал неизъяснимый ужас.

Руки, сдавившие его запястье железной хваткой, были похожи на руки скелета.

Он попытался разглядеть того, кто так бесцеремонно остановил его на ходу; но лестница тонула в полумраке, лишь слабый свет сочился сквозь овальное оконце, освещаая небольшое пространство.

— Кто вы и что вам угодно? — спросил монах, тщетно пытаясь высвободить руку.

— Я — господин Жерар, — представился гость, — и вы сами знаете, зачем я пришел.

Но происходящее казалось ему совершенно невозможным; чтобы в это окончательно поверить, он хотел не только услышать, но и увидеть воочию г-на Жерара.

Он обеими руками вцепился в посетителя и подтащил его к окну, освещенному закатным солнцем.

Луч выхватил из темноты голову призрака.

Это был в самом деле г-н Жерар.

Аббат отшатнулся к стене с затравленным взглядом, волосы шевелились у него на голове, а зубы стучали от страха.

Он был похож на человека, у которого на глазах мертвец ожил и поднялся из гроба.

— Живой!.. — вырвалось у аббата.

— Разумеется, живой, — подтвердил г-н Жерар. — Господь сжалился над раскаявшимся грешником и послал ему молодого и хорошего врача.

— И он вас вылечил? — вскричал аббат, не желая верить в то, что это не сон.

— Ну да... Я понимаю, вы думали, что я умер... а я вот жив!

— Это вы дважды приходили сюда нынче?

— Совершенно верно. Да я десять раз готов был прийти! Вы же понимаете, насколько для меня важно, чтобы вы перестали думать, что я мертв.

— Да почему же именно сегодня?.. — машинально спросил аббат, растерянно глядя на убийцу.

— Вы что же, газет не читаете? — удивился г-н Жерар.

— Почему же? Читаю... — глухо проговорил монах, начиная понемногу осознавать, какая бездна разверзлась у его ног.

— А раз вы их читали, вы должны понимать, зачем я пришел.

Разумеется, Доминик все понимал, он стоял, обливаясь холодным потом.

— Пока я жив, — понизив голос, продолжал г-н Жерар, — эта исповедь ничего не значит.

— Ничего не значит?..— автоматически переспросил монах.

— Да ведь священникам запрещено под страхом вечного проклятия обнародовать исповедь, не имея на то позволения кающегося, не так ли?

— Вы дали мне разрешение! — в отчаянии вскричал монах.

— Если бы я умер — да, разумеется. Но раз я жив, я беру свои слова назад.

— Что вы делаете? — вскрикнул монах. — А как же мой отец?!

— Пусть защищается, пусть обвиняет меня, пусть доказывает свою непричастность. Но вы, исповедник, обязаны молчать!

— Ладно, — молвил Доминик, понимая, что бесполезно бороться с роком, представшим пред ним в виде одной из основополагающих догм Церкви. — Ладно, ничтожество, я буду молчать!

Он оттолкнул руку Жерара и двинулся в свою комнату.

Но Жерар вцепился в него снова.

— Что вам еще угодно? — спросил монах.

— Что мне угодно? — повторил убийца. — Документ, который я дал вам, не помня себя.

Доминик прижал руки к груди.

— Бумага при вас, — догадался Жерар. — Она — вон там... Верните мне ее.

Монах снова почувствовал, как его руку обхватил железный обруч — такова была хватка у Жерара, — а пальцем другой руки убийца почти касался свитка.

— Да, документ здесь, — подтвердил аббат Доминик, — но, слово священника, он останется там, где лежит.

— Вы, значит, собираетесь совершить клятвопреступление? Хотите нарушить тайну исповеди?

— Я уже сказал, что принимаю условия договора, и пока вы живы, я не пророню ни слова.

— Зачем же вам эта бумага?

— Господь справедлив. Может быть, случайно или в результате Божьей кары вы умрете во время суда над моим отцом. Наконец, если моему отцу будет вынесен смертный приговор, я подниму этот документ и воззову к Господу: «Господь Всемогуший, Ты велик и справедлив! Порази виновного и спаси невинного!» На это я имею право и как человек, и как священник. И правом своим я воспользуюсь.

Он оттолкнул г-на Жерара, преграждавшего ему путь, и пошел наверх, властным жестом запретив убийце следовать за собой. Доминик вошел к себе, запер дверь и упал на колени перед Распятием.

— Господи Боже мой! — взмолился он. — Ты все видишь, Ты все слышишь, Ты явился свидетелем того, что сейчас произошло. Господи Боже мой! Было с моей стороны святотатством обращаться к помощи людей... Взываю к Твоей справедливости!

Потом он глухим голосом прибавил:

— Но если Ты откажешь мне в справедливости, я ступлю на путь отмщения!

XIII

Вечер в особняке Марандов

Месяц спустя после событий, описанных в предыдущих главах, в воскресенье, 30 апреля, улица Лаффит — в те времена она называлась улицей Артуа — около одиннадцати часов вечера выглядела весьма необычно.

Представьте себе, что Итальянский бульвар, а также бульвар Капуцинов вплоть до бульвара Магдалины, бульвар Монмартр — до бульвара Бон-Нувель, а с другой стороны, параллельно бульварам, всю улицу Прованс и прилегающие к ней улицы загромодили экипажи с пылающими факелами. Вообразите улицу Артуа, освещенную двумя гигантскими тисами в лампонах по обе стороны от входа в роскошный особняк; два верховых драгуна охраняют этот вход; двое других стоят на перекрестке, образованном улицей Прованс, — и вы будете иметь представление о зрелище, открывшемся тем, кто находился неподалеку от особняка Марандов в тот час, когда его хозяйка давала «нескольким друзьям» один из вечеров, на которые жаждет попасть весь Париж.

Последуем за одним из экипажей, тянущихся вереницей к особняку, и подойдем вслед за ним к парадному подъезду. Мы остановимся во дворе в ожидании знакомого, который бы нас представил, а пока изучим расположение особняка.

Особняк Марандов находился, как мы уже сказали, на улице Артуа между особняком Керутти, до 1792 года дававшим название улице, и особняком Ампиров.

Три корпуса особняка образовывали вместе с лицевой стеной огромный прямоугольник. Справа были расположены апартаменты банкира, в центре — гостиные политика, а слева — апартаменты очаровательной женщины, уже не раз представленной нашим читателям под именем Лидии де Маранд. Три корпуса соединялись между собой, так что хозяин мог присматривать за всем, что делается в доме, в любое время дня и ночи.

Приемные занимали второй этаж, напротив ворот. В праздничные дни открывались все двери, и гости могли без помех пройти в элегантные будуары хозяйки и строгие кабинеты хозяина.

В первом этаже располагались: слева — кухня и службы, в центре — столовая и передняя, в правом крыле — контора.

Давайте поднимемся по лестнице с мраморными перилами и ступенями, покрытыми огромным саландрозским ковром, и посмотрим, нет ли в толпе, заполнившей передние, какого-нибудь знакомого, который представил бы нас прелестной хозяйке дома.

Мы знакомы с основными гостями, как принято говорить; однако мы не настолько близко с ними знакомы, чтобы попросить их о подобной услуге.

Слушайте! Вот их уже представляют.

Это Лафайет, Казимир Перье, Руайе-Коллар, Беранже, Пажоль, Кеклин — одним словом, все те, кто занимает во Франции промежуточную позицию между аристократической монархией и республикой. Это те, кто, во всеуслышанье разглагольствуя о Хартии, втайне готовят великое событие 1830 года; и ежели мы не слышим здесь имени г-на Лаффита, то потому, что он в Мезоне ухаживает (с присущей ему преданностью по отношению к друзьям) за больным Манюэлем, которому суждено вскорости умереть.

Ага! Вот и тот, кто нас представит. А уж как только мы переступим порог, то пойдем куда пожелаем.

Мы имеем в виду молодого человека среднего роста, скорее высокого, чем маленького, и великолепного сложения. Молодой человек одет по моде тех лет и в то же время со вкусом, присущим только художникам. Судите сами: темно-зеленый фрак, украшенный бантом ордена Почетного легиона, которого он удостоен совсем недавно (благодаря чьему влиянию? он сам понятия не имеет: он об этом никого не просил, а его дядюшка слишком занят собой, да и не стал бы он хлопотать о племяннике; кстати сказать, он — сторонник оппозиции); черный бархатный жилет, застегнутый на одну пуговицу сверху и на три — снизу, давая выход жабо из английских кружев; обтягивающие панталоны, подчеркивающие стройность ног; ажурные чулки черного шелка и туфли с небольшими золотыми пряжками на изящных ногах; а венец всему — голова Ван-Дейка в двадцать шесть лет.

Вы, конечно, узнали Петруса. Он недавно закончил прелестный портрет хозяйки дома. Он не любит писать портреты. Но его друг Жан Робер очень уговаривал его написать г-жу де Маранд, и молодой художник согласился. Правда, еще один прелестный ротик попросил его о том же однажды вечером, в то время как нежная ручка пожимала его руку; происходило это на балу у герцогини Беррийской, куда Петрус был приглашен по неведомой чьей рекомендации. И этот прелестный ротик сказал ему с восхиительной улыбкой: «Напишите портрет Лидии, я так хочу!»

Художник ни в чем не мог отказать обладательнице прелестного ротика, в которой читатель, несомненно, уже узнал Регину де Ламот-Гудан, графиню Рапт. Петрус распахнул двери своей мастерской перед г-жой Лидией де Маранд. В первый раз она явилась с супругом, пожелавшим лично поблагодарить художника за любезность. Потом она приходила в сопровождении одного лакея.

Само собой разумеется, что за любезность художника такого ранга, как Петрус, равно как и дворянина с громким именем барона де Куртенея, не принято благодарить банковскими билетами: когда портрет был готов, г-жа де Маранд наклонилась к уху красавца художника и сказала:

— Заходите ко мне когда пожелаете. Только предупредите меня заранее записочкой, чтобы я успела пригласить Регину.

Петрус схватил руку г-жи де Маранд и припал к ней губами с такой горячностью, что красавица Лидия не удержалась и заметила:

— Ах, сударь! Как вы, должно быть, любите ее!

На следующий день Петрус получил через Регину простенькую булавку, стоившую едва ли не половину его картины; Петрус более чем кто-либо другой способен был оценить подобную деликатность.

Давайте же последуем за Петрусом; как видите, он имеет возможность ввести нас в дом банкира на улице Артуа и помочь нам проникнуть в гостиные, куда до нас вошло столько знаменитостей.

Пойдемте прямо к хозяйке дома. Она вон там, справа, в своем будуаре.

Любой, кто впервые оказывается в этом будуаре, непременно удивится. А куда же подевались все те знаменитые люди, о которых докладывали при входе? Почему здесь, в будуаре, среди десяти или двенадцати дам находятся едва ли трое-четверо молодых людей? Дело в том, что крупные политики приходят ради встречи с г-ном де Марандом; а г-жа де Маранд ненавидит политику; она уверяет, что не придерживается никакого мнения и лишь находит, что герцогиня Беррийская — очаровательная женщина, а король Карл X был, вероятно, когда-то галантным кавалером.

Однако, если мужчины (будьте покойны, они скоро сюда придут!) пока в меньшинстве, какой ослепительный цветник представляют собой дамы!

Итак, займемся сначала будуаром.

Это премилый салон, выходящий с одной стороны в спальню, с другой — в оранжерею-галерею. Стены обтянуты небесно-голубым атласом с черным и розовым орнаментом. Красивые глаза и роскошные бриллианты пленительных подруг г-жи де Маранд сияют на этом лазурном фоне, словно звезды на небосклоне.

Но первая из них, что бросается в глаза, та, о которой мы намерены рассказать особо, самая симпатичная, если не красивая, самая привлекательная, ежели не хорошенькая, это, без сомнения, хозяйка дома — г-жа Лидия де Маранд.

Мы, насколько было возможно, описали трех ее подруг или, вернее, бывших послушниц пансиона при Сен-Дени. Попытаемся теперь набросать и ее портрет.

Госпожа Лидия де Маранд едва достигла, как казалось, двадцатилетнего возраста. Любому, кто склонен видеть в женщине прежде всего тело, а не только душу, она покажется прелестной.

У нее волосы восхитительного оттенка: она кажется белокурой, если волосы слегка завиты, и шатенкой, когда она их гладко зачесывает. Волосы у нее неизменно блестящие и шелковистые.

У г-жи де Маранд красивое лицо, умный и гордый взгляд, белая и гладкая, словно мрамор, кожа.

Глаза ее — наполовину синие, наполовину черные, иногда приобретают опаловый оттенок, а порой кажутся темными, будто ляпис-лазурь, в зависимости от освещения или ее настроения.

Нос у г-жи де Маранд — тонкий, чуть вздернутый; благодаря ему у нее насмешливый вид; рот прекрасно очерчен, но несколько великоват, цвета влажного коралла, чувственный и всегда готовый к улыбке.

Обыкновенно ее пухлые губки чуть приоткрыты, едва обнажая два ряда жемчужных зубов (простите мне это избитое выражение, но я не знаю другого, которое лучше передало бы мою мысль); если г-жа де Маранд поджимает губки, все ее личико приобретает снисходительно-презрительное выражение.

У нее прелестный подбородок, маленький и розовый.

Но что делало ее лицо по-настоящему красивым, что составляло ее сущность, что сообщало ее характеру оригинальность и, мы бы даже сказали, самобытность, так это трепетность, угадывавшаяся в каждой клеточке ее существа; этим объяснялись и свежий цвет лица, и необыкновенный, будто перламутровый оттенок щек, кокетливо подрумяненных, да так, что они казались как бы светящимися изнутри, как у южанок, и в то же время свежими, как у северянок.

Таким образом, если бы она стояла у цветущей яблони в прелестном костюме крестьянки, уроженка Нормандии признала бы в ней, несомненно, свою землячку. Зато ежели бы она лежала в гамаке в тени бананового дерева, то креолка из Гваделупы или Мартиники сочла бы ее своей сестрой.

Выше мы уже дали нашим читателям понять, что все ее тело было как наливное яблоко (она была, скорее, альбановской, а не рубенсовской женщиной); все в ней было соблазнительно, более чем соблазнительно — сладострастно.

Высокая пышная грудь ее, казалось, никогда не знала тяжких мук корсета, трепетала при каждом вздохе под прозрачными кружевами и наводила на мысль о тех спартанках и афинянках, что позировали для Венер и Геб Праксителя и Фидия.

И если эта яркая красота, которую мы попытались описать, имела своих поклонников, вы должны понимать, что были у нее и недруги, и гонители. Недругами были почти все женщины, а гонителями — те, кто считали себя призванными, да не оказались избранными; в их число входили отвергнутые поклонники; это были пуштоголовые красавцы, которые не могли и вообразить, что женщина, наделенная подобными сокровищами, может на них спуститься.

Вот почему г-жа де Маранд не раз бывала оклеветана. Но хотя она по-прежнему сохраняла изысканную соблазнительность и была подвержена чисто женским слабостям, не многие представительницы прекрасного пола могли похвастать, что заслуживали клеветнических нападков меньше, чем она.

Когда граф Эрбель, как истинный вольтерьянец, каковым он был, сказал своему племяннику: «Что такое госпожа де Маранд? Магдалина, прикрывающаяся громким именем мужа

и неспособная к покаянию», генерал, по нашему мнению, заблуждался. Ниже мы еще скажем, как ему следовало бы выразиться, если бы он хоть чуть-чуть желал быть правильно понят. Итак, читатели очень скоро убедятся в том, что г-жа Лидия де Маранд по праву могла называться кающейся Магдалиной.

Мы полагаем, что уделили достаточно времени ее портрету; теперь надобно закончить описание будуара, а также завязать или же возобновить знакомство с теми, кто находится в будуаре в эту самую минуту.

XIV

Глава, в которой речь пойдет о Кармелите

Как мы уже сказали, среди благоухавшего цветника, заполнившего будуар Лидии де Маранд, можно было увидеть всего несколько мужчин. Воспользуемся тем, что общество пока немногочисленно, и примем участие в светской беседе, когда говоришь много, ради того чтобы сказать мало.

Самым шумным из счастливых, удостоенных милости посетить будуар г-жи Лидии де Маранд, оказался молодой человек, с которым мы встречались при неприятных или страшных обстоятельствах: г-н Лоредан де Вальженез. В каком бы уголке будуара он ни находился, с какой бы дамой ни беседовал, он время от времени обменивался быстрым, словно молния, и многозначительным взглядом со своей сестрой, мадемуазель Сюзанной де Вальженез, подружкой бедняжки Мины по пансиону.

Господин Лоредан был настоящий светский лев: никто не умел улыбнуться, как он; никто лучше него не умел вложить при желании в свой взгляд столько обожания, как он: граф де Лоредан был в высшей степени куртуазен, так что его любезность граничила с наглостью и в те времена, то есть с 1820 по 1827 год, никто не мог превзойти его в искусстве выбрать галстук и, не снимая перчаток, завязать модный узел, не порвав при этом атлас или батист.

В эту минуту он беседовал с г-жой де Маранд и восхищался ее веером в стиле рококо как большой любитель подобных безделушек, нередко встречающихся на полотнах Ванлоо или Буше.

Помимо Лоредана взгляды женщин привлекал (не столько красотой и элегантностью, сколько благодаря своей репутации, которой он был обязан несколькими удачными постановками в театре, а также своими высказываниями, скорее оригинальными, чем умными) поэт Жан Робер. После первых же успехов на него градом посыпались отпечатанные приглашения, однако он воздерживался от ответа, и лишь два-три приглашения, написанные от руки прекрасной Лидией (она мечтала превратить свою гостиную в артистический салон, точно так же, как ее муж хотел сделать из своей приемной салон политический для величайших умов своего времени), одержали над его сомнениями



ГОСПОДИН ЛОРЕДАН БЫЛ НАСТОЯЩИЙ
СВЕТСКИЙ ЛЕВ

верх. Нельзя сказать, что он относился к самым усердным посетителям г-жи де Маранд, но он бывал у нее регулярно; поэт присутствовал на всех сеансах, которые Лидия вот уже три недели давала его другу Петрусу: Жан Робер хотел, чтобы престелная молодая женщина вышла на портрете оживленной, и развлекал ее беседой. Надобно отметить, что Жан Робер преуспел в этом деле и на сей раз: никогда еще взгляд Лидии не был так оживлен, а улыбка — столь ослепительна, как в этот вечер.

Прошло всего два дня с тех пор, как готовый портрет доставили из мастерской Петруса в особняк Марандов и хозяин дома, завидев Жана Робера, стал его расхваливать и благодарить за то, что тот избавил г-жу де Маранд от необходимости позировать в неестественной позе.

Жан Робер поначалу не понял, говорит ли граф серьезно или смеется. Он бросил взгляд на банкира, и ему показалось, что на лице г-на де Маранда мелькнуло насмешливое выражение.

Собеседники встретились глазами и с минуту внимательно друг друга разглядывали, после чего граф де Маранд с поклоном повторил:

— Господин Жан Робер! Я говорю совершенно серьезно. Госпожа де Маранд доставляет мне огромное удовольствие, поддерживая знакомство с человеком, обладающим такими достоинствами!

И он протянул поэту руку с такой искренностью, что Жан Робер не мог не ответить ему тем же, хотя и испытывал при этом некоторую неловкость.

Третий персонаж, о котором мы расскажем читателям, был наш проводник Петрус. Мы-то знаем, какая звезда его влечет! Он уже сказал приличные случаю комплименты г-же де Маранд, Жану Роберу, своему дядюшке — старому генералу Эрбелю (тот переваривает ужин, пристроившись в углу на диване и напустив на себя строгий вид), поклонился дамам и спустя мгновение нашел повод, чтобы пристроиться поближе к козетке, на которой полулежит прекрасная Регина, обрывая лепестки с пармских фиалок, уверенная в том, что, когда она встанет и перейдет в другое место, художник бережно соберет обезглавленные ее рукой цветы.

Пятый персонаж — всего-навсего танцовщик. Он принадлежит к породе весьма почитаемых хозяйками салонов людей; впрочем, рядом с поэтами, писателями и художниками они значат так же мало, как статист — рядом с режиссером.

Итак, мы уже упомянули, что Лоредан разговаривал с г-жой де Маранд; Жан Робер наблюдал за ними, облокотившись о мраморную доску камина; Петрус беседовал с Региной, провожая улыбкой каждую фиалку, падавшую из рук его богини; его сиятельство генерал Эрбель старательно переваривал ужин, лежа на софе; наконец, танцовщик расписывал свои кадрили, чтобы успеть потанцевать со всеми дамами, не пропустив ни одной из них, как только заиграет оркестр, наполняя надушенные гостиные призывными звуками все новых кадрилей.

Для большей точности прибавим, что картина, которую мы попытались изобразить, была очень изменчива. Каждую минуту лакей докладывал о прибывавших гостях. Новое лицо входило, и, если это была дама, г-жа де Маранд шла ей навстречу; в зависимости от того, насколько близкие отношения их связывали, хозяйка дома встречала гостью поцелуем или ограничивалась рукопожатием; если входивший оказывался мужчиной, она кивала ему, сопровождая свой жест очаровательной улыбкой или даже несколькими словами. Затем она указывала на свободное место даме, на оранжерею — мужчине, предоставляя вновь прибывшим полную свободу: они могли полюбоваться батальными полотнами Ораса Верне, морскими пейзажами Пюдена, акварелями Декана или же, если это им больше было по душе, завязать с кем-нибудь из гостей разговор, а то и внести свою лепту в общую беседу, какая всегда оживляет любую гостиную и в которой охотно участвуют те, кому нечего сказать, или — что тоже по-своему трудно! — кто не умеет молчать.

Человек наблюдательный мог бы заметить: несмотря на то, что хозяйка дома постоянно переходила с места на место, встречая прибывавших гостей, г-н Лоредан де Вальженез умудрялся снова оказаться с ней рядом, едва она успевала кому-то из них кивнуть, кому-то пожать руку, а кого-то поцеловать.

От внимания Лидии не ускользнула настойчивость графа де Вальженеза, и то ли она пришлась г-же де Маранд не по душе, то ли она испугалась, что это будет замечено кем-нибудь еще, она стала избегать графа. Сначала она подошла и села рядом с Региной, прервав на время воркование молодых людей (очень скоро она попеняла себе на это проявление эгоизма). Потом она нашла убежище под крылышком у старого вольтерьянца (мы видели, как строго он следил за датами в разговоре с маркизой де Латурнель).

На сей раз г-жа де Маранд вознамерилась во что бы то ни стало вырвать у старого графа тайну, заставлявшую хмуриться его лицо, с которого обычно не сходила улыбка или, точнее, насмешливое выражение.

Объяснялась ли печаль старого графа душевным расстройством или — а для графа Эрбея это было не менее серьезно! — расстройством желудка, он, казалось, отнюдь не собирался поверять г-же де Маранд свою тайну.

Несколько слов из их разговора достигли слуха Петруса и Регины и заставили влюбленных спуститься с небес на грешную землю.

Они обменялись взглядами.

Регина будто хотела сказать:

«Мы забыли об осторожности, Петрус! Вот уже полчаса, как мы разговариваем, не замечая никого вокруг, словно находимся в оранжерее на бульваре Инвалидов».

«Да, — отвечал ей Петрус, — мы очень неосторожны, это верно, зато так счастливы, Регина!»

После чего влюбленные шевельнули губами, посылая друг другу поцелуй, идущий от самого сердца. Петрус сделал вид, что заинтересовался разговором дяди с г-жой де Маранд, и подошел к ним с беззаботной улыбкой на устах.

— Дядюшка! — заговорил он с видом избалованного ребенка, которому разрешено говорить все, что ему заблагорассудится, — предупреждаю, что, если вы не откроете госпоже де Маранд, дважды оказавшей вам честь своими расспросами, причину вашей озабоченности, клянусь нашим предком Жосселем Вторым по прозвищу Жосселен Галантный, удостоившимся его за полтора столетия до того, как была открыта галантность, клянусь этим предком, павшим смертью храбрых на поле любви, клянусь, дядюшка, что выдам вас графине: я расскажу ей об истинной причине ваших огорчений, как бы вы ее ни старались скрыть!

— Расскажи, сынок! — промолвил генерал с печалью в голове, и это обстоятельство заставило Петруса усомниться в том, что его дядя озабочен единственно хорошим пищеварением. — Расскажи, Петрус! Но прежде — уж поверь старику! — сосчитай про себя до десяти, чтобы не ошибиться.

— Этого я не боюсь, дядюшка! — заявил Петрус.

— Говорите скорее, господин Петрус! Я умираю от беспокойства, — вмешалась г-жа де Маранд; похоже, она тоже сосчитала про себя до десяти, прежде чем решиться на разговор, который на самом деле заставил ее обратиться к графу Эрбелю.

— Умираете от беспокойства? — переспросил старый генерал. — Вот уж это точно выше моего понимания! Неужто я буду достоин счастья услышать от вас просьбу? Не боитесь ли вы, часом, что мое дурное расположение духа повлияет на мой ответ?

— О, мудрый философ! — воскликнула г-жа де Маранд. — Кто научил вас разгадывать тайны чужих сердец?

— Дайте вашу прекрасную ручку, мадам.

Лидия протянула старому генералу руку, любезно сняв перед тем перчатку.

— Какое чудо! — вскричал генерал. — Я уж было подумал, что таких рук больше не существует на свете!

Он поднес ее к губам, но вдруг замер.

— Клянусь, это похоже на святотатство: чтобы губы семидесятилетнего старика лобзали подобный мрамор!

— Как?! — жеманно проговорила г-жа де Маранд. — Вы отказываетесь целовать мою руку, генерал?

— Принадлежит ли мне эта рука хотя бы одну минуту?

— Целиком и полностью, генерал.

Старый граф повернулся к Петрусу.

— Подойди, мой мальчик, — приказал генерал, — и поцелуй скорее эту руку!

Петрус подчинился.

— Ну, теперь держись! После такого подарка я считаю себя вправе лишить тебя наследства!

Обращаясь к г-же де Маранд, старик продолжал:

— Говорите, графиня! Недостойный раб у ваших ног и ждет приказаний!

— Нет, я упряма как всякая женщина. Прежде я хочу знать, что послужило причиной вашего беспокойства, дорогой генерал.

— Об этом вам доложит вон тот плут!.. Ах, графиня, в его возрасте я был готов умереть ради того, чтобы облобызывать такую ручку! Почему нельзя снова лишиться рая и зачем я не Адам?!

— Ах, генерал,—отвечала г-жа де Маранд,—нельзя быть и Адамом, и змеем! Ну, Петрус, рассказывайте, что стряслось с вашим дядей!

— Дело вот в чем, графиня. Мой дядя, взявший в привычку тщательно обдумывать каждый свой серьезный шаг, перед обедом проводит в одиночестве целый час, и мне кажется...

— Вам кажется?..

— ...мне кажется, что сегодня его свято охраняемое одиночество было нарушено.

— Не то! — перебил племянника генерал. — Ты сосчитал про себя до десяти — сосчитай до двадцати!

— Мой дядюшка, — продолжал Петрус, нимало не заботясь замечанием старого генерала, — принимал нынче между пятью и шестью часами маркизу Иоланду Пантальте де Латурнель.

Регина ждала лишь удобного случая подойти к Петрусу поближе и не упустить ни слова из его уст, заставлявшего биться ее сердце; слышав имя своей тети, она решила, что это удобный повод, чтобы вступить в разговор.

Она поднялась с козетки и неслышно подошла к говорившим.

Петрус не видел и не слышал ее, но он почувствовал приближение любимой и вздрогнул всем телом.

Глаза его закрылись, голос затих.

Девушка поняла, что с ним происходит, и по ее телу разлилась сладкая истома.

— В чем дело? — спросила она, и голос ее прозвучал нежнее золотой арфы. — Вы замолчали, потому что подошла я, господин Петрус?

— О, молодость, молодость! — пробормотал граф Эрбель.

Окружавшие генерала дамы и мужчины в самом деле дышали молодостью, здоровьем, счастьем, весельем, так что старик, глядя на них, тоже помолодел.

Он бросил на Петруса взгляд, и стало ясно, что он может одним словом развеять очарование племянника; но, как ни был старик эгоистичен, он сжалился над витавшим в облаках юношей и, напротив, подставил свою грудь для удара.

— Давай, мой мальчик, давай! Ты на верном пути!

— Раз дядя сам позволяет, — проговорил Петрус, вынужденный продолжать свою мальчишескую выходку, — я вам скажу, что у маркизы де Латурнель, как у всех...

Петрус собирался сказать: «Как у всех старых дам», но в нескольких шагах от себя вовремя увидел угрюмое лицо богатой вдовы и спохватился:

— Я вам скажу, что у маркизы де Латурнель, как у всех маркиз, есть мопс или, вернее, моська по кличке Толстушка.

— Прелестное имя! — заметила г-жа де Маранд. — Я не знала, как зовут собачку, но видела ее.

— Значит, вы сможете подтвердить, что я не лгу, — продолжал Петрус. — Кажется, от мопса или, точнее, моськи прямо-таки разит мускусом... Я прав, дядюшка?

— Абсолютно прав! — поддакнул старый генерал.

— А от этого запаха, похоже, свертываются соусы. Мадемуазель Толстушка — большая гурманка: всякий раз как маркиза де Латурнель приходит навестить моего дядю, ее собачка навевается к повару... Могу поспорить, что ужин моему дорогому дядюшке был нынче отравлен — вот отчего он смотрит мрачно и в то же время так печален.

— Bravo, мальчик мой! Ты все объяснил чудесным образом. Впрочем, если бы я захотел отгадать, почему ты сам сегодня так весел и в то же время рассеян, думаю, я оказался бы прорицателем ничуть не хуже тебя... Однако мне не терпится узнать, чего от меня угодно прекрасной сирене, а потому отложу объяснение до другого дня.

Он обернулся к г-же де Маранд.

— Вы сказали, графиня, что хотели обратиться ко мне с просьбой: я вас слушаю.

— Генерал! — начала г-жа де Маранд, вложив в свой взгляд всю нежность, на какую была способна. — Вы имели неосторожность неоднократно заявлять, что я могу рассчитывать на вашу руку, вашу голову — словом, на все, что вам принадлежит. Вы это говорили, не так ли?

— Да, графиня, — отвечал граф с галантностью, какую в 1827 году можно было встретить разве что у стариков. — Я вам сказал, что, не имея возможности жить ради вас, я был бы счастлив за вас умереть.

— И вы по-прежнему имеете это похвальное намерение, генерал?

— Больше чем когда-либо!

— В таком случае у вас появилась возможность доказать мне свою преданность.

— Даже если эта возможность висит на волоске, графиня, я и тогда готов за нее ухватиться.

— Слушайте же, генерал!

— Я весь обратился в слух, графиня.

— Именно эта часть вашей личности мне и нужна во временное пользование.

— Что вы имеете в виду?

— Мне на сегодняшний вечер понадобятся ваши уши, генерал.

— Что же вы сразу-то не сказали, чаровница?! Подайте ножницы, и я сейчас принесу их вам в жертву без страха, без сожаления, даже без упрека... с одним-единственным условием: вслед за ушами вы не станете требовать мои глаза.

— Что вы, генерал, успокойтесь! — вымолвила г-жа де Маранд. — Речь не идет о том, чтобы отделять их от ствола, на котором, как мне кажется, они прекрасно сидят! Я хотела лишь попросить вас повернуть их в ту сторону, куда я вам укажу, всего на час, и внимательно послушать. Иными словами, генерал, я буду иметь честь представить вам одну из своих подруг по пансиону — лучшую подругу, — девушку, которую мы с Региной зовем сестрой. Должна вам сказать, она достойна вашего внимания, как и нашей дружбы. Она сирота.

— Сирота! — вмешался Жан Робер. — Вы только что сами сказали, что вы и графиня Рапт — ее сестры, не так ли?

Госпожа де Маранд одарила Жана Робера благодарной улыбкой и продолжала:

— У нее нет родителей... Ее отец, храбрый гвардейский капитан, кавалер ордена Почетного легиона, был убит в бою при Шанпобере в тысяча восемьсот четырнадцатом году. Вот почему она оказалась вместе с нами в пансионе Сен-Дени. Ее мать умерла у нее на руках два года тому назад. Девушка бедна...

— Бедна! — подхватил генерал. — Не вы ли сказали, графиня, что у нее есть две подруги?

— Она бедна и самолюбива, генерал, — продолжала г-жа де Маранд, — и хотела бы зарабатывать на жизнь искусством, потому что шитьем прокормиться просто не в силах... Кроме того, она пережила огромное горе и хотела бы не забыть его, но забыться.

— Огромное горе?

— О да, неизбывное, какое только способна вынести женская душа!.. Теперь, генерал, вы все знаете и великодушно отнесетесь к тому, что выражение ее лица очень печально. Я прошу вас прослушать ее.

— Прошу прощения за вопрос, который я собираюсь задать, — начал генерал, — он не столь уж нескромен, как может показаться на первый взгляд: в том деле, которому собирается себя посвятить ваша подруга, красота — не последняя вещь. Итак, ваша подруга хороша собой?

— Как античная Ниобея в двадцать лет, генерал.

— А поет она?..

— Не скажу — как Паста, не скажу — на Малибран, не скажу — как Каталани, скажу так: поет по-своему... Нет, не поет — рыдает, страдает, заставляет слушателей рыдать и страдать вместе с собой.

— Какой у нее голос?

— Восхитительное контральто.

— У нее уже были публичные выступления?

— Никогда... Нынче вечером она впервые будет петь для пятидесяти человек.

— И вам угодно...

— Я бы хотела, генерал, чтобы вы, общепризнанный знаток, слушали ее во все уши, а когда прослушаете, сделайте для нее то, что сделали бы в подобных обстоятельствах для меня. Мне угодно, по вашему собственному выражению, чтобы вы жили ради нашей любимой Кармелиты, правда, Регина? Пусть каждая минута вашей жизни будет посвящена ей одной! Словом, я желаю, чтобы вы объявили себя ее рыцарем и чтобы с этой минуты стали самым верным ее защитником и страстным обожателем. Я знаю, генерал, что в Опере ваше мнение—закон.

— Не краснείτε, дядюшка: это ни для кого не секрет,— заметил Петрус.

— Я хочу,—продолжала г-жа де Маранд,—чтобы вы передали имя моей подруги Кармелиты во все газеты, где у вас есть знакомые... Я не говорю, что требую для нее немедленного ангажемента в Оперу: мои запросы скромнее. Но поскольку именно из вашей ложи распространяются слухи о талантах или бездарностях, поскольку именно в вашей ложе рождаются будущие знаменитости или гибнет слава нынешних звезд, я и рассчитываю на вашу искреннюю и преданную дружбу, генерал, чтобы вознести хвалу Кармелите повсюду, где вам заблагорассудится: в клубе, на скачках, в Английском ресторане, у Тортони, в Опере, в Итальянском театре, я бы даже сказала—во дворце, если бы ваше присутствие в моем скромном доме не являлось протестом и не свидетельствовало о ваших политических пристрастиях. Обещайте же мне продвинуть—удачное слово, не правда ли?—мою прекрасную и печальную подругу так далеко и так скоро, как только сможете. Я буду вам за это бесконечно признательна, генерал.

— Прошу у вас месяц на то, чтобы ее продвинуть, прелестница, два месяца—на заключение ангажемента и три—на то, чтобы о ней заговорили все. Если же она хочет дебютировать в Новой опере, на это потребуется год.

— О, она может дебютировать где угодно. Она знает весь французский и итальянский репертуар.

— В таком случае через три месяца я приведу к вам подругу, покрытую лаврами с головы до пят!

— И разделите с ней свою славу, генерал,—прибавила г-жа де Маранд, сердечно пожимая старому графу руки.

— Я тоже буду вам очень благодарна, генерал,—послышался нежный голосок, заставивший Петруса вздрогнуть.

— Ничуть не сомневаюсь, княжна,—отозвался старик, из вежливости продолжая называть графиню Рапт так, как к ней обращались до ее замужества; отвечая Регине, что не сомневается в ее благодарности, старик не сводил глаз с племянника.

— Ну что же,—спохватился он, вновь обратившись к г-же де Маранд,—вам осталось, графиня, лишь оказать мне честь и представить меня своей подруге как самого преданного ее слугу.

— Это будет несложно, генерал: она уже здесь.

— Да ну?

— В моей спальне!.. Я решила избавить ее от скучной обязанности — согласитесь, что всегда скучно для молодой женщины проходить через эти бесконечные гостинные, всюду себя называя. Вот почему мы здесь собрались в тесном кругу; вот почему на некоторых из моих приглашений стояло: «десять часов», а на других: «полночь». Я хотела, чтобы Кармелита оказалась в окружении снисходительных слушателей и близких друзей.

— Благодарю вас, графиня, — молвил Лоредан, сочтя, что это удобный предлог, чтобы принять участие в разговоре. — Спасибо за то, что включили меня в число избранных. Однако я обижен: неужели вы считаете, что я настолько мало значу, если не пожелали поручить свою подругу моим заботам?

— Знакомство с вами, барон, может скомпрометировать очаровательную двадцатилетнюю девушку, — возразила г-жа де Маранд. — Кстати, Кармелита настолько хороша собой, что одно это будет для вас достаточной рекомендацией.

— Время выбрано неудачно, графиня. Смею вас уверить, что в настоящую минуту лишь одна красавица имеет право...

— Прошу прощения, сударь, — прервал барона кто-то негромко и очень вежливо, — мне нужно сказать два слова госпоже де Маранд.

Лоредан, насупившись, обернулся, однако, узнав хозяина дома, с улыбкой протягивавшего к супруге руку, стушевался.

— Вы хотели что-то мне сказать, сударь? — спросила г-жа де Маранд, нежно пожимая руку мужа. — Я вас слушаю!

Обернувшись к графу Эрбелю, она прибавила:

— Вы позволите, генерал?

— Счастливцев, кто имеет такое право!.. — мечтательно произнес в ответ граф Эрбель.

— Что ж вы хотите, генерал! — рассмеялась г-жа де Маранд. — Это право повелителя!

И она неслышно покинула кружок, опираясь на руку мужа.

— Я к вашим услугам, сударь.

— По правде говоря, не знаю, с чего начать... Видите ли, я совершенно забыл об одном деле, но, к счастью, только что чудом о нем вспомнил.

— Говорите же!

— Господин Томпсон, мой американский компаньон, рекомендовал мне молодого человека и его юную супругу из Луизианы, у них ко мне аккредитив... Я приказал передать им приглашение к вам на вечер, а сам запамятовал, как их зовут.

— Так что же?

— Надеюсь, что вы с вашей проницательностью распознаете среди приглашенных эту пару и со свойственной вам любезностью примете тех, кого рекомендовал мне господин Томпсон. Вот, мадам, что я имел вам сказать.

— Положитесь на меня, сударь, — с очаровательной улыбкой отозвалась г-жа де Маранд.

— Благодарю вас... Позвольте выразить вам свое восхищение. Вы, как всегда, неотразимы, графиня. Впрочем, нынче вечером вы особенно прекрасны!

Галантно приложившись к ручке супруги, г-н де Маранд подвел Лидию к двери в спальню. Она приподняла портьеру со словами:

— Ты готова, Кармелита?

XV

Представления

В ту минуту, как г-жа де Маранд вошла в спальню, спрашивая: «Ты готова, Кармелита?»—и уронила за собой портьеру, в гостиной лакей объявил:

— Его высокопреосвященство Колетти.

Воспользуемся несколькими мгновениями, пока Кармелита отвечает подруге, и бросим взгляд на его высокопреосвященство Колетти, входящего в гостиную.

Читатели, вероятно, помнят имя этого святого человека, прозвучавшее однажды из уст маркизы де Латурнель.

Дело в том, что монсеньор был исповедником маркизы.

Его высокопреосвященство Колетти был в 1827 году не только в милости, но и пользовался известностью, да не просто пользовался известностью, а считался модным священником. Его недавние проповеди во время поста принесли ему славу великого прорицателя, и никому, как бы мало набожен ни был человек, не приходило в голову оспаривать ее у г-на Колетти. Исключение, пожалуй, представлял собой Жан Робер; он был поэт прежде всего и, имея на все особый взгляд, не переставал удивляться, что священники, располагавшие столь восхитительным текстом, каким является Евангелие, как правило, отнюдь не блистали красноречием, словно их не вдохновляла эта священная книга. Ему случалось завоевывать — и с успехом! — в сто раз более непокорных слушателей, чем те, что приходили укреплять свой дух на церковные проповеди, и казалось, что, доведись ему подняться на кафедру священника, он нашел бы гораздо более убедительные и громкие слова, чем все слащавые речи этих светских прелатов, одну из которых он нечаянно услышал, проходя как-то мимо. Тогда-то он и пожалел, что не стал священником: вместо кафедры у него в распоряжении был театр, а вместо слушателей-христиан — неподготовленная аудитория.

Несмотря на то, что его высокопреосвященство Колетти носил тонкие шелковые чулки, что в сочетании с фиолетовым одеянием свидетельствовало о том, что перед вами — высшее духовное лицо, монсеньора можно было принять за простого аббата времен Людовика XV: его лицо, манеры, внешний вид, походка вразвалку выдавали в нем скорее галантного кавалера, привыкшего к ночным приключениям, нежели строгого прелата, проповедовавшего воздержание. Казалось, его высокопреосвя-

щенство, подобно Эпимениду, заснул полвека назад в будуаре маркизы де Помпадур или графини Дюбарри, а теперь проснулся и пустился в свет, позабыв поинтересоваться, не изменились ли за время его отсутствия нравы и обычаи. А может, он только что вернулся от самого папы и сейчас же угодил во французское светское общество в своем необычном одеянии.

С первого взгляда он произвел впечатление красавца прелата в полном смысле этого слова: розовощекий, свежий, он выглядел едва ли на тридцать шесть лет. Но стоило к нему присмотреться, как становилось ясно: монсеньор Колетти следит за своей внешностью столь же ревностно, что и сорокапятилетние женщины, желающие выглядеть на тридцать лет; его высокопреосвященство пользовался белилами и румянами!

Если бы кому-нибудь довелось взглянуть на его лицо без слоя румян и белил, он похолодел бы от ужаса при виде этой мертвенно-бледной маски.

Живыми на этом неподвижном лице оставались лишь глаза да губы. Глазки — маленькие, черные, глубоко посаженные — метали молнии, порой сверкали весьма устрашающе, потом сейчас же прятались за щурившимися в притворной улыбке веками; рот — небольшой, изящно очерченный, с насмешливо кривившейся нижней губой, из которого выходили умные, злые слова, разившие иногда хуже яда.

Эта восковая маска временами оживала, выражая то ум, то честолюбие, то сладострастие, но никогда — доброту. При первом же приближении к этому человеку становилось ясно: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он был в числе ваших врагов, равно как никто не горел желанием подружиться с аббатом.

Был монсеньор невысок ростом, но — как выражаются буржуа в разговоре о священнослужителях — «представительный». Прибавьте к этому нечто в высшей степени высокомерное, презрительное, дерзкое в его манере держать голову, кланяться, входить в гостиные, выходить оттуда, садиться и вставать. Зато он будто нарочно припасал для дам свои самые изысканные любезности; глядя на них, он щурился с многозначительным видом, а если женщина, к которой он обращался, нравилась ему, его лицо принимало непередаваемое выражение сладострастия.

Именно так, полуприкрыв веки и помаргивая, он вошел в описываемую нами гостиную, где собрались почти одни дамы, в то время как генерал, давно и хорошо знавший его высокопреосвященство Колетти, услышал, что лакей докладывает о монсеньоре, и процедил сквозь зубы:

— Входи, монсеньор Тартюф!

Доклад о его высокопреосвященстве, его появление в гостиной, поклон, жеманство, с каким усаживался в кресло проповедник, ставший известным во время последнего поста, на мгновение отвлекло внимание Кармелиты. Мы говорим «на мгновение», потому что прошло не более минуты с того момента, как

г-жа де Маранд уронила портьеру, и до того, как портьера вновь приподнялась, пропуская двух молодых женщин.

Разительный контраст между г-жой де Маранд и Кармелитой бросался в глаза.

Неужто это была все та же Кармелита?

Да, она, но не та, чей портрет мы описали когда-то из «Монографии о Розе»: румяная, сиявшая, поражавшая выражением простодушия и невинности; теперь она не улыбалась, ноздри ее не раздувались, как когда-то, вдыхая аромат роз, благоухавших под ее окном и украшавших могилу мадемуазель де Лавальер... Нет, сейчас в гостиную входила высокая молодая женщина с ниспадавшими на плечи по-прежнему роскошными волосами, но ее плечи были словно высечены из мрамора. У нее было все то же открытое и умное лицо, но оно было будто выточено из слоновой кости! Те же щеки, когда-то радовавшие здоровым румянцем, ныне побледнели и стали матовыми.

Ее глаза, и раньше удивлявшие своей красотой, теперь, казалось, стали наполовину больше. Они и раньше горели огнем, но теперь искры обратились молниями. И благодаря залегшим вокруг глаз теням можно было подумать, что эти молнии сыплются из грозовой тучи.

Губы Кармелиты, когда-то пурпурные, с трудом ожили после той страшной ночи и так и не смогли вернуть себе первоначальный цвет. Они едва достигли бледно-розового кораллового оттенка, однако прекрасно дополняли тот необыкновенный ансамбль, что всегда делал Кармелиту настоящей красавицей, но в то же время придавал ее красоте нечто фантастическое.

Одета Кармелита была просто, но очень изящно.

Три ее сестры долго уговаривали Кармелиту пойти на вечер к Лидии. Кроме того, она решила во что бы то ни стало обеспечить себе независимое существование. И вопрос о том, в чем Кармелита предстанет перед публикой, долго и горячо обсуждался всеми подругами. Само собой разумеется, что Кармелита в обсуждении не участвовала. Она с самого начала заявила, что считает себя вдовой Коломбана и всю жизнь будет носить по нему траур, а потому пойдет на вечер в черном платье. Остальное же она предоставила решать Фраголе, Лидии и Регине.

Регина сказала, что платье будет из черного кружева, а корсаж и юбка — из черного атласа. Украсить наряд она предложила гирляндой темно-фиолетовых цветов, являвшихся символом печали и известных под именем аквилегий, а в гирлянду Регина хотела вплести ветки кипариса.

Венок сплела Фрагола, лучше других разбиравшаяся в сочетании цветов, в подборе оттенков; как гирлянда на платье, как букетик на корсаже, венок состоял из веток кипариса и аквилегий.

Ожерелье черного жемчуга, дорогой подарок, преподнесенный Региной, украшал шею Кармелиты.

Когда девушка, бледная, но нарядная, появилась на пороге спальни, ожидавшие ее выхода вскрикнули от восхищения и в то же время вздрогнули от страха. Она была похожа на античную Норму или Медею. По рядам собравшихся пробежал ропот.

Старый генерал, обычно настроенный весьма скептически, на сей раз понял, что перед ним святая мученица. Он поднялся и стоя стал ожидать приближения Кармелиты.

Едва Кармелита появилась в гостиной, Регина поспешила ей навстречу.

Кармелита двигалась словно призрак в окружении двух дышавших жизнью и счастьем молодых женщин.

Гости провожали взглядами молчаливую троицу со всевозраставшим любопытством.

— До чего ты бледна, бедная сестричка! — заметила Регина.

— Как ты хороша, о, Кармелита! — воскликнула г-жа де Маранд.

— Я уступила вашим настойчивым просьбам, мои любимые, — проговорила в ответ молодая женщина. — Но, может быть, пока не поздно, мне следует остановиться?

— Отчего же?

— Вы знаете, что я не открывала фортепьяно с тех пор, как мы пели вместе с Коломбаном, прощаясь с жизнью. А вдруг мне изменит голос? Или окажется, что я ничего не помню?

— Нельзя забыть то, чему не учился, Кармелита, — возразила Регина. — Ты пела, как поют птицы, а разве они могут разучиться петь?

— Регина права, — поддержала подругу г-жа де Маранд. — И я уверена в тебе, как уверена в себе ты сама. Пой же без смущения, дорогая моя! Могу поручиться, что ни у кого из артистов никогда не было более благожелательно настроенной публики.

— Спойте, спойте, мадам! — стали просить все, за исключением Сюзанны и Лоредана: брат разглядывал красавицу Кармелиту с изумлением, сестра — с завистью.

Кармелита поблагодарила собравшихся кивком и пошла к инструменту.

Генерал Эрбель сделал два шага ей навстречу и поклонился.

— Дорогой граф! — произнесла г-жа де Маранд. — Имею честь представить вам самую близкую свою подругу, ведь из трех моих подруг эта — самая несчастливая.

Генерал снова поклонился и с галантностью, достойной рыцарских времен, промолвил:

— Мадемуазель! Сожалею, что госпожа де Маранд поручила мне столь легкое дело, как опубликовать в газетах похвалу вашему таланту. Поверьте, я приложу к этому все силы и все равно буду считать себя вашим должником.

— О! Спойте! Спойте, мадам! — снова попросили несколько голосов.

— Вот видишь, дорогая сестра,—заметила г-жа де Маранд,—все ждут с нетерпением... Так ты начнешь?

— Сию минуту, если вам угодно,—просто ответила Кармелита.

— Что ты будешь петь? — спросила Регина.

— Выберите сами!

— У тебя нет любимого произведения?

— Нет.

— У меня здесь весь «Отелло».

— Пусть будет «Отелло».

— Ты будешь аккомпанировать себе сама? — спросила Лидия.

— Если некому это сделать... — начала Кармелита.

— Я с удовольствием сяду за фортепьяно,—торопливо предложила Регина.

— А я буду переворачивать страницы! — подхватила г-жа де Маранд.— Тебе нечего бояться, когда мы с тобой рядом, не правда ли?

— Мне нечего бояться,—отозвалась Кармелита, грустно качая головой.

Девушка в самом деле была совершенно спокойна. Холодной рукой она коснулась руки г-жи де Маранд. Ее лицо выражало полную невозмутимость.

Госпожа де Маранд направилась к фортепьяно и выбрала из стопки партитуру «Отелло».

Кармелита осталась стоять, опираясь на Регину; будуар был на две трети полон.

Гости расселись и стали ждать затаив дыхание.

Госпожа де Маранд поставила ноты на фортепьяно, а Регина вышла, села за инструмент и блестяще исполнила бурную прелюдию.

— Споешь «Романс об иве»? — спросила г-жа де Маранд.

— С удовольствием,—молвила Кармелита.

Госпожа де Маранд раскрыла партитуру на предпоследней сцене финального акта.

Регина повернулась к Кармелите, готовая начать по ее знаку.

В эту минуту лакей доложил:

— Господин и госпожа Камилл де Розан.

XVI

«Романс об иве»

Глухой, протяжный вздох, похожий на стон, вырвался при этих словах из груди у трех или четырех человек из тех, что собрались в гостиной. Засим последовала глубокая тишина. Казалось, все присутствовавшие знали историю Кармелиты и потому не смогли сдержать восклицания при неожиданном появлении молодого человека с горящим взглядом, улыбкой на устах и беззаботным выражением на лице, хотя

именно Камилла де Розана можно было в определенном смысле считать убийцей Коломбана.

Стон вырвался из груди у Жана Робера, Петруса, Регины и г-жи де Маранд.

А Кармелита не вскрикнула, не вздохнула: у нее перехватило дыхание и она застыла, подобно статуе.

Когда г-н де Маранд услышал имя Камилла, тут только он вспомнил, что именно этого человека ему рекомендовал его американский компаньон. Хозяин дома пошел гостю навстречу со словами:

— Вы прибыли как нельзя более кстати, господин де Розан! Не угодно ли вам будет присесть и послушать! Вы услышите, как уверяет госпожа де Маранд, прекраснейший голос из всех, какие вы когда-либо слышали.

Он предложил руку г-же де Розан и проводил ее к креслу, в то время как Камилл пытался в стоявшем перед ним призраке узнать Кармелиту, а когда узнал, едва слышно вскрикнул от изумления.

Лидия и Регина метнулись к подруге, полагая, что надобно будет ее поддержать. Однако, к немалому их удивлению, Кармелита, как мы уже сказали, продолжала стоять, глядя в одну точку; только смертельная бледность выдавала ее смятение.

Ее безжизненный взгляд ничего не выражал, а сердце, казалось, остановилось, будто вся она внезапно окаменела. На молодую женщину смотреть было тем более страшно, что помимо смертельной бледности, залившей ее щеки, на ее будто высеченном из мрамора лице волнение никак не отражалось.

— Мадам!— обратился г-н де Маранд к своей супруге.— Я имел честь говорить вам об этих двух лицах.

— Займитесь ими, сударь,— отвечала г-жа де Маранд.— Я же полностью принадлежу Кармелите... Видите, в каком она состоянии...

Бледность Кармелиты, ее остановившийся взгляд, застывшая поза и впрямь поразили г-на де Маранда.

— Мадемуазель! Что с вами?— с состраданием спросил он.

— Ничего, сударь,— отозвалась Кармелита и заставила себя поднять голову, как свойственно сильным натурам в минуту испытания, когда нужно взглянуть несчастьем в лицо.— Со мной ничего!

— Не пой! Не нужно тебе нынче петь!— шепнула Кармелите Регина.

— Почему?

— Это испытание выше твоих сил,— заметила Лидия.

— Посмотрим!— возразила Кармелита.

На ее губах мелькнуло подобие улыбки.

— Так ты хочешь петь?— переспросила Регина, вновь усаживаясь за фортепьяно.

— Сейчас я не просто женщина, я— артистка!

И Кармелита сделала три шага, еще отделявшие ее от инструмента.

— Господи, помоги! — взмолилась г-жа де Маранд.
Регина снова сыграла прелюдию.
Кармелита запела:

Assisa âl pié d'un salice...¹.

Голос звучал уверенно, и слушателей захватило ее пение: они сопереживали Дездемоне, а не страдавшей певице.

Трудно было сделать более удачный выбор, учитывая положение несчастной девушки: смятение Дездемоны, когда она поет первый куплет, обращаясь к чернокожей рабыне — своей кормилице, ее смертельный страх в определенном смысле выражали тоску, сжимавшую сердце Кармелиты. Гроза, нависшая над палаццо прекрасной венецианки; ветер, разбивший готическое окно в ее спальне; гром, с треском разрывающийся вдалеке; пугающая темнота ночи; колеблющийся огонек лампы — все в этот мрачный вечер, вплоть до меланхолических стихов Данте в устах гондольера, плывающего в своей лодке:

Nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice,
Nella miseria...²

повергает несчастную Дездемону в бездну отчаяния, все предвещает несчастье, в каждой мелочи — зловещее предзнаменование.

Ария статуи в моцартовском «Дон Жуане», а также отчаяние доньи Анны, когда она натывается на тело своего отца, — вот, может быть, единственные две сцены, сравнимые по силе с этой пронзительной сценой томительных предчувствий.

Итак, повторяем, музыка величайшего итальянского композитора как нельзя лучше выражала муки Кармелиты.

Храбрый, верный, сильный Коломбан, по которому она носила в душе траур, напоминал мрачного и преданного африканца, влюбленного в Дездемону. А отвратительный Яго, язвительный друг, разжигающий в сердце Отелло ревность, был в известном смысле похож на легкомысленного американца, немало зла принесшего с той же легкостью, с какой Яго причинил по злобе.

Кармелита при виде Камиллы почувствовала себя в положении, описанном Шекспиром, а романс, который она исполнила с такой твердостью и выразительностью, был настоящей пыткой: каждой нотой он вонзался в сердце, будто холодная сталь клинка.

После первого куплета все захлопали с воодушевлением, с каким непременно встречает новый талант публика, заинтересованная в верном суждении.

¹ Сидя у подножия ивы (*итал.*).

² Нет большей печали, чем в горе вспоминать о счастливом времени (*итал.*).

Второй куплет:

I ruccelletti limpidi
A caldi suoi sospiri...¹

по-настоящему удивил слушателей; перед ними была не просто женщина, не только певица, извергающая целый поток жалоб: теперь пело воплощенное Страдание.

В особенности припев:

L'aura fra i rami flebile
Ripetiva il suon...²

был исполнен с такой трогательной печалью, что вся отчаянная поэма девушки прошла, должно быть, в тот момент перед глазами тех, кому ее история была знакома, как, наверно, проходила она перед ее собственным взором.

Регина стала почти столь же бледна, что и Кармелита; Лидия плакала.

И действительно, никогда еще голос проникновеннее этого (а ведь описываемое нами время было богато прославленными певицами: Паста, Пиццарони, Менвьель, Сонтаг, Каталани, Малибран умели увлечь слушателей) не волновал так сердца тех, кого на музыкальном итальянском языке называют *dilettanti*³. Однако да позволено нам будет сказать несколько слов (для тех, кто знаком с творчеством великих певиц, которых мы только что назвали), чем отличалась наша героиня от известных исполнительниц.

У Кармелиты был голос необычайного диапазона: она могла взять соль нижнего регистра с той же легкостью и звучностью, с какой г-жа Паста брала ля, и могла подняться до верхнего ре. Таким образом, девушка исполняла — в этом состояло чудо ее пения — партии и для контральто, и для сопрано.

Не было на свете сопрано чище, богаче, эффектнее, с большим блеском исполняющего фиоритуры, *gorgheggi*, если нам будет позволено употребить это слово, придуманное неаполитанцами и обозначающее горловое журчание, которым злоупотребляет, по нашему мнению, всякое начинающее сопрано.

Когда же Кармелита исполняла партии для контральто, она была неподражаема.

Всякий знает, какую чарующую, колдовскую, так сказать, силу имеет контральто: с какой силой оно поет о любви, с какой выразительностью — о печали, с каким напором — о страданиях. Обладательницы сопрано — *soprani* — выпевают, будто птицы: они нравятся, чаруют, восхищают; обладательницы контральто — *contralti* — волнуют, беспокоят, увлекают. Сопрано — голос, если можно так выразиться, истинно женский: в нем заключена нежность, зато контральто можно назвать мужским: оно звучит

¹ Прозрачные ручейки, внимая их страстным вздохам (*итал.*).

² Легкий ветерок среди ветвей жалобно повторял звук (*итал.*).

³ Любители, ценители (*итал.*).

строго, грубовато, довольно резко. И тем не менее это тембр особый, голос-гермафродит, заключающий в себе как мужское, так и женское начала. Вот почему эти голоса сейчас же берут слушателей за душу. Контральто в каком-то смысле созвучно переживаниям слушателя: если бы последний умел выражать свои чувства в пении, он, несомненно, захотел бы спеть именно так.

Такое же действие произвел на аудиторию и голос Кармелиты. Она была наделена от природы редким талантом, правда не была знакома с приемами великих исполнителей своего времени, и счастливо сочетала в себе способности пения и грудного, и горлового; она так умело чередовала оба эти голоса, что даже маститый учитель вряд ли сумел бы определить, как долго ей пришлось учиться, чтобы достичь поистине чудесных эффектов обоих столь разных голосов.

Кармелита прекрасно музицировала. Под руководством Колумбана она упорно, старательно изучила основополагающие принципы музыки и отныне могла идти своим путем, чаруя и волнуя слушателей. Она обладала не только красивым голосом, но и изумительным вкусом. С первых же уроков она прониклась любовью к строгой немецкой музыке и употребляла итальянские фиоритуры весьма умеренно — лишь когда хотела добиться большей выразительности какого-нибудь фрагмента или связать две музыкальные фразы, но никогда — только как украшение или дабы похвастаться своей виртуозностью.

В заключение этого анализа, посвященного таланту Кармелиты, прибавим, что в отличие от знаменитых певиц своего времени (и даже всех времен) одна и та же нота при различных состояниях ее души приобретала в ее исполнении разное звучание.

Пусть же читатели не удивляются и не обвиняют нас в преувеличениях, когда мы утверждаем, что ни одна певица, ученица Порпоры, Моцарта, Перголези, Вебера или даже Россини, не сумела достичь совершенства «двойного голоса». Ведь у Кармелиты был не менее серьезный учитель, чем только что нами перечисленные, — имя ему Несчастье!

К концу третьего куплета публика пришла в исступление, слушателей охватил неопишуемый восторг.

Еще не отзвучали последние ноты, похожие на жалобные стоны, как светская гостиная разразилась громом рукоплесканий. Все повскакали с мест, желая первыми поблагодарить, поздравить очаровавшую их артистку; это был настоящий праздник, всеобщее воодушевление — то, что может позволить *furia francese*¹, охотно забывающее о внешних приличиях. Слушатели устремились к фортепьяно, чтобы поближе разглядеть девушку, пленительную, словно сама Красота, всесильную, как Мощь, устрашающую, будто Отчаяние. Престарелые дамы завидовали

¹ Французское неистовство (итал.).

ее молодости, юные особы — ее красоте, все остальные — ее несравненному таланту; мужчины говорили друг другу, что великое счастье — быть любимым такой женщиной. И все подходили к Кармелите, брали ее руку и с любовью ее пожимали!

Вот в чем заключается истинная сила искусства, настоящее его величие: в одно мгновение оно способно обратить незнакомца в старого и верного друга.

Тысячи приглашений, подобно цветкам из венца ее будущей известности, посыпались на голову Кармелиты.

Старого генерала, истинного знатока и ценителя, как мы уже сказали, пронять было не так-то просто, но даже он почувствовал, как по его щекам заструились слезы: то нашли выход чувства, переполнявшие его сердце, пока он слушал пение безутешной девушки.

Жан Робер и Петрус инстинктивно подались один навстречу другому и крепко пожали друг другу руки: так они молча выражали свое волнение и сдержанное восхищение. Если бы Кармелита одним мановением руки призвала их к отмщению, они набросились бы на беззаботного Камилла, не подозревавшего о том, что произошло, слушавшего с улыбкой на устах и лорнетом в глазу и кричавшего со своего места: «Brava! Brava! Brava!» — точь-в-точь как в Итальянской опере.

Регина и Лидия поняли, что присутствие креольца увеличило страдания Кармелиты, отчего ее пение сделалось еще выразительнее. Слушая ее, они не переставая трепетали: им казалось, что сердце певицы вот-вот разорвется, и они с напряжением ловили каждую ноту. Обе были совершенно ошеломлены; Регина не смела обернуться, Лидия не могла поднять голову.

Вдруг те, что стояли ближе других к Кармелите, вскрикнули: обе молодые женщины вышли из оцепенения и разом взглянули в сторону подруги.

Когда Кармелита пропела последнюю, пронзительную ноту, она запрокинула голову, смертельно побледнела и непременно рухнула бы на пол, если бы ее не поддержали чьи-то руки.

— Мужайтесь, Кармелита! — шепнул ей приветливый голос. — Можете гордиться: с этого вечера вам больше не нужна ничья помощь!

Прежде чем у девушки закрылись глаза, она успела узнать Людовика, этого жестокого друга, вернувшего ее к жизни.

Она вздохнула в последний раз, печально покачала головой и лишилась чувств.

Только тогда из-под ее прикрытых век показались две слезы и покатались по холодным щекам.

Две подруги приняли Кармелиту из рук Людовика, появившегося в гостиной в то время, пока она пела, и, следовательно, вошедшего незаметно, без доклада, зато вовремя оказавшегося рядом, чтобы подхватить несчастную девушку.

— Это ничего, — сказал он двум подругам, — подобные кризы ей скорее на пользу, чем способны причинить вред...

Поднесите ей к лицу вот этот флакон: через пять минут она придет в себя.

Регина и Лидия с помощью генерала перенесли Кармелиту в спальню; правда, дальше порога генерал не пошел.

Как только Кармелита исчезла и Людовик успокоил слушателей, приутихшее было воодушевление вспыхнуло с новой силой.

Со всех сторон раздались восхищенные крики.

XVII

Глава, в которой хлопушки Камилла дают осечку

Слушатели долго восторгались талантом будущей дебютантки, а когда исчерпали весь запас похвал и комплиментов, каждый из тех, кому посчастливилось оказаться в тот вечер у Марандов, обещал рассказать о Кармелите в своем кругу. Но вот гости потянулись из будуара в салон: оттуда стали доноситься первые аккорды оркестра, и приглашенные перешли от музыки к танцам.

Мы расскажем о единственном эпизоде, достойном внимания наших читателей и имевшем место во время этого передвижения, потому что он естественным образом связан с нашей драмой. Мы имеем в виду оплошность, которую допустил Камилл де Розан, обращаясь к людям, хорошо знакомым с историей Кармелиты.

Госпожа де Розан, его супруга, смазливая пятнадцатилетняя креолочка, разговаривала в это время с пожилой американкой, назвавшейся ее родственницей.

Видя, что жена в семейном кругу, Камилл воспользовался этим обстоятельством и снова почувствовал себя холостяком.

Он заметил Людовика, своего бывшего товарища, почти друга. И как только в будуаре снова установилась тишина после ухода Кармелиты (а Камилл приписал ее обморок обычному волнению), креолец полетел навстречу молодому доктору в восторженном состоянии, естественном для вновь прибывшего, который после долгого отсутствия неожиданно встречает старого знакомого. Камилл протянул Людовику руку.

— Клянусь Гиппократом! — вскричал он. — Это же господин Людовик! Здравствуйте, господин Людовик! Как себя чувствуете?

— Плохо! — нелюбезно отозвался молодой доктор.

— Неужели? — удивился креолец. — А вид у вас вполне цветущий!

— Зато в сердце — декабрьская стужа.

— Вас что-то печалит?

— Не просто печалит: я страдаю!

— Страдаете?

— Невыносимо страдаю!

— Бедный Людовик! Вы, должно быть, потеряли кого-нибудь из родных?

— Я лишился человека, который был мне дороже всех родственников.

— Да кто же может быть дороже?

— Друг... Ведь друзья встречаются значительно реже.

— А я его знал?

— И очень близко.

— Это кто-нибудь из нашего коллежа?

— Да.

— Несчастный малый...— вымолвил Камилл с видом полного безразличия.— И как его звали?

— Коломбан,— сухо ответил Людовик, откланялся и повернулся к Камиллу спиной.

Креолец был готов вцепиться Людовику в глотку. Однако мы уже говорили, что он был далеко не глуп: он понял, что совершил промах, круто развернулся, отложив свой гнев до другого раза.

В самом деле, если Коломбан мертв, Людовик был вправе удивиться, почему Камилла не удручает это обстоятельство.

А как он мог быть удручен? Ведь он ничего об этом не знал!

Бедный Коломбан, такой молодой, красивый, сильный... От чего же он мог умереть?

Камилл поискал Людовика взглядом; он хотел сказать, что понятия не имел о смерти Коломбана, и расспросить его о подробностях гибели их общего приятеля. Однако Людовик исчез.

Продолжая поиски, Камилл встретился глазами с молодым человеком, лицо которого показалось ему знакомым и симпатичным. Однако имени он вспомнить никак не мог. Он мог поклясться, что где-то видел этого господина и даже был с ним знаком. Если он знал его по Школе права — что было вполне вероятно, — молодой человек мог дать ему желаемые разъяснения.

И Камилл пошел к нему.

— Прошу прощения, сударь,— заговорил креолец,— я прибыл нынче утром из Луизианы, для чего объехал почти четверть Земного шара, вернее, проплыл около двух тысяч миль морем. Вот почему меня еще качает, а в голове у меня путаница, отчего я не могу пока здраво рассуждать, а кое-что и вспомнить. Простите же мне вопрос, с которым я буду иметь честь к вам обратиться.

— Слушаю вас, сударь,— вежливо, однако довольно сухо отвечал тот, к кому подошел креолец.

— Мне кажется, сударь,— продолжал Камилл,— что я встречал вас уже не раз во время моего последнего пребывания в Париже. И когда я вас нынче увидел, ваше лицо меня поразило... Может быть, у вас память лучше и я имею честь быть вам знакомым?

— Вы правы, я отлично вас знаю, господин де Розан,— ответил молодой человек.

— Вам известно мое имя?— радостно вскричал Камилл.

— Как видите.

— Доставьте мне удовольствие и назовите себя!

— Меня зовут Жан Робер.

— Ну конечно, Жан Робер... Черт побери! Я же говорил, что знаю вас! Вы — один из наших прославленных поэтов и лучших друзей нашего товарища Людовика, если мне позволено будет так сказать...

— ...который, в свою очередь, был одним из лучших друзей Коломбана, — закончил Жан Робер, кивнул креольцу, отвернулся и хотел было удалиться.

Однако Камилл его остановил.

— Помилуйте, сударь! — воскликнул он. — Вы уже второй человек, который мне говорит о смерти Коломбана... Не могли бы вы рассказать мне об этом поподробнее?

— Что вам угодно знать?

— Чем был болен Коломбан?

— Ничем.

— Может быть, он погиб на дуэли?

— Нет, сударь.

— От чего же он умер?

— Отравился, сударь.

На сей раз Жан Робер поклонился Камиллу с таким неприступным видом, что тот не решился расспрашивать его дальше.

— Умер! — пробормотал изумленный Камилл. — Отравился. Кто бы мог подумать!.. Коломбан, такой набожный!.. Ах, Коломбан!

И Камилл воздел руки кверху, как человек, который, дабы поверить чему-либо, должен был услышать это дважды.

Поднямая руки, Камилл вскинул и взгляд, а подняв глаза, заметил молодого человека, который, казалось, глубоко задумался.

Он узнал в нем художника, которого ему показали во время всеобщего смятения, последовавшего за обмороком Кармелиты. Камиллу сказали, что это один из изысканнейших парижских художников. Лицо молодого человека выражало неподдельное восхищение.

Это был Петрус. Проявленная Кармелитой сила воли преисполнила его печалью и в то же время гордостью. Значит, люди искусства непохожи на других людей, подумал он. У них не такое сердце, не такая, как у всех, душа; это — особые существа, способные не только испытывать неизбывное страдание, но и побеждать его!

Камилла ввело в заблуждение выражение его лица; он принял Петруса за восторженного дилетанта. Полагая, что делает ему приятнейший комплимент, он обратился к художнику с такими словами:

— Сударь! Если бы я был художником, я написал бы с вас портрет, потому что ваше лицо выражает восхищение творца, слушающего божественную музыку великого маэстро.

Петрус бросил на Камилла презрительный взгляд и небрежно кивнул.

Камилл продолжал:

— Не знаю точно, насколько сильно французы любят музыку божественного Россини. А вот в наших колониях она производит настоящий фурор: в ней страсть, в ней неистовство, доходящее до фанатизма! У меня был друг, любитель немецкой музыки, который был убит на дуэли за то, что заявил: «Моцарт выше Россини, а «Женитьба Фигаро» лучше «Севильского цирюльника». По мне, признаться, Россини — величайший композитор, с которым Моцарт не идет ни в какое сравнение... Таково мое мнение, и, если надо, я готов отстаивать его до конца дней.

— Я полагаю, ваш друг Коломбан был другого мнения, сударь, — вымолвил Петрус, холодно поклонившись креольцу.

— Ах, черт побери! — вскричал Камилл. — Раз уж все здесь сговорились напоминать мне о Коломбане и вы вместе со всеми, сударь, так скажите по крайней мере: не потому ли он отравился, что Россини одержал верх над Моцартом?

— Нет, сударь, — подчеркнуто вежливо проговорил Петрус. — Он отравился потому, что любил Кармелиту, и предпочел скорее умереть, нежели предать друга.

Камилл вскрикнул и схватился за голову, словно ослепленный догадкой.

Тем временем Петрус вслед за Людовиком и Жаном Робером перешел из будуара в гостиную.

В ту минуту как Камилл, немного оправившись от потрясения, отнял руки от лица и открыл глаза, он увидел перед собой — впервые с тех пор, как очутился в доме г-на де Маранда, — красивого молодого человека надменного вида, который, казалось, готов был подойти к Камиллу, когда тот так нуждался хоть в чем-нибудь обществе.

— Сударь! — заговорил молодой человек. — Я слышал, вы только что прибыли из колоний и впервые были представлены нынче вечером господину и госпоже де Маранд. Если вам угодно, я почту за честь стать вашим крестным отцом в гостиных нашего общего банкира, а также провожатым по увеселительным заведениям столицы.

Сей предупредительный чичероне был не кто иной, как граф Лоредан де Вальженез; он с первой же минуты положил глаз на прелестную креолку, которую «ввез» во Францию Камилл де Розан, и теперь на всякий случай пытался завязать дружбу с мужем, чтобы, если представится возможность, еще лучше узнать и жену.

Камилл вздохнул свободнее, встретив наконец человека, с которым он обменялся десятком слов и не услышал при этом имени Коломбана.

Само собой разумеется, он с радостью принял предложение г-на де Вальженеза.

Молодые люди перешли в танцевальную залу. Оркестр только что исполнил прелюдию вальса. Они появились на пороге в ту самую минуту, как вальс начался.

Первой, кого они встретили в гостиной (и можно было подумать, что ее брат назначил ей свидание: она словно поджи-

дала его появления!), оказалась мадемуазель Сюзанна де Вальженез.

— Сударь! — произнес Лоредан. — Позвольте представить вас моей сестре, мадемуазель Сюзанне де Вальженез.

Не ожидая ответа, который, впрочем, можно было прочесть в глазах Камилла, граф продолжал:

— Дорогая Сюзанна! Представляю вам нового друга, господина Камилла де Розана, американского джентльмена.

— О! Да вашего нового друга, дорогой Лоредан, я давно знаю! — воскликнула Сюзанна.

— Неужели?!

— Как?! — приятно удивился Камилл. — Неужто я имел честь быть вам знакомым, мадемуазель?

— Да, сударь! — отозвалась Сюзанна. — В Версале, в пансионе, где я училась совсем недавно, я была дружна с одной вашей соотечественницей.

В это время Регина и г-жа де Маранд, доверив опаматовавшуюся Кармелиту заботам камеристки, вошли в бальную залу.

Лоредан подал сестре едва уловимый знак, та в ответ чуть заметно улыбнулась.

И пока Лоредан, в третий раз за этот вечер, пытался заговорить с г-жой де Маранд, Камилл и мадемуазель де Вальженез, дабы лучше узнать друг друга, закружились в вихре вальса и затерялись в океане газа, атласа и цветов.

XVIII

Как было покончено с «законом любви»

Отступим на несколько шагов назад, ведь мы замечаем, что, торопясь проникнуть к г-же де Маранд, мы бесцеремонно перешагнули через события и дни, которым положено занять свое место в этом рассказе, как они заняли его и в жизни.

Читатели помнят, какой скандал разразился во время похорон герцога де Ларошфуко.

Поскольку кое-кто из главных персонажей в нашей истории играл там свою роль, мы постарались описать во всех подробностях страшную сцену, в которой полиция добилась своего: арестовала г-на Сарранти, а заодно прошупала, насколько серьезное сопротивление способно оказать население в ответ на невероятные оскорбления усопшему, которого толпа любила и почитала при его жизни.

Говоря официальным языком, сила осталась на стороне закона.

«Еще одна такая победа, — как сказал Пирр, который, как известно, был не конституционным монархом, а мудрым тираном, — и я погиб!» Это же следовало бы повторить Карлу X после печальной победы, которую он только что одержал на ступенях церкви Успения.

И действительно, происшествие это глубоко взволновало не только толпу (от которой король, по крайней мере на короткое время, был слишком далек и потому не мог ощущать толчка сквозь различные общественные слои, разделявшие короля с этой толпой), но и палату пэров, от которой самодержец был отделен лишь ковром, устилавшим ступени трона.

Пэры все как один почувствовали себя оскорбленными, когда останкам герцога де Ларошфуко было выказано неуважение. Наиболее независимые высказали свое возмущение во всеуслышание; самые «преданные» схоронили его глубоко в сердце, однако там оно кипело под влиянием страшного советчика, зовущегося гордыней. Все только и ждали случая вернуть либо кабинету министров, либо королевской власти этот постыдный пинок, полученный верховной палатой от полиции.

Проект «закона любви» и послужил удобным предлогом для выражения протеста.

Проект был предложен для рассмотрения гг. Брогли, Портали, Порталю и Бастару.

Мы забыли имена других членов комиссии, да не обидятся на нас за это почтенные граждане.

С первых же заседаний комиссия отнеслась к проекту неприязненно.

Сами министры начали замечать (с ужасом, который испытывают путешественники в неведомой стране, очутившись вдруг на краю пропасти), что под политическим вопросом, представлявшимся самым важным, скрывался не менее важный вопрос личного порядка.

Закон против свободы печати, может быть, и прошел бы, если бы он затрагивал права только интеллигенции. Какое дело до прав интеллигенции было буржуазии, этой главной силе эпохи? Однако закон против печати угрожал интересам материальным, а это был жизненно важный вопрос для всех этих подписчиков на Вольтера-Туке, которые читали «Философский словарь», зачерпывая табак из табакерки с Хартией.

Этих несчастных слепцов со стотысячным доходом заставляли постепенно открывать глаза посягательства на свободу печати и на интересы промышленности, которые, вопреки всем прогнозам, единодушно отвергались комиссией, созданной в палате пэров.

Тогда они стали опасаться, что закон и в самом деле будет отвергнут.

Было бы меньше неприятностей, если бы проект был представлен в палату с такими поправками, которые в конце концов без шума задушили бы сам закон.

Необходимо было выбирать между отставкой, поражением и, возможно, бегством. Созвали совещание. Каждый поделился своими опасениями с остальными членами палаты; и они пришли к такому решению: обсуждение будет отложено до следующей сессии.

За это время г-н де Виллель возьмет на себя труд (благодаря одной из привычных для него комбинаций) обеспечить в кабинете министров, в верхней палате столь же покорное и дисциплинированное большинство, как то, каким он повелевал в палате депутатов.

А тем временем произошел инцидент, окончательно погубивший проект закона.

Двенадцатого апреля — в один из тех дней, которые мы столь бесцеремонно выпустили было из нашего повествования — праздновалась годовщина первого возвращения Карла X в Париж: 12 апреля 1814 года. В этот день национальная гвардия стала караулом в Тюильри, заняв место дворцовой охраны.

Этой милостью король как бы вознаграждал за преданность национальную гвардию, которая не одну неделю охраняла короля; кроме того, это свидетельствовало о доверии, которое король оказывал парижанам.

Однако 12 апреля (и это невозможно было предупредить) совпало со Святым четвергом.

Итак, в Святой четверг чрезвычайно набожный король Карл X не мог думать о политике, и, стало быть, караул национальной гвардии во дворце перенесли с 12-го на 16-е, со Святого четверга на пасхальный понедельник.

И вот, 16-го утром, в ту минуту, как гвардейцы поднимались во дворец, в салоне часов пробило девять и король Карл X спустился по ступеням крыльца как главнокомандующий национальной гвардии в сопровождении его высочества дофина, а также в окружении штабных офицеров.

Он вышел на площадь Карусели, где собрались отряды от всех легионов национальной гвардии, в том числе и от легиона кавалерии.

Проходя перед строем национальных гвардейцев, король приветствовал солдат с присущими ему сердечностью и порывистостью.

Хотя Карл X постепенно лишился популярности (и не из-за личных недостатков, а из-за промахов, допущенных его правительством, которое проводило антинациональную политику), а потому во время обычных прогулок вот уже год парижане оказывали королю довольно сдержанный прием, все же время от времени его величеству удавалось благодаря посылаемым в толпу улыбкам и поклонам вырвать у собравшихся приветственные крики.

Но в тот день прием был холодным как никогда. Ни одного приветствия, ни единого восторженного лица; несколько робких криков: «Да здравствует король!» — вспыхнули было в толпе и сейчас же угасли.

Король произвел смотр и покинул площадь Карусели; сердце его было преисполнено горечью, он обвинял в этом приеме толпы не свою правительственную систему, а клеветнические выпады журналистов да тайные происки либералов.

Не раз во время смотра он поворачивался к сыну, будто спрашивая его; однако его высочество дофин имел особенное

преимущество быть рассеянным, хотя на самом деле в облаках не витал. Его высочество машинально следовал за отцом; когда дофин входил во дворец, у него было такое ощущение, словно он только что вернулся с верховой прогулки, его высочество подозревал, что это он сейчас произвел смотр; однако вполне вероятно, что он не смог бы сказать, какие рода войск перед ним прошли.

Таким образом, старый король, чувствовавший себя одиноким в своем величии, слабым в своем божественном праве, обратился отнюдь не к его высочеству, а к шестидесятилетнему господину в маршальском мундире, украшенном орденами лентами Святого Людовика и Святого Духа.

Господин этот воплощал в себе старую славу Франции; это был солдат Медонского полка, командир батальона мезских волонтеров, полковник Пикардийского полка, завоеватель Трира, герой сражения на Маннгеймском мосту, командир объединенного отряда гренадеров великой армии, победитель Остроленки, участник битвы при Ваграме, Березине, Баутзене, генерал-майор в королевской гвардии, главнокомандующий парижской гвардии—он получил ранения во всех сражениях, в каких только участвовал (у него на теле было двадцать семь ран, на пять больше, чем у Цезаря, но, несмотря на все свои раны, он сумел выжить)—это был маршал Удино, герцог де Реджио.

Карл X взял старого солдата под руку и, отведя в сторону, попросил:

— Маршал! Отвечайте мне откровенно!

Маршал бросил на короля удивленный взгляд. Молчание, холодность, с которыми национальная гвардия встретила его величество, не укрылись от внимания маршала.

— Откровенно, сир?—переспросил тот.

— Да, я желаю знать правду.

Маршал улыбнулся.

— Вас удивляет, что король хочет знать правду. Так нас, стало быть, часто вводят в заблуждение, дорогой маршал?

— Каждый старается в этом деле как может!

— А вы?

— Я не лгу никогда, ваше величество!

— Значит, вы говорите правду?

— Обыкновенно я жду, когда меня об этом попросят.

— И что тогда?

— Сир! Пусть ваше величество меня спросит: вы увидите сами.

— Итак, маршал, что вы скажете о смотре?

— Холодноватый прием!

— Едва слышно кто-то крикнул: «Да здравствует король!»—и только, вы заметили, маршал?

— Так точно, сир.

— Значит, я лишился доверия и любви своего народа?

Старый солдат промолчал.

— Вы что, не слышали моего вопроса, маршал? — продолжал настаивать Карл X.

— Слышал, ваше величество.

— Я спрашиваю вашего мнения, маршал. Я хочу знать, верно ли, по вашему мнению, что я лишился доверия и любви своего народа?

— Сир!

— Вы обещали сказать правду, маршал.

— Не вы, ваше величество, а ваши министры... К несчастью, народ не понимает ухищрений вашего конституционного образа правления: король и министры для народа едины.

— Да что же я такого сделал?! — вскричал король.

— Вы не сделали, но позволили сделать, государь.

— Маршал! Клянусь вам, я преисполнен добрых намерений.

— Есть пословица, ваше величество: добрыми намерениями вымощена дорога в ад!

— Скажите мне, маршал, все, что вы об этом думаете.

— Сир! — молвил маршал. — Я был бы недостоин милостей короля, если бы... я... не исполнил приказания, которое он мне дает.

— Итак?

— Итак, сир, я думаю, что вы — безупречный принц; однако вы, ваше величество, окружены и обмануты то ли слепыми, то ли несведущими советниками, которые либо не видят, либо плохо видят.

— Продолжайте, продолжайте!

— Я сейчас выражаю общественное мнение, сир, и потому скажу вам так: по духу вы совершенный француз, так черпайте советы в своей душе, а не где-нибудь еще.

— Значит, в народе мной недовольны?

Маршал поклонился.

— И по какому поводу недовольство?

— Сир! Закон о печати глубоко затрагивает интересы населения и наносит по ним смертельный удар.

— Вы полагаете, что именно этому я обязан сегодняшней холодностью?

— Я в этом уверен, государь.

— В таком случае я жду вашего совета, маршал.

— По какому поводу, сир?

— Что мне делать?

— Ваше величество! Я не могу советовать королю!

— Можете, раз я вас об этом прошу.

— Сир! Ваша непревзойденная мудрость...

— Что бы вы сделали на моем месте, маршал?

— Ну, раз вы приказываете, ваше величество...

— Не приказываю, а прошу, герцог! — подхватил Карл X с величавым видом, никогда ему не изменявшим при определенных обстоятельствах.

— В таком случае, сир, — продолжал маршал, — прикажите отменить закон, созовите на другой смотр всю национальную

гвардию и вы увидите, как единодушно солдаты будут вас приветствовать, и поймете, какова истинная причина их сегодняшнего молчания.

— Маршал! Я завтра же прикажу отменить закон. Назначьте сами день смотра.

— Не угодно ли вашему величеству, чтобы смотр был назначен на последнее воскресенье месяца, то есть на двадцать девятое апреля?

— Отдайте приказ сами: вы — главнокомандующий национальной гвардии.

В тот же вечер в Тюильри был созван Совет, и, вопреки упорным возражениям кое-кого из его членов, король потребовал немедленно отменить «закон любви».

Министры, несмотря на выгоды, которые им сулило применение этого закона, были вынуждены подчиниться монарху. Возвращение закона, кстати, было всего-навсего мерой предосторожности, ограждавшей их от несомненного и окончательного провала в сражении с палатой пэров.

На следующий день после неудавшегося смотра, на котором национальная гвардия продемонстрировала свое недовольство, король оценил всю серьезность положения, а маршал Удино безошибочно определил причину, г-н де Пейроне попросил слова в начале заседания палаты пэров и зачитал с трибуны ордонанс, предписывавший отмену закона. Сообщение было встречено радостными криками во всех уголках Франции, все газеты, и royalistische и либеральные, откликнулись на это событие.

Вечером Париж блистал иллюминацией.

Нескончаемые колонны наборщиков двигались по улицам и площадям города с криками: «Да здравствует король! Да здравствует палата пэров! Да здравствует свобода печати!»

Эти гуляния, огромное стечение зевак, затопивших бульвары, набережные и прилегавшие к ним улицы и все прибывавших по всем крупным парижским артериям вплоть до Тюильри, как кровь приливает к сердцу; крики этой толпы, хлопки петард, летевших из окон, сполохи взмывавших в небо ракет, которые усеивали небо недолговечными звездами; море огней, зажженных на крышах жилых домов, — весь этот шум и блеск придавали городу праздничный вид и радовали его обитателей, что обыкновенно не случается во время официальных празднований, проводимых по распоряжению правительства.

В других крупных городах королевства наблюдалось не меньшее оживление; казалось, не Франция одержала одну из тех побед, к которым она уже привыкла, но каждый француз торжествовал свою личную победу.

И действительно, оживление это принимало формы самые разнообразные, но и самые, если можно так выразиться, личные: каждый искал индивидуальную форму для выражения своей радости.

То это были многочисленные хоры, расположившиеся на площадях или разгуливавшие по улицам, распевая народные

песни; то импровизированные фейерверки или танцы длились всю ночь; в одном месте это были народные шествия или скачки с факелами в подражание античным бегам; а в другом сооружали триумфальные арки или колонны с памятными надписями. Города сияли иллюминациями, особенно восхитительно был расцвечен огнями Лион: берега обеих рек, главные площади города, многочисленные террасы его пригородов оказались, так сказать, обвиты длинными светящимися лентами, отражавшимися в водах Роны и Соны.

Даже битва при Маренго не внушила большей гордости, даже победа при Аустерлице не была встречена с большим энтузиазмом.

Ведь победы эти принесли с собой лишь торжество, тогда как провал «закона любви» явился не только победой, но и отмищением; это было обязательство перед всей Францией избавить ее от кабинета министров, который на каждой новой сессии словно ставил целью уничтожить какую-нибудь из обещанных свобод, гарантий, освященных Конституцией.

Это проявление общественного сознания, эта народная демонстрация силы, это ликование всего населения по поводу отмены закона напугали министров, и те решили в тот же вечер, невзирая на шум и всеобщее оживление, отправиться в полном составе к королю.

Они потребовали доложить о себе.

Стали искать короля.

Король не выходил, однако его не было ни в большой гостиной, ни в кабинете, ни у его высочества дофина, ни у герцогини Беррийской.

Где же он находился?

Лакей сообщил, что видел, как его величество в сопровождении маршала Удино направлялся к лестнице, которая вела на террасу салона часов.

Поднялись по этой лестнице.

Два человека стояли на террасе; под ними бушевало людское море, освещаемое разноцветными огнями и оглашаемое ликующими криками; силуэты этих двух людей четко выделялись на фоне светящегося лунного диска и серебристых облаков, стремительно мчавшихся по небу.

Эти двое были Карл X и маршал Удино.

Им доложили о визите министров.

Король взглянул на маршала.

— Зачем они пожаловали? — спросил он.

— Требовать от вашего величества какой-нибудь репрессивной меры против всеобщей радости.

— Пригласите этих господ! — приказал король.

Удивленные министры последовали за адъютантом, которому камердинер передал приказание короля.

Спустя несколько минут члены совета собрались на террасе салона часов.

Белое знамя — знамя Тайбурга, Бувина и Фонтенуа — развевалось под легким дуновением бриза. Казалось, ему было приятно слышать эти непривычные приветственные крики толпы.

Господин де Виллель выступил вперед.

— Сир! — начал он. — Меня беспокоит опасность, угрожающая вашему величеству, вот почему я пришел вместе со своими коллегами...

Король его остановил.

— Сударь! Вы приготовили свою речь до того, как вышли из министерства финансов, не так ли? — спросил он.

— Сир...

— Я не прочь вас выслушать, сударь. Однако прежде я желаю, чтобы с этой террасы, возвышающейся над Парижем, вы посмотрели бы и послушали, что происходит в городе.

Король простер руку над океаном огней.

— Стало быть, — рискнул вмешаться г-н Пейроне, — ваше величество требует нашей отставки?

— Да кто вам говорит об отставке, сударь? Ничего я от вас не требую. Я вас прошу посмотреть и послушать.

На мгновение воцарилась тишина, но не на улицах — там, наоборот, с каждой минутой становилось все шумнее и радостнее, — а среди прославленных наблюдателей.

Маршал держался в сторонке, и на губах его блуждала торжествующая улыбка. Король по-прежнему указывал рукой на толпу и поворачивался попеременно во все стороны; благодаря своему росту он возвышался над всеми этими людьми; под тяжестью прожитых лет он согнулся, однако в минуты, подобные этой, он находил в себе силы выпрямиться в полный рост. В это мгновение он на целую голову превосходил собравшихся — не только ростом, но и умом!

— Теперь продолжайте, господин де Виллель, — приказал король. — Что вы хотели мне сообщить?

— Ничего, сир, — отвечал председатель Совета. — Нам остается лишь выразить вашему величеству свое глубочайшее почтение.

Карл X кивнул, министры удалились.

— Ну, маршал, мне кажется, вы совершенно правы, — промолвил король.

И он вернулся в свои апартаменты.

На следующем заседании Совета король высказал министрам свое желание произвести смотр войскам 29 апреля.

Его величество заявил о своем намерении 25-го.

Министры попытались было переубедить короля. Однако его желание было непоколебимо, и он оставил без внимания требования министров, защищавшие прежде всего их личные интересы. Тогда министры стали настаивать на обязательном условии: оградить национальных гвардейцев от мятежников и провокаторов, которые непременно попытаются проникнуть в их ряды.

На следующий день в приказе говорилось: «На параде 16 апреля король объявил, что в доказательство его благожелательности и удовлетворения национальной гвардией он намерен провести смотр, который состоится на Марсовом поле в воскресенье 29 апреля».

Это была большая новость.

Накануне вечером, то есть 25 апреля, один наборщик, член тайного общества, принес Сальватору пробный оттиск приказа, который должны были огласить лишь на следующее утро.

Сальватор был каптенармусом в 11-м легионе. Читатели понимают, почему он согласился, вернее было бы сказать, добивался этого места: это был один из тысяч способов для активных членов общества карбонариев узнавать общественное мнение.

Смотр войск давал возможность лишний раз прощупать настроения в народе, и Сальватор не стал пренебрегать представившимся случаем.

Более пятисот ремесленников, которых он знал как горячих противников существовавшего порядка, неизменно уклонялись от службы в национальной гвардии, мотивируя свой отказ непосильными расходами на униформу; четверо делегатов, выбранные Сальватором, обошли этих мастеровых, выдали каждому по сотне франков при условии, что они купят полное обмундирование и займут свое место в рядах гвардейцев в воскресенье 29-го. Ремесленникам вручили адреса портных, входивших в тайное общество и обещавших сшить форму к назначенному дню за восемьдесят пять франков. Таким образом, каждому мастеровому оставалось еще по пятнадцати франков в качестве вознаграждения.

Все это было сделано в двенадцати округах.

Мэры, почти все — либералы, пришли в восторг от такого проявления готовности; они, стало быть, препятствий не чинили, и новобранцам раздали оружие.

Около шести тысяч человек, которые неделей раньше даже не состояли в национальной гвардии, оказались таким образом вооружены и одеты. Все они должны были подчиняться не полковым командирам, а руководителям тайного общества, ожидая от них условного сигнала. Однако даже самые горячие головы из числа карбонариев полагали, что час восстания еще не наступил; верховная вента приказала: никаких проявлений враждебности во время смотра.

Полиция со своей стороны держалась настороже, принимаясь и прислушиваясь. Однако что можно сделать тем, кто с радостью повинуетсЯ приказаниям короля?

Господин Жакаль внедрил десяток своих людей в каждый легион. Правда, эта мысль пришла ему лишь когда он узнал о готовившемся заговоре, и оказалось, что у парижских портных столько работы, что большинство людей г-на Жакаля были отлично вооружены в воскресенье, однако форму они получили только в понедельник.

Было слишком поздно!

Смотр войск в воскресенье 29 апреля

С той минуты, как было официально объявлено о проведении смотра 29 апреля, и вплоть до назначенного дня Париж охватило волнение, предшествующее политической буре и предвещавшее ее. Никто не мог сказать, что означала сотрясавшая город лихорадка, да и означала ли она что-нибудь. Не понимая хорошенько, что происходит, люди встречались на улицах, пожимали друг другу руки и говорили:

— Вы там будете?

— В воскресенье?

— Да.

— Ну еще бы!

— Не пропустите!

— Как можно!..

Потом собеседники снова обменивались рукопожатием — масоны и карбонарии прибавляли к этому условный знак, другие обходились без него — и расходились, бормоча себе под нос:

— Чтобы я пропустил такое событие?! Да ни за что!

С 26-го по 29-е в либеральных газетах только и разговору было, что об этом смотре; они подбивали горожан непременно прийти на смотр и в то же время советовали им соблюдать осторожность. Известно, что означают подобные советы, выходящие из-под пера, враждебного правительственным кругам: «Будьте готовы ко всему, потому что правительство висит на волоске: не упускайте удобный случай!»

Эти три дня не прошли даром и для наших юных героев. У поколения, которое мы считаем своим, — преимущество это или недостаток, как знать? — в те времена еще была вера; но потеряло веру не наше поколение — оно-то осталось молодо душой, — а представители следующего поколения, те, кому сегодня тридцать — тридцать пять лет. Вера эта, словно судно, потерпела кораблекрушение в революциях 1830-го и 1848-го, еще скрытых грядущим, — как младенец, который живет и уже шевелится, хотя еще скрыт в материнском чреве.

Итак, на каждого из наших юных героев эти три дня оказали более или менее сильное влияние.

Сальватор, один из главных руководителей общества карбонариев (на них молились все революционеры той поры, ведь карбонаризм был душой всех тайных обществ, действовавших не только в Париже и департаментах, но и за пределами Франции), сделал все возможное, чтобы усилить национальную гвардию несколькими тысячами патриотов, которые до тех пор не входили в ее ряды. Эти патриоты были одеты и вооружены, что совсем немало: патроны всегда пригодятся в определенный день, в назначенный час.

Жюстен, рядовой вольтижер в одной из рот 11-го легиона, до сих пор пренебрегал ни к чему не обязывавшими отношени-

ями, какие завязываются между гражданами, проводшими вместе ночь в карауле или пару часов на посту; но с того времени, как Жюстен увидел в карбонаризме средство для свержения правительства, при котором аристократ, поддерживаемый священником, может безнаказанно ломать человеческие судьбы, учитель стал проповедовать карбонаризм со сдерживаемым до той поры пылом. А так как Жюстена уважали, любили, чтили в квартале, зная его за добродетельного сына и брата, то его и слушали, словно оракула, тем более что его собеседники сами искали истину и долго убеждать их не приходилось.

Что до Людовика, Петруса и Жан Робера, это были солдаты, несущие службу на благо общего дела. Людовик вдохновлял и направлял своих однокашников — студентов юридического и медицинского факультетов, чьи ряды он оставил совсем недавно; Петрус стоял во главе всей артистической молодежи, горячей и настроенной весьма патриотически; Жан Робер наставлял тех, кто имел отношение к литературе: за ним привыкли следовать как за предводителем на пути искусства, готовы были идти за ним и по любому другому пути, куда бы ему ни вздумалось отправиться.

Жан Робер служил в конной гвардии; Петрус и Людовик были лейтенантами в пеших подразделениях национальной гвардии.

Каждый из них со своими занятиями искусством, наукой, любовными увлечениями — ведь их молодые сердца были открыты навстречу всем благородным чувствам, — ждал наступления 29 апреля и наравне со всеми парижанами испытывал волнение, о котором мы попытались рассказать, но не назвали его причины.

Вечером 28-го Сальватор пригласил их всех собраться у Жюстена. Там Сальватор просто и ясно поведал четвертым друзьям о происходившем. Он предполагал, что на следующий день возможны проявления недовольства, но ничего серьезного, по его мнению, произойти не могло. Он просил молодых людей сохранять спокойствие и не предпринимать важных шагов без его, Сальватора, знака.

Наконец великий день настал. Он в самом деле был похож на воскресенье, если судить по тому, как выглядели улицы Парижа. Да что там воскресенье — настоящий праздничный денек!

С девяти часов утра легионы от различных округов бороздили Париж с музыкантами во главе, а следом по тротуарам или по обеим сторонам бульваров бежали жители кварталов, через которые проходили гвардейцы.

В одиннадцать часов двадцать тысяч национальных гвардейцев построились в боевом порядке перед Военной школой. Они шагали по той самой земле Марсова поля, что хранила столько воспоминаний и была перекопана их отцами в величайший день федерации, превративший Францию в отечество, а всех французов в братьев. Марсово поле! Это единственный памятник, сохранившийся после грозной революции, ставившей перед собой за-

дачу не созидать, а разрушать. Чему же она прежде всего должна была положить конец? Старой династии Бурбонов, представитель которых осмелился в ослеплении, являющемся заразной болезнью всех королей, попать эту землю, более раскаленную, чем лава Везувия, более зыбкую, нежели пески Сахары!

Смотр национальной гвардии не производился вот уже несколько лет. У солдат-граждан психология особая; если их посылают в караул, они ропшут; ежели их распускают, они возмущаются.

Национальная гвардия устала от бездействия и с радостью откликнулась на призыв. Она была теперь усилена шестью тысячами одетых с иголочки ремесленников, отлично вооруженных, а также прекрасной выправки.

В ту минуту, как гвардейцы выстраивались в боевой порядок, фронтом к Шайо, то есть лицом в ту сторону, откуда должен был прибыть король, триста тысяч зрителей стали занимать места на откосе, насыпанном вокруг плаца. Судя по одобрительным взглядам, громким приветственным крикам, вспыхивавшим с новой силой и подолгу не умолкавшим, каждый из этих трехсот тысяч зрителей благодарил национальную гвардию за старания достойно представить столицу; своим присутствием гвардейцы как бы выражали признательность королю за то, что он откликнулся на чаяния целой нации, отменив ненавистный закон (надо заметить, что, за исключением заговорщиков, которые наследуют от отцов и передают своим сыновьям великую революционную традицию, основанную такими, как Сведенборг или Калиостро, все, кто находился в эту минуту на Марсовом поле, в Париже, во Франции, были преисполнены благодарности и симпатии к Карлу X). Только всевидящее око способно было проникнуть сквозь три года и увидеть в этом 29 апреля другой день: 29 июля¹.

Кто возьмется объяснить эти величайшие повороты в общественном мнении, когда в несколько лет, в несколько месяцев, зачастую в несколько дней то, что было наверху, опускается, а то, что лежало на дне, всплывает на поверхность?

Апрельское солнце, еще желтое, чей лик, омытый росой, с нежностью влюбленного взирает на землю, поэтичную и искреннюю Джульетту, поднимающуюся из своей гробницы и складка за складкой роняющую саван,—апрельское солнце выглядывало из-за купола Дома Инвалидов, словно вознамерившись оживить смотр.

В час орудийные залпы и далекие крики возвестили о прибытии короля, подъехавшего верхом в сопровождении его высочества дофина, герцога Орлеанского, юного герцога Шартрского и целой толпы старших офицеров. Герцогиня Ангулемская,

¹ Правильнее, наверное, 25 июля—день, когда в 1830 году были опубликованы знаменитые указы Карла X, уничтожавшие демократические свободы и спровоцировавшие революцию, что вынудило короля к отречению. (*Примеч. пер.*)

герцогиня Беррийская и герцогиня Орлеанская ехали следом в открытой коляске.

При виде блестящего кортежа по рядам зрителей пробежало волнение.

Что же за ощущение в иные минуты едва касается нашего сердца своими огненными крыльями, заставляет содрогнуться с головы до ног и толкает нас на крайности?

Смотр начался; Карл X объехал первые линии под крики: «Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!» — но еще чаще доносилось: «Да здравствует король!»

Во всех легионах были распространены обращения, в которых рекомендовалось избегать какой бы то ни было демонстрации, дабы не оскорбить короля. Автор этих строк находился в тот день в рядах гвардейцев, и один оттиск остался в его руках. Вот он:

**ОБРАЩЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ГВАРДЕЙЦАМ
ПЕРЕДАТЬ ПО ЦЕПИ**

«Не поддавайтесь слухам, будто легионы обязаны кричать: „Да здравствует король! Долой министров! Долой иезуитов!“ Только недоброжелатели заинтересованы в том, чтобы национальная гвардия изменила себе».

Как бы осторожно ни было составлено это обращение, его следует расценить как документ исторический.

Прошло несколько минут, и могло показаться, что гвардейцы решили внять обращению: по всему фронту гремели крики: «Да здравствует король! Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!» Однако по мере того, как король ехал дальше, все явственнее стали доноситься и другие призывы: «Долой иезуитов! Долой министров!»

Заслышав их, старый король остановил коня.

Не понравившиеся королю призывы стихли. Благожелательная улыбка, которая сошла было с его лица, снова заиграла на губах. Он снова поехал вдоль легионов, но между третьей и четвертой шеренгами мятежные выкрики возобновились, несмотря на то, что трепетавшие гвардейцы шепотом призывали друг друга к осторожности; они и сами не понимали, каким образом призывы: «Долой министров! Долой иезуитов!» — которые солдаты пытались сдержать в своих сердцах, против воли срывались с их губ.

В рядах национальных гвардейцев таился инородный, незнакомый, подстрекательский элемент, — это были простые люди, которые под влиянием руководителей общества карбонариев смешались в тот день с буржуа.

Гордость короля снова была задета, когда он услышал эти крики, которые словно навязывали ему определенный политический выбор.

Он в другой раз остановился и оказался против высокого гвардейца атлетического сложения — Бари¹ непременно избрал бы его моделью для человека-льва или льва-народа.

Это был Жан Бычье Сердце.

Он потрясал ружьем, будто прутиком, и кричал (а ведь он не умел читать!):

— Да здравствует свобода печати!

Громовой голос, мощный жест удивили старого короля. Он заставил своего коня пройти еще несколько шагов и подъехал к крикуну поближе. Тот тоже вышел на два шага вперед — есть люди, которых словно притягивает опасность, — и, продолжая трясти ружьем, прокричал:

— Да здравствует Хартия! Долой иезуитов! Долой министров!

Карл X, как все Бурбоны, даже Людовик XVI, умел порой повести себя с большим достоинством.

Он знаком показал, что хотел бы говорить, и двадцать тысяч человек будто онемели.

— Господа! — произнес король. — Я прибыл сюда для того, чтобы меня восхваляли, а не поучали!

Он повернулся к маршалу Удино и продолжал:

— Прикажите начинать парад, маршал.

Затем король галопом выехал из рядов гвардейцев и занял место на фланге, а впереди него продолжало волноваться людское море.

Парад начался.

Каждая рота, проходя перед королем, выкрикивала свой призыв. Большинство гвардейцев кричали: «Да здравствует король!» Лицо Карла X мало-помалу просветлело.

После парада король сказал маршалу Удино:

— Все могло бы пройти и лучше. Было несколько путаников, но в массе своей гвардия надежна. В целом я доволен.

И они снова поскакали галопом в Тюильри.

По возвращении во дворец маршал подошел к королю.

— Сир! — обратился он. — Могу ли я передать в газеты сообщение, что вы, ваше величество, удовлетворены смотром?

— Не возражаю, — отвечал король. — Однако я бы хотел знать, в каких выражениях будет сказано о моем удовлетворении.

Дворецкий объявил, что кушать подано, и его величество подал руку герцогине Орлеанской, герцог Орлеанский повел к столу герцогиню Ангулемскую, а герцог Шартрский предложил руку герцогине Беррийской. Все перешли в столовую.

Тем временем национальные гвардейцы расходились по своим квартирам, но перед тем они долго обсуждали ответ Карла X

¹ Французский скульптор и акварелист (1795—1875 гг.), известен как анималист. Антуан-Луи Бари — автор рельефа «Лев» на цоколе Июльской колонны, установленной в Париже на площади Бастилии в честь граждан, сражавшихся во время революции в июле 1830 года. (Примеч. пер.)

Бартеlemi Лелонгу: «Я прибыл сюда для того, чтобы меня восхваляли, а не поучали».

Высказывание сочли чересчур аристократичным, учитывая место, где оно было произнесено: Карл X сказал это на той самой площади, где тридцать семь лет назад возвышался алтарь отечества, и с него Людовик XVI принес клятву Французской революции. (По правде говоря, Карл X, в то время граф д'Артуа, не слышал этой клятвы, ведь с 1789 года он находился в эмиграции.) И вот едва король удалился с Марсова поля, сдерживаемые дотоле крики вспыхнули с новой силой, вся огромная арена, казалось, содрогнулась, грянула «ура!», и в крике этом слышались гнев и проклятия.

Однако это было не все: каждый легион, возвращаясь в свой округ, уносил с собой возбуждение, которое почерпнул в общении с представителями всего Парижа, и гвардейцы распространяли это возбуждение на всем протяжении пути. Если бы их крики не нашли отклика в парижанах, они скоро угасли бы, как забытый костер. Однако похоже было на то, что, напротив, крики солдат явились искрами, сыпавшимися на готовый вспыхнуть хворост.

Крики прокатились в толпе, делаясь все громче; стоявшие на порогах своих домов парижане потрясали шапками, женщины махали из окон платками и подвывали мужьям, но теперь отовсюду доносилось не: «Да здравствует король! Да здравствует Хартия! Да здравствует свобода печати!», а «Да здравствует национальная гвардия! Долой иезуитов! Долой министров!» Воодушевление переросло в протест, а протест уже грозил мятежом.

Те легионы, что возвращались по улице Риволи и через Вандомскую площадь, должны были пройти мимо министерства финансов и министерства юстиции. Вот уж там крики обратились в вопли! Несмотря на приказы командиров следовать дальше, легионы остановились, гвардейцы забарабанили прикладами о мостовую и взвыли: «Долой Виллеля! Долой Пейроне!» — да так, что в домах зазвенели стекла!

Видя, что их приказ продолжать следование не исполняется, несколько офицеров с возмущением удалились; однако другие офицеры остались, но не для того, чтобы утихомирить солдат, поддавшихся общему возбуждению: командиры кричали вместе с подчиненными, а некоторые из них даже громче остальных.

То была серьезная демонстрация: бунтовала не толпа, не сброд из предместьев, не шайка мастеровых — восстала конституционная армия, политическая сила; теперь буржуазия, объединившись со всем французским народом, выражала протест устами двадцати тысяч вооруженных солдат.

Министры в это время обедали у австрийского посла, г-на Апони. Предупрежденные полицией, они поднялись из-за стола, приказали подавать свои экипажи и отправились держать совет в министерство внутренних дел. Оттуда они в полном составе прибыли в Тюильри.

Из окон своего кабинета король мог при желании видеть происходящее и оценить серьезность положения, но и его величество обедал — в салоне у Дианы, куда до августейших сотрапезников не доходило ни звука.

Король Луи-Филипп, тоже, кажется, завтракал, когда в 1848 году ему объявили, что караульные помещения на площади Людовика XV захвачены...

Министры ожидали в зале заседаний Совета приказаний короля, которого лакей пошел предупредить об их прибытии во дворец.

Карл X кивнул, однако остался сидеть за столом.

Обеспокоенная герцогиня Ангулемская спрашивала взглядом дофина и отца: дофин был занят зубочисткой и ничего не видел и не слышал; Карл X ответил улыбкой, которая означала: не стоит беспокоиться.

И обед продолжался.

К восьми часам все вышли из столовой и разошлись по своим апартаментам.

Король, настоящий рыцарь, проводил герцогиню Орлеанскую до ее кресла, а затем направился в зал заседаний.

По дороге ему встретилась герцогиня Ангулемская.

— Что случилось, сир? — спросила она.

— Ничего, как мне кажется, — отозвался Карл X.

— Говорят, министры ожидают короля в зале Совета.

— Во время обеда мне уже докладывали, что они во дворце.

— В Париже беспорядки?

— Не думаю.

— Да простит король мое беспокойство!.. Могу ли я попытаться, как обстоят дела?

— Пришлите ко мне дофина.

— Пусть король извинит, что я настаиваю, я бы предпочла пойти сама...

— Хорошо, приходите через несколько минут.

— Король слишком добр ко мне!

Герцогиня поклонилась, потом подошла к г-ну де Дамá и отвела его к окну.

Герцог Шартрский и герцогиня Беррийская беседовали с беззаботностью, свойственной молодости: герцогу Шартрскому было шестнадцать лет, герцогине Беррийской исполнилось двадцать пять. Герцог Бордоский, пятилетний малыш, играл в ногах у матери.

Герцог Орлеанский стоял опершись на камин и казался беззаботным, хотя на самом деле прислушивался к малейшему шуму. Порой он проводил платком по лицу — только этим он и выдавал снедавнее его беспокойство.

Тем временем король Карл X вошел в зал заседаний Совета.

Министры ожидали его стоя и находились в большом возбуждении, что проявлялось у каждого из них в зависимости от темперамента: г-н де Виллель был желтого цвета, словно в жилах его вместо крови текла желчь; г-н де Пейроне раскраснелся так,

будто его вот-вот хватит апоплексический удар; г-н де Корбьер был пепельного цвета.

— Сир!..— начал г-н де Виллель.

— Сударь,— перебил его король, давая понять министру, что тот нарушил этикет, посмеив заговорить первым,— вы не дали мне времени расспросить вас о вашем здоровье, а также о здоровье госпожи де Виллель.

— Вы правы, сир. А все потому, что для меня интересы вашего величества гораздо важнее здоровья вашего покорного слуги.

— Так вы пришли поговорить о моих интересах, господин де Виллель?

— Разумеется, государь.

— Я вас слушаю.

— Вашему величеству известно, что происходит?— спросил председатель Совета.

— Так, значит, что-то происходит?— отозвался король.

— Недавно вы, ваше величество, приглашали нас послушать радостные крики парижской толпы!

— Верно!

— Не угодно ли королю послушать теперь угрозы?

— Куда я должен для этого отправиться?

— О, недалеко: достаточно отворить это окно. Король позволяет?..

— Открывайте!

Господин де Виллель отодвинул оконную задвижку, и окно распахнулось.

Вместе с вечерним ветерком, от которого затрепетали огни свечей, в кабинет вихрем ворвался гул толпы. Слышались и крики радости, и угрозы — одним словом, тот шум, что поднимается над встревоженным городом, когда нельзя понять намерений его жителей и возбуждение их тем более пугает, что понимаешь: впереди — неизвестность.

Среди общего гула время от времени вспыхивали призывы, напоминавшие зловещие предсказания: «Долой Виллеля! Долой Пейроне! Долой иезуитов!»

— Ага!—с улыбкой обронил король.— Это мне знакомо. Вы не присутствовали нынче утром на смотре, господа?

— Я там был, сир,— отвечал г-н де Пейроне.

— Верно! Я, кажется, видел вас среди штабных офицеров.

Господин Пейроне поклонился.

— Так это — продолжение Марсова поля,— заметил король.

— Надобно подавить эту наглую выходку, сир!— вскричал г-н де Виллель.

— Как вы сказали, сударь!— холодно переспросил король.

— Я сказал, сир,— продолжал настаивать министр финансов, подхлестнутый чувством долга,— что, по моему мнению, оскорбления, брошенные министру, падают на короля. И мы пришли узнать у его величества, как ему нравится происходящее?

— Господа! — проговорил в ответ король. — Не надо преувеличивать! Не думаю, что мне грозит какая-либо опасность со стороны моего народа. Я уверен, мне довольно будет показать-ся — и все эти разнообразные крики сольются в один: «Да здравствует король!»

— Ах, сир! — послышался позади Карла X женский голос. — Надеюсь, король не допустит неосторожности и не станет выходить!

— А-а, это вы, ваше высочество!

— Разве король сам не позволил мне прийти?

— Верно... Так что вы предлагаете мне предпринять, господа?

— Сир! Вы знаете, что громче всего кричат: «Долой священников»? — вставила свое слово герцогиня Ангулемская.

— Да, действительно... Я хорошо слышал: «Долой иезуитов!»

— Ну и что, сир? — не поняла ее высочество.

— Это не совсем одно и то же, дочь моя... Спросите лучше у его высокопреосвященства архиепископа. Господин де Фрейсину, будьте с нами откровенны! Крики: «Долой иезуитов!» — адресованы духовенству? Как вы полагаете?

— Я бы сделал различие, сир, — отвечал архиепископ, человек тихий и прямой.

— А для меня, — поджав тонкие губы, возразила наследная принцесса, — различия не существует!

— Ну, господа, занимайте свои места, и пусть каждый выскажет по данному поводу свои соображения, — предложил король.

Министры сели, и обсуждение продолжилось.

XX

Господин де Вальзины

Пока обсуждение, подробности и результаты которого мы узнаем позднее, разворачивалось вокруг стола, покрытого зеленым сукном, на котором столько раз были поставлены судьбы Европы; пока г-н де Маранд, рядовой вольтижер во 2-м легионе, возвращается к себе, за весь день не проронив ни слова одобрения или осуждения, по которому можно было бы судить о его политических пристрастиях, потом стягивает мундир с торопливостью, свидетельствующей о его неприязни ко всему военному и, как если бы его заботил лишь большой бал, который он собирается дать в этот вечер, он сам руководит всеми приготовлениями к вечеру, — наши молодые герои, не выдавшие Сальватора с тех пор, как он дал им последние указания перед смотром, поспешили, как и г-н де Маранд, сбросить униформу и собрались у Жюстена как у общего источника, чтобы узнать, как им лучше себя держать в непредсказуемых грядущих обстоятельствах.

Жюстен и сам ждал Сальватора.

Молодой человек пришел к девяти часам; он тоже успел переодеться и снова превратился в комиссионера. Судя по испарине, выступившей у него на лбу, а также высоко вздымавшейся груди, после возвращения со смотра он не терял времени даром.

— Ну что? — хором спросили четверо молодых людей, едва завидев Сальватора.

— Министры заседают, — ответил тот.

— По какому поводу?

— Обсуждают, как наказать славную национальную гвардию, которая позволила себе неповиновение.

— А когда станут известны результаты заседания?

— Как только будет какой-нибудь результат.

— Так у вас есть пропуск в Тюильри?

— Я могу пройти повсюду.

— Дьявольщина! — вскричал Жан Робер. — Как жаль, что я не могу ждать: у меня приглашение на бал, которое я не могу манкировать.

— Я тоже, — сказал Петрус.

— У госпожи де Маранд? — спросил Сальватор.

— Да! — с удивлением отвечали оба приятеля. — Как вы узнали?

— Я знаю все.

— Однако завтра на рассвете вы сообщите нам новости, не правда ли?

— Зачем же? Вы все узнаете нынче вечером.

— Мы же с Петрусом уходим к госпоже де Маранд...

— Вот у нее вы обо всем и услышите.

— Кто же нам передаст?..

— Я.

— Как?! Вы будете у госпожи де Маранд?

Сальватор лукаво улыбнулся.

— Не у госпожи, а у господина де Маранда.

С той же особенной улыбкой на устах он продолжал:

— Это мой банкир!

— Ах, черт побери! — бросил Людовик. — Я в отчаянии: и зачем только я отказался от твоего приглашения, Жан Робер!

— А теперь уже поздно! — воскликнул тот и вытащил часы. — Половина десятого! Невозможно...

— Вы хотите пойти на бал к госпоже де Маранд? — спросил Сальватор.

— Да, — кивнул Людовик. — Я бы хотел нынешней ночью не расставаться со своими друзьями... Разве не должно что-то произойти с минуты на минуту?

— По-видимому, ничего особенного не произойдет, — возразил Сальватор. — Но это не причина, чтобы расставаться с вашими друзьями.

— Ничего не поделаешь, ведь у меня нет приглашения.

Лицо Сальватора осветила свойственная ему загадочная улыбка.

— Попросите нашего поэта представить вас,— предложил он.

— О, я не настолько вхож в дом...— запротестовал Жан Робер и едва заметно покраснел.

— В таком случае,— продолжал Сальватор, обратившись к Людовику,— попросите господина Жана Робера вписать ваше имя вот на этой карточке.

И он вынул из кармана отпечатанное приглашение, гласившее:

«Господин и госпожа де Маранд имеют честь пригласить господина ... на вечер с танцами, который они дадут в своем особняке на улице д'Артуа в воскресенье 29 апреля.

Париж. 20 апреля 1827 года».

Жан Робер взглянул на Сальватора с удивлением, граничившим с изумлением.

— Вы боитесь, что не узнают ваш почерк?— продолжал Сальватор.— Подайте-ка мне перо, Жюстен.

Жюстен протянул Сальватору перо. Тот вписал имя Людовика в приглашение, несколько изменив свой изящный аристократический почерк и выведя обычного размера буквы. Затем он протянул карточку молодому доктору.

— Вы сказали, что сами вы идете не к госпоже, а к господину де Маранду?— уточнил Жан Робер, обратившись к Сальватору.

— Совершенно верно.

— Как же мы встретимся?

— Действительно, ведь вы-то идете к госпоже!— продолжая улыбаться, молвил Сальватор.

— Я иду на бал, который дает мой друг, и не думаю, что на этом балу будут говорить о политике.

— Верно... Однако в половине двенадцатого, как только закончится выступление нашей бедняжки Кармелиты, начнется бал. А ровно в полночь в конце галереи, занятой под оранжерею, откроется дверь в кабинет господина де Маранда. Туда пропустят всех, кто скажет два слова: «Хартия» и «Шартр». Их нетрудно запомнить, не так ли?

— Нет.

— Вот мы обо всем и договорились. А теперь, если хотите успеть переодеться, чтобы в половине одиннадцатого быть в голубом будуаре, времени терять нельзя!

— У меня в коляске есть одно место,— предложил Петрус.

— Возьми Людовика! Вы—соседи, а я дойду к себе пешком,— сказал Жан Робер.

— Хорошо!

— Итак, в половине одиннадцатого в будуаре госпожи де Маранд, где будет петь Кармелита,— предупредил Петрус.— А в полночь—в кабинете господина де Маранда, где мы узнаем, что произошло в Тюильри.

И трое молодых людей, пожав руки Сальватору и Жюстену, удалились, оставив двух карбонариев с глазу на глаз.

Мы видели, как в одиннадцать часов Жан Робер, Петрус и Людовик собрались у г-жи де Маранд и аплодировали Кармелите. В половине двенадцатого, пока г-жа де Маранд и Регина приводили в чувство Кармелиту, молодые люди преподали Камиллу урок, о котором мы уже рассказали. Наконец, в полночь, пока г-н де Маранд, задержавшийся в будуаре, чтобы справиться о состоянии Кармелиты, галантно целовал руку своей жене и просил как величайшей милости позволения зайти после бала к ней в спальню, молодые люди проникли в кабинет банкира, назвав условный пароль: «Хартия» и «Шартр».

Там собрались все старейшие заговорщики из Гренобля, Бельфора, Сомюра и Ла-Рошели — словом, все, кто чудом уцелел: Лафайеты, Кеклены, Пажоли, Дермонкуры, Каррели, Гинары, Араго, Кавеньяки — и каждый из них представлял особое мнение, а все вместе они шли к великой цели.

Гости ели мороженое, пили пунш, говорили о театре, искусстве, литературе... Но уж никак не о политике!

Трое друзей вошли вместе и поискали глазами Сальватора.

Сальватор еще не пришел.

Тогда они разделились и разошлись по разным кружкам: Жан Робер примкнул к Лафайету, который любил его как сына; Людовик — к Франсуа Араго, этому великодушному красавцу и умище; Петрус — к Орасу Верне, чьи полотна все как одно были отвергнуты Салоном и тогда художник организовал выставку в своей мастерской, где перебивал весь Париж.

Кабинет г-на де Маранда представлял собой любопытнейшее собрание недовольных, представлявших все партии. И вот приглашенные разговаривали об искусстве, науке, войне, но всякий раз, как отворялась дверь, все взгляды обращались на входившего: должно быть, они кого-то ждали.

И действительно, они ожидали вестника из дворца.

Наконец дверь распахнулась, пропуская молодого человека лет тридцати, одетого с безупречным изяществом.

Петрус, Людовик и Жан Робер едва сдержались, чтобы не вскрикнуть от удивления: это был Сальватор.

Вновь прибывший поискал глазами и, заметив г-на де Маранда, пошел к нему.

Господин де Маранд протянул ему руку.

— Вы припозднились, господин де Вальзины, — заметил банкир.

— Да, сударь, — отвечал молодой человек, изменив голос и сопровождая свою речь непривычными жестами. Он поднес к правому глазу лорнет, словно без него не мог узнать Жана Робера, Петруса и Людовика. — Да, я пришел поздно, вы правы. Однако я задержался у тетушки, старой вдовы, подруги герцогини Ангулемской: она передала мне дворцовые новости.

Все присутствовавшие стали слушать с удвоенным вниманием. Сальватор обменялся приветствиями с несколькими гостями, подошедшими к нему поближе, вкладывая в свои слова ровно столько дружеского участия, почтительности или непринужденности, сколько, по мнению элегантного г-на де Вальзины, полагалось каждому из них.

— Дворцовые новости! — повторил г-н де Маранд. — Значит, во дворце что-то происходит?

— А вы не знаете?.. Да, состоялось заседание Совета.

— Это, дорогой господин де Вальзины, давно не новости, — рассмеялся г-н де Маранд.

— Однако заседание может принести кое-что новое, что и произошло.

— Неужели?

— Да.

Все приблизились к Сальватору.

— По предложению господина де Виллеля, господина де Корбьера, господина де Пейроне, господина де Дамá и господина де Клермон-Тоннера, а также по настоянию ее высочества наследной принцессы, которую очень заделали крики: «Долой иезуитов!» — и несмотря на возражение господина де Фрейсину и господина де Шаброля, голосовавших за частичное расформирование, национальная гвардия распущена!

— Распущена?!..

— Полностью распущена! Вот и я был каптенармусом, а теперь я не у дел, придется искать другое занятие!

— Распущена! — все повторяли слушатели, будто никак не могли поверить в то, что услышали.

— То, что вы говорите, очень важно, сударь! — проговорил г-н Пажоль.

— Вы находите, генерал?

— Несомненно!.. Ведь это государственный переворот.

— Да?.. Что ж, в таком случае его величество Карл Десятый совершил государственный переворот.

— Вы уверены в своих словах? — спросил Лафайет.

— Ах, господин маркиз!.. (Сальватор словно забыл, что Лафайет и Монморанси отказались от своих титулов 4 августа 1789 года.) Я не стал бы говорить то, в чем не уверен.

Потом он прибавил непреклонным тоном:

— Я полагал, что имею честь быть вам знакомым, чтобы вы не сомневались в моем слове.

Старик протянул молодому человеку руку и с улыбкой проговорил вполголоса:

— Перестаньте называть меня маркизом.

— Прошу прощения, — рассмеялся Сальватор, — но вы для меня всегда маркиз.

— Хорошо, пусть так! Для вас, человека неглупого, я готов остаться кем пожелаете, но при других зовите меня генералом.

Вернувшись к первоначальной теме разговора, Лафайет спросил:

— Когда огласят этот прелестный ордонанс?

— Это уже сделано.

— То есть, как? — не понял г-н де Маранд. — Почему же мне об этом ничего не известно?

— Возможно, вы узнаете в свое время. И не надо сердиться на вашего осведомителя за опоздание: просто у меня есть свой способ видеть сквозь стены: нечто вроде хромого беса, который приподнимает крыши, чтобы я увидел, что происходит на заседаниях Государственного совета.

— И когда вы смотрели сквозь стены Тюильри, вы видели, как составлялся ордонанс? — уточнил банкир.

— Больше того, я заглядывал через плечо тому, кто водил пером. О, фраз там не было или, вернее, была одна-единственная: «Карл Десятый, Божьей милостью и так далее, заслушав доклад нашего государственного секретаря, министра иностранных дел и так далее, постановляет распустить национальную гвардию города Парижа». И все.

— И этот ордонанс?..

— ...разослан в двух экземплярах: один — в «Монитор», другой — маршалу Удино.

— И завтра пакет будет в «Мониторе»?

— Он уже там. Правда, номер с ордонансом еще не вышел из печати.

Присутствовавшие переглянулись.

Сальватор продолжил:

— Завтра или, точнее, сегодня, потому что уже перевалило за полночь, — итак, сегодня в семь часов утра национальных гвардейцев сменят с постов королевская гвардия и пехотный полк.

— Да, — заметил кто-то, — а потом национальные гвардейцы сменят с постов пехотинцев и солдат королевской гвардии!

— Это, возможно, и произойдет в один прекрасный день, — сверкнув глазами, молвил Сальватор, — только не по приказанию короля Карла Десятого!

— Невозможно поверить в такое ослепление! — проговорил Араго.

— Ах, господин Араго, — возразил Сальватор, — вы, астроном, можете до часа, до минуты предсказать затмения. Неужели вы не видите, что происходит на королевском небосводе?

— Чего ж вы хотите! — заметил прославленный ученый. — Я человек рассудительный и привык сомневаться.

— Иными словами, вам нужно доказательство? — подхватил Сальватор. — Будь по-вашему! Вот вам доказательство.

Он вынул из кармана небольшой, еще влажный листок.

— Держите! — сказал он. — Вот пробный оттиск ордонанса, который будет напечатан в завтрашнем номере «Монитора». Ах,

жалость какая! Буквы немного смазаны: этот листок отпечатали нарочно для меня и очень торопились.

Он усмехнулся и прибавил:

— Это меня и задержало: я ждал, когда будет отпечатан ордонанс.

Он подал оттиск г-ну Араго, и листок пошел гулять по рукам. Когда Сальватор насладился произведенным впечатлением, он, как актер, прибегающий к эффектам, произнес:

— Это не все!

— Как?! Что еще? — слышались со всех сторон голоса.

— Герцог Дудовильский, суперинтендант королевского дома, подал в отставку.

— О! — воскликнул Лафайет. — Я знал, что с тех пор, как полиция нанесла оскорбление телу его отца, он ждал лишь удобного случая.

— Что же, — заметил Сальватор, — роспуск национальной гвардии — случай подходящий.

— Отставка была принята?

— Незамедлительно.

— Самим королем?

— Король заупрямился было, но герцогиня заметила ему, что это место словно нарочно создано для принца Полиньяка.

— То есть, как — для принца Полиньяка?

— Да, для его высочества Анатоля-Жюля де Полиньяка, приговоренного к смерти в тысяча восемьсот четвертом году, помилованного благодаря вмешательству императрицы Жозефины, ставшего римским принцем в тысяча восемьсот четырнадцатом году, пэр — в тысяча восемьсот шестнадцатом и послом в Лондоне — в тысяча восемьсот двадцать третьем. Надеюсь, теперь ошибки быть не может?

— Однако, раз он посол в Лондоне...

— О, это не помеха, генерал: он будет отозван.

— А господин де Виллель дал на это согласие? — полюбопытствовал г-н де Маранд.

— Он немножко посопротивлялся, — ответил Сальватор, с непонятным упорством сохраняя шуточный тон, — ведь господин де Виллель — хитрый лис, так, во всяком случае, рассказывают; я-то имею честь его знать не более чем большинство мучеников... Во всяком случае, он сказал так: «Что до меня, то я никогда не слышал, чтобы мученики жили коммуной, — да, мученики, иначе их не называть! — Их обычно не более пяти на сотню». И, как хитрый лис, он дал понять, что говорит и о Бартеми и о Мери. Потому что, хоть и поется:

Встал Виллель, всему глава,
Несокрушимо, как скала. —

он понимает, что нет такой скалы, пусть даже самой твердой, которую нельзя было бы взорвать. Доказательство тому — Ган-

нибал, который, преследуя Тита Ливия, продолбил проход в цепи Альпийских гор,—и он боится, как бы господин де Полиньяк не продолбил его скалу.

— Как!—вскричал генерал Пажоль.—Господин де Полиньяк—в кабинете министров?

— Тогда нам останется лишь спрятаться!—прибавил Дюпон (де л'Эр).

— А я полагаю, что, напротив, нам придется показать зубы!—возразил Сальватор.

Молодой человек произнес последние слова совсем другим тоном, чем говорил до сих пор, и все невольно обратили на него свои взоры.

Только теперь трое друзей окончательно его узнали; это были их Сальватор, самый настоящий, а не какой-то там Вальзиныи г-на де Маранда.

В это время вошел лакей и передал хозяину дома депешу, проговорив:

— Срочное!

— Я знаю, что это,—сказал банкир.

Он схватил незапечатанный конверт, вынул письмо и прочел три строки, написанные крупным почерком:

«Национальная гвардия распущена.

Отставка герцога Дудовильского принята.

Господин де Полиньяк отозван из Лондона».

— Можно подумать, что его королевское высочество монсеньор герцог Орлеанский узнает новости от меня!—вскричал Сальватор.

Все вздрогнули.

— Кто вам сказал, что эта записка—от его королевского высочества?

— Я узнал его почерк,—ответил Сальватор просто.

— Почерк?..

— Да. В этом нет ничего удивительного, ведь у нас с ним один нотариус: господин Баратто.

Лакей доложил, что ужин подан.

Сальватор выпустил лорнет и бросил взгляд на шляпу, словно собиравшись удалиться.

— Вы не останетесь с нами поужинать, господин де Вальзиныи?—осведомился г-н де Маранд.

— Не могу, сударь, к моему великому сожалению.

— Как так?

— У меня еще есть дела, я встречу утро в суде присяжных.

— Вы направляетесь в суд? В столь позднее время?

— Да! Там спешат разделаться с несчастным малым, имя которого вам, возможно, известно.

— А-а, Сарранти... Негодяй, убивший двух детей и выкра-
вший сто тысяч экю у своего благодетеля,—проговорил кто-то.

— И который выдает себя за бонапартиста,— прибавил другой голос.— Надеюсь, его приговорят к смертной казни.

— В этом вы можете не сомневаться, сударь,— отозвался Сальватор.

— Значит, его казнят?!

— Вот это вряд ли.

— Неужели вы думаете, что его величество помилует негодяя?

— Нет, однако может статься, что негодай невиновен и получит милость из рук не короля, а самого Господа Бога.

Сальватор произнес эти слова тем же тоном, который позволял трем друзьям узнавать его, несмотря на легкомысленный вид, который он на себя напускал.

— Господа!— проговорил г-н де Маранд.— Вы слышали: ужин подан.

Пока те, к кому обратился г-н де Маранд, переходили в столовую, трое молодых людей приблизились к Сальватору.

— Скажите, дорогой Сальватор,— обратился к нему Жан Робер,— может ли так статься, что нам будет нужно завтра вас увидеть?

— Вполне возможно.

— Где мы сможем вас найти?

— Там же, где всегда: на улице О-Фер, у двери в мой кабинет, на границе моих владений... Вы забываете, что я по-прежнему комиссионер, дорогой мой... Ах, поэты, поэты!

И он вышел в дверь, расположенную напротив той, что вела в столовую; Сальватор не колебался ни минуты, как человек, хорошо знакомый с расположением комнат в доме, что повергло троих друзей в настоящее изумление.

XXI

Гнездо голубки

Наши читатели, верно, не забыли, как любезно г-н де Маранд перед возвращением в свой кабинет (где ожидалась новость из Тюильри, принесенные Сальватором) попросил у своей жены позволения зайти к ней в спальню после бала.

Теперь шесть часов утра. Светает. Последние кареты разъехались, и их колеса отгремели по камням мостовой во дворе особняка. Последние огни угасли в апартаментах. Париж просыпается. Четверть часа назад г-жа де Маранд удалилась к себе в спальню. Прошло пять минут, как г-н де Маранд обменялся последними словами с господином, в котором безупречная выправка выдает военного, несмотря на его костюм мирного буржуа.

Последние слова были такие:

— Его королевское высочество может быть спокоен! Он знает, что может на меня рассчитывать как на самого себя...

Двери особняка захлопнулись за незнакомцем, и он скоро исчез из виду, уносимый парой выносливых лошадей, запряженных в карету без гербов и погоняемых кучером без ливреи. Карета скрылась за углом улицы Ришелье.

Пусть читателя не беспокоят железные и дубовые запоры, только что залегшие между ним и хозяевами роскошного дома, который мы уже частично описали: стоит нам взмахнуть нашей волшебной палочкой романиста, и перед нами распахнутся любые двери, даже накрепко запертые. Давайте воспользуемся этим преимуществом и отворим дверь в будуар г-жи Лидии де Маранд: **СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!**

Видите; дверь распахнулась, пропуская нас в прелестный небесно-голубой будуар, где несколько часов назад Кармелита исполняла романс.

В свое время нам придется отворить перед вами дверь в преисподнюю, иными словами — в суд присяжных. Однако перед тем, как вы ступите в это преступное место, позвольте ввести вас туда, где мы сможем передохнуть и набраться сил; этот райский уголок — спальня г-жи де Маранд.

Прежде чем попасть в спальню, вы оказывались в передней, по форме напоминавшей огромный балдахин; она же была и ванной комнатой и освещалась через витражи в потолке, а стекла были подобраны в виде арабского орнамента. Стены и потолок — предназначенные не для того, чтобы пропускать дневной свет, а чтобы обеспечивать полумрак — были затянуты особой тканью нейтрального тона, среднего между серо-жемчужным и желтовато-оранжевым; казалось, она была соткана из азиатских растений, из каких индусы получают нити и изготовляют материю, известную у нас под названием нанкин. Вместо ковров пол устилали мягкие китайские циновки, изумительно сочетавшиеся с обивочной тканью. Китайскую лаковую мебель украшали незатейливые золотые прожилки. Мраморные подставки были, казалось, отлиты из молока, а фарфор на них — того особого цвета турецкой лазури, который напоминал фарфоровую массу старого Севра.

Ступив в этот дивный уголок, таинственно освещавшийся с потолка лампой богемского стекла, посетитель забывал о печальной юдоли, и ему чудилось, будто он путешествует на оранжевом облаке, замешенном на золоте с лазурью, которыми Мариля украшал свои восточные пейзажи.

Ступив в это облако, посетитель оказывался в раю, ведь спальня, в которую мы приглашаем читателя, и есть настоящий рай!

Стоило отворить дверь или, говоря точнее, приподнять портьеру (если и были в этих апартаментах двери, искусный обойщик сделал их совершенно невидимыми), и первое, что бросалось в глаза, — прекрасная Лидия, мечтательно возлежащая на кровати, занимавшей правую сторону спальни; ее локоток опирался или, вернее, утопал в мягкой подушке; в другой руке

Лидия сжимала томик стихов в сафьяновом переплете; возможно, она сгорала от желания почитать перед сном, однако какая-то назойливая мысль не давала ей сосредоточиться на книге.

Лампа китайского фарфора горела на ночном столике работы Буля и сквозь шар красного богемского стекла отбрасывала на простыни розоватый свет, точь-в-точь как лучи восходящего солнца — на ослепительно белые вершины Юнгфрау или Монблана.

Вот что прежде всего притягивало взгляд; может быть, скоро мы попытаемся передать как можно более трепетно впечатление, которое производит это восхитительное зрелище. Но сейчас мы должны описать этот прелестный уголок.

Сначала — Олимп, а затем — богиню, которая в нем обитает.

Вообразите спальню или, лучше — гнездо голубки, достаточно просторное, чтобы в нем можно было спать, — и с довольно высокими потолками, чтобы в нем было легко дышать! Стены и потолок обиты ярко-красным бархатом, отливающим то гранатовым, то рубиновым цветами в тех местах, куда падает свет.

Кровать занимает комнату почти во всю длину, так что в изголовье и в изножье едва помещаются две этажерки розового дерева, уставленные изящнейшими безделушками из саксонского, севрского и китайского фарфора, которые удалось найти у Монбро и Гансберга.

Против кровати находится камин, обтянутый бархатом, как, впрочем, и все в этой комнате. По обе стороны от камина стоят козетки, словно покрытые пухом колибри, а над каждой из кушеток висит зеркало в раме, сплетенной из листьев и золотистых кукурузных початков.

Давайте присядем на одну из этих козеток и бросим взгляд на кровать.

Она обита ярко-красным однотонным бархатом, но словно светится благодаря обрамлению, представлявшему собой верх простоты; глядя на него, вы невольно зададитесь вопросом, откуда взялся столь поэтически настроенный обойщик или же, напротив, поэт, превратившийся в искусного обойщика, который добился удивительного результата. Обрамление кровати состоит из огромных полотен восточных тканей (арабские женщины называют их «haiks») — шелковые айки в бело-голубую полоску и с бахромой.

В изголовье и в изножье два широких полотна ниспадают вертикально и могут собираться вдоль стены с помощью алжирских подхватов, сплетенных из шелковых и золотых нитей и вставленных в кольца из бирюзы.

За кроватью висит огромное зеркало в раме из такого же бархата, каким обита кровать, но зеркало висит не на стене, а на третьем айке. В верхней части зеркала ткань присборена и струится тысячью складок вниз, к большой золотой стреле, вокруг которой она образует две пышные оборки.

Но чудесный эффект этой комнаты заключался в ее зеркальном отражении, рассчитанном, очевидно, на то, чтобы скрыть ее подлинные размеры.

Как мы уже сказали, напротив кровати стоял камин. Над камином, уставленным тысячью изысканных безделушек, которые составляют мир женщины, находилась оранжерея, и ее отделяло лишь зеркало без амальгамы; зеркало при желании отодвигалось, и спальня женщины оказывалась в непосредственной близости с комнатой цветов. Посреди этой небольшой оранжереи в бассейне резвились китайские разноцветные рыбки размером с пчелу, а из воды поднималась мраморная статуя работы Пруды¹ в половину натуральной величины.

Оранжерея эта была не больше самой спальни, однако благодаря удачному устройству она производила впечатление восхитительного и необъятного сада, вывезенного из Индии или с Антильских островов: тропические растения крепко переплелись между собой и поражали посетителя богатством экзотической флоры.

На десяти квадратных футах будто собрались редчайшие растения целого континента, это был Ближний Восток в миниатюре.

Дерево, получившее название короля всех растений, дерево познания добра и зла, выросшее в зеленом раю,— происхождение его бесспорно, потому что листом с этого дерева наши прародители прикрыли свою наготу, за что и получило оно название Адамова фигового дерева,— было представлено в оранжерее пятью основными видами: райское банановое дерево, мелкоплодное банановое дерево, китайское банановое дерево, банановое дерево с розовым дроком, а также с красным дроком. Рядом росла геликония, похожая на банановое дерево длиной и шириной листьев; потом — равелания с Мадагаскара, представлявшая в миниатюре дерево путешественников, всегда готовое напоить страдающего от жажды негра свежей водой даже в самую сильную засуху; стрелиция-регина, чьи цветы похожи на голову готовой ужалить змеи с огненным хохолком; канна из восточной Индии, из которой в Дели изготавливают ткань, ни в чем не уступающую самым тонким шелкам; костус, употреблявшийся древними во время церемоний благодаря его аромату; душистый ангрек с острова Реюньон; китайский зингибер, представляющий собой не что иное, как растение, из которого получают имбирь,— одним словом, целая коллекция растений со всего света.

Бассейн и основание скульптуры терялись в папоротниках с резными листьями, а также в плаунах, которые могли бы

¹ Французский скульптор (1792—1852), которого очень ценил Луи-Филипп. Автор монументальных скульптур в стиле классицизма (статуи Лилля и Страсбурга на площади Согласия, двенадцать Побед на могиле Наполеона, Доблести на Триумфальной арке). Но особую известность приобрел благодаря статуям и статуэткам, изготовлявшимся на Севрской мануфактуре и унаследовавшим чувственную грацию у искусства XVIII столетия.

соперничать с самыми мягкими коврами Смирны и Константинополя.

Теперь, пока нет солнца (оно завладеет небосводом лишь через несколько часов), попробуйте разглядеть сквозь листву, цветы и плоды, светящийся шар, который свисает с потолка, озаряя все вокруг и окрашивая воду в голубоватый цвет; благодаря такому освещению крошечный девственный лес наполняется настроением умиротворенности и меланхолии, мягким и серебристым лунным мерцанием.

Лежа на кровати, было особенно приятно любоваться чудесным зрелищем.

Как мы уже сказали, женщина, лежавшая в эти минуты в постели, одним локотком опиралась на подушки, а в другой руке держала томик стихов; время от времени она отрывалась от книги и блуждала взглядом по крохотным тропинкам, которые там и сям прокладывал свет в волшебной стране, представавшей ее взору сквозь зеркало как сквозь сон.

Если она была влюблена, она, должно быть, мысленно выбирала тесно переплетавшиеся цветущие ветви, среди которых могла бы свить гнездо; если она никого не любила, она, верно, спрашивала у пышно разросшейся растительности тайну любви, о которой говорил каждый листок, каждый цветок, каждый запах в этой оранжерее.

Мы достаточно подробно описали этот неведомый Эдем с улицы Артуа. Расскажем теперь о Еве, обитавшей в этом раю.

Да, Лидия вполне заслуживала этого имени, возлежав в мечтательной позе и читая «Раздумья» Ламартена; прочтя строфу, она наблюдала за тем, как распускается душистый бутон,— так природа словно продолжала и дополняла поэзию. Да, это была настоящая Ева, соблазнительная, свежая, белокурая, только что согрешившая; она обводила томным взором окружавшие ее предметы: трепещущая, беспокойная, вздрагивающая, она упорно пыталась разгадать секрет этого рая, где ей совсем недавно было так хорошо и где она вдруг оказалась в одиночестве. Сердце ее громко билось, глаза метали молнии, губы вздрагивали; она звала то ли сотворившего ее Бога, то ли погубившего человека.

Она завернулась в простыни из тончайшего батиста и набросила на плечи пушистый палантин; приоткрытый ротик, сверкающие глаза, яркий румянец— все в ней говорило за то, что она могла бы послужить прекрасной моделью для статуи Леды, живи она в Древних Афинах или Коринфе.

Как у Леды, соблазненной лебедем, у Лидии щеки пылали румянцем, она была погружена в сладострастное созерцание. Если бы знаменитый Канова, автор «Психеи», увидел в эти минуты нашу языческую Еву, он создал бы шедевр из мрамора, который превзошел бы «Венеру Боргезе». Корреджо написал бы с нее мечтательную Калипсо, у которой за спиной прячется Амур; Данте сделал бы ее старшей сестрой Беатриче и попросил

провести его по всем закоулкам на земле, как младшая сестра провела его по всем тайным уголкам небес.

Одно не вызывает сомнения: поэты, художники и скульпторы преклонили бы головы перед чудесной женщиной, сочетавшей в себе (и было непонятно, как ей это удавалось) невинность юности, очарование женщины, чувственность богини. Да, десять лет, пятнадцать, двадцать, иными словами — детский возраст, пора влюбленности, а затем зрелый возраст — и составляют трилогию, которая зовется молодостью; они приходят на смену друг другу (девочка превращается в девушку, потом становится женщиной) и остаются позади; эти три возраста, словно «Три Грации» Жермена Пилона¹, казалось, следовали кортежем за необыкновенным созданием, чей портрет мы пытаемся изобразить, и осыпали ее чело лепестками самых душистых цветов сочнееших оттенков.

Она не просто показывалась на глаза — она являлась взору: сам ангел принял бы ее за родную сестру, Поль — за Виргинию, а Дегрие — за Манон Леско.

Как могло стать, что она сохраняла в себе прелесть всех трех возрастов и потому поражала несравненной, странной, необъяснимой красотой? Это мы и попытаемся ежели не объяснить, то хотя бы показать в ходе нашего рассказа, а эту или, точнее, следующую главу посвятить разговору супругов Марандов.

Муж г-жи де Маранд с минуты на минуту войдет к ней в спальню; именно его поджидает красавица Лидия с рассеянным видом; но, наверное, не его ждет ее затуманенный взор в темных углах спальни и в полумраке оранжереи.

А ведь г-н де Маранд довольно ласково обратился к жене с просьбой, которая вот-вот будет исполнена: позволить ему ненадолго прийти на ее половину и побеседовать, перед тем как он запрется у себя.

Так что же?! В г-же де Маранд — столько красоты, молодости, свежести — всего, о чем только может мечтать человек в двадцать пять лет, то есть в пору физического расцвета, но никогда не способен достигнуть; столько счастья, радости, опьянения — и все эти сокровища принадлежат одному мужчине! И этот мужчина — банкир, светловолосый, свежий, розовощекий, элегантный, вежливый, умный, что верно, то верно, но в то же время суховатый, холодный, эгоистичный, честолюбивый! Всего этого у него не отнять. Это всегда пребудет с ним, как его особняк, его картины, его деньги!

Какое неведомое происшествие, какая общественная сила, какая тираническая и беспощадная власть заставили связать свои судьбы этих непохожих людей — внешне, во всяком случае. Неужели им есть о чем поговорить и, главное, они могут друг друга понять?

¹ Известнейший скульптор французского Возрождения (1537—1590), ученик своего отца и П. Бонтана, любимец Катерины Медичи. С одинаковым успехом работал с мрамором, бронзой, деревом, глиной.

Вероятно, ответ на наш вопрос мы получим позднее. А пока послушаем, о чем они беседуют; возможно, какой-нибудь взгляд, знак, слово этих скованных одной цепью супругов поможет нам напасть на след событий, еще более надежно от нас скрытых во мраке прошлого...

Внезапно замечтавшейся красавице почудился шорох в соседней комнате; скрипнул паркет, как бы легко ни ступал приближавшийся человек. Г-жа де Маранд в последний раз торопливо оглядела свой туалет; она еще плотнее закуталась в накидку из лебяжьего пуха, одернула рукава кружевной ночной сорочки и, убедившись, что все остальное в ее костюме в безупречном порядке, больше не двинулась, не желая, по-видимому, ничего менять.

Она лишь опустила, не закрывая, книгу на постель и чуть приподняла голову, подперев рукой подбородок. В этой позе, выражавшей скорее безразличие, нежели кокетство, она и стала ждать появления своего господина и повелителя.

XXII

Беседа супругов

Господин де Маранд приподнял портьеру, но так и остался стоять на пороге.

— Мне можно войти? — спросил он.

— Разумеется... Вы же предупредили, что зайдете. Я вас жду уже четверть часа.

— Что вы говорите, мадам?! А ведь вы, должно быть, так устали!.. Я допустил бестактность, не правда ли?

— Нет, входите!

Г-н де Маранд приблизился, отвесил галантный поклон, взял руку жены, склонился над этой ручкой с хрупким запястьем, белыми длинными пальцами, розовыми ноготками и настолько трепетно коснулся ее губами, что г-жа де Маранд скорее угадала его намерение, нежели почувствовала прикосновение его губ.

Молодая женщина бросила на супруга вопросительный взгляд.

Было нетрудно заметить, что подобные визиты — большая редкость, как можно было догадаться и о том, что этой встречи никто не ждал и не боялся: скорее, это было посещение друга, а не супруга, а Лидия ожидала г-на де Маранда с любопытством, но уж никак не с беспокойством или нетерпением.

Г-н де Маранд улыбнулся и, вложив в свои слова всю ласку, на какую был способен, молвил:

— Прежде всего прошу меня извинить, мадам, за то, что я пришел так поздно или, точнее, рано. Поверьте, что если бы важнейшие обстоятельства не заставили меня провести весь день вне дома, я выбрал бы более удобный случай для конфиденциальной беседы с вами.

— Какое бы время вы ни назначили для нашего разговора,—сердечно проговорила г-жа де Маранд,—для меня это всегда большая радость, тем более что это случается крайне редко.

Г-н де Маранд поклонился, на этот раз в знак благодарности. Потом он подвинул глубокое кресло вплотную к кровати г-жи де Маранд и сел так, чтобы хорошо ее видеть.

Молодая женщина снова опустила подбородок на руку и приготовилась слушать.

— Прежде чем я заговорю или, вернее, продолжу разговор о деле,—начал г-н де Маранд,—позвольте мне, мадам, еще раз выразить искреннее восхищение вашей редкой красотой, расцветающей с каждым днем, а нынче ночью она, кажется, достигла апогея человеческой красоты.

— Откровенно говоря, сударь, я не знаю, что и ответить на вашу любезность: она радует меня тем больше, что обыкновенно вы не слишком щедры на комплименты... Прошу меня правильно понять: я сожалею об этом, но отнюдь вас не упрекаю.

— Отнесите мою скупость в похвалах на счет моей ревностной любви к работе, мадам... Все мое время посвящено цели, которую я перед собой поставил. Но если однажды мне будет позволено провести хоть часть отпущенного мне времени в удовольствии, которым вы дарите меня сейчас, поверьте: это будет счастливейший день моей жизни.

Г-жа де Маранд подняла на мужа глаза и бросила изумленный взгляд, словно в его словах прозвучало нечто до крайности необычное.

— Однако мне представляется, сударь,—отвечала она, постаравшись вложить в свои слова все свое очарование,—что всякий раз, как вы хотели бы посвятить себя этому удовольствию, вам достаточно сделать то же, что и нынче: предупредить, что вы желаете меня видеть, или даже,—прибавила она с улыбкой,—прийти ко мне без предупреждения.

— Вы же знаете,—улыбнувшись в ответ, возразил г-н де Маранд,—что это противоречит нашим условиям.

— Условия эти продиктовали вы, сударь, а не я; я их приняла, и только! Не мне, бесприданнице, обязанной вам своим состоянием, положением... и даже честным именем отца, выдвигать вам условия, как мне кажется.

— Неужели вы полагаете, дорогая Лидия, что наступило время что-либо изменить в этих условиях? Не показался бы я слишком докучливым, если бы, например, явился сейчас без предупреждения и вторгся со своим супружеским реализмом в мечты, занимавшие вас весь нынешний вечер да и теперь, возможно, смущающие ваш покой?

Г-жа де Маранд начала понимать, куда клонит муж, и почувствовала, что краснеет. Г-н де Маранд переждал, пока она придет в себя и румянец сойдет с ее щек, и продолжал прерванный разговор.



**Г-Н ДЕ МАРАНД ПРИПОДНЯЛ ПОРТЬЕРУ,
НО ТАК И ОСТАЛСЯ СТОЯТЬ НА ПОРОГЕ**

— Вы помните наши условия?—спросил он с неизменной улыбкой и беспощадной вежливостью.

— Отлично помню, сударь,—отозвалась молодая женщина, изо всех сил стараясь не показывать своего волнения.

— Вот уже скоро три года, как я имею честь быть вашим супругом, а за три года можно многое забыть.

— Я никогда не забуду, чем вам обязана, сударь.

— В этом вопросе наши мнения расходятся, мадам. Я не считаю вас своей должницей; однако, если вы думаете иначе и знаете за собой какой-нибудь долг в отношении меня, то как раз о нем-то я просил бы вас забыть.

— Чтобы не вспоминать, одного желания недостаточно. Есть люди, для которых неблагодарность — не только преступление, но и невозможность! Мой отец, старый солдат и отнюдь не деловой человек, вложил все свое состояние—в надежде его удвоить—в сомнительное производство и разорился. У него были обязательства в банке, который вскоре возглавили вы; и эти обязательства не могли быть соблюдены в срок. Один молодой человек...

— Мадам...—попытался остановить ее г-н де Маранд.

— Я ничего не хочу опускать, сударь,—твердо проговорила Лидия.—Вы думали, что я забыла... Один молодой человек решил, что мой отец богат, и стал просить моей руки. Инстинктивное отвращение к этому человеку поначалу заставило отца отвергнуть его предложение. Однако мои уговоры сделали свое дело: молодой человек сказал, что любит меня, и я было подумала, что тоже его люблю...

— Вы только так думали?—уточнил г-н де Маранд.

— Да, сударь, я так думала... Разве в шестнадцать лет можно быть уверенной в своих чувствах? А если еще учесть, что я тогда только что вышла из пансиона и совершенно не знала света... Итак, повторяю: мои уговоры победили сомнения отца, и он в конце концов принял господина де Бедмара. Все было обговорено, даже мое приданое: триста тысяч франков. Но вдруг распространился слух о том, что мой отец—банкрот: жених внезапно прекратил визиты и исчез! А некоторое время спустя отец получил от него письмо из Милана; господин де Бедмар писал, что узнал о неприязненном отношении моего отца к будущему зятю, а, как известно, насильно мил не будешь. Мое приданое было положено в банк и объявлено неприкосновенным. Оно составляло почти половину того, что отец задолжал вашему банку. За три дня до того, как истек срок платежей, он пришел к вам, предложил триста тысяч франков, а выплату остальной суммы попросил отсрочить. Вы ему предложили прежде всего успокоиться и прибавили, что у вас к нему есть дело, ради которого и пригласили его на следующий день встретиться у нас. Все верно?

— Да, мадам... Однако я против слова «дело».

— Кажется, вы тогда употребили именно его.

— Мне был нужен предлог, чтобы прийти к вам, мадам: слово «дело» послужило не определением, а лишь предлогом.

— Да Бог с ним, с этим словом: в подобных обстоятельствах слово — ничто, вещь — все... Вы пришли и сделали отцу неожиданное предложение: жениться на мне, отказаться от приданого и простить отцу шестьсот тысяч, которые тот задолжал вашему дому, а также вернуть отцу сто тысяч экю, которые он принес вам накануне.

— Я не предложил вашему отцу больше из опасения, что он мне откажет.

— Я знаю, как вы деликатны, сударь... Мой отец был оглушен вашим предложением, но все-таки согласился. Правда, никто не спросил, хочу ли этого я; впрочем, вы знали, что мое согласие тоже не заставит ждать себя.

— О, вы благочестивая и послушная дочь!

— Вы помните нашу встречу, сударь? Я с первых же слов хотела вам рассказать о своем прошлом, признаться вам в том...

— ...о чем человек деликатный знать не должен и потому никогда не даст своей невесте времени договорить. Я, кстати, тогда сказал: «Думайте обо мне что хотите, мадемуазель; можете считать это либо деловым предложением...»

— Вот видите! Именно так вы и сказали: «дело»...

— Я — банкир, — заметил г-н де Маранд, — и надобно отнести на счет привычки... «Можете считать это либо деловым предложением, либо отнеситесь к этому как к долгу памяти о моем отце».

— Отлично, сударь! Я прекрасно все помню. Речь шла об услуге, оказанной моим отцом вашему в период Империи или в самом начале Реставрации.

— Да, мадам... Я еще прибавил, что не считаю вас ничем обязанной и вы свободны от какого-либо чувства ко мне, да и я сам, имея кое-какие обязательства, также остаюсь независимым; какой бы соблазнительной ни создал вас Господь, я никогда не буду предъявлять на вас супружеские права. Я сказал, что вы красивы, молоды, вы созданы для любви и я не считаю себя вправе ограничивать вашу свободу, полагаясь в этом вопросе на ваше знание светских приличий... Я сказал еще тогда, что буду вам снисходительным отцом, но как отец должен всегда быть на страже вашего честного имени — а оно в то же время является и моим, — так и я буду подавлять всяческие неподобающие попытки со стороны некоторых мужчин, неизбежные при вашей красоте.

— Сударь...

— Увы! Очень скоро я в самом деле имел право назвать себя вашим отцом, потому что полковник внезапно скончался во время путешествия в Италию; мой римский корреспондент сообщил эту печальную весть. Когда вы об этом узнали, вы очень страдали; в первые месяцы нашей семейной жизни вы не снимали траура.

— Я носила траур и в сердце, клянусь вам, сударь!

— Могу ли я в этом усомниться, мадам? Ведь мне было так трудно не заставить вас позабыть о вашем горе, но добиться того, чтобы вы выплескивали ваше отчаяние лишь до разумных пределов. Вы были ко мне добры и послушались моего совета; в конце концов вы оставили мрачные одежды и сбросили с себя траур, подобно тому как в первые весенние дни цветов сбрасывает с себя неприметный зимний наряд и расцветает под горячими лучами. Свежесть, молодой румянец никогда не сходили с ваших щек, однако улыбка надолго сошла с губ... И вот мало-помалу — о, не упрекайте себя в этом: таков закон природы! — к вам вернулась улыбка, хмурое чело просветлело, вы перестали горестно вздыхать и с надеждой стали смотреть в будущее; вы вернулись к жизни, удовольствиям, снова превратились в кокетливую молодую женщину. Надеюсь, вы не станете со мной спорить, если я скажу, что именно мне принадлежала честь быть вашим проводником, вашей опорой на этом нелегком пути — гораздо более трудном, чем полагают некоторые, — который ведет от слез к улыбке, от страдания к радости.

— Да, сударь, — подтвердила г-жа де Маранд, схватив супруга за руку. — Позвольте мне пожать вашу верную руку, которая поддерживала меня с таким терпением, с такой преданностью, — по-братски.

— Вы меня благодарите за милость, которую мне же и оказали! Вы слишком добры.

— Однако, сударь, не угодно ли вам объяснить, куда вы клоните? — спросила г-жа де Маранд, не на шутку взволнованная то ли происходившей сценой, то ли воспоминаниями, навеянными этой сценой.

— Простите, мадам! Я совсем забыл о времени, а также о том, где я нахожусь: должно быть, вы устали.

— Позвольте вам заметить, сударь, что вы никогда не умели угадать моих намерений.

— Я буду краток, мадам... Как я говорил, ваше возвращение в свет после почти годового отсутствия произвело настоящую сенсацию. Когда вы оставили свет, вы были хороши собой, теперь вы просто очаровательны. Ничто так не красит женщину, как успех: вы стали обворожительны.

— Вы возвращаетесь к комплиментам!..

— Я возвращаюсь к истине, а к ней непременно нужно возвращаться всегда. Теперь, мадам, разрешите мне продолжать, и я в несколько слов закончу свою мысль.

— Я слушаю.

— Когда я помог вам выйти из тени, которую бросали на вас траурные одежды, это было похоже на то, как Пигмалион помог своей Галатее отделиться от мраморной глыбы, скрывавшей ее от чужих взглядов. Представьте, что Пигмалион — наш современник; предположите, что он привел свою Галатею в свет под именем... Лидии, что вместо любви к Пигмалиону Галатея не

испытывает... ничего. Вы можете вообразить, как будет страдать несчастный Пигмалион, как он будет ущемлен я даже не скажу в любви — в своей гордыне, когда услышит: «Бедняга скульптор! Мраморную-то статую он оживил не для себя, а... для...»

— Сударь! Ваше сравнение...

— Да, я знаю пословицу: «Сравнение не доказательство». И это верно. Оставим метафору и вернемся к реальности. Ваша удивительная красота помогает вам обзаводиться тысячами новых друзей, у меня же появляются тысячи завистников. Благодаря вашей чудесной грациозности вокруг вас повсюду раздается восторженный ропот поклонников, который напоминает жужжание пчел, облепивших розовый куст. Вы имеете над вашим окружением безграничную власть, перед вами не могут устоять те, кто подпадает под ваше влияние. Признаюсь, ваша магическая красота меня пугает, я трепещу, словно бреду вместе с вами по краю пропасти... Вы понимаете, что я хочу сказать, мадам?

— Нет, уверяю вас, сударь...— отвечала Лидия.

Помолчав, она с очаровательной улыбкой прибавила:

— И это доказывает, что я не так уж умна, как вы иногда утверждаете.

— Ум что солнце: он тоже должен отдыхать и иметь возможность сосредоточиться. Я же готов воззвать не только к вашему уму, но и к вашей зрительной памяти. Помните, как однажды во время нашего путешествия в Савой, когда мы покидали Антремон, с высоты нам открылся вид на Рону; она отливала на солнце серебром, а в тени — лазурью. Вы вдруг выпустили мою руку, побежали и внезапно замерли, объятая ужасом: сквозь неплотный ковер из цветов и трав вы увидели бездну, резверзшуюся у ваших ног...

— Да, помню! — прикрыв глаза и побледнев, молвила г-жа де Маранд. — И я счастлива, что не забыла: если бы вы меня тогда не удержали и не потянули назад, я, по всей видимости, не имела бы сейчас удовольствия вновь выразить вам свою благодарность.

— Я не жду от вас благодарности, мадам. Я решил прибегнуть к этому образу и оживить ваши воспоминания. Вам, должно быть, стало понятнее, что я имел в виду, когда говорил недавно о пропасти. Повторяю: ваша красота пугает меня не меньше того глубокого оврага, поросшего цветами и травами, и я боюсь, что однажды она поглотит нас обоих!.. Теперь вы меня понимаете, мадам?..

— Да, сударь. Кажется, начинаю понимать, — проговорила молодая женщина и опустила глаза.

— Раз так, — улыбнулся г-н де Маранд, — я спокоен: скоро вы совершенно поймете мою мысль!.. Итак, я сказал, мадам, что взял на себя обязанности вашего отца — как вы знаете, на большее я никогда не посягал! — и, стало быть, с некоторым беспокойством взираю на толпы красавчиков, модников, денди,

окружающих мою дочь... Прошу заметить, мадам, что моя дочь совершенно свободна; в этой обступившей ее сверкающей, нарядной, изысканной толпе она может сделать свой выбор, и ей не грозит никакая беда. Однако я считаю, что не только вправе, но и обязан по-отечески ей напомнить: «Не ошибитесь в своем выборе, дочь моя!»

— Сударь!

— Нет, не то! Я не прав, я не стану ей этого говорить. Я переберу всех мужчин, проявляющих к ней особенный интерес, и выскажу ей свое мнение о каждом из них. Хотите знать, что я думаю о тех, кто не отходил от вас вчера, мадам?

— Извольте, сударь.

— Начнем с его высокопреосвященства Колетти.

— Ну что вы, сударь!

— Я говорю о нем так, для памяти, чтобы должным образом начать перечень... Кстати, монсеньор Колетти — очаровательный прелат.

— Священник!

— Вы правы; итак, я чувствую, что священник не опасен для такой женщины, как вы: красивой, молодой, богатой и свободной... или почти свободной; его высокопреосвященство может ухаживать за вами у всех на виду или тайно, навещать вас среди бела дня или в крошечной тьме: никому в голову не придет, что госпожа де Маранд — любовница монсеньора Колетти.

— Однако, сударь... — начала было молодая женщина, но не договорила и улынулась.

— ...однако он вас любит или, вернее, влюблен в вас: любит он только себя, — вы это хотели сказать, не так ли?

Улыбка, не сходявшая с губ г-жи де Маранд, словно подтверждала мнение супруга.

— Но иметь поклонника, облеченного столь высоким саном, отнюдь не мешает молодой и привлекательной женщине, особенно если эта молодая и привлекательная женщина не отличается ни осторожностью, ни набожностью и имеет другого любовника.

— Другого любовника?! — вскричала Лидия.

— Прошу заметить, что я говорю не о вас, а обобщаю, имея в виду просто молодую и привлекательную женщину... Вы — одна из молодых, одна из привлекательных, но не единственная молодая и привлекательная женщина на весь Париж, не правда ли?

— О, я совсем на это не претендую, сударь.

— Пусть будет его высокопреосвященство Колетти! Он занимает для вас лучшую ложу в Консерватории, когда там проходят концерты духовной музыки; он предоставляет в ваше распоряжение лучшие места в Сен-Роке, когда вы хотите послушать «Magnificat» и «Dies irae»¹; он дал моему дворецкому рецепты

¹ «Славься» и «Тот день» (латин.).

паштетов из дичи, полюбившихся двум вашим чичисбеем — господину де Куршану и господину де Монрону. Помимо его высокопреосвященства есть еще прелестный мальчик, которого я люблю всем сердцем...

Госпожа де Маранд бросила на мужа вопрошающий взгляд, ясно говоривший: «Кто же это?»

— Позвольте мне выразить свое восхищение этим юношей, но не как поэтом, не как автором драматических произведений — ведь в обществе бытует мнение, что мы, банкиры, ничего не смыслим ни в поэзии, ни в театре, — но как человеком...

— Вы имеете в виду господина?..

Госпожа де Маранд не смела произнести имени.

— Я говорю о господине Жане Робере, черт побери!

Лицо г-жи де Маранд снова залил яркий румянец, еще более яркий, чем в первый раз. Муж пристально за ней следил, но внешне оставался совершенно невозмутим.

— Вам нравится господин Жан Робер? — спросила молодая женщина.

— Отчего же нет? Он из приличной семьи; его отец имел в республиканской армии высокий чин — такой же, какой был у вашего батюшки в войске императора. Если бы он пожелал перейти на сторону Наполеона, он, вероятно, умер бы маршалом Франции и не оставил бы свою семью в нищете или почти так. Молодой человек взял все в свои руки, он отважно преодолевал жизненные невзгоды. Он честен, порядочен, предан и умеет, может быть, скрывать свою любовь, зато совсем не умеет прятать отвращение. Вот, к примеру, меня он не любит...

— Как — не любит?! — забывшись, воскликнула г-жа де Маранд. — Я же ему сказала...

— ...чтобы он сделал вид, что я ему нравлюсь... Не сомневаюсь, бедный мальчик с величайшим почтением относится к вашим указаниям, однако в этом вопросе он вряд ли преуспеет. Нет, он меня не любит! Едва завидев меня на улице, он, стараясь быть незамеченным, спешит перейти на другую сторону; если же я его встречаю и застаю врасплох, так что он вынужден мне поклониться, он здоровается так холодно, что мог бы обидеть на моем месте кого угодно, но я исполняю этот долг вежливости, чтобы заставить его принять ваше приглашение. Вчера я буквально вынудил его подать мне руку, и если бы вы только знали, как несчастный юноша страдал все время, пока его рука оставалась в моей! Меня это тронуло: чем больше он меня ненавидит, тем больше я его люблю... Вы понимаете это, не правда ли? Так поступает человек неблагодарный, но порядочный.

— По правде говоря, сударь, я не знаю, как отнестись к вашим словам.

— Как надобно относиться ко всему, что я говорю, мадам, ведь я всегда говорю только правду. Несчастный мальчик чувствует себя виноватым, это его смущает.

— Сударь!.. В чем же его вина?

— Он поэт, а всякий поэт в той или иной степени мечтатель... Вот, кстати, вам совет... Он же пишет вам стихи, не так ли?

— Сударь...

— Это так, я видел сам.

— Но он их нигде не печатает!

— Он прав, если стихи плохи; он не прав, ежели они хороши. Пусть не стесняется! Я поставлю лишь одно условие.

— Какое же? Чтобы не фигурировало мое имя?

— Напротив, напротив! Дьявольщина! Секреты от нас, его друзей! Разумеется нет!.. Пусть ваше имя будет написано полностью. Что плохого в том, что поэт посвящает хорошенькой женщине стихи? Когда господин Жан Робер адресует их цветку, луне, солнцу, разве он ставит инициалы? Нет, верно же? Он их называет полностью. Как цветок, как луна, как солнце, вы — нежнейшее, прекраснейшее, радующее глаз создание природы. Ну так и пусть он обращается к вам как к солнцу, луне, цветам.

— Ах, сударь, если вы говорите серьезно...

— Да, я слышу: вы вздохнули свободнее.

— Сударь...

— Итак, договорились: хочу я этого или нет, господин Жан Робер остается в числе наших друзей; и если кто-нибудь вздумает удивляться его частым визитам, вы скажете — и это правда! — что его посещения объясняются ни вашим, ни его, а моим желанием, потому что я отдаю должное таланту, душевной тонкости, скромности господина Жана Робера.

— Как странно вы себя ведете, сударь! — воскликнула г-жа де Маранд. — Кто откроет мне тайну вашего необыкновенного ко мне отношения?

— Оно вас смущает, мадам? — спросил г-н Маранд, грустно улыбувшись.

— Нет, слава Богу! Я только боюсь, что...

— Чего же вы боитесь?

— ...что в один прекрасный день... Да нет, ни к чему говорить о том, что у меня в голове или, вернее, на сердце.

— Говорите, мадам, если только это можно доверить другу.

— Нет, это будет похоже на требование.

Господин де Маранд пристально посмотрел на жену.

— Не приходила ли вам, сударь, в голову одна мысль?..

Господин де Маранд не сводил с жены взгляда.

— О чем вы? Говорите же, мадам! — помолчав, попросил он.

— Как бы ни было это смешно, жена может влюбиться в собственного мужа.

Лицо г-на де Маранда на мгновение омрачилось. Он прикрыл глаза и нахмурил брови.

Потом он покачал головой, словно отгоняя навязчивую мысль, и проговорил:

— Да, как бы ни было это смешно, такое возможно... Просите Господа, чтобы подобное чудо не произошло между нами!

Он насупил и едва слышно прибавил:

— Это было бы огромным несчастьем для вас... но особенно для меня!

Он встал и несколько раз прошелся по комнате за спиной у г-жи де Маранд так, чтобы она не могла его видеть.

Впрочем, неподалеку от Лидии висело зеркало, и она заметила, как муж вытирает платком лоб, а быть может и глаза.

Господин де Маранд, несомненно, догадался, что его волнение независимо от вызвавшей его причины унижает его в глазах жены; придав своему лицу беззаботное выражение и через силу улыбнувшись, он снова сел в кресло.

Помолчав немного, он ласково продолжал:

— А теперь, мадам, после того как я имел честь высказать вам свое мнение о монсеньоре Колетти и господине Жане Робере, мне остается просить вас сказать, что думаете вы о господине Лоредане де Вальженезе.

Госпожа де Маранд посмотрела на мужа с некоторым удивлением.

— Я думаю о нем то же, что и все,— отвечала она.

— Скажите, что думают все.

— Однако господин де Вальженез...

Она замолчала, будто не смея продолжать.

— Простите, сударь,— молвила она наконец,— но мне кажется, у вас против господина де Вальженеза предубеждение.

— Предубеждение? У меня? Храни меня Бог! Нет, я просто хочу знать, что о нем говорят... Вы ведь, должно быть, знаете, что говорят о господине де Вальженезе?

— Он богат, известен, близок ко двору: этого более чем достаточно для того, чтобы о нем говорили гадости.

— И вы знаете эти гадости?

— Отчасти.

— Ну что же, я вам помогу... Поговорим прежде всего о его богатстве.

— Оно неоспоримо.

— Разумеется, если иметь в виду лишь факт его существования. Однако вопрос этот кажется весьма спорным, если принимать во внимание, каким образом оно было приобретено.

— Разве отец господина де Вальженеза не унаследовал состояние от старшего брата?

— Да. Однако по поводу этого наследства ходят разные слухи; говорят, например, что завещание исчезло сразу после смерти старшего брата, а умер он от апоплексического удара в тот момент, когда этого меньше всего ждали. У него был сын... Вы что-нибудь об этом слышали, мадам?

— Очень смутно: мой отец и господин де Вальженез принадлежали к разным кругам.

— Ваш отец был честный человек, мадам... Итак, существовал сын, очаровательный молодой человек, а наследники, те самые, которых теперь обвиняют — когда я говорю «обвиняют», я, разумеется, говорю не об официальном обвинении в суде присяжных, — выгнали его из отцовского дома. Общеизвестно, что он был сыном маркиза де Вальженеза, племянником графа и, следовательно, приходился кузеном господину Лоредану де Вальженезу и мадемуазель Сюзанне. Молодой человек, привыкший жить на широкую ногу, оказался без средств и, как говорят, пустил себе пулю в лоб.

— Темная история!

— Да, однако она не огорчила, а, напротив, обрадовала семейство Вальженезов. Пока молодой человек был жив, завещание могло обнаружиться и настоящий наследник вместе с ним. Но раз он умер, вряд ли завещание всплывет само по себе. Вот что касается наследства. Что же до успеха господина де Вальженеза, могу поручиться, что под успехом вы подразумеваете любовные интрижки.

— Разве это не так называется? — улыбнулась г-жа де Маранд.

— Что касается успехов, похоже, ими он обязан светским женщинам. Когда же он обращается к девушкам из народа, то, несмотря на заботливое участие, которое оказывает в этих случаях своему брату мадемуазель Сюзанна де Вальженез, молодой человек вынужден порой применять насилие.

— Ах, сударь, что вы такое говорите!

— То же, о чем монсеньор Колетти рассказал бы вам, вероятно, лучше меня, потому что если господин де Вальженез хорошо принят при дворе, то это благодаря Церкви.

— И вы утверждаете, сударь, — спросила г-жа де Маранд, заинтересованная выдвинутыми обвинениями, — что мадемуазель Сюзанна де Вальженез помогает брату в его любовных похождениях?

— О, это не тайна! И действительно, кому известно, что мадемуазель Сюзанна питает нежную дружбу к брату, отдают ей за это должное. Мадемуазель Сюзанна отличается от брата тем, что любит жить среди своих родных и все или почти все ее удовольствия заключены для нее в родном доме.

— Ах, сударь, неужели вы верите подобной клевете?

— Я, мадам, не верю ничему, кроме курса ренты, да и то если он опубликован в «Мониторе». Ну и еще, пожалуй, в то, что господин де Вальженез самодоволен и болтлив. В этом отношении он напоминает улитку: пачкает репутации, от которых не успел вкусить!

— О, вы не любите господина де Вальженеза! — заметила г-жа де Маранд.

— Нет, признаться... Уж не любите ли его случайно вы, мадам?

— Я? Вы спрашиваете, люблю ли я господина Лоредана?

— Господи! Да я спросил вас об этом просто так; возможно, я неудачно выразился. Я знаю, что в полном смысле этого слова вы не любите никого. Мне следовало бы задать вопрос иначе: «Вам нравится господин Лоредан?»

— Он мне безразличен.

— Неужели?

— Я вам об этом торжественно заявляю. Но я бы не хотела, чтобы с ним случилось несчастье, которого он не заслужил.

— Да кому это нужно?! Уверяю вас, мадам, с моей стороны господину де Вальженезу могут грозить лишь заслуженные несчастья.

— Да какие же несчастья может заслужить господин де Вальженез и как эти несчастья могли бы грозить ему с вашей стороны?

— Ничего хитрого в этом нет! Вот, например, нынче вечером господин де Вальженез весьма настойчиво за вами ухаживал...

— За мной?

— За вами, мадам... Ничего неподобающего в этом не было, ведь все происходило в вашем доме, и свидетели могли принять стремление господина де Вальженеза неотступно следовать за вами за любезность, возможно несколько преувеличенную, однако вполне простительную по отношению к хозяйке дома. Однако вы будете появляться на других вечерах, вы будете встречать господина де Вальженеза в свете. И если он несколько вечеров кряду будет вести себя с вами так, как он это делал здесь, вы окажетесь скомпрометированы... Ах, Боже мой! Я не хочу вас пугать, мадам. Но в тот день, когда ваше имя будет опорочено, господин де Вальженез умрет.

Госпожа де Маранд вскрикнула.

— Ах, сударь, кто-то умрет из-за меня!.. Убит! Да я буду корить себя всю оставшуюся жизнь.

— Да кто вам говорит, что именно ради вас и из-за вас я убью господина де Лоредана?

— Вы, сударь.

— Я ни словом об этом не обмолвился. Если бы я убил господина Лоредана ради вас или из-за вас, вы были бы скомпрометированы не меньше, чем при его жизни. Нет, я его убью по поводу... закона о печати или последнего смотра национальной гвардии, как убил господина де Бедмара.

— Господина де Бедмара? — смертельно побледнев, вскрикнула Лидия.

— И что же? — продолжал г-н де Маранд. — Разве кто-нибудь когда-нибудь узнал, что это сделано ради вас и из-за вас?

— Вы убили господина де Бедмара? — повторила г-жа де Маранд.

— Да. Так вы этого не знали?

— О Боже!

— Должен вам признаться, что я некоторое время колебался. Вы знаете, а может быть и не знаете, что у меня были

основания презирать господина де Бедмара: у меня был случай убедиться в том, что он вел себя не как порядочный человек. И вот мне написали (один мой итальянский корреспондент), что двадцатого ноября тысяча восемьсот двадцать четвертого года господин де Бедмар будет в Ливорно. Я вспомнил, что в Ливорно меня ждет важное дело. Я прибыл туда девятнадцатого ноября. Господин де Бедмар приехал вслед за мной. Не знаю уж, как это произошло, но мы в одно время оказались в ливорнском порту, и когда я собирался отплывать, между нами завязался пустячный разговор по поводу одного комиссионера. Спор наш обострился, господин де Бедмар меня оскорбил, и я потребовал удовлетворения, оставив, однако, по привычке выбор оружия за противником. Он имел неосторожность выбрать пистолет, оружие жестокое, которое не щадит никого. Не откладывая, мы договорились, что сойдемся у сыроварен в Пизе. Когда мы пришли на место, секунденты отмерили двадцать шагов; мы подбросили в воздух луидор, чтобы узнать, кто будет стрелять первым: судьба была к нему милостива. Он выстрелил... чуть ниже, чем следовало бы, пуля угодила мне в бедро.

— Вам? В бедро?! — вскричала г-жа де Маранд.

— Да, но, к счастью, не задела кость.

— А я даже не знала, что вы были ранены!

— К чему было вас волновать? Ведь через две недели я был совершенно здоров!

— Значит, несмотря на рану, сударь?..

— ...я в него прицелился... В ту самую минуту, как я вам сказал, я усомнился в том, что поступаю правильно: это был очень красивый молодой человек, похожий на господина де Вальженеза. Тогда я себе сказал: «Вполне вероятно, что у него, как и у господина де Вальженеза, есть любящая мать, заботливая сестра!» Я колебался... Если бы я промахнулся, дуэль на том бы и закончилась, ведь я был ранен. Но я вспомнил, что господин де Бедмар недостойно вел себя по отношению к одной молодой особе; он навел пистолет на отца этой особы, который пришел требовать у него объяснений полученного оскорбления; этот негодяй убил старика. Тогда я прицелился ему в грудь, пуля пробила сердце, и он рухнул, не успев и охнуть.

— Сударь! — вскрикнула г-жа де Маранд. — Вы говорите, что мой отец...

— ...был убит на дуэли господином де Бедмаром, это правда. Как видите, я имел все основания не щадить его, так же как в подобных обстоятельствах я не пожалел и господина де Вальженеза.

Он поклонился с таким же невозмутимым видом, с каким вошел, и направился к двери. Г-жа де Маранд провожала его испуганным взглядом.

— Ох! — вздохнула Лидия и уронила голову на подушку. — Да простит меня Господь! Но иногда мне кажется, что этот человек меня любит... и я его тоже!

Суд присяжных департамента
Сены*Аудиенция 27 апреля*
ДЕЛО САРРАНТИ

Когда читатели узнали из уст самого Сальватора, что тот отправляется во Дворец правосудия, чтобы присутствовать на последних заседаниях по делу Сарранти, они, несомненно, поняли, что только необходимость следовать за г-ном Марандом в спальню его жены заставила нас до времени отложить путешествие в огромный и пугающий зал Дворца правосудия, где преступник получает заслуженное наказание, как, впрочем, иногда в результате роковой ошибки оказывается, к сожалению, осужден и невиновный.

По углам этого огромного зала были расставлены три статуи в ожидании четвертой, которая, должно быть, так никогда и не появится. Это были статуи Каласа, Лабарра и Лезюрка!

Около одиннадцати часов вечера, когда король Карл X проводил заседание Совета, а сотни экипажей с грохотом мчались по улице Артуа к особняку Марандов, подступы ко Дворцу правосудия представляли собой не менее любопытное зрелище, чем спектакль на Итальянском бульваре.

И действительно, от площади Шатле (если двигаться с севера на юг) и до площади Пон-Сен-Мишель, моста Менял, улицы Барийри, моста Сен-Мишель и всех прилегающих улиц, а если идти с запада на восток, то от площади Дофины до моста Сите, набережных Орлож, Дезе, Сите, Архиепископства, Орфевр, все пространство заполонила толпа, такая плотная, беспокойная, ропщущая, что казалось, будто старый остров Дворца стал плавающим островом и качался посреди Сены, из последних сил пытаясь противостоять урагану, который гнал его в открытое море! Особенно роднил эту толпу с бушующим океаном поднимавшийся рев; глухой и протяжный, пугающе монотонный, он отдавался эхом в соседних улицах и устремлялся, подобно взъярившейся волне, ввысь, к сводам старого дворца святого Людовика.

В этот вечер или, вернее, этой ночью (время уже было позднее) завершалось слушание по делу Сарранти, занимавшее (и вполне заслуженно) все умы, с тех пор как в «Мониторе» был опубликован обвинительный акт.

Пусть же не удивляются читатели, что процесс, обещавший занять достойнейшее место в анналах криминальной полиции, привлек к себе внимание всех парижан, а в зале заседаний набилось гораздо больше народу, чем он мог вместить. Дабы избежать давки, а может быть — как знать? — и беспорядков, которые могли бы произойти вследствие такого наплыва людей, господин председатель счел необходимым заранее раздать

входные билеты желающим или по крайней мере части из них. Даже адвокаты получили ограниченное количество таких билетов на каждый день заседаний.

Оказалось просто невысказано удовлетворить бесчисленные запросы и тех, и других: со времени опубликования обвинительного акта к господину председателю обратилось с просьбами более десяти тысяч человек. Дипломаты, члены обеих палат, знать, духовенство, офицерский корпус, финансисты — все искали этой милости, однако не многим удалось ее добиться.

И вот зал заседаний был забит до отказа, зрители оказались тесно прижаты друг к другу и будто слились в единое целое; время от времени в дверях или в коридоре раздавался жалобный крик несчастного, попавшего в давку. Публика затопила не только балкон и многочисленные лестницы, которые вели к разнообразным входным дверям, но и, как мы уже сказали, нескончаемая цепь из непривилегированных зрителей, как гигантская змея, обвивала хвостом площадь Пон-Сен-Мишель, а головой упиралась в площадь Шатле.

Несколько скамеек было нарочно отведено для адвокатов; однако вскоре их захватили дамы, которые не смогли найти свободных мест на приготовленных в зале скамьях напротив скамьи для защиты.

Слушания начались всего два дня назад, и хотя до сих пор вина г-на Сарранти не была доказана, во Дворце поговаривали (а в толпе охотно повторяли), что вот-вот должен быть вынесен приговор.

Этой минуты с нетерпением ожидали — мы, во всяком случае, говорим о тех, кто не мог присутствовать в зале заседаний, — хотя было уже одиннадцать часов и в толпе пробежал слух, ложный или верный, что получено категорическое приказание вынести приговор не откладывая, из зала суда не доходило никаких вестей, и даже самые покорные начинали терять терпение: жандармы, шнырявшие там и сям в толпе, не могли унять ропот.

Зато те, кто участвовал в судебном разбирательстве, следили за ходом заседания со всевозрастающим интересом; оно продолжалось уже тринадцать часов (началось заседание в десять утра), но время не притупило ни внимания одних, ни любопытства других.

Помимо интереса, который вызывал обвиняемый у каждого из зрителей, это захватывающее разбирательство становилось все более любопытным благодаря замечательному таланту председателя суда, а также энергии и прекрасному вкусу адвоката, защищавшего г-на Сарранти.

Председатель суда не имел себе равных. С присущим ему умом он умел привнести в серьезные и тягостные разбирательства оживление и четкость, говорил просто и ясно, отличался возвышенными чувствами, строго соблюдал приличия и был известен непредвзятостью суждений... Заметим, между прочим, что мы придаем огромное значение щепетильной беспристраст-

ности, которую ставим в заслугу господину председателю суда присяжных, как, впрочем, и его талант, ловкость и чувство справедливости, оказывающие на ход разбирательства и даже на отношение публики необычайное влияние. Трудно поверить, что один человек способен сообщить заседаниям столько величия и достоинства, а это, в свою очередь, придает всем заседаниям наших судов внушительный вид.

Торжественная атмосфера в этот вечер, с одной стороны, придавала заседанию тот самый внушительный вид, о котором мы только что сказали, а с другой — характер фантастический и мрачный; читатели без труда поймут нашу мысль, когда мы в нескольких словах обрисуем обстановку, в которой проходило заседание.

Все или почти все из читателей видели зал заседаний в Парижском суде присяжных. Он представляет собой огромный, вытянутый в длину прямоугольник, мрачный, гулкий, высокий будто храм.

Мы говорим «мрачный», хотя зал освещается через пять больших окон и две застекленные двери, которые останутся у вас по левую руку, если вы войдете через главный вход; зато противоположная правая стена слишком темна из-за того, что через нее не проникает никакой свет (если не считать небольшой дверцы, через которую входит и выходит обвиняемый), она темна, несмотря на голубые панно, призванные оживить мрачную обстановку, и отбрасывает на противоположную стену гораздо большую тень, нежели эта противоположная стена способна послать ей света; возможно, Дворец правосудия впитал в себя чудовищную грязь, которой преступление покрыло подступы ко дворцу; так или иначе, но когдаходишь в зал, на тебя невольно накатывает тяжелая волна необъяснимой грусти, ты содрогаешься от отвращения, ты испытываешь то же, что чувствуешь, когда наступаешь в лесу на клубок ужей.

Однако в тот вечер суд присяжных, вопреки обыкновению, сиял огнями, хотя яркое освещение навевало, пожалуй, еще большую тоску, чем полумрак.

Вообразите, в самом деле, необъятную толпу, причудливо освещенную сотней свечей; прикрытые абажурами, свечи эти придавали бледным лицам судей зловещий вид и делали их похожими на инквизиторов, словно сошедших с полотен испанских мастеров.

Входя в зал и окунаясь в эту освещенную полутьму или, точнее, в этот мрачный полусвет, вы, сами того не желая, словно переносились на заседания Совета десяти или инквизиции. На ум приходили все возможные геенны и средневековые пытки, и вы невольно искали глазами в каком-нибудь углу потемнее смертельно-бледное лицо палача.

В ту минуту, как мы с вами подходим поближе к трибуналу, господин королевский прокурор готовится произнести обвинительную речь.

Он встал.

Это высокий господин, бледный, костлявый, сухой, словно пергамент, живой труп (жизнь едва теплится в его голосе и взгляде), он застыл и, кажется, не может пошевелить ни ногой, ни рукой. Да и голос-то его едва слышен, а блуждающий взгляд ничего не выражает. Словом, человек этот будто воплощает собой самое процедуру следствия, это обвинительная речь во плоти и крови, особенно во плоти!

Однако прежде чем дать слово главным действующим лицам нашей драмы, расскажем, какие места они занимали в зале заседаний.

В глубине зала в самом центре круглого стола сидит председатель в окружении судей, из которых состоит трибунал.

Слева от входящего или по правую руку от председателя под двумя высокими окнами располагаются четырнадцать присяжных заседателей; именно четырнадцать, а не двенадцать, потому что господин королевский прокурор, предвидя долгое разбирательство, добился присоединения еще двух присяжных, а также одного ассессора.

В трибунале, опоясывающем кругообразный стол, находится честнейший г-н Жерар, гражданский истец.

Он ничуть не изменился: все так же лысоват, у него те же серые, маленькие, впалые, тусклые глазки, те же густые, с проседью брови, из которых торчат отдельные жесткие волоски, похожие на кабанью щетину; брови срослись на переносице и нависают над глазами, делая их почти невидимыми; нос у г-на Жерара крючковатый, хищный и напоминает клюв стервятника; это физиономия труса и подлеца, которая произвела на аббата Доминика неизгладимое впечатление, когда он вошел в спальню умирающего.

Лицо человека, который требует у правосудия отмщения убийце, обыкновенно преображается, даже если в обычной жизни оно некрасиво, и трогает публику, пробуждает в ней интерес, тогда как обвиняемый всем своим видом вызывает презрение и отвращение. Однако в данном случае все было наоборот, и если бы у присутствовавших в зале спросили, они, глядя на красивое и благородное лицо г-на Сарранти, на просветленный облик аббата Доминика и сравнивая их с физиономией г-на Жерара, единодушно сказали бы, что преступник и жертва поменялись ролями и тот, что выдавал себя за жертву, и был на самом деле преступником. Не имея ни оснований, ни доказательств для подобного утверждения, довольно было беглого взгляда, чтобы вынести это безошибочное суждение.

Нам лишь осталось прибавить, что г-н Сарранти под охраной двух жандармов переговаривался время от времени с сыном и адвокатом, облакачиваясь на барьер. Теперь мы во всех подробностях описали обстановку, в которой проходило это печально-торжественное заседание.

Как мы уже отмечали, дело слушалось уже третий день. Заседание, на которое мы пригласили читателей, будет, очевидно, последним.

Расскажем вкратце о том, что происходило в первые два дня.

После предварительных формальностей был зачитан обвинительный акт, который мы не приводим, однако те из наших читателей, что интересуются подобными документами, смогут его найти в газетах того времени.

Из этого акта следовало, что г-н Газтано Сарранти, бывший военный, родом из Аяччо, что на Корсике, сорока восьми лет, офицер Почетного легиона, обвинялся в том, что в ночь с 20 на 21 августа 1820 года совершил кражу со взломом, в результате чего из секретера у г-на Жерара исчезли триста тысяч франков, а также убил служанку г-на Жерара и похитил или убил двоих его племянников — во всяком случае, ни их следов, ни их трупов до сих пор не обнаружено.

Перечисленные выше преступления предусматривались статьями 293, 296, 302, 304, 345 и 354 Уголовного кодекса.

После того как был зачитан обвинительный акт, обвиняемого допросили по форме, и он ответил **ОТРИЦАТЕЛЬНО** на все предложенные ему вопросы, причем оставался невозмутим, и лишь однажды его лицо исказилось болью, когда он услышал о том, что дети либо умерли, либо исчезли.

Адвокат г-на Жерара решил, что смутит г-на Сарранти, когда спросит, почему тот столь поспешно покинул дом, в котором его принимали как дорогого гостя; однако г-н Сарранти в ответ заметил только, что о заговоре, одним из руководителей которого он являлся, стало известно полиции и согласно инструкциям, полученным от императора, он должен был встретиться с г-ном Лебастаром де Премоном, французским генералом на службе у Ранджет-Синга.

Затем он рассказал о том, как, следуя заранее намеченному плану, он вместе с генералом вернулся в Европу и попытался, действуя в согласии с королем Римским, похитить последнего из Шенбруннского дворца; однако, как он узнал после своего ареста, план этот не удался, о чем он искренне сожалеет.

Итак, отвергая обвинение в краже и убийстве, г-н Сарранти сам сознавался в оскорблении его величества, иными словами — уклонялся от эшафота, грозившего ему расправой за уголовное преступление, но сам готов был положить голову на плаху за преступление политическое.

Однако это не входило в намерения его судей. Господина Сарранти хотели судить как гнусного вора, подлого убийцу, который жаждет завладеть обгаренным кровью наследством двух несчастных малюток, а вовсе не как политического заговорщика, который, рискуя жизнью, мечтает заменить одну династию другой и с оружием в руках отстоять иную форму правления.

Председатель не дал г-ну Сарранти говорить, когда тот попытался дать свои объяснения.

Дело в том, что речь г-на Сарранти захватила всех присутствовавших, а вместе с ними и самого председателя, вопреки его воле.

Потом слово взял г-н Жерар.

Наши читатели помнят, с какими показаниями он выступил перед мэром Вири на следующий день после преступления. Теперь он слово в слово повторял свое свидетельство. И мы не станем пересказывать то, что уже известно читателю.

Первое заседание завершилось показаниями свидетелей обвинения — нескончаемым панегириком г-ну Жерару, рядом с которым, если верить выступавшим, святой Венсан де Поль был лишь ничтожным эгоистом.

Первым давал свидетельские показания мэр Вири. Читатель уже имел случай познакомиться с этим славным малым. Его ввело в заблуждение смущение г-на Жерара, когда тот рассказывал ему о случившейся трагедии: простак принял оценивание преступника за ужас жертвы. Потом были заслушаны показания четырех или пяти крестьян, фермеров и землевладельцев из Вири; все они имели с г-ном Жераром дела по сдаче земель в аренду, по продаже или покупке земли и утверждали, что во всех сделках г-н Жерар проявлял себя как человек пунктуальный и исключительно честный.

Кроме того, были заслушаны еще двадцать или двадцать пять свидетелей из Ванвра или Ба-Медона, то есть все те, кто не раз имели случай убедиться (с тех пор как он жил среди них) в доброжелательности и щедрости г-на Жерара.

Несомненно, наши читатели помнят главу под названием «Деревенский благодетель» и поймут, какое впечатление должен был произвести на судей рассказ о добрых деяниях честнейшего г-на Жерара, особенно о последнем, едва не стоившем ему жизни.

Когда г-на Сарранти спросили, что он думает обо всем вышесказанном, тот с военной прямоотой отвечал, что знает г-на Жерара за честного человека и что г-н Жерар, должно быть, просто введен в заблуждение, выдвигая против него, Сарранти, столь жестокое обвинение.

На что председатель заметил:

— Что же вы можете сказать в свое оправдание и как объясняете кражу ста тысяч экю, смерть госпожи Жерар и исчезновение детей?

— Сто тысяч экю принадлежали мне,— заявил г-н Сарранти,—или, говоря точнее, эти деньги мне передал на хранение император Наполеон. Всю сумму мне вернул сам господин Жерар. Что касается убийства госпожи Жерар и исчезновения детей, то об этом я ничего сказать не могу: в тот момент, как я покинул замок, госпожа Жерар пребывала в добром здравии, а дети играли на лужайке.

В это было трудно поверить, и председатель бросил взгляд на судей — те многозначительно покачали головами.

Что касается Доминика, во все время судебного разбирательства он был словно в лихорадке. Он вставал, снова садился, тербил полу отцовского редингота, раскрывал рот, будто хотел заговорить, потом вдруг у него вырывался стон, он вынимал из

кармана платок, вытирал взмокший лоб, ронял голову на руки и часами оставался недвижим, подавленный своим горем.

Нечто подобное творилось и с г-ном Жераром. И для присутствовавших оставалось загадкой, почему он пристально следит не за Сарранти, как можно было ожидать, а не сводит глаз с Доминика.

Когда Доминик вставал, г-н Жерар тоже поднимался, словно подталкиваемый пружиной; стоило Доминику открыть рот, как по лицу истца струился пот и казалось, что г-н Жерар вот-вот лишится чувств.

Эти два человека будто соперничали в бледности.

Так разыгрывалась эта таинственная сцена, понятная лишь двум исполнявшим ее актерам, как вдруг неожиданное происшествие нарушило стройный хор похвал, звучавших в адрес г-на Жерара.

Восьмидесятилетний старик, бледный и худой, словно воскресший Лазарь, откликнулся на зов судьбы и вышел к барьеру неспешным, но ровным шагом, отдававшимся под сводами зала, будто поступь командора.

Это был старый садовник из Вири, отец и дед огромного семейства; он ухаживал за цветами в замке около сорока лет. Читатели помнят, что именно на нем Урсула решила испытать свою власть, заставив г-на Жерара выгнать ни в чем не повинного старика.

— Не знаю, кто совершил убийство,— проговорил старик,— знаю только, что убитая была женщина злая: она завладела помыслами этого человека, который не был ей мужем, зато она мечтала стать его женой (он указал на г-на Жерара). Она его соблазнила, оказывала на него влияние, не знавшее границ. Я убежден: она ненавидела детей и могла сделать из этого человека все, что хотела.

— Вы можете привести какой-нибудь факт?— спросил председатель.

— Нет,— отвечал старик.— Просто я сейчас слышал, как все хвалили господина Жерара, и счел своим долгом (ведь мне восемьдесят лет и я повидал на своем веку столько людей!) сказать, что я думаю об этом человеке. Служанка мечтала стать хозяйкой. Возможно, дети ей мешали. Даже я ей мешал!

Доминик слушал старика с торжествующим видом, зато г-н Жерар смертельно побледнел. Губы у него тряслись, зубы стучали от страха.

Заявление старика произвело сильное впечатление на всех находившихся в зале.

Председатель был вынужден призвать публику к порядку и напутствовал старика такими словами:

— Ступайте, друг мой. Господа судьи примут ваши показания к сведению.

Тут вмешался адвокат г-на Жерара и заявил, что старика собирались уволить, потому что из-за преклонного возраста он

уже не справлялся со своими обязанностями, но именно Урсула вступилась за него, а теперь неблагодарный старик имеет наглость на нее нападать.

Старик, направившийся было к своей скамье, опираясь одной рукой на посох, а другой — на руку сына, внезапно остановился, как если бы, шагая в высокой траве парка, замер, ужаленный гадюкой.

Потом он вернулся к барьеру и твердым голосом возразил:

— Все, что сказал этот человек, чистая правда, не считая неблагодарности, в которой он меня обвиняет. Урсула сначала потребовала, чтобы меня прогнали, и господин Жерар исполнил ее волю. Потом она попросила, чтобы меня пощадили, и господин Жерар снова уступил ее желанию. Служанка хотела испытать свою власть над господином; она, верно, хотела убедиться, сможет ли им помыкать при более серьезных обстоятельствах. Спросите господина Жерара, так ли это.

— Верно ли то, что говорил этот человек? — обратился председатель к г-ну Жерару.

Жерар хотел было возразить, но, подняв голову, встретился с садовником взглядом.

Он смутился, и ему не достало мужества отрицать слова старика.

— Все верно, — пролепетал он.

Не считая садовника, все другие свидетели выступили в пользу г-на Жерара.

О своей же защите г-н Сарранти не позаботился: он думал, что его станут обвинять в бонапартистском заговоре, и рассчитывал взять всю ответственность на себя, а потому и не вызвал свидетелей защиты.

И вот дело завертелось; г-н Сарранти оказался с кражей, двойным похищением и убийством на руках. Обвинение это показалось ему настолько нелепым, что он решил: следствие само должно признать его невиновным.

Слишком поздно он заметил ловушку, в которую угодил; и потом, ему претило вызывать свидетелей для доказательства своей невиновности в краже, похищении детей и убийстве. Сарранти казалось, что довольно все отрицать — и ему поверят.

Однако постепенно через брешь, которую Сарранти оставил неприкрытой, просочилось подозрение, оно переросло в сомнение, а затем — если и не у публики, то в представлении судей — превратилось почти в уверенность.

Господин Сарранти похож на человека, которого обезумевшие лошади несут в пропасть: он видел разверстую бездну, осознавал грозившую ему опасность, но — слишком поздно! Он не знал, за что схватиться, и не мог избежать падения. Пропасть была глубока, пугающа, безобразна: она грозила лишить его не только жизни, но и чести.

Но Доминик не переставал повторять ему на ухо:

— Мужайтесь, отец! Я-то знаю, что вы невиновны!

И вот суд счел, что достаточно слушал свидетелей и может передать слово адвокатам.

Первым выступил адвокат истца.

Когда-то законодательный орган постановил, что стороны будут защищаться не сами, а через третьих лиц, объединенных в специальный орган. Хотел бы я знать, понимали ли те, кто это придумал, что наряду с преимуществами такого обвинения или такой защиты «по доверенности» законодательство толкает порой человека на бесчестный, неосмотрительный или сомнительный поступок.

Потому-то во Дворце правосудия и есть адвокаты, принимающие сторону преступников. Эти люди отлично знают, что дело, которое они берутся защищать, несправое. Но посмотрите на них, послушайте их, последите за ними: судя по их голосу, по их жестам, по их манере держаться, они совершенно убеждены в правоте того, кого защищают.

Какую же цель они преследуют, разыгрывая эту комедию?

Я не допускаю мысли о деньгах, вознаграждении, плате. Так зачем они притворяются убежденными да еще заставляют других поверить в то, что преступник невиновен?

Не для того ли, чтобы преступник был спасен, а невиновный осужден?

Не следует ли и закону, вместо того чтобы поощрять это нелепое извращение человеческой совести, наказывать его?

Возможно, мне возражат: все зависит от самого адвоката, как, например, от врача. Врач призван оказывать помощь убийце, который, занимаясь своим черным делом, получил удар ножом или пулю. Врач должен возвращать к жизни осужденного, который после вынесения приговора за открывшееся преступление пытался покончить с собой: приходит врач и застаёт раненого в состоянии близком к смерти; достаточно оставить все как есть, и опасно раненный преступник скоро умрет. Но нет! Врач считает своим долгом бороться за жизнь, противостоять смерти.

Всюду, где он находит жизнь, он ее поддерживает; если же он сталкивается со смертью, то вступает с ней в борьбу.

Врач прибывает в такую минуту, когда убийца или, во всяком случае, осужденный вот-вот испустит дух, а смерть уже простерла над ним длань и готова им завладеть. Кем бы ни был умирающий, врач на его стороне, он бросает в лицо смерти перчатку науки, он говорит: «Нас двое!»

С этого времени начинается борьба врача со смертью; шаг за шагом она перед ним отступает и наконец покидает ристалище; победитель остается на поле боя; осужденный, пытавшийся покончить с собой, убийца, получивший ранение, спасен! Спасен, чтобы угодить в руки человеческого правосудия, и последнее действует на уничтожение, как перед тем врач бился за его спасение.

Вот так же и адвокат, скажете вы: его заботам поручают виновного, то есть человека серьезно раненного; он же превращает его в невиновного, то есть человека здорового.

Пусть тот, кто согласен с этим мнением, помнит одно: врач ни у кого не отнимает жизнь, которую возвращает больному, тогда как адвокат лишает порой жизни праведника и отдает ее преступнику.

Именно это и произошло, когда столкнулись г-н Жерар и г-н Сарранти.

Может быть, адвокат г-на Жерара и верил в невиновность своего подзащитного, но не допускал мысли и о том, что г-н Сарранти преступник.

Однако это не помешало адвокату истца заставить других поверить в то, во что не верил он сам.

Он соединил в напыщенном вступлении все избитые ораторские приемы, все банальные фразы, то и дело мелькавшие в тогдашних антибонапартистских газетах; он провел сравнение между королем Карлом X и узурпатором — словом, вывалил перед судьями все закуски, которые должны были раздражить их аппетит перед основным блюдом. А им был г-н Сарранти, иными словами — злодей, приводящий в ужас собственного Создателя, чудовище, отвергаемое обществом, преступник, способный на самое черное злодейство; потому-то и требуют для него примерного наказания современники, возмущенные тем, что дышат с ним одним воздухом!

Не произнося пугающего слова, адвокат просто закончил речь призывом к смертной казни.

Надобно тоже отметить, что к своему месту он возвращался в ледяной тишине.

Это молчание публики, очевидное осуждение толпы, должно быть, оставило в душе адвоката, который защищал честнейшего г-на Жерара, болезненное чувство стыда и взбесило его. Никто ему не улыбнулся, не поздравил его, не пожал руки; едва адвокат закончил защитительную речь, как вокруг него самого образовалась пустота.

Он вытер пот со лба и с мучительным беспокойством стал ожидать выступления своего противника.

Адвокат г-на Сарранти был молодой человек, сторонник партии республиканцев; впервые он выступил в суде всего год назад и сразу же стал известен в своем кругу.

Был он сыном одного из наших самых прославленных ученых: его звали Эмманюэль Ришар.

Господин Сарранти был связан с его отцом, и молодой адвокат пришел предложить свои услуги по рекомендации отца. Г-н Сарранти принял предложение.

Молодой человек встал, положил свою шапочку на скамью, откинул со лба длинные темные волосы и, побледнев от волнения, начал.

В зале воцарилась тишина с той минуты, как он собрался говорить.

— Господа! — произнес он, пристально глядя на судей. — Пусть вас не удивляет, что первое мое слово — крик боли и воз-

мушения. С того мгновения, как я увидел, что назревает чудовищное обвинение, которое, надеюсь, так ни во что и не выльется, я едва сдерживаю свои чувства, однако господин Сарранти запрещает мне отвечать на него. Мое раненое сердце обливается кровью и глухо стонет в груди.

В самом деле, я присутствую при совершении чудовищной несправедливости.

Человек почтенный и почитаемый, старый солдат, проливавший кровь во всех наших великих битвах за того, кто был его соотечественником, господином и другом; человек, в душу которого ни разу даже не закралась дурная мысль, который ни разу не запачкал рук недостойным делом, этот человек, явившийся сюда с высоко поднятой головой, чтобы ответить на обвинение, способное порой составить честь обвиняемому, говорит вам: «Я рисковал головой, вступив в заговор, способный опрокинуть трон, сменить династию, перевернуть целую империю. Я проиграл. Отдаю себя в ваши руки». В ответ же он слышит: «Замолчите! Вы не заговорщик, а вор, похититель детей и убийца!»

Согласитесь, господа, нужно быть весьма сильным, чтобы, не дрогнув, встретить это тройное обвинение. И мой подзащитный — действительно сильный человек. Ведь на все это он отвечает следующее: «Если я был способен на все то, в чем вы меня обвиняете, то проницательный господин с орлиным взором, так хорошо разбиравшийся в людях, не подал бы мне руки, не назвал бы своим другом, не приказал бы мне: «Ступай!..»

— Простите, мэтр Эмманюэль Ришар,— прервал его председатель.— Кого вы имеете в виду?

— Я говорю о его величестве Наполеоне Первом, коронованном в тысяча восемьсот четвертом году в Париже, императоре Французском, коронованном в тысяча восемьсот пятом году в Милане, короле Итальянском, скончавшемся в плену на острове Святой Елены пятого мая тысяча восемьсот двадцать первого года,— громко отчеканил молодой адвокат.

Невозможно передать впечатление, которое произвели эти слова на собравшихся: их охватила дрожь.

В те времена Наполеона было принято называть узурпатором, тираном, корсиканским людоедом. Вот уже тринадцать лет, со дня его падения, никто не произносил вслух даже наедине с лучшим другом того, что Эмманюэль Ришар проговорил во всеулышание перед судьями и публикой.

Жандармы, сидевшие по обе стороны от г-на Сарранти, повскакали с мест и ждали от председателя одного взгляда, одного жеста, чтобы наброситься на дерзкого адвоката.

Его спасла собственная безумная дерзость; члены трибунала оцепенели от неожиданности.

Господин Сарранти схватил молодого человека за руку.

— Сейчас же прекратите! — проговорил он.— Во имя вашего отца прошу вас не компрометировать себя.

— Во имя вашего отца и моего тоже — продолжайте! — вскричал Доминик.

— Вы, господа, — не унимался Эмманюэль, — были свидетелями процессов, на которых обвиняемые опровергали показания свидетелей, отрицали очевидные доказательства, молили королевского прокурора о пощаде. Вы видели такое не раз, почти всегда так и бывает... Мы же, господа, приготовили вам зрелище поинтереснее.

Мы хотим вам сказать:

«Да, мы виновны, и вот доказательства нашей вины; да, мы замыслили против внутренней безопасности государства, и вот доказательства этого преступления; да, мы хотели изменить форму правления, и вот доказательства; да, мы плели заговор против короля и членов королевской фамилии, и вот доказательства; да, мы виновны в оскорблении величества, и вот доказательства; да, да, мы заслужили наказания за отцеубийство, и вот доказательства; да, мы просим, чтобы нас отправили на эшафот босиком и с темной вуалью на голове, как того требуют наш долг, наше желание, наш обет...»

Из уст всех присутствовавших вырвался крик ужаса.

— Замолчите! Замолчите! — зашикали со всех сторон на юного фанатика. — Вы его губите!

— Говорите! Говорите! — приказал г-н Сарранти. — Я хочу, чтобы именно так меня защищали.

Публика взорвалась аплодисментами.

— Жандармы! Очистить зал! — закричал председатель.

Повернувшись к адвокату, он продолжал:

— Мэтр Эмманюэль Ришар! Лишаю вас слова!

— Теперь это не имеет значения, — заметил адвокат. — Я исполнил то, что мне было поручено, и сказал все, что хотел.

Он обратился к г-ну Сарранти с вопросом:

— Вы удовлетворены, сударь? Правильно ли я исполнил вашу волю?

Вместо ответа г-н Сарранти обнял своего защитника.

Тем временем жандармы бросились исполнять приказание председателя; однако возмущенная толпа взревела так, что председатель понял: дело это не только трудное, но и небезопасное.

Вполне мог вспыхнуть мятеж, а в общей свалке г-на Сарранти могли похитить.

Один из судей склонился к председателю и шепнул ему на ухо несколько слов.

— Жандармы! — проговорил тот. — Займите свои места. Суд призывает присутствующих к порядку.

— Тихо! — крикнули в толпе.

И все сейчас же умолкли, будто привыкли повиноваться этому голосу.

С этого момента вопрос был поставлен четко: с одной стороны — заговор, освященный именем императора и клятвой верности, что превращало его не только в щит, но в пальмовую ветвь так называемого преступника; с другой стороны — обще-

ственное обвинение, решившееся преследовать г-на Сарранти не как политического преступника, виновного в оскорблении его величества, а вора, похитившего сто тысяч экю и двух детей, а также убийцу Урсулы.

Защищаться — значило бы допускать эти обвинения; отвергать их шаг за шагом, одно за другим — означало бы допустить их существование.

По приказанию г-на Сарранти Эмманюэль Ришар вел себя так, будто и не слышал о тройном обвинении, выдвинутом королевским прокурором. Он предоставлял публике судить о необычной позиции обвиняемого, сознававшегося в преступлении, которое не вменялось ему в вину, что влекло за собой не смягчение, а ужесточение наказания.

Итак, публика свое отношение к происходящему выразила вполне.

При других обстоятельствах после защитительной речи адвоката обвиняемого заседание непременно было бы прервано, чтобы дать отдых судьям и заседателям: однако после того, что произошло в зале, останавливать заседание стало опасно, и представители обвинения решили, что лучше поскорее покончить с этим делом, даже если вокруг разразится настоящая буря.

Господин королевский прокурор встал и в мертвой тишине, какая наступает на море между двумя шквалами, взял слово.

С первых же его слов все зрители поняли, что скатываются с поэтических головокружительных высот политического Синая на дно уголовного крючкотворства.

Словно не было ошеломляющего выступления адвоката Ришара, словно этот наполовину повергнутый титан только что не заставил пошатнуться на своем троне тюильрийского Юпитера; словно не были присутствовавшие в зале все еще ослеплены блеском императорского орла, пронесшегося высоко в поднебесной... Господин королевский прокурор выразился следующим образом:

— Господа! За последнее время общественное внимание обратили на себя многочисленные преступления; вместе с тем они вызвали пристальное наблюдение со стороны должностных лиц. Беря свое начало в скоплении постоянно растущего населения, а также в приостановлении некоторых работ или дороговизне продовольствия, преступления эти происходили не чаще тех, к которым мы уже привыкли: это критская дань, выплачиваемая ежегодно обществом за пороки и леность, ведь те, подобно античному Минотавру, требуют определенное число жертв!..

Было очевидно, что королевский прокурор высоко ценит настоящий период истории; он сделал паузу и обвел взглядом это людское море: чем взволнованнее и беспокойнее было оно на глубине, тем на поверхности казалось совершенно невозмутимым.

Публика хранила молчание.

— Однако, господа,— продолжал королевский прокурор,— появился новый тип преступника, к которому мы еще не привыкли и не научились пока преследовать; эти преступники беспокоили общество новизной и смелостью своих посягательств, но— и я говорю об этом с радостью, господа,— зло, от которого мы стонем, не так велико, как представляют некоторые; кое-кто находит удовольствие в том, чтобы его преувеличивать. Тысячи лживых слухов были распространены намеренно; их породило само недоброжелательство; едва зародившись, слухи эти встречались с жадностью, и каждый день рассказ о пресловутых ночных преступлениях вносил ужас в души доверчивых людей, оцепенение — в умы легковерных парижан...

Слушатели переглядывались, недоумевая, куда клонит прокурор. Лишь завсегдатаи суда присяжных, которые приходят в поисках того, чего им недостает в собственном доме в зимнюю пору, иными словами — в надежде расслабиться и увидеть зрелище, теряющее для них со временем новизну и прелесть, однако становящееся необходимым из-за привычки; только эти завсегдатаи, хорошо знакомые с разглагольствованиями г-на Берара и г-на де Маршанжи, не дрогнули, видя, на какой путь ступает королевский прокурор; они отлично знали, что в народе говорят: «Все дороги ведут в Рим», а во Дворце правосудия (при определенном правительстве и в определенную эпоху) можно услышать такое: «Все дороги ведут к смертной казни».

Не той ли дорогой вели Дидье в Гренобле, Пленьи, Коттерона и Карбонно — в Париже, Бертон — в Сомюре, Рау, Бари, Губена и Помье — в Ла-Рошели?

Королевский прокурор продолжал, сопровождая свою речь величавым и чрезвычайно покровительственным жестом:

— Успокойтесь, господа! Полиция подобна стоглазому Аргусу; она бдила, она была готова отправиться на поиски современных Каков в самые заветные укрытия последних, в самые глубокие их пещеры; ведь для полиции ничего невозможного нет, и представители власти отвечали на лживые слухи, исполняя свой долг в строжайшем соответствии с законом.

Да, мы отнюдь не отрицаем, что имели место тяжкие преступления, и, стремясь к неукоснительному исполнению закона, мы сами ходатайствовали о различных наказаниях, которые навлекли на себя преступники. Можете быть уверены, господа, что никто не избежит карающего меча правосудия. Отныне общество спокойно: самые наглые возмутители порядка у нас в руках, а те, что пока гуляют на свободе, непременно понесут наказание за свои преступления.

Так, например, хулиганы, скрывавшиеся в окрестностях канала Сен-Мартен и избравшие безлюдные причалы местом своих ночных нападений, в настоящее время брошены в темницу и предпринимают тщетные попытки отклонить доказательства своей вины, выдвигаемые против них следствием.

Господин Феррантес, испанец; господин Аристолос, грек; господин Вальтер, баварец; господин Кокрийа из Оверни были задержаны поздно вечером третьего дня. Полиция не имела их следов, однако нет такого места, где бы они могли укрыться от недремлющего ока правосудия; под давлением неопровержимых доказательств, а также зная за собой вину, преступники уже дали показания.

Присутствовавшие продолжали переглядываться, спрашивая друг друга шепотом, что общего господа Феррантес, Аристолос, Вальтер и Кокрийа могут иметь с г-ном Сарранти.

Однако завсегдатаи с доверительным видом покачивали головами, словно желая сказать: «Вот вы увидите, увидите!»

Королевский прокурор не умолкал:

— Три еще более злостных преступления потрясли и возмутили общественность. Неподалеку от Бриши был обнаружен труп несчастного солдата, получившего увольнение. В это самое время в Вилетте на поле было совершено зверское убийство бедного работника. А спустя еще некоторое время на дороге из Парижа в Сен-Жермен убили извозчика из Пуасси.

В считанные дни, господа, правосудие покарало виновных в этих убийствах, настигнув их на самых разных окраинах Франции.

Однако кое-кто не ограничился пересказом этих событий и поведал о сотне других преступлений: совершено убийство на улице Карла Десятого; за Люксембургским дворцом найден кучер в луже собственной крови; на улице Кабран напали на женщину; третьего дня совершено вооруженное нападение на почтовую карету небезызвестным Жибасье — его имя не раз звучало в этих стенах и, несомненно, знакомо присутствующим.

И вот, господа, пока кое-кто пытался таким образом посеять панику среди населения, полиция установила, что несчастный, обнаруженный на улице Карла Десятого, скончался от кровоизлияния в легких; что кучера хватил апоплексический удар, когда он раскричался на лошадей; что женщина, судьба которой так всех тронула, оказалась просто-напросто жертвой бурной сцены, какие случаются во время оргий; а небезызвестный Жибасье, господа, не совершал преступления, вменявшегося ему в вину, чему есть неопровержимые доказательства; судите же сами, можно ли доверять этим клеветническим выдумкам?

Когда мне доложили, что Жибасье напал на карету между Ангулемом и Пуатье, я вызвал господина Жакаля.

Господин Жакаль меня заверил, что вышеупомянутый Жибасье отбывает срок в Тулоне, находится там под номером сто семьдесят один и раскаяние его так велико, а поведение настолько примерно, что как раз в настоящее время к его величеству Карлу Десятому обратились с прошением досрочно освободить каторжника.

Этот яркий пример освобождает меня от необходимости приводить другие: судите сами, господа, на какую грубую ложь

пускается кое-кто, дабы подогреть любопытство или, точнее, враждебность общества.

Печально видеть, господа, как расходятся эти слухи, а зло, на которое жалуются их распространители, падает, так сказать, на их собственные головы.

Общественное спокойствие, как говорят, нарушено; мирные жители запираются и трясутся от страха с наступлением темноты; иноземцы покинули обезлюдевший из-за постоянных преступлений город; торговля захирела, погибла, уничтожена!

Господа! Что бы вы сказали, если бы узнали, что только недоброжелательство этих людей, скрывающих свои бонапартистские или республиканские взгляды под либеральной вывеской, и явилось причиной всех несчастий, вызванных клеветническими выпадами?

Вы почувствовали бы себя оскорбленными, не так ли?

Однако в результате губительного маневра все тех же людей, угрожающих обществу под видом того, что они берут его под свое покровительство, было порождено и другое зло. Люди эти изо дня в день трезвонят о безнаказанных преступлениях, повторяют о том, что нерадивые должностные лица оставляют преступления безнаказанными.

Вот и такой человек, как Сарранти, которому вы сегодня должны вынести приговор, в течение семи лет кичился тем, что находился вне досягаемости правосудия.

Господа! Правосудие спотыкается, оно идет медленно, говорит Юраций. Пусть так! Однако оно рано или поздно приходит.

Итак, человек — я говорю о преступнике, стоящем перед вами, — совершает тройное преступление: кражу, похищение детей, убийство. После убийства он исчезает из города, из страны, в которой он увидел свет, покидает Европу, пересекает моря, бежит на край света и обращается с просьбой к другому континенту, к одному из его королевств, затерявшихся в сердце Индии, принять его как почетного гостя; однако этот другой континент отвергает его, это королевство вышвыривает его вон, Индия говорит ему: «Зачем ты явился ко мне, что делаешь в рядах моих невинных сынов, — ты, преступник? Убирайся прочь! Уходи! Назад, демон!»

Тут и там слышались сдерживаемые до тех пор смешки, к великому возмущению господ присяжных.

А королевский прокурор то ли не понял причины этого веселья, то ли, напротив, отлично все понимал: он решил подать этот смех или же обратить его себе на пользу и вскричал:

— Господа! Оживление в зале весьма показательно; так присутствующие выражают свое осуждение обвиняемому, и этот презрительный смех страшнее самого сурового наказания...

Такое давление на слушателей было встречено ропотом в публике.

— Господа! — обратился к аудитории председатель. — Помните, что первая обязанность зрителей — соблюдение порядка.

В публике относились к беспристрастному председателю с глубоким уважением: присутствовавшие вняли его замечанию, и в зале снова стало тихо.

Господин Сарранти улыбался и высоко держал голову. Лицо его было невозмутимо. Он пожимал руку красавцу монаху; тот, казалось, примирился с неизбежным приговором, грозившим его отцу, и всем своим видом напоминал св. Себастьяна, которого так любили изображать испанские художники: тело его пронзили стрелы, однако на лице написаны снисходительность и ангельское терпение.

Мы не будем приводить речь королевского прокурора полностью, скажем только, что он растягивал свое выступление как мог, излагая обвинения, выдвинутые свидетелями г-на Жерара; при этом он пустил в ход все испытанные приемы, употребил все классические разглагольствования, принятые во Дворце правосудия. Наконец он закончил свою обвинительную речь, требуя применить статьи 293, 296, 302 и 304 Уголовного кодекса.

Испуганный шепот пробежал по рядам собравшихся. Толпа содрогнулась от ужаса. Волнение достигло высшей точки.

Председатель обратился к г-ну Сарранти с вопросом:

— Обвиняемый? Вы хотите что-нибудь сказать?

— Я даже не стану говорить, что невиновен, настолько я презираю выдвинутое против меня обвинение,— отозвался г-н Сарранти.

— А вы, мэтр Эмманюэль Ришар, имеете что-либо сказать в защиту своего клиента?

— Нет, сударь,— отвечал адвокат.

— В таком случае слушание окончено,— объявил председатель.

Собравшиеся загудели, и вновь установилась тишина.

После заключительного слова председателя обвиняемый должен был услышать приговор. Пробыло четыре часа утра. Все понимали, что речь председателя много времени не займет, а судя по тому, как почтенный председатель вел обсуждение, никто не сомневался в его беспристрастности.

И вот, едва он раскрыл рот, судебным исполнителям не пришлось призывать слушателей к порядку: те затаили дыхание.

— Господа присяжные заседатели!— чуть заметно волнуясь, начал председатель.— Я только что объявил судебное разбирательство законным; оно продолжалось так долго, что утомило всех вас и физически, и нравственно.

Слушание этого дела продолжалось более шестидесяти часов.

Никто не остался равнодушным при виде истца—человека почтенных лет, образца добродетели и милосердия, а рядом с ним—человека, обвиняемого в трех преступлениях; человека, которому полученное воспитание позволяло занять достойное—и даже блестящее!—место в обществе; человека, который

протестует сам, а также через своего сына, благородного священника, против тройного обвинения.

Господа присяжные заседатели! Вы, как и я, еще находитесь под впечатлением защитительных речей, которые вы только что слышали. Мы должны сделать над собой усилие, подняться над сиюминутными настроениями, собраться с духом в эту торжественную минуту и со всем возможным хладнокровием подвести итог этому затянувшемуся обсуждению.

Такое вступление глубоко взволновало зрителей, и толпа затаив дыхание с горячечным нетерпением стала ждать продолжения.

Почтенный судья сделал подробный обзор всех средств обвинения и отметил все недостатки защиты, выставившие обвиняемого в невыгодном свете. Закончил он свою речь так:

— Я изложил вам, господа присяжные заседатели, добросовестно и кратко, насколько это было возможно, все дело в целом. Теперь вам, вашей прозорливости, вашей мудрости я доверяю рассудить, кто прав, кто виноват, и принять решение.

Пока вы будете проводить осмотр, вас то и дело будет охватывать сильнейшее волнение, непременно обуревающее честного человека, когда он должен осудить ближнего и объявить страшную истину; но вам достанет и ясности суждений, и смелости и, каков бы ни был ваш приговор, он окажется справедливым, в особенности если вы станете руководствоваться непогрешимой совестью!

По закону этой самой совести, о которую разбиваются все страсти—ведь она глуха к словам, к дружбе, к ненависти,—закон вас облакает вашими грозными обязанностями; общество передает вам все свои права и поручает защиту своих самых важных и дорогих интересов. Граждане, верящие в вас как в самого Господа Бога, доверяют вам свою безопасность, а граждане, чувствуящие свою невиновность, вручают вам свою жизнь и бесстрастно ждут вашего приговора.

Это заключительное слово, четкое, точное и краткое, отражало от первого до последнего слова совершенное беспристрастие и потому было выслушано в благоговейной тишине.

Едва председатель умолк, слушатели все как один поднялись, явно одобряя речь председателя; адвокаты тоже аплодировали ему.

Было около четырех часов, когда присяжные удалились в совещательную комнату.

Обвиняемого увели из зала, и—событие неслыханное в судебных разбирательствах!—ни один из тех, кто присутствовал в зале с самого утра, не собирался покидать своего места, хотя было неизвестно, как долго продлится обсуждение.

С этой минуты зал оживленно загудел, так и сяк обсуждая различные обстоятельства дела; в то же время в сердцах присутствовавших поселилось беспокойство.

Господин Жерар спросил, можно ли ему удалиться. Ему хватило сил выступить с ходатайством о смерти, однако выслушать смертный приговор было ему нелегко.

Он встал, чтобы выйти.

Толпа, как мы говорили, была весьма плотная, однако перед ним все расступилось: каждый торопился посторониться, словно истец был прокаженный, последний оборванец, — самый бедный, самый грязный из присутствовавших боялся запачкаться, коснувшись этого человека.

В половине пятого прозвонил звонок. По рядам собравшихся пробежало волнение и передалось тем, кто толпился за дверьми Дворца. И сейчас же, подобно тому как бывает во время прилива, волна вновь накатила на зал заседаний: каждый поспешил занять свое место. Однако напрасно так суетились зрители: старшина присяжных просил уладить какую-то формальность.

Тем временем в окна уже заглядывало хмурое утро, соперничая со светом свечей и ламп. В эти часы даже самые выносливые люди испытывают усталость, а самые веселые чувствуют грусть; в эти часы всех бьет озноб.

Около шести часов снова раздался звон колокольчика.

На сей раз ошибки быть не могло: после двухчасового обсуждения вот-вот объявят либо решение присяжных о помиловании, либо смертный приговор.

Сильнейшее напряжение передалось всем собравшимся. Слово по мановению волшебника в зале установилась тишина среди присутствовавших, еще за минуту до того шумно и оживленно обсуждавших происходящее.

Дверь, соединявшая зал заседаний и комнату присяжных, распахнулась, и на пороге показались заседатели. Зрители старались заранее прочесть на их лицах приговор, который присяжные собирались произнести: кое-кто из присяжных был заметно взволнован.

Несколько мгновений спустя суд уже находился в зале заседаний.

Старшина присяжных вышел вперед и, прижав руку к груди, тихим голосом стал читать приговор.

Присяжные должны были ответить на пять вопросов.

Вопросы эти были выражены так:

1) Виновен ли г-н Сарранти в преднамеренном убийстве некой Урсулы?

2) Предшествовали ли этому преступлению другие преступления, оговоренные ниже?

3) Имел ли он целью подготовить или облегчить себе исполнение этих преступлений?

4) Совершил ли кражу со взломом г-н Сарранти в комнате г-на Жерара днем 19-го или в ночь с 19-го на 20 августа?

5) Причастен ли он к исчезновению двух племянников вышеупомянутого Жерара?

На мгновение воцарилась тишина.

Никто не в силах был бы описать волнение, охватившее присутствовавших в этот миг, такой же краткий, как мысль, хотя, должно быть, он показался вечностью аббату Доминику, по-прежнему стоявшему вместе с адвокатом у опустевшей скамьи обвиняемого.

Старшина присяжных произнес следующее:

— Обещаю и клянусь перед Всемогущим Богом и людьми! Решение присяжных таково:

«ДА — большинством голосов по всем вопросам — обвиняемый виновен!»

Взгляды всех присутствовавших обратились на Доминика: он, как и остальные, выслушал приговор стоя.

В мутном утреннем свете его лицо стало мертвенно-бледным; он закрыл глаза и схватился за балюстраду, чтобы не упасть.

Зрители с трудом подавили вздох.

Председатель приказал ввести обвиняемого.

Господин Сарранти вышел в зал.

Доминик протянул к нему руку и смог произнести лишь одно слово:

— Отец!..

Однако тот выслушал смертный приговор так же невозмутимо, как перед тем обвинение, — ничем не выдав волнения.

Доминик не умел так же владеть собой: он застонал, бросил горящий взор на то место, где сидел Жерар, выхватил из-за пазухи свиток; потом, сделав над собой невероятное усилие, снова сунул свиток в складки сутаны.

За то короткое время, пока наши герои переживали столь разнообразные чувства, господин заместитель прокурора дрогнувшим голосом, чего никак нельзя было ожидать от человека, подстрекавшего присяжных к этому строгому приговору, стал ходатайствовать о применении против г-на Сарранти статей 293, 296, 302 и 304 Уголовного кодекса.

Суд приступил к обсуждению.

Тогда по рядам зрителей прошелестел слух: г-н Сарранти потому замешкался на несколько мгновений перед вынесением приговора и не сразу появился в зале, что крепко заснул, пока присяжные решали его судьбу. Вместе с тем поговаривали, что при вынесении ему приговора мнения присяжных разделились и вопрос о его вине был решен перевесом всего в один голос.

После пятиминутного обсуждения члены суда заняли свои места и председатель, не справившись с волнением, прочитал глухим голосом приговор, обрекавший г-на Сарранти на смерть.

Повернувшись к г-ну Сарранти, продолжавшему слушать все так же спокойно и невозмутимо, он прибавил:

— Обвиняемый Сарранти! У вас есть три дня для подачи кассационной жалобы.

Сарранти с поклоном отвечал:

— Благодарю, господин председатель, однако я не намерен кассировать это дело.

Доминика, казалось, вывели из оцепенения слова отца.

— Нет, нет, господа! — вскричал он. — Мой отец подаст кассацию, ведь он невиновен!

— Сударь! — заметил председатель. — Законом запрещено произносить подобные слова после вынесения приговора.

— Запрещено адвокату обвиняемого, господин председатель! — воскликнул Эмманюэль. — Но не сыну! Горе сыну, который не верит в невиновность своего отца!

Казалось, председатель готов вот-вот сдаться.

— Сударь! — повернулся он к Сарранти, против обыкновения употребляя такое обращение к обвиняемому. — У вас есть просьбы к суду?

— Я прошу разрешить мне свидания с сыном, который, надеюсь, не откажется проводить меня как священник на эшафот.

— Отец! Отец! — вскричал Доминик. — Клянусь, вам не придется на него всходить!

И едва слышно прибавил:

— Если кто и поднимется на эшафот, то я сам!

XXIV

Влюбленные с улицы Макон

Мы уже рассказали, какое действие оказал приговор на собравшихся в зале; не менее сильно он подействовал и на толпившихся за дверьми любопытных.

Едва слова: «Приговаривается к смертной казни» — сорвались с губ председателя, как они отдались протяжным стоном, похожим на крик ужаса: вырвавшись из груди у тех, кто собрался в зале заседаний, он донесся до самой площади Шатле и заставил содрогнуться столпившихся там людей, как если бы колокол, находившийся до революции в квадратной Часовой башне, подал — как это случилось в ночь на 24 августа 1572 года, когда он звонил вместе с колоколом Сен-Жермен-л'Осеруа, — сигнал к резне, к новой Варфоломеевской ночи.

Вся эта толпа стала медленно расходиться по домам, и каждый человек уносил в своем сердце боль от услышанного приговора.

Если бы кто-нибудь, не зная, что происходит, присутствовал при этом молчаливом «исходе», он мог бы приписать это медленное и безмолвное отступление какой-нибудь чрезвычайной катастрофе — извержению вулкана, распространению оспы или началу гражданской войны.

А тот, кто всю ночь неотрывно следил за судебным разбирательством, кто в огромной зале суда, при неясном свете ламп и свечей, бледнеющем в предрассветной мгле, слышал смертный приговор и видел, как расходится эта ропщущая толпа, а потом безо всякого перехода вдруг оказался в уютном гнездышке, где живут Сальватор и Фрагола, он испытал бы

удовольствие сродни тому, что ощущаешь свежим майским утром после бурной ночи, проведенной в оргии.

Прежде всего человек этот увидел бы небольшую столовую, четыре панели которой представляли собой копии помпейских интерьеров; потом — Сальватора и Фраголу, сидящих по обе стороны лакированного столика, на котором был подан чай в изящных чашках белого дорогого фарфора.

С первого взгляда посетитель признал бы в них влюбленных.

И если бы он предположил, что они повздорили — это казалось невероятным, судя по тому, как прелестная девушка смотрела на молодого человека, — он сейчас же понял бы, что над их головами витает какая-то печальная мысль, она-то и не дает им обоим покоя.

Действительно, ласковое лицо Фраголы, походившей на весенний цветок, который открывает свои лепестки солнцу, было повернуто к Сальватору; девушка не сводила с него целомудренного и нежного взгляда, однако лицо ее выражало сильнейшее волнение, граничившее со страданием, а Сальватор находился, казалось, во власти столь великой грусти, что даже и не думал утешать девушку.

Впрочем, эта печаль одного и другой была вполне естественной.

Сальватора не было всю ночь; вернулся он с полчаса тому назад и рассказал девушке во всех волнующих подробностях о происшествии минувшей ночи: появлении Камиллы де Розана у г-жи де Маранд, обмороке Кармелиты, смертном приговоре г-ну Сарранти.

Фрагола не раз содрогнулась, слушая сей мрачный рассказ, подробности которого были столь же печальны в позлащенных гостинных банкира, как и в сумрачной зале заседаний. В самом деле, если председатель суда приговорил г-на Сарранти к физической смерти, то не была ли и Кармелита обречена на вечные душевные страдания после смерти Коломбана?

Опустив голову на грудь, Фрагола задумалась.

Сальватор размышлял, опершись подбородком на обе руки, и перед ним словно открывались необозримые дали.

Он вспоминал ту самую ночь, когда вместе с Роландом перелез через каменный забор и очутился в саду, окружавшем замок Вири; он вспоминал, как бежал пес через лужайки, через лес, как он замер у подножия огромного дуба; наконец он вспомнил, с каким озлоблением пес стал царапать землю и какой ужас пережил он, Сальватор, коснувшись пальцами шелковистых волос ребенка.

Что общего могло быть между этим телом, погребенным под дубом, и делом г-на Сарранти? Вместо того чтобы свидетельствовать в его пользу, не докажет ли это обстоятельство его вину?.. И не погубит ли это Мину?

О, если бы Господь просветил в эти минуты Сальватора!..

А что если прибегнуть к помощи Розочки?..

Но не убьет ли нервную девочку воспоминание об этой кровавой странице из ее детства?

Да и кто дал ему право копать в этих темных глубинах чужой жизни?

Впрочем, он взял себе имя САЛЬВАТОР¹; разве сам Господь не вложил ему в руки нить, при помощи которой он может выбраться из этого лабиринта преступлений?

Он должен пойти к Доминику. Разве не обязан он этому священнику жизнью? Он предоставит в распоряжение монаха все эти неполные и разрозненные сведения, которые самого его ослепляют, будто молнии.

Приняв такое решение, он встал было с намерением осуществить задуманное, как вдруг послышался звонок.

Умница Роланд, лежавший у хозяина в ногах, медленно приподнял голову и встал на все четыре лапы, заслышав звон бронзового колокольчика.

— Кто там, Роланд? — спросил Сальватор. — Это друг?

Пес выслушал хозяина и, словно поняв вопрос, не спеша подошел к двери, помахивая хвостом, — это было признаком несомненной симпатии.

Сальватор улыбнулся и поспешил отпереть дверь.

На пороге стоял бледный Доминик; вид у него был самый несчастный.

Сальватор радостно вскрикнул.

— Добро пожаловать в мой скромный дом! — пригласил он. — Я как раз думал о вас и собирался к вам.

— Спасибо! — поблагодарил священник. — Как видите, я избавил вас от этой необходимости.

При виде красавца монаха, которого Фрагола встретила лишь однажды — у постели Кармелиты, — девушка встала.

Доминик хотел было заговорить. Сальватор знаком попросил сначала выслушать его.

Монах с нетерпением ждал, что скажет Сальватор.

— Фрагола! — начал тот. — Девочка моя дорогая, поди сюда!

Девушка подошла и опустила руку возлюбленному на плечо.

— Фрагола! — продолжал Сальватор. — Если ты веришь, что за последние семь лет моя жизнь не прошла даром и я принес пользу ближним, встань перед этим мучеником на колени, поцелуй край его сутаны и возблагодари его: именно ему я обязан жизнью в эти семь лет!

— О, отец мой! — воскликнула Фрагола, бросаясь на колени.

Доминик протянул к ней руки.

— Встаньте, дитя мое, — попросил он. — Благодарите Бога, а не меня: только Он может даровать или забрать жизнь.

¹ Спаситель (латин.).

— Значит, это аббат Доминик проповедовал в Сен-Роке в тот день, когда ты хотел покончить с собой?—спросила Фрагола.

— Заряженный пистолет уже лежал у меня в кармане; я принял решение, еще какой-нибудь час—и меня не стало бы. Слова этого человека удержали меня на краю пропасти—я выжил.

— И вы благодарны Богу, что до сих пор живы?

— О да, от всей души!—молвил Сальватор, глядя на Фраголу.— Вот почему я вам сказал: «Отец мой! Чего бы вы ни пожелали, каким бы невероятным ни представлялось ваше желание, в какое бы время дня или ночи оно вас ни посетило, прежде чем обратиться к кому-то еще, постучите в мою дверь!»

— Как видите, я пришел к вам!

— Что вам угодно? Приказывайте!

— Вы верите, что мой отец невиновен?

— Да, я верю в это всем сердцем! Возможно, я помогу вам добыть доказательство его непричастности.

— У меня есть это доказательство!—отозвался монах.

— Вы надеетесь спасти отца?

— Я в этом уверен!

— Вам нужны моя сила и мой ум?

— Никто не сможет мне помочь в исполнении задуманного.

— Чего же вы пришли просить у меня?

— Мне кажется, то, о чем я пришел просить, невозможно исполнить даже при вашем участии. Однако вы сказали, чтобы я пришел к вам за помощью в любом случае, и я счел своим долгом явиться.

— Скажите, чего вы хотите!

— Я должен нынче или самое позднее завтра получить аудиенцию у короля... Как видите, друг мой, это вещь невозможная... для вас, во всяком случае.

Сальватор с улыбкой обратился к Фраголе:

— Голубка! Лети из ковчега и без оливковой ветви не возвращайся!

Не произнеся ни слова в ответ, Фрагола прошла в соседнюю комнату, надела шляпу с вуалью, набросила на плечи мантильку из английской материи, вернулась в столовую, подставила Сальватору лоб для поцелуя и вышла.

— Садитесь, отец мой!—пригласил молодой человек.— Через час вам назначат аудиенцию на сегодня или самое позднее на завтра.

Священник сел, поглядывая на Сальватора с удивлением, граничившим с растерянностью.

— Да кто же вы,—спросил он у Сальватора,—если под скромной личиной скрываются столь великие возможности?

— Отец мой!—отвечал Сальватор.— Я, как и вы, принужден шагать в одиночку по намеченному пути. Но если когда-нибудь я и расскажу историю своей жизни, то только вам.

Учетверенный союз

Мастерская или, вернее, оранжерея Регины представляла собой в тот самый час, как аббат Доминик входил к Сальватору, то есть около десяти часов утра, соблазнительное зрелище: три девушки сошлись вместе на софе, а у них в ногах резвилась девчушка.

Наши читатели, несомненно, узнали этих девушек — графиню Рапт, г-жу де Маранд и Кармелиту, а девочкой, игравшей неподалеку, оказалась юная Пчелка.

Беспокоясь о том, как Кармелита провела ночь, Регина, проснувшись рано, послала Нанон узнать, как себя чувствует подруга, и поручила служанке привезти ее в экипаже, если здоровье позволит Кармелите провести утро в особняке Ламот-Гуданов.

Кармелита обладала несгибаемой силой воли, она не заставила себя ждать: только накинула на плечи шаль, села в карету и приехала к Регине.

Ей хотелось поблагодарить Регину за заботу, которую та проявила накануне, — вот чего прежде всего требовала ее душа, и усталость ее была не в счет.

А произошло следующее.

Когда около семи часов утра г-н де Маранд покинул спальню супруги, г-жа де Маранд попыталась заснуть, но безуспешно; это оказалось совершенно невозможно.

В восемь часов она поднялась, приняла ванну и послала к г-ну де Маранду спросить, может ли она навестить Кармелиту.

Господин де Маранд также не сомкнул глаз и уже работал; он позвонил и вместо ответа приказал заложить карету, а также передать кучеру, что тот поступает на все утро в распоряжение госпожи.

В десять часов г-жа де Маранд села в карету и приказала отвезти ее на улицу Турнон.

Она разминулась с Кармелитой, однако горничная, к счастью, знала, куда та отправилась. Кучер получил приказ отвезти свою хозяйку на бульвар Инвалидов, к графине Рапт.

Госпожа де Маранд приехала туда десять минут спустя после Кармелиты.

Когда Кармелита появилась в оранжерее, Пчелка стояла на коленях на табурете перед Региной и с кокетством, которое нетрудно было в ней предположить, расспрашивала сестру о проведенном накануне вечере во всех подробностях.

В ту минуту, как Регина стала рассказывать девочке об обмороке Кармелиты, — обмороке, который она объяснила духовой гостиных, Кармелита вошла, и девочка обвила ее шею, нежно поцеловала и спросила, как она себя чувствует.

У Регины было две причины послать Нанон к Кармелите: справиться о ее здоровье, а если Кармелита приедет сама —

сообщить о большом празднике в министерстве иностранных дел и передать приглашение на вечер: Кармелита могла по своему усмотрению явиться на вечер и как гостья, и как певица; она могла там выступить или не петь вовсе.

Кармелита приняла приглашение в качестве певицы; накануне у нее было нелегкое, но спасительное испытание, и теперь ей нечего было бояться. Никакой публики, даже министерской, она не робела, как бы далека ни была эта публика от искусства; ни один человек не мог больше испугать ту, что пела перед жутким призраком, явившимся ей на вечере у Марандов.

Итак, девушки договорились, что Кармелита отправится на этот бал как артистка, представленная и покровительствуемая Региной.

На том они и порешили, когда, в свою очередь, вошла г-жа де Маранд.

Обе подруги, как и Пчелка, горячо любившая г-жу де Маранд, радостно вскрикнули.

— А-а, вот и Бирюзовая фея! — воскликнула Пчелка.

У г-жи де Маранд были самые красивые в Париже украшения из бирюзы, вот почему Пчелка так ее прозвала, как называла она свою сестру феей Каритой из-за ее приключения с Розочкой; как называла она Кармелиту феей Славкой из-за ее восхитительного голоса, а Фраголу — феей Крошкой из-за ее небольшого роста и изящной шейки. Когда они собирались все вчетвером, Пчелка уверяла, что все королевство фей в полном составе.

Всем феям суждено было встретиться и в этот день: едва г-жа де Маранд обменялась поцелуем с двумя подругами и села подле них, как дверь отворилась и лакей доложил о Фраголе.

Три подруги устремились четвертой навстречу, ведь она появлялась реже остальных, и стали по очереди ее целовать, а Пчелка, которой не терпелось принять участие в общей радости, выкрикивала, прыгая вокруг подруг:

— А я? Я тоже! Ты меня больше не любишь, фея Крошка?

Фрагола обернулась наконец к Пчелке, подняла девочку, словно птичку, на руки и осыпала поцелуями ее лицо.

— Тебя давно не было видно! — в один голос заметили Регина и г-жа де Маранд, тогда как Кармелита, от которой верная Фрагола не отходила во время болезни, не могла упрекнуть ее в невнимании и протянула руку.

— Верно, сестры! — согласилась Фрагола. — Вы — высокородные дамы, я же — бедная Золушка и должна оставаться у своего очага...

— Только не как Золушка, — возразила Пчелка, — а как Трильби. Девочка прочла недавно прелестную сказку Шарля Нодье.

— И лишь в особых случаях, — продолжала Фрагола, — когда произойдет что-нибудь серьезное... Тогда я набираюсь смелости и прихожу спросить вас, дорогие сестры, по-прежнему ли вы меня любите?

Ответом ей был поцелуй всех трех подруг.

— Особые случаи?.. Что-нибудь серьезное?..— повторила Регина.— Ты действительно выглядишь печальной.

— Уж не случилось ли с тобой беды?— спросила г-жа де Маранд.

— С тобой... или с ним?— подхватила Кармелита, понимая, что самая большая беда не всегда та, что случается с нами самими.

— Нет, слава Богу!— вскричала Фрагола.— Не с ним, не со мной, а с одним из наших друзей.

— С кем именно?— любопытствовала Регина.

— С аббатом Домиником.

— А-а, верно!— подхватила Кармелита.— Его отец...

— ...осужден!

— На смертную казнь?

— Да.

Девушки едва слышно вскрикнули.

Доминик был другом Коломбана и, значит, их другом.

— Что можно для него сделать?— спросила Кармелита.

— Может, похлопотать о помиловании для господина Сарранти? Мой отец достаточно близок к королю.

— Нет,— возразила Фрагола.— Нужно устроить нечто менее трудное, дорогая Регина, и займешься этим ты.

— Чем именно? Говори!

— Необходимо попросить у короля аудиенции.

— Для кого?

— Для аббата Доминика.

— На какой день?

— На сегодня.

— Это все?

— Да... Все, чего он просит... пока.

— Позвони, сестричка!— приказала Регина Пчелке.

Та позвонила, после чего обратилась с вопросом:

— Ах, сестра, неужели его убьют?

— Мы сделаем все возможное, дабы предотвратить подобное несчастье,— пообещала Регина.

В эту минуту появилась Нанон.

— Прикажете немедленно заложить карету,— приказала Регина,— и предупредите отца, что весьма важное дело призывает меня в Тюильри.

Нанон вышла.

— К кому ты намерена обратиться в Тюильри?— спросила г-жа де Маранд.

— К кому же еще, как не к изумительной герцогине Беррийской?

— Ты едешь к ее высочеству?— подхватила Пчелка.— Возьми меня с собой! Мадемуазель сказала, чтобы я непременно приезжала к ней, когда ты или отец отправитесь ко двору.

— Так и быть, поедем!

— Какое счастье!— обрадовалась Пчелка.

— Дорогое дитя!— воскликнула Фрагола, целуя девочку.

— Пока сестра будет говорить ее высочеству, что нужно сделать для встречи Доминика с королем, я скажу, что мы знаем аббата Доминика и что его отцу не нужно причинять зла.

Четыре девушки со слезами на глазах слушали наивные обещания девочки, которая, еще хорошенько не зная, что такое жизнь, пыталась бороться со смертью.

Нанон возвратилась и доложила, что маршал сам только что возвратился из Тюильри и лошадей еще не распрягали.

— Едем! — проговорила Регина. — Не будем терять ни минуты. Поехали, Пчелка! Сделай все так, как ты говорила, это пойдет тебе на пользу.

Взглянув на часы и обратившись к трем подругам, она продолжала:

— Сейчас одиннадцать. В полдень я вернусь с приглашением на аудиенцию. Жди меня, Фрагола.

И Регина вышла, оставив подруг в надежде на свою влиятельность, но еще более — на общеизвестную доброту той, у которой Регина отправилась спрашивать августейшего покровительства.

Как помнит читатель, мы однажды уже встречались с четырьмя героинями нашего романа у изножья кровати, на которой возлежала Кармелита. Теперь нам предстоит встретиться с ними у эшафота г-на Сарранти. Мы уже упоминали о том, что они вместе воспитывались в монастыре; вернемся назад, в первые годы их юности, в пору, усеянную благоухающими цветами, и попытаемся понять, что их связывало. У нас есть время, чтобы ненадолго заглянуть в прошлое: Регина сама сказала, что возвратится не раньше полудня.

Связывало их немало, иначе как могло получиться, что подружились четыре девушки, такие разные и по происхождению, и по темпераменту, с различными вкусами и взглядами?

Все четыре девушки — Регина, дочь генерала де Ламот-Гудана (еще пребывавшего в добром здравии), Лидия, дочь полковника Лакло (мы знаем, как он умер), Кармелита, дочь капитана Жерве, погибшего в Шанпобере, и Фрагола, дочь трубача Понруа, убитого при Ватерлоо, — были дочерьми легионеров и воспитывались в королевском монастыре Сен-Дени.

Однако прежде ответим на вопрос, который не преминут задать те, что следуют за нами по пятам и только и ждут случая уличить нас в ошибке.

Как Фрагола, дочь рядового трубача, простого кавалера ордена Почетного легиона, была принята в Сен-Дени, где воспитываются лишь дочери офицеров?

Поясним это в нескольких словах.

В Ватерлоо, в тот момент как Наполеон, чувствуя, что победа ускользает у него из рук, посылал приказ за приказом во все дивизии, ему понадобился нарочный к его сиятельству генералу Лобо, командовавшему молодой гвардией. Император огля-

делся: ни одного адъютанта! Все разошлись с поручениями, бороздя поле боя во всех направлениях.

Он заметил трубача и окликнул его.

Трубач поспешил на зов.

— Послушай! — обратился к нему император. — Отнеси этот приказ генералу Лобо и постарайся добраться к нему кратчайшим путем. Это срочно!

Трубач бросил взгляд на дорогу и покачал головой.

— На этом пути нынче жарковато! — заметил он.

— Ты боишься?

— Чтобы кавалер ордена Почетного легиона — и боялся?

— В таком случае отправляйся! Вот приказ.

— Могу ли я просить императора о милости в случае моей смерти?

— Да, говори скорее... Чего ты хочешь?

— Я хочу, чтобы в случае моей смерти моя дочь Атенаис Понруа, проживающая со своей матерью в доме номер семнадцать по улице Амандье, воспитывалась в Сен-Дени как офицерская дочь.

— Так тому и быть: отправляйся спокойно!

— Да здравствует император! — крикнул трубач.

И пустил лошадь в галоп.

Он пересек поле боя и прибыл к графу Лобо, но не успел он подскочить к генералу, как рухнул с лошади, протягивая его сиятельству бумагу с приказанием императора. Однако он не смог при этом вымолвить ни слова: у него было сломано бедро, одна пуля застряла в животе, другая — в груди.

Никто больше никогда не упоминал о трубаче Понруа.

Но император не забыл данного обещания; по прибытии в Париж он приказал немедленно перевезти осиротевшую девочку в Сен-Дени.

Вот как случилось, что скромная Атенаис Понруа — несколько претенциозное имя, данное ей при крещении, Сальватор заменил Фраголой — была принята в Сен-Дени вместе с полковничьими и генеральскими дочерьми.

Эти четыре девушки, столь непохожие по происхождению и состоянию, оказались однажды тесно связаны и крепко подружились, с тех пор их могла разлучить только смерть. Если бы им довелось представлять, так сказать, все французское общество, они воплотили бы собой аристократию, знать времен Империи, буржуазию и простой народ.

Все четыре девушки были одного возраста и с первых же дней своего пребывания в пансионе почувствовали друг к другу живейшую симпатию, которую, как правило, не дано испытать в коллежах или обыкновенных пансионах ученикам столь разного общественного положения; меж четырех девушек звание, состояние, имя не имели никакого значения: дочь капитана Жерве была просто Кармелитой для Лидии, а дочь трубача Понруа — просто Атенаис для Регины. Мысль о знатности одной или бедности

другой не омрачала их чистой любви, которая переросла мало-помалу в глубокую дружбу.

Детская печаль, охватывавшая вдруг одну из них, сейчас же отзывалась в сердцах трех других; они делились друг с другом и грустью, и радостью, и надеждами, и мечтами — словом, жизнью, ведь в то время жизнь для них и была всего лишь мечтой.

Их дружба в полном смысле этого слова, возраставшая и крепшая с каждым днем, месяцем, в последний год достигла таких размеров, что вошла в Сен-Дени в поговорку.

Однако приближался день разлуки. Еще несколько месяцев, и каждая из них, выйдя из Сен-Дени, должна была отправиться своей дорогой в родительский дом: одна — в предместье Сен-Жермен, другая — в предместье Сент-Оноре, эта — в предместье Сен-Жак, а та — в Сент-Антуанское предместье. Вот так же и в жизни они должны были пойти разными дорогами и занять место каждая в своем мире, где три другие подруги могли встретить ее лишь по чистой случайности.

Приходил конец их нежной дружбе, этой чудесной жизни вчетвером, в которой никто не проиграл, а каждая из них лишь выиграла! Больше не биться вместе их четверем сердечкам! Конец безмятежному и радостному детству! Все это должно было кануть в вечность. Вчетвером они мечтали о будущем, а жить в нем придется в одиночку! И некому отныне разделить печаль! Жизнь в пансионе была долгим и восхитительным сном, теперь они стояли на пороге реальной жизни.

Несомненно, по прихоти случая или, точнее, — назовем это жестокое божество его настоящим именем — судьбы их вот-вот разбросает в разные стороны, разметает, словно цветы, по всему свету. Однако они мужественно сопротивлялись, склоняясь, будто розовые кусты, но не ломаясь.

Они скрепили в пожатии свои белоснежные руки и торжественно поклялись помогать друг другу, поддерживать одна другую в беде, любить своих подруг — словом, как в пансионе, и так до последнего дня.

Они заключили этот союз, главным условием которого было являться на помощь подругам по первому зову, в любое время дня и ночи, в любую минуту жизни, в каком бы положении — недвусмысленном или щекотливом, рискованном или отчаянном — ни оказалась подруга или даже все три подруги.

Мы видели, как, верные данному слову, они явились на зов Кармелиты; читателю еще предстоит увидеть их в не менее серьезных испытаниях.

Как мы уже упоминали, они договорились встречаться ежегодно в первый день поста во время обедни в соборе Парижской Богоматери.

За два-три года, прошедших со времени их выхода из пансиона, Кармелита и Фрагола виделись с подругами только в этот день.

Одну из таких встреч Фрагола пропустила. Если когда-нибудь нам доведется рассказать историю ее жизни, мы объясним, почему она не явилась на встречу с подругами.

Регина и Лидия виделись несколько чаще.

Однако то обстоятельство, что четыре девушки встречались довольно редко, отнюдь не охладило их дружбы; опираясь друг на друга, они могли бы, зная все обстоятельства дела, добиться того, что оказалось бы не под силу целому отряду дипломатов.

И действительно, они вчетвером, стоя на четырех различных ступенях общественной лестницы, держали ключи от всего общественного здания: двор, аристократия, армия, наука, духовенство, Сорбонна, Университет, академии, народ — все им было подвластно, их ключи подходили ко всем замкам, отпирали все двери; вчетвером они представляли высшую власть, неограниченную и абсолютную.

Только против смерти, как мы уже видели, они были бессильны.

Наделенные одними и теми же добродетелями, воспитанные на одних принципах, проникнутые одинаковыми чувствами, способные на одни и те же жертвы, на одинаковое самопожертвование, они были словно бы рождены для добра и — порознь или все вместе — старались творить его, как только представлялась для этого хоть малейшая возможность.

У нас, без сомнения, еще будет случай убедиться в том, как они борются со всевозможными страстями, и тогда, может быть, мы увидим, как они побеждают в опаснейших схватках, выходят закаленными из сражений.

Теперь давайте послушаем.

Часы бьют полдень, Регина должна вот-вот вернуться.

В начале первого раздался грохот колес.

Три девушки были заняты разговором. О чем они говорили? Кармелита, разумеется, о покойном, две другие, возможно, о живых; но вот все три девушки разом поднялись.

Их сердца бились в лад, но, конечно, Фрагола трепетала больше других.

Вдруг до них донесся голосок Пчелки, она, словно прелестный вестник, вырвалась вперед и влетела в оранжерею с криком:

— Вот и мы! Вот и мы! Вот и мы! Сестричка Рина получила аудиенцию.

Вслед за ней появилась Регина с торжествующей улыбкой на губах: она сжимала в руке приглашение на аудиенцию.

Аудиенция была назначена на половину третьего: нельзя было терять ни минуты.

Молодые женщины поцеловались, снова поклявшись в дружбе. Фрагола торопливо вышла, взлетела в экипаж Регины, который обещал доставить ее скорее, чем фиакр, и карета с гербами помчала очаровательную девушку на улицу Макон.

Двое мужчин поджидали Фраголу у окна.

— Это она! — в один голос вскричали они.

— В карете с гербами? — усомнился монах.

— Да. Впрочем, дело совсем не в этом. Привезла ли она приглашение на аудиенцию?

— У нее в руке какая-то бумага! — заметил Доминик.

— Тогда все в порядке, — отозвался Сальватор.

Доминик бросился на лестницу.

— Это я! — крикнула Фрагола. — Приглашение у меня!

— На какой день? — спросил Доминик.

— На сегодня, через два часа.

— О! — вскрикнул Доминик. — Да благословит вас Бог, дитя мое!

— Слава Всевышнему! — подхватила Фрагола, с почтительным видом подавая монаху зажатое в белой ручке приглашение на аудиенцию к королю.

XXVI

Отсрочка

Король пребывал не в самом веселом расположении духа. Роспуск национальной гвардии, о чем немногословно сообщалось в утреннем выпуске «Монитора», взволновал всю торговую часть Парижа. «Господа лавочники», как называли их «господа придворные», всегда бывали недовольны: как мы уже говорили, они роптали, когда им приказывали нести караул, они же роптали, когда им запрещали его нести.

Чего же они хотели?

Июльская революция показала, что им было нужно.

Прибавим к тому, что ужасная новость об осуждении г-на Сарранти, распространившаяся по всему городу, немало способствовала возбуждению среди значительной части населения.

И хотя его величество отстоял обедню в обществе их королевских высочеств г-на дофина и герцогини Беррийской, хотя король принял его преосвященство г-на канцлера, их превосходительств министров, государственных советников, кардиналов, князя де Талейрана, маршалов, папского посла, посла Сардинии, посла Неаполя, хранителя королевской печати в палате пэров, хотя король подписал брачный договор г-на Тассена де Лавальер, главного казначея в департаменте Верхних Пиренеев, с мадемуазель Шарле — эти разнообразные занятия не развеселили обеспокоенного монарха, и, повторяем, его величество был далеко не в веселом расположении духа 30 апреля 1827 года между часом и двумя пополудни.

Напротив, его лицо выражало мрачное беспокойство, обыкновенно совсем ему несвойственное. Старый король, добрый и простодушный, отличался поистине детской беззаботностью; он был, кстати, убежден, что идет верным путем, и, будучи последним из породы тех, что встали бы под белое знамя, выбрал своим девизом слова древних героев: «Делай что должно, а там будь что будет!»

Одет он был, по своему обыкновению, в мундир с серебряным галуном; Верне изобразил его в этом мундире принимающим парад. Грудь его украшали лента и планка ордена Святого Духа, с которыми год спустя он принимал Виктора Гюго и отказал в представлении «Марион Делорм». Еще живы стихи поэта об этой встрече, а уж «Марион Делорм» и вовсе будет жить вечно. Зато где вы, добрый король Карл X, отказывающий сыновьям в помиловании их отцов, а поэтам — в постановке их пьес?

Услышав доклад дежурного лакея о посетителе, за которого хлопотала его невестка, король поднял голову.

— Аббат Доминик Сарранти? — машинально повторил он. — Да, вот именно!

Прежде чем ответить, он взял со стола листок и, быстро пробежав его глазами, приказал:

— Пригласите господина аббата Доминика.

Доминик остановился в дверях, соединил руки на груди и низко поклонился.

Король тоже отвесил поклон, но не человеку, а представителю Церкви.

— Входите, сударь, — предложил он.

Аббат сделал несколько шагов и снова остановился.

— Господин аббат! — продолжал король. — Вы можете судить по моей готовности встретиться с вами, с каким почтением я отношусь ко всем священникам.

— Вы можете этим гордиться, ваше величество, — отвечал аббат, — и в то же время это помогает вам заслужить любовь своих подданных.

— Я вас слушаю, господин аббат, — сказал король с характерным выражением, свойственным сильным мира сего, дающим аудиенцию.

— Сир! — начал Доминик. — Этой ночью моему отцу вынесен смертный приговор.

— Знаю, сударь, и от всего сердца вам сочувствую.

— Мой отец не совершал преступлений, за которые был осужден...

— Простите, господин аббат, — перебил его Карл X, — однако господа присяжные придерживаются другого мнения.

— Ваше величество! Присяжные — живые люди и могут заблуждаться.

— Я готов согласиться с вами, господин аббат, понимая ваши сыновние чувства, но не могу принять ваши слова как аксиому: насколько правосудие может вершиться людьми, настолько оно и было совершено над вашим отцом, и сделали это господа присяжные.

— Сир! У меня есть доказательства невиновности моего отца.

— Неужели? — удивился Карл X.

— Да, ваше величество!

— Почему же вы не представили их раньше?

— Не мог.

— Что ж, сударь... поскольку, к счастью, еще есть время, давайте их мне.

— Вам, государь...— потупился аббат Доминик.— Сожалею, но это невозможно.

— Невозможно?

— Увы, да, ваше величество.

— Что же может помешать человеку заявить о невиновности осужденного, да еще если этот человек—сын, а осужденный—его родной отец?

— Мне нечего ответить вашему величеству; однако король знает: тот, кто побеждает ложь в других, кто посвящает жизнь поискам истины, где бы она ни скрывалась, словом—служитель Господа не может и не захочет солгать. Так вот, государь, пусть меня покарает десница Всевышнего, который меня видит и слышит, если я солгу: я в полный голос заявляю, припадая к стопам вашего величества, что мой отец невиновен; уверяю вас в этом от чистого сердца и клянусь, что рано или поздно представлю вашему величеству неопровержимое доказательство.

— Господин аббат!—отозвался монарх с поистине королевской добротой в голосе.— Вы говорите как сын, и я понимаю и приветствую чувства, которые вами движут, однако, если позволите, я отвечу вам как король.

— О, государь! Умоляю вас об этой милости!

— Если бы преступление, в котором обвиняют вашего отца и за которое он осужден, касалось только меня, если бы он посягал лишь на мою власть—словом, если бы это было политическое преступление, покушение на государственное благополучие, оскорбление величества или даже покушение на мою жизнь и я оказался бы ранен смертельно, как мой несчастный сын был ранен Лувелем, я сделал бы то же, что и мой умирающий сын,—из уважения к вашей рясе, вашей набожности, которую я высоко ценю. И я помиловал бы вашего отца—вот что я сделал бы перед смертью.

— Ваше величество! Вы так добры!..

— Однако дело обстоит иначе. Товарищ прокурора отклонил обвинение в политическом преступлении, а вот обвинение в краже, похищении детей и убийстве...

— Сир! Ваше величество!

— Я знаю, как больно слышать такое. Но раз уж я отказываю, я должен хотя бы объяснить причины своего отказа... Обвинение в краже, в похищении детей, в убийстве снято не было. Из этого обвинения следует, что угроза нависла не над королем, не над государством, не над величеством или королевской властью—задеты интересы общества, и отмщения требует мораль.

— Если бы я мог говорить, государь!..—заламывая руки, вскричал Доминик.

— Эти три преступления, в которых ваш отец не только обвиняется, но и осужден,— осужден, потому что есть решение присяжных, а суд присяжных, дарованный Хартией французам, это непогрешимый трибунал,— итак, эти три преступления— самые низкие, самые подлые, самые, так сказать, наказуемые: за любое из трех можно угодить на галеры.

— Ваше величество! Смилуйтесь, не произносите этого страшного слова!

— И вы хотите... Ведь вы пришли просить меня о помиловании своего отца...

Аббат Доминик пал на колени.

— Вы хотите,— продолжал король,— чтобы я, отец своим подданным, употребил свое право помилования, чем обнадежил бы преступников, вместо того чтобы отправить виновного на плаху, если бы, разумеется— к счастью, это не так,— у меня было право казнить? Вы же, господин аббат, известный заступник для тех, кто приходит к вам исповедаться; спросите же свое сердце и посмотрите, смогли ли бы вы найти для такого же большого преступника, коим является ваш отец, другие слова, нежели те, что продиктованы мне свыше: я прошу Божьего милосердия для мертвого, но обязан свершить справедливость и наказать живого.

— Государь!— вскрикнул аббат, позабыв о вежливости и официальном этикете, за которым строго следил потомок Людовика XIV.— Не следует заблуждаться: сейчас не сын с вами говорит, не сын просит за своего отца, не сын взывает к вашему милосердию, а честный человек, который, зная, что другой человек невиновен, вопиет: «Уже не в первый раз людское правосудие совершает ошибку, ваше величество!» Сир! Вспомните Каласа, Лабара, Лезюрка! Людовик Пятнадцатый, ваш августейший предок, сказал, что отдал бы одну из своих провинций за то, чтобы в период его правления Калас не был казнен. Государь! Сами того не зная, вы допустите, чтобы топор пал на шею невинного; именем Бога живого, сир, говорю вам: виновный будет спасен, а умрет невинный!

— В таком случае, сударь,— взволнованно произнес король,— говорите! Говорите же! Если вы знаете имя виновного, назовите его; в противном случае, бездушный сын, вы— палач и отцеубийца!.. Ну, говорите, сударь! Говорите! Это не только ваше право, но и обязанность.

— Сир! Долг повелевает мне молчать,— возразил аббат, и на его глаза впервые за все время навернулись слезы.

— Если так, господин аббат,— продолжал король, наблюдавший результат, не понимая причины,— если так, позвольте мне подчиниться приговору, вынесенному господами присяжными. Он начинал чувствовать себя оскорбленным тем, что ему представлялось упрямством со стороны монаха, и знаком дал понять аббату, что аудиенция окончена.

Но несмотря на властный жест короля, Доминик не послушался, он лишь встал и почтительно, но твердо произнес:

— Государь! Вы ошиблись: я не прошу или, вернее, уже не прошу о помиловании отца.

— Чего же вы просите?

— Ваше величество! Прошу вас об отсрочке!

— Об отсрочке?

— Да, государь.

— На сколько дней?

Доминик задумался, потом проговорил:

— Пятьдесят.

— По закону осужденному положено три дня на кассацию, а на обжалование — сорок дней.

— Это не всегда так, сир; кассационный суд, если его потопить, может вынести приговор в два дня, а то и в тот же день; и, кстати сказать...

— Кстати сказать?..— повторил король.— Договаривайте.

— Мой отец не собирается кассировать решение присяжных.

— То есть, как?

Доминик покачал головой.

— Стало быть, ваш отец хочет умереть?— вскричал король.

— Во всяком случае, он ничего не будет предпринимать для того, чтобы избежать смерти.

— Значит, сударь, правосудие свершится так, как ему положено.

— Ваше величество!— взмолился Доминик.— Именем Господа Бога прошу оказать одному из Его служителей милость!

— Хорошо, сударь, я готов это сделать, но при одном условии: осужденный не будет вести себя вызывающе по отношению к правосудию. Пусть ваш отец подаст кассационную жалобу, и я посмотрю, заслуживает ли он помимо трехдневного срока, положенного ему по закону, сорокадневной отсрочки, которую милостиво предоставляю я.

— Сорока трех дней недостаточно, ваше величество! Мне нужно пятьдесят!— решительно возразил Доминик.

— Пятьдесят? На что они вам?

— Мне предстоит долгое и утомительное путешествие; затем я должен буду добиться аудиенции, что очень нелегко; наконец, я попытаюсь убедить одного человека, и то окажется, возможно, так же нелегко, как убедить вас, государь.

— Вы отправляетесь в долгое путешествие?

— Мне предстоит проделать триста пятьдесят лье, ваше величество.

— Вы пройдете этот путь пешком?

— Да, сир, пешком.

— Почему? Отвечайте!

— Именно так путешествуют паломники, добывающиеся высшей милости: обратиться с просьбой к самому Богу.

— А если я оплачу расходы на это путешествие, если дам вам необходимую сумму?

— Ваше величество! Оставьте лучше эти деньги для милостыни. Я дал обет пройти это расстояние, и пройти босиком.

— А через пятьдесят дней вы обязуетесь доказать невинность своего отца?

— Нет, государь, обещать я не могу. Клянусь королю, что никто на моем месте не мог бы взять на себя подобное обязательство. Но я уверяю, что если после путешествия, которое я намереваюсь предпринять, я не смогу заявить о невинности своего отца, я смирюсь с приговором людского суда и лишь повторю осужденному слова короля: «Я прошу для вас Божьего милосердия!»

Карла X снова охватило волнение. Он взглянул на аббата Доминика, на открытое, честное лицо монаха, и в его сердце вселилась вера в правоту Доминика.

Однако против воли—как известно, король Карл X не имел счастья всегда оставаться самим собой,—несмотря на огромную симпатию, которую внушало королю лицо благородного монаха—лицо, отражавшее его душу,—король Карл X, словно для того, чтобы набраться сил против доброго чувства, грозившего вот-вот захватить его, в другой раз взялся за листок, лежавший у него на столе,—тот самый, в который он заглянул, когда лакей доложил об аббате Доминике. Он бросил торопливый взгляд, и этого оказалось довольно, чтобы отогнать доброе намерение: едва на лице короля проступило ласковое выражение, пока он слушал аббата, как сейчас же Карл X снова стал холоден, озабочен, хмур.

Да и было от чего хмуриться: в записке, лежавшей у короля перед глазами, пересказывалась вкратце история г-на Сарранти и аббата Доминика—два портрета, набросанных мастерской рукой, как умеет это делать конгрегация,—в виде биографии двух отпетых революционеров.

Описание жизненного пути г-на Сарранти начиналось с его отъезда из Парижа, затем рассказывалось о его пребывании в Индии, при дворе Ранджет-Синга, о связях г-на Сарранти с генералом Лебастаром де Премоном, представлявшемся, в свою очередь, тоже крайне опасным заговорщиком; затем следовал подробный отчет о провалившемся не без помощи г-на Жакаля заговоре в Шенбрунне; потеряв генерала Лебастара из виду по другую сторону моста через Вьенн, рассказчик продолжал следовать за г-ном Сарранти до Парижа вплоть до дня его ареста. На полях стояло: «Обвиняется и подозревается к тому же в похищении детей, краже и убийстве, за каковые преступления и был осужден».

Биография Доминика была столь же подробна. Он находился под наблюдением со времени его выхода из семинарии; его называли учеником аббата Ламане, чьи раскольничьи замашки становились заметны; потом его представляли как посетителя

мансард, распространявшего не слово Божие, а революционные идеи; приводилась одна из его проповедей, которая могла бы стоить Доминику нареканий со стороны его начальства, если бы он не состоял в испанском ордене, еще не учрежденном во Франции. Наконец, предлагалось выслать его за границу, так как, по мнению конгрегации, его пребывание в Париже становилось опасным.

В общем, из записки, лежавшей у несчастного доброго короля перед глазами, следовало, что господа Сарранти-старший и Сарранти-младший — кровопийцы, у одного из которых в руках шпага (ей суждено опрокинуть трон), у другого — факел (он должен спалить Церковь).

Итак, отведав этого иезуитского яду, достаточно было всего раз бросить взгляд на листок, чтобы вновь вспылать политическим гневом, остывшим было на одно мгновение, и снова почувствовать, как оживают все призраки революции.

Король вздрогнул и недобро посмотрел на аббата Доминика.

Тот понял смысл его взгляда и почувствовал, как его словно коснулось раскаленное железо. Он горделиво поднял голову, сдержанно поклонился и отступил на два шага назад, приготовившись выйти.

Презрение к королю, отвергавшему движения собственной души и замещавшему их чужой злобой, брезгливость сильного по отношению к слабому мелькнули помимо воли Доминика в его взгляде и усмешке.

Карл X словно прозрел и, будучи Бурбоном прежде всего, то есть мягкосердечным и покладистым, испытал угрызение совести, какое, должно быть, переживал в иные минуты его предок Генрих IV, глядя на Агриппа д'Обинье.

Его озарило или, во всяком случае, он усомнился в своей правоте; он не посмел отказать в просьбе этому честному человеку и окликнул аббата Доминика, когда тот уже собирался удалиться.

— Господин аббат! — сказал король. — Я еще не ответил на вашу просьбу ни отрицательно, ни утвердительно. Если я этого еще не сделал, то только потому, что перед моим внутренним взором проходили тени несправедливо пострадавших праведников.

— Ваше величество! — вскричал аббат, сделав два шага вперед. — Еще есть время, королю достаточно молвить одно слово.

— Даю вам два месяца, господин аббат, — проговорил король в прежнем высокомерном тоне, словно устыдившись и раскаиваясь в собственной слабости. — Но ваш отец должен подать кассацию, слышите?! Мне случается порой снисходительно относиться к бунту против королевской власти, однако я не простил бы недовольства по отношению к правосудию.

— Государь! Не угодно ли вам предоставить мне возможность по возвращении предстать пред вами в любое время дня и ночи?

— Охотно! — согласился король.

Он позвонил.

— Запомните этого господина, — приказал Карл X вошедшему лакею, — когда бы он здесь ни появился, прикажите проводить его ко мне. Предупредите челядь.

Аббат поклонился и вышел, ликуя от переполнявших его радости и признательности.

XXVII

Отец и сын

Все цветы надежды, что медленно прорастают в сердце человека и приносят плоды лишь в определенное время, распускались в душе аббата Доминика, по мере того как он удалялся от короля и приближался к своим согражданам — простым смертным.

Припоминая слабости несчастного монарха, он полагал, что человек этот, согбенный под тяжестью прожитых лет, добросердечный, но безвольный, не способен стать серьезным препятствием на пути великой богини, наступающей с тех пор, как человеческий гений воспламенил ее факел, — богини, что зовется Свободой!

И, странное дело, — это, впрочем, свидетельствовало о том, что, несомненно, он твердо знал, чем ему следует заняться, — все его прошлое вдруг прошло перед глазами. Он стал вспоминать малейшие подробности своей жизни после семинарии, свои необъяснимые колебания в тот момент, когда он произносил обет, внутреннюю борьбу, когда был рукоположен в сан. Но все победила тайная надежда; подобно огненному столпу Моисея, она указывала ему путь и говорила, что поприще, на котором он мог бы принести наивысшую пользу своему отечеству, — религия.

Подобно путеводной звезде волхвов, его совесть сияла и указывала ему верный путь. На одно мгновение непогода закрыла его небосвод и он едва не сбился с пути. Но скоро он снова прозрел и пустился в дорогу, ежели и не с полным доверием, то с непреклонной решимостью.

Доминик с улыбкой ступил на последнюю ступеньку дворцовой лестницы.

Какой затаенной мысли он мог улыбаться в столь затруднительном положении?

Но едва он вышел на двор Тюильрийского дворца, как увидел доброжелательное лицо Сальватора: тот с лихорадочным беспокойством поджидал аббата, беспокоясь за исход дела.

Одного взгляда на несчастного монаха оказалось достаточно, чтобы понять, чем закончился его визит к королю.

— Отлично! — молвил он. — Вижу, король удовлетворил вашу просьбу и предоставил отсрочку.

— Да,— кивнул аббат Доминик.— В глубине души это прекрасный человек.

— Вот что меня отчасти с ним примиряет,— продолжал Сальватор.— Благодаря этому я готов вернуть свою благосклонность его величеству Карлу Десятому. Прощаю ему слабости в память о его врожденной доброте. Надо быть снисходительным к тем, кому не суждено слышать правду.

Внезапно переменив тон, он продолжал:

— Сейчас возвращаемся в Консьержери, не так ли?

— Да,— только и ответил аббат, пожимая другу руку.

Они сели в проезжавший по набережной свободный экипаж и скоро были на месте.

У ворот мрачной тюрьмы Сальватор протянул Доминику руку и спросил, что тот намерен делать после встречи с отцом.

— Я тотчас покину Париж.

— Могу ли я быть вам полезен там, куда вы отправляетесь?

— Под силу ли вам ускорить получение паспорта?

— Я помогу вам получить его незамедлительно.

— В таком случае ждите меня у себя: я найду за вами.

— Нет, лучше я буду ждать вас здесь через час, вы найдете меня на углу набережной. В тюрьме разрешено оставаться лишь до четырех часов, сейчас — три.

— Стало быть, через час,— повторил аббат Доминик и еще раз пожал молодому человеку руку.

Он исчез под мрачными сводами.

Пленника препроводили в камеру, где когда-то сидел Лувель и где было суждено оказаться Фьечи. Доминик без затруднений проник к отцу.

Господин Сарранти сидел на табурете. При виде сына он поднялся и шагнул ему навстречу. Тот поклонился с почтительностью, с какой приветствуют мучеников.

— Я ждал вас, сын мой,— сообщил г-н Сарранти.

В его голосе послышался упрек.

— Отец! — отвечал аббат.— Не моя вина в том, что я не пришел раньше.

— Я вам верю,— взяв его руки в свои, отозвался пленник.

— Я только что из Тюильри,— продолжал Доминик.

— Из Тюильри?

— Да, я виделся с королем.

— С королем, Доминик? — удивился г-н Сарранти, пристально глядясь в сына.

— Да, отец.

— Зачем вы к нему ходили? Надеюсь, не для того, чтобы добиться отмены приговора?

— Нет, отец,— поспешил сказать аббат.

— О чем же вы его просили?

— Об отсрочке.

— Отсрочка?! Зачем отсрочка?

— По закону вам положено три дня для подачи кассационной жалобы; если ничто не заставляет суд поторопиться с приговором, рассмотрение дела может занять от сорока до сорока двух дней.

— Так что же?

— Я попросил два месяца.

— У короля?

— Да.

— Почему два месяца?

— Мне необходимо это время, чтобы добыть доказательства вашей невиновности.

— Я не стану подавать кассацию, Доминик! — решительно заявил г-н Сарранти.

— Отец!

— Нет, это решено окончательно, я запретил Эмманюэлю кассировать от моего имени.

— Отец, что вы говорите?

— Говорю, что отказываюсь от какой бы то ни было отсрочки; раз меня осудили, я хочу, чтобы приговор был приведен в исполнение; я дал отвод судьям, но не палачу.

— Отец, выслушайте меня!

— Я хочу, чтобы меня казнили... Спешу покончить с земными мучениями и людской несправедливостью.

— Отец, — печально прошептал аббат.

— Я знаю, Доминик, все, что вы можете сказать по этому поводу; я знаю, в чем вы вправе меня упрекнуть.

— Высокочитимый отец! — краснея, произнес Доминик. — Я готов умолять вас на коленях...

— Доминик!

— А что если б я вам сказал: в глазах людей вы будете непричастны к преступлениям и столь же чисты, как Божий свет, что пробивается сюда сквозь прутья этой тюремной решетки...

— Вот что, сын мой: после смерти я предстану во всем блеске невиновности, но я не стану просить отсрочки и не приму милости.

— Отец! Отец! — в отчаянии вскричал Доминик. — Не упорствуйте в своем решении, ведь оно приведет к вашей смерти и повергнет меня в отчаяние, и, возможно, из-за этого я сгублю свою душу.

— Довольно! — остановил сына г-н Сарранти.

— Нет, не довольно, отец!.. — опускаясь на колени, продолжал Доминик; он сжал руки отца, осыпал их поцелуями и омыл слезами.

Господин Сарранти попытался отвернуться и вырвал свои руки.

— Отец! — не унимался Доминик. — Вы отказываетесь, потому что не верите моим словам; отказываетесь, так как вам взбрело в голову, что я прибегну к уловке, дабы оспорить вас

у смерти и прибавить вам два месяца жизни, такой благородной и полной, а вы чувствуете, что можете умереть в любую минуту и умрете в глазах Верховного Судии во цвете лет и как герой.

Печальная улыбка, свидетельствовавшая о том, что Доминик попал в точку, мелькнула на губах г-на Сарранти.

— Так вот, отец,—сказал Доминик,—клянусь, что слова вашего сына не пустой звук; клянусь, что здесь,—Доминик прижал руку к груди,—доказательства вашей невинности!

— И ты их не представил на суде! — изумился г-н Сарранти, отступив на шаг и недоверчиво глядя на сына.— Ты позволил вынести своему отцу приговор, осудить его на позорную смерть, имея вот здесь,—он указал пальцем монаху на грудь,—доказательства невинности твоего отца?!

Доминик протянул руку.

— Отец! Как верно то, что вы—честный человек и что я—ваш сын, так же верно и то, что если бы я пустил в ход эти доказательства, спас вам жизнь и честь с помощью этих доказательств, вы стали бы меня презирать и еще скорее умерли бы от презрения, нежели от руки палача.

— Раз ты не можешь представить эти доказательства сегодня, как ты сможешь сделать это позднее?

— В этом, отец, заключается еще одна тайна, которую я не вправе вам открыть: это тайна моя и Бога.

— Сын! — отрывисто бросил осужденный.— Во всем этом, по-моему, слишком много таинственности. Я не привык принимать то, что не понимаю. Раз я не понимаю, я отказываюсь.

Он отступил и знаком приказал монаху подняться:

— Довольно, Доминик! Избавьте меня от этого разговора. Давайте проведем последние часы, которые нам суждено прожить на земле вместе, как можно более мирно.

Монах вздохнул. Он знал, что после этих слов отца надеяться ему не на что.

Тем не менее, поднимаясь, он соображал, как заставить нестигаемого человека, каковым он считал своего отца, изменить решение.

Господин Сарранти указал аббату Доминику на табурет и, желая унять волнение, несколько раз прошелся по тесной камере. Потом он поставил рядом с сыном другой табурет, сел, собрался с мыслями и повел с монахом, слушавшим его с опущенной головой и сжавшимся сердцем, такую речь:

— Сын мой! Я очень сожалею, что мы расстаемся. Кроме того, перед смертью я испытываю раскаяние или, вернее, страх, что неправильно прожил жизнь.

— Отец! — так и вскинулся Доминик, пытаясь схватить отца за руки, которые тот отдернул, но не оттого, что холодно относился к сыну, а, напротив, потому, что боялся подпасть под влияние Доминика.

Сарранти продолжал:



— НЕТ, НЕ ДОВОЛЬНО, ОТЕЦ! — ОПУСКАЯСЬ НА КОЛЕНИ,
ПРОДОЛЖАЛ ДОМИНИК

— Выслушайте, что я скажу, Доминик, и судите меня.

— Отец!

— Повторяю: судите меня... Я горжусь тем, что мой сын — человек высоконравственный... Как, по-вашему, хорошо или плохо я употребил данный мне Богом разум, надеясь быть полезным другим людям?... Иногда я сомневаюсь... выслушайте меня... Мне кажется, этот разум ничего им не дал. Другая моя задача состояла в том, чтобы способствовать по мере сил развитию цивилизации; и, наконец, для меня было очень важно посвятить свою жизнь одной идее или, вернее, одному человеку во всем его величии.

— Отец! — только и сказал монах, не сводя с отца горящего взора.

— Выслушайте меня, сын мой, — продолжал настаивать узник. — Как я вам уже говорил, я вдруг стал сомневаться, правильный ли путь я избрал. Стоя на пороге смерти, я пытаюсь дать себе отчет в содеянном и счастлив, что делаю это в вашем присутствии. Вы полагаете, что я мог израсходовать данную мне силу иначе? Удалось ли мне наилучшим образом употребить способности, дарованные мне Богом, а, раз поставив перед собой задачу, достойно ее исполнить? Отвечайте, Доминик.

Тот в другой раз пал перед отцом на колени.

— Благородный мой отец! — сказал он. — Я не знаю в поднебесной человека более верного, который бы так же, как вы, не щадя сил, служил делу, представляющемуся ему справедливым и хорошим. Я не знаю человека более безупречной честности, более бескорыстного. Да, благородный мой отец, вы выполнили свою задачу настолько, насколько она была перед вами поставлена, а темница, в которой мы сейчас находимся, — это материальное свидетельство величия вашей души, а также вашей беззаветной преданности.

— Спасибо, Доминик, — поблагодарил г-н Сарранти. — Если что и утешит меня в смерти, так это мысль, что мой сын имеет право мной гордиться. Итак, я покину вас, мое единственное дитя, если и не без сожалений, то, во всяком случае, без угрызений совести. Однако не все еще силы я положил на благо отечества; сегодня мне кажется, что я исполнил свое предназначение едва ли наполовину; мне казалось, я вижу — в туманной дали, впрочем, вполне достижимой — яркий луч новой жизни, нечто вроде освобожденной родины и — как знать? — может быть, в результате этого — освобождение народов!

— Ах, отец! — вскричал аббат. — Не теряйте из виду этот луч надежды, умоляю вас! Ведь, подобно огненному столбу, он должен привести Францию в Землю обетованную. Отец! Выслушайте меня, и пусть Господь наделит силой убеждения своего скромного слугителя!

Господин Сарранти провел рукой по вспотевшему лбу, будто отгоняя мрачные мысли, способные помешать ему понять слова сына.

— Теперь выслушайте и вы меня, отец! Вы только что одним словом прояснили для меня социальный вопрос, которому самые благородные люди посвящают жизнь: вы сказали: «Человек и идея».

Не спуская глаз с Доминика, г-н Сарранти одобряюще кивнул.

— «Человек и идея» — этим все сказано, отец! Человек в своей гордыне полагает, что он хозяин идеи, тогда как, напротив, идея управляет человеком. Ах, отец! Идея — дочь самого Господа, и Бог дал ей, дабы исполнить ее важнейшую задачу, людей в качестве инструментов... Слушайте внимательно, отец; порой я начинаю говорить туманно...

Сквозь века идея, словно солнце, светит, ослепляя людей, которые ее обожествили. Посмотрите, как она рождается вместе с солнцем; где идея, там и свет, остальное пространство тонет во мраке.

Когда идея появилась над Гангой и встала за Гималайской цепью, освещая раннюю цивилизацию, от которой у нас сохранились лишь традиции, и эти древние города, от которых нам остались одни развалины, ее отблески осветили все вокруг, а вместе с Индией и соседние народы. Только самый яркий свет исходил оттуда, где находилась идея. Египет, Аравия, Персия оставались в полумраке, остальные страны тонули в полной темноте: Афины, Рим, Карфаген, Кордова, Флоренция и Париж, эти будущие очаги просвещения, эти грядущие светочи, еще не появились из-под земли, даже названия их были в то время неизвестны.

Индия исполнила свое предназначение патриархальной цивилизации. Эта праматерь рода человеческого, избравшая символом корову с неистощимыми сосцами, передала скипетр Египту, его сорока номам¹, тремстам тридцати королям, двадцати шести династиям. Неизвестно, как долго существовала древняя Индия, Египет просуществовал три тысячи лет. Он породил Грецию, на смену патриархату и теократическому правлению пришло правление республиканское. Античное общество преобразовалось в языческое.

Потом наступила эпоха Рима. Рим — избранный город, где идее надлежало обратиться человеком и управлять будущим... Отец! Давайте вместе поклонимся: я назову имя праведника, умершего не только за себе подобных, которых должны были принести в жертву вслед за ним, но и за преступников; отец, я говорю о Христе...

Сарранти опустил голову, Доминик осенил себя крестным знаменем.

— Отец! — продолжал монах. — В ту минуту, как Праведник испустил последний крик, прогремел гром, молния вспорола небесное покрывало, разверзлась земля... Трещина, протянувшаяся

¹ Административная единица в Древнем Египте.

от края до края, стала бездной, разделившей древний мир, из которого родился мир новый. Все надо было начинать заново, все было необходимо переделать; могло бы показаться, что Господь непогрешимый ошибся, но то тут то там, подобно маякам, вспыхнувшим от его света, стали появляться те, в ком люди признали великих предтечей, зовущихся Моисеем, Эсхилом, Платоном, Сократом, Вергилием и Сенекой.

Идеей явилось еще до Иисуса Христа его древнее имя: «Цивилизация»; уже после Христа его современным именем стало «Свобода». В языческом мире свобода была не нужна цивилизации: возьмите Индию, Египет, Аравию, Персию, Грецию, Рим... В христианском мире без свободы нет цивилизации: вспомните падение Рима, Карфагена, Гренады и рождение Ватикана.

— Сын мой! Неужели Ватикан — храм Свободы? — усомнился Сарранти.

— Был, во всяком случае до Григория Седьмого... Ах, отец! Тут снова необходимо различать человека и идею! Идея, ускользающая из рук папы, переходит в руки короля Людовика Толстого, положившего конец делу, начатому Григорием Седьмым. Франция явилась продолжением Рима, именно во Франции впервые зарождается слово «коммуна». Именно во Франции, где только формируется язык, где скоро будет покончено с рабством, будут отныне решаться судьбы мира! Рим владеет лишь телом Христа — во Франции живет его слово, его душа — идея! Вспомните, как она проявляется в слове «коммуна»... Иными словами — правда народа, демократия, свобода!

О, отец! Люди полагают, что идея находится у них на службе, а на самом деле идея повелевает ими.

Выслушайте меня, отец, поскольку в то время, как вы жертвуете своей жизнью ради того, во что верите, надобно пролить свет на эту веру, и вы увидите, привел ли зажженный вами факел туда, куда вы хотели прийти...

— Я вас слушаю, — кивнул осужденный, проводя рукой по лбу, будто боялся, что его голова не выдержит напряжения.

— События происходят разные, — продолжал монах, — а вот мысль — одна. На смену Коммуне приходят «пастухи»¹, за «пастухами» — Жакерия; после Жакерии — восстание майотенов, за ним — «Война за общественное благо»; после нее — Лига, потом Фронда, затем — Французская революция. Так вот, отец, во всех этих восстаниях, как бы они ни назывались, идея меняется, но с каждым разом она становится все более грандиозной.

Капля крови, срывающаяся с языка первого человека, который кричит: «Коммуна» — на общественной площади в Камбре и которому отрезают язык как богохульнику, — вот где источник

¹ Крестьяне, объединившиеся в банды с целью освобождения Людовика IX в Египте. Движение переродилось в мародерство, и «пастухи» были уничтожены по приказанию регентши Бланки Кастильской (1251 г.).

демократии; сначала источник, потом ручеек, затем водопад, речка, большая река, озеро и, наконец, океан!

А теперь, отец, проследим за плаванием по этому океану богоизбранного Наполеона Великого...

Узник, никогда не слышавший подобных речей, сосредоточился и стал слушать.

Монах продолжал в следующих выражениях:

— Три человека, трое избранных, были отмечены во все времена Господом как инструменты идеи для возведения, как он это себе представлял, здания христианского мира: Цезарь, Карл Великий и Наполеон. И заметьте, отец, каждый из них не ведал что творит и, похоже, мечтал об обратном; язычник Цезарь подготавливает наступление христианства, варвар Карл Великий — цивилизации, деспот Наполеон — свободы.

Люди эти сменяют друг друга с интервалом в восемь столетий. Отец! Между ними мало общего, но у них одна вдохновительница — идея.

Язычник Цезарь в результате захвата собирает народы в единое целое, чтобы над ними солнцем вознесся Христос — живительный светоч современного мира, но Христос вознесся и над преемником Цезаря.

Варвар Карл Великий устанавливает феодальное общество, эту праматерь цивилизации, и благодаря установлению границ своей огромной империи прекращает миграцию народов еще более варварских, чем его собственный.

Наполеон... Если позволите, отец, на примере Наполеона я попытаюсь развить свою теорию. Это не пустые слова, надеюсь, они приведут меня к цели.

Когда Наполеон, или, вернее, Бонапарт — ведь у этого гиганта два имени, словно два лица, — когда Бонапарт только появился, Франция настолько была более революционной по сравнению с другими народами, что нарушила мировое равновесие. Этому Буцефалу нужен был Александр, этому льву был необходим Андрокл. И вот встал Наполеон, заключавший в себе оба начала — народное и аристократическое, — перед этой сумасшедшей свободой, которую нужно было прежде усмирить, а потом уж вылечить. Бонапарт шел позади идеи во Франции, но опережал идеи других народов.

Короли увидели в нем то, что он собой представлял; короли бывают порой слепы: безумцы затеяли с ним войну.

Тогда Бонапарт — человек идеи — взял у Франции самых чистых, умных, передовых ее сынов, сформировал из них священные батальоны и разослал их по Европе. Повсюду эти батальоны идеи несут смерть королям и спасение народам. Повсюду, где бы ни прошло французское сознание, свобода следом делает гигантский шаг, разбрасывая революции, как сеятель бросает зерна.

Наполеон пал в тысяча восемьсот пятнадцатом году, однако семена, брошенные им на некоторых землях, уже дали хорошие

всходы. Так, в тысяча восемьсот восемнадцатом году — вспоминайте, отец! — великие герцогства Бадена и Баварии требуют конституции и добиваются своего; в тысяча восемьсот двадцатом — революция и принятие конституции испанским и португальским кортесами; в том же тысяча восемьсот двадцатом году — революция и принятие конституции в Неаполе и Пьемонте; в тысяча восемьсот двадцать первом — восстание греков против турецкого ига; в двадцать третьем — закон о собраниях земских чинов в Пруссии.

Человек — пленник, человек закован в цепи на скале Святой Елены, человек мертв, человек положен во гроб, человек покоится под безымянным камнем, зато идея свободна, жива, бессмертна!

Единственный народ благодаря своему географическому положению избежал последовательного влияния Франции, будучи слишком удален, чтобы мы могли помыслить хоть когда-нибудь ступить на его территорию. Наполеон мечтает изгнать англичан из Индии, объединившись с Россией... Он не сводит глаз с России и в конце концов свыкается с разделяющим нас расстоянием, оно кажется ему все менее значительным в результате оптического обмана. Довольно предлога, и мы завоевываем Россию, как захватили Италию, Египет, Германию, Австрию и Испанию. В предлоге недостатка не будет, как хватало их во времена крестовых походов, когда мы собирались позаимствовать цивилизацию у Востока. Так хочет Бог: мы понесем свободу на Север. Английский корабль входит в гавань не знаю уж какого города на балтийском побережье, и вот уже Наполеон объявляет войну человеку, который двумя годами раньше с поклоном приводил строку из Вольтера: «Дружба великого человека — дар богов!»

На первый взгляд кажется, что предусмотрительность Бога разобьется о деспотический инстинкт человека. Французы входят в Россию, но она отступает перед ними; свобода и рабство не могут соединиться. Ни одно семя не прорастет на этой промерзшей земле, потому что перед нашими войсками отступят не только армии, но и мирное население. Мы занимаем пустыню, мы захватываем спящую столицу. А когда мы входим в Москву, она пуста, она в огне!

Итак, миссия Наполеона исполнена, настал час его падения, ведь падение Наполеона пойдет на пользу свободе, как не прошло для нее даром возвеличение Бонапарта. Царь, столь осмотрительный с победившим неприятелем, будет, возможно, неосторожен с врагом побежденным: он отступил перед захватчиком, но, отец, он же готов преследовать отступающего врага...

Господь отводит свою десницу от Наполеона... Вот уже три года, как император отдалился от своего доброго гения, Жозефины, уступившей место Марии Луизе, воплощению деспотизма! Итак, Господь отводит от него свою десницу, а чтобы небесное вмешательство в земные дела было на сей раз заметно, теперь не люди побеждают людей, а изменяется порядок времен года;

неожиданно рано обрушиваются снег и холод и войско гибнет под действием стихии.

Свершилось все, что предвидел мудрый Господь. Париж не смог навязать свою цивилизацию Москве: Москва сама пришла за ней в Париж.

Два года спустя после пожара в Москве Александр войдет в нашу столицу, однако долго здесь не пробудет: его солдаты едва успели ступить на французскую землю, наше солнце, которое должно было их осветить, только ослепило их.

Бог снова призывает своего избранника — и вновь появляется Наполеон, гладиатор возвращается на арену, сражается, падает и подставляет шею в Ватерлоо.

Париж снова распахивает свои ворота перед царем и его диким войском. На этот раз люди с Невы, Волги и Дона проведут три года на берегах Сены; они впитают в себя новые и непривычные идеи, произнося незнакомые слова — «цивилизация», «освобождение», «свобода»; они вернутся в свою дику страну, а восемь лет спустя в Санкт-Петербурге вспыхнет республиканский заговор... Обратите свой взгляд на Россию, отец! Вы увидите очаг этого пожара, еще дымящегося на Сенатской площади.

Отец! Вы посвятили жизнь человеку-идее: человек мертв, идея живет. Живите и вы ради идеи!

— Что вы говорите, сын мой?! — вскричал г-н Сарранти, и в его взгляде угадывались удивление и радость, изумление и гордость.

— Я говорю, отец, что после того, как вы отважно сражались, вы не захотите расстаться с жизнью, не услышав, как пробил час будущей независимости. Отец! Весь мир в волнении. Во Франции происходит внутренняя работа, словно в недрах вулкана. Еще несколько лет, возможно, несколько месяцев — и лава выплеснется из кратера, поглощая на своем пути, словно проклятые города, рабство и низость общества, вынужденного уступить место новому обществу.

— Повтори, что ты сказал, Доминик! — в воодушевлении воскликнул корсиканец; его глаза засияли радостным блеском, когда он услышал пророческие и утешительные речи сына, не менее для него дорогие, чем брильянтовые брызги. — Повтори еще раз... Ты состоишь в каком-нибудь тайном обществе, не правда ли, и тебе открыто будущее?

— Я не состою ни в каком тайном обществе, отец, и если и знаю что-нибудь о будущем, то прочел это в книгах о прошлой жизни. Я не знаю, готовится ли какой-нибудь тайный заговор, однако мне известно, что мощный заговор зреет у всех на виду, средь бела дня: это заговор добра против зла, и двое сражающихся приготовились к бою, мир замер в ожидании... Живите, отец! Живите!

— Да, Доминик! — вскричал г-н Сарранти, протягивая сыну руку. — Вы правы. Теперь я хочу жить, но разве это возможно? Ведь я осужден!

— Отец! Это мое дело!

— Только не проси для меня снисхождения, Доминик! Я ничего не хочу принимать от тех, кто двадцать лет воевал с Францией.

— Нет, отец! Положитесь на меня, и я спасу честь семьи. От вас требуется одно — подайте кассационную жалобу: невиновный не должен просить снисхождения.

— Что вы задумали, Доминик?

— Отец! Я никому не могу открыться.

— Это тайна?

— Да, ненарушимая и сокровенная.

— Даже отцу нельзя ее открыть?

— Даже отцу! — подтвердил Доминик.

— Не будем больше об этом говорить, сын... Когда я снова увижу вас?

— Через пятьдесят дней, отец... может быть, и раньше, но не позднее.

— Я не увижу вас полтора месяца? — ужаснулся г-н Сарранти.

Он начинал бояться смерти.

— Я отправляюсь пешком в далекое странствие... Прощайте! Я отправляюсь нынче вечером, через час, и не остановлюсь вплоть до самого возвращения... Благословите меня, отец!

На лице г-на Сарранти появилось выражение необычайного величия.

— Помогай тебе Бог в твоём тяжком странствии, благородная душа! — сказал он, простерев руки над головой сына. — Пусть Он хранит тебя от ловушек и предательств, пусть поможет отворить двери моей темницы независимо от того, выйду ли я к жизни или смерти!

Взяв в руки голову коленопреклоненного монаха, он с горделивой нежностью заглянул ему в лицо, поцеловал в лоб и указал на дверь, опасаясь, по-видимому, расплакаться от переполнявших его чувств.

Монах тоже почувствовал, что силы ему изменяют; он отвернулся, пряча от отца слезы, выступившие ему на глаза, и поспешно вышел.

XXVIII

Паспорт

Когда аббат Доминик выходил из Консьержери, пробило четыре часа.

У выхода монаха ждал Сальватор.

Молодой человек заметил, что аббат взволнован, и догадался, что творится в его душе; он понял: говорить о его отце значило бы бередить рану. Поэтому он ограничился вопросом:

— Что вы намерены предпринять?

— Отправляюсь в Рим.

— Когда?

— Как можно раньше.

— Вам нужен паспорт?

— Вероятно, паспортом мне могла бы послужить моя сутана, однако во избежание задержек в пути я бы предпочел иметь необходимые бумаги.

— Идемте за паспортом. Мы в двух шагах от Префектуры. С моей помощью, надеюсь, вам не придется ждать.

Спустя пять минут они уже входили во двор Префектуры.

В ту минуту, как они переступали порог службы паспортов, в темном коридоре на них налетел какой-то человек.

Сальватор узнал г-на Жакаля.

— Примите мои извинения, господин Сальватор,— проговорил полицейский, в свою очередь узнавая молодого человека.— На этот раз я вас не спрашиваю, какими судьбами вы здесь очутились.

— Отчего же, господин Жакаль.

— А я и так это знаю.

— Вам известно, что меня сюда привело?

— А разве в мои обязанности не входит все знать?

— Итак, я пришел сюда, господин Жакаль...

— За паспортом, дорогой господин Сальватор.

— Для себя?— засмеялся Сальватор.

— Нет... Для этого господина,— ответил г-н Жакаль, указав пальцем на монаха.

— Мы стоим на пороге службы паспортов. Брат Доминик пришел со мной. Вы знаете, что мои занятия не позволяют мне уехать из Парижа. Стало быть, нетрудно догадаться, дорогой господин Жакаль, что я явился за паспортом для господина.

— Но я не только догадался, но и предвидел ваше желание.

— Ага! Предвидели...

— Да, насколько это позволительно при моей скромной прозорливости.

— Не понимаю.

— Сделайте одолжение и следуйте вместе с господином аббатом за мной, дорогой господин Сальватор! Возможно, тогда вы все поймете.

— Куда мы должны идти?

— В комнату, где выдают паспорта. Вы убедитесь, что бумаги господина аббата уже готовы!

— Готовы?— усомнился Сальватор.

— Ах ты Господи! Ну разумеется!— отозвался г-н Жакаль с добродушным видом, который он умел так хорошо на себя напускать.

— С описанием примет?

— Ну да! Не хватает лишь подписи господина аббата.

Они подошли к кабинету в глубине коридора напротив двери.

— Паспорт господина Сарранти! — приказал г-н Жакаль начальнику службы, сидевшему за решетчатой конторкой.

— Пожалуйста, сударь, — отвечал тот, подавая паспорт г-ну Жакалю, а тот передал его монаху.

— Все в порядке, не так ли? — продолжал г-н Жакаль, пока Доминик с удивлением разглядывал официальную бумагу.

— Да, сударь, — промолвил Сальватор. — Нам остается лишь получить визу у его преосвященства нунция.

— Это сделать просто, — заметил г-н Жакаль, запуская пальцы в табакерку и с вождением втягивая понюшку табаку.

— Вы оказываете нам настоящую услугу, дорогой господин Жакаль, — признался Сальватор. — Не знаю, право, как выразить вам свою благодарность.

— Не будем больше об этом говорить: друзья наших друзей — это наши друзья.

При этих словах г-н Жакаль повел плечами с таким добродушным видом, что Сальватор едва не поверил в его искренность.

В иные минуты он был готов принять г-на Жакаля за филантропа, занимающегося полицейским сыском из человеколюбия.

Но именно в это мгновение г-н Жакаль бросил исподлобья взгляд, свидетельствовавший о его родстве с животным, название которого отдаленно напоминало имя полицейского.

Сальватор знаком попросил Доминика подождать и произнес:

— На два слова, дорогой господин Жакаль.

— Хотя на четыре, господин Сальватор... на шесть, на весь словарный запас. Мне приятно беседовать с вами, и когда мне выпадает это счастье, я хотел бы, чтобы наша беседа длилась вечно.

— Вы очень добры, — поблагодарил Сальватор.

Несмотря на тщательно скрываемое отвращение к такому панибратству, он взял полицейского за руку.

— Итак, дорогой господин Жакаль, ответьте мне на два вопроса...

— С превеликим удовольствием, дорогой господин Сальватор.

— Зачем вы приказали сделать этот паспорт?

— Это первый ваш вопрос?

— Да.

— Я хотел доставить вам удовольствие.

— Благодарю... Теперь скажите, как вы узнали, что мне доставит удовольствие паспорт, выданный на имя Доминика Сарранти?

— Потому что господин Доминик Сарранти — ваш друг, насколько я мог об этом судить в тот день, когда вы его встретили у постели господина Коломбана.

— Отлично! А как вы догадались, что он соберется в путешествие?

— Я не догадался. Он сам сказал об этом его величеству, прося пятидесятидневной отсрочки.

— Но он не говорил его величеству, куда отправляется.

— Эка хитрость, дорогой господин Сальватор! Господин Доминик Сарранти просит у короля отсрочки на полтора месяца, чтобы совершить путешествие за триста пятьдесят лье. А сколько от Парижа до Рима? Триста километров по Сьеннской дороге, четыреста — через Перузу. В среднем, стало быть, выходит триста пятьдесят лье. К чьей помощи может прибегнуть господин Сарранти в сложившихся обстоятельствах? К папе, раз он монах: папа — король монахов. Ваш друг отправляется в Рим, чтобы попытаться заинтересовать короля монахов судьбой своего отца, и папа, возможно, обратится с просьбой о помиловании к французскому королю. Вот и все, дорогой господин Сальватор. Я мог бы заставить вас поверить в то, что я волшебник, но предпочитаю правду. Теперь вы видите, что первый встречный способен, переходя от дедукции к дедукции, прийти к такому же выводу, что и я. Господину Доминику осталось поблагодарить меня от вашего и своего имени и отправляться в Рим.

— Именно это он сейчас и сделает, — пообещал Сальватор. Он позвал монаха.

— Дорогой Доминик! Господин Жакаль готов принять вашу благодарность.

Монах приблизился, поблагодарил г-на Жакаля, а тот выслушал его с тем же благодушным видом, который напускал на себя во все время этой сцены.

Два друга вышли из Префектуры.

Некоторое время они шагали молча.

Наконец аббат Доминик остановился и положил руку на плечо задумавшемуся Сальватору.

— Я беспокоюсь, друг мой, — признался он.

— Я тоже, — отозвался Сальватор.

— Предупредительность этого полицейского кажется мне подозрительной.

— И мне... Однако давайте пойдем дальше: за нами, очевидно, следят.

— Зачем им мне помогать, как вы полагаете? — спросил аббат, вняв замечанию Сальватора.

— Не знаю, но мне кажется, что какой-то интерес они в этом имеют, тут вы правы.

— А вы верите, что ему хотелось доставить вам удовольствие?

— Ну, по большому счету сие возможно: человек этот весьма странный; иногда на него находит ничем не объяснимая блажь, чего вроде бы не должно случаться с людьми его профессии. Однажды ночью я возвращался через сомнительные

городские кварталы и вдруг услышал — на одной из безымянных улиц или, вернее, с ужасным названием, — на улице Бойни, рядом с улицей Вьей-Лантерн, приглушенные крики. Я всегда при оружии — вы, должно быть, понимаете почему, Доминик. Я бросился в ту сторону, откуда доносились крики. С высоты скользкой лестницы, ведущей с улицы Бойни на улицу Вьей-Лантерн, я увидел человека, отбивавшегося от трех нападавших, которые пытались через открытый люк сточного желоба спустить его в Сену. Я не стал сходить по лестнице, скользнул под балюстраду и прыгнул на улицу. Я был в двух шагах от борющихся, один из них отделился от группы и пошел на меня с занесенной палкой. В то же мгновение он поклатился в сточную канаву, пронзенный пулей. При звуке выстрела двое других нападавших, видя такое дело, убежали, а я остался вдвоем с тем, кому на помощь послало меня Провидение столь чудесным образом. Это и был господин Жакаль. Я тогда знал его только понаслышке — как знают его все. Он представился и рассказал, как оказался в этом квартале: он собирался нагрянуть с обыском в вызывавшие подозрение мебелирашки на улице Вьей-Лантерн в нескольких шагах от лестницы; прибыв за четверть часа до своих агентов, он спрятался за решеткой сточной канавы, как вдруг решетка распахнулась и на него набросились трое неизвестных. Это были в некотором роде посланцы от всех воров и убийц Парижа, поклявшихся разделаться с господином Жакалем: его слежка была для них настоящим бедствием. И они сдержали бы слово и покончили с ним, как вдруг, к несчастью для них и в особенности для того, кто испускал теперь предсмертные хрипы у моих ног, я пришел господину Жакалю на помощь... С этого дня господин Жакаль оказывает мне и моим друзьям небольшие услуги, насколько позволяют его обязанности начальника криминальной полиции.

— Тогда действительно вполне возможно, что он хотел просто доставить вам удовольствие, — признал аббат Доминик.

— Возможно, однако давайте войдем в дом. Взгляните вон на того пьяного: он следует за нами от Иерусалимской улицы. Как только мы окажемся по другую сторону двери, он мгновенно протрезвеет.

Сальватор вынул из кармана ключ, отпер замок, пропустил Доминика вперед и закрыл за собой дверь.

Роланд почуял хозяина. Молодые люди увидели пса на втором этаже, а Фрагола поджидала Сальватора за дверью.

Ужин был готов. Оказывается, время уже близилось к шести.

Молодые люди были серьезны, но хранили невозмутимость. Ничего по-настоящему страшного и не произошло.

Фрагола бросила на Сальватора вопросительный взгляд.

— Все хорошо, — улыбнувшись одними глазами, успокоил он ее.

— Господин аббат окажет нам честь, разделив с нами ужин? — спросила Фрагола.

— Да.

— Дайте-ка мне свой паспорт, брат мой, — попросил Сальватор.

Монах достал из-за пазухи сложенный лист.

Сальватор его развернул, тщательно осмотрел, повертел так и сяк в руках, но ничего подозрительного не заметил.

Наконец он приложил его к стеклу.

На свету проступили невидимые до тех пор буквы.

— Видите? — спросил Сальватор.

— Что? — не понял аббат.

— Эту букву.

И он ткнул в бумагу пальцем.

— Буква «С»?

— Да, «С», понимаете?

— Нет.

— «С» — первая буква в слова «слежка».

— Ну и что?

— Это означает: «Именем французского короля я, господин Жакаль, доверенное лицо господина префекта полиции, приказываю всем французским агентам в интересах его величества, а также всем агентам иноземным в интересах своих правительств преследовать, не спускать глаз, останавливать во время пути и даже в случае необходимости задержать владельца настоящего паспорта». Словом, вы, друг мой, сами того не зная, находитесь под наблюдением полиции.

— Да мне-то что за дело?

— О, отнесемся к этому серьезно, брат мой! — предостерег Сальватор. — Судя по тому, как проходил процесс над вашим отцом, кое-кому не терпится от него избавиться, и я не хочу подчеркивать роль Фраголы, — с едва уловимой улыбкой заметил Сальватор, — но понадобились ее светские связи, чтобы добиться для вас аудиенции, в результате чего король предоставил вам двухмесячную отсрочку.

— Вы полагаете, король нарушит данное слово?

— Нет, но у вас в распоряжении всего два месяца.

— Этого времени более чем достаточно, чтобы побывать в Риме и вернуться назад.

— Если только вам не будут чинить препятствий и не арестуют вас в пути, если по прибытии вам не помешают в результате тысячи тайных интриг увидеться с тем, к кому вы отправляетесь.

— Я полагал, что любому монаху, совершившему странствие в четыреста лье и прибывшему в Рим босиком с посохом в руках, достаточно подойти к воротам Ватикана, и ему будет открыт доступ к тому, кто сам был когда-то простым монахом.

— Брат мой! Вы пока верите тому, в чем постепенно вам придется разочароваться... Человек, вступающий в жизнь, похож

на дерево, с которого ветер сначала сдувает цветы, потом срывает листья, ломает ветки до тех пор, пока буря, пришедшая на смену ветру, не свалит однажды дерево... Брат мой! Они заинтересованы в смерти господина Сарранти и употребят все возможные средства, чтобы стало бесполезным обещание, которое вы выманили у короля.

— Выманил?! — изумился Доминик.

— С их точки зрения — выманили... А как еще они, по-вашему, объясняют тот факт, что ее светлость герцогиня Беррийская, любимица короля, муж которой погиб от руки фанатика, проявляет интерес к сыну другого революционера, тоже революционеру и тоже фанатику?

— Вы правы, — бледнея, прошептал Доминик. — Что же делать?

— Вот об этом мы и позаботимся.

— Каким образом?

— Паспорт этот мы сожжем: кроме вреда, он ничего нам не даст.

Сальватор разорвал бумагу и бросил обрывки в огонь.

Доминик почувствовал беспокойство.

— Что же теперь со мной будет? — молвил он.

— Прежде всего, брат мой, поверьте, что лучше путешествовать без паспорта, чем с таким, как у вас; однако без документов вы не останетесь.

— Кто же мне их даст?

— Я, — ответил Сальватор.

Открыв небольшой секретер, он отпер секретный ящик и среди многочисленных бумаг нашел подписанный паспорт, в котором не хватало только имени владельца и описания примет.

Он заполнил пустые графы: имя — брат Доминик, описание — точь-в-точь аббат Сарранти.

— А виза? — заволновался Доминик.

— Выписана сардинской миссией на Турин для следования инкогнито, разумеется. Я предусмотрительно обзавелся этим паспортом, он вам пригодится.

— А после того, как я дойду до Турина?..

— В Турине вы скажете, что дела вынуждают вас отправиться в Рим, вам без всяких трудностей завизируют паспорт.

Монах схватил обе руки Сальватора и крепко их пожал.

— Брат! Друг! Как я отплачу за все, что вы для меня сделали?! — воскликнул он.

— Как я вам уже говорил, брат мой, — улыбнулся Сальватор, — что бы я ни сделал, я навсегда останусь вашим должником.

Вернулась Фрагола. Она слышала последние слова.

— Подтверди нашему другу, что это так, дитя мое, — попросил Сальватор, подавая девушке руку.

— Он обязан вам жизнью, отец мой. Я обязана ему своим счастьем. Франция в той мере, в какой это по силам одному человеку, будет ему, возможно, обязана своим освобождением. Как видите, долг огромный. Располагайте же нами!

Монах посмотрел на очаровательную девушку и ее возлюбленного.

— Вы творите добро: будьте счастливы! — благословил аббат молодых людей.

Фрагола указала на сервированный стол.

Монах сел между Сальватором и его подругой, неторопливо прочел «Benedicite»¹, которую те выслушали с невозмутимостью чистых душ, убежденных в том, что молитва доходит до Бога.

Ужинали скоро и в полном молчании.

Сальватор прочел в глазах монаха нетерпение и, не дожидаясь окончания трапезы, встал.

— Я к вашим услугам, отец мой, — сказал он. — Но перед тем, как отпустить вас в дорогу, я дам вам талисман. Фрагола! Поддай шкатулку с письмами.

Фрагола вышла.

— Талисман? — переспросил монах.

— Да, не беспокойтесь, отец мой, это не идолопоклонство. Я вам говорил, какие трудности ждут вас в пути, пока вы доберетесь до святого отца.

— Так вы и там можете мне помочь?

— Может быть, — улыбнулся Сальватор.

Фрагола вернулась с шкатулкой в руках.

— Свечу, воск и гербовую печать, девочка моя! — приказал Сальватор.

Девушка поставила шкатулку на стол и снова вышла.

Сальватор отпер шкатулку золоченым ключиком, висевшим у него на шее.

В шкатулке лежало десятка два писем, он выбрал одно наугад.

В это время Фрагола возвратилась, неся свечу, воск и печатку.

Сальватор вложил письмо в конверт, запечатал воском и надписал: «Господину виконту де Шатобриану в Риме».

— Возьмите, — сказал он Доминику. — Три дня назад тот, кому адресовано это письмо, устав от бессмысленной жизни в Париже, уехал в Рим.

— «Господину виконту де Шатобриану»? — переспросил монах.

— Да. Перед его именем распахнутся любые двери. Если вам покажется, что трудности непреодолимы, подайте ему это письмо, скажите, что вам передал письмо сын того, кто его написал, и сошлитесь во имя этого письма на воспоминания об

¹ «Благословите» (латин.).

эмиграции. Тогда виконт станет вами руководить и вам останется лишь следовать за ним. Но вы должны прибегнуть к этому средству лишь в случае крайней нужды, иначе откроется тайна, известная трем людям: вам, господину де Шатобриану и нам с Фраголой, а мы с ней — одно целое.

— Я готов слепо исполнить ваши указания, брат.

— Это все, что я хотел вам сказать. Поцелуйте у этого праведника руку, Фрагола, а я провожу его до городских ворот.

Фрагола подошла и приложилась к руке монаха, тот следил за ней с ласковой улыбкой.

— Еще раз вас благословляю, дитя мое, — проговорил он. — Будьте так же счастливы, как чисты, добры и хороши собой.

Потом, словно все живые существа в этом доме заслуживали благословения, монах погладил собаку и вышел.

Перед тем как последовать за ним, Сальватор нежно поцеловал Фраголу в губы и шепнул:

— Вот именно: чиста, добра и хороша собой!

И он пошел догонять аббата.

XXIX

Паломник

Прежде чем отправиться в путь, аббату необходимо было зайти к себе; молодые люди направились на улицу По-де-Фер.

Не успели они пройти и несколько шагов, как комиссионер, которому завернутый в плащ господин передал письмо, отделился от стены и последовал за ними.

— Могу поспорить, что у этого комиссионера дело на той же улице, куда направляемся мы, — заметил Сальватор, обращаясь к монаху.

— За нами следят?

— Еще бы, черт побери!

Молодые люди трижды оглядывались, в первый раз — на углу улицы Эперон, в другой — на углу улицы Сен-Сюльпис, потом — перед тем как войти к аббату. Казалось, у комиссионера дело в том же месте, куда они идут.

— Ого! — пробормотал Сальватор. — До чего ловок этот господин Жакаль! Но Бог на нашей стороне, а Жакалю помогает только сатана — может быть, мы окажемся удачливее.

Они вошли в дом. Аббат взял ключ. С консьержкой разговаривал какой-то человек, поглаживая ее кота.

— Приглядитесь к этому господину, когда мы будем выходить, — предупредил Сальватор, когда они с Домиником поднимались по лестнице.

— К какому господину?

— Который разговаривает с вашей консьержкой.

— Зачем?

— Он пойдет за нами до заставы, а может быть, последует за вами и дальше.

Друзья вошли в комнату Доминика.

После Консьержери и Префектуры комната представлялась оазисом. Заходящее солнце неярко освещало ее в этот час, из Люксембургского сада доносилось пение птиц, прятавшихся в цветущих каштанах, воздух был свеж, и на душе становилось радостно, стоило лишь войти в эту клетушку.

У Сальватора сжалось сердце при мысли, что монах должен оставить эту тихую комнату и отправиться в путешествие по большим дорогам, из страны в страну, невзирая на палящие лучи южного солнца и пронизывающий ночной ветер.

Аббат остановился на мгновение посреди комнаты и огляделся.

— Как я был здесь счастлив!—сказал он, попытавшись облечь в слова то, что испытывал в эти минуты.— Я провел самые приятные часы моей жизни в этом тихом уголке, где единственной радостью мне были мои занятия, а утешение мне давал Господь. Подобно монахам Табора или Синая, я порой переживал нечто сродни воспоминаниям из прошлой жизни или предвидениям жизни предстоящей. Словно живые существа, проходили здесь перед моим взором самые счастливые мечты юности, блаженные воспоминания об отрочестве; я просил у Бога лишь послать мне друга: Господь дал мне Коломбана, Бог у меня и забрал его! Но Он ниспослал мне вас, Сальватор! Свершилась Божья воля!

С этими словами монах взял книгу, опустил ее в карман, перепоясал свое простое белое одеяние веревкой, потом прошел у Сальватора за спиной, достал из угла суковатую палку и показал ее Сальватору.

— Я принес ее из печального странствия,—сказал он.— Это единственная вещественная память о Коломбане.

Словно опасаясь расчувствоваться, если останется в комнате хоть на одно мгновение, он предложил:

— Не пора ли нам идти?

— Идемте,—поднимаясь, кивнул Сальватор.

Они сошли по лестнице: у консьержки уже никого не было, зато ее недавний посетитель поджидал на углу улицы.

Молодые люди прошли через Люксембургский сад, незнакомец следовал за ними. Они вышли на аллею Обсерватуар, пошли по улице Кассини, потом через предместье Сен-Жак, молча миновали внешние бульвары и прибыли к заставе Фонтенбло. Они вышли за ворота, провожаемые любопытными взглядами таможенников и простолудинов, которым было в диковинку монашеское платье Доминика. Двое друзей продолжали путь. Незнакомец по-прежнему шел следом.

Дома встречались им на пути все реже, и наконец по обе стороны от дороги раскинулись колосающиеся поля.

— Где вы нынче переночуете? — спросил Сальватор.

— В первом же доме, где мне не откажут в гостеприимстве, — отозвался монах.

— Вы не будете возражать, если гостеприимство окажу вам я, брат?

Монах кивнул в знак согласия.

— В пяти лье отсюда, — продолжал Сальватор, — немного не доходя до Кур-де-Франс, вы увидите слева тропинку; вы узнаете ее по столбу с белым крестом, который в геральдике принято называть «лапчатым».

Доминик снова кивнул.

— Пойдете по этой тропинке, она приведет вас на берег реки. В ста шагах от того места, среди купы ольх, тополей и ив, вы увидите в лунном свете белеющий домик. На его двери вы узнаете тот же белый крест, что и на столбе.

Доминик кивнул в третий раз.

— Рядом стоит дуплистая ива, — продолжал Сальватор. — В дупле вы найдете ключ: это ключ от входной двери. Возьмите его и отоприте дверь. На эту ночь, а также на все, сколько ни пожелаете, хижина к вашим услугам.

Монах даже не подумал спросить Сальватора, зачем тому дом на берегу реки. Он распахнул объятия.

Молодые люди в волнении обнялись.

Пора было расставаться.

Аббат тронулся в путь.

Сальватор постоял некоторое время, провожая друга взглядом до тех пор, пока тот не исчез в сгущавшихся сумерках.

Если бы кто-нибудь увидел со стороны, как мирно и не торопясь удаляется этот монах с суковатым посохом в руке, в ослепительно белой сутане и развевавшейся мантии, шагая уверенно и мерно, он проникся бы состраданием и грустью, уважением и восхищением.

Но вот Сальватор потерял его из виду, взмахнул рукой, будто хотел сказать: «Храни тебя Бог» — и пошел назад в дымный и грязный город: теперь у него было одной заботой больше и одним другом меньше.

XXX

Девственный лес на улице Анфер

Оставим аббата Доминика на большой дороге, соединяющей Францию с Италией, где он совершает долгое и утомительное паломничество в триста пятьдесят лье, сердце его разрывается от тоски, ноги изранены об острые камни. Посмотрим, что происходило через три недели после его отправления, то есть в понедельник, 21 мая, в полночь, в доме или, вернее, в парке пустовавшего дома в одном из самых многолюдных пригородов.

Наши читатели помнят, может быть, о том далеком и быстро пролетевшем времени, когда влюбленные Кармелита и Коломбан пришли однажды ночью на могилу де Лавальер. Миновав тогда улицы Сен-Жак и Валь-де-Грас, они свернули влево, вышли на улицу Анфер и вскоре остановились перед небольшой деревянной калиткой — входом в бывший сад Кармелиток.

А с другой стороны улицы, то есть справа, если идти в сторону Обсерватории, почти напротив все того же сада Кармелиток, расположена сводчатая дверь, забранная железной решеткой и запертая на железную цепь.

Проходя мимо, загляните сквозь решетку этой двери, и вы будете очарованы при виде роскошной растительности, которую вам вряд ли когда-нибудь доводилось видеть даже во сне.

Представьте, что вы входите в лес, где растут платаны, смоковницы, липы, каштаны, акации, сумахи, ели, тюльпанные деревья, переплетенные друг с другом, словно лианы, и густо увитые плющом, — нечто вроде непроходимой чащи, девственного леса в Индии или Америке. Человеку, случайно оказавшемуся в этих местах, могла бы прийти в голову мысль о волшебниках при виде пустынного и таинственного парка.

Но очарование этого девственного леса и пышной растительности очень скоро рассеивалось и уступало место ужасу, если случайный прохожий заглядывал за решетку не при свете дня, а в сумерки или ночной порой при свете луны.

Тогда в неярком сиянии королевы в серебристой диадеме прохожий мог разглядеть вдали развалины дома и огромный колодец, зияющий в высокой траве; человек настораживался и слышал тысячи странных ночных шорохов, какие раздаются в полночь на кладбищах, в башнях или пустующих замках; тогда, даже если запоздавший прохожий — вместо того чтобы иметь сердце, опоясанное тремя стальными обручами, о которых говорит Гораций и приписывает их первому мореплавателю, — обладает, будучи учеником Гёте или любителем Гофмана, воображением, развитым этими двумя поэтами, он вспомнит о рейнских городах, куда возвращаются души владетельных баронов, о духах из Богемских лесов, а также все эти сказки, легенды, жуткие истории старой Германии и попросит эти безмолвные деревья, этот отверстый колодец, этот развалившийся дом рассказать свою историю, сказку или легенду.

Что сталося бы с ним, если бы, расспросив торговку тряпьем и старьем — добрую славную женщину по имени г-жа Тома, которая проживает как раз напротив, через улицу, — он узнал, какая история или легенда связана с таинственным парком, а потом уговорами, силой или хитростью добился разрешения посетить его? Он затрепетал бы, разумеется, если бы только увидел через решетку это странное, мрачное, неопишемое нагромождение старых деревьев, высоких трав, папоротников, ползучих плющей.

Ребенок не посмел бы ступить за калитку этого парка, женщина лишилась бы чувств от одного его вида.

В сердце этого квартала, уже известного легендами, начиная с легенды о дьяволе Вовере, этот парк стал чем-то вроде очага, где зреют тысячи легенд, которые расскажет вам первый встречный от заставы до ворот Сен-Жак, от Обсерватории до площади Сен-Мишель.

Какое из этих противоречивых сказаний ближе всех к правде? Мы не можем этого утверждать, но, не претендуя на евангельское сказание, поведаем свою собственную историю, и читатели поймут, как давно легенда об этом мрачном и фантастическом доме застряла у автора в голове и все еще остается там тридцать лет спустя.

Я тогда только что приехал в Париж. Было мне двадцать лет. Я жил на улице Фобур-Сен-Дени и имел любовницу на улице Анфер.

Вы спросите, каким образом, живя на улице Фобур-Сен-Дени, я избрал любовницу так далеко от дома. Я вам отвечу, что, когда из Виллер-Котре приезжает двадцатилетний юноша с жалованием в тысячу двести франков, не он выбирает любовницу, а она — его.

Итак, я был избранником юной, прелестной особы, проживавшей, как я уже сказал, на улице Анфер.

Трижды в неделю я отправлялся, к величайшему ужасу моей несчастной маменьки, с ночным визитом к этой юной и прелестной особе; в десять вечера я выходил из дома, а к трем часам утра возвращался обратно.

Я привык шататься по ночам и, полагаясь на свой рост и силу, не брал с собой ни трости, ни ножа, ни пистолета.

Путь был нехитрый, его можно было бы вычертить на карте Парижа, проведя карандашом по линейке прямую линию: я отправлялся из дома номер пятьдесят три по улице Фобур-Сен-Дени, проходил мост Менял, улицу Барийри, мост Сен-Мишель, улицу Лагарп — она-то и приводила меня на улицу Анфер, — от туда я шел на Восточную улицу, потом — на площадь Обсерватор, проходил вдоль приюта Анфан-Труве, миновал заставу и между улицами Пепиньер и Ларошфуко отворял калитку, которая вела к несуществующему ныне дому; возможно, он живет только в моей памяти. Возвращался я той же дорогой, то есть за ночь проходил около двух лье.

Моя несчастная мать очень беспокоилась, не зная, куда я хожу. Что с нею стало бы, если бы она последовала за мной и увидела, через какую мрачную пустыню лежит мой путь начиная с того места, где стоит так называемая Шахтерская школа.

Но страшнее всего были, бесспорно, пятьсот шагов, которые я проходил от улицы Аббе-де-л'Эпе до улицы Пор-Руаяль и обратно. В это время я следовал вдоль проклятого дома.

Должен признать, что в безлунные ночи эти пятьсот шагов доставляли мне особенное беспокойство.

Говорят, у пьяниц и влюбленных есть свой бог. Слава Всевышнему, за пьяниц я ничего сказать не мог, а вот как влюбленный готов был этому поверить: ни разу мне не встретился человек с дурными намерениями.

Правда, подталкиваемый жаждой все проверять, я решил взять быка за рога, то есть проникнуть в этот таинственный дом.

Я стал расспрашивать о легенде, связанной с ним, у девушки, из-за которой я через ночь совершал неосторожность, о чем только что поведал. Девушка обещала расспросить брата, одного из самых крикливых студентов Латинского квартала; ее брат не очень-то интересовался легендами, однако, дабы удовлетворить любопытство сестры, навел справки, и вот какие подробности ему удалось собрать.

Одни утверждали, что дом принадлежит богатому набобу, пережившему собственных сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек — индус живет уже около полутора веков, он поклялся, что ни с кем не будет видеться, станет пить одну воду из источника, есть траву в своем саду и спать на голой земле, подложив под голову камень.

Другие рассказывали, что в этом доме скрывается банда фальшивомонетчиков и все фальшивые деньги, имеющие хождение в Париже, изготовлены между улицами Обсерватуар и Восточной.

Люди набожные шепотом передавали друг другу, что этот дом в далекие времена облюбовал глава иезуитов; навестив братьев на Монруже, он проходил в это необычное жилище через подземный ход не меньше полутора лье длиной.

Впечатлительные люди поговаривали о привидениях, закованных в цепи, о мятущихся душах, о необъяснимом, необычном шуме, нечеловеческих криках, раздававшихся в полночь в определенные дни месяца, в определенные фазы луны.

Те, кто занимался политикой, рассказывали всем желавшим их послушать, что этот парк является частью земель, на которых когда-то возвели монастырь; здесь был казнен маршал Ней, потом семья маршала купила в память о нем земли и дом, соседствовавшие с мрачным местом казни, и, забросив ключ от дома в колодец, а от калитки — через стену, удалилась, не смея оглянуться.

Дом, в который никто никогда не входил, эта дверь, забранная железом, неисчислимые истории о кражах, убийствах, похищениях детей и самоубийствах, витавшие над заброшенным парком, словно стая ночных птиц, правдивые или выдуманные рассказы, ходившие в квартале, сук смоковницы, на котором повесился человек по имени Жорж и который показывали прохожим, когда они останавливались перед решеткой и расспрашивали о мрачном парке, — все это еще больше подхлестнуло мое любопытство, и я решил проникнуть днем в этот безмолвный сад и в этот заброшенный дом, перед которыми трижды в неделю трепетал, проходя ночью.

Садовая калитка выходила на улицу Анфер, а сам дом, как и сейчас,— на Восточную улицу, под номером тридцать семь, то есть был последним перед монастырем.

К несчастью, я был в те времена небогат—поймите меня правильно: я не хочу сказать, что с тех пор очень разбогател,— а потому не мог испытать волшебный ключик, который, как говорят, отпирает все двери, решетки и потайные ходы; тогда я пустил в ход уговоры, хитрости, интриги, лишь бы проникнуть в это недоступное место. Все напрасно!

Можно, конечно, было перелезть через забор. Но это дело серьезное, предусмотренное Уголовным кодексом, и если бы меня схватили во время исследования моего девственного леса и необитаемого или обитаемого дома—кто знает, что там было на самом деле?—я оказался бы в весьма затруднительном положении, убеждая судей, что залез туда из чистого любопытства.

В конце концов я привык проходить мимо этой стены, над которой возвышались огромные деревья,—их ветви нависали над улицей. Вместо того чтобы ускорить шаг, как бывало поначалу, я замедлял ход, несколько раз останавливался и ловил себя на том, что готов обменять, если бы это было возможно, свое любовное свидание на посещение загадочного сада.

Что сад был в самом деле загадочный, вы и сами скоро убедитесь.

Однажды июльским вечером 1826 года, то есть примерно за год до описываемых нами событий, я перед свиданием поужинал в Латинском квартале и около девяти часов уже был на Восточной улице. Я по привычке поднял глаза на таинственный дом и увидел на высоте второго этажа огромную вывеску, на которой крупными черными буквами было написано:

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Я резко остановился, решив, что мне изменяет зрение. Протер глаза: ошибки быть не могло, слова были написаны так, как обыкновенно пишут в объявлении, вывешиваемом на фасаде: «Продается дом».

«Ах, черт!—подумал я.— Вот прекрасный случай, которого я давно искал: не будем его упускать!»

Я устремился к двери и, довольный тем, что теперь мне есть что ответить, если меня спросят, чего я хочу, громко постучал. Никто не ответил.

Я еще раз постучал. Снова ничего. В третий, четвертый, пятый раз я бухал молотком в дверь, однако результат был все тот же.

Я огляделся: за мной наблюдал парикмахер, стоя на пороге своего дома.

— К кому нужно обратиться,—спросил я его,—чтобы осмотреть дом?

— А вы хотите его осмотреть?—удивился он.

— Ну да... Разве он не продается?

— Да, я действительно заметил нынче утром объявление на фасаде, но заberi меня дьявол, если я знаю, кто его повесил!

Читатели понимают, что мнение парикмахера, совпадавшее с моим, не уменьшило, а, напротив, увеличило мое любопытство.

— Можете ли вы мне указать способ, как войти в этот дом и осмотреть его? — не унимался я.

— Ну, попробуйте толкнуться в этот погребок и спросите там.

С этими словами парикмахер указал мне на какое-то углубление, зиявшее на улице, в которое вела лестница в пять или шесть ступеней.

На последней ступеньке меня ждало материальное препятствие — огромный пес, черный как ночь; его с трудом можно было разглядеть в потемках, только глаза и зубы собаки сверкали в темноте, а того, кому они принадлежали, не было видно; он был похож на чудовище, охранявшее вход в пещеру. Пес поднялся, загородив собой проход, и с глухим рычанием повернул морду в мою сторону.

Можно было подумать, что рычанием он подзывает человека... В этой таинственной пещере и жил хозяин удивительного пса!

Всего в трех шагах от меня продолжалась обычная жизнь, я еще ощущал ее у себя за спиной, однако все происходившее поразило мое воображение и мне казалось, что достаточно было спуститься на эти пять ступеней — и я очутился в ином, непохожем на наш мир.

Человек, как и его пес, действительно выглядел необычно. Он был черным с головы до ног, его голову венчала черная шляпа, и в темноте у него, как и у его собаки, тоже поблескивали лишь глаза да зубы. В руке он держал палку.

— Что вам угодно? — подходя ко мне, довольно грубо спросил он.

— Осмотреть дом, который продается, — отвечал я.

— В такой час? — заметил черный человек.

— Я понимаю, что причиняю вам беспокойство... но будьте уверены!..

И я с горделивым видом позвенел в кармане несколькими монетами, единственным своим богатством.

— В такое время не приходят осматривать дом, — процедил черный человек сквозь зубы и покачал головой.

— Вы же сами видите, что приходят, раз я здесь, — возразил я.

Очевидно, мой довод показался незнакомцу вполне убедительным.

— Будь по-вашему, — смирился он, — вы его увидите.

Он пошел в глубь своей пещеры. Признаться, я на мгновение замешкался, не зная, на что решиться, но все-таки отринул сомнения.

Я шагнул в темноту, и сейчас же черный человек уперся мне ладонью в грудь.

— Вход с улицы Анфер, а не отсюда,— сказал он.

— Но ведь парадный вход со стороны Восточной улицы,— заметил я.

— Возможно,— согласился странный господин,— но вы войдете не через парадную дверь.

У черного человека, как и у белого человека, могут быть причуды; я решил с уважением отнестись к фантазиям моего проводника.

Я сделал всего два-три шага и вновь очутился на улице.

Странный господин следовал за мной с посохом в руке, следом шел пес.

В свете фонарей глаза незнакомца зловеще блеснули.

Он хмуро приказал, указывая мне концом палки на улицу Валь-де-Грас:

— Сворачивайте направо.

Незнакомец подозвал пса, тот обнюхал меня с вызывавшей тревогу бесцеремонностью, словно лучший кусок моей плоти должен был непременно ему достаться, когда придет время; человек и собака в последний раз на меня посмотрели, пес отошел, потом и человек и собака пошли влево, я же свернул направо.

Подойдя к решетке, я остановился.

Сквозь прутья я проник взглядом в таинственные глубины сада, который мне наконец-то позволено осмотреть. Зрелище было странное, печальное и вместе с тем восхитительное, мрачно-новое, конечно, но трогавшее до глубины души. Только что взошла луна и ярко сияла на небосводе, от чего верхушки деревьев были словно увенчаны коронами из опалов, жемчуга и брильянтов. Высокая блестящая трава казалась изумрудной, а светлячки, рассыпанные там и сям в лесной чаще, бросали на фиалки, мох и плющ голубоватые отблески. Каждое дуновение ветерка приносило с собой, будто из азиатского леса, тысячи неведомых ароматов, дополнявших очарование картины.

Какое, должно быть, блаженство для поэта, рвущегося из Парижа, в самом сердце города иметь возможность гулять днем и ночью в этом волшебном царстве!

Я был погружен в молчаливое созерцание, как вдруг между мной и соблазнительным садом встала тень.

Это был мой черный человек; он обошел дом и теперь очутился у ворот.

— По-прежнему хотите войти? — спросил он.

— Более чем когда-либо! — воскликнул я.

Он загремел задвижкой, снял железную планку, сматал цепь, гремя железом; это напоминало скрежет, с которым кованые тюремные ворота захлопываются за узником.

Однако это было не все. Когда черный человек проделал все эти операции, свидетельствовавшие о его глубоких познаниях

в слесарном деле, когда он освободил дверь от всех баррикадированных ее приспособлений, когда я уже решил, что она вот-вот распадется, и в нетерпении ухватился обеими руками за прутья, выгнувшись, чтобы заставить ее поскорее повернуться в петлях, оказалось, что ворота не собираются отворяться, несмотря на усилия самого странного господина и лай собаки, невидимой в высокой траве.

Незнакомец сдался первым. Я же был готов упираться хоть до завтрашнего дня!

— Приходите в другой раз,— предложил он мне.

— Почему?

— Перед воротами целая гора земли, надо бы ее расчистить.

— Вот и расчистите!

— Не могу же я заниматься этим сейчас!

— Почему нет? Раз все равно рано или поздно придется делать эту работу, то почему не сию минуту?

— Вы, стало быть, очень торопитесь?

— Завтра я отправляюсь на три месяца в путешествие.

— Тогда, если позволите, я схожу за заступом и лопатой.

И он исчез вместе со своей собакой в густой тени от огромных деревьев.

И действительно, то ли западный ветер нанес к двери за долгие годы облака пыли, которую дождь превратил в месиво, то ли это была просто неровность почвы, но она образовала у ворот со стороны сада холмик высотой в фут восемнадцать дюймов, который, может быть, и не сразу бросался в глаза, так как порос высокой травой, поднимавшейся вдоль решетки.

Скоро черный человек вернулся с заступом. Мое воспаленное воображение рисовало все в преувеличенном виде, и потому незнакомец показался мне рослым галлом, вооруженным фрамой¹, только черный цвет кожи мешал сходству.

Он стал рыть землю, сопровождая каждый удар кирки чем-то вроде протяжного вздоха, который издают пекари, за что их и прозвали «хныкалками».

Это было время, когда Лозв-Веймар только что перевел Гофмана, у меня голова была набита всякими историями вроде «Оливье Брюнона», «Майората», «Житейских воззрений кота Мурра», «Кремонской скрипки». Я был уверен, что попал в настоящий кошмар.

Наконец черный человек остановился и оперся на заступ со словами:

— Теперь дело за вами.

— За мной?

— Да... Толкайте.

Я повиновался и уперся в ворота ногами и руками. Они некоторое время не поддавались, потом наконец словно

¹ Оружие древних франков, напоминавшее копье или дротик. (Примеч. пер.)

решились и внезапно распахнулись, да так стремительно, что черный человек получил удар в лоб и упал в траву.

Пес, вероятно, принял этот несчастный случай за объявление войны: он стал остервенело лаять, вцепившись в землю когтями и собираясь броситься на меня.

Я приготовился к двойному наступлению, не сомневаясь, что, как только незнакомец поднимется, он тоже кинется на меня... Но, к моему великому удивлению, из травы, где лежал мой проводник, разъяренному псу приказали замолчать, человек пробормотал: «Ничего, ничего!» — поднялся и высунулся из травы.

Я говорю «высунулся из травы», и это чистейшая правда. Когда черный человек пошел вперед, приглашая меня последовать за ним, трава доходила нам до подбородка. Почва потрескивала у меня под ногами, словно я ступал по каштанам, вероятно, землю устилал слой мха, опавших листьев и плюща примерно в фут толщиной.

Я собирался было ринуться в чащу, как вдруг мой проводник меня остановил.

— Минутку! — проговорил он.

— Что там еще? — спросил я.

— Мне кажется, следует запереть ворота.

— Ни к чему, мы же скоро пойдем назад.

— Выход не здесь, — отвечал черный человек, бросив на меня угрожающий взгляд, так что я невольно опустил руку в карман, пытаюсь нащупать какое-нибудь оружие.

Естественно, я ничего не нашел.

— Почему же здесь нельзя выйти? — полюбопытствовал я.

— Потому что это вход.

Как бы ни был этот довод туманен, он меня удовлетворил: я решил довести это приключение до конца.

Заперев ворота, мы пустились в путь.

Мне казалось, что я зашел в непроходимый девственный лес, изображенный на гравюре, какую можно увидеть на бульварах: все было на месте, даже поваленное дерево, которое служит мостиком через овраг. Стебли плюща, будто фурии, обвивали подножия деревьев и свисали с ветвей; десятки выющихся растений, разнообразных выюнков переплетались, обнимались, душили друг друга в объятиях, под взглядом луны образуя огромный зеленый гамак.

Если бы фея растений, выйдя вдруг из чашечки цветка или ствола дерева, предложила мне провести остаток дней в этих восхитительных зарослях, вероятно, я бы согласился, ничуть не заботясь тем, что об этом может сказать или подумать другая фея, ожидавшая меня на улице Анфер.

Но не фея вышла из своего зеленого дворца — мой проводник, размахивавший палкой и безжалостно сбивавший направо и налево головки растений, попадавших ему под руку, подвел меня к особенно густым зарослям и грубо приказал:

— Проходите!

Первым пошел пес, за ним — я.

Черный человек следовал за мной, и меня не оставил равнодушным этот новый порядок следования в нашем караване: я представился покупателем, у покупателя есть деньги, а съездить палкой по затылку так просто!

Я оглянулся: заросли за нами уже сомкнулись.

Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня и тянет назад за ворот редингота... Я подумал, что настала решительная минута.

Я обернулся.

— Стойте! — приказал черный человек.

— Почему?

— Вы что, не видите: у вас под ногами колодец!

Я посмотрел в указанном направлении и увидел темный круг на земле; я в самом деле разглядел отверстый колодец, он располагался вровень с землей.

Еще шаг — и я упал бы вниз!

Признаться, на сей раз меня мороз пробрал по коже.

— Колодец? — переспросил я.

— Да, он выходит, кажется, в катакомбы.

Незнакомец подобрал с земли камень и швырнул его в бездну.

Несколько мгновений показались мне вечностью, хотя прошло, может быть, всего десять секунд. Но вот я услышал глухой удар, ему ответило подземное эхо: камень ударил о дно колодца.

— Один человек туда уже упал, — невозмутимо продолжал мой проводник, — и, как вы понимаете, его больше никто никогда не видел... Идемте.

Я обогнул колодец, обойдя его как можно дальше.

Спустя несколько минут я вышел из зарослей цел и невредим, но как только очутился на опушке, кто-то крепко вцепился мне в плечо.

Впрочем, я начинал привыкать к странным ухваткам моего проводника. Еще пять минут назад мы шагали в полной темноте, теперь же нас освещала луна.

— Ну что? — спокойно спросил я.

— Вот дерево, — произнес в ответ черный человек, указывая пальцем на смоковницу.

— Какое еще дерево?

— Смоковница, черт подери!

— Я вижу, что смоковница... И что дальше?

— Вот сук.

— Какой сук?

— На котором он повесился.

— Кто?

— Бедный Жорж.

Я вспомнил историю о повешенном, о котором был отчасти наслышан.

— Ага! А кто был этот бедный Жорж?

— Несчастный мальчик — так его звали.

— Почему же его так звали?

— Потому что он и был несчастным мальчиком.

— Зачем он повесился?

— Он был несчастным мальчиком.

Я понял, что продолжать расспросы бесполезно. Мой необыкновенный проводник постепенно представлял передо мной в истинном свете: это был круглый дурак.

Теперь я схватил его за руку и почувствовал, что он дрожит.

Я снова приступил к нему с вопросами и заметил, что теперь даже голос его дрожит.

Тогда я понял, что его нежелание показать мне ночью сад и дом объясняется страхом.

Оставалось выяснить, почему он носит траур, почему у него черное лицо и черный нос. Я как раз собирался его об этом расспросить, но мой проводник не дал мне раскрыть рта и, словно торопясь поскорее уйти от проклятого дерева, снова устремился в чащу, приговаривая:

— Хватит, хватит, идемте!

Теперь он шел впереди.

Мы снова вошли в лес. Он занимал не больше арпана земли, но деревья были такие толстые и посажены настолько часто, что казалось, будто лес раскинулся на несколько миль.

Что касается жилища, это был типичнейший в своем роде старинный дом: все, что только можно, было разбито, потрескалось, обвалилось. Вы поднимались на крыльцо по лестнице из четырех или пяти ступеней, оттуда попадали в комнату, выходящую на Восточную улицу, тоже по каменной лестнице, но винтовой; ступеньки ее разошлись, и во многих местах зияли щели.

Я собирался подняться, но в третий раз почувствовал, как рука моего проводника тянет меня назад.

— Сударь! Что вы делаете? — остановил он меня.

— Осматриваю дом!

— Поостерегитесь! Дом-то этот еле стоит: чуть посильнее дунешь — он и рухнет.

И действительно, то ли кто-то снаружи дунул слишком сильно — северный ветер, например, — то ли и не нужно было дуть на этот дом, — часть дома в самом деле обвалилась и по сей день лежит в развалинах.

Я не только вернулся с винтовой лестницы, на которую начал было всходить, но на всякий случай спустился и с крыльца.

Мой осмотр был окончен, мне оставалось лишь выйти. Но где же выход?

Похоже, проводник угадал мое желание и горячо его разделял: он живо ко мне обернулся.

— Ну что, хватит с вас? — спросил он.

— А я все видел?

— Абсолютно все.

— Тогда идемте к выходу.

Он отворил небольшую дверь, невидимую в потемках и скрытую сводом; мы очутились на Восточной улице.

Я автоматически шел за своим проводником до самого погребка: мне было любопытно посмотреть, каким образом вернется Какус в свою пещеру.

В наше отсутствие погребок осветился; рядом с входом горела свеча. Внизу у лестницы ждал человек, как две капли воды похожий на моего проводника; я даже подумал, что это его тень: он был черен с головы до ног.

Два негра пошли навстречу один другому и поздоровались за руки, потом заговорили на языке, показавшемся мне незнакомым, но, прислушавшись, я узнал овернский говор.

После того как я напал на след, остальное понять оказалось несложно.

Я имел дело всего-навсего с одним из членов знаменитого братства карбонариев — темнота и воображение все преувеличили и поэтизировали.

Я дал своему проводнику три франка за причиненное беспокойство, он снял шляпу, и по полоске телесного цвета, образовавшейся в том месте, где шляпа натерла ему лоб и сбила угольную пыль, я определил, что предположения мои верны.

Теперь, спустя более двадцати восьми лет после того случая, я извлек это воспоминание на свет и поместил его, может быть не совсем к месту, в этой части нашего повествования; сделал я это затем, чтобы читатель лучше себе представлял место действия.

В этот безлюдный сад на Восточной улице, окружавший одинокий полуразвалившийся дом, мы и просим читателя последовать за нами в ночь на 21 мая 1827 года.

XXXI

Помоги себе сам, и Бог поможет тебе

Итак, в понедельник, 21 мая, в полночь, в лесу, по левую руку, если идти со стороны улицы Анфер, — впрочем, вполне вероятно, что сегодня там пройти невозможно: цепь на воротах приклепали, так нам, во всяком случае, показалось, когда мы проходили в тех местах в последний раз и бросили ретроспективный взгляд на события, театром которых было это место, — по правую руку, если заходить с Восточной улицы, собрались (их привел угольщик, или проводник, или сторож, которого мы уже представили читателям и который был не кто иной, как наш друг Туссен Бунтовщик) двадцать карбонариев в масках, то есть особая вента.

Почему и каким образом эта вента избрала сие место для своих собраний? Объясняется это просто.

Вы помните ту ночь, когда г-н Жакаль, спускаясь по веревке в Говорящий колодец, стал свидетелем тайного собрания карбонариев в катакомбах; вы помните, что после этого г-н Жакаль отправился в Вену и заговор, имевший целью похищение герцога Рейхштадского, провалился.

Агенты проболтались об этом открытии, и о визите г-на Жакаля стало известно заговорщикам.

Визит этот, нарушивший тщательно разработанный план генерала Лебастара де Премона, не очень напугал парижских заговорщиков, как могло показаться на первый взгляд. Если бы в катакомбы спустились хоть десять полков солдат, то и они не смогли бы поймать ни одного карбонария: тысячи тайных подземных ходов вели в надежные убежища. Заметим, кстати, что в нескольких местах катакомбы были заминированы и довольно было одной искры, чтобы все левобережье взлетело на воздух.

Правда, вместе с городом погибли бы и заговорщики, но не так ли умер Самсон?

Впрочем, зачем была эта крайность? Не лучше ли на время оставить катакомбы, рискуя вернуться туда в крайнем случае? Мест для собраний хватало, и если бы в катакомбах стало несподручно собираться, их можно было бы использовать как пути сообщения с домом того из братьев, кто предоставлял свое жилище для сбора.

Так и обстояли дела до тех пор, пока один из братьев, живший на улице Анфер, не заметил однажды, что подвал, через который он проникал всегда в катакомбы, соединялся в восточной части с одним из подвалов пустовавшего дома; но в подвале, пусть даже и безлюдного дома, собираться было небезопасно.

Тогда в погребке прорыли углубление футов в тридцать, потом пробили ход на волю и очутились в лесу. Под земляные стены подвели подпорки во избежание обвалов; в конце этого подземного хода сделали выход, рассчитанный на одного человека, и решили, что до нового приказания вполне можно собираться в этом тихом месте, а если кто-нибудь чужой туда сунется — пустить ему пулю в лоб.

Пусть не удивляется читатель, что мы с такими подробностями описываем это подземелье, желая придать нашему рассказу как можно больше правдоподобия: более пятидесяти домов в том квартале, где разворачиваются события нашего рассказа, имеют такие же подземные ходы, и мы могли бы привести в пример немало подвалов, устроенных на манер театральных подмостков. Спросите хоть славного трактирщика с улицы Сен-Жак по имени Живерн, его заведение находится почти напротив Валь-де-Грас; попросите его показать погреб, рассказать его историю: он пойдет вперед и поведаст на ходу, что этот подземный лаз был когда-то частью сада Кармелиток.

— Зачем же был нужен подземный ход в сад Кармелиток,— спросите вы,— и куда он вел?

Черт побери! В монастырь Кармелиток, расположенный напротив, где теперь Валь-де-Грас! Спросите Живерна.

Пусть же не винят нас в том, что мы воздвигаем на пути люки и подземные ходы там, где нет ни ходов, ни люков. Все левобережье от Нельской башни с подземным ходом до самой Сены и вплоть до Томб-Иссуар, вход в которую — рядом с Монружем, представляет собой сверху донизу один огромный люк; и если в результате современных разрушений открываются тайны верхней части Парижа, то придет, может быть, такой день, когда обитатели левого берега проснутся и ужаснутся, открыв тайны нижней его части.

Но вернемся к нашему ночному собранию.

Собрание это состояло, как мы уже упоминали, из двадцати карбонариев; хотя с 1824 года движение карбонариев потерпело одну за другой несколько неудач, было фактически распущено и по виду перестало существовать, его главные члены реорганизовали тайное общество если не под тем же названием, то на тех же основах.

В эту ночь цель собрания была такая: основать общество, которое спустя некоторое время должно было стать известным под именем: «Помоги себе сам, и Бог поможет тебе». Его основатели намеревались руководить выборами и направлять и просвещать общественное сознание.

Предлагались различные способы образования комитета, который должен был заведовать делами общества: пришли к соглашению учредить комитет на основании выборов раз в три месяца; выборы состоятся, как только число членов общества достигнет ста; договорились также, что общество не будет выходить из рамок законности и обеспечит себе таким образом безопасность.

Тем не менее было недостаточно собираться в Париже и образовывать комитет по руководству выборами, необходимо было проводить просветительскую работу в департаментах, чтобы они не отставали от столицы. Стали обсуждать создание избирательных комитетов в каждом округе и, насколько возможно, в каждом кантоне, а также поддерживать с этими комитетами постоянную связь, чтобы наладить их функционирование.

В этом состояла цель ночного собрания, заложившего вехи восхитительного общества «Помоги себе сам, и Бог поможет тебе», которое должно было значительно повлиять на исход будущих выборов.

Обсуждение затянулось до часа ночи. Вдруг раздался хруст веток и на опушке леса показался человек.

В одно мгновение в руках у заговорщиков засверкали кинжалы, скрывааемые до той поры на груди.

Человек все приближался, это был Туссен, сторож пустовавшего дома, карбонарий, которому поручили охранять не только дом, но и тех, кто в нем собирался.

— В чем дело? — спросил один из главарей общества.

— Пришел брат из дружественного общества, он просит его принять, — доложил Туссен.

— Брат ли это?

— Он подал все положенные условные знаки.

— Откуда он?

— Из Триеста.

— Один?

— Да.

Карбонарии посовещались, сбившись в кружок; Туссен оставался в стороне. Наконец обсуждение закончилось, карбонарии разошлись по местам, и послышался голос одного из них:

— Пригласите брата, но со всеми положенными предосторожностями.

Туссен поклонился и исчез.

Скоро снова затрещали ветки, и между деревьями замелькали две тени.

Карбонарии ждали молча.

Туссен ввел в кружок карбонариев незнакомого брата из другого общества; у того были завязаны глаза. Туссен оставил его и удалился.

Карбонарии сомкнулись вокруг вновь прибывшего.

Потом тот же человек, что отдавал распоряжения Туссену, заговорил снова:

— Кто вы и откуда прибыли? Чего хотите?

— Я генерал, граф Лебастар де Премон, — представился вновь прибывший. — Я только что из Триеста, откуда уехал после провала Венского дела, а в Париж прибыл, чтобы спасти господина Сарранти, моего друга и соучастника.

Среди карбонариев поднялся ропот.

Потом все тот же голос сказал просто:

— Снимайте повязку, генерал, вы среди братьев.

Его сиятельство генерал де Премон снял повязку, и его благородное лицо предстало взглядам собравшихся.

Все сейчас же протянули ему руки, каждый хотел приветствовать его, как бывает во время застолья, когда все хотят чокнуться с тем, кто произнес тост.

Наконец волнение утихло, все снова замолчали.

— Братья! — заговорил генерал. — Вы знаете, кто я. В тысяча восемьсот двенадцатом году Наполеон послал меня в Индию, я должен был там организовать армию в каком-нибудь из королевств так, чтобы она была в состоянии выйти навстречу французам и русским, когда через Каспийское море мы бы вторглись в Непал. Я организовал армию в Лагорском королевстве. Когда Наполеон пал, я подумал, что наш план провалился вместе с ним... Однажды прибыл господин Сарранти. Он приехал ко мне от имени императора, но теперь речь шла не о том, чтобы служить Наполеону Первому, — необходимо было посадить на

трон Наполеона Второго. Я успел лишь завязать кое-какие связи в Европе и уехал в тот же день, как узнал, что все готово. Добирался я через Джеддах, Суэц, Александрию. Я прибыл в Триест, где связался с итальянскими братьями, а потом отправился в Вену... Вы знаете, что наш план не удался... Вернувшись в Триест, я спрятался у одного из наших братьев и там узнал о том, что господин Сарранти приговорен к смертной казни. Я сейчас же отплыл во Францию, рискуя головой и поклявшись, что разделю судьбу друга, то есть умру в случае его казни: мы были соучастниками одного преступления и должны понести одно наказание.

Слушатели встретили его слова глубоким молчанием.

Господин Лебастар де Премон продолжал:

— Один из наших братьев в Италии снабдил меня письмом к одному из французских братьев, господину де Маранду; это было кредитное письмо, а не политическая рекомендация. Господин де Маранд меня принял, я ему открылся и сообщил о цели своего приезда во Францию, о своем решении, о желании связаться с главными членами верховной венты. Господин де Маранд сказал, что собрание должно состояться сегодня, сообщил о месте встречи и указал, как можно проникнуть в этот сад и добратся до вас. Я воспользовался его советами. Не знаю, здесь ли сейчас господин де Маранд; если он среди вас, благодарю его за помощь.

Ни одним движением карбонарии не выдали присутствия г-на де Маранда.

Снова наступила тишина.

Генерал де Премон почувствовал легкий озноб, но продолжал:

— Я знаю, братья, что наши с вами убеждения сходятся не во всем; я знаю, что среди вас есть республиканцы и орлеанисты; но и те, и другие стремятся, как и я, к освобождению страны, славе Франции, чести народа, не так ли, братья?

Собравшиеся кивнули, не проронив ни звука.

— Я знаком с господином Сарранти шесть лет,— проговорил генерал.— Все это время мы были неразлучны: я отвечаю за его храбрость, преданность, добродетель. Словом, я ручаюсь за него как за себя! От своего имени, а также от имени брата, готового заплатить за свою верность головой, я пришел просить вас мне помочь в исполнении того, что одному мне не под силу. Мы должны избавить нашего брата от позорной казни и любой ценой похитить господина Сарранти из тюрьмы, в которую он заключен. Для этого я могу предложить, во-первых, самого себя, а кроме того, состояние, на которое можно целый год содержать войско французского короля... Братья! Вот вам моя рука! Берите мои миллионы и верните мне друга! Я все сказал и жду вашего ответа.

Но горячие слова генерала были встречены молчанием.

Говоривший огляделся. Он почувствовал, как на лбу у него выступил холодный пот.

— Что, черт возьми, происходит? — спросил он.

То же молчание в ответ.

— Может быть, сам того не желая, я предложил нечто неподобающее? — продолжал он. — Не обидел ли я вас? Возможно, вы усматриваете в моей просьбе интерес сугубо личный и полагаете, что перед вами лишь друг, требующий защиты друга?.. Братья! Я проехал пять тысяч лье, чтобы увидеться с вами; я не знаю никого из вас. Мне известно, что и вы, и я любим добро и ненавидим зло. Значит, мы знакомы, хотя никогда раньше не виделись и я говорю с вами впервые в жизни. Во имя вечной справедливости прошу вас избавить от несправедливого и позорного наказания, от ужасной смерти одного из величайших праведников, которых я когда-либо знал!.. Отвечайте же, братья, или я приму ваше молчание за отказ, за одобрение самого несправедливого приговора, который когда-либо звучал в человеческих устах!

Загнанные в угол, заговорщики не могли более отмалчиваться.

Все тот же человек, что говорил все это время от лица собравшихся, поднял руку, давая понять, что снова просит слова, и изрек:

— Братья! Любая просьба брата священна и по нашим законам должна быть поставлена на обсуждение, а потом принята или отклонена большинством голосов. Мы сейчас обсудим просьбу его сиятельства.

Генералу не были в новинку суровые правила; он поклонился, а обступавшие его до этого времени карбонарии отошли в сторону.

Через несколько минут председательствующий подошел к генералу и сказал тем же тоном, что судья, выносящий приговор:

— Генерал! Я выражаю не только свою мысль, но говорю от имени большинства присутствующих здесь членов; я уполномочен передать вам следующее. Цезарь говорил, что на жену Цезаря не должно пасть даже подозрения. Свобода — это матрона, которая должна быть всегда столь же чиста и незапятнанна, как жена Цезаря! Итак, брат, — я сожалею, что вынужден дать вам такой ответ, — даже если бы существовали очевидные, бесспорные доказательства невиновности господина Сарранти, по мнению большинства членов, нам не следовало бы поддерживать предприятие, имеющее целью вырвать из рук закона того, кого этот закон осудил справедливо; поймите меня правильно, генерал, я говорю «справедливо», имея в виду: «когда не доказано обратное»... Поверьте, наши искренние симпатии были на стороне господина Сарранти во все время этого мучительного разбирательства; мы содрогнулись в ту минуту, как должны были услышать вердикт; наши сердца обливались кровью, когда ему

читали смертный приговор... Теперь, генерал, докажите невиновность господина Сарранти — и у вас будет не две руки, а десять, чтобы помочь вашему делу, да что там десять — сто тысяч рук!

Приблизившись к г-ну Лебастару де Премону еще на шаг, он прибавил:

— Генерал! Вы можете доказать, что господин Сарранти невиновен?

— Увы,— повесив голову, приуныл генерал.— Кроме собственного моего убеждения, других доказательств у меня нет!

— В таком случае,— заметил глава карбонариев,— наше решение окончательно.

Поклонившись г-ну Лебастару де Премону, он отошел к группе заговорщиков; те собрались расходиться.

Генерал поднял голову, протянул руку и, предпринимая последнюю попытку, сказал:

— Братья! Это ответ большинства, и я его принимаю. Однако позвольте мне воззвать к отдельным членам. Братья! Есть ли среди вас человек, убежденный, как и я, в невиновности господина Сарранти? Пусть этот человек выйдет сюда, и мы вместе попытаемся сделать то, что я был бы счастлив предпринять с вашей общей помощью.

Говоривший до этого карбонарий обернулся к товарищам.

— Братья! — сказал он.— Если среди вас есть человек, убежденный в невиновности господина Сарранти, он волен присоединиться к генералу и попытаться вместе с ним счастья.

От группы карбонариев отделился один человек. Он подошел к генералу и опустил левую руку на плечо графу де Премону, а правой рукой снял маску.

— Я! — молвил он.

— Сальватор! — воскликнули девятнадцать других заговорщиков.

Это в самом деле был Сальватор. Будучи убежден в невиновности г-на Сарранти, он предложил генералу свою помощь.

Остальные карбонарии потянулись один за другим в терновую аллею, которая вела к входу в подземелье, и исчезли в темноте.

Сальватор остался с графом де Премоном.

XXXII

Что можно и чего нельзя сделать за деньги

Привалившись спиной к дереву, Сальватор с минуту разглядывал генерала Лебастара де Премона. Сам г-н Сарранти, слушая свой смертный приговор, был менее подавлен и бледен, чем генерал, получив такой жестокий ответ от друзей, к которым он, рискуя жизнью, пришел за помощью.

Сальватор подошел к нему.

Генерал подал ему руку.

— Сударь! — заговорил генерал. — Я знаю вас только понаслышке. Ваши друзья произнесли ваше имя вслух, и мне это кажется добрым предзнаменованием. Кто вас называет, поминает Спасителя.

— Это, сударь, в самом деле имя не случайное, — улыбнулся Сальватор.

— Вы знакомы с Сарранти?

— Нет, сударь, но я близкий и, главное, верный друг его сына. Признаюсь, генерал, я страдаю не меньше вашего и потому в деле спасения господина Сарранти я весь к вашим услугам.

— Так вы не разделяете мнения ваших братьев? — обрадовался генерал, воспряв духом от добрых слов Сальватора.

— Послушайте, генерал! — проговорил Сальватор. — Движение масс, почти всегда справедливое, потому что оно инстинктивно, зачастую бывает и слепо, сурово, жестоко. Каждый из этих людей, только что утвердивших смертный приговор господину Сарранти, вынес бы, спроси вы каждого по отдельности, совсем другой приговор, то есть тот, который вынесу я сам. Нет, в глубине души я не верю, что господин Сарранти виновен. Кто тридцать лет рискует головой на поле боя, в смертельных схватках политических партий, тот не способен на подлость и не может быть ничтожным вором и обыкновенным убийцей. Итак, душой я на стороне господина Сарранти.

Генерал пожал Сальватору руку.

— Спасибо, сударь, за ваши слова, — поблагодарил он.

— Однако, — продолжал Сальватор, — с той минуты, как я предложил вам свою помощь, я предоставил себя в ваше распоряжение.

— Что вы хотите сказать? Я волнуюсь.

— Я имею в виду, сударь, что в данном положении недостаточно заявить о невиновности нашего друга, надо это доказать, да так, чтобы никто не мог этого оспорить. В борьбе заговорщиков с правительством, а значит и правительства с заговорщиками, любые средства хороши, а то оружие, которое нередко два порядочных человека отказываются употреблять во время дуэли, жадно подхватывают политические партии.

— Прошу объяснить вашу мысль!

— Правительство жаждет смерти господина Сарранти. Оно хочет, чтобы он умер с позором, потому что позор падает на противников этого правительства и можно будет сказать, что все заговорщики — негодяи, раз они выбрали своим главой человека, который оказался вором и убийцей.

— Так вот почему королевский прокурор отклонил политическое обвинение! — догадался генерал.

— Именно поэтому господин Сарранти так настойчиво пытался взять его на себя.

— И что же?

— Правительство уступит лишь по представлении видимых, осязаемых, явных доказательств. Дело не только в том, чтобы сказать: «Господин Сарранти невиновен в преступлении, которое вменяется ему в вину», надобно сказать: «Вот кто виновен в преступлении, в котором вы обвиняете господина Сарранти».

— А у вас есть эти доказательства? — вскричал генерал. — Вы знаете имя настоящего преступника?

— Доказательств у меня нет, виновный мне неизвестен, — признался Сальватор, — однако...

— Однако?..

— Возможно, я напал на его след.

— Говорите же, говорите! И вы и впрямь будете достойны своего имени!

— Слушайте то, что я не говорил никому, но вам скажу, — подходя к генералу вплотную, произнес Сальватор.

— Говорите, говорите! — прошептал генерал, тоже подвигаясь к Сальватору.

— В доме, принадлежавшем господину Жерару, куда господин Сарранти поступил как наставник; в доме, откуда он бежал девятнадцатого или двадцатого августа тысяча восемьсот двадцатого года — а все дело, возможно, как раз и состоит в том, чтобы установить точную дату его отъезда, — в парке Вири, наконец, я нашел доказательство, что по крайней мере один ребенок был убит.

— Уверены ли вы, что это доказательство не усугубит и без того тяжелое положение нашего друга?

— Сударь! Когда ищешь истину — а мы пытаемся установить истину, не так ли, и если господин Сарранти окажется виновен, мы отвернемся от него, как это сделали все остальные, — любое доказательство имеет большое значение, даже если на первый взгляд кажется, что оно свидетельствует против того, чью невиновность мы хотим установить. Истина несет свет в себе самой; если мы найдем истину, все станет ясно.

— Пусть так... Однако как же вам удалось обнаружить это доказательство?

— Однажды ночью я шел по парку Вири со своим псом по делу, не имеющему касательства к тому, что занимает нас с вами, и нашел в зарослях у подножия дуба, в ямке, которую за остервенением раскопал мой пес, останки ребенка, которого закопали стоя.

— И вы полагаете, что это один из пропавших малышей?

— Это более чем вероятно.

— А другой, другой ребенок? Ведь в деле упоминалось о мальчике и девочке?

— Другого ребенка я, кажется, тоже отыскал.

— Тоже благодаря псу?

— Да.

— Ребенок жив?

— Жив: это девочка.

— Дальше?

— Основываясь на этих двух обстоятельствах, я делаю вывод: если бы я мог действовать свободно, я, возможно, полностью раскрыл бы преступление, что неизбежно навело бы меня на след преступника.

— Эх, если бы вы в самом деле нашли живую девочку! — вскричал генерал.

— Да, живую!

— Ей, вероятно, было лет шесть-семь, когда произошло преступление?

— Да, шесть лет.

— Стало быть, она могла бы вспомнить...

— Она ничего не забыла.

— В таком случае...

— Она помнит слишком хорошо.

— Не понимаю.

— Когда я попытался напомнить несчастной девочке о той ужасной катастрофе, у нее едва не помутился разум. В такие минуты с ней случаются нервные припадки, это может привести к тому, что она лишится рассудка. А чего будет стоить показание ребенка, которого обвинят в сумасшествии и, одним словом, действительно доведут до безумия? О, я все взвесил!

— Ну хорошо, давайте займемся мертвым ребенком, а не живым. Если молчит живой, то, может быть, заговорит мертвый?

— Да, если бы у меня была свобода действий.

— Кто же вам мешает? Ступайте к королевскому прокурору, изложите ему все дело, заставьте правосудие докопаться до истины, к которой вы взываете, и...

— Да, и полиция в одну ночь уберет следы, на которые придет посмотреть на следующий день правосудие. Я же вам сказал, что полиция заинтересована в том, чтобы отвести эти доказательства и потопить господина Сарранти в этом грязном деле о краже и убийстве.

— Тогда продолжайте расследование сами. Давайте продолжим его вместе. Вы говорите, что могли бы найти истину, если бы действовали свободно. Что может вам помешать? Говорите!

— О, это уже совсем другая история, не менее серьезная, страшная и отвратительная, чем дело господина Сарранти.

— Пусть так. Давайте же будем действовать!

— Согласен! По мне, так ничего лучше и не надо, однако прежде...

— Что?

— ...давайте найдем способ свободно осмотреть дом и парк, где преступление или, вернее, преступления были совершены.

— Возможно ли изыскать такое средство?

- Да.
- Какой ценой?
- За деньги.
- Я же сказал, что сказочно богат.
- Да, генерал, но это не все.
- Что еще?
- Немного ловкости и много упорства.

— Я сказал, что ради достижения этой цели готов отдать не только все свое состояние, но предоставить личную помощь и даже пожертвовать жизнью.

— Думаю, мы сумеем договориться, генерал.

Сальватор огляделся и, обратив внимание на то, что луна ярко освещает терновник, под которым они стоят, сказал генералу:

— Давайте отойдем в тень, сударь. Нам предстоит обсудить дело, которое может стоить нам жизни, и не только на эшафоте, но и в чаще леса за углом дома. Ведь сейчас мы выступаем против полиции как заговорщики, а также против подлецов как честные люди.

И Сальватор увлек г-на Лебастара де Премона в такое место, где тень была гуще.

Генерал подождал, пока молодой человек осмотрелся, прислушался к малейшему шороху и, видя, что тот удовлетворен осмотром, спросил:

— Говорите!

— Прежде всего,— продолжал Сальватор,— следовало бы стать полноправными владельцами замка и парка Вири.

— Нет ничего легче.

— То есть?

— Мы их купим.

— К сожалению, генерал, они не продаются.

— Неужели на свете существует что-то такое, что не продается?

— Увы, да, генерал: именно этот дом и этот парк.

— Почему?

— Они служат ширмой, убежищем, укрытием для другого преступления, почти столь же чудовищного, что и то, которое пытаемся раскрыть мы с вами.

— Значит, в этом доме кто-то живет?

— Один могущественный человек.

— По политическому положению?

— Нет, он принадлежит к Церкви, что не менее надежно!

— Как его имя?

— Граф Лоредан де Вальженез.

— Погодите,— остановил его граф и сгреб в руку подбородок,— мне знакомо это имя...

— Вполне возможно, ведь это одно из известнейших имен французской аристократии.

— Если мне не изменяет память,—задумчиво продолжал генерал,—маркиз де Вальженез, тот, которого я знал, был человеком весьма и весьма порядочным.

— Маркиз—да!—воскликнул Сальватор.—Благороднейший и вернейший из всех, кого я когда-либо встречал!

— Вы тоже его знали, сударь?

— Да,—только и ответил Сальватор,—но речь не о нем.

— Верно, о графе... Ну, о нем я не могу сказать того же, что о его брате.

Сальватор молчал, словно не желая обсуждать графа де Вальженеза.

Генерал продолжил:

— Что случилось с маркизом?

— Умер!—ответил Сальватор и горестно уронил голову на грудь.

— Умер?

— Да, генерал... внезапно... в результате апоплексического удара.

— У него был сын... незаконнорожденный, кажется?

— Это так.

— Что с сыном?

— Умер через год после смерти отца.

— Умер... Я знал его ребенком, вот таким малышом,—сказал генерал, показывая рукой, какого роста был мальчик.—Удивительный был ребенок и уже с характером... Умер!.. А как?

— Застрелился,—коротко бросил Сальватор.

— От горя, должно быть?

— Да, вероятно.

— Так вы говорите, замок и парк Вири купил брат маркиза?

— Сын брата, граф Лоредан, и не купил, а снял парк с замком.

— Желаю ему не быть похожим на своего отца.

— Отец—образец чести и неподкупности по сравнению с сыном.

— Не очень-то вы лестного мнения о сыне, дорогой господин Сальватор... Еще один знатный род уходит в небытие,—меланхолично выговорил генерал.—Скоро он обратится в прах и, что еще хуже, запятнает себя позором!

Помолчав, он спросил:

— А зачем господину Лоредану де Вальженезу дом, которым он так дорожит?

— Я же сказал, что в стенах дома кроется преступление!

— Вот поэтому я и спрашиваю: зачем господину де Вальженезу дом?

— Он прячет там похищенную девочку.

— Девочку?

— Да, ей шестнадцать лет.

— Девочка... Шестнадцать лет! — пробормотал генерал. — Как и моя...

Потом, словно спохватившись, спросил:

— Раз вы знаете об этом преступлении или, скорее, раз вам известен преступник, почему вы не выдаете его правосудию?

— Потому что в трудные времена — а мы переживаем именно такое время, генерал, — существуют не только преступления, на которые правосудие закрывает глаза, но и преступники, которых оно берет под свою защиту.

— Ого! — вскричал генерал. — Неужели вся Франция не может подняться, восстать против подобного порядка вещей?

Сальватор усмехнулся:

— Франция ждет удобного случая, генерал.

— Можно, как мне кажется, его поторопить.

— В этом мы с вами непохожи.

— Вернемся к насущным делам. Поскольку Франция не восстанет нарочно для спасения господина Сарранти и надобно, чтоб его спас я... Раз дом не продается, как вы рассчитываете им завладеть?

— Прежде всего, генерал, позвольте мне ввести вас в курс дела.

— Я слушаю.

— Один из моих друзей подобрал около девяти лет назад бездомную девочку. Он ее вырастил, воспитал; девочка превратилась в прелестную шестнадцатилетнюю девушку. Он собирався на ней жениться, как вдруг ее похитили из пансиона, где она жила в Версале, — девушка бесследно исчезла. Я вам уже рассказывал, что случайно попал на след другого преступления, когда нашел с помощью своего пса тело мальчика. Пока я стоял на коленях перед его разрытой могилой и в ужасе ощупывал волосы жертвы, я услышал шаги и увидел, что ко мне приближается чья-то тень. Я взгляделся и при свете луны узнал невесту моего друга, похищенную и бесследно исчезнувшую. Я оставил расследование одного преступления и занялся другим. Я назвал ее и спросил у девушки, почему она не пытается бежать. Она рассказала, как пригрозила похитителю написать и призвать на помощь друзей, даже бежать, но тот раздобыл приказ об аресте Жюстена...

— Кто такой Жюстен? — полюбопытствовал генерал, заинтересовавшись рассказом Сальватора.

— Жюстен — это мой друг, жених похищенной девушки.

— Как граф мог добиться приказа об аресте?

— Жюстену вменили в вину его же доброе дело, генерал. Его обвинили в том, что он похитил девочку. Заботу, которой он окружал ее все девять лет, назвали заточением, а готовившуюся свадьбу — насилием. Возникло подозрение, что девушка из богатой семьи, а Уголовный кодекс предусматривает наказание: ссылка от трех до пяти лет на галеры, смотря по обстоятельствам, для

мужчины, уличенного в заточении несовершеннолетней. Как вы понимаете, генерал, обстоятельства оказались самые что ни на есть отягчающие, и мой друг оказался осужден на пять лет галер за преступление, которого не совершал.

— Невероятно! Невероятно! — воскликнул генерал.

— А разве господина Сарранти не приговорили к смертной казни как вора и убийцу? — холодно возразил Сальватор.

Генерал понурился.

— Ужасные времена, — пробормотал он. — Страшные времена!

— Пришлось набраться терпения... И я не решаюсь продолжать расследование по делу господина Сарранти потому, что, если я призову правосудие в замок и парк Вири, Вальженез решит, что кто-то хочет у него отнять его жертву, и будет слепо мстить Жюстену.

— А можно как-нибудь проникнуть в этот парк?

— Конечно, раз это сделал я.

— Вы хотите сказать, что, если туда пробрались вы, это под силу кому-то еще?

— Жюстен навещает там иногда свою невесту.

— И оба хранят невинность?

— Они оба верят в Бога и неспособны на дурную мысль.

— Допустим, что так. Почему же Жюстен на похитит девушку?

— И куда он ее увезет?

— За пределы Франции.

Сальватор улыбнулся:

— Вы думаете, Жюстен так же богат, как Вальженез? Он бедный школьный учитель, зарабатывает едва ли пять франков в день и на эти деньги содержит мать и сестру.

— Неужели у него нет друзей?

— У него есть два друга, готовые отдать за него жизнь.

— Кто же они?

— Господин Мюллер и я.

— И что?

— Старик Мюллер — учитель музыки, я — простой комиссионер.

— Разве как глава венты вы не располагаете значительными суммами?

— У меня в распоряжении более миллиона.

— Так что же?

— Это не мои деньги, генерал, и даже если на моих глазах будет умирать от голода любимое существо, я не истрочу из этих денег ни гроша.

Генерал протянул Сальватору руку.

— Правильно! — одобрил он.

Потом прибавил:

— Предлагаю сто тысяч франков в распоряжение вашего друга, этого довольно?

— Это вдвое больше, чем нужно, генерал, но...

— ...но что?

— Меня смущает вот что: когда-нибудь родители девушки объявятся.

— И?..

— Если они знатны, богаты, могущественны, не упрекнут ли они Жюстена?

— Человека, подобравшего их дочь, после того как они ее бросили? Воспитавшего ее как родную сестру? Спасшего ее от бесчестья?.. Ну вы и скажете!

— Значит, если бы вы были отцом, генерал, и в ваше отсутствие дочери угрожала опасность, которую сейчас переживает невеста Жюстена, вы простили бы человека, который, будучи вам далеко не ровней, разделил ее судьбу?

— Я не только обнял бы его как супруга своей дочери, но и благословил его как спасителя моей девочки.

— В таком случае все прекрасно, генерал. Если у меня и оставалось сомнение, вы его совершенно рассеяли... Через неделю Жюстен и его невеста уедут из Франции и мы сможем без помех осмотреть замок и парк Вири.

Господин Лебастар де Премон сделал несколько шагов по направлению к опушке, чтобы встать поближе к свету.

Сальватор последовал за ним.

Выйдя на такое место, которое показалось ему подходящим, генерал вынул из кармана небольшую записную книжку, черкнул карандашом несколько слов и протянул листок Сальватору со словами:

— Возьмите, сударь.

— Что это? — поинтересовался тот.

— Что я вам и обещал: чек на сто тысяч франков в банке господина де Маранда.

— Я же вам сказал, что пятидесяти тысяч хватило бы с избытком, генерал.

— Об остальной сумме вы дадите мне отчет. В таком важном деле, как наше с вами, нельзя допустить, чтобы нас остановила какая-нибудь безделица.

Сальватор поклонился.

Генерал с минуту вглядывался в него, потом протянул руку.

— Вашу руку, сударь!

Сальватор схватил руку графа де Премона и крепко ее пожал.

— Я знаком с вами всего час, господин Сальватор, — в волнении произнес генерал, — и не знаю, кто вы такой. Но я многое повидал на своем веку, изучил лица всех типов и цветов и полагаю, что разбираюсь в людях. Смею вас уверить, господин Сальватор: вы представляетесь мне приятнейшим человеком из всех, кого я когда-либо встречал.

Кажется, мы уже говорили, что красивый и честный молодой человек неизменно производил сильное впечатление на окружающих. Он с первого взгляда располагал к себе людей и умел увлечь их за собой: их привлекал его ласковый и выразительный взгляд.

Два только что подружившихся человека еще раз пожали друг другу руки и, направившись в терновую аллею, вскоре спустились в подземелье, через которое часом раньше ушли девятнадцать заговорщиков.

XXXIII

Утро комиссионера

Спустя два дня в семь часов утра Сальватор стучался в дверь к Петрусу.

Молодой художник еще спал, убаюканный сладкими снами, что витают над влюбленными. Он спрыгнул с кровати, отпер дверь и принял Сальватора с распростертыми объятиями, но еще смеженными веками.

— Что нового? — улыбнулся Петрус. — Вы мне принесли какие-нибудь новости или опять пришли оказать услугу?

— Наоборот, дорогой Петрус, — возразил Сальватор, — я пришел просить вашей помощи.

— Говорите, мой друг, — протянув ему руку, сказал Петрус. — Но я хочу оказать вам серьезную услугу. Вы же знаете, я только и жду случая прыгнуть ради вас в огонь.

— Я никогда в этом не сомневался, Петрус... Дело вот в чем. У меня был паспорт, я отдал его около месяца тому назад Доминику, который отправлялся в Италию и боялся, что его арестуют, если он будет путешествовать под своим именем. Сегодня ради одного большого дела, о котором я вам как-нибудь расскажу, уезжает Жюстен...

— Уезжает?

— Нынче или завтра ночью.

— Надеюсь, с ним все в порядке? — спросил Петрус.

— Нет, напротив. Но он должен уехать так, чтобы никто об этом не знал, а для этого ему, как и Доминику, необходимо уехать под чужим именем. Он всего на два года старше вас, описания примет схожи... Вы можете дать свой паспорт Жюстену?

— Я в отчаянии, дорогой Сальватор, — отвечал Петрус. — Вы же знаете, с какой приятной целью я сижу в Париже уже полгода. У меня есть только старый римский паспорт, уже год как просроченный.

— Дьявольщина! — выругался Сальватор. — Вот досада! Жюстен не может пойти за паспортом в полицию: это привлекло бы к нему внимание... Пойду к Жану Роберу... Хотя он на целую голову выше Жюстена!

— Погодите-ка...
— Вы возвращаете меня к жизни.
— Жюстен отправляется в какую-то определенную страну?
— Нет, ему важно уехать из Франции.
— Тогда я смогу ему помочь.
— Каким образом?
— Я дам ему паспорт Людовика.
— Паспорт Людовика? Как же он оказался у вас?
— Да очень просто. Он ездил в Голландию и вернулся третьего дня. Он брал у меня небольшой чемодан и оставил в кармашке паспорт.

— А что если Людовику понадобится вернуться в Голландию?

— Это маловероятно. Но в таком случае он скажет, что потерял паспорт, и закажет другой.

— Хорошо.

Петрус подошел к сундуку и вынул бумагу.

— Вот вам паспорт,—сказал он.—Счастливого путешествия Жюстену!

— Спасибо.

Молодые люди пожали друг другу руки и расстались.

Пройдя Восточную улицу, Сальватор зашагал по аллее Обсерватуар, потом по улице Анфер со стороны заставы и, подойдя к приюту Анфан-Труве, поискал глазами дом каретника.

Хозяин стоял на пороге, Сальватор хлопнул его по плечу.

Каретник обернулся, узнал молодого человека и приветствовал его дружески и вместе с тем почтительно.

— Мне нужно с вами поговорить, мэтр,—молвил Сальватор.

— Со мной?

— Да.

— Всегда к вашим услугам, господин Сальватор! Не угодно ли войти?

Сальватор кивнул, и они вошли в дом.

Пройдя магазинчик, Сальватор вошел во двор и в глубине под огромным навесом обнаружил нечто вроде прогулочной коляски; очевидно, он о ней знал, потому что подошел прямо к ней.

— Вот это мне и нужно,—сказал он.

— Отличная коляска, господин Сальватор! Превосходная коляска! И отдам я ее недорого, по случаю.

— А надежная она?

— Господин Сальватор, я за нее ручаюсь. Можете объехать на ней хоть всю землю и привезти сюда: я заберу ее у вас с разницей в двести франков.

Не слушая похвалы, которыми как всякий торговец, расхваливающий свой товар, каретник осыпал свою коляску, Сальватор взял экипаж за дышло с той же легкостью, словно это была

детская коляска, вывез ее во двор и стал тщательно осматривать с видом знатока.

Она показалась Сальватору подходящей, за исключением некоторых мелких недостатков, на которые он указал каретнику, и тот обещал, что к вечеру все исправит. Славный каретник сказал правду: коляска была хороша и, что особенно важно, очень надежна.

Сальватор сторговался на шестистах франков; он условился с каретником, что вечером к половине седьмого коляска, запряженная парой отличных почтовых лошадей, будет стоять на внешнем бульваре между заставой Крульбарб и Итальянскими воротами.

С оплатой же все было просто. Сальватор, плативший только когда все его приказы точно исполнялись, назначил каретнику встречу через день утром (очевидно, следующий день у Сальватора был занят), и каретник, зная его за надежного партнера, как говорится на языке деловых людей, счел вполне приемлемым предоставить ему кредит на сорок восемь часов.

Сальватор покинул каретника, пошел вниз по улице Анфер, свернул на улицу Бурб (сегодня она носит название Пор-Руаяль) и подошел к низкой двери напротив приюта Матерните.

Там жили плотник Жан Бычье Сердце и мадемуазель Фифина, его любовница и повелительница.

Сальватору не пришлось спрашивать у сторожа, дома ли плотник: едва он ступил на лестницу, как услышал рев, свидетельствовавший о том, что человек, окрестивший Бартеlemi Лелонга Бычьим Сердцем, правильно выбрал прозвище.

Крики мадемуазель Фифины, врезавшиеся пронзительными нотами в его речитатив, доказывали, что Жан Бычье Сердце исполнял не соло, а пьесу на два голоса. Мелодия рвалась через дверь на волю и катилась по лестнице, долетая до слуха Сальватора и словно направляя его шаги.

Когда Сальватор дошел до пятого этажа, его буквально захлестнула эта мелодия. Он вошел без стука, так как дверь была не заперта предусмотрительной мадемуазель Фифиной, непременно оставлявшей пути к отступлению перед бушующим великаном.

Ступив за порог, Сальватор увидел, что противники стоят друг против друга: мадемуазель Фифина, с рассыпавшимися волосами и бледная как смерть, грозила Жану Бычье Сердце кулаком, а тот, побагровев от ненависти, рвал на себе волосы.

— У, проклятый! — выла мадемуазель Фифина! — Ах ты, дурачина! Ах, недотепа! Ты, значит, думал, что девочка от тебя?

— Фифина! — возопил Жан Бычье Сердце. — Не выводи меня из себя, не то худо будет.

— Нет, она не от тебя, а от него.

— Фифина! Я оболью вас обоих раствором и сотру в пыль!

— Ты?! — угрожающе ревела Фифина. — Только попробуй!.. Ты?! Ты?! Ты?!

И с каждым «ты» она все ближе подбиралась к Жану, а тот постепенно отступал.

— Это ты-то? — закончила она, вцепившись ему в бороду и тряся его, словно яблоню, в ожидании, пока с нее посыплются плоды. — Попробуй только меня тронуть, трус! Тронь-ка, ну, ничтожество! Негодяй!

Жан Бычье Сердце занес было руку... Он мог бы одним ударом свалить быка, а уж снести мадемуазель Фифине башку ему и вовсе ничего не стоило. Однако рука его так и застыла в воздухе.

— В чем дело? — резко спросил Сальватор.

При звуке его голоса Жан Бычье Сердце побледнел, а Фифина стала пунцовой: она выпустила плотника и обернулась к Сальватору.

— В чем дело-то? — переспросила она. — Вовремя вы пришли! Помогите мне, господин Сальватор!.. В чем дело? Это чудовище чуть меня не убил, как обычно.

Жан Бычье Сердце уже поверил было, что он в самом деле побил мадемуазель Фифину.

— Меня можно извинить, господин Сальватор, посудите сами: она меня изводит!

— Ничего! Пострадаешь в этой жизни, зато на том свете будет легче!

— Господин Сальватор! — закричал Жан Бычье Сердце, и в его голосе зазвенели слезы. — Она же говорит, что моя девочка, моя любимая доченька, похожая на меня как две капли воды, не от меня!

— Раз девочка на тебя похожа, почему ты веришь мадемуазель Фифине?

— Да не верю я, в этом-то ее счастье, не то давно бы взял девчонку за ноги и разбил бы ей голову об стену!

— Только попробуй, злодей! Попробуй! То-то будет радости, когда ты взойдешь на эшафот!

— Слышите, господин Сальватор?.. Для нее это радость, как она говорит.

— Ну еще бы!

— Пусть так, пусть я поднимусь на эшафот, — взвыл Бартеlemi Лелонг. — Но сначала укокошу господина Фафиу. Ведь она, господин Сальватор, выбрала себе такого мужика, что его соплей перешибешь! Не могу же я бить этого мозгляка, придется его прирезать!

— Слышите? Это же убийца!

Сальватор все слышал; не стоит и говорить, что он относился к угрозам Жана Бычье Сердце так, как они того заслуживали.

— Почему всякий раз, как я к вам захожу, вы деретесь или ругаетесь? — удивился Сальватор. — Вы плохо кончите, мадему-

азель Фифина, уж вы мне поверьте. Получите вы когда-нибудь так, что и охнуть не успеете!

— Ну, уж во всяком случае, не от этого ничтожества! — взвыла мадемуазель Фифина, скрипнув зубами от злости и поднеся к носу Бартелеми кулак.

— Почему не от него? — удивился Сальватор.

— Я решила его бросить, — заявила мадемуазель Фифина.

Жан Бычье Сердце подпрыгнул, словно его ударило током.

— Ты меня бросишь? — вскричал он. — И это после того, что я от тебя терпел, тысяча чертей?! Никуда ты от меня не денешься, будь уверена, или я тебя найду хоть на краю света и задущу собственными руками!

— Слышите, слышите, господин Сальватор? Если я подам на его в суд, надеюсь, вы выступите свидетелем.

— Замолчите, Бартелеми, — ласково проговорил Сальватор. — Хоть Фифина так и говорит, в глубине души она вас любит.

Строго взглянув на молодую женщину, словно змеелов на гадюку, он прибавил:

— Должна вас любить, во всяком случае. Что бы она ни говорила, вы все-таки отец ее ребенка.

Женщина съежилась под угрожающим взглядом Сальватора и ласково, как ни в чем не бывало молвила:

— Конечно, я его люблю, хотя он бьет меня смертным боем... Как я, по-вашему, могу быть ласковой с мужчиной, который грозит да ругается?

Жана Бычье Сердце тронули слова возлюбленной.

— Права ты, Фифина, — со слезами на глазах признал он, — я скотина, дикарь, турок! Но это выше моих сил, Фифина, ничего не могу с собой поделаться!.. Когда ты говоришь мне об этом бандите Фафиу, когда грозишь отнять мою девочку и бросить меня, я теряю голову и помню только одно: что могу свалить кулаком быка. Тогда я поднимаю руку и говорю: «Кто хочет отведать? Подходите!»... Прости, Фифиночка! Ты же знаешь, что я так себя веду, потому что обожаю тебя!.. И потом, что такое два-три удара в жизни женщины?

Мы не знаем, сочла ли мадемуазель Фифина этот довод убедительным, но повела себя именно так: она величаво протянула Бартелеми Лелонгу ручку, и тот стремительно поднес ее к губам, словно собирался съесть.

— Ну и хорошо! — молвил Сальватор. — А теперь, когда мир восстановлен, поговорим о другом.

— Да, — кивнула мадемуазель Фифина, ее наигранный гнев окончательно улегся, тогда как Жан Бычье Сердце, взволновавшись не на шутку, еще кипел в душе. — Вы поговорите, а я пока схожу за молоком.

Мадемуазель Фифина в самом деле сняла с гвоздя бидон и продолжала елейным голосом, обращаясь к Сальватору:

— Вы выпьете с нами кофе, господин Сальватор?

— Спасибо, мадемуазель,— отвечал Сальватор.— Я уже пил кофе.

Мадемуазель Фифина всплеснула руками, словно хотела сказать: «Какое несчастье!»— после чего пошла вниз по лестнице, напевая арию из водевиля.

— У нее превосходное сердце, господин Сальватор,— вздохнул Бартелеми,— и я очень сержусь на себя за то, что не могу сделать ее счастливой! Но в жизни так бывает: или вы ревнивы, или нет. Я ревнив как тигр, но в том не моя вина.

Силач тяжело вздохнул, мысленно он упрекал себя и боготворил мадемуазель Фифину.

Сальватор наблюдал за ним с восхищением, смешанным с горечью.

— Теперь,— сказал он,— поговорим с глазу на глаз, Бартелеми Лелонг.

— Я весь к вашим услугам, господин Сальватор, телом и душой,— отвечал плотник.

— Знаю, знаю, дружище. Если вы перенесете на своих товарищей немного дружеских чувств и в особенности снисходительности, которую питаете ко мне, то мне от этого хуже не станет, а вот другим будет гораздо лучше.

— Ах, господин Сальватор, вы не можете сказать мне больше, чем я сам.

— Хорошо, вы все это себе скажете, когда я уйду. А мне нужны вы на сегодняшний вечер.

— Сегодня, завтра, послезавтра! Приказывайте, господин Сальватор.

— Услуга, о которой я вас прошу, Жан Бычье Сердце, может задержать вас вне Парижа... возможно, на двадцать четыре часа... может, на сорок восемь часов... а то и больше.

— На всю неделю! Идет, господин Сальватор?

— Спасибо... На стройке сейчас много работы?

— На сегодня и завтра — порядочно.

— В таком случае, Бартелеми, я забираю свои слова назад. Я не хочу, чтобы вы потеряли дневной заработок и подвели хозяина.

— А я не потеряю заработок, господин Сальватор.

— Как это?

— Я сделаю всю работу сегодня.

— Наверное, это непросто.

— Непросто? Да что вы, ерунда!

— Как можно за один день сделать то, что намечено на два?

— Хозяин предложил мне заплатить вчетверо больше, если я выполню работу за двоих, потому что, скажу без ложной скромности, работать я умею... Ну и вот... Сегодня я буду работать за двоих, а заплатят мне как обычно, зато я буду полезен человеку, ради которого готов броситься в огонь. Вот!

- Спасибо, Бартелеми, я согласен.
- Что нужно делать?
- Вы поедете нынче вечером в Шатийон.
- А там?..
- Харчевня «Божья милость».
- Знаю. В котором часу?
- В девять.
- Я непременно буду, господин Сальватор.
- Подождите меня... только не пейте!
- Ни глотка, господин Сальватор.
- Обещаете?
- Клянусь!

Плотник поднял руку, словно клялся в суде, даже, может быть, еще торжественнее.

Сальватор продолжал:

— Возьмите с собой Туссена Бунтовщика, если он сегодня свободен.

— Хорошо, господин Сальватор.

— Тогда прощайте! До вечера!

— До вечера, господин Сальватор.

— Вы точно не хотите выпить с нами кофе?—спросила Фифина, появляясь в дверях с горшочком сливок в руках.

— Спасибо, мадемуазель,—отказался Сальватор.

Молодой человек направился к выходу, а мадемуазель Фифина тем временем подошла к плотнику и, поглаживая ему подбородок, который совсем недавно она едва не лишила растительности, проворковала:

— Выпейте кофейку, дорогой! Поцелуйте свою Фифиночку и не сердитесь!

Жан Бычье Сердце заблеял от счастья и, едва не задушив Фифину в объятиях, выбежал за Сальватором на лестницу.

— Ах, господин Сальватор!—вскричал он.— Вы совершенно правы: я—грубиян и не стою такой женщины!

Не говоря ни слова, Сальватор пожал мозолистую руку славного плотника, кивнул ему и пошел вниз.

Четверть часа спустя он уже стучал в дверь Жюстена.

Отворила ему сестрица Целеста: она подметала классную комнату, а Жюстен стоял у окна и очинял ученикам перья.

— Здравствуйте, сестрица,—весело приветствовал тщедушную девушку Сальватор и протянул ей руку.

— Здравствуйте, добрый вестник!—улыбнулась в ответ Целеста; она однажды слышала, как мать назвала этим именем молодого человека в память о его появлении в их Ковчеге, куда он всегда с тех пор приносил оливковую ветвь, и продолжала его так называть.

— Тсс!—шепнул Сальватор, приложив палец к губам.— Мне кажется, я принес брату Жюстену добрую весть.

— Как всегда,—кивнула Целеста.

— Что? — очнувшись от задумчивости, спросил Жюстен, узнав голос Сальватора.

Он выбежал на порог классной.

Сестрица Целеста поднялась к себе.

— В чем дело? — спросил Жюстен.

— Есть новости, — отозвался Сальватор.

— Новости?

— Да, и немало.

— О Господи! — так и задрожал молодой человек.

— Если вы с самого начала дрожите, что с вами будет в конце? — усмехнулся Сальватор.

— Говорите, друг мой, говорите!

Сальватор положил руку на плечо друга.

— Жюстен, — продолжал он, — если бы кто-нибудь вам сказал: «С сегодняшнего дня Мина свободна и может быть вашей, но чтобы ее не потерять, вы должны все бросить: семью, друзей, отечество!» — что бы вы ответили?

— Друг мой! Я ничего не ответил бы: я бы умер от счастья!

— Вот уж для этого время неподходящее... Итак, продолжим. Если вам скажут: «Мина свободна, но при условии, что вы с ней уедете без промедления, без сожалений, без оглядки»?

Несчастный Жюстен уронил голову на грудь и печально проговорил в ответ:

— Я бы никуда не поехал, друг мой... Вы же знаете: я не могу ехать.

— Продолжим, — сказал Сальватор. — Не исключено, что этому горю можно помочь.

— Боже мой! — вскричал Жюстен, простирая к небу руки.

— Чего больше всего на свете хотят ваши мать и сестра? — продолжал Сальватор.

— Они бы хотели окончить свои дни в родной деревне, на родной земле.

— Завтра они могут туда вернуться, Жюстен, — предложил Сальватор.

— Дорогой Сальватор! Что вы такое говорите?

— Говорю, что неподалеку от фермы, которой вы когда-то владели, или в ее окрестностях есть, должно быть, какой-нибудь уютный домик с черепичной или соломенной крышей; он так красиво смотрится на фоне закатного неба сквозь деревья, покачивающиеся от легкого ветерка, и ветер завивает дымок, поднимающийся над крышей!

— О, да там не один такой домик!

— А сколько может стоить такой дом с небольшим садом?

— Откуда мне знать?.. Три-четыре тысячи франков, может быть.

Сальватор вынул из кармана четыре банковских билета.

Жюстен не знал, что и думать.

— Четыре тысячи франков, — машинально отметил он.

— Сколько денег им понадобится в год, чтобы жить прилично в этом доме? — продолжал Сальватор.

— Благодаря экономии сестры и непритязательности матери они могли бы прожить на пятьсот франков и даже меньше.

— Ваша мать больна, дорогой Жюстен, а у сестры слабое здоровье: пусть будет не пятьсот, а тысяча франков.

— Тысячи франков более чем достаточно!

— Вот десять тысяч франков на десять лет, — сказал Сальватор, присовокупив десять банковских билетов к первым четырем.

— Друг мой! — вскричал Жюстен, задыхаясь от счастья и хватая Сальватора за руку.

— Прибавим тысячу франков на переезд, — продолжал тот, — итого: пятнадцать тысяч. Отложите эти деньги, они принадлежат вашей матери.

Жюстен растерялся от радости.

— Теперь, — проговорил Сальватор, — перейдем к вам.

— Как — ко мне? — задрожал Жюстен.

— Ну конечно, раз мы покончили с вопросом о вашей матери.

— Говорите, Сальватор! Говорите скорее! Мне кажется, я сойду с ума!

— Дорогой Жюстен! Нынче ночью мы похитим Мину.

— Нынче ночью... Мину... Похитим Мину?! — вскричал Жюстен.

— Если, конечно, вы ничего не имеете против.

— Я — против?! Куда же я ее увезу?

— В Голландию.

— В Голландию?

— Вы останетесь там на год, на два, на десять, если будет нужно, до тех пор, пока не изменится настоящий порядок вещей; тогда вы сможете вернуться во Францию.

— Чтобы жить в Голландии, нужны средства.

— Это более чем справедливо, мой друг. Мы прикинем, сколько денег вам может понадобиться.

Жюстен схватился за голову.

— Считайте сами, дорогой Сальватор! — вскричал он. — Я не в себе и не понимаю ни одного вашего слова!

— Ну-ну, — непреклонно продолжал Сальватор, отводя руки Жюстена от его лица, — будьте мужчиной. В минуты процветания не теряйте присутствия духа, не оставлявшего вас в дни несчастий.

Жюстен сделал над собой усилие: его дрожащие мускулы расслабились, он остановил сосредоточенный взгляд на Сальваторе и поднес платок к взмокшему от пота лбу.

— Говорите, друг мой, — попросил он.

— Подсчитайте, сколько вам потребуется, чтобы прожить за границей с Миной.

— С Миной?.. Но Мина не жена мне, следовательно, мы не можем жить вместе.

— Узнаю вас, мой добрый, славный, честный Жюстен! — улынулся Сальватор.— Нет, вы не сможете жить с Миной, пока она вам не стала женой, а Мина не сможет быть вашей женой, пока мы не найдем ее отца и тот не даст своего согласия.

— А если он никогда не найдется?!..— в отчаянии вскричал Жюстен.

— Друг мой! — заметил Сальватор.— Вам вздумалось усомниться в Провидении.

— А если он умер?

— Если он умер, мы констатируем его смерть, и, поскольку Мина будет зависеть только от себя, она станет вашей женой.

— Ах, дорогой Сальватор!

— Вернемся к нашему делу.

— Да, да, вернемся!

— Если Мина не может стать вашей, пока не найдется ее отец, она должна находиться в пансионе.

— Друг мой! Вспомните, что случилось в Версальском пансионе.

— За границей все будет иначе, нежели во Франции. Вы, кстати, устройте так, чтобы можно было навещать ее ежедневно, и снимете квартиру напротив пансиона.

— Думаю, со всеми этими предосторожностями...

— Во сколько вы оцениваете пансион и содержание Миной?

— Думаю, в Голландии тысяча франков за пансион...

— Тысяча за пансион?

— ...и пятьсот на содержание...

— Положим тысячу...

— Как это — положим тысячу?

— ...что составит две тысячи франков в год для Миной. Совершеннолетней она станет через пять лет: вот вам десять тысяч франков.

— Друг мой, я ничего не понимаю.

— К счастью, вам ничего понимать и не надо... Теперь поговорим о вас.

— Обо мне?

— Да. Сколько вам нужно в год?

— Мне? Ничего! Я проживу на уроки музыки и французского языка.

— Которые вы найдете через год, а то и вовсе не найдете.

— Ну что же, на шестьсот франков в год...

— Положим тысячу двести.

— Тысячу дести в год... на меня одного? Друг мой, я буду чересчур богат!

— Тем лучше. Лишнее раздадите нищим, Жюстен! Нищие есть везде. Пять лет по тысяче двести франков — итого ровно шесть тысяч. Вот они.

— Кто же дал все эти деньги, Сальватор?

— Провидение, в котором вы совсем недавно усомнились, когда сказали, что Мина не найдет отца.

— Как я вам благодарен!

— Не меня нужно благодарить, дорогой Жюстен; вы же знаете, что я беден.

— Значит, этим счастьем я обязан незнакомцу?

— Незнакомцу? Нет.

— Стало быть, иноземцу?

— Не совсем.

— Друг мой! Могу ли я принять от него тридцать одну тысячу франков?

— Да,— с упреком произнес Сальватор,— потому что предлагаю их я.

— Вы правы, простите... Тысячу раз простите! — воскликнул Жюстен, пожимая Сальватору обе руки.

— Итак, нынешней ночью...

— Нынешней ночью?..— повторил Жюстен.

— ...мы похитим Мину, и вы уедете.

— Ах, Сальватор! — вскричал Жюстен, и сердце его наполнилось радостью, а глаза — слезами.

И, словно в комнату бедного школьного учителя снизошел ангел-хранитель, он молитвенно сложил руки и долго не сводил с Сальватора взгляда; он был знаком с комиссионером не больше трех месяцев, но тот позволил ему вкусить несказанные радости, которые Жюстен тщетно требовал у Провидения вот уже девятнадцать лет!

— Кстати,— вдруг спохватился Жюстен,— а как же паспорт?

— На этот счет не беспокойтесь, друг мой: вот вам паспорт Людовика. Вы с ним одного роста, у вас почти одного цвета волосы, а остальное значения не имеет: за исключением волос и роста, все описания примет одинаковы, и, если только вы не нарветесь на границе на жандарма-колориста, вам опасаться нечего.

— Значит, мне осталось подумать только об экипаже?

— Запряженная коляска будет ждать вас нынче вечером в пятидесяти шагах от заставы Крульбарб.

— Так вы позаботились обо всем?

— Надеюсь, что так,— улыбнулся Сальватор.

— Кроме моих несчастных учеников,— проговорил Жюстен и встряхнул головой, словно пытаясь отделаться от угрызений совести.

В эту минуту послышались три удара в дверь.

— Не знаю почему,— заметил Сальватор,— но мне кажется, что пришел тот, кто готов ответить на ваш вопрос.

Дело в том, что со своего места Сальватор увидел, как через двор шагает старик Мюллер.

Жюстен отворил дверь и вскрикнул от радости, узнав старого школьного товарища самого Вебера; прогулявшись по внешним бульварам, старый учитель решил навестить Жюстена.

Ему изложили суть дела, и когда г-н Мюллер выразил радость по поводу происходящего, Сальватор сказал:

— Есть одно обстоятельство, которое не позволяет Жюстену почувствовать себя счастливым в полной мере, дорогой господин Мюллер.

— Какое же, господин Сальватор?

— Он задается вопросом: кто заменит его в классе?

— А я на что? — просто сказал добряк Мюллер.

— Разве я не сказал, дорогой Жюстен, что человек, стучащий в вашу дверь, ответит на ваш вопрос?..

Жюстен бросился обнимать г-на Мюллера и крепко его расцеловал.

Они договорились, что в тот же день г-н Мюллер встретит учеников, так как Жюстен не в состоянии думать о занятиях.

В каникулы школьникам объявят, что отсутствие Жюстена затягивается на неопределенное время, и родители, у которых будет впереди весь сентябрь, должны подыскать своим детям другого учителя.

Сальватор удалился, поручив г-ну Мюллеру провести уроки, а Жюстену — подготовить г-жу Корби и сестрицу Целесту к скорому изменению в их жизни в такую минуту, когда они меньше всего об этом думали. Сальватор торопливо зашагал вниз по улице Сен-Жак, а ровно в девять растянулся на солнышке на своем обычном месте на улице О-Фер рядом с кабачком «Золотая ракушка», где мы видели, как папаша Фрикасе выставил невероятный счет своему верному другу Костылю.

Как видели читатели, Сальватор неплохо начал день; из следующей главы мы узнаем, как этот день закончился.

XXXIV

Вечер комиссионера

Вечером в назначенное время дорожная коляска, приведенная каретником в полный порядок, остановилась в пятидесяти шагах от заставы Крульбарб.

Форейтор, гнавший во весь дух и прибывший за десять минут до условленного часа, решил было, что его разыграли, когда увидел, что люди, заставившие его поторопиться, не собираются являться на встречу.

Однако спустя несколько минут, заметив двух молодых людей, державшихся под руку и подходивших быстрым шагом, форейтор, который уже успел спешиться, снова вскочил в седло и застыл, не поворачивая головы, словно каменный.

Сальватор и Жюстен подошли к коляске; впереди трусил Роланд, и хотя друзья шагали быстро, пес их опережал. Сальватор распахнул дверцу, разложил подножку и сказал Жюстену:

— Садитесь!

Услышав это слово, фореитор обернулся, словно от электрического удара, и, разглядев, кто его произнес, порозовел от удовольствия.

Неторопливо приподняв шляпу, он почтительно кивнул Сальватору.

— Здравствуй, приятель! — улыбнулся Сальватор, подавая фореитору свою изящную аристократическую руку. — Как поживает твой славный папаша?

— Как в сказке, господин Сальватор! — отвечал фореитор. — И если бы он знал, что в путешествие отправляетесь вы, он приехал бы сам, несмотря на семидесятитрехлетний возраст.

— Хорошо. Я навещу его на днях. Он по-прежнему живет в Бастилии?

— Черт побери! — горделиво отвечивал фореитор. — Кому же еще там и жить, как не ему?

— Да, ты прав, — согласился Сальватор. — Это так естественно, если победитель живет в том месте, которое он захватил.

Поднявшись вслед за Жюстеном, который уже устроился в экипаже, он обратился к псу:

— Ты сядешь, Роланд?

Тот помотал кудлатой головой.

— Нет? — продолжал Сальватор. — Предпочитаешь бежать за каретой? Ну, как хочешь.

— Куда едем, господин Сальватор? — спросил фореитор.

— Дорога на Фонтенбло... Тсс! Сразу видно, плохо ты меня знаешь.

— Я, конечно, не настаиваю, господин Сальватор, поскольку во всем этом кроется какая-то тайна, но, может, вы скажете мне по дружбе, куда едем?

— Тебе, Бернар, я готов открыть любую тайну... Я собираюсь в Кур-де-Франс.

— И долго вы там пробудете?

— Всю ночь.

— Отлично! Шпионить за вами никто не будет, за это я ручаюсь.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего особенного, уж это мое дело, господин Сальватор. Положитесь на меня! Ехать надобно быстро?

— Нет, Бернар, не быстрее, чем обычно; мы должны приехать в Кур-де-Франс к десяти часам.

— Тогда поедem потихоньку, трусцой... Эх, не так бы я хотел вас прокатить, господин Сальватор.

— А как, любезный?

— Как возил я императора в пятнадцатом году: пять лье в час.

Потом шепотом прибавил:

— А вы случайно не наш император, господин Сальватор? Когда бы вы призвали: «К оружию!» — разве все вам не подчинились бы? А если вы скажете: «Вперед!» — все пойдут за вами, так?

— Ну, Бернар, ты скажешь тоже! — рассмеялся Сальватор.

— Тсс! Тише!.. Ба! Да разве друзья наших друзей не наши друзья? Раз этот господин здесь с вами, он, стало быть, вам друг.

И Бернар подал масонский знак.

— Да, дружище, ты прав: я ваш, — кивнул Жюстен, — и могу оказаться здесь в тот день, когда, как ты только что сказал, надо будет взяться за оружие и пойти вперед!

— Как видите, господин Сальватор, все идет хорошо! Нам остается запеть:

Сыны отечества! Впервые
Свободы нашей пробил час¹.

Напевая припев национального гимна, фореитор огрел лошадей кнутом.

Экипаж тронулся с места, подняв облако пыли; она вспыхнула в золотых лучах закатного солнца, и коляска приобрела на мгновение сходство с золотой колесницей, спустившейся с неба на землю.

Мы не станем передавать разговор двух друзей, в то время как вокруг них постепенно сгущалась темнота. Как, очевидно, понимают читатели, основной темой их разговора была надежда. Еще четыре часа, три, два — и они достигнут вершины блаженства, которую уже давно наблюдали сквозь густые облака и черную мглу.

Госпожа Корби и сестрица Целеста с восторгом встретили готовившееся событие. Они были добрыми христианками и надеялись, что Господь не оставит Жюстена в минуту опасности. Вынужденная разлука была только временной; они надеялись вскоре снова сойтись у семейного очага, чтобы никогда больше не расставаться.

Все складывалось к лучшему, и в надвигавшемся изменении положения всем чудились лишь надежда и несказанное счастье да невероятные радости.

Коляска остановилась в Вильжюиф, лошадей переменили и снова пустились в путь.

Сальватор высунулся из окна, потом взглянул на часы: было половина десятого.

Через час друзья увидели очертания фонтанов Кур-де-Франс или, если называть их правильно, фонтаны Жювизи — пышные, украшенные трофеями и гениями на пьедесталах, образцы типичной архитектуры времен Людовика XV, то есть середины XVIII века.

Фореитор остановился, спешил и распахнул дверцу.

¹ Стихи в переводе Ю. Денисова.

— Приехали, господин Сальватор,— доложил он.
— Как! Это ты, Бернар?
— Да, это я!
— Ты проехал с нами два перегона?
— Ну конечно!
— Я думал, это запрещено.
— Разве для вас может быть что-нибудь запрещено, господин Сальватор?

— Я все-таки не понимаю...
— Дело было так. Я подумал: господин Сальватор готовит нечто важное, ему нужен человек, который глух и слеп, но может быть полезным вместе со своей парой рук. Такой человек — я! И в Вильжюифе я сделал вот что: сказал Пьеру Ланглуе, кому был черед выезжать: «Пьер, дружище, этот Жак Бернар обожает фонтаны Кур-де-Франс, и неспроста: уступи ему свое место, пусть он шепнет пару слов своей подружке, а когда вернется, вы с ним разопьете бутылочку. Идет?» «Договорились!» — согласился Ланглуе. Мы ударили по рукам, и вот я здесь. Теперь скажите, господин Сальватор, разве я был не прав? Вот он я перед вами. Пусть я проеду на пять лье больше положенного: от меня не убудет... Ведь я правильно сделал? Приказывайте! И если даже я за это получу по физиономии, то молча оботру кровь и слова не скажу.

Сальватор протянул Жаку Бернару руку.

— Друг мой,— сказал он.— Не думаю, что ты мне нынче понадобится. Но можешь не сомневаться: как только представится случай прибегнуть к твоей помощи, я не премину это сделать.

— Это точно, господин Сальватор?
— Точно.
— Идет!.. А теперь что от меня требуется?
— Садись в седло, проедешь не меньше ста пятидесяти футов.

— А потом что?

— Остановишься.

Бернар вскочил на лошадь, проехал сто пятьдесят футов, затем спешился и отворил дверцу.

Сальватор ступил на землю и направился к придорожной канаве.

В двадцати шагах от него поднялся человек и сосчитал до четырех. Сальватор сосчитал до восьми и пошел ему навстречу.

Незнакомцем оказался генерал Лебастар де Премон.

Сальватор подвел генерала к карете, где тот занял место, потом поднялся вслед за ним и приказал Бернару:

— В Шатийон!

— В какое место в Шатийоне, учитель?

— В харчевню «Божья милость».

— Знаю... Ну, держитесь!

И, огрев кнутом лошадей, Жак Бернар покатиł по дороге на Шатийон. А десять минут спустя коляска уже остановилась, покачиваясь на осях, перед харчевней «Божья милость».

Пока ехали, Сальватор представил Жюстена генералу; но если генерал знал от Сальватора, кто такой Жюстен, то школьный учитель ничего не слышал о генерале, в том числе и об оказанной им Жюстену услуге.

Как мы уже сказали, экипаж остановился у харчевни «Божья милость».

Именно там Сальватор назначил встречу Жану Бычье Сердце и Туссену Бунтовщику.

Двое наших могиكان уже были на месте, и — странное дело! — хотя они провели здесь около часа, стоявшая перед ними бутылка оставалась непочатой. Можно было поначалу подумать, что это уже вторая бутылка... Впрочем, стаканы оставались столь же прозрачны, будто только что вышли из мануфактуры.

Оба заговорщика встали, едва завидев Сальватора; он вышел из коляски один и один вошел в харчевню.

Оглянувшись, Сальватор заметил лишь двух своих знакомцев; они сидели в сторонке, подальше от посторонних глаз.

Жан Бычье Сердце понял, что занимает комиссионера.

— О, можете говорить свободно, господин Сальватор, — успокоил он его. — Никто нас не слушает.

— Да, — подхватил Туссен Бунтовщик. — Мы ждем только ваших указаний.

— Указания будут такие: вы можете мне понадобиться нынче ночью...

— Тем лучше! — обрадовался Жан Бычье Сердце.

— Вполне вероятно, что я справлюсь без вас...

— Тем хуже! — огорчился Туссен Бунтовщик.

— В любом случае я беру вас с собой.

— Мы к вашим услугам.

— Вы даже не спрашиваете, куда я вас везу?

— А зачем? Вы же знаете: мы готовы следовать за вами хоть к самому черту, — молвил Бартелеми Лелонг.

— И что дальше? — уточнил Туссен Бунтовщик.

— Потом я вас оставляю, где вам и положено оставаться, и, заклиная вас, не показывайтесь, пока я не скажу: «Ко мне!»

— А если вам будет что-нибудь угрожать, господин Сальватор?

— Это мое дело.

— Скажете тоже!

— Дайте слово, что не выйдете, прежде чем не услышите: «Ко мне!»

— Что же делать?! Придется пообещать...

— Ваше слово!

— Клянусь именем Бартелеми Лелонга!

— Честное слово Туссена Бунтовщика!

— Хорошо. Бартелеми! Сунь эти веревки в карман. А ты, Туссен, положи к себе вот этот платок.

— Готово дело!

— Теперь вот что: вам знаком парк Вири?

— Мне — нет, — признался Туссен.

— А я его знаю, — обрадовался Жан Бычье Сердце.

— Если один из вас двоих знает, этого достаточно.

— Что мы должны делать?

— Ступайте через поле и, когда заметите высокий белокаменный забор, проходящий под углом от дороги, остановитесь и спрячьтесь неподалеку. Я найду вас сам.

— Понятно, — в один голос отозвались Жан Бычье Сердце и Туссен Бунтовщик.

— До скорого свидания!

— До встречи, господин Сальватор.

Оба могикинина вышли.

Сальватор вернулся к генералу Лебастару де Премону и Жюстену, которых, как мы сказали, он оставил в экипаже.

Они продолжали путь по Шатийонской дороге и выехали наконец на главную дорогу в Фонтенбло в том самом месте, где идущая под уклон дорога выходит на мост Годо, а оттуда — в замок Вири.

У Сальватора был натренированный глаз, и он увидел, как в сумерках мелькнули две тени; это были Бартелеми Лелонг и Туссен Бунтовщик.

Карета покатилась под уклон, выехала на мост Годо, и оттуда стала видна белая каменная стена, напоминавшая в ночи молочную реку, катившую волны через равнину.

Путешественники вышли из кареты, оставив ее под деревьями на краю дороги, словно нарочно для этого случая образовавшими огромный навес. Жаку Бернару было приказано молчать, и он был горд тем, что хоть так причастен к готовившемуся таинственному событию.

Поставив экипаж в надежное укрытие, Сальватор в сопровождении Жюстена, а потом генерала не пошел проселочной дорогой на Вири, а ступил на тропинку, подводившую к каменному забору.

Из-за туч выглянула *per amica silentia* луна, как сказал бы Вергилий, вестница последней весенней или, вернее, первой летней ночи. Воздух был теплый, небо облачное, и каждую минуту та же луна, что, как мы сказали, дарила путникам *свое дружественное молчание*, играла с ними, словно расшалившееся дитя, в прятки, скрывалась за темные облака, потом снова появлялась и опять исчезала.

Так все трое подошли к уже знакомой нам решетке, потом приняли вправо и вышли к тому месту в стене, где обычно перелезал Жюстен. Там генералу объяснили, что ему надлежит предпринять. Сальватор прислонился спиной к стене и подставил

руки. Жюстен, подавая пример, полез первым и прыгнул по другую сторону забора с ловкостью, свидетельствовавшей о том, что это упражнение для него привычное. Генерал последовал за ним; хотя генерал был старше Жюстена на пятнадцать лет, он не уступал в ловкости и легкости.

Думая, что пришел его черед, Роланд изготавился к прыжку, как вдруг хозяин его остановил. Тот не забыл двух приятелей, которые вышли раньше, но отстали благодаря удали Жака Бернара. Сальватор решил их дожидаться и встал на углу.

Пять минут спустя он заметил Жана Бычье Сердце и Туссена Бунтовщика: их тени замаячили вдаль, неумолимо надвигаясь, словно то были великаны. Появление их казалось тем более невероятным, что шагов не было слышно.

Они приблизились к Сальватору, и только тогда он увидел, что они идут босиком.

— Великолепно! — шепотом похвалил он. — А я вас ждал.

— Здесь мы! — доложили оба вновь прибывших.

— Следуйте за мной.

Плотник и угольщик повиновались.

Подойдя все к тому же месту в стене, где перелезли Жюстен и генерал, Сальватор остановился.

— Это здесь, — сообщил он.

— Ага! — промолвил Жан Бычье Сердце. — Надо перемахнуть через этот забор, так?

— Вот именно. Сейчас мы вам покажем, как это делается, дружище Жан, — пообещал Сальватор. — Ко мне, Роланд!

Пес подбежал к хозяину и вспрыгнул передними лапами на стену.

Сальватор приподнял собаку на высоту стены: пес зацепился когтями за верхушку и, оттолкнувшись задними лапами, прыгнул в парк. Сальватор подпрыгнул, ухватился рукой за стену и, подтянувшись, сел верхом на каменный гребешок.

— Теперь ваша очередь! — сказал он.

Двое приятелей окинули взглядом возвышавшееся перед ними препятствие.

— Дьявольщина! — выругался Жан Бычье Сердце.

— Как?! Ты, плотник, мастер мастеров и всеобщий учитель, спасуешь?..

— Если Туссен Бунтовщик не боится, что я раздавлю его в лепешку, и подставит мне руки, — отвечал Жан Бычье Сердце, — я бы, пожалуй, мог взобраться.

— Я-то не боюсь! — заметил Туссен Бунтовщик.

— Предупреждаю: я вешу сто пятьдесят килограммов, Туссен, — проговорил Бартеlemi Лелонг.

— Это чуть больше, чем два мешка угля, — заметил Туссен, — а мне и по три приходилось поднимать. А вот как я сам перелезу?

— Дай только мне залезть и больше ни о чем можешь не беспокоиться.

— Ну давай поднимайся! — предложил Туссен.

Угольщик помог Жану Бычье Сердце, как за четверть часа до этого Сальватор помог Жюстену и генералу.

Через несколько секунд Жан уже сидел на гребешке стены против Сальватора. И было самое время! Как бы мало времени ни заняло восхождение, Туссен начал сгибаться под тяжестью гиганта.

— Готово! — бросил Жан.

Он вынул из кармана веревку и завязал на конце петлю.

— Держись-ка, — приказал он Туссену, да покрепче!

Туссен ухватился за веревку.

— Держишься? — спросил Жан Бычье Сердце.

— Да.

— Крепко?

— Не беспокойся.

— Ну, поднимаю!

И, подтянув одной рукой веревку, другой он схватил Туссена за воротник бархатной куртки и, словно ребенка, посадил рядом с собой на гребень стены.

Туссен хотел было ухватиться руками за стену.

— О, это ни к чему, — остановил его Жан Бычье Сердце.

Он подхватил угольщика под ноги, перенес его через стену и, вернув его снова в вертикальное положение, опустил в парк.

Он приготовился последовать за ним.

— Теперь моя очередь!

Но Сальватор положил руку ему на колено, будто прося тишины.

— Слушай-ка! — сказал он.

— В чем дело?

— Тсс!

Издалека доносился топот лошадиных копыт.

Он становился все ближе.

Затем раздалось ржание.

Подавал ли это голос скакавший галопом конь или заржала одна из лошадей, запряженных в коляску? Сальватор не мог это определить, потому что тень всадника возникла в это время недалеко от того места, где был спрятан экипаж.

Всадник стремительно приближался.

— Ложись, Жан! Прыгай! — приказал Сальватор.

Жан Бычье Сердце тяжело перевалился через стену.

Как это было однажды, Сальватор повис на руках, уцепившись за гребень стены и высунувшись поверх забора так, что его не было видно.

Всадник проехал мимо, завернувшись в плащ.

Но Сальватор узнал в нем Лоредана де Вальженеза.

— Это он! — выдохнул Сальватор.

И он бесшумно прыгнул на землю, а Роланд глухо зарычал.

— В путь! — приказал Сальватор. — Времени терять нельзя, если только мы уже не опоздали.

Сальватор поспешил через парк, два человека последовали за ним.

XXXV

Ночь комиссионера

Где находились Жюстен и Мина? Вот в чем заключался вопрос.

В те дни, когда Мина ждала Жюстена, она держалась неподалеку от скамейки, где впервые Сальватор увидел девушку. Но еще ни разу Жюстен не являлся без предупреждения: расставаясь, молодые люди договаривались о следующей встрече.

Сальватор побежал в сторону замка. Генерал, спустившийся вместе с Жюстеном, последовал раньше за школьным учителем.

Когда мы говорим, что Сальватор «побежал», мы ошибаемся: невозможно было передвигаться бегом в этом парке, где все поросло колючками, крапивой, высокой травой, где, как казалось, давно не ступала нога человека, — парк чем-то напоминал девственный лес на улице Анфер.

Роланд с глухим ворчанием тянул в ту сторону, где находилась могила мальчика, но Сальватор, прокладывая себе в зарослях путь, сдерживал пса.

Они вышли на берег пруда.

Там Жан Бычье Сердце и Туссен Бунтовщик остановились.

Сальватор огляделся, пытаясь сообразить, что их смутило.

— Уфф! Это же статуи! — облегченно вздохнул Туссен.

Двоих друзей в самом деле заставили замереть на месте мифологические божества; казалось, они колышутся в неясном свете луны, сходят с пьедестала и вот-вот побегут навстречу похитителям, вторгшимся в их владения.

Зато Роланд сейчас же узнал пруд и хотел броситься в воду, но Сальватор его остановил.

— Потом, потом, Роланд, — вполголоса пообещал он. — Сегодня у нас другие дела.

С того места, где они находились, были видны окна старого фасада. Ни в одном окне света не было.

Сальватор насторожился; ему почудилось — в стороне, противоположной той, куда он направлялся, — он узнаёт голос Жюстена: молодой человек звал Мину.

— Какая неосмотрительность! — заметил Сальватор. — Правда, он не знает...

Он поспешил на голос, приказав двум приятелям:

— Возвращайтесь туда, откуда мы идем, и, что бы ни случилось, как мы и договорились, не двигайтесь, пока я вас не позову.

Жан и Туссен сориентировались и вернулись той же дорогой, что пришли к пруду.

Сальватор с Роландом обогнули пруд, выбирая, где потемнее, то есть прошли берегом, поросшим лесом.

Роланд бежал впереди: можно было подумать, что он угадывает мысли хозяина.

Собака и человек вошли в одну из поперечных аллей, когда Жюстен и Мина бросились друг другу в объятия.

Первым, кого заметила Мина, обводя взглядом окрестности, был генерал де Премон. Она вскрикнула от страха.

— Ничего не бойся, дорогая,— успокоил ее Жюстен.— Это друг!

С другой стороны показались в это время Сальватор и Роланд.

— Тревога! Тревога! — предупредил Сальватор.— Нельзя терять ни минуты.

— Что там такое? — испуганно спросила Мина.

— Мы вас похищаем, дорогая Мина.

— Мина?.. — пробормотал генерал.— Так зовут мою дочь!

И он пошел вперед, протягивая Мине руки.

Но Сальватор не дал ему времени обменяться с девушкой ни словом.

— Мы должны действовать тихо и скоро! — сказал он.— Вы обо всем переговорите в карете. У вас двое суток впереди!

Помогая Жюстену, он увлек девушку к тому месту в стене, где надо было через нее перелезть.

— Вперед, Жюстен! — приказал Сальватор.

— А как же Мина?.. — спросил тот.

— Вперед! — повторил Сальватор.— Говорю вам, что у нас нет времени.

Жюстен подчинился.

— Прощайте, господин Сальватор! Прощайте, мой добрый друг! — прошептала девушка, подставляя молодому человеку белый лоб для поцелуя.

— Прощайте, сестра, прощайте! — молвил Сальватор и поцеловал девушку в лоб.

— Я тоже! — проговорил генерал.— Дайте мне вас поцеловать, дитя мое!

Губы генерала коснулись ее лба в том же месте, что и губы Сальватора, потом он простер руку над головой Мины.

— Будь счастлива, девочка моя! — со слезами в голосе произнес он.— Тебя благословляет отец, пятнадцать лет не видевший свою дочь!.. Про...щай!..

— Скорей, скорей, — поторопил их Сальватор.— Сейчас каждая минута на счету!

— Я жду, — напомнил Жюстен, сидя верхом на гребне стены.

— Отлично! — похвалил Сальватор.

Он одним прыжком очутился рядом.

— А теперь,— обратился Сальватор к генералу, посадите девушку.

Генерал поднял Мину, как Кротон из Милона поднял бы агнца, и, держа на вытянутых руках, приблизился к каменному забору. Молодые люди обхватили ее с обеих сторон за талию, а генерал подставил руку ей под ноги и подталкивал снизу.

Когда Мина очутилась на гребне стены, Сальватор приказал:

— Прыгайте, Жюстен!

Жюстен прыгнул на тропинку.

— Подойдите к забору,— продолжал Сальватор.— Упритесь головой и руками в стену... Вот так!

Он обернулся к Мине.

— Дитя мое! — прибавил он, поднимая девушку и переворачивая в воздухе лицом к стене.— Встаньте Жюстену на плечи.

Девушка исполнила то, что он нее требовалось.

— Присядьте, Жюстен.

Тот повиновался.

— Еще немного!

Жюстен присел ниже.

— Теперь на колени!

Жюстен опустил на колени.

— Теперь,— сказал Сальватор, выпуская руки Мины,— вы спасены.

— Не совсем! — послышался чей-то голос.

Вслед за тем раздался выстрел.

Мина, находившаяся в это мгновение в двух футах от земли, прыгнула в траву.

Девушка узнала голос г-на де Вальженеза и вскрикнула.

— Бегите! Счастливого пути! — крикнул Сальватор и прыгнул в парк.

Генерал уже бросился в ту сторону, откуда полыхнул выстрел.

— Назад, генерал! — проговорил Сальватор, с силой отталкивая г-на Лебастара де Премона, чтобы самому пройти вперед.— Это мое дело!

Генерал посторонился.

Сальватор поспешил к тому месту, откуда донесся выстрел, и столкнулся лицом к лицу с г-ном де Вальженезом.

— Ага! В первый раз я не попал! — вскричал тот.— Но сейчас я не промахнусь!

И он опустил ствол пистолета, почти касаясь им груди Сальватора.

Еще секунда — и молодой человек упал бы замертво, но в это мгновение пес, словно тигр, бросился на графа и вцепился ему в горло: Роланд пришел на помощь хозяину.

В прыжке пес задел руку графа, и пистолет выстрелил в воздух.

— Дорогой господин Лоредан!— обратился к графу Сальватор.— Знаете ли вы, что едва не застрелили своего кузена?

Тот не выдержал схватки с Роландом и упал навзничь, а падая, выронил пистолет.

Роланд не выпускал его горла.

— Сударь,— прохрипел граф, отбиваясь,— вы хотите, чтобы меня задушила ваша собака?

— Роланд!— крикнул Сальватор.— Сюда... ко мне!

Пес против воли выпустил графа и, ворча, сел у его ног.

Лоредан поднялся на одно колено и вынул из кармана стилет. Но он не успел пустить его в ход: справа от него вырос Жан Бычье Сердце, слева — Туссен Бунтовщик.

Когда Сальватор, обращаясь к Роланду, крикнул: «Сюда, ко мне!» — двое приятелей решили, что это условный сигнал, и прибежали на помощь. Читатели помнят, что Сальватор приказал им прийти на помощь, когда он крикнет: «Ко мне!»

Жан Бычье Сердце увидел, как при свете луны в руке у Лоредана сверкнуло оружие, он схватил эту руку повыше запястья так, что кость хрустнула.

— Ну-ка бросьте игрушку,— прикрикнул он.— Она вам не понадобится, милейший!

И он сжал руку сильнее.

Хватка у плотника была железная: он сжал запястье графа, словно в тисках. Г-н де Вальженез закричал, словно его пытали; пальцы разжались сами собой, и стилет упал к его ногам.

— Подними-ка его, Туссен,— сказал Бартеlemi Лелонг.— Он нам еще пригодится: будем выколачивать им наши трубки.

Туссен наклонился и подобрал стилет.

— А теперь,— продолжал Жан Бычье Сердце, обращаясь к Сальватору,— что прикажете сделать с его сиятельством, хозяин?

— Завяжите ему рот платком, свяжите его по рукам и ногам,— не теряя хладнокровия, отвечал Сальватор.

Туссен Бунтовщик вынул из кармана платок, а Жан Бычье Сердце — веревки.

Во время этих приготовлений Жану пришлось выпустить руку графа; тот в надежде ускользнуть воспользовался минутной свободой и отскочил в сторону с криком:

— На помощь!

Но прямо перед ним вырос генерал, который до той минуты стоял неподвижно и молча наблюдал за происходящим.

— Сударь!— молвил генерал, приставляя Лоредану ко лбу пистолет.— Даю вам слово чести: если вы сделаете хоть одно движение, если попытаетесь бежать или позвать на помощь, я прострелю вам голову, будто бешеной собаке.

— Я, значит, имею дело с бандой разбойников?— спросил г-н де Вальженез.

— Вы имеете дело,—отозвался Сальватор,—с честными людьми, поклявшимися вырвать у вас из рук девушку, которую вы бессовестно похитили.

Он подал знак Туссену и Жану.

— Давайте платок и веревки!—приказал он.—Только завяжите платок так, чтобы преступник не задохнулся, а веревки затяните настолько, чтобы он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Я сейчас вернусь.

— Вам нужна моя помощь, сударь?—спросил генерал.

— Нет, оставайтесь здесь и присмотрите за тем, как все будет исполнено.

Генерал кивнул, и Сальватор исчез.

Туссен с поразительным проворством завязал платком рот графу, а Жан обмотал его с головы до ног веревкой и привязал ее конец к платку.

Скрестив на груди руки, г-н Лебастар де Премон наблюдал за ними.

Через десять минут они слышали конский топот, заглушаемый травой в аллее; появился Сальватор, ведя под уздцы графскую лошадь, а в другой руке неся железные щипцы.

— Все готово, хозяин,—доложил Жан Бычье Сердце,—и сделано на совесть, за это я отвечаю.

— Не сомневаюсь, Жан,—улыбнулся Сальватор.—А теперь, пока мы усадим господина на лошадь, возьми клещи и отопри ворота.

У лошади были и повод, и узда; уздечку сняли и тонким кожаным ремешком привязали графа де Вальженеза к лошади.

— Вот так!—удовлетворенно проговорил Сальватор.—А теперь в путь!

Туссен взял лошадь под уздцы, и все двинулись к воротам.

Жан Бычье Сердце с засовом в руке, словно швейцар, стоял у распахнутых ворот.

Сальватор подошел к нему.

— Знаешь хижину на берегу?—осведомился он.

— Это где мы собирались две недели назад?

— Совершенно верно.

— Как свои пять пальцев, господин Сальватор.

— Вот туда вы и доставите графа в целости и сохранности.

— Там есть кровать: ему будет удобно.

— Не спускайте с него глаз.

— Понял!

— В шкафу найдете мясо, хлеб и вино на два дня.

— На два дня... Стало быть, мы продержим его там два дня?

— Да... Если он проголодается или захочет пить, вы развяжете платок, освободите ему руки: пусть поест и попьет.

— Это правильно, всякий жить хочет.

— Глупая поговорка, Жан. А как же негодяи?

— Так ежели вам угодно, чтоб он не жил, господин Сальватор...— промолвил Жан Бычье Сердце и провел ногтем большого пальца по горлу,— вы только скажите одно слово, ведь вы же меня знаете.

— Несчастный!— вскричал Сальватор и против воли улыбнулся при мысли о том, что этот человек готов слепо ему повиноваться.

— Вы не это имели в виду? Ну и не будем больше об этом говорить,— согласился Жан.

Сальватор двинулся было к группе, состоявшей из связанного молодого человека на лошади, Туссена и генерала.

Жан Бычье Сердце его остановил.

— Кстати сказать, господин Сальватор...— начал он.

— Что такое?

— Когда его отпустить?

— Послезавтра в это же время. И позаботьтесь не только о пленнике, но и о лошади.

— Больше даже о лошади, господин Сальватор,— покачал головой Жан Бычье Сердце.— Ведь человек наверняка стоит меньше коня!

— В полночь оседланная лошадь должна стоять возле хижины; один из вас перережет веревки, другой отворит дверь; вы отпустите пленника и пожелаете ему счастливого пути.

— Нам возвращаться в Париж?

— Да, возвращайтесь; и ты, Жан Бычье Сердце, отправишься на работу, словно ничего не произошло, и Туссену скажи, чтобы поступил так же.

— Всё?

— Все.

— Работенка не пыльная, господин Сальватор!

— И честная, дорогой Бартелеми. Совесть твоя может быть спокойна.

— Раз уж к этому приложили свою руку вы, господин Сальватор...

— Спасибо, славный мой!

— Ну, в путь, ваше сиятельство!— молвил Жан Бычье Сердце.

— Пошла, лошадка!— причмокнул Туссен Бунтовщик, одной рукой поглаживая лошадь, а другой ведя ее за удила.

Жан Бычье Сердце пошел с другой стороны; двое приятелей отправились к хижине на берегу, сопровождая г-на де Вальженеза.

Со стороны, в свете луны г-н де Вальженез, привязанный к лошади, напоминал Мазепу.

— А теперь, генерал,— сказал Сальватор,— закроем ворота и займемся господином Сарранти.

С помощью генерала Сальватор в самом деле запер ворота, потом кликнул Роланда— тот исчез, словно непреодолимая сила тянула его к скамейке в парке.

Сальватор позвал пса в другой раз, голосом еще более властным, назвав его не Роландом, а Бразилом.

Собака с воем вышла из чащи; было очевидно, что ей помешали в исполнении самого горячего желания.

— Да,— пробормотал Сальватор,— я знаю, чего ты хочешь, дорогой Бразил. Не волнуйся, мы туда еще вернемся... Назад, Бразил, назад!

Генерал словно не слышал разговор Сальватора с собакой; он наклонил голову и автоматически следовал за молодым человеком, не произнося ни слова.

Когда они миновали дуб и скамью, привлекавшие внимание Бразила, Сальватор свернул в аллею, которая вела к замку, и тоже пошел молча.

Через несколько шагов тишину нарушил генерал.

— Вы не поверите, господин Сальватор,— сказал он,— какое волнение меня охватило при виде этой девочки.

— Девушка прелестна, это верно,— согласился Сальватор.

— У меня должна быть дочь тех же лет... если только она жива.

— Вы не знаете, что с нею случилось?

— Когда я уезжал из Франции, я поручил ее славным людям, у которых еще спрошу отчет, как только смогу сделать это открыто. Когда придет время, мы еще поговорим на эту тему, господин Сальватор.

Тот кивнул.

— Меня особенно взволновало,— продолжал генерал,— когда вы называли ее Миной.

— Так зовут эту девочку.

— Мою дочку тоже так звали,— прошептал генерал.— Я бы хотел, чтобы моя Мина оказалась столь же красивой и чистой, как ваша, дорогой господин Сальватор.

Повесив голову, генерал умолк, вынужденный замолчать под влиянием тех же чувств, которые заставили его заговорить.

Оба некоторое время молчали, поглощенные своими мыслями.

Теперь первым заговорил Сальватор.

— Меня сейчас беспокоит одно,— признался он.

— Что именно? — машинально спросил генерал.

— В этом замке жили всего три человека: Мина, господин де Вальженез и нечто вроде гувернантки.

— Мина! — повторил генерал, словно находя удовольствие в том, чтобы повторять это имя.

— Мина уехала с Жюстеном, господин де Вальженез в руках Жана и Туссена, и они его не выпустят, за это я ручаюсь. Остается гувернантка.

— Что же? — заинтересовался генерал, понимая, что Сальватор подводит его к делу, которое сейчас занимало их обоих, иными словами — к оправданию г-на Сарранти.

— Если она не спала, то, должно быть, слышала выстрелы, а если так, она, верно, убежала куда глаза глядят.

— Давайте ее поищем,— предложил генерал.

— К счастью,— продолжал Сальватор,— у нас есть Бразил, он-то и поможет нам ее отыскать.

— Кто такой Бразил?

— Мой пес.

— Я думал, его зовут Роланд.

— Кличка его в самом деле Роланд, но у моего пса, как и у меня самого, два имени: одно — для всех, и оно соответствует его настоящей жизни; другое знаю только я, оно досталось ему из жизни прошлой; надобно вам заметить, что у Роланда жизнь не менее бурная и почти такая же таинственная, как у меня.

— Вот бы когда-нибудь узнать вашу тайну, сударь...— проговорил г-н де Премон.

Он замолчал, понимая, что настойчивость с его стороны может быть истолкована как нескромность.

— Возможно, когда-нибудь так и будет, генерал,— отвечал Сальватор,— пока же надо бы раскрыть тайны, связанные с жизнью Бразила.

— Это не так просто,— заметил генерал.— И хотя я говорю на восьми языках, я не возьмусь служить вам переводчиком.

— О, мы с Бразилом и так отлично друг друга понимаем, генерал; сейчас вы убедитесь в этом сами... Вы видели, каким беззаботным он может быть, верно? Обратите внимание, как он оживляется по мере приближения к замку. А ведь там свет не горит, никакие звуки оттуда не доносятся... Взгляните сами: нигде ни свечки, а Бразил весь так и напрягся.

В самом деле, подходя к безмолвному и неосвещенному дому, Бразил насторожился, словно приготовившись к схватке.

— Видите, генерал?— сказал Сальватор.— Помяните мое слово: если гувернантка еще в замке, в погребе или на чердаке, мы ее отыщем, как бы старательно она ни пряталась. Войдемте, генерал!

Проникнуть в дом было несложно: выйдя прогуляться в парк, Мина оставила дверь незапертой, но, как мы уже сказали, дом освещался лишь снаружи: он был едва различим в свете луны.

Сальватор вынул из кармана фонарик и зажег его.

Посреди передней Бразил завертелся волчком, словно исследуя предметы и ориентируясь на месте, потом вдруг, решившись на что-то, ткнулся мордой в низкую дверь, которая, по видимому, вела в комнаты.

Сальватор отворил эту дверь.

Бразил устремился в темный коридор; в конце коридора скатился по небольшой лесенке в восемь ступеней, потом в погреб и взвыл так страшно, что вздрогнули и Сальватор, и генерал, хотя их-то напугать было не очень просто.

— Что там такое, Бразил? — спросил Сальватор. — Не здесь ли случайно Розочку?..

Пес, казалось, понял вопрос хозяина; он бросился вон из погребка.

— Куда это он? — спросил генерал.

— Не знаю, — пожал плечами Сальватор.

— Не пойти ли нам следом за ним?

— Нет. Если бы он хотел, чтобы мы пошли с ним, он повернул бы ко мне морду в знак того, что я должен идти. Раз он этого не сделал, значит, будем ждать его здесь.

Ждать им пришлось недолго.

Пока оба они рассматривали дверь, низкое окошко разлетелось вдребезги и Бразил упал между ними с налитыми кровью глазами и вывалив на сторону язык. Потом несколько раз обежал погреб, словно искал, кого бы разорвать.

— Розочка, да? — спросил Сальватор у собаки. — Розочка?

Бразил яростно взвыл.

— Здесь пытались убить Розочку, — догадался Сальватор.

— Кто такая Розочка? — любопытствовал генерал.

— Пропавшая девочка, в покушении на которую обвиняют господина Сарранти.

— В покушении? — переспросил генерал. — Значит, вы уверены, что убийства не произошло?

— К счастью, нет!

— А девочка?..

— Я же вам сказал, генерал: девочка жива.

— И вы с ней знакомы?

— Да.

— Почему бы не расспросить ее?

— Она не хочет говорить.

— Что же в таком случае делать?

— Расспросить Бразила! Вы же видите: он-то отвечает!

— Тогда продолжим!

— Да, черт побери! — кивнул Сальватор.

Они подошли к Бразилу; тот злобно царапал и грыз землю.

Сальватор задумчиво наблюдал за тем, как беснуется собака.

— Кто-то здесь зарыл, — предположил генерал.

Сальватор покачал головой.

— Нет, — возразил он.

— Почему нет?

— Я же вам сказал, что девочка жива.

— А мальчик?

— Он похоронен не здесь.

— Вы знаете, где его могила?

— Да.

— Стало быть, мальчик мертв?

— Мертв!

— Убит?
— Его утопили.
— А девочку?
— Ее едва не зарезали.
— Где?
— Здесь.
— Кто же помешал убийце?
— Бразил.
— Бразил?
— Да. Он разбил окно, как сделал это только что, и, вероятно, прыгнул на убийцу.

— Что же он здесь ищет?
— Уже нашел!
— Что это?
— Взгляните сами!
Сальватор опустил фонарь и осветил плиту на полу.
— Похоже на следы крови,— заметил генерал.
— Да,— согласился Сальватор.— С Божьего соизволения пятна теплой крови не стираются никогда. Как верно то, что господин Сарранти невиновен, так верно и то, что кровь, над которой беснуется Бразил, принадлежит убийце!

— Однако вы же сами сказали, что девочку пытались зарезать.

— Да.
— Здесь?
— Возможно.
— А Бразил?..
— Он никогда не ошибается. Бразил! — позвал Сальватор.— Бразил!

Пес успокоился и подошел к хозяину.

— Ищи, Бразил! — приказал Сальватор.

Бразил обнюхал плиты и бросился в небольшой погребок, имевший выход в сад.

Дверь была заперта. Пес стал царапать ее и жалобно скулить, потом несколько раз лизнул пол.

— Заметили разницу, генерал? — спросил Сальватор.— Здесь кровь девочки. Она убежала через эту дверь. Сейчас я ее отопру, и вы увидите, как Бразил побежит по ее следам, отмеченным каплями крови.

Сальватор otvorил дверь. Бразил бросился в погребок, останавливаясь несколько раз, чтобы лизнуть плиту.

— Смотрите! Вот отсюда девочка убежала, пока Бразил сражался с убийцей.

— Кто же убийца?

— Я думаю, женщина... Когда девочку охватывает необъяснимый страх, она кричит иногда: «Не убивайте меня, госпожа Жерар!»

— До чего запутанная история! — вскричал генерал.

— Да,— согласился Сальватор.— Однако у нас в руках один конец веревки, и мы должны ее размотать.

Он позвал:

— Бразил! Ко мне!

Бразил, уже отбежавший на порядочное расстояние в парк, где, казалось, искал потерянный след, вернулся на зов хозяина.

— Нам здесь больше нечего делать, генерал,— сказал Сальватор.— Я знаю все, что хотел узнать. Теперь очень важно, как вы понимаете, не дать убежать гувернантке.

— Давайте ее поищем.

— Ищи, Бразил, ищи!— приказал Сальватор, поднимаясь из подвала и возвращаясь в переднюю.

Бразил бежал за хозяином. В передней он замер: через отворенную дверь он увидел пруд, блестящий, словно полированная сталь, и пса потянуло на берег.

Сальватор его удержал.

Тогда Бразил стал подниматься по лестнице, но не торопясь, словно этот путь должен был если не привести его к цели, то вывести из вестибюля.

Но очутившись в коридоре второго этажа, он бросился в самый его конец, потом остановился у одной из дверей и заворчал не злобно, а скорее жалобно.

— Не здесь ли мы найдем гувернантку?— предположил генерал.

— Нет, не думаю,— возразил Сальватор.— Скорее всего, эта комната принадлежала кому-то из детей. Сейчас мы все увидим.

Комната была заперта на ключ. Но стоило Сальватору навалиться плечом, как замок поддался и дверь распахнулась.

Пес ворвался в комнату с радостным лаем.

Сальватор не ошибся: первое, что бросалось в глаза,— альков с двумя одинаковыми кроватями; вероятно, на них когда-то и спали дети. Бразил радостно носился от одной кровати к другой, вскакивая передними лапами на покрывала, и посматривал на Сальватора с выражением такой радости, что ошибиться было невозможно.

— Видите, генерал: детская находилась здесь,— повторил Сальватор.

Бразил оставался бы здесь вечно, он был готов растянуться между этими кроватями и так умереть.

Но Сальватор заставил его выйти, несколько раз настойчиво повторив его имя.

Бразил последовал за хозяином, опустив голову; вид у него был жалкий.

— Мы еще вернемся, Бразил, обязательно вернемся!— пообещал Сальватор.

Пес будто понял эти слова и побежал на третий этаж.

На лестничной площадке он замер; потом глаза его загорелись, шерсть встала дыбом, и он с угрожающим рычанием подошел к одной из дверей.

— Дьявольщина! — бросил Сальватор. — За этой дверью притаился враг. Посмотрим!

Дверь, как и в детскую, была заперта. Но, как и та, она поддавалась под мощным напором.

Бразил влетел в комнату и стал оглушительно лаять, обратив всю свою злобу на комод.

Сальватор попытался его открыть: ящики были заперты на ключ.

Бразил в ярости бросался на ручки.

— Подожди, Бразил, подожди! — остановил его Сальватор. — Сейчас мы посмотрим, что в этих ящиках. А пока помолчи!

Пес затих, наблюдая за действиями хозяина. Но глаза его метали молнии, а на морде запеклась пена, тогда как с кроваво-красного языка капля за каплей стекала слюна.

Сальватор приподнял с комода мраморную крышку и прислонил ее к стене.

Бразил словно понимал намерения хозяина и одобрял их, семена вкруг.

Сальватор вынул из кармана короткий кинжал, вставил его в щель и, нажав, приподнял деревянную панель.

Бразил поставил на комод передние лапы.

Сальватор запустил руку в образовавшееся отверстие и достал из комода корсаж из красной шерсти.

Но не успел он вытащить его полностью, как Бразил впился в него зубами и вырвал из рук хозяина.

Корсаж был частью национального костюма Урсулы.

Сальватор бросился к собаке, с остервенением терзавшей ткань; с величайшим трудом ему удалось вырвать корсаж, который Бразил крепко держал в зубах и лапах.

— Я не ошибся, — заметил Сальватор. — Это женщина, пытавшаяся убить девочку. А зовут женщину госпожа Жерар, или, вернее, Урсула.

Он поднял ярко-красный корсаж высоко над головой, потому что Бразил продолжал набрасываться на него с яростным лаем.

Генерал был поражен тем, как понимают друг друга пес и его хозяин.

— Взгляните, — предложил Сальватор. — Сомнений быть не может.

Уверившись на этот счет совершенно, он бросил корсаж в комод, приладил, как мог, деревянную панель, сверху положил мраморную плиту.

Пес недовольно ворчал, словно у него отняли мозговую кость.

— Ну, ну, довольно! — остановил Сальватор Бразила. — Ты же понимаешь, что мы сюда еще придем, славный мой пес. Самое главное сейчас — гувернантка. Давай искать гувернантку!

Он вытолкнул Бразила из комнаты; тот недовольно ворчал. Но очутившись на лестнице, он стал искать, наконец остановился у последней двери в конце коридора и призывно залаял.

— Мы у цели, генерал,—сказал Сальватор, направляясь к указанной двери.

Потом он обратился к собаке:

— Там кто-то есть, Бразил?

Пес залаял еще громче.

— Ну, раз полиция своим делом не занимается, придется ей помочь,—проворчал Сальватор.

Протянув фонарь генералу, он прибавил:

— Держите фонарь и не возражайте.

Генерал не сопротивлялся. Сальватор обвязал вокруг талии белый пояс, какие тогда носили комиссары полиции, чиновники и офицеры министерства.

Трижды ударив в дверь, он приказал:

— Именем короля!

Дверь отворилась.

При виде двух мужчин, один из которых, одетый во все черное, держал фонарь, а другой стоял в белой перевязи, из-за чего она приняла его за комиссара полиции, находившаяся в комнате женщина опустилась на колени с криком:

— Иезус! Мария!

— Именем короля!—повторил Сальватор.—Женщина, я вас арестую!

Та, к которой Сальватор протянул руку, не касаясь ее, была, как видно, старая дева лет шестидесяти, безобразная на вид, в одной ночной сорочке.

Рядом с ней Броканта показалась бы Венерой Милосской.

Она истошно завопила; Бразилу, очевидно, ее крик подействовал на нервы, и он в ответ взвыл пронзительно-протяжно.

Сальватор пытался в темноте установить связь между безобразным созданием и каким-нибудь воспоминанием из собственной жизни.

— Осветите эту женщину,—попросил он генерала.—Мне кажется, я ее знаю.

Генерал направил луч фонаря прямо в отталкивающее лицо гувернантки.

— Так и есть, я не ошибся,—подтвердил Сальватор.

— О мой добрый господин!—взмолилась гувернантка.—Клянусь вам, я честная женщина.

— Лжешь!—вскричал Сальватор.

— Добрейший господин комиссар!..—настаивала старуха.

— Лжешь!—снова перебил ее Сальватор.—Я скажу, кто ты: ты мать Кубышки.

— Ах, сударь!—в ужасе вскричала старая карга.

— Ты повинна в том, что прелестное существо, угодившее по ошибке в отвратительное место и оказавшееся там вместе с твоей

дочерью,—а уж она-то попала туда не зря, твоя доченька! — не вынесла твоих преследований, клеветы, бесчестья и бросилась в Сену!

— Господин комиссар! Я протестую...

— Вспомни Атенаис,—властно произнес Сальватор,—и не утомляй себя ложными клятвами!

Как помнят читатели, Атенаис—так звали дочь трубача Понруа, до того как Сальватор окрестил ее Фраголой. Если мы когда-нибудь доберемся до таинственных подробностей из жизни Сальватора, мы, по всей вероятности, узнаем о событии, на которое в настоящую минуту намекает мнимый комиссар полиции.

Старуха опустила голову словно под тяжестью сизифова камня.

— Теперь отвечай на мои вопросы! — продолжал Сальватор.

— Господин комиссар...

— Отвечай, или я кликну двух ребят, они живо спроводят тебя в Мадлонет.

— Спрашивайте, спрашивайте, господин комиссар!

— Как давно ты здесь живешь?

— С масленицы.

— Когда в замок прибыла девушка, похищенная господином де Вальженезом?

— В ночь с последнего вторника масленицы на первую среду поста.

— Позволял ли господин де Вальженез отлучаться девушке из замка?

— Никогда!

— Применял ли он насилие, препятствуя ее выходу отсюда?

— Он ей угрожал тем, что донесет на ее жениха по обвинению в похищении несовершеннолетней, за что того могли сослать на галеры.

— А как зовут этого молодого человека?

— Господин Жюстен Корби.

— Сколько тебе платил в месяц господин де Вальженез, чтобы ты следила за похищенной девушкой?

— Господин комиссар...

— Сколько он тебе платил? — повторил Сальватор еще более непререкаемым тоном.

— Пятьсот франков.

Сальватор огляделся и заметил небольшой секретер. Он открыл его и обнаружил бумагу, чернила, перья.

— Садись сюда,—приказал он женщине,—и пиши заявление, которое ты только что мне сделала.

— Я неграмотная, господин комиссар.

— Неграмотная?!

— Да, клянусь вам!

Сальватор достал из кармана бумажник, поискал какую-то бумагу, развернул ее и сунул старой колдунье под нос.

— Если ты не умеешь писать, кто же тогда написал вот это? — спросил он.

«Если не заплатишь мне пятьдесят франков нынче вечером, я скажу, где моя дочь с тобой познакомилась, и выгоню тебя из твоего магазина.»

Мамаша Глуэт.

11 ноября 1824 года».

Старуха лишилась дара речи.

— Как ты сама убедилась, писать ты умеешь, — продолжал Сальватор. — Плохо, что верно — то верно, но достаточно для того, чтобы исполнить мое приказание. Итак, напиши заявление, которое ты только что мне сделала устно.

Сальватор заставил старуху сесть, вложил ей в руку перо и, пока генерал светил, продиктовал следующий документ, который она нацарапала отвратительным почерком со множеством ошибок, гарантировавших подлинность бумаги. Мы не станем повторять этих ошибок, полагая, что с наших читателей будет довольно познакомиться с содержанием документа.

«Я, нижеподписавшаяся Брабансон по прозвищу Глуэт, заявляю, что была принята на службу к господину Лоредану де Вальжenezу начиная с последнего воскресенья масленицы, чтобы следить за девушкой по имени Мина, которую он похитил из Версальского пансиона. Заявляю также, что похищенная девушка прибыла в замок Вири в ночь с последнего вторника масленицы на первую среду поста. Она угрожала его сиятельству, что будет кричать, звать на помощь, убежит, но его сиятельство помешал ей сделать что-либо подобное, пригрозив тем, что у него есть средства отправить ее возлюбленного на галеры: он обвинит его в укрывательстве несовершеннолетней девочки. У него в кармане был чистый бланк на арест, который он ей и предъявил.»

Подпись: мамаша Брабансон по прозвищу Глуэт.

Написано в замке Вири в ночь на 23 мая 1827 года».

Мы вынуждены признать, что Сальватор подредактировал эту бумагу. Но поскольку от истины старуха ничуть не отклонилась, мы надеемся, что, учитывая то обстоятельство, что Сальватор действовал из добрых побуждений, наши читатели простят ему это давление, скорее литературное, нежели морального свойства.

Сальватор взял заявление, сложил его вчетверо, убрал в карман, потом обернулся к Глуэт.

— Теперь можешь опять лечь в постель, — разрешил он.

Старуха предпочла бы постоять, но услышала слева от себя глухое рычание Бразила и бросилась в постель, как в реку, спасаясь от бешеного пса.

Казалось, зубы Бразила пугали ее даже больше, чем перевязь комиссара. Объяснялось это просто: с правосудием ей за свою жизнь приходилось иметь дело раз двадцать, а вот такого

огромного пса она до той поры не видела даже в самом страшном кошмаре.

— А теперь,—сказал Сальватор,—поскольку ты соучастница господина де Вальженеза, арестованного только что по обвинению в похищении и сокрытии несовершеннолетней,—преступлении, предусмотренном законом,—я тебя арестую; ты будешь заперта в этой комнате, куда завтра утром для допроса явится королевский прокурор. Если вздумаешь бежать, предупреждаю: на лестнице я оставлю одного часового, внизу — другого с приказанием открыть огонь, как только ты отворишь дверь или окно.

— Иезус! Мария! — снова повторила старуха, испугавшись на сей раз еще больше.

— Слыхала?

— Да, господин комиссар.

— В таком случае, спокойной ночи!

Пропустив генерала вперед, он запер за собой дверь на два оборота.

— Могу поручиться, генерал, что она не шевельнется и мы можем спать спокойно.

Обратившись к собаке, он продолжал:

— Вперед, Бразил! Мы сделали только полдела!



САЛЬВАТОР

Часть
вторая



I

Разговор на тему о человеке и лошади

Мы оставим Сальватора и генерала у крыльца в ту минуту, как они направляются к пруду, а впереди бежит Бразил; следовать за ними значило бы, как понимают читатели, ступить на путь уже и без того нам известный.

Прежде всего бросим взгляд на Жюстена и Мину, а с них, естественно, переведем его на г-на Лоредана де Вальженеза.

Услышав выстрел, Жюстен и Мина, побежавшие было через поле, приостановились, и пока Мина, опустившись на колени прямо в траву, просила Господа отвести от Сальватора всякую беду, Жюстен повис на заборе и следил за схваткой, увенчавшейся пленением Лоредана.

Молодые люди, таким образом, еще долго видели лошадь; ее вели под уздцы двое приятелей, а сидел на ней г-н де Вальженез. Молодой человек и девушка прижались друг к другу, словно продолжительное время слышали гром у себя над головой, а теперь видели, как молния ударила в сотне шагов от них.

Они отвесили благодарные поклоны и между двумя поцелуями произнесли имя Сальватора, а потом бросились бежать по узкой тропинке, выискивая взглядом, куда бы ступить, чтобы не раздавить василек. Они боготворили этот прелестный полевой цветок: как, должно быть, помнят читатели, весенней ночью, похожей на ту, что раскинула над ними прозрачные трепещущие крылья, Жюстен нашел Мину на поле среди маков и васильков; девочка спала под неусыпным оком луны, словно фея.

Выйдя на более широкую тропинку, они взялись за руки и пошли рядом. Через несколько минут они уже стояли против того места, где была спрятана коляска.

Бернар узнал Жюстена и, увидев его в сопровождении девушки, начал понимать истинный смысл драмы, в которой он играл свою роль. Он почтительно снял шляпу, украшенную лентой, и, когда молодые люди удобно устроились в коляске, махнул рукой, словно спрашивая: «Куда теперь?»

— Северная дорога! — отвечал Жюстен.

Бернар тронулся в обратный путь и вскоре исчез из виду на парижской дороге; им предстояло проехать ее до конца, от заставы Фонтенбло до ворот Виллет.

Пожелаем влюбленным счастливого пути, пусть они поделятся друг с другом своими радостями и горестями, а мы вернемся к пленнику.

Заставить г-на де Вальженеза войти в хижину труда не составляло, однако они в задумчивости остановились на пороге: как завести туда лошадь?

Хижина была небольшая: всего пятнадцати футов в длину и двенадцати — в ширину; не было там ни конюшни, ни сарая. Трем людям и лошади было бы там, пожалуй, тесновато.

— Дьявольщина! — бросил Жан Бычье Сердце. — Об этом-то мы и не подумали!

— И господин Сальватор забыл, — подхватил Туссен.

— Дурак! Как он-то мог об этом подумать?! — возразил Жан Бычье Сердце.

— Он же думает обо всем! — оправдывался Туссен.

— Ну, раз не подумал он, давай пораскинем мозгами мы с тобой, — предложил Жан Бычье Сердце.

— Давай! — не стал перечить Туссен.

Так они и сделали, однако мыслительные способности у этих двух людей были не на высоте.

Наконец Жан Бычье Сердце бухнул наугад:

— Река недалеко...

— При чем здесь река?! — вскричал Туссен Бунтовщик.

— Ах, черт возьми?..

— Что? Утопить лошадь?

— Ну и что, раз хозяин у нее — плохой человек! — презрительно проговорил Жан Бычье Сердце.

— Лошадь плохого человека может быть весьма уважаемой скотиной, — нравоучительно продолжал Туссен Бунтовщик.

— Верно... Что же делать?

— А не отвести ли нам ее в харчевню «Божья милость»?

— До чего ты глуп, даже для уроженца Оверни!

— Ты думаешь?

— Да ты пойми: если хозяин «Божьей милости» увидит, как Туссен Бунтовщик да Жан Бычье Сердце ведут к нему чужую лошадь, он спросит, где ее хозяин. И что ты ему ответишь? Нет, ты скажи! Если у тебя есть что ответить, бери лошадь и води ее в «Божью милость».

Туссен покачал головой.

— Мне сказать нечего,— признался он.

— Ну и молчи.

— Я и молчу.

И Туссен прикусил язык.

Снова наступила тишина, нарушил которую Жан Бычье Сердце.

— Слушай! А что если я тебя кое о чем попрошу?— обратился он к Туссену.

— Я с удовольствием все сделаю, ежели мне это по плечу.

— Давай сначала введем в дом пленника.

— Хорошо.

— Раз уж мне его поручили, я за него отвечаю.

— Я тоже за него отвечаю, черт побери! Да нам не он мешает, а лошадь!

— Не перебивай!

— Вот уж я тебя и перебиваю!

— А когда пленник будет в доме, ты займешься лошастью.

— Займусь!.. Нет, не займусь, я же не знаю, что с ней делать!

— погоди! Ты ее отведешь назад.

— Куда это?

— В замок Вири, понял?

— А ведь верно!

— Ты сам не додумался бы!— гордо вымолвил Жан Бычье Сердце, довольный собственной сообразительностью.

— Нет.

— Нравится тебе такая мысль?

— Очень!

— Тогда давай отвяжем человека!— предложил Жан Бычье Сердце.

— Так и быть,— согласился Туссен, на все смотревший глазами своего приятеля.

— Нет!

— Хорошо, не будем отвязывать.

— Да нет же!

— Что-то я не пойму,— признался Туссен Бунтовщик.

— Какого черта тебе надо понимать?

— Ну, чтобы... действовать...

— Держи пока лошадь.

— Ладно.

— Ты говоришь: «Так и быть, давай отвяжем». Отлично! Если мы будем отвязывать вдвоем, лошадь держать некому.

— Ты прав.

— А когда мы отвяжем пленника, лошадь возьмет да уйдет.

— И это верно.

— Тогда не будем его отвязывать... Я отвяжу его один, а ты тем временем держи скотину.

— Начали!— скомандовал Туссен, хватаясь за удила.

Жан Бычье Сердце подошел к иве, достал из дупла ключ и отпер дверь в хижину. Он не любил темноты и потому зажег небольшую лампу.

Наконец приготовления были завершены; он отвязал пленника и поднял его играючи.

— Теперь жарь налево, марш! — скомандовал Жан Бычье Сердце Туссену, а сам внес графа в дом.

Туссен себя упрасивать не заставил: не успел его приятель отвернуться, как он сел на лошадь и поскакал так быстро, словно в конце пути его ждало целое сокровище.

Подъехав к воротам замка, он увидел, что они заперты; он приготовился перелезть через стену, как вдруг послышалось грозное рычание и Бразил встал передними лапами на железную перекладину.

— Ага! — сказал Туссен на овернском наречии, которое так презирал Жан Бычье Сердце. — Если Роланд здесь, значит, и господин Сальватор где-нибудь рядом.

И действительно, почти тотчас мелькнул свет.

— А-а, это ты, Туссен? — послышался голос Сальватора.

— Да, господин Сальватор, это я, — радостно отозвался Туссен. — Я привел вам коня.

— А где всадник?

— О, он в надежном месте, раз находится в руках Жана Бычье Сердце. Да и я сейчас опять туда пойду, можете не беспокоиться, господин Сальватор! Две руки — хорошо, а четыре — лучше.

Поручив Сальватору коня, Туссен так прытко бросился назад — да будет сказано это к его чести, — что мог бы соперничать с кем угодно не только в скачках, но и в беге.

II

Глава, в которой опасность угрожает господину де Вальженезу, а Жану Бычье Сердце становится страшно

Посмотрим теперь, что происходило в хижине на берегу реки, пока отсутствовал Туссен.

Жан Бычье Сердце ввел или, правильнее было бы сказать, внес Лоредана де Вальженеза в комнату, опустил его, замотанного, словно мумия, на длинный ореховый стол; тот занимал середину комнаты и вместе с кроватью, наполовину скрытой чем-то вроде алькова, составлял основную меблировку.

Господин де Вальженез лежал неподвижно и напоминал бездыханный труп, который сейчас будут препарировать на столе в анатомическом театре.

— Не беспокойтесь, милейший, — попросил Жан Бычье Сердце. — Я только закрою дверь и подберу подходящее для вас место, а потом развяжу вам руки.

С этими словами Жан Бычье Сердце запер дверь на задвижку и стал искать, как он сам выразился, подходящее место для своего знатного пленника.

Господин де Вальженез не отвечал. Но Жан Бычье Сердце не обратил на это никакого внимания, потому что счел молчание пленника вполне естественным.

— Мой юный господин! — продолжал он, подвигая к себе ногой хромой табурет, одиноко стоявший в углу комнаты. — Здесь, конечно, не Тюильрийский дворец, и вам придется довольствоваться этим предметом.

Он приставил табурет к стене, подложил пробку под слишком короткую ножку, как прилаживают каблучки к туфлям, чтобы удлинить ногу, и вернулся к пленнику, лежавшему на столе по-прежнему недвижимо.

Сначала Жан вынул ему кляп.

— Ну вот, сейчас дышать вам станет легче! — пообещал он.

Но, к великому удивлению Жана Бычье Сердце, граф вовсе не спешил вдохнуть воздух полной грудью, как обычно бывает с людьми, вновь обретшими свободу или хотя бы возможность говорить.

— Ну как вы? — как можно ласковее спросил плотник.

Лоредан молчал.

— Мы обиделись, ваше сиятельство? — поинтересовался Жан Бычье Сердце, взявшись за веревки, которыми были связаны руки графа.

Пленник продолжал упрямо молчать.

— Можешь прикидываться мертвецом, если тебе так нравятся, — продолжал Жан Бычье Сердце, покончив с веревками.

Руки пленника безвольно повисли вдоль тела.

— Теперь, если угодно, встаньте, монсеньор!

Господин де Вальженез и не подумал шевельнуться.

— Ах так?! — возмутился Жан Бычье Сердце. — Уж не думаете ли вы, часом, что я надену на вас помочи и буду водить, как малого ребенка? Нет уж, спасибо! Я и так нынче вечером наработался.

Но граф не подавал признаков жизни.

Жан Бычье Сердце остановился и искоса взглянул на пленника, неподвижно и беззвучно лежавшего в тени.

— Вот дьявол! — испугался вдруг Жан. — Уж не вздумали ли мы протянуть ножки, лишь бы досадить нашему другу Жану Бычье Сердце?

Он пошел за лампой и поднес ее к лицу г-на де Вальженеза.

Глаза молодого человека оставались закрыты, лицо заливала бледность; холодный пот катил с него градом.

— Ну вот! — возмутился Жан Бычье Сердце. — В затруднении оказался я, а потеет он... Станный он какой-то!

Но обратив внимания на смертельную бледность графа, плотник проворчал:

— Боюсь, как бы он не сыграл в ящик из хороших побуждений!

И он принялся его переворачивать и трясти изо всех сил.

— Проклятье! — вскричал наконец Жан, растерянно глядя на графа. — Уж не задушили ли мы его, сами того не желая?.. Да-а, господин Сальватор будет доволен! Вот мерзавец, а? Ничего эти богатые не умеют сделать по-человечески!

Жан Бычье Сердце огляделся и приметил в углу огромный кувшин с водой.

— Вот это мне и нужно!

Он подошел за кувшином, поднял его, поставил на приставную лесенку рядом со столом, потом так наклонил сосуд, что вода с полутораметровой высоты стала падать г-ну де Вальженезу на лицо.

Первые капли не произвели на графа ожидаемого действия, но потом дело пошло лучше.

Ледяная струйка воды, падавшая г-ну де Вальженезу на голову, заставила его вздохнуть, что успокоило Жана, у которого у самого на лбу начал от волнения выступать холодный пот.

— Ах, черт возьми! — вскричал Жан, шумно дыша от радости, словно у него гора с плеч свалилась. — Как вы меня напугали, милейший! Можете быть собой довольны!

Он поставил кувшин на место и снова подошел к пленнику.

— Хорошо искупались? — проговорил он с насмешливым видом, вернувшись к нему вместе с уверенностью, что граф не умер. — Теперь дело пойдет лучше, милейший.

— Где я? — спросил Лоредан, как обычно спрашивают, не знаю почему, после обмороков, все, кто возвращается к жизни.

— Вы в гостях у верного друга, — отвечал Жан Бычье Сердце, распутывая веревки, еще связывавшие пленнику ноги. — Если хотите слезть со своего пьедестала и сесть, я ничего не буду иметь против.

Господин де Вальженез не заставил его повторять приглашение дважды: он соскользнул со стола и встал, но затекшие ноги его не держали, и он пошатнулся.

Жан Бычье Сердце принял его в свои объятия, подвел к табурету и посадил графа, прислонив его к стене.

— Вам удобно? — спросил Жан Бычье Сердце, присев на корточки и заглядывая г-ну де Вальженезу в лицо.

— Что вам от меня угодно? — высокомерно спросил граф.

— Я ищу вашего общества, ваше сиятельство... вместе с другом, который вышел на четверть часа, но скоро вернется...

В то время как Жан Бычье Сердце выговаривал эти слова, раздался условный стук в дверь.

Жану Бычье Сердце стук был знаком; он отпер дверь, и в комнату вошел Туссен Бунтовщик; у него было черное лицо с белыми разводами от пота, и г-ну де Вальженезу почудилось, что перед ним индеец с татуированной физиономией.

— Готово? — спросил Жан у друга.

— Да, — отвечал Туссен.

Обернувшись к г-ну де Вальженезу, он проговорил:

— Привет честной компании!

Потом он снова обратился к Жану:

— Почему он такой мокрый?

— Ох, лучше не спрашивай! — отозвался Жан Бычье Сердце и пожал плечами. — С тех пор как ты ушел, у меня только и было забот, что кропить этого господина.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Туссен, не отличавшийся сообразительностью.

— Я хочу сказать, что господину было плохо, — с презрением вымолвил Жан.

— Плохо? — переспросил Туссен, силясь понять, что произошло.

— Ну да, Бог ты мой!

— С какой это стати?

— Да под тем предлогом, что мы ему забили в рот слишком большой кляп.

— Невероятно! — изумился угольщик.

Тем временем г-н де Вальженез разглядывал двух приятелей и, вероятно, остался осмотром недоволен: едва открыв рот, он сейчас же снова его закрыл, так и не вымолвив ни слова.

Жан и Туссен произвели на графа отталкивающее впечатление. Если бы у г-на де Вальженеза было хоть малейшее желание бежать, один вид стоявшего перед ним великана сейчас же отбил бы ему всякую охоту.

Граф опустил голову и задумался.

III

Местное вино

Пока граф размышлял, Жан Бычье Сердце подошел к шкафу, открыл его, достал бутылку, два стакана и поставил их на стол, но, спохватившись, что их трое, снова подошел к шкафу и взял третий стакан. Он его вымыл, вытер, еще раз ополоснул самым тщательным образом и только после этого поставил на стол перед г-ном де Вальженезом.

Потом указал Туссену на стул, сел сам и, поднеся бутылку к стакану пленника, произнес с галантностью, на какую только был способен:

— Что же, сударь, мы тюремщики, но не палачи. Должно быть, вы хотите пить не меньше нашего. Не угодно ли выпить стакан вина?

— Благодарю! — коротко ответил г-н де Вальженез.

— Не стесняйтесь, милейший! — сказал Жан Бычье Сердце, продолжая держать бутылку над стаканом графа.

— Благодарю! — еще суше проговорил г-н де Вальженез.

— Ну, как угодно, сударь! — произнес Жан Бычье Сердце таким тоном, словно ответ графа задел его за живое.

Он наполнил стакан Туссена.

— Твое здоровье, Туссен! — молвил он.

— Будь здоров, Жан! — ответил тот.

— Смерть всем злодеям!

— Да здравствуют хорошие люди!

Пленник вздрогнул, услышав столь выразительный тост из уст двух решительных парней.

Жан Бычье Сердце одним махом опрокинул стакан и стукнул им об стол.

— Хорошо пошло, черт возьми... Я так хотел пить!

— Я тоже, — согласился Туссен, во всем подражая приятелю.

— Еще по одной, Туссен!

— Наливай!

И они опрокинули еще по стаканчику — на сей раз без тостов.

Стремительность, с какой приятели поглощали вино, навела г-на де Вальженеза на мысль.

Он стал ждать удобного случая, чтобы им воспользоваться, и такой случай скоро представился.

Жан Бычье Сердце обернулся к пленнику, и лицо графа показалось ему не таким уж насупленным; как все сильные люди, он не умел таить зло и потому произнес:

— Напрасно вы привередничаете! Ну, в последний раз, милейший, имею честь предложить вам стакан вина; угодно ли вам принять мое предложение?

— Вы очень любезны, сударь, — отозвался граф, — и я очень сожалею, что отказался в первый раз.

— Ничего, еще не поздно исправить эту промашку. Пока есть вино в бутылке, а бутылки не кончились в шкафу, вы можете изменить свое мнение.

— В таком случае я принимаю ваше предложение! — подхватил граф.

— В добрый час, ваше сиятельство! — искренне обрадовался Жан Бычье Сердце, наполняя стакан графа до краев.

Затем он обратился к своему товарищу:

— Подай еще бутылку, Туссен.

Теперь настала очередь угольщика пойти к шкафу и принести оттуда бутылку.

Жан Бычье Сердце принял ее у него из рук, словно не доверяя, и наполнил стаканы.

Потом взял свой стакан, приказал знаком Туссену следовать его примеру и молвил:

— Ваше здоровье, граф!

— Ваше здоровье, милейший! — подхватил Туссен.

— Ваше здоровье, господа! — отвечал Лоредан, решив про себя, что делает огромную уступку двум могиканам, называя их «господами».

Все трое опорожнили стаканы: Жан Бычье Сердце и Туссен Бунтовщик — залпом, г-н де Вальженез — не спеша, в несколько приемов.

— Вот черт! — прищелкнул языком Жан Бычье Сердце. — Я, конечно, не стану утверждать, что угощаю вас настоящим бургундским красным или бордо-лаффитом... Вы же знаете поговорку: «Даже самая красивая женщина может дать только то, что у нее есть!»

— Прощу меня извинить, — проговорил Лоредан, сляясь поддержать разговор и особенно опорожнить стакан. — Вино совсем не плохое. Это здешнее?

— Конечно, здешнее! — возмутился Туссен Бунтовщик. — Как будто существует другое вино.

— Дорогой друг! — заметил Жан Бычье Сердце. — Прежде всего, существует вино, которое производят в Париже. Но его сиятельство говорит не об этом. «Здешнее вино» — это то, которое дают из винограда, собранного в той местности, где находишься.

— Местное вино, если вам так больше нравится, друг мой, — любезно поправился граф.

— Да, — поддержал разговор Жан Бычье Сердце, — это вино местное, но очень неплохое: оно может за себя не краснеть!

— Еще бы! — захохотал Туссен Бунтовщик, на лету подхватывая шутку приятеля. — Как оно может покраснеть, если оно белое!

— Я бы даже прибавил, — продолжал плотник, — что, если бы мне довелось придумывать обет, я бы дал такой зарок: никогда не пить вина хуже этого.

— Я даю такое же обещание, что и мой друг, — подхватил Туссен Бунтовщик с поклоном, адресованным не графу, но боже-ству, которому посвящался обет.

— Я выпил слишком мало, чтобы по достоинству оценить это вино, — заметил г-н де Вальженез.

— О, за этим дело не станет, милейший, — обрадовался Жан Бычье Сердце и поднялся из-за стола, — в буфете еще полсотни бутылок, если угодно...

— Как мне кажется, это единственный способ весело провести несколько часов, в течение которых мы принуждены оставаться вместе, — заметил пленник, — и если такой отдых вам по вкусу, то я — с вами.

— Вы правду говорите? — спросил, поворачиваясь к нему, Жан Бычье Сердце.

— Сами увидите, — решительно отвечал г-н де Вальженез.

— Bravo! — похвалил Туссен Бунтовщик. — Вот это — пленник так пленник!

Жан Бычье Сердце пошел к буфету и вернулся, нагруженный восьмью бутылками внушительных размеров.

Лоредан улыбнулся, видя, что оба могикинина так наивно попались в его ловушку, уже разгаданную, без сомнения, нашими читателями.

Комбинация была задумана действительно неплохо: напоить двух любителей крепких напитков было нетрудно, еще легче было напоить их до бесчувствия.

Приняв такое решение, Лоредан стремительно протянул свой стакан и выпил с видимым удовольствием.

Так втроем они опорожнили две бутылки, и г-ну де Вальженезу так понравилось вино, что он приказал откупорить еще пару бутылок.

— А вы мастер пить, приятель! — похвалил Жан Бычье Сердце, видя, что пленник ничуть ему не уступает; он освоился с графом и стал с ним говорить как равный с равным.

— Да как-то само собой получается! — с наигранным добродушием ответил Вальженез.

— Не гордитесь, дружище, — заметил Жан Бычье Сердце. — Это вино — обманчивое!

— Вы думаете? — с сомнением произнес пленник.

— Готов подтвердить! — вмешался Туссен Бунтовщик, поднимая руку, словно приносил присягу. — После третьей бутылки я готов, и — привет всей компании: никого не вижу.

— Ба! — продолжая сомневаться, обронил Вальженез. — Неужели такой крепкий парень, как вы?..

— Это так же верно, как то, что я имею честь с вами говорить... — отвечал Туссен. — Я могу выпить, три, ну, три с половиной бутылки. Вот Жан — настоящий герой, он может осилить четыре. Зато с последним стаканом — хлоп! Здравый смысл ему изменяет, он приходит в бешенство и готов переломать кости всем подряд! Правильно я говорю, Жан?

— Так рассказывают, — скромно отозвался великан.

— И ты скоро это докажешь.

Это последнее сведение, весьма полезное для г-на де Вальженеза, открывало перед пленником в самом близком будущем столь смелые надежды, что он, видя, как друзья откупоривают седьмую бутылку, накрыл свой стакан ладонью и сказал:

— Спасибо, мне хватит.

Жан Бычье Сердце поднял бутылку и пристально взглянул на г-на де Вальженеза.

IV

Глава, в которой господин де Вальженез решительно заявляет, что не умеет ни петь, ни плясать

Жан Бычье Сердце смотрел свирепо, как это бывает с некоторыми людьми, когда в голову им ударяет хмель.

— Ага! Вам хватит?!

— Да, — кивнул Лоредан. — Мне больше не хочется пить.

— А разве люди пьют, только когда их мучает жажда? — вмешался Туссен. — Да если так, они выпивали бы не больше одной-двух бутылок!

— Туссен! — молвил Жан Бычье Сердце. — Похоже, господин не знает пословицы, а пословица-то известная!

— Какая же? — спросил Лоредан.

— «Если вино налито, его надо выпить...». Тем более если бутылка уже откупорена...

— И что дальше? — спросил Лоредан.

— ...если надо опустошить!

Лоредан протянул стакан.

Жан Бычье Сердце наполнил его.

— Теперь тебе, — сказал он, наставляя горлышко бутылки на своего друга, как артиллерист наводит жерло пушки на цель.

— С удовольствием! — обрадовался Туссен, забывая, что был не в лучшей форме из-за пережитых волнений и потому этот последний стакан не только достигнет меры, но и превысит ее.

Быстро опорожнив стакан, он затыкнул уж не знаю какую вакхическую песнь, в которой присутствующие не могли разобрать ни слова, потому что пел он на овернском наречии.

— Тихо! — остановил его Жан Бычье Сердце после первого куплета.

— Почему «тихо»? — возмутился Туссен.

— Может, в овернской столице это кому-нибудь и нравится, а вот в Париже и его окрестностях такая песня никому не по душе.

— А ведь это ха-а-арошая песня! — заметил Туссен.

— Да, однако я бы предпочел другую... Например, ту, которую нам сейчас споет граф.

— Я? — не понял Лоредан.

— Само собой! Должны же вы знать ха-а-арошие песни, как говорит мой друг Туссен Бунтовщик.

И Жан Бычье Сердце бессмысленно загоготал, что бывает перед опьянением.

— Ошибаетесь, сударь, — холодно возразил Вальженез. — Я не знаю песен.

— Неужто вам не известно никакой застольной песни? — продолжал настаивать Жан Бычье Сердце.

— Вот именно! — поддакнул Туссен. — Я бы предпочел такую, под которую хорошо не только пить, но и есть, тем более что я проголодался.

— Начинай, приятель! — приказал Жан Бычье Сердце, приготовившись отбивать в ладоши такт.

— Клянусь вам, что не только не знаю подходящей песни, — сказал г-н де Вальженез, несколько напуганный тоном Жана Бычье Сердце, — но и не умею петь.

— Вы не умеете петь? — спросил Туссен; приятель упрекал его в том, что он говорит с овернским акцентом, и он теперь пытался искупить этот недостаток, разговаривая как туземец. — Моя вам не верить!

— Уверяю вас, что не умею петь,—повторил Лоредан.— Мне очень жаль, потому что это могло бы доставить вам удовольствие, но это выше моих сил.

— Жалко!—расстроился Жан Бычье Сердце.— Вас это развеселило бы, да и меня тоже.

— В таком случае мне жаль вдвойне,—отвечал Вальженез.

— Ой!—обронил Туссен.

— Что такое?—спросил Жан.

— У меня есть мысль!

— Врешь!

— Нет, правда,—продолжал настаивать Туссен.

— Ну говори, что ты там надумал!

— Раз этот юный сеньор не умеет или не хочет петь,—не отчаиваясь, продолжал Туссен,—он должен уметь плясать, верно, дружище Жан?

С трудом ворочая языком, он обратился к Лоредану:

— Спляшите-ка, ваше сиятельство!

— Я? Вы с ума сошли?!—изумился Вальженез.

— Почему с ума сошли?—спросил Туссен.

— Разве танцуют просто так, без причины?

— Ну хорошо, без причины не танцуют; люди танцуют, чтобы танцевать, у себя на родине я плясал каждый день.

— Бурре¹?

— Вот именно... Может, вы имеете что-нибудь против бурре?

— Нет, но я не могу исполнить этот танец, я его не знаю.

— Я и не прошу вас сплясать что-то определенное,—не унимался Туссен.—Танцуйте хоть гавот, лишь бы танцевать. Верно я говорю, Жан? Его сиятельство должен обязательно сплясать.

— Я с удовольствием погляжу, как танцует его сиятельство...

— Слышите, уважаемый?

— ...но...

— Пусть ваш приятель договорит, вы же слышали, он сказал «но»,—заметил Лоредан.

— ...но для танцев нужна музыка,—закончил свою мысль Жан Бычье Сердце.

— Разумеется, господин Жан прав!—подхватил Вальженез, с ужасом думая о том, что если бы великан согласился со своим товарищем, ему пришлось бы танцевать ради удовольствия двух могикан.

— А что, разве трудно что-нибудь придумать?—возразил Туссен; под действием вина он становился упрямым и изобретательным.

— Не знаю, трудно ли это,—простодушно произнес Жан Бычье Сердце,—ведь мне никогда не приходилось придумывать

¹ Овернский народный танец.



— ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ! — ОТОЗВАЛСЯ
Г-Н ДЕ ВАЛЬЖЕНЕЗ

ничего подобного; но мне кажется, для этого нужен какой-нибудь инструмент, не так ли, ваше сиятельство?

— Ну разумеется,—пожал плечами Лоредан.

— Инструмент?! Да у нас у всех по инструменту на каждой руке!—заявил Туссен.

С этими словами Туссен округлил свою черную ручищу в виде охотничьей трубы, причем большой палец должен был служить мундштуком, и, приложив его к губам, стал насвистывать «Короля Дагобера».

Обернувшись к Жану Бычье Сердце, он спросил:

— Ну, чем плох инструмент, а?

— Хорош, но для охоты, а не для танцев,—продолжал упорствовать тот.

— Верно,—подтвердил Туссен, легко соглашавшийся с чужим мнением, если считал его справедливым.—Раз мы не поем и не пляшем, давайте пить!

— Согласен!—поспешил согласиться г-н де Вальженез.—Давайте выпьем!

Но он переусердствовал и согласился слишком поспешно: он хотел не напиться, а спoitь двух приятелей. Жан Бычье Сердце смотрел на него, еще не совсем раскусив план г-на де Вальженеза: славный малый не предполагал, что вино может обратиться отравой, однако он почуял подвох и, снова поставив на стол бутылку, которую обхватил было за горлышко, собираясь налить Туссену, сказал:

— Нет, тебе хватит, Туссен!

— Мне всегда будет мало, дружище Жан.

— Может, это и верно,—заметил плотник,—да только не сегодня.

— Однако вы же сами мне предлагали выпить,—отважился возразить пленник,—и я не стал отказываться.

— Вы, сударь мой, другое дело,—покосился на него Жан,—вы вольны пить, сколько вашей душеньке угодно... Я же вам сказал: в буфете еще штук сорок бутылок. Подставляйте свой стакан!

Лоредан повиновался, Жан Бычье Сердце наполнил его стакан на две трети и поставил бутылку на стол.

— А вы?—спросил г-н де Вальженез.

— Я?—переспросил Жан Бычье Сердце.—Мне хватит. Туссен вам сказал, что я теряю голову, когда выпью лишнего. Он прав: мне не надо больше пить.

— Еще стаканчик, чтобы меня поддержать!—настаивал Вальженез, делая вид, что не понимает причины его сдержанности, хотя на самом деле сразу смекнул, что к чему.

— Вы настаиваете?—спросил плотник, пристально глядя на графа.

— Мне бы этого хотелось.

— Будь по-вашему,—кивнул великан, наливая себе вина.

- А мне? — попросил Туссен.
- Тебе хватит!.. — отрезал Жан Бычье Сердце.
- Почему?
- Я так решил!

Туссен что-то проворчал, отступил на два шага, но настаивать не стал.

Жан Бычье Сердце поднес стакан к губам.

— Ваше здоровье! — сказал он.

— Ваше здоровье! — отозвался г-н де Вальженез.

Стакан у Жана Бычье Сердце был полон не доверху, и сквозь прозрачную стенку он мог наблюдать за пленником. Он увидел, как тот зажал стакан в кулак, быстро понес его к губам, а потом поставил на стол, успев сделать почти неуловимое движение.

В то же время плотник почувствовал в ногах прохладу, словно наступил в лужу.

Он поднял ногу и ощупал подошву: с башмака капало.

Он взял со стола лампу, заглянул под стол, потом поставил лампу на место.

— Надо признать, — вымолвил он, заноса над пленником кулак, — что вы большой подлец!

Туссен Бунтовщик подбежал и схватил плотника за обе руки.

— Я же вас предупреждал, что он становится дурной, как напьется! А вы не хотели верить! Теперь берегитесь!

V

Глава, в которой Жану Бычье Сердце и Туссену Бунтовщику выпадает случай разбогатеть, но они отказываются от своего счастья

Господин де Вальженез уже приготовился к обороне: он взял в каждую руку по бутылке и ждал, когда Жан Бычье Сердце подойдет поближе, чтобы разбить бутылки о его голову. Жан Бычье Сердце наклонился, взял табурет за ножку и шагнул к г-ну де Вальженезу.

— Да что он сделал-то? — вмешался Туссен.

— Глянь-ка под стол! — предложил ему Жан Бычье Сердце.

Туссен тоже взял лампу и наклонился.

— Ох ты! — вскрикнул он, увидев кирпич, облитый белым вином и отливавший в свете лампы. — Кровь!

— Кровь? — переспросил Жан Бычье Сердце. — Если бы кровь — ладно! Хлеба поел — и кровь восстановилась. Но вот вино можно сделать только из винограда, а виноградники в этом году повымерзли!

— Как?! Он выплеснул свое вино? — взревел от возмущения Туссен.

— Это его вино!

— Тогда ты прав: он просто негодяй! Бей его!

— Я ждал твоего разрешения, Туссен,— сказал Жан Бычье Сердце, вытирая рукавом пот со лба и кипя от злости.

— Еще шаг — и я разобью вам голову, слышите? — пригрозил Вальженез.

— Мало вам того, что вы уже вылили? Хотите и бутылки разбить? — возмущился Жан Бычье Сердце. — Ведь разобьете-то вы бутылки, а не мою голову, так-то!

— Бей же скорее, Жан! — крикнул Туссен. — Чего ждешь?

— Я одумался,— сказал тот, — и надеюсь, что его сиятельство тоже возьмет себя в руки.

Потом он продолжал твердо и совершенно спокойно:

— Не угодно ли вам поставить эти бутылки на место, господин де Вальженез?

Тот нахмурился: его здравый смысл вступал в противоречие с гордыней.

— Ну что? — спросил Жан Бычье Сердце. — Будем ставить бутылки на стол или как?

— О, Жан! — взвыл Туссен. — Я тебя не узнаю!

— Так будем ставить, а? — продолжал Жан Бычье Сердце. — Раз, два... Берегитесь: на счет «три» я ударю!

Лоредан опустил руки и бесшумно поставил бутылки на каминную доску.

— Отлично! Теперь спокойненько сядем где сидели.

Лоредан, вероятно, рассудил, что лучший способ обуздать этого дикого зверя — не раздражать его. Итак, он безропотно исполнил и другое приказание.

Потом в его голове созрел, очевидно, новый план, и он решил пустить в ход средство более надежное, чем сила.

— Туссен, дружище, — обратился Жан Бычье Сердце к приятелю, — отнеси-ка эти две бутылки в буфет и запри их на ключ. И не будем их больше оттуда доставать.

Туссен повиновался.

— А теперь вы, ваше сиятельство, — продолжал Жан Бычье Сердце, принимая ключ из рук своего товарища, — должны кое в чем признаться...

— В чем же? — спросил граф.

— Вы хотели напоить нас до бесчувствия и, воспользовавшись нашим состоянием, бежать.

— Вы же воспользовались силой, чтобы взять меня в плен, — возразил граф вполне логично.

— Нашей силой — да, но хитрость мы в ход не пускали: мы не чокались, чтобы потом предать. Когда люди чокаются, это свято!

— Будем считать, что я не прав, — предложил Вальженез.

— Вылить вино! — вмешался Туссен. — Божий напиток!

— Его сиятельство признал, что был не прав, — остановил его Жан Бычье Сердце. — Не будем больше возвращаться к этому вопросу.

— О чем же еще говорить? — опечалился угольщик. — Если я не буду говорить или пить, я засну.

— Спи, если хочешь. Я подежурю.

— А я могу предложить тему для разговора, — сказал Лоредан.

— Вы очень любезны, ваше сиятельство, — проворчал Жан Бычье Сердце.

— По-моему, вы отличные парни... немного горячие, пожалуй, — продолжал Лоредан, но в глубине души очень славные...

— Как вы об этом догадались? — пожал плечами Жан Бычье Сердце.

— А я люблю славных парней, — продолжал граф.

— Неужели вы не разочаровались, — в том же тоне продолжал плотник.

Туссен внимательно слушал, желая узнать, куда клонит пленник.

— И если вы хотите... — он замолчал.

— Если мы хотим?.. — повторил Жан Бычье Сердце.

— Если хотите, я сделаю вас богатыми.

— Дьявольщина! — наострил уши Туссен. — Богатыми? Вот это другой разговор!

— Помолчи-ка, Туссен! — прикрикнул Жан Бычье Сердце. — Решаю здесь я, а не ты.

Он обратился к Лоредану:

— Объясните свою мысль, наш юный господин!

— Мысль моя проста, и я иду прямо к цели.

— Да, да, пожалуйста! — взмолился Туссен.

— Вы трудитесь, зарабатывая себе на пропитание, верно? — спросил граф.

— Несомненно! Если не считать бездельников, все ради этого и работают, — подтвердил Жан Бычье Сердце.

— Сколько вы получаете в удачные дни?

— В среднем, учитывая дни, когда нет работы, — по три франка, — сообщил Туссен.

— Замолчишь ты или нет, Туссен?

— Чего ради я должен молчать? Его сиятельство спрашивает, сколько я зарабатываю, я и говорю...

— Три франка в день, — повторил граф, словно не замечая перебранки приятелей, — в месяц это составляет девяносто франков, а в год — тысячу.

— Ну и что? — молвил Жан Бычье Сердце. — Мы и сами это знаем.

— Я хочу вам помочь в один вечер заработать столько, сколько вы заработаете за двадцать пять лет.

— Двадцать пять тысяч? — изумился Туссен. — Да вы смеетесь! Двадцать пять тысяч за вечер — это невероятно!

— Как видите, — продолжал Вальженез, — на эти деньги можно жить в свое удовольствие и не работать, стоит только

поместить эту сумму под пять процентов, что принесет вам по тысяче двести пятьдесят ливров ренты.

— Не работать!—повторил Туссен.—Слышишь, Жан? Не работать!

— Что же я буду делать без работы?—наивно спросил Жан Бычье Сердце.

— Что захотите: охота... рыбалка, если охота вам не по душе; купите землю, займитесь хозяйством, будете делать то же, что и богатые, что делаю я, например.

— Ну да!—с горечью проговорил Жан Бычье Сердце.— Буду красть шестнадцатилетних девочек у женихов и родителей! Вот как развлекаются те, кто не работает! Вот чем занимаетесь вы, ваше сиятельство!

— Да это ваше дело, чем заняться. Я же предлагаю вам пятьдесят тысяч на двоих, по двадцать пять каждому.

— Двадцать пять тысяч франков!—снова повторил Туссен, и глаза его сверкнули.

— Замолчи, Туссен!—строго проговорил плотник.

— По двадцать пять тысяч каждому, дружище Жан,—мечтательно проворковал угольщик.

— Двадцать пять тысяч зуботычин, если не заткнешься, Туссен!

— Пятьдесят тысяч франков на двоих вы можете получить нынче же вечером.

— Целое состояние, Жан!—прошептал угольщик.

— Заткнешься ты или нет, несчастный?!—взревел Жан Бычье Сердце и занес кулак.

— Узнай хотя бы, как можно их заработать, эти тысячи!

— Будь по-твоему,—кивнул Жан Бычье Сердце.

Он повернулся к пленнику.

— Вы оказываете нам честь, предлагая по двадцать пять тысяч франков каждому, ваше сиятельство? Не угодно ли вам теперь объяснить, что мы должны сделать, чтобы иметь право на такие деньги?

— Предлагаю вам эту сумму в обмен на мою свободу. Как видите, дело нехитрое.

— Что скажешь, что скажешь, Жан?—так и затрепетал угольщик, толкая приятеля в бок.

— Туссен! Туссен!—пробормотал Жан Бычье Сердце, косо поглядывая на приятеля.

— Молчу, молчу... Но ведь двадцать пять тысяч...

Плотник повернулся к графу.

— А почему вы думаете, что мы вас удерживаем силой, сударь мой?

— Потому что кто-то, как мне кажется, вам за это заплатил,—отозвался Вальженез.

Жан Бычье Сердце занес было кулачище над головой Лоредана, но, сделав над собой усилие, медленно опустил руку и сказал:

— Заплатил, заплатил! Платят вам подобные, ваше сиятельство; это они покупают и продают чужую честь. Да, это еще один источник богатых людей, тех, что не работают: они оплачивают зло, когда не могут совершить его сами... Послушайте, что я вам скажу, ваше сиятельство. Будь вы хоть в десять раз богаче, чем теперь, и предложите мне не двадцать пять тысяч, а миллион за то, чтобы я отпустил вас на одну-единственную минуту раньше назначенного срока, и я отказался бы с таким же презрением ради удовольствия держать вас под замком.

— Предлагаю сто тысяч! — бросил г-н де Вальженез.

— Жан! Жан! Ты слышишь? По пятьдесят тысяч каждому! — закричал Туссен.

— Туссен! А я думал, что ты честный малый! — сказал плотник. — Еще слово — и ты мне не друг.

— Жан! — участливо промолвил Туссен. — То, что я тебе предлагаю, так же выгодно тебе, как и мне.

— Мне?

— Ну да, тебе... тебе, Фифине, твоей девочке.

Когда Жан Бычье Сердце услышал слова: «Фифине, твоей девочке», глаза его блеснули.

Но в ту же минуту он схватил Туссена за воротник и потрянул его, словно дровосек дерево, которое он собираются свалить.

— Молчи, несчастный! Замолчишь ты или нет?! — вскричал он.

— Особенно твоей девочке, — не унимался Туссен, — отлично зная, что эта тема неисчерпаема. — Твоей девочке, которой доктор прописал свежий деревенский воздух!

Плотник вздрогнул и выпустил Туссена Бунтовщика.

— У вас больные жена и дети? — участливо спросил Вальженез. — В ваших силах помочь им поправить здоровье, и вы еще сомневаетесь?

— Нет, гром и молния! Я не сомневаюсь! — вскричал плотник.

Туссен задыхался. Г-н де Вальженез затаил дыхание, не зная, откажется Жан Бычье Сердце или согласится.

Тот перевел взгляд с пленника на своего товарища.

— Вы согласны? — спросил граф.

— Согласен ты? — вымолвил Туссен.

Жан Бычье Сердце с торжественным видом поднял руку.

— Слушайте! — сказал он. — Как верно то, что есть Господь на небесах, что Он награждает добрых и наказывает злых, первого из вас двоих, кто скажет хоть слово, одно-единственное слово на эту тему, я задушу своими руками! Теперь говорите, ежели кто смелый!

Жан Бычье Сердце тщетно ждал ответа: оба собеседника замолчали.

Глава, в которой угроза оказывается столь же бессильной,
что и соблазн

На некоторое время установилось молчание, граф де Вальженез в третий раз решил изменить тактику. Он пытался опоить, потом подкупить двоих могикан, и то, и другое ему не удалось: он решил их запугать. — Если нельзя говорить о деньгах,— начал он, обращаясь к Жану Бычье Сердце,— позволено ли мне поговорить о чем-нибудь другом?

— Говорите! — только и сказал Жан Бычье Сердце.

— Я знаю человека, поручившего вам охранять меня.

— Поздравляю! — ответил Жан. — Желая вам побольше таких знакомых, но, откровенно говоря, они встречаются редко.

— Когда я отсюда выйду,— решительно продолжал г-н де Вальженез,— а ведь это рано или поздно произойдет, не так ли?..

— Вполне возможно,— заметил плотник.

— ...когда я отсюда выйду, я заявлю в полицию, и через час он будет арестован.

— Господин Сальватор? Арестован? Да вы что?! — вскричал Жан Бычье Сердце. — Никогда в жизни!

— Ага! Его зовут Сальватор? — молвил Лоредан. — А вот я звал его под другим именем.

— Имя значения не имеет. Я запрещаю вам трогать этого человека, понятно? Мне плевать, что вы граф.

— Вы мне запрещаете, вы?..

— Да, я! Впрочем, он и сам сумеет защититься.

— Это мы еще увидим... Я прикажу его арестовать, и можете быть уверены: о вас я тоже не забуду.

— Вы о нас не забудете?

— Вы же знаете, я полагаю, о существовании галер?

— Галеры? — испугался Туссен Бунтовщик и заметно побледнел.

— Ты же видишь, что его сиятельство сначала сделал нам честь, пытаясь нас напоить, потом оскорбил, подкупая, а теперь решил пошутить! — заметил Жан Бычье Сердце.

— В таком случае шутка плохая,— проворчал угольщик.

— Как верно то, что меня зовут Лоредан де Вальженез,— не теряя хладнокровия, выговорил пленник,— я даю слово, что через два часа после моего освобождения вы будете арестованы — все трое!

— Слышал, Жан? — вполголоса спросил Туссен. — Похоже, он не шутит.

— Все трое, повторяю: вы, господин угольщик по прозвищу Туссен Бунтовщик; вы, господин плотник по прозвищу Жан Бычье Сердце, и, наконец, ваш главарь, господин Сальватор.

— И вы это сделаете? — спросил Бартеlemi, скрестив на груди руки и пристально глядя на пленника.

— Да! — убежденно проговорил граф, понимая, что настала решительная минута и что опасно, может быть, проявлять решимость, но еще опаснее бездействовать.

— Вы даете в том ваше слово?

— Слово дворянина!

— Он сделает как говорит, дружище Жан! — вскричал Туссен. Бартеlemi Лелонг покачал головой:

— Нет, дружище Туссен, не сделает.

— Почему, Жан?

— А мы ему помешаем!

Настала очередь графа содрогнуться, когда он услышал, каким тоном были произнесены эти слова, и увидел физиономию плотника, у которого не дрогнул ни один мускул, настолько он был полон решимости.

— Что ты хочешь этим сказать, Жан? — спросил Туссен.

— Когда он лежал тут недавно на столе без чувств...

— Ну?

— ...что бы случилось, если бы он умер?

— Случилось бы то, что он умер, а не лишился чувств, — со свойственной ему логикой рассудил Туссен.

— Разве в таком случае он донес бы на нас и на господина Сальватора?

— Глупости говоришь! Если бы он был мертв, ни на кого бы он не донес!

— Предположим, этот господин умер, — мрачно проговорил Жан Бычье Сердце.

— Да, но я жив, — возразил Вальженез.

— Вы в этом уверены? — спросил Жан тоном, заставившим Вальженеза усомниться в своей правоте.

— Сударь... — начал граф.

— А я вам заявляю, — продолжал Жан Бычье Сердце, — вы настолько близки к смерти, что и спорить не стоит.

— Кажется, вы решили меня убить? — спросил Лоредан.

— Если это доставит вам удовольствие, — продолжал Жан Бычье Сердце, — я расскажу, как вы умрете.

— В таком случае вас отправят не на галеры, а на эшафот, — пообещал Лоредан.

— Эшафот! Эшафот!.. Слышишь, Жан? — пролепетал Туссен.

— На эшафот поднимаются только дураки, — возразил Жан, — те, что не думают о мерах предосторожности. Но будьте покойны, ваше сиятельство: мы позаботимся обо всем. Судите сами...

Граф ждал объяснений, не меняя выражения лица.

— Вот как все произойдет, ваше сиятельство, — продолжал плотник, и в его голосе нельзя было заметить ни малейшего волнения. — Я засуну вам в рот кляп, свяжу вас, как раньше... Сними-ка со стены сеть, Туссен...

Туссен исполнил приказание и подал ему рыболовную сеть.

— Я отнесу вас к реке,— не унимался Жан Бычье Сердце,— там отвяжу лодку, мы отплывем два-три лье по течению, потом в подходящем месте, где глубина не меньше пяти метров, мы вас развяжем, вынем кляп изо рта, закатаем в сеть и бросим в воду. Будьте покойны, вы пойдете на самое дно: уж я позабочусь зацепить ячейки сети за пуговицы на вашем рединготе! Мы подождем минут десять, когда все будет кончено, поднимемся вверх по течению, поставим лодку на место и вернемся сюда, чтобы распить по бутылочке. После чего вернемся в Париж до рассвета, разойдемся по домам так, чтобы никто нас не увидел, и станем ждать.

— Чего же? — спросил граф, отирая холодный пот со лба.

— Новостей о господине де Вальженезе, которые люди грамотные, не то что я, прочтут в газетах:

«В Сене был обнаружен труп молодого человека, утонувшего несколько дней тому назад. Можно предположить, что жертва, несмотря на частые сообщения об аналогичных несчастных случаях, отправилась на рыбалку в рединготе, вместо того чтобы переодеться в блузу: сеть зацепилась за пуговицы одежды, и несчастного затащило в реку. К сожалению, выпутаться ему не удалось.

Часы, обнаруженные в жилетном кармане, деньги, найденные в кармане сюртука, перстни на пальцах — все исключает мысль об убийстве.

Тело передано в анатомический театр».

Ну как, все продумано, а? И вы полагаете, кто-нибудь заподозрит Жана Бычье Сердце и Туссена Бунтовщика в убийстве его сиятельства Лоредана де Вальженеза, когда они и знать-то его не знают?!

— Ах, черт побери! — обрадовался Туссен Бунтовщик. — Как же ты умен, Жан Бычье Сердце! — Я от тебя такого никак не ожидал.

— Ты готов? — спросил Жан Бычье Сердце.

— Еще бы! — отвечал угольщик.

— Как видите, ваше сиятельство, — продолжал Жан Бычье Сердце, — осталось лишь получить ваше согласие, и мы разыграем эту комедию. Но вы знаете: в случае вашего отказа мы обойдемся и без разрешения.

— В воду! В воду! — завопил Туссен.

Бартелеми протянул ручищу по направлению к графу. Тот отступил на два шага, уперся в стену и был вынужден остановиться.

— Дальше хода нет: стена прочная, я ее испытал, — доложил Бартелеми.

Шагнув вперед, он опустил руку на плечо графа.

Де Вальженезу почудилось, будто это рука палача.

— Господа! — взмолился он, предпринимая последнюю попытку. — Вы не можете хладнокровно совершить подобное преступление; вы знаете, что мертвецы встают из своих могил и обвиняют убийц.

— Да, но только не со дна реки, особенно когда они спеленаты в сеть. Сеть готова, Туссен?

— Готова,—отозвался тот.— Не хватает только рыбки.

Жан Бычье Сердце протянул руку за веревками, которые он бросил на кровать.

В мгновение ока Лоредану свели запястья вместе и связали их за спиной.

Нетрудно было догадаться, судя по четким и хорошо рассчитанным движениям Жана Бычье Сердце, что решение он принял окончательное.

— Господа!—заговорил Лоредан.— Я не буду вас просить меня отпустить, умоляю вас не убивать меня...

— Тихо!—скомандовал Жан Бычье Сердце.

— Обещаю вам сто тысяч франков, если...

Граф не успел договорить, как во рту у него снова оказался платок, уже послуживший однажды кляпом.

— Сто тысяч,—пролепетал Туссен,—сто тысяч...

— Да где он их возьмет, эти сто тысяч?—пожал плечами Жан Бычье Сердце.

Пленник не мог говорить, но кивнул на свои карманы, предлагая его обыскать.

Жан Бычье Сердце протянул ручищу, запустил два пальца г-ну де Вальженезу в карман редингота и достал набитый франками бумажник.

Он поставил г-на де Вальженеза к стене, словно мумию в кабинете естественной истории, и, вернувшись к лампе, раскрыл бумажник.

Туссен заглядывал ему через плечо.

Жан Бычье Сердце насчитал двадцать банковских билетов.

Сердце у Туссена стучало так, будто вот-вот выскочит из груди.

— Настоящие ли это билеты, Туссен?—усомнился плотник.— Прочти-ка, ты же умеешь читать.

— Я думаю, это настоящие банковские билеты,—отвечал Туссен,— да еще какие! Я таких никогда не видел у менял. Они по пять тысяч каждый.

— Двадцать раз по пять, иными словами—пятью двадцать... о, нечего сказать, счет верный.

— Значит, мы оставим его в живых,—предположил Туссен,— а эту сотню тысяч прикарманим?

— Нет, наоборот,—возразил Жан Бычье Сердце,— деньги мы вернем, а самого его утопим.

— Утопим?—переспросил Туссен.

— Да,—подтвердил Жан.

— И ты уверен, что с нами не случится беды?—вполголоса спросил угольщик.

— Вот в чем наше спасение,—сказал Бартелеми, пряча бумажник в карман графа и застегивая редингот на все пуговицы.

Кто заподозрит двух бедняков вроде нас с тобой в убийстве человека, если в кармане у него остались сто тысяч франков?

— В таком случае я предвижу кое-что,— вздохнул Туссен.

— Что же?

— Как бедными мы родились, дружище Жан, так бедными и помрем.

— Аминь! — молвил Жан Бычье Сердце, взваливая графа на плечо. — Отопри дверь, Туссен.

Тот отворил дверь, но, вскрикнув, сейчас же отступил назад. На пороге стоял человек.

Он вошел в дом.

— Пляди-ка, господин Сальватор! — заметил Жан Бычье Сердце. — Вот дьявол! Как невовремя!

VII

Глава, в которой автор проливает свет на жизнь Сальватора

Сальватор окинул всех троих спокойным взглядом.

— Ну, что тут еще происходит? — поинтересовался он.

— Ничего, — отозвался Жан Бычье Сердце. — Просто я, с вашего позволения, утоплю господина.

— Да, мы собираемся его утопить, — поддакнул Туссен.

— Зачем такая крайность? — задумчиво спросил Сальватор.

— Потому что он пытался сначала нас напоить...

— Потом подкупить...

— И?..

— ...запугать!

— Запугать Жана Бычье Сердце?.. Ладно бы еще Туссена Бунтовщика, но Жана!..

— Вот видите! — возмутился плотник. — Пропустите же нас, и через полчаса его песенка будет спета...

— И как он пытался тебя запугать, дружище?

— Он сказал, что донесет на вас, господин Сальватор, прикажет арестовать и отправит на эшафот! Тогда я сказал: «Ладно, а пока я отправлю тебя в Сену!» Посторонитесь, господин Сальватор.

— Развяжи этого человека, Жан.

— То есть, как это — развяжите?

— Шевелись!

— Разве вы не слышали, что я рассказал?

— Слышал.

— Я сказал, что он хотел на вас донести, приказать вас арестовать и обезглавить.

— А я тебе ответил: «Развяжи этого человека, Жан», и вот еще что: оставь нас одних.

— Господин Сальватор! — взмолился Жан Бычье Сердце.

— Не беспокойся, дружище,— продолжал настаивать молодой человек.— Его сиятельство Лоредан де Вальженез против меня бессилён, зато я, наоборот...

— Наоборот?..

— Я могу все! В последний раз прошу: развяжи его и дай нам спокойно переговорить с глазу на глаз.

— Ну, раз вы так хотите...— смирился Жан Бычье Сердце.

И он бросил на Сальватора вопрошающий взгляд.

— Именно так!— подтвердил молодой человек.

— Тогда я повинуюсь,— окончательно покорился Жан Бычье Сердце.

Он развязал графу руки, вынул кляп изо рта и вышел со своим другом Туссеном, предупредив Сальватора или, скорее, г-на де Вальженеза, что будет стоять за дверью и прибежит по первому зову.

Сальватор проводил их с Туссеном взглядом и, как только дверь за ними закрылась, молвил:

— Извольте сесть, кузен, нам нужно сказать друг другу слишком много; боюсь, стоять нам пришлось бы чересчур долго.

Лоредан метнул на Сальватора быстрый взгляд.

— Рассмотрите меня как следует, Лоредан: это я самый!— продолжал тот, отводя красивые черные шелковистые волосы от лица, невозмутимого и чистого, словно перед ним стоял его лучший друг.

— Откуда вас черт принес, господин Конрад?— спросил граф, чувствуя себя увереннее перед человеком одного с ним ранга, нежели с двумя простолюдниками, с которыми он только что столь безуспешно сражался.— Слово чести, я считал вас мертвым.

— Как видите, я жив,— возразил Сальватор.— Ах, Боже мой, в истории известно немало такого рода происшествий, начиная с Ореста, приказавшего Пиладу объявить о своей смерти Эгисфу и Клитемнестре, и вплоть до герцога Нормандского, оспаривавшего у его величества Карла Десятого трон своего отца Людовика Шестнадцатого.

— Однако ни Орест, ни герцог Нормандский не заставляли оплачивать свои похороны тех, кому они мстят или у кого требуют наследство,— продолжал в том же тоне г-н де Вальженез.

— Дорогой кузен! Не станете же вы меня упрекать в жалких пятистах франках, что вы заплатили за мои похороны. Зато прошу подумать о том, что никогда еще деньги не были помещены надежнее: вот уже около шести лет они вам приносят около двухсот тысяч ливров ренты! Не беспокойтесь, я верну вам пятьсот франков, как только мы уладим наши дела.

— Наши дела!— презрительно бросил Лоредан.— Разве у нас есть общие дела?

— Ну еще бы!

— Уж не касаются ли они наследства усопшего маркиза де Вальженеза, моего дядюшки?

— Можете смело прибавить, дорогой господин Лоредан: «... и вашего отца».

— Ну, поскольку мы одни и, следовательно, это не имеет никакого значения... Готов прибавить ради вашего удовольствия: «... и вашего отца».

— Да,—подтвердил Сальватор,—для меня это большое удовольствие.

— А теперь, господин Конрад... или господин Сальватор—как вам угодно, ведь у вас несколько имен,—не будет ли с моей стороны нескромным любопытствовать, как случилось, что вы живы, когда все считают вас мертвым?

— Да нет, конечно! Я сам собирался поведать вам эту историю, как бы мало она вас ни интересовала.

— Напротив, я заинтригован... Рассказывайте, сударь, рассказывайте!

Сальватор поклонился.

— Как вы, должно быть, помните, дорогой кузен,—начал он,—господин маркиз де Вальженез, ваш дядя и мой отец, умер неожиданно и при весьма странных обстоятельствах.

— Отлично помню!

— Вы помните, что он никогда не хотел меня признавать, и не потому, что считал недостойным носить его имя, а потому, что, признав меня, он мог мне оставить лишь пятую часть своего состояния.

— Очевидно, вы лучше меня разбираетесь в статьях Кодекса, касающихся незаконнорожденных... Будучи законным сыном, я не имел случая заняться их изучением.

— Ах, сударь, положения эти изучал не я, а мой отец... Да настолько тщательно, что даже в день своей смерти пригласил своего нотариуса, честнейшего господина Баратто...

— Да, и никто так никогда и не узнал, зачем он его вызывал. Вы полагаете, для того, чтобы передать ему завещание на ваше имя?

— Я не полагаю, а в этом уверен.

— Уверены?

— Да.

— То есть, как же это?

— Накануне мой отец, чувствуя приближение смерти, о которой я и слышать не хотел, объявил мне о том, что он намерен сделать или, точнее, уже сделал.

— Мне знакома эта история с завещанием.

— Знакома?

— Да, я уже слышал ее в вашем изложении. Маркиз написал завещание своей рукой и собирался передать его господину Баратто. Но до того, как он это сделал, а может быть, и после того—эта подробность, как бы важна она ни была, так и останется тайной,—маркиз умер от апоплексического удара. Все так?

— Да, кузен... за исключением одной подробности.

— Какой же?

— Для пущей осторожности маркиз написал не одно, а два завещания.

— Ага! Два завещания!

— Точнее, одно и то же, но в двух экземплярах, кузен.

— В котором он завещал вам свое имя и свое состояние?

— Вот именно.

— Какое несчастье, что завещание так и не нашли!

— Да, это удар судьбы.

— Неужели маркиз забыл вам сказать, где оно лежит?

— Один экземпляр предназначался для нотариуса, другой должны были дать мне.

— А до тех пор?..

— ... до тех пор маркиз запер их в потайном ящике небольшого секретера, стоявшего у него в спальне.

— Однако я полагал,— заметил Лоредан, пристально вглядываясь в лицо Сальватора,— что вы не знали, где находилось это важное завещание?

— Я и не знал тогда.

— А сегодня?

— Сегодня знаю,— отвечал Сальватор.

— Расскажите же, расскажите! — воскликнул Лоредан.— Это становится любопытно!

— Прошу прощения. Однако не угодно ли сначала послушать, как я оказался жив, хотя все в большей или меньшей степени считают меня мертвым? Я изложу все по порядку: от этого рассказ только выиграет в ясности и увлекательности.

— Излагайте по порядку, дорогой кузен, все по порядку... Я вас слушаю.

И граф де Вальженез принял небрежную и в то же время изысканную позу.

Сальватор начал так:

— Оставим пока историю с завещанием, представляющуюся вам не совсем ясной, рискуя вернуться к ней позднее и пролить на нее необходимый свет. Мы продолжим, если не возражаете, мою историю с того места, как ваше благородное семейство — до тех пор считавшее меня родственником и даже помышлявшее о браке между мной и мадемуазель Сюзанной — стало относиться ко мне как к чужаку и приказано очистить особняк на улице Бак.

Лоредан наклонил голову в знак того, что не возражает, если рассказ начнется с этого места.

— Надеюсь, вы воздадите мне должное, признав, дорогой кузен, что я не причинил вам хлопот и безропотно повиновался? — продолжал Сальватор.

— Это так, — отозвался Лоредан. — Но разве вы вели бы себя точно так же, если бы нашлось пресловутое завещание?

— Возможно, нет, — признался Сальватор. — Человек слаб, и когда ему предстоит перейти из роскоши в нищету, он колеблется, как шахтер, впервые спускающийся в подземелье... Однако

в глубине подземелья его порой поджидают рудная жила или чистое золото!

— Дорогой кузен! С такими принципами человек никогда не будет чувствовать себя бедняком!

— К несчастью, в те времена у меня их не было: меня обуревала гордыня! Правда, моя гордость заставляла меня действовать так, как другой ведет себя в смирении. Я оставил лошадей в конюшне, экипажи — в каретном сарае, туалеты — в шкафу, деньги — в секретере и ушел в чем был, с сотней луидоров в кармане, выигранных накануне в экарте. По моим предположениям, этих денег должно было хватить на год... У меня были разнообразнейшие таланты — так я, во всяком случае, думал; я мог набросать пейзаж, написать портрет, говорил на трех языках. Буду давать уроки рисунка, немецкого, английского и итальянского языков, решил я. Снял меблированную комнату на шестом этаже в центре пригорода Пуассоньер, то есть в квартале, где никогда ноги моей не было и где, стало быть, никто меня не знал. Порвал все прежние связи, попытался зажечь новой жизнью, жалея лишь об одной вещице, оставленной в моем былом особняке...

— Об одной вещице?

— Да. Угадайте какой!

— Говорите!

— О небольшом секретере розового дерева, фамильной безделушке, которая досталась маркизу от матери, а той — от бабки.

— О Господи! — обронил Лоредан. — Что ж вы не попросили? Я бы с удовольствием вам его подарил.

— Я вам верю — прежде всего потому, что вы мне об этом говорите, дорогой кузен, а во-вторых, я узнал, что вы приказали продать секретер вместе с другой обстановкой.

— А вы хотели бы, чтобы я хранил всю эту рухлядь?

— Да что вы! Напротив! И скоро я представлю доказательства того, что вы поступили правильно... Итак, я ушел, унося в душе лишь сожаления, и начал новую жизнь, как говорит Данте. Ах, дорогой кузен, желаю вам никогда не разоряться! Как отвратительно быть бедным и из упрямства пытаться сохранить честь!

Господин де Вальженез презрительно усмехнулся.

— Вы знаете жизнь и можете вообразить, как все произошло, дорогой кузен, — сказал Сальватор. — Мой талант художника, прелестный для любителя, оказался весьма посредственным для профессионала. Мое знание языков, достаточное для богатого путешественника, было лишено глубины, необходимой преподавателю, который должен учить других. Через девять месяцев я проел свою сотню луидоров; у меня не было ни единого ученика, торговцы не брали моих картин... Короче говоря, поскольку я не хотел ни становиться мошенником, ни жить на содержании, мне оставалось выбрать между рекой, веревкой и пистолетом!

— И вы, конечно же, остановили выбор на пистолете?

— О, такие решения не так-то просто принимаются, дорогой кузен! Когда вам самому доведется стоять перед подобным выбором, вы увидите, как трудно проглотить эту пилюлю... Я долго колебался. О реке нечего было и думать: я умею плавать, а с камнем на шее я напоминал бы несчастного щенка, и это сходство было мне отвратительно. Веревка обезображивает, кроме того, еще недостаточно изучено, что чувствует человек, когда его вешают: я боялся, что кто-нибудь скажет, будто я покончил с собой из любопытства... Оставался пистолет... Он тоже обезображивает, но вид застрелившегося человека скорее пугает, нежели может показаться смешным. Я неплохо разбираюсь в медицине или, точнее, в хирургии, и мог направить ствол в нужное место; я был уверен, что не промахнусь.

Я назначил себе неделю, чтобы еще раз попытаться начать жизнь заново, дав себе слово, что, если мне это не удастся, я по истечении этого срока покончу с собой. Все мои попытки провалились! Настал последний день... Я добросовестно испробовал все; у меня оставался двойной луидор: этого было недостаточно даже для того, чтобы купить приличный пистолет, который не разорвало бы у меня в руках при первом же выстреле; кроме того, мне была отвратительна сама мысль пустить себе пулю в лоб из дрянного оружия.

К счастью, у меня был кредит. Я пошел к Лепажу, являвшемуся моим поставщиком; он не видел меня около года и, полагая, что у меня двести тысяч ливров ренты, предоставил в мое распоряжение весь свой магазин. Я выбрал превосходный двухзарядный пистолет с короткими нарезными стволами, расположенными один над другим. Я решил, что укажу в завещании: пистолет принадлежит Лепажу и я хочу, чтобы он был возвращен хозяину. И пока я находился у оружейника, я зарядил свой пистолет... по две пули в каждый ствол — этого было больше чем достаточно! Когда я все это тщательно проделывал, мне показалось, что в лице у хозяина промелькнуло сомнение; но я так хорошо держался, что даже если он что-нибудь и заподозрил бы, его подозрение сейчас же развеялось бы.

Когда пистолет был заряжен, я почувствовал голод. Я поднялся по улице Ришелье, вышел на бульвар, заглянул в кафе Риш и пообедал. Вошел туда с сорока франками, а вышел с тридцатью. Десятифранковый обед в кафе Риш мог себе позволить человек, имевший двести тысяч ливров ренты и собиравшийся пустить себе пулю в лоб, потому что у него осталось всего сорок франков. Было два часа, когда я вышел из кафе. Мне пришла мысль попрощаться с аристократическим Парижем; я поднялся по бульвару до Мадлен, свернул на улицу Руаяль, сел на Елисейских полях. Там передо мной проехали все мои знакомые светские дамы, элегантные господа... Видел я и вас, кузен: вы сидели на моего арабского скакуна Джерида. Никто меня не узнавал, ведь я отсутствовал около года, а отсутствие — почти смерть; когда

же отсутствие сопровождается разорением, это смерть окончательная и бесповоротная.

В четыре часа я встал и, машинально сжимая рукоятку моего пистолета, словно руку лучшего друга, вернулся в Париж... Случаю — прости, Господи, нечаянно произнес это слово! — Провидению было угодно, чтобы я свернул на улицу Сент-Оноре. Я говорю «Провидению» и подчеркиваю это; я направлялся в предместье Пуассоньер и мог пойти либо по улице Риволи либо по бульвару, где довольно чисто; я же зашагал по грязной улице Сент-Оноре. Почему?!

О чем я тогда думал? Трудно сказать. Блуждал ли я мысленно в потемках прошлого или устремлялся к сияющим далям будущего? Воспарял ли мой разум над нашим миром, подобно бесплотной душе? Или брэнное тело увлекало его вслед за собой в глубокую могилу? Не знаю. Я грезил: ничего не видел, ничего не чувствовал, кроме рукоятки пистолета, которую то нежно поглаживал, то сжимал изо всех сил...

Вдруг на моем пути возникло препятствие: улицу Сент-Оноре затопили любопытные. Молодой проповедник, покровительствуемый аббатом Оливье, выступал с проповедью в Сен-Рок. Мне захотелось войти в церковь и в ту самую минуту, как я собирался встретиться с Богом лицом к лицу, услышать святое слово, которое взял бы с собой в долгий путь как манну небесную... Не обращая внимания на толпившийся на паперти народ, я вошел с улицы Сен-Рок и беспрепятственно приблизился к кафедре. Только там я выпустил рукоятку смертельного оружия, чтобы зачерпнуть святой воды и перекрестить лоб...

VIII

**Как господин Конрад де Вальженез понял,
что его истинное призвание — быть комиссионером**

Сальватор прервал свой рассказ.
— Простите! — обратился он к своему кузену. — Вам может показаться, что я излишне многословен. Но я подумал, что моя жизнь имела для вас огромное значение и каждая подробность ее в то решающее время должна вас интересовать.
— Вы совершенно правы, сударь, — посерьезнел вдруг Лоредан. — Продолжайте, я вас слушаю.

— Голос проповедника достиг моего слуха, прежде чем я увидел его самого, — говорил между тем Сальватор. — Голос этот то дрожал, то в нем чувствовалась необычайная сила, но он неизменно трогал за душу. Несколько минут я слышал только мелодию этого голоса, мыслями я уже был далек от настоящего, и понадобилось некоторое время, чтобы голос из этого мира, казавшегося мне прошлым, дошел до меня... Судя по первым же словам, которые я услышал и, так сказать, осознал, я понял, что

проповедник не то чтобы выступает против самоубийства, но, во всяком случае, именно этой теме посвятил свою речь. Он говорил об обязанностях человека перед себе подобными, о пустоте... я не помню его собственные выражения, но смысл заключался в том, что человек, умирающий раньше отмеренного ему Провидением срока, оставляет в своем кругу «невосполнимую» пустоту. Он привел слова Шекспира, когда Гамлет, отгоняющий от себя мысль о самоубийстве, которая его душит, подступает к нему, подталкивает его к могиле, говорит:

И воробей не погибнет без воли Провидения!

Подобно тарану, пробивающему одну за другой все стены, он приводил и опровергал один за другим все возможные мотивы, толкающие человека на самоубийство: обманутое честолюбие, преданная любовь, потерянное состояние. Он напомнил о веках веры—с четырнадцатого по восемнадцатый,—напрасно пытаясь отыскать в них следы самоубийства и не находя их. Согласно его идее самоубийство начиналось там, где прекращал свое существование монастырь. Раньше человек обманутый, преданный, разорившийся—словом, раздавленный горем, какое бы ни было это горе, уходил в монастырь. Это был способ расстаться с жизнью, этакое моральное, ежели не физическое, самоубийство: человек хоронил себя в огромной общей могиле, зовущейся монастырем; он молился, и ему случалось найти в этом утешение. Сегодня ничего этого нет, монастыри уничтожены или закрыты. Остается труд: работать—значит молиться!..

Эти слова открыли мне глаза, и я взглянул на того, кто их произносил. Это был красивый монах лет двадцати пяти, в испанском костюме: бледный доминиканец, худой, черноглазый... огромные глаза были особенно хороши! Он объединял в себе два способа существования, о которых он говорил,—молитву и труд. Чувствовалось, что этот человек беспрестанно молится и всегда трудится.

Я огляделся и спросил себя: какая работа по мне? Руссо учит своего Эмиля столярничать, меня же, к сожалению, не научили никакому ремеслу. Я увидел человека лет тридцати, в черной бархатной куртке и с каскеткой в руке. На груди у него была медная бляха. Я узнал в нем комиссионера. Он стоял прислонившись к колонне и внимательно слушал проповедника. Я прошел рядом с ним и прислонился к той же колонне, решил не терять его из виду: мне надо было расспросить его. Я дослушал проповедь до конца, но еще раньше, чем она окончилась, я уже решил, что буду жить... Проповедник спустился с кафедры и прошел мимо меня.

«Как вас зовут, отец мой?»—спросил я его.

«Среди людей или перед Господом?»—уточнил он.

«Перед Господом».

«Брат Доминик».

И он пошел дальше... Толпа потянулась из церкви. Я последовал за комиссионером. На углу улицы Сен-Рок я его окликнул:

«Простите, дружище!»

Он обернулся:

«Сударь нуждается в моих услугах?»

«Да», — улыбнулся я.

«Мне взять крюки или это просто посылка?»

«Я хотел бы кое-что узнать».

«А-а, понимаю: господин — иностранец...».

«В жизни — да: ничего в ней не понимаю!»

Он бросил на меня удивленный взгляд.

«Вы довольны своим ремеслом?» — спросил я.

«Все зависит от того, как вы это понимаете».

«Я спрашиваю, нравится ли оно вам».

«Ну конечно, раз я работаю комиссионером!»

«Позвольте вам заметить, что это не всегда достаточная причина...».

«Так что же вам все-таки угодно знать?»

«Вам хватает на жизнь?»

«Зарабатываю я немного, но в конечном счете с голоду не умираю».

«Будьте любезны, просветите меня!»

«Спрашивайте, и я отвечу на ваш вопрос».

«Сколько вы получаете в среднем за день?»

«В приличных кварталах — пять-шесть франков».

«Стало быть, две тысячи франков в год?»

«Около того».

«Сколько из них вы тратите?»

«Почти половину».

«Таким образом вы откладываете каждый год по?...»

«...по тысяче франков!»

«В чем заключаются неприятные стороны вашего ремесла?»

«Я таких не знаю».

«Вы свободный человек?»

«Свободен как ветер».

«Мне казалось, вы зависите от других...».

«От других? О Господи, да кто же от них не зависит? Король Карл Десятый и тот зависит! Клянусь, я чувствую себя более свободным, чем он!»

«Почему?»

«Если поручение кажется мне подозрительным, я от него отказываюсь; если ноша представляется слишком тяжелой, я качаю головой. Все дело в том, чтобы тебя знали, а уж потом можно и выбирать».

«Вы давно работаете комиссионером?»

«Десять лет».

«И за это время вы ни разу не пожалели, что выбрали именно это ремесло?»

«Никогда».

Я на мгновение задумался.

«Это все, что вы хотели узнать? — спросил мой собеседник.

«Последний вопрос!»

«Слушаю вас».

«Когда человек хочет стать комиссионером, что он должен предпринять?»

Комиссионер посмотрел на меня и рассмеялся:

«Уж не хотите ли вы случаем пойти в комиссионеры?»

«Возможно».

«Дело это нехитрое и ничьих протекций не нужно».

«Да ну?»

«Вы идете в Префектуру с двумя свидетелями, которые отвечают за вашу нравственность, и просите номер».

«И сколько это стоит?»

«Дадите сколько-нибудь за беспокойство».

«Спасибо, друг мой!»

Я вынул из кармана монету в пять франков и подал ему.

«А это что?» — удивился он.

«Это за беспокойство, которое я вам причинил».

«Это было не беспокойство, а удовольствие, а за удовольствие я денег не беру».

«В таком случае позвольте пожать вам руку и поблагодарить».

«Это другое дело!»

Он протянул мне грубую руку, и мы обменялись сердечным рукопожатием.

«Вот черт! — сказал он мне, уходя. — Как странно: мне кажется, что я впервые пожал руку человеку!»

И я пошел к себе в мансарду.

IX

Самоубийство

С того момента, как я простился с мыслью о смерти, — продолжал Сальватор, — у меня появились другие заботы! Прежде всего ужин, который был бы мне не нужен, если бы я упорствовал в своем первоначальном проекте. Затем, мне нужно было купить полный костюм комиссионера; наконец, мне надо было позаботиться о «предмете», как говорят в анатомическом театре, — «предмете», который я мог бы выдать за себя... Если я и передумал распрощаться с жизнью, то хотел, чтобы меня по крайней мере сочли умершим. Я немного изучал медицину, занимался анатомией в двух-трех больницах и был знаком с ребятами из анатомического театра. Дело заключалось в том, чтобы добыть труп молодого человека моих лет, уложить в мою постель и изуродовать ему лицо выстрелом. Однако это сулило серьезные осложнения: при вскрытии врач сразу определит, что выстрел был произведен в уже остывший труп. Я отправился в Отель-Дье — когда-то я оказал

большую услугу служащему анатомического театра, освободив его брата от воинской повинности,—этот человек был готов отдать за меня жизнь. Брат был кучером фиакра и тоже считал себя обязанным. Я приказал позвать служащего.

«Луи!—сказал я ему.—Часто ли к вам приносят людей, путивших себе пулю в лоб?»

«Раза два-три в месяц, господин Конрад. Не чаще!»

«Мне во что бы то ни стало нужен первый, который поступит в Отель-Дье, слышишь, Луи?»

«Чего бы это ни стоило, он будет ваш, даже если за это я лишусь места!»

«Спасибо, Луи».

«Куда доставить тело?»

«Ко мне в предместье Пуассоньер, дом номер семьдесят семь, пятый этаж».

«Я договорюсь с братом».

«Я могу на тебя рассчитывать, Луи?»

«Я же дал слово,—пожал он плечами,—только будьте по ночам дома».

«Начиная с сегодняшнего вечера я никуда не выйду, будь покоем».

Я боялся, что с тридцатью франками далеко не уйду. Возможно, я умер бы от голода раньше, чем кто-нибудь еще более несчастный вздумает застрелиться...

По дороге домой я зашел к старьевщику и подобрал бархатные штаны, куртку и жилет за пятнадцать франков; я купил эти вещи и со свертком под мышкой пошел к себе. Охотничьи ботинки и старая каскетка должны были довершить мой костюм. У меня оставалось пятнадцать франков. С умом их распределив, я мог бы протянуть дней пять-шесть. Все уже было готово для решительной минуты, даже мое предсмертное письмо.

В ночь на третий или четвертый день я услышал условный сигнал: в мое окно, выходявшее на улицу, ударил камешек. Я спустился, отпер дверь; перед домом стоял фиакр с трупом. Мы с Луи перенесли его в мою комнату, положили на кровать, и я надел на него одну из своих рубашек. Это был труп молодого человека, его лицо было до неузнаваемости обезображено выстрелом. Случай, этот страшный союзник, сослужил мне прекрасную службу!

Я разрядил один из стволов своего пистолета, обжег его для видимости, будто из него стреляли, и вложил мертвецу в руку. Я не забыл упомянуть в предсмертном письме, что пистолет принадлежит Лепажу: Лепаж, таким образом, должен был помочь установить личность убитого, сообщив, что господин Конрад де Вальженез приходил к нему за пистолетом за несколько дней до самоубийства.

Я оставил свою одежду на стуле, словно позаботился о том, чтобы раздеться перед смертью, потом облачился в костюм комиссионера, запер дверь на два оборота и спустился вместе

с Луи. Я бросил ключ на середину улицы—будто бы из окна, заперевшись изнутри. Стекло, разбитое Луи, когда он бросил камень, должно было заставить свидетелей поверить в такую версию. У меня был ключ от входной двери: мы вышли так, что привратник нас не видел и не слышал. На следующее утро в девять часов я явился в полицию с двумя поручителями, Луи и его братом, и мне выдали бляху на имя Сальватора... С того дня, дорогой кузен, я исполняю обязанности комиссионера на углу улицы О-Фер рядом с кабачком «Золотая ракушка».

— С чем вас и поздравляю, сударь,—отозвался Лоредан.— Но, признаться, я не вижу связи между этой историей и сведениями о завещании маркиза; не понимаю также, каким образом вы мне вернете пятьсот франков, которые мы напрасно отдали господину Жакалю на ваши похороны.

— Погодите, дорогой кузен,—продолжал Сальватор.— Какого черта! Не думаете же вы, что я просто так открыл вам тайну своего существования, не будучи уверен в вашей скромности!

— В таком случае вы, кажется, рассчитываете держать меня здесь до Судного дня?

— Ах, ваше сиятельство, вы заблуждаетесь, у меня другие намерения. Завтра в пять часов утра вы будете свободны.

— Знаете, что я сказал вашим сообщникам? Я обещал, что через час после того, как мне будет возвращена свобода, вы все окажетесь за решеткой.

— Да-да, это едва не кончилось для вас весьма плачевно! Если бы я не оказался в эту минуту на пороге, вы рисковали уже никогда никого не выдать полиции и не арестовать, а ведь это, в сущности, недостойное занятие, дорогой кузен. Я вам предсказываю заранее, что вы еще подумаете, а подумав, оставите этого ничтожного Сальватора в покое у его столба на улице О-Фер, чтобы и он вас не тронул в вашем особняке на улице Бак.

— Могу ли я, воспользовавшись вашей откровенностью, дорогой господин Сальватор, полюбопытствовать, как вы рассчитывали меня побеспокоить?

— Об этом я вам расскажу. Самое интересное я припас на конец.

— Я вас слушаю.

— На сей раз я просто уверен в вашем внимании! Начнем с нравоучения: я давно заметил, дорогой кузен, что, если творить добро, это приносит удачу.

— Вы хотели, по-видимому, начать с банальности?

— Банальность, нравоучение... Вы еще оцените это в свое время. Вчера, дорогой кузен, я решил сделать доброе дело и украсть у вас Мину, что и, к величайшей своей радости, с блеском исполнил.

На губах Вальженеза мелькнула хищная улыбка, в которой ясно читались лютая ненависть и жажда мщения.

— Итак,—продолжал Сальватор,—вчера, отправляясь на почтовую станцию заказать лошадей, на которых укатали нежные влюбленные, я зашел на городской аукцион, что по улице

Женер, если не ошибаюсь; во дворе разгружали мебель для продажи с торгов...

— Да какое мне до этого дело, господин Сальватор!— возмутился Лоредан.— И что за интерес слушать про мебель, которую разгружали на улице Женер?

— Если вы наберетесь терпения еще на полминуты, дорогой кузен, я вас не разочарую и вы почувствуете определенный интерес: в этом я просто уверен!

— Ну, послушаем!— сказал Лоредан, небрежно закидывая ногу на ногу.

— Едва взглянув на эту мебель, я вскрикнул от изумления... Угадайте, что я увидел в этой свалке?

— Как, по-вашему, я могу угадать?

— Вы правы, это невозможно... Я узнал небольшой секретер розового дерева, принадлежавший моему отцу, а отец любил его за то, что он достался ему от матери, которая, в свою очередь, унаследовала секретер от бабушки, о чем, впрочем, я вам уже говорил.

— Ну, поздравляю! Я так и вижу: вы купили эту рухлядь розового дерева за пятьдесят франков, и теперь он украшает гостиную господина Сальватора!

— За шестьдесят, дорогой кузен. Я купил его за шестьдесят франков. Откровенно говоря, он стоил этих денег!

— Из-за воспоминаний, которые он навевал?

— Да... И кроме того, из-за бумаг, в нем находившихся.

— А в нем были бумаги?

— Да, и очень дорогие!

— И эти бумаги сохранились, несмотря на многочисленных любителей, через чьи руки прошел секретер?.. По правде говоря, дорогой Сальватор, Небо творит ради вас настоящие чудеса!

— Да, сударь,— без улыбки произнес Сальватор,— и я ни-жайше благодарен ему за это.

Потом в прежнем тоне он продолжал:

— Хотя чудо не так уж велико, как может показаться на первый взгляд, в чем вы сейчас убедитесь.

— Я слушаю.

— Вижу, вижу... Итак, я отнес секретер домой.

— Унесли?

— Ну конечно! На ремнях... я же комиссионер!— улыбнулся Сальватор.

— Верно,— едва сдерживая смех, согласился Лоредан.

— Когда я принес секретер— я так любил его когда-то!— меня, как вы понимаете, охватило желание как следует его осмотреть. Я выдвигал один за другим все ящички, отпирал замочки, исследовал все сверху донизу... Вдруг я заметил, что у среднего ящика, того, в котором хранились деньги, двойное дно!..

Лоредан не отрывал от Сальватора горящего взора.

— Интересно, не правда ли?— продолжал Сальватор.— Ну, не стану вас томить. Ящик был с секретом, но я его разгадал и открыл.

— Что там было?
— Одна-единственная бумага.
— И эта бумага?..
— ...оказалась тем самым документом, который мы так долго искали, дорогой кузен!

— Завещание? — вскричал Лоредан.
— Завещание!
— Завещание маркиза?
— Завещание маркиза, по которому тот оставляет своему крестнику Конраду все свое достояние, движимое и недвижимое, при условии, что он наследует титул, имя и герб главы семейства Вальженезов.

— Невероятно! — воскликнул Лоредан.
— Вот завещание, кузен, — сказал Сальватор и вынул из кармана бумагу.

Лоредан невольно выбросил руку вперед, собираясь ее схватить.
— О нет, дорогой кузен, — возразил Сальватор, прижимая бумагу к груди. — Этот документ, как вы понимаете, должен оставаться в руках того, чьи интересы он охраняет, но я не прочь вам его прочесть.

И Сальватор начал:

«Настоящий документ является моим собственноручным завещанием, точная копия с которого будет передана завтра в руки г-на Пьера-Николя Баратто, нотариуса, проживающего на Вареннской улице в Париже. Оба документа, написанные моей рукой, имеют силу оригинала.

Подпись: Маркиз де Вальженез.

Дня 11 месяца июля 1821 года».

— Читать дальше? — спросил Сальватор.
— Нет, сударь, не нужно, — пролепетал Лоредан.
— Да вы сами знаете, что там написано, не так ли, кузен? Однако я хотел бы знать, просто из любопытства: сколько вы заплатили за это знание господину Баратто?

— Сударь! — вскричал граф, поднимаясь с угрожающим видом.

— Возвращаюсь к своему мнению, кузен, — продолжал Сальватор, будто не замечая движения г-на де Вальженеза. — Как я уже сказал, творить добро — дело, которое приносит удачу. Я мог бы прибавить, что творить зло — значит навлекать на себя несчастье.

— Сударь! — повторил Лоредан.

— Ведь если бы вы не причинили зла, похитив Мину, — не теряя хладнокровия, продолжал Сальватор, — мне бы не пришлось в голову делать добро, спасая ее; мне не понадобились бы почтовые лошади, не пошел бы я по улице Женер, не узнал бы секретер, не купил бы его, не открыл бы его секрет и, наконец, не нашел бы завещания, позволяющего мне сказать вам: дорогой кузен, вы совершенно свободны, но предупреждаю, что если у меня появится малейший повод

быть вами недовольным, я обнародую это завещание, то есть разорю вас, вашего отца, вашу сестру! Если же вы не станете мешать влюбленным, которым я покровительствую, продолжать путь и жить счастливо за границей, что ж... В мои планы входит остаться комиссионером еще на год-два, на три года, может быть, а вы понимаете: пока я буду комиссионером, мне не понадобятся двести тысяч ливров ренты, потому что я зарабатываю пять-шесть франков в день. Итак, мир или война, выбирайте, кузен; я предлагаю мир, но не отказываюсь и от войны. Кроме того, повторяю, вы свободны, однако на вашем месте я бы воспользовался гостеприимством и провел здесь ночь в размышлениях. Утро вечера мудренее!

С этим пожеланием Сальватор покинул своего кузена Лоредана и вышел, оставив дверь незапертой, а Жана Бычье Сердце и Туссена Бунтовщика увел с собой, чтобы г-н де Вальженез видел: он волен остаться или уйти.

Х

Новый персонаж

Посмотрим теперь, что происходило на Ульмской улице в доме номер десять через несколько дней после событий, о которых мы только что рассказали.

Если только наши читатели следили с некоторым вниманием за многочисленными сценами нашей драмы и обладают памятью, они, несомненно, вспомнят, что колдунья с улицы Трипре переехала в квартиру, снятую, меблированную и обставленную Петрусом в доме номер десять по Ульмской улице; вместе с Брокантой переехали, разумеется, Розочка, Баболенья и дюжина собак.

Комната, в которой жила теперь старая цыганка — музей редкостей и в то же время колдовской приют, — предлагала, как мы уже говорили, изумленному взору посетителя среди прочих невероятных предметов колокольню, служившую домиком или гнездом ворону, а также разнообразные бочки, в которых спали собаки.

В наше намерение как автора этой книги — да простят нам это небольшое отступление — входит не только (как видно из темы, которую мы сейчас затрагиваем) заставлять читателя бегать вместе с нами, перескакивать со ступеньки на ступеньку общественной лестницы, посещая всех, начиная от папы Григория XVI, к которому мы еще заглянем в свое время, до старьевщика Костыля, и от короля Карла Десятого до кошкодава; но и время от времени мы рассчитываем совершать экскурсии в низшие миры, отведенные животным.

Мы уже имели случай убедиться в необыкновенных способностях ворона Фареса, пса Бразила, или Роланда; и если первый из них оставил нас более или менее равнодушными, учитывая

незначительную роль, отведенную ему в описанных нами событиях, то другой, напротив,— и в этом мы ничуть не сомневаемся! — завоевал симпатии читателя.

И ничего нет удивительного в том, что, сделав первый шаг среди низших созданий, среди братьев наших меньших, как называет их Мишле, мы сделаем и второй шаг, расширяя и без того широкий круг, внутри которого мы действуем.

Чего же вы хотите, дорогие читатели! Мне было дано, к отчаянию директоров театров и издателей, а может быть и к вашему огорчению, сочинять драмы в пятнадцать картин и романы в десять — двенадцать частей! Это вина не моя, а моего темперамента и воображения.

Итак, мы перенесли с вами в этот час на Ульмскую улицу и оказались среди собак Броканты; просим вашего позволения познакомить вас с одним из этих животных.

Речь идет о любимой собаке самой колдуньи. У колдуний вообще вкусы странные: не являются ли они колдуньями именно благодаря своим вкусам? А может быть, странные вкусы появились у них оттого, что они колдуны? Этого мы не знаем и оставляем этот важный вопрос на суд более опытного человека. Больше других собак наша колдунья любила дрянного черного пуделька. Судим мы о нем, разумеется, с позиций человеческой гордыни: с точки зрения природы дрянных животных не бывает.

Дело в том, что на взгляд любого человека — о природе судить не беремся — песик этот был до крайности безобразен: маленький, коротконогий, грязный, да притом же злой, ворчливый, требовательный — словом, он соединял в себе все пороки старого мальчиaka и, как и положено, вызывал ненависть у всех своих товарищей.

Из этого всеобщего отвращения вышло следующее. Броканта, его хозяйка, поначалу по причине чисто женского упрямства привязалась к нему с истинно материнской нежностью, но со временем любовь эта постепенно переросла в настоящую страсть в пику враждебности, которую к пуделю питали и публично проявляли его товарищи.

Так и случилось, что Броканта стала оказывать ему всяческие знаки внимания, вплоть до того, что кормила его из отдельной миски и в отдельной комнате, страхась, как бы он не умер от истощения, пока другие собаки говорят ему разные гадости и подвергают адским мукам в священные часы обеда и ужина.

Вы знаете, на что способна людская гордыня, не так ли, дорогие читатели? Теперь посмотрите, что может сделать гордыня, присущая животным.

Этот черный пес, этот грязный пудель, этот Бабилас был — так нам, во всяком случае, кажется — особенно уродлив, и, видя, как над ним трясется хозяйка, как ласкает и кормит его отдельно от других собак, в конце концов вообразил, что он самый красивый, изящный, умный, любезный и обворожительный пес на свете. И раз вбив себе в голову эту мысль, он, вполне естественно,

стал, как и любой человек в таких же обстоятельствах, высмеивать себе подобных, бесстыдно их облаивать, дергать за хвосты, кусать за уши, презирая каждого и будучи уверенным в безнаказанности; он важничал, задира л нос, чванился, напуская на себя такой важный вид, что все его товарищи презрительно усмехались, жалостливо пожимали плечами и говорили между собой:

— Ну и выскочка!

Полагаю, дорогие читатели, вы окажете мне честь, обратившись ко мне с таким замечанием:

— Господин романист! Вы можете интерпретировать, воспроизводить и перевирать слова и поступки людей; но, по правде говоря, вы хватили через край, пытаетесь внушить нам мысль о том, что собаки говорят, пожимают плечами, усмехаются!

Что до усмешек и улыбок, позвольте вам заметить, дорогие читатели, что одна моя знакомая собака, беленькая левретка, принадлежащая к самому аристократическому кругу борзых, улыбается всякий раз, как меня видит, показывая свои изящные белые зубки; и я бы даже мог, напротив, решить, что она сердится, если бы всем своим видом она не выражала при этом своей радости. Зовут ее Жизель.

Итак, по моему мнению, собаки умеют улыбаться, потому что моя дорогая Жизель неизменно улыбается мне при встрече.

Не берусь утверждать, что собаки пожимают плечами точно как люди; я, скорее, неточно выразился: мне следовало сказать не «пожимают плечами», а встряхивают плечами. Не замечали ли вы, что как только собаки познакомились — а вы знаете, каким незатейливым способом собаки сводят знакомство, — что та из них, которая считает себя обманутой в своих надеждах (обнаружив, подобно капитану Памфилу, герою написанной мною лет двадцать пять тому назад живописной истории, негра там, где он надеялся найти негритьянку), презрительно встряхивает плечами и уходит? Это факт бесспорный, не оспаривайте его и вы, дорогие читатели.

Теперь перейдем к речи.

Собаки не умеют говорить! Самонадеянные вы люди, если полагаете, что только вас Провидение наделило способностью обмениваться мыслями! Потому только, что вы сами говорите по-английски, по-французски, по-китайски, по-испански, по-немецки, но не говорите «по-собачьи», вы безапелляционно заявляете: «Собаки не умеют говорить!»

Заблуждение! Собаки говорят на своем языке, как вы говорите на вашем. Более того, вы, самонадеянные люди, не слышите, о чем они говорят, а вот они вас понимают. Спросите охотника, умеет ли говорить его пес: он наблюдал, как тот во сне гонит зайца, затевает ссору, вступает в схватку! Так кто же бодрствует внутри спящего пса? Не есть ли это душа менее совершенная, но, уж конечно, более добрая, чем у нас?

Собаки не умеют говорить! Попробуйте сказать об этом своему трехлетнему сынишке, резвящемуся посреди лужайки с ог-

ромным трехмесячным ньюфаундлендом. Дитя и щенок играют, словно братья, издавая нечленораздельные звуки во время игр и ласк. Ах, Господи! Да собака просто-напросто пытается разговаривать на языке ребенка, а малыш — на языке животного. На каком бы языке они ни общались, они наверняка друг друга понимают и, может быть, сообщают один другому на этом непонятном языке больше истин о Боге и природе, нежели изрек-ли за всю свою жизнь Платон или Боссюэ.

Итак, собаки обладают даром слова, это не вызывает у нас никаких сомнений, а кроме того, у них есть перед нами огромное преимущество: сами говоря по-собачьи, они понимают и французский, и немецкий, и испанский, и китайский, и итальянский языки, тогда как мы, говоря либо по-итальянски, либо по-китайски, либо по-испански, либо по-немецки, либо по-французски, собачьего языка не понимаем.

Вернемся к несчастным тварям Броканты и их тяжелому положению из-за смешных притязаний Бабиласа.

Презрение, которое при каждом удобном случае выказывали товарищи Бабиласу, не приносило им самим облегчения: для этого надо было бы начать жизнь сначала.

Броканта, понимавшая, как и положено колдунье, все языки, едва заслышав мало-мальски грубое слово, спешила вмешаться, в зависимости от степени ругательства, либо с многохвостой плеткой, либо с веником в руках. Плетка была ее волшебной палочкой, а веник — трезубцем Нептуна! Можно с уверенностью утверждать, что Броканта не знала, что означали слова: «Quos ego!»¹, но собаки сейчас же переводили эту угрозу как: «У-у, жульё!» И каждая из них, поджав хвост, убиралась в свою конуру и не сразу осмеливалась высунуть нос или выглянуть из бочки.

Правда, борзая стонала, пудель скулил, бульдог ворчал, но нетерпеливые шаги, отдававшиеся на паркетном полу, и страшные слова: «Да уймется вы когда-нибудь?!» — заставляли всю собачью компанию замереть. И все умолкали, забившись по своим бочкам, тогда как подлый Бабилас нахально усаживался посреди комнаты, а иногда его бесстыдство простиралось до того, что он прохаживался мимо бочек, проверяя, все ли бунтари заключены в тюрьму.

Такие ухватки Бабиласа, день ото дня становившиеся все более вызывающими, в конце концов, как вы понимаете, показали совершенно невыносимыми всей собачьей республике; собаки не раз решали, воспользовавшись отсутствием Броканты, задать мэтру Бабиласу хороший урок, но случай всегда приходит на выручку тиранам и хлыщам: в ту самую минуту, как готов был вспыхнуть мятеж, Броканта, подобно античной богине зла, появлялась вдруг с веником или плеткой в руке и разводила незадачливых заговорщиков по конурам.

¹ «Я вас!» (Латин.).

Что делать в столь невеселом положении, как избавиться от деспотичной власти, если у нее на вооружении веник и плетка?

Свора стала думать. Борзая предложила эмигрировать, покинуть родную землю, бежать из отечества в поисках более гостеприимных берегов, бульдог вызвался придушить Бабиласа, но, признаться, мысль о собачьем братоубийстве претила всей компании.

— Постараемся избежать кровопролития! — предложил спаниель, известный своей мягкостью.

Его поддержала старая испанская ищейка, всегда бывшая с ним одного мнения и так к нему привязавшаяся, что зачастую делила с ним одну конуру.

Ни одно из решительных средств не удовлетворило благородных псов, и было решено не замышлять против Бабиласа заговоров, а окружить его презрением. Его стали бойкотировать, как говорят в римских коллежах, подвергли его карантину, как говорят в коллежах французских; его сторонились, с ним не разговаривали, его не видели в упор, наконец, как поэтично говорится в опере «Фаворитка»:

Остался он один с бесчестьем своим!

Что сделал Бабилас? Вместо того чтобы раскаяться, он, ослепленный безрассудной любовью Броканты, умудрился еще пуще мистифицировать своих товарищей; днем он их облаивал, ночью безжалостно нарушал их сон — словом, уверенный в поддержке своей хозяйки, Бабилас превратил их жизнь в ад.

Если было жарко и Броканта открывала окно, чтобы впустить свежего воздуха, Бабилас начинал жалобно прыгать и дрожать всеми членами, словно в двадцатипятиградусный мороз. Если окно было, напротив, закрыто, а за окном шел дождь, снег или трещал мороз, Бабилас жаловался на духоту, печка его беспокоила: он задира лозе печки лапу и, насколько это было в его силах, пытался потушить огонь. Броканта думала, что ему жарко; опасаясь, как бы не заболел ее любимец, гасила огонь и распахивала окно, пусть даже другие собаки дрожали от такого же лютого мороза, какой бывает в Москве.

Короче говоря, этот негодяй Бабилас превратился в домашнего демона! Никому он был не нужен, у всех вызывал неприязнь, и тем не менее — поди-ка объясни этот факт! — несмотря на скопище пороков, а может быть и благодаря им, он был любим Брокантой!

Хотя весна 1827 года была ничуть не жарче весны года 1857-го, Бабилас то по злобе, то из нужды, то по другой причине раз двадцать заставлял хозяйку открывать окно. И вот, высунув в окно нос — как помнят читатели, комната находилась в первом этаже, — Бабилас издали заметил молодую черноглазую рыженькую собачку с жемчужными зубками и коралловыми губками — как известно, существует два вида кораллов: красный и розовый, и последний гораздо дороже первого.

Красивая походка этой юной особы, чей клык еще оставлял отметину в виде геральдической лилии, а также горящий взор, гибкая талия, небольшая лапка — все обаяние ее личности заставили Бабиласа задрожать, и он закричал на своем собачьем языке:

— До чего хороша собачка!

На его крик — так бывает, когда стоящий у окна курильщик восклицает: «До чего хороша дамочка!» — и все посетители клуба, играющие в вист, читающие газету, пьющие кофе, поедающие мороженое, потягивающие из рюмочки, бегут наперегонки, — на его крик, как мы сказали, все собаки, сидевшие, стоявшие, лежащие в комнате, бросились к окну полюбоваться красоткой вместе с Бабиласом; однако тот обернулся, оскалил зубы, зарычал, и все собаки, в том числе бульдог и ньюфаундленд, способные разделаться с Бабиласом одним махом, вернулись к своим занятиям.

Удовлетворенный покорностью товарищей, продиктованной инстинктом, подсказывавшим им, что в соседней комнате находится Броканта, Бабилас снова обратил свой взгляд на улицу.

Собачка, чувствуя на себе его пламенный взор, робко опустила глазки и прошла мимо, не поворачивая головы.

— Порядочная и красивая! — воскликнул на своем языке воодушевленный пудель.

«Порядочна и красива!» — восклицает Гамлет при виде Офелии. Это доказывает, что при схожих обстоятельствах человек и животное, принц и пудель способны испытать одинаковые чувства.

Пудель свесился из окна так, что его товарищам на мгновение показалось: не рассчитав своих сил в любовном порыве, Бабилас по законам равновесия вывалится из окна и разобьется о мостовую.

Ничуть не бывало: Бабилас проводил взглядом прелестную особу до угла улицы Вьей-Эстрапад, где она исчезла, словно тень, не сообщив ему, вернется ли когда-нибудь.

— До чего хороша! — пролаял Бабилас в предвкушении неслезанных наслаждений зарождающейся страсти, расцветавшей в его сердце любви.

С этой минуты Бабилас перестал жаловаться на мучительное одиночество, на которое обрекли его оскорбленные собратья, и порадовался в душе тому, что благодаря бойкоту товарищей сможет часами мечтать без помех.

Вернувшись в свою бочку, он, словно Диоген, презрел целый свет; и если мы (а как романисту нам положено понимать все языки, даже языки зверей) не передадим его собственные слова, то только потому, что боимся: читатели неверно истолкуют наши намерения и в недовольстве Бабиласа увидят горькую сатиру против общества.

Мы не станем более анализировать чувства, переполнявшие сердце нашего героя с той минуты, как он получил электрический

удар, и до того времени, как уснул; скажем только несколько слов о том, как прошла ночь.

Для Бабиласа она была исполнена неведомых мучений и неслыханных наслаждений; все бесенята, что ткут пестрое полотно сновидений, танцевали свой сумасшедший танец вокруг изголовья несчастного пуделя. Он видел, как, словно в стеклышках его волшебного фонаря, который он показывал в детстве в обществе слепого, проходят тени всех собак, любивших когда-то, всех четвероногих Елен и Стратоник, пробуждавших безумные страсти. Он так крутился во сне на своем волосяном матрасе — у других собак были лишь соломенные подстилки, — что Броканта, внезапно проснувшись, решила: у него началась гидрофобия или эпилепсия, и, не вставая с постели, обратилась к нему с ласковыми словами утешения.

К счастью, в четыре часа стало светать. Если бы на дворе еще стояли долгие и темные зимние ночи, Бабилас не дотянул бы до рассвета и сдох от истощения.

XI

Любовь Бабиласа и Карамельки

С первыми солнечными лучами Бабилас выпрыгнул из своей бочки. Мы должны признать, что обыкновенно он уделял своему туалету совсем не много времени. В то утро он и вовсе о нем забыл и стремглав бросился к окну. С рассветом к нему вернулась и надежда. Раз *она* прошла вчера, почему бы ей не пройти и сегодня?

Окно было прикрыто, и не без оснований: шел проливной дождь!

— Надеюсь, окно не станут открывать, — сказала борзая, задрожав от одной этой мысли, — в такую погоду хороший пес человека на улице не выгонит!

Мы, люди, говорим: «пес»; собаки говорят: «человек». И мне кажется, правы собаки, потому что в ненастные дни я вижу на улицах больше людей, чем собак.

— Это было бы слишком! — заметил бульдог, отвечая борзой.

— Хм! — с сомнением промолвили спаниель и испанская ищейка. — Нас это ничуть не удивило бы.

Они-то чувствовали себя свободнее других: у них была густая шерсть.

— Если Бабилас потребует нынче утром открыть окно, — сказал ньюфаундленд, — я повешусь!

— Ничего странного, если его откроют, — возразил мопс, настроенный весьма скептически.

— Тысяча чертей! — проворчали в один голос ньюфаундленд и бульдог. — Пусть только попробуют, и мы еще посмотрим!

Белый пудель, допускавшийся иногда сыграть с Бабиласом партию в домино и как честный игрок принимавший порой его сторону в память об их сражениях, воззвал к милосердию своих товарищей и на сей раз.

— Я слышал, как он стонал всю ночь,— взволнованно проговорил он.— Может, заболел... Не будем беспощадны к собрату: мы же собаки, а не люди.

Его речь произвела на собравшихся приятное впечатление, и было решено повременить, тем более что по здравом размышлении они не могли помешать Бабиласу.

Вошла Броканта. Она увидела, что у ее любимца губы и уши обвисли, а вокруг глаз залегли тени.

— Что это с тобой, собачка?— спросила она елейным голосом, целуя и прижимая пуделя к груди.

Бабилас заскулил, вырвался из объятий колдуньи и подскочил к окну.

— А-а, свежий воздух!..— догадалась Броканта.— Какой приличный песик! Он не может обойтись без свежего воздуха!

Броканта была не только колдуньей, но и очень наблюдательной особой. Она заметила, что бедняки живут в такой атмосфере, в какой аристократы задыхаются. И в этом счастье бедняков: если бы они не могли жить где живут, они бы вымерли; правда, они иногда и умирают, но доктор всегда подбирает название для унесшего их недуга, и благодаря этому греческому или латинскому слову никто не терзается угрызениями совести, даже Совет по здравоохранению.

Броканта, счастливая тем, что видит своего «приличного» песика в полном порядке, хотя она никогда не занималась его воспитанием, не заставила себя ждать и немедленно распахнула окно.

Это вызвало всеобщее недовольство среди присутствующих, которое вскоре переросло бы в ропот, если бы Броканта не сняла с гвоздя исправительную плетку и не потрясла ею над головой.

При виде бича собаки угомонились словно по волшебству.

Бабилас вскочил передними лапами на подоконник и посмотрел справа налево; но только у людей хватало смелости идти по Ульмской улице (столь же мало мощенной в описываемое время, как и весь Париж в эпоху Филиппа Августа), особенно в проливной дождь.

— Увы!— простонал наш влюбленный.— Увы, увy!

Однако от его стога дождь не унялся и не было видно ни единой собаки.

Наступило время завтрака— Бабилас не отходил от окна, потом время обеда— Бабилас по-прежнему смотрел на улицу, затем и ужина— все напрасно.

Остальные собаки потирали от удовольствия лапы: доля Бабиласа досталась, естественно, им.

Как видно, дело заходило слишком далеко. Бабилас отказался от пищи: тщетно Броканта называла его самыми нежными именами, предлагала ему молоко, сахар, золотистые бублики—

он до самой ночи оставался в одной и той же утомительной позе, какую принял с самого рассвета.

Ночь давно наступила; десять часов отзвонило во всех церквях, которые были слишком хорошо воспитаны и, разумеется, звонили не все сразу, уступая место более древним. Пора было уходить! Бабилас вернулся в свою бочку, охваченный пронзительной грустью.

Вторую ночь он провел еще в большем волнении, чем первую: кошмар не отпускал бедного Бабиласа ни на минуту. Если он забывался на несколько мгновений, то скоро вздрагивал, и становилось понятно, что ему было бы лучше вовсе не засыпать.

Броканта просидела всю ночь у его изголовья, будто заботливая мать, нашептывая ласковые слова, известные лишь матерям, утешающим своих детей. Только на рассвете, совершенно лишившись покоя, она решила разложить на него карты.

— Он влюблен! — вскричала она, раскладывая карты в третий раз. — Бабилас влюблен!

На сей раз, как сказал Беранже, карты не соврали.

Бабилас оставил свою бочку с еще более искаженной мордой после второй бессонной ночи.

Броканта окунула в молоко печенье, Бабилас нехотя его съел и приказал, как и накануне, отворить окно.

Хотя в праздник святого Медара шел дождь, что обещало сорок дождливых дней, однако этот день как нарочно выдался солнечным, и Бабилас повеселел.

Должно быть, в этот день ему действительно везло: в тот же час, что и двумя днями раньше, он увидел рыжую собачку из своих снов! Те же аристократические лапки, та же красивая походка, гордая и вместе с тем робкая.

У Бабиласа заколотилось сердце, он взвизгнул от радости.

На этот звук собачка повернула голову, но не из кокетства, а потому, что, как бы ни была она невинна, у нее было нежное сердце, и в его визге прозвучали для нее и любовь, и тоска.

Она вновь увидела Бабиласа, которого еще в первый раз приметили украдкой.

Что до Бабиласа, он видел ее только в профиль, теперь же, рассмотрев в упор, задрожал всем телом. Бабилас был очень нервным, после того как перенес в молодости серьезную болезнь. Как мы сказали, он задрожал всем телом и заскулил нежно и жалобно — так бывает с людьми, наделенными подобным темпераментом, когда волнение превосходит их силы.

Видя его смущение, которое собачка, возможно, разделяла, она под влиянием жалости сделала несколько шагов по направлению к окну Бабиласа.

Поддавшись непреодолимому влечению, Бабилас собирался выпрыгнуть из окна, как вдруг послышался чей-то строгий голос:

— Ко мне, Карамелька!

Голос принадлежал, вероятно, хозяину. Поглядывая в сторону Бабиласа, Карамелька тем не менее поспешила на зов.

Бабилас, как было сказано, приготовился к прыжку, но этот голос его остановил. Он удержался из опасения скомпрометировать Карамельку, а может быть и из менее галантного побуждения — инстинкта самосохранения? Этого никто никогда не узнает.

Бабилас присел на задних лапах и, постукивая передней по подоконнику, прокричал:

— Карамелька! Карамелька! Красивое имя!

Он стал повторять на все лады:

— Карамелька! Карамелька! Карамелька!

Возможно, нашим читателям кличка покажется не такой уж красивой, как утверждал Бабилас; но оно подходило к шубке той, что его носила, и Бабилас, оценивший по достоинству окрас любимой, должен был полюбить и ее имя.

Карамелька, которую строго окликнул хозяин, подошла к нему с опущенной головой, бросив, как мы сказали, нежный взгляд Бабиласу.

Тот провел две ночи в столь отчаянном ожидании, что теперь взгляд Карамельки показался ему райским лучом.

Он проводил взглядом Карамельку, скрывшуюся, как и накануне, за углом улицы Вьей-Эстрапад, и отошел от окна, всячески выражая свою радость: стал прыгать на стулья, подниматься на задние лапы, вертеться волчком, пытаться поймать собственный хвост, надоедать своим товарищам, притворяться мертвым — словом, показывать все, на что он был способен, выражая всеми возможными способами несказанную радость.

Собратья решили, что он взбесился, и, будучи в конечном счете добрыми животными, забыли обиду и стали искренне его жалеть.

Кое-кто уверяет, что любовь облагораживает. В этом утверждении есть доля правды, и мы приведем еще одно доказательство этой истины.

Мы сказали, что Бабилас был псом задиристым, голосистым, даже злым. Вдруг он преобразился как по волшебству — в моральном отношении, разумеется! — и стал ласковым и добродушным, словно черный барашек, о котором говорит Гамлет. Он вышел к товарищам, принес искренние извинения, попросил у них прощения и повинился в своих ошибках, а после этого публичного покаяния стал их умолять вернуть ему дружбу и дал честное слово соблюдать самые строгие правила и обязанности.

Общество посовещалось. Ньюфаундленд и бульдог поначалу никак не хотели отказываться от мысли его придушить, поддаваясь первому движению души, которое, в отличие от людей, у собак недоброе: они не верили в искренность его преобразования. Но белый пудель снова встал на его защиту и так горячо за него заступался, что перетянул на свою сторону почти все общество.

Перешли к голосованию. Большинство присутствовавших собак высказались за полную амнистию Бабиласа.

Белый пудель подошел к нему, протянул лапу, и самые уважаемые члены собрания, следуя его примеру, выразили Бабиласу свое доверие и обещали дружбу.

С этой минуты Бабилас требовал открыть окно только с разрешения товарищей, а так как с каждым днем становилось все теплее, они любезно давали ему свое согласие — даже борзая, которая продолжала дрожать, уверяла, что это уже вошло у нее в привычку.

ХП

Господин, желающий знать, попадет ли он в рай

Так прошел целый месяц. Почти каждый день в одно и то же время Карамелька проходила мимо, посылая ласковый взгляд счастливому Бабиласу, а тот, целиком отдавшись платонической любви, довольствовался этими взглядами: его сдержанность объяснялась тем, какое неизгладимое впечатление произвел на его легко раздражаемую нервную систему резкий голос, принадлежавший хозяину Карамельки. Не исключено, что Карамелька дала понять Бабиласу: рано или поздно она найдет возможность и вырвется из рук хозяина, чтобы ответить на его любовь еще более откровенным способом, а потому Бабилас и не терял терпения.

И вот около двух недель спустя после той ночи, когда Жан Бычье Сердце собирался сначала задушить, потом убить, а затем утопить г-на де Вальженеза, в тот час, когда обыкновенно проходила Карамелька, господин в длинном рединготе, хотя, судя по погоде, такая мера предосторожности была излишней, решительно вошел к колдунье с Ульмской улицы. На носу у него сидели очки, а в руке он держал трость с золоченым набалдашником.

Хозяйка заведения сидела на привычном месте в ожидании клиентов.

— Это вы Броканта? — спросил незнакомец в упор.

— Да, сударь, — отвечала та, не в силах, как и Бабилас, сдерживать дрожь, стоило кому-нибудь заговорить чересчур громко или грубо.

— Вы колдунья?

— Я гадаю на картах.

— Мне казалось, что это одно и то же.

— Почти, однако не стоит смешивать.

— Хорошо, я не буду смешивать; я хочу, чтобы вы мне погадали, милейшая.

— Господину разложить малый или большой пасьянс?

— Большой, черт побери, большой! — отвечал господин, забивая в нос большую понюшку табаку. — То, что я желаю узнать, имеет огромное значение, и чем больше будет пасьянс, тем лучше.

— Может быть, господину угодно знать, удачным ли будет его брак?

— Нет, любезная, нет. Брак—это зло само по себе и удачным быть не может.

— Господин желает знать, получит ли он наследство от одной из своих родственниц?

— У меня одна-единственная тетка, которой я сам плачу пожизненную ренту в шестьсот ливров.

— Господин хочет узнать, как долго он проживет?

— Нет, любезная, я и так достаточно пожил для своих лет, однако мне совсем неинтересно знать, когда я умру.

— А-а, понимаю: господин желает вернуться на родину?

— Я родом из Монружа, а кто хоть раз там побывал, ни за что не захочет увидеть его снова.

— Что же вам в таком случае угодно?— осмелилась задать вопрос Броканта, так как оказалось, что дальнейшие расспросы, не имевшие ничего общего с желаниями посетителя, могут повредить ее репутации колдуньи.

— Я хотел бы узнать,— отозвался таинственный незнакомец,— попаду ли я в рай.

Броканта не могла скрыть изумления.

— Что же в этом необычного?— спросил господин из Монружа.— Разве о той жизни предсказывать труднее, чем об этой?

— С помощью карт, сударь, узнать можно все,— отвечала Броканта.

— Так узнайте!

— Баболен!— крикнула старуха.— Большой пасьянс!

Баболен лежал в углу и учил белого пуделя играть в домино. Он встал и пошел за большой колодой.

Броканта устроилась поудобнее в кресле, позвала Фареса, который спал, спрятав голову под крыло, потом усадила вокруг себя собак, оставив Бабиласу из материнской нежности местечко у окна, и приступила к гаданию, свидетелями которого мы были, когда она раскладывала карты Жюстену.

Действующие лица были все те же, за исключением Розочки и Жюстена, которого заменил господин из Монружа.

— Вы знаете, что это вам обойдется в тридцать су?— заметила Броканта.

Несмотря на изменившиеся условия жизни, она сочла себя не вправе поднимать цены.

— Пускай будет тридцать су!— согласился господин из Монружа, с величавым видом бросая потертую монету, с которой слезло все серебро, обнажая медные бока; к тому времени такие монеты уже начинали переходить в разряд медалей.— В конечном счете я могу рискнуть тридцатью су ради того, чтобы узнать, попаду ли в рай.

Броканта снимала и переснимала колоду, тасовала и перетасовывала карты, раскладывала их полукругом на своей подставке.

Она дошла до самого интересного места: святой Петр — трефовый король — уже приготовился, словно тень Самуила, вызванного андоррской прорицательницей, раскрыть тайны высшего мира, как вдруг Бабилас, не отходивший от окна, заметил Карамельку; та сдержала данное обещание и вышла на улицу одна — изящная, стройная, элегантная, еще более свежая, веселая, нежная, соблазнительная, чем всегда.

— Карамелька! Карамелька одна! — вскричал Бабилас. — Так ты сдержала слово, собачка моя ненаглядная!.. Не могу больше терпеть, лучше смерть, Карамелька!

Выпрыгнув из окна, Бабилас бросился вдогонку своей мечте, а Карамелька семенила по улице, призывно взглянув, перед тем как исчезнуть за углом; все это произошло за то время, пока господин терпеливо ждал ответа.

Броканта сидела к окну спиной, но когда Бабилас выскочил на улицу, она обернулась.

Ее порывистое движение, в котором выразилась поистине материнская забота, не могло идти ни в какое сравнение с проворностью влюбленного Бабиласа: обернувшись, Броканта увидела лишь кончик его хвоста.

Броканта позабыла обо всем на свете: и господина из Монружа, желавшего узнать, попадет ли он в рай, и начатое гадание, и монету в тридцать су — она думала только о дорогом Бабиласе.

Она вскрикнула, отбросила подставку с картами и подбежала к окну; охваченная великой страстью, она, забыв о приличиях, перешагнула через подоконник, выскочила на улицу и бросилась за Бабиласом в погоню.

Видя, что хозяйка вышла через окно, вопреки своему обычаю делать это через дверь, Фарес, несомненно, решил, что начался пожар: он издал крик и вылетел на улицу.

Собаки, наблюдавшие за исчезновением хозяйки и ворона и умиравшие от любопытства, тоже стремительно бросились в окно, подобно знаменитым баранам Панурга, которых все, с тех пор как их придумал Рабле, неизменно сравнивают с любой толпой, прыгающей куда-нибудь за компанию.

Наконец, Баболен, видя, что Бабилас убежал, Броканта исчезла, Фарес улетел, а собаки высыпали все до одной на улицу, тоже метнулся к окну — такова сила примера! — как вдруг господин из Монружа схватил его за штаны.

Произошла недолгая заминка, когда было неизвестно, кто уступит первым: незнакомец выпустит штаны Баболена или Баболен перестанет держаться за оконную перекладину. Господин из Монружа, готовый поверить скорее в крепость перекладины, нежели в прочность штанов, решил подстраховаться.

— Друг мой! — сказал он. — Ты получишь пять франков, если...

Незнакомец замолчал; он знал цену тому, что принято называть скрытым смыслом.

Баболен в то же мгновение выпустил перекладину и повис на штанах, за которые крепко держал его незнакомец.

— Если что? — спросил мальчишка.

— Если сведешь меня с Розочкой.

— Где деньги? — спросил предусмотрительный Баболен.

— Пожалуйста, — проговорил господин, вкладывая ему монету в руку.

— Настоящие пять франков? — вскричал мальчишка.

— Взгляни сам, — предложил господин.

Баболен посмотрел на лежавшую у него в кулаке монету, но, не веря собственным глазам, прибавил:

— Послушаем, как она звенит.

И он уронил на пол монету, отозвавшуюся серебристым звоном.

— Вы сказали, что хотите видеть Розочку?

— Да.

— Вы не причините ей зла?

— Наоборот!

— Тогда пошли!

Баболен отворил дверь и устремился на лестницу.

— Пошли! — согласился господин, шагавший через ступеньки с таким воодушевлением, словно лестница вела в райские кущи.

Скоро они уже стояли перед дверью Розочки. Незнакомец зачерпнул из фарфоровой табакерки щепоть табаку и опустил очки на нос.

ХІІІ

Зачем в действительности приходил господин из Монружа к Броканте

В то время как господин из Монружа, словно курица, проскользнул вслед за Баболеном в приотворенную дверь, пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о дверной наличник, Розочка сидела за лакированным столиком — подарком Регины — и раскрашивала цветы — подарок Петруса. — Слушай-ка, Розочка, — обратился к ней Баболен. — Это господин из Монружа, он хочет с тобой поговорить.

— Со мной? — поднимая голову, переспросила Розочка.

— С тобой, с тобой.

— Да, именно с вами, милая девочка, — вмешался незнакомец, подняв на лоб синие очки, чтобы получше рассмотреть девочку: похоже, очки только мешали ему.

Розочка встала. За три последних месяца она сильно выросла. Теперь это была не болезненная и чахлая девочка, которую мы встречали на улице Трипре, а бледная худая девушка, еще слабенькая — что верно, то верно, — но худоба и бледность объяснялись тем, что она сильно вытянулась. Перенесенная в более

благоприятные условия, девочка развилась; теперь она стала похожа на молодой кустик, тонкий и гибкий, еще готовый согнуться под любым ветром, но уже в цвету.

Она поздоровалась с господином из Монружа и, подняв на него широко раскрытые от удивления глаза, спросила:

— Что вы хотели мне сказать, сударь?

— Дитя мое! — начал незнакомец как можно ласковее. — Меня послало лицо, которое очень вас любит.

— Фея Карита? — вскрикнула девочка.

— Нет, я незнаком с феей Каритой, — с улыбкой возразил незнакомец.

— Господин Петрус?

— И не господин Петрус.

— Тогда, должно быть, господин Сальватор, — продолжала Розочка.

— Совершенно точно! — обрадовался господин из Монружа. — Меня прислал господин Сальватор.

— А-а, мой добрый друг Сальватор! Что-то он меня совсем забыл: я не видела его уже недели две! — воскликнула девочка.

— Вот поэтому я и пришел. «Сударь мой! — сказал он мне. — Навестите Розочку; передайте, что я здоров, и попросите ее ответить на вопросы, которые вы зададите от моего имени».

— Значит, господин Сальватор чувствует себя хорошо? — переспросила Розочка, словно не слыша последних его слов.

— Очень хорошо!

— Когда я его увижу?

— Завтра; может быть, послезавтра... Сейчас он очень занят, вот почему я пришел вместо него.

— Садитесь, сударь, — предложила Розочка, подвигая стул господину из Монружа.

Видя, что Розочка разговаривает с другом Сальватора, Баболен решил, что никакая опасность ей не угрожает; он сгорал от любопытства, мечтая узнать, что стало с Карамелькой, Бабила-сом, другими собаками, Фаресом и Брокантой. Пока господин из Монружа усаживался, нацеплял на нос очки и нюхал табак, мальчишка незаметно исчез.

Незнакомец убедился, что дверь за Баболеном закрылась, и продолжал:

— Как я вам сказал, дитя мое, господин Сальватор поручил мне задать вам несколько вопросов.

— Пожалуйста, сударь.

— Вы обещаете отвечать искренне?

— Раз вы пришли от господина Сальватора... — молвила Розочка.

— Вы помните свое детство?

Розочка пристально посмотрела на незнакомца.

— Что вы имеете в виду, сударь?

— Помните ли вы, к примеру, своих родственников?

— Каких? — уточнила Розочка.

— Отца и мать.

— Отца помню очень смутно, маму не помню вовсе.

— А дядю?

Розочка изменилась в лице.

— Какого дядю? — пролепетала она.

— Вашего дядю Жерара.

— Дядю Жерара?

— Да. Вы смогли бы его узнать при встрече?

У Розочки задрожали руки и ноги.

— Да, — сказала она, — разумеется... А вы о нем что-нибудь знаете?

— Знаю! — отвечал незнакомец.

— Так он жив?

— Жив.

— И?..

Девушка медлила. Было заметно, что ей стоит подавить отвращение.

— А госпожу Жерар вы помните? — спросил г-н из Монружа, снова подняв на лоб очки и вперив в нее пронзительный взгляд маленьких глазок, обладавших, казалось, гипнотической силой.

Но при имени г-жи Жерар девочка вскрикнула, опрокинулась назад и, скользнув со стула, упала на пол: с ней случился нервный припадок.

— Вот черт! — выругался господин из Монружа, посадив очки на нос. — Кто бы мог подумать, что у этой цыганки нервы, словно у принцессы?

Он попытался усадить ее на стул, но девочка выгибалась, будто на нее напал столбняк.

— Хм! — обронил незнакомец и стал озираться. — Дело принимает нежелательный оборот!

Его взгляд упал на кровать. Он поднял Розочку на руки и отнес на постель.

— Мерзавка! — приходя в еще большее замешательство, бросил он. — Виданное ли дело? Остановиться на самом интересном месте!

Он вынул из кармана флакон и поднес ей к лицу. Однако, похоже, ему пришла в голову другая мысль. Он поспешил отнять руку с флаконом.

— Ага! — заметил он. — Кажется, ей лучше.

И действительно, девочка стала успокаиваться, конвульсии сменились обыкновенным обмороком.

Незнакомец дождался, пока Розочка перестала вздрагивать и затихла на кровати.

— Ну что ж, извлечем выгоду из обстоятельств! — сказал он.

И, оставив неподвижно лежавшую Розочку на кровати, он подошел к двери и отворил ее.

— Туалетная комната второго выхода не имеет, — отметил он.

Потом открыл окно и высунулся:

— Метра четыре!..

Наконец направился ко входной двери, вынул одной рукой ключ из замка, а другой — комочек воска из кармана и сделал слепок с ключа.

— Как повезло с обмороком! — проговорил он. — Не то пришлось бы делать на глаз, а это всегда ненадежно... зато теперь...

Он взглянул на слепок и сравнил его с ключом.

— ...зато теперь будем действовать наверняка! — закончил он.

Он убрал слепок в карман, вставил ключ в замочную скважину и снова закрыл дверь со словами:

— Как тут не вспомнить славного господина де Вольтера: «Все к лучшему в этом лучшем из миров!» Впрочем...

Незнакомец почесал за ухом, как человек, находящийся во власти противоречивых чувств. Доброе чувство — что случается крайне редко! — взяло верх над дурным.

— Впрочем, не могу же я оставить девочку в таком состоянии! — молвил он.

В эту минуту в дверь постучали.

— Кто бы вы ни были, входите, черт вас побери! — пригласил незнакомец.

Дверь распахнулась, на пороге стоял Людовик.

— А-а, браво! — воскликнул господин из Монружа. — Вы пришли как нельзя более кстати, дорогой эскулап, и если когда-нибудь доктор отвечал на зов, то это вы, радуйтесь!

— Господин Жакаль! — изумился Людовик.

— К вашим услугам, дорогой господин Людовик, — отозвался полицейский, предлагая молодому доктору щепоть табаку.

Но Людовик отвел руку г-на Жакаля и подошел к кровати.

— Сударь! Что вы сделали с девочкой? — спросил он, будто имел право задавать вопросы.

— Я, сударь? — мягко проговорил тот. — Абсолютно ничего! Похоже, у нее бывают спазмы.

— Конечно, сударь, но не без причины.

Намочив платок в кувшине с водой, Людовик промокнул лоб и виски девушки.

— Что вы ей сказали? Что вы с ней сделали?

— Сделал? Ничего... Сказал? Ничего особенного, — лаконично отвечал г-н Жакаль.

— И все-таки?..

— Дорогой господин Людовик! Вы же знаете, что нищие, колдуны, некроманты, фокусники, цыгане и гадалки состоят на учете в полиции...

— Да.

— Переехав вместе со своими собаками и вороном, Броканта забыла сообщить свой новый адрес, и мне пришлось направить по ее следу своих людей. Они установили, что старуха живет на Ульмской улице, и подали мне рапорт. И так как я знаю, что

Броканта — добрая знакомая господина Сальватора, которого я люблю от всего сердца, то я не приказал ее арестовать и препроводить в Сен-Мартен, как повелевал мне мой долг, а поспешил зайти к ней сам. Но она только что выскочила через окошко вместе с собаками и вороном: дом опустел, дверь осталась незаперта. Я отправился на ее поиски. Заметив лестницу, я поднялся и постучал в какую-то дверь. Как несколько минут назад я вам сказал: «Войдите!» — точно так же пригласили и меня, с той лишь разницей, что я застал Розочку не без памяти, а сидевшей за столом: она раскрашивала гравюры. Матери ее не было, и я подумал: не расспросить ли мне пока девчонку! И вот когда она стала вспоминать о своих детских годах, о родителях, о некой госпоже Жерар, приходившейся ей уж не знаю кем, девчонка упала без чувств... Я поднял ее на руки, перенес на кровать, осторожно уложил в постель, как вы видите, дорогой господин Людовик, а тут счастливый случай привел и вас!

Все это казалось таким простым и естественным, что Людовик ни на мгновение не усомнился в том, что именно так все и произошло.

— Ну что ж, сударь, — сказал он. — Если у вас еще остались сомнения относительно Броканты, мы с господином Сальватором готовы за нее поручиться. Впредь обращайтесь, пожалуйста, к нам.

Господин Жакаль поклонился.

— С такими поручителями, господин Людовик... — начал он было. — Мне кажется, девочка шевельнулась.

— Да, в самом деле, — подтвердил Людовик, продолжая промокать Розочке лоб, — мне тоже кажется, что она вот-вот откроет глаза.

— В таком случае, — проговорил г-н Жакаль, — я удаляюсь! Возможно, мое присутствие будет ей неприятно... Передайте девочке, господин Людовик, мои извинения за то, что я послужил невольной причиной подобного несчастья.

Еще раз предложив Людовику табак, от которого молодой доктор снова отказался, г-н Жакаль вышел из комнаты, всем своим видом стараясь показать, как он огорчен, причинив беспокойство в доме, принадлежащем приятельнице Людовика и Сальватора.

XIV

Фантазия на два голоса и четыре руки о воспитании людей и собак

В то время как г-н Жакаль торопливо спускался по лестнице из полуэтажа, занимаемого Розочкой, постоянные жильцы Броканты еще не вернулись в свою комнату, зато там появился гость.

Давайте вернемся немного назад.

Среди всеобщего смятения, причиной которого послужило бегство Бабиласа, хозяин Карамельки — знакомый нам пока только

по резкому голосу, до смерти напугавшему Бабиласа,—увидел, как его собачка свернула за угол, как за ней бросился Бабилас, как потом выскочила из окошка Броканта, как за Брокантой полетел Фарес, как другие собаки последовали за вороном, а пять минут спустя шествие уже замыкал Баболен. То ли хозяин Карамельки сам подготовил (возможно, нам еще предстоит узнать, какую цель он преследовал) свидание двух влюбленных, то ли он нимало не интересовался помолвкой своей воспитанницы, но он вошел к Броканте через дверь сразу после того, как Баболен вышел через окно.

В квартире не было ни души, что ничуть не удивило посетителя.

Засунув руки в широкие карманы редингота, он с равнодушным видом прошелся по комнате Броканты. Равнодушие, благодаря которому он напоминал англичанина, посещающего музей, словно ветром сдуло, когда он увидел очаровательный эскиз Петруса; на нем были изображены три колдуньи из «Макбета», совершавшие дьявольский обряд вокруг своего котла.

Он торопливо подошел к картине, снял ее со стены, стал рассматривать сначала с удовольствием, потом с любовью; он тщательно обтер пыль рукавом и снова стал всматриваться в мельчайшие детали, причем на его лице можно было прочесть восхищение сродни тому, с каким влюбленный юноша изучает портрет своей невесты; наконец прищелец спрятал эскиз в широкий карман, чтобы, вероятно, насладиться шедевром дома в свое удовольствие.

Господин Жакаль вошел в комнату Броканты как раз в тот момент, как картина исчезла в кармане незнакомца.

— Жибасье! — воскликнул г-н Жакаль, стараясь не показать удивления перед подчиненным. — Вы здесь? А я думал, что вы на Почтовой улице...

— Там сейчас Карамелька с Бабиласом, — с поклоном доложил прославленный граф Баньер де Тулон. — Я сделал все, как вы велели, и подумал, что могу пригодиться вашему превосходительству здесь, а потому и пришел.

— Благодарю вас за доброе намерение, однако я уже знаю все, что хотел узнать... Идемте, дорогой Жибасье, нам здесь больше нечего делать.

— Вы правы, — согласился Жибасье, хотя по его глазам было ясно, что думает он как раз наоборот. — Верно! Делать здесь больше нечего.

Но большой любитель живописи приметил на противоположной стене картину таких же размеров, что и первая; она изображала путешествие Фауста и Мефистофеля. Он почувствовал, что его непреодолимо тянет к «Фаусту», как недавно привлекли к себе «Колдуньи».

Тем не менее Жибасье прекрасно умел владеть собой, чему был обязан силе своего разума. Он остановил себя, пробормотав сквозь зубы:

— В конце концов, кто мне мешает вернуться сюда в один из ближайших дней? Было бы глупо не иметь пару, когда дают такую хорошую цену! Зайду завтра или послезавтра.

Уверив себя на этот счет, Жибасье догнал г-на Жакаля, который уже отворил входную дверь и, не слыша шагов своего приспешника, обернулся спросить о причине его задержки.

Жибасье отлично понял беспокойство начальника.

— Я здесь,— доложил он.

Господин Жакаль кивнул подчиненному, проследил за тем, чтобы тот плотно притворил дверь, и, уже выйдя на Ульмскую улицу, заметил:

— А знаете, Жибасье, у вас бесценная собачка, по-настоящему редкий зверек!

— Собаки как дети, ваше превосходительство,— нравоучительно ответил Жибасье.— Если вовремя за них взяться, можно сделать и из тех, и из других абсолютно все, что вам хочется, то есть по желанию воспитать их послушными или бунтовщиками, святыми или негодяями, идиотами или умниками. Главное — взяться вовремя. Если вы не вдолбите им с раннего детства самые строгие принципы, ничего стоящего из них не выйдет; в три года собаку уже не исправить, как и ребенка в пятнадцать лет. Ведь вы знаете, ваше превосходительство, что способности у человека и инстинкт у животного развиваются из расчета продолжительности их жизни.

— Да, Жибасье, знаю. Но в ваших устах самые банальные истины приобретают совершенно новое звучание. Вы — светоч, Жибасье!

Жибасье скромно опустил голову.

— Мое образование началось в семинарии, ваше превосходительство,— сказал он,— а закончил я его под наблюдением опытных теологов... или, точнее, я его еще не завершил, потому что пополняю свои познания ежедневно. Но должен сказать, что особенно старательно я изучал принципы, способы и системы воспитания и развращения юношества. О, в этой области поднаторели мои учителя-иезуиты! Я даже не всегда мог следовать их урокам! Но хотя я порой и расходился с ними во взглядах на воспитание, я очень много почерпнул из их учения. И если мне суждено стать министром народного просвещения, я начну с полного, радикального, абсолютного преобразования нашей воспитательной системы, имеющей тысячи недостатков.

— Не совсем разделяя ваше мнение по этому вопросу, Жибасье,— сказал г-н Жакаль,— я все же считаю, что это серьезное дело заслуживает всяческого внимания. Но позвольте вам заметить, что меня сейчас занимает не столько воспитание детей, сколько вопрос о том, как вам удалось выдрессировать вашу Карамельку.

— О, очень просто, ваше превосходительство!

— А все-таки?
— Как можно меньше ласкал и как можно больше бил.
— Как давно у вас эта собака, Жибасье?
— С тех пор как умерла маркиза.
— Кого вы называете маркизой?
— Свою любовницу, ваше превосходительство, которая и была первой хозяйкой Карамельки.

Господин Жакаль приподнял очки и взглянул на Жибасье.

— Вы любили маркизу, Жибасье?—спросил он.

— Она, во всяком случае, меня любила, ваше превосходительство,— скромно промолвил Жибасье.

— Настоящая маркиза?

— Не могу поручиться, ваше превосходительство, что она когда-нибудь ездила в королевских каретах... но я видел ее титулы.

— Примите мои поздравления, Жибасье, и в то же время соболезнования, раз вы сообщаете мне и о существовании, и о кончине этой аристократической особы... Так она умерла?

— Так она, во всяком случае, утверждает.

— Вас, стало быть, не было в Париже, когда случилась трагедия, Жибасье?

— Нет, ваше превосходительство, я находился на юге.

— Где поправляли свое здоровье, как я имел честь от вас слышать?

— Да, ваше превосходительство... Однажды утром ко мне прибежала Карамелька, немой, если не слепой свидетель нашей любви. К ее хвосту было привязано письмо, в котором маркиза мне сообщала, что находится при смерти в соседнем городе и посылает мне с Карамелькой последний привет.

— О-о, от вашего рассказа слезы наворачиваются на глаза!—заметил г-н Жакаль и громко высморкался, словно бросая вызов хорошим манерам.— И вы удочерили Карамельку?

— Да, ваше превосходительство. Около восьми месяцев тому назад я взялся за ее воспитание и продолжил его с того, на чем остановился. Она стала мне подругой, наперсницей, и через неделю у меня уже не было от нее тайн.

— Трогательная дружба!—молвил г-н Жакаль.

— Да, действительно, очень трогательная, ваше превосходительство, потому что в наш век интересы вытеснили чувства, и приятно видеть, что хотя бы животные оказывают нам знаки внимания, в которых нам отказывают люди.

— Замечание ваше горькое, но верное, Жибасье!

— Углубленное изучение показало,—продолжал Жибасье, что Карамелька умна и чувствительна. И я решил испытать ее ум и пустить в дело ее чувствительность. Сначала я научил ее отличать хорошо одетых людей от нищего сброда. Она за двести шагов распознавала деревенщину и джентльмена, аббата и нотариуса, солдата и банкира. Но инстинктивный ужас, который мне

так и не удалось в ней изжить, ей внушал жандарм. Напрасно я говорил ей, что эти охранители общества — любимые дети правительства: стоило ей почуять кого-нибудь из них еще издали, пешего или верхового, в штатском или в форме, как она возвращалась ко мне, испуганно поджав хвост и косясь в ту сторону, откуда должен был показаться ее враг. Тогда, не желая причинять несчастному животному излишнее беспокойство, я менял направление и находил какое-нибудь убежище, куда не мог проникнуть взгляд естественного врага моей бедной собачки. Я вернулся из Тулона в Париж со всеми предосторожностями...

— И все ради нее, разумеется?

— Ну конечно, ради нее! Зато ее признательность не знала границ, она не могла мне ни в чем отказать, даже если дело затрагивало ее честь.

— Объясните понятнее вашу мысль, Жибасье. Когда я увидел, что она вытворяла с Бабиласом, у меня зародился некоторый план, касающийся Карамельки...

— Для Карамельки всегда будет большой честью помочь вам в осуществлении планов вашего превосходительства.

— Я слушаю.

— Вот одна из услуг, оказанных мне этим прелестным существом...

— Одна из сотни?

— Из тысячи, ваше превосходительство! В провинциальном городишке, где мы жили с ней еще неделю тому назад, — мне нет нужды называть этот город: все провинциальные города, как некрасивые женщины, похожи друг на друга — так вот, в захолустном городишке, через который мы проезжали и волею случая, о чем я расскажу позже, застряли на несколько дней, жила старая богатая вдова в обществе еще более старого мопса. Эти две развалины снимали первый этаж дома, расположенного на одной из пустынейших улиц города — все равно что у нас Ульмская улица. Однажды утром прохожу я мимо этого дома и вижу маркизу, вышивающую на пальцах, а мопс сидит на подоконнике, положив передние лапы на оконную перекладину...

— Вы не путаете с собакой Броканты?

— Ваше превосходительство! Можете мне поверить, что в минуты просветления, то есть когда дует восточный ветер, я способен, как Гамлет, отличить сокола от совы, а уж тем более пуделя от мопса.

— Я был не прав, когда перебил вас, Жибасье. Продолжайте, друг мой. Вы поистине отец своих открытий и изобретатель своих изобретений.

— Я бы поставил себе это в заслугу, ваше превосходительство, если бы благодаря своей просвещенности, которую вам угодно мне приписать, я не знал бы, какой печальный конец ждет всех изобретателей.

— Не стану настаивать.

— А я с вашего позволения, ваше превосходительство, закончу свою историю.

— Заканчивайте, Америк Жибасье.

— Прежде всего я убедился, что в доме живут трое: мопс, маркиза и старая служанка; кроме того, проходя, я увидел через окно столовую... Вы, может быть, не знаете, что я большой любитель живописи?

— Нет, но от этого мое уважение к вам только возрастает, Жибасье.

Жибасье поклонился.

— И вот через окно я увидел в столовой две прелестные картины Ватто, представлявшие сценки из итальянской комедии...

— Вы любите и итальянскую комедию?

— В живописи—да, ваше превосходительство... Об этих двух картинах я думал весь день, они же занимали мое воображение всю ночь. Я посоветовался с Карамелькой, потому что без ее помощи был бессилен.

«Ты видела мопса богатой вдовы?»—спросил я ее.

Она жалостливо поморщилась.

«Он омерзителен»,—продолжал я.

«О да!»—без малейшего колебания подхватила она.

«Я с тобой согласен, Карамелька,—сказал я.— Но каждый день в свете ты можешь видеть, как обворожительные девушки выходят замуж за безобразных мопсов; это называется брак по расчету. Когда мы приедем в Париж, я свожу тебя в театр ее высочества на пьесу господина Скриба на эту тему. Мы, к стати сказать, находимся сейчас отнюдь не в долине слез, где растет один пырей, которым нам приходится питаться с утра до вечера! Если бы мы могли заниматься только тем, что нам по душе, милочка, мы ничего бы не делали. Значит, придется закрыть глаза на внешность маркизова мопса и пару раз соорудить ему глазки, на что твоя хозяйка была большая мастерица. Когда мопс будет покорен, ты немного пококетничаешь, потом выманишь его из дома вместе с хозяйкой, а я себе позволю строго наказать его за самодовольство».

Этот последний довод произвел на Карамельку необычайное впечатление. Она на минуту задумалась, потом сказала:

«Идемте!»

И мы пошли.

— И все произошло так, как вы предсказали?

— В точности так.

— И вы стали владельцем обоих полотен?

— Владейцем... Но поскольку рамы могли меня выдать, я в трудную минуту их продал.

— Да, чтобы купить новые за те же деньги?

Жибасье кивнул.

— Стало быть, пьеса, которую только что исполнила Карамелька...—продолжал г-н Жакаль.

— ...разыгрывается не в первый, а во второй раз.

— И вы полагаете, Жибасье,—спросил г-н Жакаль схватив за руку философа-моралиста,—что в случае необходимости она даст и третье представление?

— Теперь, когда она твердо знает роль, ваше превосходительство, я в ней не сомневаюсь.

Не успел Жибасье договорить, как все домочадцы Броканты, за исключением Бабиласа, появились на углу Почтовой улицы; к ним присоединились все мальчишки квартала с Баболеном впереди.

В ту самую минуту г-н Жакаль и Жибасье свернули на улицу Урсулинок.

— Вовремя мы управились! — отметил г-н Жакаль. — Если бы нас узнали, мы рисковали бы вызвать неудовольствие всей этой милой компании.

— Не ускорить ли нам шаг, ваше превосходительство?

— Да нет. Впрочем, вы, очевидно, беспокоитесь за Карамельку? Меня волнует судьба этой интересной собачки; мне, возможно, понадобится ее помощь, чтобы соблазнить одного моего знакомого пса.

— Что же вас волнует?

— Как она вас найдет?

— О-о, это пусть вас не тревожит! Она в надежном месте.

— Где?

— У Барбетты в Виноградном тупике, куда она и заманила Бабиласа.

— Да-да-да, у Барбетты... Скажите, это случаем не та знакомая Овсяга, что сдает стулья внаем?

— А также и моя знакомая, ваше превосходительство.

— Вот уж не знал, что вы набожны, Жибасье!

— А как же иначе, ваше превосходительство? Я с каждым днем старею: пора подумать о спасении души.

— Аминь! — проговорил г-н Жакаль, зачерпнул огромную щепоть табаку и с шумом втянул ее в себя.

Собеседники спустились по улице Сен-Жак, на углу улицы Вьей-Эстрапад г-н Жакаль сел в карету, отпустив Жибасье, а тот кружным путем снова вышел на Почтовую и вошел к Барбетте, где мы его и оставим.

XV

Миньон и Вильгельм Мейстер

Розочка совершенно пришла в себя и пристально посмотрела на Людовика ясными глазами. Девочка выглядела обеспокоенной и печальной. Она открыла было рот, чтобы поблагодарить молодого человека или рассказать ему о причинах обморока. Но Людовик, ни слова ни говоря, приложил ей свою руку ко рту, боясь, очевидно, развеять ее сонливость, которая, как правило, сопровождала приступы.

— Поспи, Розочка,— ласково шепнул он.— После таких приступов, как сегодня, тебе необходимо немного отдохнуть. Спи! Поговорим, когда проснешься.

— Да,— только и ответила девочка, проваливаясь в забытие.

Людовик взял стул, бесшумно поставил его рядом с постелью Розочки, сел и, опершись на деревянную спинку кровати, задумался...

О чем он размышлял?

Попытаемся передать нежные и чистые мысли молодого человека, проносившиеся в его голове, пока спала девочка.

Прежде всего, следует отметить, что она была обворожительно! Жан Робер отдал бы свою самую красивую оду, а Петрус не пожалел бы лучший эскиз за право полюбоваться ею хотя бы мгновение: Жан Робер— чтобы воспеть ее в стихах, Петрус— чтобы написать с нее портрет.

Розочка была по-своему красива, ее не портили ни детская угловатость, ни отчасти болезненная бледность, а смуглый оттенок кожи придавал ей сходство с Миньон Гете или Шеффера. Она переживала краткий миг превращения из девочки в девушку, когда душа и тело сливаются воедино, когда, по мысли поэта, актер впервые взглянул на цыганку с любовью и это чувство отозвалось в ее душе.

Надобно признать, что Людовик имел некоторое сходство с франкфуртским поэтом. Пресытившись жизнью до срока, Людовик мало чем отличался от молодых людей того времени, которое мы взялись описывать и на которое отчаявшиеся и насмешливые герои Байрона бросили свой поэтически-разочарованный взгляд; каждый считал, что достоин стать героем баллады или драмы, Дон Жуаном или Манфредом, Стено или Лара. Присовокупите к тому, что Людовик, врач и, стало быть, материалист, смотрел на жизнь сквозь призму науки. Привыкши иметь дело с человеческой плотью, он, как Гамлет, философствующий над черепом Йорика, до сих пор рассматривал красивую внешность лишь как маску, за которой скрывается смерть, и при каждом удобном случае безжалостно высмеивал тех из своих собратьев, которые воспевали безупречную красоту женщин и платоническую любовь мужчин.

Несмотря на противоположные взгляды двух своих лучших друзей, Петруса и Жана Робера, он видел в любви лишь чисто физиологический акт, зов природы, наконец, соприкосновение двух тел, приводящее к тому же результату, что и электрическая батарея, не более того.

Тщетны оказались попытки Жана Робера бороться с этим материалистом, призывая на помощь все дилеммы самой изысканной любви; напрасно Петрус демонстрировал скептику проявления любви в природе в целом. Людовик был непреклонен: в любви, как и в религии, он оставался атеистом. Так и получилось, что с тех пор, как он окончил коллеж, все свое свободное время— а его было у Людовика очень немного— он посвящал

случайным подружкам вроде принцессы Ванврской, красавицы Шант-Лила, в обществе которой мы его уже встречали.

Утренняя прогулка по лесу с одной, вечернее катание в лодке с другой, ужин на Центральном рынке с этой, бал-маскарад с той — вот таких ни к чему не обязывающих отношений до сих пор и искал Людовик, привыкший смотреть на женщин не иначе как на предмет удовольствия, на способ развлечения.

Он смотрел на женщин свысока и утверждал, что они главным образом красивы и глупы, как розы, с которыми поэты имеют наглость их сравнивать. Вот почему ему никогда не приходило в голову заговорить с кем-нибудь из них серьезно, будь то г-жа де Сталь или г-жа де Роланд. Те, что вызывали восхищение, были, по его мнению, чем-то вроде монстров, опухолей, отклонений. Он переносил эту теорию на женщин античных времен, выселенных в римские или греческие гинекеи и дома терпимости, годными на то, чтобы стать, подобно Лаис, куртизанками или, как Корнелия, матронами; наконец, заключенными, как принято у турков, в гарем и там смиренно ждать знака хозяина, который позволит им себя любить.

Напрасно ему пытались доказать, что разнообразие наших знакомств, наше двадцатипятилетнее образование, развивающее в нас способности, заложенные Богом и природой, давали нам видимое преимущество над женщиной. Но время не стоит на месте — отдельные исключения доказали, что эта точка зрения далеко не утопия, — и настанет пора, когда воспитание и образование будут одинаковыми для обоих полов и женщины ни в чем не будут уступать мужчинам. Людовик не желал этому верить и оставался верен своей идее.

Как мы уже сказали, это был испорченный ребенок, иначе говоря — чистая душа в растленном теле. Он напоминал тропическое растение, захиревшее и ослабевшее в наших оранжереях. Но стоит лишь вынести его из душного, натопленного помещения на живительное жаркое солнце, и оно оживает и расцветает.

Людовик не отдавал себе отчета в собственном нравственном «захирении». Только в ту минуту, как любовь, это живительное солнце для всякого мужчины, как и для женщины, было готово вот-вот залить его горячими лучами, ему было суждено пережить необычайное волнение, словно он родился заново, и его друзья были поражены происшедшими с ним переменами.

Так и случилось во время сна целомудренной Розочки; Людовик не мог оторвать глаз от ее лица, ему в голову ударили ее юность, ее прелесть, столь хорошо знакомые двадцатилетним мальчикам, — к Людовику же они пришли с восьмилетним опозданием.

Его пьянил поднимавшийся от девочки запах, он чувствовал, как кровь приливает к его сердцу, а вместе с тем на ум приходят странные мысли, неведомые дотоле и необыкновенно ласковые.

Как назвать эту дрожь, неожиданно охватившую все его тело? Как объяснить вдруг выступившую на его лбу испарину?

Что сказать о волнении, охватившем его так сильно, так внезапно?

Была ли это любовь? Нет, невозможно! Мог ли он в это поверить, он, все свои молодые годы пытавшийся ее побеждать, гнать прочь, отрицать?

Кроме того, можно ли испытать любовь к этой девочке, этой сиротке, цыганке? Нет, только интерес...

Да! Людовик признал, что очень сильно интересуется Розочкой.

Прежде всего, он будто заключил пари с болезнью, с самой смертью.

Увидев Розочку впервые, он сказал себе: «Эта девочка долго не протянет».

Потом он снова встретился с ней, видел ее и в мастерской Петруса, и у нее дома в каком-то лихорадочном возбуждении, и на краю канавы, где она сидела, упрашивая солнечный луч согреть ее, словно цветочек, тогда Людовик подумал: «Как жаль, что бедняжка не выживет!»

Позднее он имел случай понаблюдать за тем, как стремительно развиваются ее умственные способности, когда она разучивала стихи под руководством Жана Робера, занималась музыкой с Жюстеном, училась рисовать у Петруса, а ему, Людовику, задавала серебристо-заливистым голосом такие серьезные или, наоборот, такие наивные вопросы, что он порой не находил что ответить; при этом она смотрела на него своими огромными, лихорадочно блестящими глазами, и он сказал:

— Эта девочка не должна умереть!

С этого времени — прошло около полутора месяцев с тех пор, как у него вырвалось это восклицание, — Людовик взялся за лечение несчастной девочки с увлечением, свойственным ему как доктору.

Он считал пульс, слушал дыхание, заглядывал в глаза и оставался убежден, что блеск глаз и учащенный пульс свидетельствовали о нервном напряжении девочки, но ни один из жизненно важных органов не поврежден. И он прописал чисто гигиеническое лечение и покой. Духовную пищу он дозировал не менее тщательно, чем материальную. Даже в ее костюме он оставил живописные черты, но убрал все, что считал чересчур эксцентричным.

Он сам наблюдал за проведением такого лечения, и оно привело к ожидаемому улучшению. Через полтора месяца Розочка превратилась из ребенка в девушку, и мы представили ее читателям как раз в ту минуту, когда вопросы г-на Жакаля повергли ее в состояние, в которое она впадала всякий раз, как ее против воли заставляли вспомнить о страшных событиях далекого детства.

Мы видели, как Людовик, взявший за правило ежедневно навещать девушку под тем предлогом, что он должен убедиться, выполняются ли его предписания, прибыл, как раз когда Розочка лишилась чувств; мы знаем, что после ухода г-на Жакаля моло-

дой доктор остался у постели больной один; он запретил ей говорить и, сидя у нее в ногах, охранял ее покой. Он неотрывно смотрел на нее, спрашивая себя, что происходит в его собственной душе.

Не испытывал ли он просто-напросто желание?

Нет, ангелы добродетели, вы-то знаете, что это не так! Нет, то было не желание, потому что никогда еще более целомудренный взгляд не останавливался на более безупречном существе.

Что же это было?

Молодой человек прижал ладонь ко лбу, словно пытается заставить себя не думать. Он прижал другую руку к груди, приказывая сердцу остановиться. Но и разум, и душа его ликovali и пели о первой любви, и ему ничего не оставалось, как к ним прислушаться.

— Так это любовь! — молвил он и закрыл лицо руками.

Да, это была любовь, самая первая, свежая, чистая любовь, какая только может осветить сердце мужчины. В ней заключались и пылающая страсть, и нежность взрослого мужчины, полюбившего впервые в жизни. Фея любви пролетела только что над их головами и коснулась их лбов лепестками белых лилий.

Какая женщина узнает — да и какими словами можно было бы поведать ей об этом? — о тайном, безмолвном, невыразимом восхищении, преисполняющем сердце мужчины, который понял, что по-настоящему влюблен?

Так было и с Людовиком.

Его сердце представилось ему самому храмом, любовь — культом, а вся прошлая жизнь закоренелого скептика исчезла, как исчезает в театре по мановению феи и желанию режиссера декорация, изображающая пустыню.

Он обратил свои взоры в будущее и сквозь бело-розовые облака увидел новые дали. Он ощущал себя матросом, который только что пересек тропики, обогнул мыс и вдруг перед ним появился один из восхитительнейших островов Тихого или Индийского океанов, поросшего высокими деревьями, дающими спасительную тень, и благоухающего дивными цветами невиданных размеров: Таити или Цейлон. Он поднял голову, покачал ею и снова опустил подбородок на спинку кровати и с родительской нежностью залюбовался Розочкой.

— Спи, дитя, — прошептал он. — Благослови тебя Бог за то, что ты помогла мне обрести смысл жизни! Ты принесла мне под своим крылышком любовь, прекрасная голубка, в тот самый день, как я тебя встретил! Я столько раз проходил мимо тебя, так часто тебя видел, сжимал твою руку в своей, но ничто во мне не шевельнулось, мой внутренний голос молчал! И лишь увидев тебя спящей, я понял, что такое любовь... Спи, дорогое дитя, неведомо откуда появившееся в этом городе! Ангелы охраняют твой сон, а я спрячусь в складках их одежд и буду любоваться тобой... Будь безмятежна в прекрасной стране сновидений, по

которой ты путешествуешь: я буду смотреть на тебя сквозь белоснежный покров твоей невинности, и мой голос никогда не потревожит золотого сна твоей души.

Людювик вот так разговаривал сам с собой, как вдруг Розочка открыла глаза и увидела его.

Краска бросилась Людювику в лицо, словно его застали на месте преступления. Он почувствовал необходимость заговорить с девушкой, однако язык ему не повиновался.

— Вы хорошо спали, Розочка? — спросил он наконец.

— «Вы»? — переспросила девочка. — Вы обращаетесь ко мне так почтительно, господин Людювик?

Врач опустил глаза.

— Почему вы говорите мне «вы»? — продолжала девочка, привыкшая к тому, что все близкие обращаются к ней на «ты».

Словно размышляя вслух, она прибавила:

— Неужели во сне я сказала что-нибудь нехорошее?

— Вы, дорогое дитя? — вскричал Людювик, и на глаза ему навернулись слезы.

— Опять «вы»?! — возмутилась Розочка. — Почему же вы не обращаетесь ко мне запросто, как раньше?

Людювик смотрел на нее, ничего не отвечая.

— Когда мне говорят «вы», мне кажется, что на меня сердятся, — пояснила Розочка. — Вы на меня сердитесь?

— Нет, клянусь вам! — поспешил заверить ее Людювик.

— Снова это «вы»? Вероятно, я вас чем-то огорчила, а вы не хотите сказать?

— Нет, нет, ничем, дорогая Розочка!

— Вот так-то лучше! Продолжайте!

— Послушайте, что я вам скажу, дорогое дитя! — начал он.

Розочка состроила прелестную рожицу при слове «послушайте», чем-то ее смутившем, хотя и сама не могла бы объяснить причины своего недовольства.

— Вы уже не ребенок, Розочка...

— Я? — перебила она его с неподдельным изумлением.

— Или, точнее, перестанете быть ребенком через несколько месяцев, — поправился Людювик. — Скоро вы станете совсем взрослой и все будут обращаться к вам с должной почтительностью. Так вот, Розочка, не пристало молодому человеку моих лет обращаться к такой девушке, как вы, с прежней фамильярностью.

Девочка взглянула на Людювика с выражением такой наивности, что тот был вынужден опустить глаза.

Ее взгляд ясно говорил: «Я думаю, у вас действительно есть причина обращаться ко мне на «вы», но не та, о которой вы только что сказали. Я вам не верю».

Людювик отлично понял, что хотела сказать Розочка. Он снова опустил глаза, размышляя о том, в каком трудном положении окажется, если Розочка потребует более убедительных объяснений.

Но когда она увидела, что он опустил глаза, в ее душе шевельнулось неведомое ей до тех пор чувство. Она задохнулась, но не от горя, а от счастья.

И произошло невероятное: обращаясь к нему мысленно со словами, которые Розочка хотела было произнести вслух, она заметила, что в то время, как Людовик перестал говорить ей «ты», она сама, всегда до тех пор обращавшаяся к нему почти-тейнейшим образом, мысленно говорит ему «ты». Все это заставило Розочку замолчать, она задрожала и покраснела.

Девушка спрятала голову в подушку и натянула на себя прозрачное покрывало, которое обычно составляло неотъемлемую часть ее живописных нарядов.

Людовик наблюдал за ней с беспокойством.

«Я ее огорчил,— подумал он,— и теперь она плачет».

Он встал и, упрекнув себя в излишней деликатности, непонятной для девочки и потому напугавшей ее, приблизился к Розочке, склонился над подушкой и как можно ласковее произнес:

— Розочка! Дорогая Розочка!

Его нежные слова взяли ее за душу, и она повернулась так стремительно, что почти коснулась губами лица Людовика.

Он хотел было подняться, но Розочка, не отдавая себе отчета в том, что делает, инстинктивно обвила его шею руками и прижалась к пылавшим губам молодого человека, отвечая на его ласковые слова.

— Людовик! Дорогой Людовик!

Оба вскрикнули, Розочка оттолкнула Людовика, молодой человек отшатнулся.

В ту самую минуту дверь отворилась и в комнату с криком влетел Баболен.

— Знаешь, Розочка, Бабилас удрал, но Броканта его поймала, и теперь он попляшет!

Жалобный лай Бабиласа в самом деле донесся в это время до слуха Розочки и Людовика, подтверждая известную пословицу: «Кого люблю, того и бью!»

XVI

Командор Триптолем де Мелен, дворянин королевских покоев

В тот же день, три четверти часа спустя после того, как г-н Жакаль и Жибасье распрощались на углу улицы Вьей-Эстрапад— Жибасье отправился на поиски Карамельки к Барбетте, а г-н Жакаль сел в карету,— честнейший г-н Жерар просматривал газеты в своем ванврсском особняке, когда тот же камердинер, что во время болезни своего хозяина ходил за ба-медонским священником и привел брата Доминика, вошел и в ответ на недовольный вопрос хозяина: «Почему вы меня

беспокоите? Опять из-за какого-нибудь попрошайки?» — торжественно доложил:

— Его превосходительство Триптолем де Мелен, дворянин королевских покоев!

Это имя произвело на хозяина необыкновенное впечатление.

Господин Жерар покраснел от удовольствия и, вскочив с места, попытался проникнуть взглядом в темный коридор в надежде разглядеть знаменитость, о которой ему доложили с такой важностью.

И действительно удалось различить в потемках господина высокого роста, светловолосого или, точнее, в светлом завитом парике, в коротких штанах, со шпагой на боку, во французском рединготе с пышным кружевным жабо и орденским крестом в петлице.

— Просите! Просите! — крикнул г-н Жерар.

Лакей удалился, и его превосходительство командор Триптолем де Мелен, дворянин королевских покоев, вошел в гостиную.

— Проходите, господин командор, проходите! — пригласил г-н Жерар.

Командор сделал два шага, небрежно поклонился, едва качнув головой, сощурил левый глаз, поднял на лоб очки в золотой оправе — словом, всем своим вызывающим видом давал понять г-ну Жерару свое превосходство как дворянина древнего рода.

Тем временем г-н Жерар, согнувшийся, словно вопросительный знак, ждал, пока посетитель соизволит объяснить, зачем он пришел.

Командор разрешил наконец г-ну Жерару поднять голову, и честнейший филантроп бросился к креслу и поспешил подвинуть его посетителю. Тот сел и предложил хозяину последовать его примеру.

Когда собеседники уселись друг против друга, командор, не говоря ни слова, вынул из жилетного кармана табакерку и, позабыв предложить щепоть г-ну Жерару, зачерпнул табак и с наслаждением втянул в себя огромную понюшку.

Опустив очки на нос и пристально взглянув на г-на Жерара, он произнес:

— Сударь! Я явился от имени короля!

Господин Жерар склонился до земли.

— От имени его величества? — пролепетал он.

Командор продолжал непреклонно и свысока:

— Король поручил мне поздравить вас, сударь, с благополучным окончанием вашего дела.

— Король бесконечно милостив ко мне! — вскричал г-н Жерар. — Однако каким же образом король?..

И он взглянул на командора Триптолема де Мелена с выражением, в котором невозможно было ошибиться.

— Король — отец своим подданным, сударь, — отвечал командор. — Он интересуется судьбой всех страждущих, знает обо всех бесчисленных страданиях, терзающих ваше сердце с тех пор, как вы лишились племянников. Его величество передает вам

через меня соболезнования. Не стоит и говорить, сударь, что я присоединяюсь к пожеланиям его величества.

— Вы слишком добры, господин командор! — скромно отвечал г-н Жерар. — Не знаю, достоин ли я...

— Достойны ли вы, господин Жерар? — подхватил командор. — И вы еще спрашиваете?! По правде говоря, вы меня удивляете! Как?! Вы столько выстрадали, столько трудились, так постарались для общего блага, ваше имя большими буквами высечено на фонтане, на общественной мыльне, на церкви, на каждом камне в этом городке; вас все знают за человека, который любит ближних, помогает себе подобным, проявляет по отношению к любому человеку истинное величие и бескорыстие! И такой человек спрашивает, заслужил ли он милости короля! Повторяю вам, сударь, что меня удивляет ваша скромность; это еще одна добродетель, украшающая вас, известного своими неисчислимыми добродетелями!

— Господин командор! — в смущении отвечал тот. — Я делаю для ближних все, что подобает истинному христианину. Разве Церковь не предписывает нам любить себе подобных, служить и помогать друг другу?

Командор поднял очки на лоб и уставился на г-на Жерара маленькими глазками.

«Я бы очень удивился, — подумал он, — если бы в этом человеколюбии не оказалось хоть немного иезуитства. Поищем его слабое место!»

Вслух он прибавил:

— Ах, сударь! Разве наш долг не в том, чтобы строго придерживаться принципов, которые диктуют нам Святая церковь и его величество, носящий титул «христианнейшего короля» и по праву считающий себя «старшим сыном нашей святой матери Церкви»? И разве Церковь не должна отличать и вознаграждать истинных христиан?

— Вознаграждать! — горячо подхватил г-н Жерар, сейчас же раскаявшись в собственной несдержанности.

— Да, сударь, — продолжал командор, и на его губах мелькнула странная улыбка, — вознаграждать... Король позаботился о вашем вознаграждении.

— Однако, — с живостью перебил его г-н Жерар, словно желая искупить свою недавнюю торопливость, — разве чувство исполненного долга — не достаточная награда, господин командор?

— Конечно, конечно, — закивал дворянин королевской палаты, — и ваше замечание очень любопытно; да, чувство исполненного долга — достаточная награда, которой должен довольствоваться каждый человек. Но вознаграждать людей, исполнивших свой долг, — не значит ли это привлекать к ним всеобщее внимание, пробуждать восхищение и любовь их сограждан? Не означает ли это ставить их в пример тем, кто стоит на перепутье, кто еще не сделал окончательного выбора между добром и злом? Вот в чем, сударь, состоит идея его величества, и если только вы не

выскажете решительного отказа от милостей, которыми намерен вас осыпать король, мне поручено сообщить вам новость, способную вас осчастливить.

— Прошу прощения, господин командор,— отрывисто проговорил в ответ г-н Жерар,— но я не ожидал, что вы окажете мне честь своим посещением, как не ожидал и поистине отеческой заботы, которой окружил меня его величество, а потому мысли мешаются у меня в голове и я не нахожу слов для выражения своей признательности.

— Признательны должны быть мы, господин Жерар,— возразил командор.— Либо я ошибаюсь, либо его величество подтвердит вам это лично.

Господин Жерар снова отвесил низкий поклон.

Командор терпеливо ждал, пока г-н Жерар снова примет нормальное положение, и продолжил:

— Итак, господин Жерар, если бы король поручил вам отблагодарить человека ваших достоинств, какую награду вы выбрали бы? Отвечайте откровенно.

— Признаться, господин командор,— отозвался г-н Жерар, пожирая глазами рубин, украшавший петлицу дворянина королевской палаты,— я бы затруднился выбрать.

— Если бы речь шла о вас, я понимаю ваше смущение. Но предположим, что речь идет о ком-то другом, о столь же честном, как вы, человеке, например, если только другой смертный может вознестись так же высоко, как вы.

Командор произнес эти слова с насмешливым видом, от чего г-н Жерар заметно вздрогнул. Достоянейший филантроп вопросительно заглянул в лицо дворянину королевской палаты. Но тот всем своим видом старался показать такую доброжелательность, что, если сомнение на миг и закралось г-ну Жерару в душу, оно сейчас же и развеялось.

— В таком случае, мне кажется, господин командор...— начал он.

— Договаривайте!

— ...мне кажется, что... орден... Почетного... легиона...— продолжал г-н Жерар, выговаривая каждое слово, как будто боялся, что скажет больше чем нужно и в особенности больше, чем следовало услышать дворянину такого ранга, как командор Триптолем де Мелен.

— Орден Почетного легиона? Что же вы раньше-то молчали, господин Жерар? Какого черта вы скромничаете?.. Орден Почетного легиона!

— Это мое самое горячее желание!

— Должен вам заметить, что я считаю вас невероятно скромным, господин Жерар!

— О, сударь...

— Несомненно! Что такое клочок красной ленты в буфетнице для человека вашего полета? Ну, дорогой господин Жерар, вы

выбрали для другого человека награду, которую его величество уготовил для вас.

— Возможно ли? — вскричал г-н Жерар, и его лицо налилось кровью, словно его хватил апоплексический удар.

— Да, сударь, — продолжал командор, — его величество награждает вас орденом Почетного легиона; король поручил мне не только доставить его вам, но самолично прикрепить к вашей петлице; государь выражает уверенность, что никогда еще эта высокая награда не сияла на груди более достойного человека.

— Я не переживу этой радости, господин командор! — вскричал г-н Жерар.

Господин Триптолем де Мелен опустил для вида руку в карман, а г-н Жерар, задыхаясь от радости, гордости и счастья, приготовился опуститься на колени.

Но вместо того, чтобы достать обещанный и с нетерпением ожидаемый крест, командор скрестил на груди руки и смерил г-на Жерара презрительным взглядом.

— Черт побери! — промолвил он. — Господин честный человек! Должно быть, вы большой негодяй!

Нетрудно догадаться, что г-н Жерар подскочил, словно укушенный.

Но, не обращая внимания на его растерянный вид, странный собеседник продолжал:

— Ну-ка, господин Жерар, смотрите мне прямо в глаза!

Господин Жерар смертельно побледнел и попытался исполнить приказание командора, но не смог поднять голову.

— Что вы хотите сказать, сударь? — пролепетал он.

— Я хочу сказать, что господин Сарранти невиновен, что вы сами совершили преступление, за которое его приговорили к смертной казни, что королю никогда не приходило в голову наградить вас крестом, что я не командор Триптолем де Мелен, дворянин королевских покоев, а господин Жакаль, начальник тайной полиции! А теперь, дорогой господин Жерар, поговорим как добрые друзья. Слушайте меня очень внимательно, потому что я скажу вам нечто весьма и весьма важное!

XVIII

Глава, в которой господин Жерар успокаивается

Господин Жерар закричал от ужаса. Его желтые обвисшие щеки позеленели. Он уронил голову на грудь и шепотом пожелал себе провалиться сквозь землю.

— Мы остановились на том, — продолжал г-н Жакаль, — что господин Сарранти невиновен и что вы — преступник.

— Смилуйтесь, господин Жакаль! — взмолился г-н Жерар, задрожал всем телом и повалился полицейскому в ноги.

Господин Жакаль взглянул на него с отвращением, свойственным полицейским, жандармам и палачам, когда им приходится иметь дело с трусами.

Не подавая ему руки — казалось, г-н Жакаль боялся замараться, дотронувшись до этого человека, — он приказал:

— Встаньте и ничего не бойтесь! Я здесь для того, чтобы спасти вас.

Господин Жерар поднял голову и затравленно огляделся. В его глазах светилась надежда и в то же время застыл ужас.

— Спасти меня? — вскричал он.

— Спасти... Вас это удивляет, не так ли? — пожал плечами г-н Жакаль. — Кому могло прийти в голову спасти такого ничтожного человека, как вы? Я вас успокою, господин Жерар. Вас спасают только для того, чтобы погубить честного человека. Ваша жизнь никому не нужна, зато нужна его смерть, а от него можно отделаться лишь оставив вас в живых.

— А-а, да, да, — промямлил г-н Жерар, — по-моему, я вас понимаю.

— В таком случае, — заметил г-н Жакаль, — постарайтесь сделать так, чтобы ваши зубы не стучали — это мешает вам говорить, — и расскажите мне все дело в мельчайших подробностях.

— Зачем? — спросил г-н Жерар.

— Я мог бы вам не отвечать на этот вопрос, но вы попытаетесь солгать. Хорошо, я скажу: чтобы уничтожить следы.

— Следы!.. Так остались следы? — спросил г-н Жерар, широко раскрывая глаза.

— Ну еще бы!

— Какие следы?

— Какие!.. Прежде всего — ваша племянница...

— Так она не умерла?

— Нет. Похоже, госпожа Жерар ее не дорезала.

— Моя племянница! Вы уверены, что она жива?

— Я только что от нее и должен вам признаться, что ваше имя, дражайший господин Жерар, а в особенности упоминание о вашей «жене», производят на нее довольно жуткое действие.

— Она, стало быть, все знает?

— Вероятно, да, если отчаянно вопит при одном упоминании о тетушке Урсуле.

— Урсуле?.. — переспросил г-н Жерар, вздрогнув как от электрического удара.

— Вот видите! — заметил г-н Жакаль. — Даже на вас ее имя производит некоторое впечатление. Посудите сами, что должна испытывать несчастная девочка! Надо любой ценой заставить девчонку молчать, как необходимо уничтожить компрометирующие вас следы. Итак, господин Жерар, я врач, и довольно хороший врач. Я умею правильно подбирать лекарства, если знаю, чем болеют люди, с которыми я имею дело. Расскажите же мне эту печальную историю до мелочей: самая ничтожная по-

дробность, незначительная по виду, забытая вами, может погубить весь наш план. Говорите так, словно перед вами врач или священник.

Как у всех хитрых тварей, у г-на Жерара был высоко развит инстинкт самосохранения. Он прилежно читал все политические листки, с жадностью прочитывал в роялистских газетах самые гневные статьи, помещенные «по приказу» против г-на Сарранти. С тех пор он понял, что его защищает невидимая десница; подобно царям, покровительствуемым Минервой, он сражался под эгидой. Г-н Жакаль только что укрепил его в этой вере.

И он понял, что перед полицейским, который пришел к нему как союзник, у него нет никакого интереса что-либо скрывать; напротив, для его же пользы необходимо открыть правду. И он все рассказал, как прежде — аббату Доминику, начиная со смерти его брата и вплоть до той минуты, как, узнав об аресте г-на Сарранти, потребовал у исповедника вернуть записанные признания.

— Наконец-то! — вскричал г-н Жакаль. — Теперь я все понял!

— Как?! — переспросил г-н Жерар, трясаясь от страха. — Вы все поняли? Значит, придя сюда, вы еще ничего не знали?

— Я знал не очень много, сознаюсь. Однако теперь все сходится.

Он оперся на подлокотник, схватился рукой за подбородок, ненадолго задумался и неожиданно опечалился, что было для него совсем несвойственно.

— Несчастный парень этот аббат! — пробормотал он. — Теперь я понимаю, почему он божился всеми святыми, что его отец не виноват; теперь мне ясно, что он имел в виду, говоря о доказательствах, которые он не может представить; теперь я вижу, зачем он отправился в Рим.

— Как?! Он отправился в Рим? — ужаснулся г-н Жерар. — Аббат Доминик отправился в Рим?

— Ну да, Бог мой!

— Зачем ему понадобился Рим?

— Дорогой мой господин Жерар! Существует только один человек, который может разрешить аббату Доминику нарушить тайну исповеди.

— Да, папа!

— За этим он и пошел к папе.

— О Боже!

— С этой целью он попросил и добился у короля отсрочки.

— Я, стало быть, пропал?

— Почему?

— Папа удовлетворит его просьбу.

Господин Жакаль покачал головой.

— Нет? Вы думаете, не удовлетворит?

— Я в этом уверен, господин Жерар.

— Как — уверены?

— Я знаю его святейшество.

— Вы имеете честь быть знакомым с папой?

— Так же как полиция имеет честь все знать, господин Жерар; как она знает, что господин Сарранти невиновен, а вы — преступник.

— И что же?

— Папа ему откажет.

— Неужели?

— Да. Это жизнерадостный и упрямый монах, он очень хочет передать свою мирскую и духовную власть своему последователю в том же виде, в каком получил ее от своего предшественника. Он найдет, в какие слова облечь свой отказ, но откажет непременно.

— Ах, господин Жакаль! — запричитал г-н Жерар и снова затрясся. — Если вы ошибетесь...

— Повторяю вам, дражайший господин Жерар, что ваше спасение мне просто необходимо. Ничего не бойтесь и продолжайте свои филантропические подвиги, но запомните, что я вам скажу: завтра, послезавтра, сегодня, через час может явиться имярек, который захочет вас разговорить. Он будет утверждать, что имеет на это право, он вам скажет, как я: «Мне все известно!» Ничего ему не отвечайте, господин Жерар, не признавайтесь даже в юношеских грехах, можете смеяться ему в лицо, потому что он ничего не знает. На свете существуют только четверо, которым известно о вашем преступлении: вы, я, ваша племянница и аббат Доминик...

Господин Жерар сделал нетерпеливое движение, полицейский его остановил.

— И никто, кроме нас, не должен о нем знать, — прибавил он. — Будьте осторожны, не выдайте себя. Отрицайте, упорно отрицайте все, хотя бы вопросы вам задавал королевский прокурор; отрицайте в любом случае, если понадобится — я приду вам на помощь, это мой долг!

Невозможно передать, с каким выражением г-н Жакаль произнес последние три слова.

Можно было подумать, что себя он презирает не меньше, чем г-на Жерара.

— А что если я уеду, сударь? — поспешил вставить г-н Жерар.

— Вы за этим хотели меня недавно перебить, верно?

— Так что вы об этом думаете?

— Вы совершите глупость.

— Не отправиться ли мне за границу?

— Что?! Покинуть Францию, неблагодарный сын! Оставить целое стадо бедняков, которых вы кормите в этой деревне, дурной пастырь? И вы не шутите? Дорогой господин Жерар! Несчастные этого местечка нуждаются в вас, а я сам намереваюсь в ближайшие дни или, скорее, в одну из ночей прогуляться в знаменитый замок Вири. Мне понадобятся попутчики — любезные, веселые, добродетельные люди вроде вас! И я рассчитываю пригласить вас на прогулку; для меня это будет настоящий

праздник, потому что такое путешествие сулит для меня во всяком случае немало удовольствий. Вы согласны, дражайший?

— Я к вашим услугам,— тихо проговорил г-н Жерар.

— Тысячу раз благодарю! — отозвался г-н Жакаль.

Вынув из кармана табакерку, он запустил в нее пальцы и с наслаждением поднес к носу табак.

Господин Жерар решил, что разговор окончен, и встал. Он был бледен, но на его губах играла улыбка.

Он приготовился проводить г-на Жакаля, но тот угадал его намерения и покачал головой:

— Нет, нет, господин Жерар. Я еще не все сказал. Садитесь и слушайте.

XVIII

Что господин Жакаль предлагает господину Жерару вместо ордена Почетного легиона

Господин Жерар вздохнул и снова сел, вернее, упал на стул. Он не сводил с г-на Жакаля остекленевшего взгляда.

— А теперь,— сказал тот, отвечая на молчаливый вопрос г-на Жерара,— в обмен на ваше спасение, за которое я ручаюсь, я вас попрошу не в качестве платы, а в виде дружеского return¹, как говорят англичане, о небольшой услуге. У меня сейчас много дел, и я не смогу навещать вас так часто, как мне бы того хотелось...

— Так я буду иметь честь снова вас увидеть? — робко спросил г-н Жерар.

— А как же, дорогой мой господин Жерар? Я питаю к вам, сам не знаю отчего, настоящую нежность: чувства бывают необъяснимы. И вот, не имея возможности, как я уже сказал, видеть вас столько, сколько хотел бы, я вынужден просить вас оказать мне честь своим посещением хотя бы дважды в неделю. Надеюсь, это будет вам не очень неприятно, дорогой господин Жерар?

— Где же я буду иметь честь навещать вас, сударь? — неуверенно спросил г-н Жерар.

— В моем кабинете, если угодно.

— А ваш кабинет находится?..

— ...в префектуре полиции.

При словах «в префектуре полиции» г-н Жерар откинул голову назад, словно не расслышал, и переспросил:

— В префектуре полиции?..

— Ну разумеется, на Иерусалимской улице... Что вас в этом удивляет?

— В префектуре полиции! — с обеспокоенным видом тихо повторил г-н Жерар.

¹ возврат (англ.)

— Как туго до вас доходит, господин Жерар.

— Нет, нет, я понимаю. Вы хотите быть уверены, что я не уеду из Франции.

— Не то! Можете быть уверены, что за вами есть кому присмотреть, и если вам вздумается покинуть Францию, я найду способ вам помешать.

— Но если я дам вам честное слово...

— Это было бы, безусловно, твердой гарантией, однако я очень хочу вас видеть, таково уж мое желание. Какого черта! Я, дорогой господин Жерар, тружусь для вас предостаточно, сделайте же и вы хоть что-нибудь для меня!

— Я приду, сударь,— опустил голову, отвечал честнейший филантроп.

— Нам остается условиться о днях и времени встречи.

— Да,— как во сне повторил г-н Жерар,— нам остается договориться лишь об этом.

— Что вы, к примеру, скажете о среде, дне Меркурия, и пятнице, дне Венеры? Нравятся вам эти дни?

Господин Жерар кивнул.

— Теперь обсудим время... Что вы скажете, если мы будем встречаться в семь часов утра?

— Семь часов утра?... По-моему, это очень рано.

— Дорогой господин Жерар! Неужели вы не видели очень модную драму, прекрасно исполненную Фредериком, под названием «Кабачок Адре», в которой исполняют романс с таким припевом:

Кто всегда был чист душою,
Любит наблюдать рассвет.

Наступает лето, рассвет приходит в три часа, и я не считаю со своей стороны неприличным назначить вам свидание на семь утра...

— Хорошо, в семь часов утра! — согласился г-н Жерар.

— Очень хорошо, очень хорошо! — обрадовался г-н Жакаль. — Перейдем теперь к распорядку остального вашего времени, дражайший господин Жерар.

— Какому еще распорядку? — не понял г-н Жерар.

— Сейчас поясню.

Господин Жерар подавил вздох. Он почувствовал себя мышкой, угодившей в лапы к коту, или человеком в лапах у тигра.

— Вы еще очень крепки, господин Жерар.

— Хм! — обронил честнейший человек с таким видом, словно хотел сказать: «Да так себе!»

— Люди вашего сдержанного темперамента обыкновенно любят прогулки.

— Это верно, сударь, я люблю гулять.

— Вот видите! Я даже уверен, что вы способны пройти в день четыре-пять часов и ничуть не устанете.

— Пожалуй, многовато!

— Это с непривычки, дорогой господин Жерар... Возможно, поначалу будет тяжело, зато потом вы не сможете без этого обходиться.

— Вполне возможно,— не стал возражать г-н Жерар, еще не понимая, куда клонит полицейский.

— Совершенно точно!

— Пусть так.

— Вам придется начать прогулки, господин Жерар.

— Я и так гуляю, господин Жакаль.

— Да, да, в своем саду, в лесах Севра, Бальвю, Виль-д'Аврея... Прогулки ваши совершенно бесполезны, господин Жерар, потому что не обращают ваших ближних к добру и не приносят пользу правительству.

— Это так!— отвечал г-н Жерар, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Не стоит попусту терять свое время, дражайший господин Жерар. Я укажу вам цель ваших прогулок.

— Да?

— И постараюсь их по возможности разнообразить.

— К чему эти прогулки?

— К чему? Да для вашего же здоровья прежде всего. Прогулка—это спасительное упражнение.

— Разве я не могу его проделывать вокруг своего дома?

— Вокруг своего дома? Все здешние места до смерти вам надоели. За семь лет вы истоптали здесь все тропинки. Должно быть, вы пресытились Ванвром и его окрестностями. Необходимо непременно—слышите?—прервать однообразие этих прогулок по полям; я хочу, чтобы вы гуляли по парижским улицам.

— По правде говоря, я вас не понимаю,—признался г-н Жерар.

— Я постараюсь как можно яснее выразить свою мысль.

— Слушаю вас, сударь.

— Дорогой господин Жерар! Вы верный слуга короля, не так ли?

— Великий Боже! Я чту его величество!

— Согласны ли вы послужить ему во искупление ваших слабостей и, простите мне это слово, заблуждений?

— Каким образом я мог бы послужить королю, сударь?

— Его величество со всех сторон окружают враги...

— Увы!

— И он не может справиться с ними в одиночку. Он поручает самым верным своим слугам защитить его, сразиться за него, победить злых людей. На языке роялистов, господин Жерар, злыми людьми, моавитянами, амаликитянами называются все, кто из тех или иных соображений принадлежат к той же партии, что и этот негодяй Сарранти, а также те, что не жалуют короля, зато обожают герцога Орлеанского, и, наконец,

те, что не признают ни того, ни другого и помнят только об этой чертовой революции восемьдесят девятого года, о которой вы, дорогой господин Жерар, несомненно, знаете, ведь с нее-то и начались во Франции все несчастья. Вот злые люди, господин Жерар, вот враги короля, вот гидры, которых я предлагаю вам победить, и это благородное дело, не так ли?

— Признаться, сударь,—заговорил честнейший г-н Жерар и махнул рукой с безнадежным видом,—я ничего не понимаю из того, что вы говорите.

— Однако ничего мудреного в этом нет, и сейчас вы сами в этом убедитесь.

— Посмотрим!

Господин Жерар стал слушать с удвоенным вниманием, зато и беспокойство его возросло.

— Представьте, например, что вы гуляете под каштанами Тюльрийского парка или под липами Пале-Рояля. Мимо проходят два господина, беседующие о Россини или Моцарте; их разговор вас не интересует, и вы не обращаете на них внимания. Вот идут другие гуляющие, они разговаривают о лошадях, живописи или танцах; вы не любите ни того, ни другого, ни третьего и пропускаете этих господ мимо. Еще прохожие, обсуждающие христианство, магометанство, буддизм или пантеизм; философские дискуссии — это ловушки, расставляемые одними в расчете на глупость других, и вы оставляете спорщиков в покое, поступая как истинный философ. Но могу себе представить, как появляются еще двое, рассуждающие о республике, орлеанизме или бонапартизме. Представляю также, что они помянут и королевскую власть! В этом случае, дорогой господин Жерар, поскольку королевскую власть вы любите, зато ненавидите республику, империю, младшую ветвь и заинтересованы прежде всего в том, чтобы послужить правительству и его величеству, вы выслушаете все внимательно, с благоговением, не упустив ни единого слова, а если еще изыщете возможность вмешаться в разговор — тем лучше!

— Однако, если я вмешаюсь в разговор,—сделав над собой усилие, заметил г-н Жерар, начинавший понимать, что от него хотя бы — я стану выступать против того, что ненавижу.

— Кажется, мы перестали друг друга понимать, дражайший господин Жерар.

— То есть?..

— Наоборот! Вы должны поддерживать говорунов обеими руками, поддакивать им; вы даже постараетесь расположить их к себе. Впрочем, это дело нехитрое, достаточно будет представиться: господин Жерар, честный человек. Кому придет в голову вас опасаться? А как только вам удастся завязать знакомство, вы дадите мне знать об этой удаче, и я буду рад с ними познакомиться. Друзья наших друзей — наши друзья, верно? Теперь вам все понятно? Отвечайте!

— Да,—глухо произнес г-н Жерар.

— Ага! Ну, после того как я разъяснил вам этот первый пункт, вы, вероятно, догадались, что это лишь одна из целей вашей прогулки. Постепенно я расскажу вам и о других; не пройдет и года, как, слово Жакаля, вы станете одним из самых верных, надежных, ловких и, значит, полезных слуг короля.

— Стало быть, вы предлагаете мне, сударь, стать вашим шпионом? — пролепетал г-н Жерар, изменившись в лице.

— Раз уж вы сами выговорили это слово, я не стану вам противоречить, господин Жерар.

— Шпион!.. — повторил г-н Жерар.

— Да что уж такого унижительного в этой профессии! Разве я сам не являюсь первым шпионом его величества?

— Вы? — пробормотал г-н Жерар.

— Ну да, я! Неужели вы полагаете, что я считаю себя менее честным человеком, чем какое-нибудь частное лицо — я ни на кого не намекаю, дорогой господин Жерар, — какой-нибудь убийца, разделавшийся со своими племянниками ради наследства, а потом подставивший вместо себя невинного?

В словах г-на Жакаля прозвучала такая насмешка, что г-н Жерар склонил голову и прошептал едва слышно, однако тонкий слух полицейского уловил его ответ:

— Я сделаю все, что вам будет угодно!

— В таком случае все идет отлично! — обрадовался г-н Жакаль.

Он поднял с пола свою шляпу и встал.

— Кстати, само собой разумеется, — продолжал полицейский, — что о вашей службе никто не должен знать, дорогой господин Жерар, и это важно не только для меня, но и для вас самого. Вот почему я вам предлагаю навещать меня в столь ранний час. В это время вы можете быть почти уверены, что не застанете у меня никого из своих знакомых. Никто не будет вправе — и вы заинтересованы в этом не меньше нашего — назвать вас словом «шпион», от которого вы буквально зеленеете. Теперь вот еще что. Если за полгода вы заслужите мою благодарность — при условии, разумеется, что мы избавимся от господина Сарранти, — я испрошу для вас у его величества право носить клочок красной ленты, раз уж вам, как большому ребенку, не терпится прицепить его к петлице!

С этими словами г-н Жакаль направился к двери. Г-н Жерар последовал за ним.

— Не беспокойтесь, — остановил его г-н Жакаль. — Судя по испарине на вашем лице, я вижу, что вам очень жарко; не стоит рисковать своим здоровьем и выходить на сквозняк. Я был бы в отчаянии, если бы вы подхватили воспаление легких или плеврит накануне своего вступления в должность. Оставайтесь в своем кресле, придите в себя после пережитых волнений, но в ближайшую среду вы должны быть в Париже. Я прикажу, чтобы вас не томили в приемной.

— Но...— попробовал возразить г-н Жерар.

— Что еще за «но»?— удивился г-н Жакаль.— Я полагал, что мы обо всем договорились.

— А как же аббат Доминик, сударь?

— Аббат Доминик? Он вернется через две недели, самое позднее — через три... Что это с вами?

Господин Жакаль был вынужден подхватить г-на Жерара, готового вот-вот лишиться чувств.

— Я...— пролепетал г-н Жерар,— я... если он вернется...

— Я же вам сказал, что папа не позволит ему открыть вашу тайну!

— А что если он откроет ее самовольно?— умоляюще сложив руки, вымолвил г-н Жерар.

Полицейский смерил его презрительным взглядом.

— Сударь!— заметил он.— Не вы ли мне сказали, что аббат Доминик дал клятву?

— Так точно.

— Какую же?

— Он обещал не пускать в ход этот документ, пока я жив.

— Ну вот что, господин Жерар!— сказал начальник полиции.— Если аббат Доминик поклялся, то, так как он по-настоящему честный человек, он сдержит слово. Только вот...

— Что?

— Не умирайте! Если вы умрете и аббат Доминик окажется свободен от данного слова, тут уж я ни за что поручиться не могу.

— А пока...

— Можете спать спокойно, господин Жерар, если вы вообще способны заснуть.

Эти слова заставили г-на Жерара вздрогнуть, а полицейский сел в карету, пробормотав себе под нос:

— Надобно признать, что этот господин — величайший негодяй, и если бы я верил в людскую справедливость, я бы усомнился в своей правоте.

Потом со вздохом прибавил:

— Несчастный парень этот аббат! Вот кто заслуживает жалости. Отец-то его — старый псих, он меня нисколько не интересует.

— Куда едем, сударь?— захлопнув дверь, спросил лакей.

— В гостиницу.

— Господин не отдает предпочтения какой-нибудь заставе? Ему все равно, по какой улице ехать?

— Отчего же? Возвращайтесь через заставу Вожирар, поедете по улице О-Фер. Сегодня дивная погода, и я должен убедиться, на месте ли этот лаццарони Сальватор. Если предчувствие меня не обманывает, этот чудак еще доставит нам хлопот в деле Сарранти... Трогай!

И лошади понесли во весь дух.

Оставим на время Жюстена и Мину, генерала Лебастара, Доминика, г-на Сарранти, г-на Жакаля, г-на Жерара и вернемся в мастерскую нашего могиканина-художника, знакомого нам под именем Петрус.

Прошел день или два после того, как г-н Жакаль побывал у г-на Жерара,— читатели понимают, что мы не в силах следить за событиями с точностью до одного дня, мы просто пересказываем их в хронологическом порядке. Было половина одиннадцатого утра. Петрус, Людовик и Жан Робер сидели: Петрус— в глубоком кресле, Людовик— в рубensoвском кресле, Жан Робер— в огромном вольтеровском. У каждого под рукой стояла чашка с чаем, более или менее опустевшая, а посреди мастерской— накрытый стол, свидетельствовавший о том, что чай был не единственным угощением в то утро.

Листы, испещренные строчками разной длины (значит, это были стихи), лежали пятью стопками справа от Жана Робера: поэт только что прочел друзьям новую драму в пяти частях и по мере того, как заканчивал каждый акт, откладывал их на пол. Чтение последнего, пятого акта было окончено несколько минут назад.

Драма называлась «Гвельфы и гибеллины».

Прежде чем отдать ее на суд директору театра «У заставы Сен-Мартен», где Жан Робер надеялся получить разрешение поставить пьесу в стихах, он прочел ее двум своим друзьям.

Людовику и Петрусу она очень понравилась. Они оба были художественные натуры, и их глубоко взволновал мрачный образ еще молодого Данте, ловко управлявшегося со шпагой, перед тем как взяться за перо, и без страха отстаивавшего свою любовь, свое искусство, свою свободу. Они оба любили и потому с особенным вниманием слушали произведение третьего влюбленного; Людовик вспоминал при этом свою только-только нарождавшуюся любовь, Петрус же упивался своей пышно распустившейся любовью.

В их ушах звенел нежный голос Беатриче, и все трое, побратски обнявшись, расселись и затихли: Жан Робер мечтал о Беатриче— Маранд, Петрус думал о Беатриче— Ламот-Гудан, Людовик представлял себе Беатриче— Розочку.

Беатриче воплощала собой звезду, мечту.

Сила настоящих произведений заключается в том, что они заставляют задуматься великодушных и сильных людей, но в зависимости от обстоятельств одни думают о прошлом, другие размышляют о настоящем, третьи мечтают о будущем.

Первым молчание нарушил Жан Робер.

— Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за теплые слова. Не знаю, Петрус, испытываешь ли ты то же, создавая картину, что и я, когда пишу драму: когда я намечаю тему и сюжет еще только-только вырисовывается, сцены выстраиваются одна за

другой, акты укладываются у меня в голове; пусть хоть все друзья мне скажут, что драма плоха, я ни за что не поверю. Зато когда она готова, когда я три месяца ее сочинял, а потом еще месяц писал, вот тут-то мне нужно одобрение всех моих друзей, чтобы я поверил, что она чего-то стоит.

— С моими картинами происходит то же, что с твоими драмами,— отвечал Петрус.— Пока полотно чистое, я представляю на нем шедевр, достойный Рафаэля, Рубенса, Ван-Дейка, Мурильо или Веласкеса. Когда картина готова—это всего-навсего мазня Петруса, которую сам автор считает весьма посредственной. Что ж ты хочешь, дорогой мой! Между идеалом и реальностью всегда бездна.

— А по-моему, тебе прекрасно удался образ Беатриче,— вмешался Людовик.

— Правда?— улыбнулся Жан Робер.

— Сколько ей, по-твоему, лет? Она совсем девочка!

— В моей драме ей четырнадцать, хотя на самом деле она умерла в десятилетнем возрасте.

— История лжива, и на сей раз она, как обычно, все перепутала,— возразил Людовик.— Десятилетняя девочка не могла оставить столь заметный след в душе Данте. Я с тобой согласен, Жан Робер: Беатриче, должно быть, около пятнадцати лет; это возраст Джульетты, в этом возрасте люди влюбляются и способны пробудить любовь в другом сердце.

— Дорогой Людовик! Я должен тебе кое-что сказать.

— Что именно?— спросил Людовик.

— Я ожидал, что тебя, человека серьезного, человека науки, материалиста, наконец, поразит в моей драме описание Италии тринадцатого века, нравов, флорентийской политики. Не тут-то было! По-настоящему тебя тронула любовь Данте к девочке, ты следишь за тем, как развивается эта любовь и влияет на жизнь моего героя, больше всего тебя занимает катастрофа, в результате которой Данте лишается Беатриче. Не узнаю тебя, Людовик. Уж не влюбился ли ты случайно?

— Точно! Влюбился!— вскричал Петрус.— Ты только посмотри на него!

Людовик рассмеялся.

— А если и так,— сказал он,— уж не вам двоим упрекать меня в этом!

— Я тебя упрекать и не собираюсь, наоборот!— возразил Петрус.

— И я тоже!— подхватил Жан Робер.

— Но должен тебе сказать, дорогой Людовик,— продолжал Петрус,— что дурно с твоей стороны таиться от друзей, у которых нет от тебя секретов.

— Если бы и была тайна, я едва успел признаться в ней самому себе!— воскликнул Людовик.— Как же, по-вашему, я мог поделиться ею с вами?

— Это весомое оправдание,— согласился Петрус.

— Кроме того, он, очевидно, не может открыть ее имя,— предположил Жан Робер.

— Нам?— возразил Петрус.— Сказать нам— все равно что похоронить тайну в могиле.

— Да я еще не знаю, как я ее люблю: как сестру или как возлюбленную,— признался Людовик.

— Так начинаются все великие страсти! — заверил Жан Робер.

— Тогда признайся, дорогой, что влюблен как безумный! — настаивал Петрус.

— Возможно, ты прав! — кивнул Людовик.— Вот как раз сейчас твоя живопись, Петрус, словно открыла мне глаза. Твои стихи, Жан Робер, заставили меня прислушаться к собственному сердцу. Я не удивлюсь, если завтра сам возьмусь за кисть, чтобы написать ее портрет, или за перо, чтобы сочинить в ее честь мадригал. Эх, Боже ты мой! Это вечная история любви, которую принимают за сказку, за легенду, за роман, пока сами не прочтут ее влюбленными глазами! Что такое философия? Искусство? Наука? Даже рядом с любовью наука, философия и искусство лишь формы красоты, истины, величия. А красота, истина, величие и есть любовь!

— Ну, в добрый час! — одобрил Жан Робер.— Если уж попался на эту удочку, то лучше именно так!

— Можно ли узнать,— полюбопытствовал Петрус,— какой луч света заставил выйти тебя из куколки, прекрасный мотылек?

— Да вы ее знаете, друзья! Но имя, образ, все ее существо еще сокрыты в таинственных недрах моей души. Однако будьте покойны, наступит время, когда моя тайна сама попросится наружу и постучит в ваши гостеприимные сердца.

Двое друзей с улыбкой протянули Людовику руки.

В этот миг вошел лакей Петруса и доложил, что внизу находится генерал Эрбель.

— Пусть дорогой дядюшка скорее поднимается сюда! — крикнул Петрус и поспешил к двери.

— Его сиятельство,— сказал лакей,— отправился в конюшни и приказал, чтобы я не беспокоил хозяина.

— Петрус...— проговорили оба гостя и взялись за шляпы, приготовившись выйти.

— Нет, нет,— возразил Петрус,— дядюшка любит молодежь, а вас двоих — особенно.

— Похоже, так и есть,— согласился Людовик,— и я очень ему за это признателен, однако уже половина двенадцатого, а в полдень Жан Робер читает свою драму в театре «Сен-Мартен».

— Но тебе-то ни к чему уходить так рано!

— Прошу меня извинить, дорогой друг; у тебя прелестная мастерская, просторная вполне для тех, кто влюблен уже полгода или год, однако для того, кто любит всего три дня, в ней тесно. Прощай, дружище! Пойду гулять в лес, пока там нет волка!

— Ступай, Купидон! — пожимая Людовику руку, проговорил Жан Робер.

— Прощайте, мои дорогие! — с оттенком грусти молвил Петрус.

— Что с тобой? — спросил Жан Робер; он был не так занят собой, как Людовик, и печальное выражение Петруса не ускользнуло от его внимания.

— Со мной?.. Ничего.

— Неправда!

— Ничего серьезного, во всяком случае.

— Ну-ка выкладывай, в чем дело.

— Что ты хочешь от меня услышать? Как только лакей доложил о приходе дяди, на меня словно повеяло грозой. Дорогой дядюшка так редко меня посещает, что я неизменно чувствую некоторое беспокойство, когда он приходит.

— Дьявольщина! — вырвалось у Людовика. — Если дело обстоит именно так, я остаюсь и буду твоим громоотводом.

— Нет... Мой громоотвод — это дядюшкина любовь ко мне. Мой страх абсурден, мои предчувствия бессмысленны.

— Ну, тогда до вечера или, самое позднее — до завтра, — сказал Людовик.

— А я увижу тебя, вероятно, еще раньше, Петрус, — пообещал Жан Робер. — Я зайду сказать, как прошло чтение.

Молодые люди простились с Петрусом. Выйдя на улицу, Жан Робер сел в легкий двухколесный экипаж и предложил Людовику подвести его, куда тот пожелает. Но молодой доктор отказался, отговорившись тем, что хочет пройти пешком.

Пока Жан Робер ехал через площадь Обсерватуар, Людовик прошел бульварами до заставы Анфер и в задумчивости направился в Верьерские леса, где мы его и оставим в одиночестве: похоже, в этот час ему как никогда хочется побыть одному; кроме того, нас ждут Петрус и его дядя.

Генерал Эрбель нечасто приходил к племяннику, но когда это случалось, то — и надо отдать ему в этом справедливость — он неизменно приносил ему в складках своего плаща небольшую записочку, сопровождая свои действия насмешкой.

Его не было видно около пяти месяцев, то есть с тех пор, как в жизни Петруса произошли большие перемены. Когда он вошел к племяннику, его удивление переросло в изумление, а потом он и вовсе растерялся.

Во время последнего своего визита генерал еще застал жилище племянника таким, каким увидел его впервые: чистенький домик с мощеным двором, украшенным небольшой навозной кучей — на радость шести или семи курицам, предводимым петухом, который с высоты своей вонючей скалы приветствовал генерала пронзительным криком, — а также клеткой с кроликами, хрустевшими остатками салатных и капустных листьев со стола всех квартирорьемщиков, готовых поделиться

с животными, которые в дни праздников украшали собой стол консержки.

В этом парижском квартале, со всех сторон окруженном деревьями, домик походил скорее на крестьянскую хижину, чем на жилище горожан. Но простенький и чистый дом стоял особняком и, по мнению генерала, был надежным убежищем, тихим островком, о каком толтко и может мечтать труженик.

Первое, что поразило генерала Эрбеля, когда он постучал в свежевыкрашенную дверь,—лакей в такой же ливрее, как его собственные слуги, то есть в ливрее дома Куртенева, спросил:

— Что угодно господину?

— Как это—что угодно, негодяй?—смерив лакея подозрительным взглядом с ног до головы, отозвался генерал.—Мне угодно увидеть своего племянника, за этим я, собственно, и пришел.

— Вы, стало быть, генерал Эрбель, ваше сиятельство?—с поклоном уточнил лакей.

— Разумеется, я генерал Эрбель,—подтвердил граф насмешливым тоном,—раз я тебе говорю, что пришел к племяннику, а у моего племянника, насколько я знаю, другого дяди нет.

— Сейчас я доложу хозяину,—молвил слуга.

— Он один?—спросил генерал и взялся за лорнет, чтобы получше рассмотреть двор, посыпанный речным песком, а не мощный, как раньше, песчаником.

— Нет, ваше сиятельство, он не один.

— С женщиной?—спросил генерал.

— У него двое его друзей: господин Жан Робер и господин Людовик.

— Ну ладно, предупредите его, что я здесь и скоро поднимусь к нему. Я хочу осмотреть дом: кажется, здесь премило.

Как мы видели, лакей поднялся к Петрусу.

Оставшись один, генерал мог рассмотреть все не торопясь и оценить разнообразные изменения, постигшие дом и двор его племянника.

— Ого!—воскликнул он.—Похоже, домовладелец Петруса приказал подновить свой домишко: вместо навозной кучи—клумба с редкими цветами; вольер с зелеными попугайчиками, белыми павлинами и черными лебедями на месте клетки с кроликами; а там, где был навес, теперь конюшни и каретные сараи... А-а, вот недурная упряжь.

И, как знаток, он подошел к подставке для конской сбруи, на которой громоздились предметы, привлекавшие его внимание.

— Ага!—сказал он.—Герб Куртенева! Значит, упряжь принадлежит моему племяннику. Ах так! Уж не появился ли у него еще один дядюшка, о котором я не знал, и не получил ли он после него наследства?

Рассуждая сам с собой, генерал выглядел скорее удивленным, нежели огорченным или озадаченным. Но после того как генерал вошел в сарай и внимательно осмотрел элегантный

экипаж, а затем в конюшне погладил двух лошадей, купленных, по всей видимости, у Дрейка, он задумался и лицо его выразило неопишемую грусть.

— Отличные лошадки! — поглаживая животных, прошептал он. — Такая упряжка стоит шесть тысяч франков, не меньше... Возможно ли, чтобы такие лошади принадлежали нищему художнику с годовым доходом едва ли в десять тысяч?

Генерал решил, что чего-нибудь не понял, когда осматривал герб на упряжи, и пошел взглянуть на дверцу кареты. На ней, черт побери, тоже красовался герб Куртенева, украшенный коронной или, точнее, баронским жемчужным жгутом.

— Так, так, — пробормотал он. — Я — граф, его отец-пират — виконт, он — барон. Хорошо еще, что он довольствовался жемчугом и не посягнул на всю корону!.. В конце концов, — прибавил генерал, — если бы мальчик взял и всю корону, он имел бы на это право: его предки царствовали.

Он в последний раз взглянул на лошадей, упряжь, вольер, цветы и песок, блестящий под ногами, будто жемчуг, и пошел вверх по лестнице к племяннику. Но, дойдя до второго этажа, он остановился и смахнул слезу:

— Бедный Пьер! — прошептал он. — Неужели твой сын стал бесчестным человеком?!

Пьером звали брата графа Эрбеля, того самого, которого генерал в шутку жаловал званием якобинца, пирата, морского разбойника.

Пока граф Эрбель произносил эти слова и тайком вытирал слезу, он услышал, как кто-то торопливо сбегает с третьего этажа, и в то же время племянник радостно прокричал:

— Здравствуйте, дядя! Здравствуйте, дорогой! Почему же вы не заходите?

— Здравствуйте, любезный племянничек! — довольно сухо выговорил в ответ граф Эрбель.

— Ого! Вы нынче не в духе, дядя! — удивился молодой человек.

— Чего же ты ожидал? Я говорю то, что чувствую, — парировал генерал, берясь за перила и продолжая подниматься по лестнице.

Не прибавив больше ни слова, он выбрал взглядом лучшее кресло и упал в него, издав при этом «уф», что не предвещало ничего хорошего.

— Кажется, я не ошибся, — пробормотал Петрус.

Он подошел к генералу и продолжал:

— Дорогой дядя! Позвольте вам заметить, что вы нынче утром не в духе.

— Нет разумеется, — согласился генерал. — Я не в духе, но это мое право.

— Я далек от того, чтобы оспаривать у вас это право, дорогой дядюшка. Я отлично знаю, что у вас ровный характер,



— ДОРОГОЙ ДЯДЮШКА, РАЗ ВЫ
В ДУРНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА,
ЭТО НЕПРОСТА

и полагаю, что, раз вы в дурном расположении духа, это неспроста.

— Вы совершенно правы, племянник.

— Может быть, к вам спозаранку явился незванный гость?

— Нет, однако я получил письмо, причинившее мне немало хлопот, Петрус.

— Я так и думал. Могу поспорить, что это письмо от маркизы де Латурнель.

— Ты позволяешь говорить себе в неподобающем тоне, Петрус. Разреши тебе напомнить, что в данный момент ты проявляешь неуважение к двум старикам.

Петрус, севший было на складной стульчик, вскочил, словно подброшенный пружиной.

— Прошу прощения, дядя,— сказал он.— Вы меня пугаете! Я никогда не слышал, чтобы вы говорили со мной столь резко.

— Дело в том, Петрус, что до сих пор у меня не было повода вас упрекнуть.

— Поверьте, дядюшка, что я готов почтительно принять ваши упреки сегодня, сожалея лишь о том, что я их заслужил. Потому что, раз вам есть в чем меня упрекнуть, дядя, значит, я того заслуживаю.

— Судите сами! Но сначала прошу вас выслушать меня и отнестись к моим словам серьезно, Петрус.

— Я вас слушаю.

Генерал указал племяннику на стул, но Петрус попросил позволения слушать стоя.

И он стал ждать обвинения, как и подобает преступнику, стоящему перед судьей.

XX

Глава, в которой Петрус видит, что предчувствия его не обманули

Граф Эрбель устроился в кресле поудобнее: старый сибарит любил читать нравоучения со всеми удобствами.

Петрус следил за ним с некоторым беспокойством.

Граф вынул из кармана табакерку, с наслаждением втянул понюшку испанского табаку, сбил щелчком с жилета прилипшую табачную крошку и заговорил совершенно другим тоном:

— Итак, дорогой племянник, мы, значит, решили последовать советам нашего доброго дядюшки?

Улыбка снова осветила лицо Петруса, принявшее было подобавшее случаю выражение.

— Каким советам, дорогой дядя?— спросил он.

— По поводу госпожи де Маранд.

— Госпожи де Маранд?

— Да.

— Клянусь, дядя, я не знаю, о чем вы говорите.

— Скромничать? Хорошо, молодой человек. Это добродетель, нам в свое время незнакомая, однако я не прочь признать ее за другими.

— Дядюшка, даю вам слово...

— В наше время,— продолжал генерал,— когда молодой человек из хорошей семьи с громким именем имел несчастье родиться последним, то есть оставался без гроша, то он—если, конечно, был недурен собой, хорошо сложен, галантен—извлекал из этого пользу. Когда природа оказалась к вам щедра, а удача скупа, надо уметь пользоваться дарами природы.

— Дорогой дядя! Должен вам признаться, что понимаю все меньше и меньше.

— Не станешь же ты меня уверять, что не видел в театре «Школу мещан»?..

— Да, дядюшка, я видел эту пьесу.

— Неужели ты не аплодировал маркизу де Монкаду?

— Я аплодировал его игре, потому что Арман прекрасно исполняет эту роль, но его действиям я не рукоплескал.

— Так вы добродетельны, дражайший племянник?

— Нет, дядюшка. Но быть добродетельным или допускать, что мужчина может получать деньги от женщины...

— Дорогой друг! Когда ты сам беден, а женщина богата, как госпожа де Маранд или графиня Рапт...

— Дядя!—вскричал Петрус и вскочил со своего места.

— Сядь, племянник! Сядь! Теперь это немодно. Не будем об этом говорить, времена меняются. Однако что ж ты хочешь! Четыре месяца назад я оставил тебя в мастерской, украшенной эскизами, да прилегавшей к ней крохотной спальней, которые убирала консьержка, пышно называвшаяся служанкой. Я вытирал ноги о старенький половичок перед дверью, я видел, как ты преспокойно отправляешься в Латинский квартал, чтобы на двадцать два су пообедать у Фликото, и я подумал: «Мой племянник—нищий художник, зарабатывающий тысяч пять своей мазней, но он не хочет влезать в долги или сидеть на шее у несчастного отца: мой племянник—честный малый, но дурак. Значит, я должен дать ему хороший совет». И я советую ему то же, что господин Лозен—своему племяннику. Я говорю: «Мальчик, ты хорош собой, у тебя изысканные манеры. Вот принцесса. Ее зовут не герцогиня Беррийская, она не дочь регента, но она купается в миллионах...»

— Дядя!

— Я возвращаюсь и вижу: двор превратился в сад, посреди сада—клумба редких цветов... О! Вольтер с птицами из Индии, Китая, Калифорнии... Ого! Конюшни с лошадьми за шесть тысяч франков, упряжь с гербами Куртенева... Ого-го! И я радостно поднимаюсь вверх, а про себя думаю: «Мой племянник—умный молодой человек, что иногда оказывается лучше, чем быть

талантливым». Я вижу ковры, мастерскую, достойную самого Гро или Ораса Верне, и думаю: «Все идет отлично!»

— Мне очень жаль, но я должен вам сказать, что вы заблуждаетесь, дядя.

— Значит, все идет плохо?

— Нет, нет, дядюшка. Но прошу мне поверить, что я слишком горд и не могу принимать из чужих рук эту роскошь, с которой вы были так добры меня поздравить, а потому обязан всем этим себе.

— Ах, дьявол! Понимаю! Тебе заказали картину и заплатили вперед?

— Нет, дядя.

— Тебе поручили расписать ротонду в Мадлен?

— Нет, дядя.

— Ты приглашен личным художником к его величеству русскому императору с окладом в десять тысяч рублей?

— Нет, дядя.

— Так ты влез в долги?

Петрус покраснел.

— Ты дал задаток шорнику, каретнику, обойщику и сделал это от имени барона де Куртенея, а так как все знают, что ты мой племянник, то тебе поверили в долг.

Петрус опустил голову.

— Однако ты должен понять,— продолжал граф,— что, когда все эти люди явятся ко мне со счетами, я скажу: «Барон Эрбель? Не знаю такого!»

— Дядюшка, успокойтесь! Никто к вам не придет.

— К кому же они придут?

— Ко мне.

— А ты будешь в состоянии расплатиться, когда тебе выставят счет?

— Я постараюсь...

— Знаю, как ты стараешься: гуляешь до обеда в лесу, чтобы встретить графиню Рапт, проводишь все вечера напролет в Опере или опере-буфф, чтобы издали поклониться графине Рапт, а каждую ночь тащишься на бал, чтобы пожать ручку графине Рапт,— так?

— Дядя!

— Да, правду слушать трудно, но ты ее все-таки услышишь.

— Дядя! Я, кажется, ничего у вас не прошу...— гордо начал Петрус.

— Черт побери! Это меня и беспокоит больше всего! Раз ты ничего не просишь ни у любовницы, ни у меня, а тратишь около сорока тысяч франков в год, значит, ты берешь у своего разбойника-отца.

— Да, и должен даже сказать, дорогой дядюшка, что мой разбойник-отец не только не отказывает мне в том, о чем я его прошу, но и избавляет меня от своих нравоучений.

— То есть ты ставишь мне его в пример? Что ж, я постараюсь стать таким же бесчувственным, как он. Но сейчас я тебе должен сказать, почему, входя сюда, я был не в духе и почему говорил с тобой вначале довольно резко.

— Я не требую от вас никаких объяснений.

— Правильно: раз ты ничего у меня не просишь...

— Только вашу дружбу, как всегда, дядя.

— Чтобы ты не отказал мне в своей, я все-таки обязан сказать, что послужило причиной моего дурного расположения духа.

— Я слушаю, дядюшка.

— Знаком ли ты... Впрочем, тебе ни к чему его знать... Я расскажу одну историю; ее героя мы назовем Иксом. Слушай и постарайся понять, почему я был не в духе. Один славный мастеровой пришел из Лиона в Париж пешком лет тридцать тому назад без гроша в кармане, у него не было ни чулок, ни рубашки. Он жил в нищете, но не терял терпения, а через пять лет возглавил бумагопрядильню и стал получать три тысячи франков. Он богат, верно? Человек, прибывший в Париж босиком и получающий три тысячи франков — настоящий богач. Богат тот, кого труд заставил позабыть о страстях, о нужде, о капризах, о фантазиях. Однако через два года после того, как он пришел в Париж, его жена разрешилась сыном и умерла.

«На кого мне выучить своего сына?» — подумал отец, когда мальчику исполнилось пятнадцать лет.

Само собой разумеется, ему и в голову не пришло научить сына своему ремеслу. Вы знаете, что при дворе меня зовут якобинцем, и я должен сказать, что эта понятная родительская гордыня, заключающаяся в том, чтобы дать сыну лучшее воспитание, является одной из самых замечательных идей революции восьмьдесят девятого года... Итак, этот отец себе сказал: «Я всю жизнь трудился до седьмого пота, работал как каторжник; мой сын не должен страдать, как я. Из трех тысяч жалованья половину я отдам на образование сына. Когда выучится, станет адвокатом, врачом или художником. Не важно, кем он станет, лишь бы стал кем-нибудь».

И молодого человека определили в один из лучших парижских пансионов. Отец жил на оставшиеся полторы тысячи франков... да нет, на тысячу, потому что, как ты понимаешь, надо было еще одевать сына и давать ему деньги на карманные расходы, что составляло пятьсот франков... Ты меня слушаешь, Петрус?

— С огромным вниманием, дорогой дядя, хотя и не догадываюсь, куда вы клоните.

— Скоро узнаешь, только слушай внимательно и ничего не пропусти.

Граф вынул из кармана табакерку, а Петрус приготовился слушать так же внимательно, как слушал до сих пор.

Глава, в которой доказывается, что между музыкантами, издателями и торговцами картин больше сходства, чем может показаться на первый взгляд

Граф Эрбель со сладострастным видом втянул в себя щепоть табаку, стряхнул с жабо последние крошки и продолжал: — Мальчика поместили в один из лучших парижских коллежей, и кроме положенных уроков он занимался еще немецким и английским языками, а также музыкой. Годовой расход достиг двух с половиной тысяч франков. Отец жил на пятьсот франков в год, но был готов голодать, лишь бы его сын получал духовную пищу.

Молодой человек учился довольно хорошо, и наградой отцу за его лишения были похвалы сыну: тот прилежно занимался, не шалил и делал успехи.

В восемнадцать лет он окончил коллеж, зная немного греческий язык, немного латынь, немного говорил по-немецки и по-английски. Заметь, что он знал всего понемногу за полторы тысячи франков, которых стоило отцу его обучение, а немного — это мало. Зато, надобно отметить, он прекрасно играл на фортепьяно, и когда отец спросил, кем мальчик хотел бы стать, тот смело и без колебаний отвечал: «Музыкантом!»

Отец не очень хорошо знал, что такое музыкант. Он представлял себе артиста, дающего концерты под открытым небом на виоле, арфе или скрипке. Но это ничего не значило: сын хотел стать музыкантом, и он был вправе выбирать.

Молодого человека спросили, у кого он хочет продолжать занятия музыкой. Он назвал самого известного пианиста.

С большим трудом маэстро согласился давать по три урока в неделю за десять франков, что в месяц составляло сто двадцать франков.

Между тысячью четырьмястами сорока франками и двумя с половиной тысячами разница небольшая, так стоило ли сокращать содержание бедному мальчику, да и что он вообще мог себе позволить на тысячу сто шестьдесят франков!

К счастью, отцу в то время повысили жалованье на шестьсот франков. Как он обрадовался! Он мог выделить на содержание сына тысячу семьсот шестьдесят франков. Он же сам жил все это время на пятьсот франков — проживет и дальше!

Однако был необходим инструмент. Мальчик мог учиться только на самом лучшем инструменте! Учитель шепнул два слова знаменитому мастеру Эрау, и тот уступил фортепьяно стоимостью в четыре тысячи всего за две тысячи шестьсот франков, и то в рассрочку на два года. Они договорились, что ученик будет выплачивать по сотне франков в месяц из своих тысячи семисот шестидесяти франков.

Через два года ученик добился определенных успехов, по мнению многих, только не своих соседей. (Обычно соседи бывают несправедливы к чужим успехам, которые развиваются у них на виду и, главное, на слуху.) Они полагали, что молодой исполнитель слаб, если не может поскорее преодолевать трудности, которыми потчует их с утра до вечера. Соседи пианиста всегда несправедливы. Однако молодой человек был равнодушен к их несправедливости. Он упорно играл этюды Беллини и вариации на тему «Робин-Гуда» Моцарта, «Freischütz»¹ Вебера, «Семирамиды» Россини.

И чем больше он играл, тем все больше верил, что умеет это делать. От веры до ее воплощения в жизнь один шаг. Он шагнул, и довольно удачно.

Но известно, что у нотных издателей, как и у книгоиздателей, один ответ, форма которого может меняться, зато по сути он не меняется, когда речь заходит о тщеславии начинающих романистов или композиторов: «Прославьтесь, и я вас напечатаю!» По видимости этот круг порочен, потому что можно прославиться лишь после того, как тебя напечатают. Не знаю, как это происходит, но по-настоящему талантливые люди в конечном счете непременно становятся знаменитыми. Нет, я знаю, как это происходит: как произошло с нашим молодым человеком.

Он сэкономил на всем, даже на еде, и собрал двести франков, на которые издал вариации на тему «Di tanti palpiti»².

Приближались именины его отца. Вариации были отпечатаны к этому дню.

Отец испытал удовлетворение, увидев, что имя сына напечатано жирными буквами над черными точечками, которые вызывали у него тем большее удовольствие, что он не понимал в них абсолютно ничего. Но после обеда сын сел за инструмент, торжественно поставил ноты перед собой и благодаря Эрару имел в кругу семьи полный успех.

Случай — в те времена его называли Провидением — пожелал, чтобы вариации оказались недурны и имели в свете некоторый успех. Молодой человек напихал в свое сочинение немало трудных мест, которые мог преодолеть лишь он сам, и ввел внушительное число двойных и тройных крючочков, обозначающих шестнадцатые и тридцать вторые доли, которые неопытному музыканту внушали уважение, и юные ученики накинулись на вариации и скоро раскупили весь тираж.

К несчастью, один только издатель смог оценить успех молодого сочинителя, а так как гордыня — великий грех, то он не захотел смущать чистую душу клиента, доверившего ему свои проценты: он уже трижды переиздавал вариации, а клиенту все говорил, что от первого тиража в магазине еще осталась тысяча

¹ «Вольный стрелок» (нем.).

² «Сердце бьется от любви» (итал.).

экземпляров. Однако он согласился напечатать второй его этюд на свой страх и риск, а третий—с разделом прибыли. Разумеется, никакого раздела так и не последовало, зато дело было сделано, и имя нашего молодого человека все чаще стало звучать в гостиных.

Ему предложили давать уроки. Он побежал к своему издателю посоветоваться. Он полагал, что, прося по три франка с отпечатка, торговец завышает цену. Однако тот дал ему понять, что люди, которые платят три франка, способны дать и десять, что все зависит от того, как начать, и что он пропадет, если будет себя ценить ниже, чем за десять франков в час.

— Дядюшка!—перебил графа Петрус, слушавший с огромным вниманием и поразившийся некоторым сходством рассказа с его собственной жизнью.—Знаете ли вы, что эта история очень похожа на мою?

— Ты находишь?—загадочно улыбнулся граф в ответ.—Погоди, у тебя еще будет время сравнить.

И он продолжал:

— В то время как наш молодой человек пробовал себя в композиции, он достиг успехов и в исполнении. Однажды издатель предложил ему дать концерт. Молодой человек взглянул на предприимчивого музыкального издателя с ужасом. Но дать концерт было предметом его самых страстных желаний. Однако он слышал, что расходы на концерт достигают не меньше тысячи франков. Как отважиться на такое дело? Если концерт не удастся, он будет разорен, и не только он, но и его отец!.. В то время наш молодой человек еще боялся разорить отца.

Петрус взглянул на генерала.

— Вот дурак, правда?—продолжал тот.

Петрус опустил глаза.

— Ну вот, ты меня перебил, и я не помню, на чем мы остановились.

— На концерте, дядя. Молодой музыкант боялся, что не покроет расходов.

— Верно... Нотный издатель любезно предложил взять все расходы на себя, на свой страх и риск как всегда. Благодаря своим нотам он был вхож в лучшие парижские гостиные, что давало ему надежду пристроить некоторое число билетов. Тысячу штук он продал по пять франков, а пятнадцать щедрою рукой отдал исполнителю, чтобы он мог пригласить родных и друзей.

Само собой разумеется, папаша сидел в первом ряду. Это, вероятно, вдохновило нашего дебютанта, и он стал творить настоящие чудеса. Успех был огромный. Расходы антрепренера составили тысячу двести пятьдесят франков, зато прибыль—шесть тысяч.

«Мне кажется,—робко заметил молодой человек своему издателю,—что у нас на концерте было много зрителей».

«Вы получили билеты!»—отозвался издатель.

— Кажется, в музыке — как в живописи, — рассмеялся Петрус. — Вы помните, какой я имел успех в салоне двадцать четвертого года, дядюшка?

— Еще бы, черт возьми!

— Подлец торговец купил у меня картину за тысячу двести ливров, а продал за шесть тысяч франков.

— Ну, ты хоть получил тысячу двести франков! — заметил генерал.

— Этой суммы не хватило даже на то, чтобы покрыть расходы на холст, модели и раму.

— Ну что же, — с насмешливым видом продолжал граф. — Между тобой и бедным музыкантом все больше сходства!

Генерал словно обрадовался, что его снова перебили; он вынул из жилетного кармана табакерку, зачерпнул кончиками изящных пальцев щепоть табаку и втянул ее в себя, издав при этом смачное «ах!»

XXII

Глава, в которой появляется новый персонаж, когда этого меньше всего ждали

— **С** того времени, — продолжал граф, — у нашего молодого человека появилось имя. Музыкальный издатель хотел бы и дальше извлекать из него выгоду. Но что не видел наш молодой человек, на то обратили внимание его друзья, и как бы ни был он скромн, но и он понял, что может летать, надеясь на собственные крылья. И действительно, с этого времени все пошло в ход: этюды для фортепьяно, уроки, концерты, — и к двадцати четырем годам молодой человек стал зарабатывать шесть тысяч франков в год, то есть вдвое больше того, что его отец зарабатывал в пятидесятилетнем возрасте.

Прежде всего молодой человек — у него было доброе сердце — подумал о том, что надо бы вернуть отцу все, что тот на него потратил. Старик долгие годы жил на семьсот франков в год, мог он теперь пожить и на три тысячи. Ведь молодой человек мог выплачивать отцу именно эту сумму. Отец, от всего отказывавшийся ради него, мог отныне ни в чем себе не отказывать.

Потом доходы будут все расти; ему закажут музыку к какой-нибудь поэме, она будет поставлена в Опера-Комик, как произведения Герольда¹, или в Опере, как сочинения Обера². Он станет получать тридцать или даже сорок тысяч в год, и как недостаток пришел на смену нищете, так на смену достатку придет роскошь. Что скажешь о таком плане, Петрус?

¹ Фердинан Герольд (1791—1833) — французский композитор.

² Франсуа Обер (1782—1871) — французский композитор, один из основоположников жанра большой оперы.

— Я считаю, что это вполне естественные мысли, дядюшка,— заметил молодой человек, смутившись, так как ему показалось, что положение музыканта все больше напоминает его собственное.

— На месте музыканта ты сделал бы то же, что собирался сделать он?

— Дядя! Я тоже постарался бы отблагодарить отца.

— Благодарность детей—это мечта! Красивая мечта, друг мой.

— Дядюшка!

— Что касается меня, то я в это не верю, а потому и не женился,— продолжал генерал.

Петрус не отвечал.

Генерал бросил на него пытливый взгляд, потом, помолчав немного, сказал:

— А мечту эту развеяла женщина.

— Женщина?—переспросил смущенный Петрус.

— Ну конечно!—подхватил генерал.—Наш музыкант встречал в свете богатую красавицу, живущую на широкую ногу. Она была умна и хороша собой, артистическая натура, насколько позволено светской даме заниматься искусством. Молодой человек бросил, как говорится на языке воздыхателей, свою любовь к ее ногам. Она снизошла до его любви, и с этой минуты все было кончено.

Петрус вскинулся.

— Да,—повторил генерал,—все было кончено. Наш музыкант стал небрежно относиться к урокам по десять франков каждый, когда его приглашали к графине, маркизе, принцессе—да откуда мне знать? Он остыл к этюдам, темам, вариациям для фортепьяно; он больше не смел давать концерты; он ждал, когда ему закажут музыку к поэме, а заказа все не поступало. Издатели стояли в очереди у его двери, он подписал с ними договор при условии, что они выплатят ему авансы. Его считали порядочным человеком, который всегда держит слово, и сделали все так, как он хотел; он влез в долги. Разве не следовало ему теперь жить на широкую ногу, как любовнику светской дамы, то есть завести лошадей, экипаж, ливрейных лакеев, ковры на лестницах? Она, естественно, ничего не замечала: у нее-то было двести тысяч ливров ренты, и что казалось бедному музыканту разорительной роскошью, ей представлялось посредственностью. Экипаж, пара лошадей... Да у кого нет экипажа и пары лошадей?.. А он тем временем исчерпал все свои запасы, после чего обратился к отцу. Не знаю, как отец извернулся, чтобы ему помочь. Конечно, он не дал ему денег: денег у него не было, но, может быть, он дал ему свою подпись. Подпись честного человека, у которого нет долгов,—под это можно получить деньги, с большими процентами разумеется, но можно. Однако в день выплаты по векселям отец, как бы ни хотел он этого сделать, не сможет расплатиться. И вот

однажды, вернувшись с прогулки, наш молодой человек получит на серебряном подносе от своего ливрейного лакея письмо, в котором ему сообщат, что его отец находится на улице Кле, а оттуда, как ты, Петрус, знаешь, раньше чем через пять лет не выходят.

— Дядя! Дядя! — вскричал Петрус.

— В чем дело? — спросил генерал.

— Пощадите, прошу вас!

— Пощадить? Ага, мой милый, так вы поняли, что это о вас я рассказывал или почти так?

— Дядюшка, — проговорил Петрус, — вы правы, я безумец, гордец, глупец!

— А по-моему — так еще того хуже, Петрус! — возразил генерал строго и вместе с тем печально. — Ваш отец имел раньше состояние, стоившее ему большой крови, и оно позволило бы вам жить как благородному человеку, если такая жизнь в эпоху, когда труд является святой обязанностью каждого дворянина, не была бы синонимом праздности, а значит и позора. Ваш отец, тридцать лет скитавшийся по морям, из кожи вон лез, чтобы вы ребенком ни в чем не нуждались, и вы вообразили, что так будет всегда, что вы еще не вышли из детского возраста, когда играли английскими гинейми и испанскими дублонами, а не подумали, что это подло — даже если он предложил вам сам, — принимать от старика то, что, смиловившись, послал ему случай — и все это только ради того, чтобы потешить ваше безумное тщеславие!

— Дядя! Дядюшка! Смилуйтесь! Довольно!

— Да, пожалуй, с тебя хватит. Я видел, как ты покраснел от стыда за совершенную тобой ошибку, когда я рассказывал о бедном музыканте. Да, я избавлю тебя от упреков, потому что надеюсь: если еще не поздно, ты отступишь назад при виде пропасти, в которую едва не скатился сам и не увлек за собой моего несчастного брата.

— Дядя! — воскликнул Петрус и протянул генералу руку. — Я вам обещаю...

— О! Я так просто не возвращаю свое расположение тому, кого однажды лишил его. Ты обещаешь — прекрасно, Петрус. Но вот когда ты придешь и скажешь мне: «Я сдержал свое обещание», только тогда и я тебе отвечу: «Браво, мой мальчик! Ты действительно порядочный человек».

И чтобы несколько смягчить отказ, генерал занял свои руки: одной взялся за табакерку, другой зачерпнул табак и отправил его по назначению.

Петрус то бледнел, то краснел и наконец уронил руку, которую протягивал генералу.

В эту минуту с лестницы донеслись шаги и голоса.

— Говорю вам, сударь, что я получил от хозяина строгий приказ, — говорил лакей.

— Какой еще приказ, дурак?

— Пропускать гостей только после того, как будет передана карточка.

— Кому?
— Господину барону.
— Кого ты называешь бароном?
— Господина барона де Куртенея.
— Да разве я иду к барону де Куртенею? Мне нужен господин Пьер Эрбель.

— В таком случае я вас не пущу.
— Как это — непустишь?
— А вот так: не пущу!
— Мне?! Преграждать путь?! Ну, погоди!

Похоже, ждать лакею пришлось недолго: почти тотчас дядя и племянник услышали странный звук, словно что-то тяжелое плюхнулось со второго этажа на первый.

— Что творится у тебя на лестнице, Петрус? — спросил генерал.

— Не знаю, дядя. Насколько я могу судить, мой лакей с кем-то спорит.

— Уж не кредитор ли выбрал удобный момент, чтобы явиться к тебе, пока здесь я? — заметил генерал.

— Дядюшка! — остановил его Петрус.

Петрус сделал несколько шагов по направлению к двери.

Но не успел он до нее дойти, как дверь с грохотом распахнулась и в мастерскую влетел разгневанный господин.

— Отец! — вскрикнул Петрус и бросился ему в объятия.

— Сынок! — прошептал старый моряк, нежно его обнимая.

— Это и в самом деле мой брат-разбойник! — заметил генерал.

— И ты здесь! — вскричал старый моряк. — Знаешь, Петрус, этот пес был дважды не прав, не пуская меня к тебе.

— Полагаю, ты говоришь о камердинере моего высокочтимого племянника?

— Я говорю о том дураке, что не давал мне пройти.

— За что ты его, кажется, спустил с лестницы?

— Боюсь, что так... Слушай, Петрус...

— Отец!

— Взгляни-ка, не сломал ли себе шею этот дурак?

— Хорошо, отец, — кивнул Петрус и бросился вниз по лестнице.

— Ну что, старый морской волк, ты, я вижу, не меняешься! — сказал генерал. — Все такой же, каким я видел тебя в последний раз!

— Могу поспорить, что теперь уж я не изменюсь, слишком для этого стар, — отвечал Пьер Эрбель.

— Не говорите о старости, досточтимый брат! Ведь я на три года старше вас, — заметил генерал.

В это время вошел Петрус и сообщил, что лакей ничего себе не сломал, только вывихнул правую ногу.

— В таком случае он не так глуп, как кажется, — проговорил старый моряк.

Мы не раз упоминали в своем рассказе о брате генерала Эрбеля и отце Петруса. Но число наших персонажей столь велико, а описываемые нами события столь многочисленны и перепутаны между собой, что для большей ясности мы предпочитаем не представлять всех наших героев с самых первых сцен, как принято делать по правилам драматического искусства, а описывать этих персонажей по мере того, как они предстают перед читателями, чтобы последние могли принимать активное участие в нашем действии, а также дабы не усложнять интригу.

Как могли заметить читатели, отец Петруса только что ворвался к сыну в мастерскую и вместе с тем появился в нашей книге. Этот вновь прибывший призван сыграть, как уже играл в судьбе своего сына, довольно важную роль, а посему в интересах предстоящих сцен нашего повествования мы сочли себя обязанными сказать несколько слов о прошлом нашего нового героя, в котором так горько упрекал его родной брат.

Пусть наш читатель не волнуется: мы не станем предлагать его вниманию целый роман на эту тему и будем предельно кратки.

Кристиан-Пьер Эрбель, виконт де Куртенеи, младший брат генерала, родился, как и сам генерал, на родине Дюгей-Труэна¹ и Сюркуфа²; он появился на свет в 1770 году в Сен-Мало, этом гнезде всех морских орлов, известных под родовым именем корсаров, если и не нагонявших ужас на англичан, то, во всяком случае, бывших для тех бичом на протяжении шести столетий, то есть со времен Филиппа-Августа до Реставрации.

Не ведаю, существует ли история города Сен-Мало, но знаю точно, что ни один приморский город не мог бы, как он, похвастаться тем, что дал миру более верных сынов, а Франции — более отважных мореплавателей. Наряду с Дюгеем-Труэном и Сюркуфом мы могли бы привести имя корсара Кристиана, или — если читателю угодно знать не только его военную кличку, но и родовое имя, — Пьера Эрбеля, виконта де Куртенеи.

Чтобы поближе познакомить с ним желающих, достаточно рассказать о первых его шагах.

С 1786 года, то есть, едва достигнув шестнадцатилетнего возраста, Пьер Эрбель стал матросом каперного судна, на которое двумя годами раньше поступил волонтером.

¹ Французский моряк (1673—1736), прославившийся во время войн Людовика XIV с голландцами и англичанами, а самая большая его победа — взятие Рио де Жанейро (1710). В период правления Людовика XV сражался с берберами.

² Французский мореплаватель и пират (1773—1827), еще юнгой принимавший участие в Индийской экспедиции, позже поставлявший чернокожих рабов плантаторам острова Бурбон (ныне Реюньон), будучи капитаном торгового судна; став корсаром, он избородил Индийский океан, взял в плен множество английских кораблей. Во времена Империи получил титул барона и стал затем одним из богатейших судовладельцев Сен-Мало.

Захватив в плен шесть английских кораблей за одну кампанию, судно это, снаряженное в Сен-Мало, тоже оказалось в плену и было отправлено на Портсмутский рейд, а экипаж был рассредоточен по понтонам¹.

Юного Эрбеля вместе с пятью другими матросами отправили на понтон «Король Жак». Они пробыли там год. На нижней палубе им смастерили что-то вроде вонючей каморки, служившей камерой шестерым пленникам. Она проветривалась и освещалась через один-единственный портик² в фут шириной и шесть дюймов высотой. Через это же отверстие несчастные могли подбавлять небом.

Однажды вечером Эрбель, понизив голос, сказал товарищам:

— Неужели вам не надоело здесь сидеть?

— Чертовски надоело! — ответил за всех парижанин, время от времени развлекавший товарищей шутками.

— Чем вы готовы пожертвовать, чтобы отсюда выйти? — продолжал молодой человек.

— Рукой, — сказал один.

— Ногой, — отвечал другой.

— Глазом, — вставил третий.

— А ты, Парижанин?

— Головой.

— Так-то лучше! Ты не торгуешься и подойдешь мне.

— Что значит «подойду тебе»?

— Вот именно — подойдешь.

— Что ты хочешь сказать?

— Я решил нынче ночью убежать, а поскольку ты готов, как и я, рискнуть жизнью, мы сбежим вместе.

— Эй, давай без глупостей, — предупредил Парижанин.

— Расскажи, что ты задумал, — попросили другие.

— Сейчас... С меня довольно этой теплой водицы, которую они называют чаем, и этой тухлятины, зовущейся говядиной, и этого тумана, что зовется у них воздухом, и этой холодной луны, которая для них — солнце, и этой сырной головы в сливках, которую они зовут луной! Я ухожу.

— Каким образом?

— Вам это знать ни к чему, потому что я возьму с собой только Парижанина.

— А почему одного его?

— Мне не нужны люди, которые торгуются, когда речь идет о Франции.

— Да не торгуемся мы, черт побери!

— Тогда другое дело. Вы готовы пожертвовать жизнью ради дела, которое нам предстоит предпринять?

¹ Старые суда, стоявшие на якоре и служившие складами, казармами или тюрьмами.

² Отверстие в борту судна.

— А у нас есть хоть маленькая надежда?
— Да, один шанс.
— А против?
— Против девяти.
— Мы согласны.
— Ну и отлично.
— Что от нас требуется?
— Ничего.
— Ну все-таки...
— Смотрите на меня и молчите, вот и все.
— Это дело нехитрое,— заметил Парижанин.
— Не так уж это просто, как ты думаешь,— возразил Эрбель,— а пока — молчок!

Эрбель снял с шеи галстук и знаком приказал соседу сделать то же. Затем так же поступили и остальные.

— Хорошо,— похвалил Эрбель.

Он связал галстуки, продел их в портик и свесил за борт, словно удочку, потом стал тянуть на себя.

Конец веревки оказался сухим.

— Дьявольщина! — выругался он. — Кому не жаль рубашки?

Один из пленников снял рубашку и свил из нее веревку.

Эрбель привязал веревку к галстукам, приладил на конце камень в виде грузила и повторил ту же операцию.

Теперь конец веревки намок. Значит, она достала до воды.

— Отлично! — обрадовался Эрбель.

И он забросил свою удочку.

Ночь была темная, и разглядеть веревку в этой мгле было невозможно.

Товарищи наблюдали за ним с беспокойством и хотели знать, что он задумал, но он знаком приказал всем молчать.

Прошло около часа.

Портсмутский колокол прозвонил полночь.

Пленники с тревогой считали удары.

— Двенадцать,— молвил парижанин.

— Полночь,— подтвердили остальные.

— Времени терять нельзя! — заметил Эрбель. — Тихо!

Все снова замерли.

Спустя несколько минут Эрбель просиял.

— Клюет,— сообщил он.

— Отлично! — подхватил Парижанин. — Теперь поводи немного!

Эрбель подергал за веревку, как за шнур колокольчика.

— Все еще клюет? — спросил Парижанин.

— Есть! — обрадовался Эрбель.

Он стал подтягивать удочку на себя, а другие пленники привстали на цыпочки, пытаясь увидеть, что он вытянет.

Вытянул он небольшое стальное лезвие, тонкое, как часовая пружина, острое, как щучий зуб.

— Знаю я эту рыбку,—молвил Парижанин,—она зовется пилой.

— И ты знаешь, под каким соусом ее готовят, а? — отозвался Эрбель.

— Отлично знаю.

— Тогда не будем тебе мешать.

Эрбель отвязал пилу, и через пять минут она бесшумно вгрызлась в бок «Королю Жаку», расширяя портик, чтобы через него мог пролезть человек.

Тем временем Парижанин, гибкий ум которого умел связывать между собой различные факты так же ловко, как Пьер Эрбель — галстуки, шепотом рассказывал товарищам, каким образом Эрбель добыл пилу.

Тремя днями раньше на борту «Короля Жака» французский хирург, поселившийся в Портсмуте, проводил ампутацию. Пьер Эрбель перекинулся с ним парой слов. Очевидно, он попросил соотечественника одолжить ему пилу, а тот обещал и сдержал слово.

Когда Парижанин высказал такое предположение, Пьер Эрбель кивнул в знак того, что тот угадал.

Когда одна сторона портика была пропилена, пробило час.

— У нас еще пять часов впереди,—успокоил Пьер Эрбель.

И он принялся за работу с воодушевлением, веря в успех своего предприятия.

Через час работа была сделана: выпиленный кусок дерева едва держался, небольшого усилия было довольно, чтобы его вышибить.

Пьер Эрбель призадумался.

— Слушай меня! — приказал он. — Пусть каждый из вас свернет штаны и рубашку и прицепит узел подтяжками к плечам, как пехотинец прицепляет свой ранец. А вот куртки придется оставить, принимая во внимание их цвет и метку.

Желтые куртки пленников были помечены буквами «Т» и «О».

Все повиновались без единого звука.

— А теперь,—продолжал он,—вот шесть щепочек разной длины. Кто вытянет самую длинную, ползет в воду первым; кому достанется самая короткая, выйдет отсюда в последнюю очередь.

Стали тянуть жребий. Первому выпало лезть Пьеру Эрбелю, последнему — Парижанину.

— Мы готовы,—сказали матросы.

— Давайте сначала поклянемся.

— Зачем?

— Возможно, часовые откроют огонь.

— Вполне вероятно, что так и будет,—поддакнул Парижанин.

— Если кого-нибудь из нас ранят...

— ...тем хуже для него,—перебил Парижанин.— Мой отец-повар любил повторять: «Нельзя приготовить яичницу, разбив яиц».

— Этого недостаточно. Давайте поклянемся, что, если кого-нибудь ранят, он не издаст ни звука, сейчас же отделится от остальных, а когда его возьмут, даст ложные показания.

— Слово француза! — в один голос подхватили пятеро пленников, торжественно протянув руки.

— Ну, теперь храни нас, Господь!

Пьер Эрбель поднатужился, потянул на себя подпиленную доску, и в борту образовалось отверстие, через которое мог пролезть человек. Потом он пропилил в одной из стенок отверстия паз, вставил в него веревку из галстуков и рукавов от рубашки, по которой пленникам надлежало спуститься к воде, затем завязал на конце узел, закрепив таким образом веревку, проверил, выдержит ли она человека, привязал шнурком к шее флягу с ромом, к левому запястью — нож, после чего взялся за веревку, спустился вниз и исчез под водой, чтобы вынырнуть там, куда не доходил свет от фонаря, установленного на палубе, где расхаживал часовой.

Сын Океана, Пьер Эрбель, выросший среди волн, словно морская птица, был прекрасным пловцом. Он легко проплыл под водой двадцать саженей, освещавшихся фонарем, и вынырнул в том месте, куда не доходил свет. Тут он остановился и стал ждать товарищей.

Через мгновение в нескольких футах от него на поверхности показалась голова другого пленника, потом третьего, за ним — четвертого.

Вдруг по воде скользнул луч, раздался выстрел: часовой открыл огонь.

Никто не вскрикнул, но и из воды никто не вынырнул, зато почти немедленно вслед за тем раздался звук упавшего в воду тела, а через три секунды на поверхности появилась хитрая физиономия Парижанина.

— Вперед! — сказал он. — Времени терять нельзя: пятый номер готов.

— Следуйте за мной, — приказал Пьер Эрбель, — и старайтесь держаться вместе!

Пятеро беглецов под предводительством Пьера Эрбеля поплыли в открытое море.

Позади них, на борту плавучей тюрьмы, поднялась настоящая тревога. Выстрел часового заставил всех позабыть о сне. Раздалось несколько выстрелов наугад, над головами пленников просвистели пули, но никого не задело.

На воду поспешно была спущена лодка, в нее прыгнули четверо гребцов, за ними спустились еще четверо солдат: и сержант с заряженными ружьями и примкнутыми штыками; началась погоня за беглецами.

— Расходимся в разные стороны, — предложил Эрбель, — и, может быть, кому-то повезет.

— Да, это наша последняя надежда! — согласился Парижанин.

Лодка прыгала на волнах. Один моряк сидел на носу и держал в руке факел, горевший так ярко, что в его свете можно было отличить окуня от дорады. Расстояние между лодкой и беглецами сокращалось. Вдруг слева от лодки раздался крик, похожий, скорее, на стон какого-нибудь морского духа.

Гребцы замерли, лодка остановилась.

— На помощь! Помогите! Тону! — послышался чей-то жалобный голос.

Лодка легла на левый борт и, изменив курс, направилась в ту сторону, откуда доносились стоны.

— Мы спасены! — сказал Эрбель. — Славный Матье, видя, что ранен, отплыл в сторону и отвлекает их на себя.

— Да здравствует номер пятый! — молвил Парижанин. — Когда выберусь на сушу, обещаю выпить за его здоровье.

— Ни слова больше! Вперед! — приказал Эрбель. — Мы должны беречь силы, не будем же тратить их на пустые разговоры!

Они поплыли дальше, Эрбель находился впереди.

Через десять минут четверть мили уже была позади.

— Не кажется ли вам, — нарушил молчание Эрбель, — что плыть стало труднее? Я выбился из сил или нас относит течением вправо?

— Берите левей! Левей! — прокричал Парижанин. — Мы попали в тину.

— Кто мне поможет? — спросил один из пловцов. — Я увяз.

— Давай руку, приятель, — предложил Эрбель. — Пусть те, кто еще могут плыть, вытягивают нас двоих.

Эрбель почувствовал, как кто-то схватил его за запястье и рванул влево, а уж он потянул за собой и увязшего в тине пленника.

— Ну вот, теперь легче, — сказал тот, почувствовав себя в относительно чистой воде. — Утонуть в море — достойная смерть для моряка, но увязнуть в тине — такого конца достоин золотарь.

Беглецы обогнули небольшой мыс и увидели огни.

— Фортонская тюрьма! — догадался Эрбель. — Давайте поплывем в эту сторону: островки тины останутся на западе, а здесь мы проплывем около двух лье морем, но нам доводилось проплывать и больше, когда от этого не зависела наша жизнь.

В эту минуту с понтона «Король Жак» взвилась ракета, затем раздался пушечный выстрел.

Это был сигнал, означавший побег.

Через пять минут такой же сигнал был подан из Фортонской крепости, после чего в море вышли три лодки с факелами на носу.

— Правей! Берите правее, иначе они отрежут нам путь! — крикнул Пьер Эрбель.

— А как же тина? — возразил кто-то.

— Мы ее уже миновали, — сообщил Эрбель.

Все пятеро плыли некоторое время в полном молчании, забирая вправо. В тишине стало слышно, как один из пловцов задыхается.

— Эй! — крикнул Парижанин. — Если среди нас завелся слабак, пусть объявится.

— Я совсем выбился из сил, — признался третий номер. — Дышать нечем!

— Ложись на спину! — приказал Эрбель. — Я тебя буду толкать.

Беглец перевернулся на спину и, передохнув немного, снова принял прежнее положение.

— Уже пришел в себя? — удивился Парижанин.

— Нет, просто вода ледяная, я закоченел.

— Да уж конечно, не тридцать пять градусов! — подтвердил Парижанин.

— погоди, — проговорил Эрбель и, подгребая одной рукой, протянул третьему номеру фляжку.

— Я не смогу, — сказал тот, — держаться на воде и пить.

Парижанин подхватил его под мышки.

— Пей, — приказал он. — Я тебя пока подержу.

Третий номер схватил фляжку и отхлебнул раз или два.

— Ну, теперь жить можно, — облегченно вздохнул он и вернул фляжку Эрбелю.

— А Парижанину ничего не полагается за труды?

— Пей скорей! — поторопил Эрбель. — Мы теряем время.

— Если человек пьет, то времени он не теряет, — назидательно молвил Парижанин.

И тоже сделал два глотка.

— Кто еще хочет? — спросил он, подняв над водой фляжку.

Двое других беглецов протянули руки, и каждый из них подкрепил силы ромом.

Фляжка вернулась к Эрбелю, и он снова привязал ее к шее.

— А ты почему не пьешь? — спросил Парижанин.

— Я пока не замерз и у меня еще есть силы, — сказал Эрбель, — пусть все, что здесь осталось, достанется тому, кто устанет больше меня.

— Заботливый ты наш! — прокричал Парижанин. — Я тобой восхищаюсь, но подражать тебе не намерен.

— Тихо! — предупредил четвертый номер. — Впереди голоса.

— А говор бретонский, чтоб я пропал! — подхватил номер три.

— Какие бретонцы в Портсмутской гавани?

— Молчите! — оборвал Эрбель. — Давайте как можно ближе подберемся вон к той черной точке, что перед нами: мне кажется, это шлюп¹.

Он не ошибался, голос доносился с той стороны.

— А ну, тише!

¹ Одномачтовое судно.

Все затихли, и скоро до них донесся шум весел и плеск воды.
— Давайте держаться от лодки подальше! — предостерег один из беглецов.

— На ней нет огней: нас с нее не увидят.

И действительно, лодка прошла в десяти саженях от беглецов, но их не заметили; однако те, кто в ней сидели, продолжали переговариваться с владельцем шлюпа.

— Смотри хорошенько, Питкаэри, — говорил один голос, — и через час-другой мы вернемся с монетой.

— Не волнуйтесь, — донеслось со шлюпа (очевидно, это отвечал Питкаэри), — я посмотрю как следует.

— Ах ты Господи! — пробормотал третий номер. — Откуда же в Портсмутской гавани соотечественники?

— Я тебе потом объясню, — пообещал Эрбель, — а пока мы спасены!

— Постарайся сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, — взмолился третий номер, — у меня все занемело от холода.

— У меня тоже, — прибавил четвертый номер.

— Не волнуйтесь, — успокоил их Эрбель, — ждите здесь и постарайтесь, чтобы вас не отнесло течением, а остальное предоставьте мне.

Рассекая волну, словно дельфин, он поплыл к шлюпу.

Четверо беглецов старались, насколько могли, держаться рядом; они смотрели во все глаза и слушали во все уши, готовые действовать по обстоятельствам.

Они видели, как Пьер Эрбель исчез в ночной мгле, еще более непроницаемой в том месте, куда падала тень от шлюпа. Потом до их слуха донесся разговор на наречии, которое можно услышать в Нижней Бретани; двое пловцов были родом один из Сен-Бриека, другой из Кемперле и могли перевести слова собеседников; одним из говоривших был, очевидно, Пьер Эрбель.

— Эй, на лодке! Эй, на помощь!

Уже знакомый голос отвечал:

— Кто там зовет на помощь?

— Товарищ, земляк из Валлиса.

— Из Галлии? Из какой части Валлиса?

— С острова Англезей. Скорей, скорей, на помощь, не то я захлебнусь!

— Легко сказать «на помощь»! А что ты делаешь здесь, в гавани?

— Я моряк с английского судна «Корона», меня наказали ни за что, я и сбежал.

— Чего тебе надо?

— Да передохну немного, а потом поплыву к берегу.

— Зачем мне садиться в тюрьму из-за чужого человека? Проваливай!

— Да говорю же тебе, что тону! Помогите!

Говоривший, видимо, хлебнул воды и его накрыло волной.

Сцена была сыграна прекрасно, и беглецам на какое-то время даже показалось, что их товарищ в самом деле тонет: они поплыли в сторону шлюпа.

Но скоро до них снова донесся его голос:

— Ко мне! Ко мне! Неужели ты дашь утонуть земляку, когда для его спасения достаточно бросить фалреп, веревку.

— Ну-ка отвали!

— Ой, да, никак, это ты, Питкаэрн?

— Да, я самый,— удивился матрос.— А ты кто такой?

— Я-то?.. Веревку! Тону! Тону-у-у... Вер...

И волна снова накрыла его с головой.

— Ах, черт! Да вот веревка! Держишься?

Послышалось бульканье, когда захлебнувшийся хочет ответить, но не может, потому что в дыхательные пути попала вода.

— Ну, не отпускай!..— проговорил Питкаэрн.— Что ж ты за моряк, увалень ты эдакий! Может, прикажешь тебе подъемное кресло подкатить? Сам не можешь забраться?

Но не успел валлиец договорить, как Эрбель, едва занеся ногу над релингом, схватил своего друга Питкаэрна в охапку, опрокинул его на палубу и, приставив ему нож к горлу, крикнул своим товарищам:

— Ко мне, ребята! Поднимайтесь на левый борт. Мы спасены!

Беглецы не заставили себя упрашивать; они поспешили к шлюпу и через минуту все четверо стояли на палубе.

Эрбель придавил Питкаэрна к палубе коленом и не отнимал от его горла ножа.

— Свяжите-ка этого парня и заткните ему рот,— приказал Пьер Эрбель,— но никакого зла не причинять!

Потом, повернувшись к пленнику, продолжал:

— Дорогой Питкаэрн! Простите нам этот обман. Мы не английские дезертиры, а французы, сбежавшие с понтона. Мы позаимствуем у тебя шлюп, чтобы прогуляться во Францию, а как только дойдем до Сен-Мало или Сен-Бриека, ты свободен.

— Как же так вышло, что члены экипажа английского шлюпа говорят на бретонском наречии?

— При чем здесь английский экипаж? Это мы говорим на галльском языке.

— Я понял ничуть не больше, чем раньше,— признался Парижанин.

— Ты хочешь, чтоб я тебе все объяснил?— спросил Эрбель, как можно осторожнее затыкая рот Питкаэрну.— Надо, конечно, отдать ему справедливость...

— Признаться, я был бы не прочь разобраться, в чем тут дело.

— Сейчас я тебе расскажу то, что сам я узнал в коллеже.

— Рассказывай!

— Англичане из Уэльса — всего-навсего колония из Нижней Бретани, эмигрировавшая из Франции лет этак девятьсот тому назад и сохранившая в целости и сохранности родной язык. Вот как получилось, что уэльсцы говорят на бретонском наречии, а бретонцы — на уэльском, или валлийском.

— Вот что значит образование! — заметил Парижанин. — Эрбель! В один прекрасный день ты станешь адмиралом.

Тем временем Питкаэрна связали и заткнули ему рот.

— А теперь, — промолвил Пьер Эрбель, — надо согреться, обсушиться и посмотреть, нет ли на этом благословенном шлюпе чего-нибудь пожевать, а на рассвете выйдем из гавани.

— Почему не сейчас? — поинтересовался Парижанин.

— Потому, Парижанин, что из гавани можно выйти только после того, как адмиральское судно откроет ворота пушечным выстрелом.

— Это верно, — хором подтвердили беглецы.

Один из четырех товарищей остался часовым на бушприте, а трое других пошли разводить в каюте огонь.

К несчастью, одежду, намокшую в соленой воде, было не так-то просто просушить. Беглецы обшарили шлюп и нашли рубашки, штаны и матросские блузы, принадлежавшие друзьям Питкаэрна. Беглецы переоделись как могли, как вдруг с бушприта донеслось:

— Эй, там, внизу! Все наверх!

В одно мгновение все трое очутились на палубе.

Часовой поднял тревогу не без причины: к шлюпу приближались огни, и постепенно из темноты показались лодки с солдатами.

Лодки прочесывали гавань.

— Ну, визита не миновать! — предупредил Пьер Эрбель. — Надо взять дерзостью. Спрячьте нашего друга Питкаэрна.

— Сбросить его в воду? — предложил один из беглецов.

— Да нет, просто спрячьте его получше.

— Слушай, Пьер, — заметил Парижанин, — а что если засунуть его в подвесную койку, накрыть сверху одеялом по самые глаза — никто и не заметит кляпа, а мы скажем, что он заболел. Так для нас же лучше: больные одетыми не ложатся, одному из нас достанутся сухие штаны, куртка и блуза.

Предложение всем понравилось.

— А сейчас, — продолжал Пьер Эрбель, — пусть те, что говорят на валлийском наречии, постоят со мной на палубе, а остальные составят компанию Питкаэрну; я все беру на себя.

Когда Эрбель говорил: «Я все беру на себя», все знали, что на него можно положиться. Парижанин и его напарник пошли вниз с Питкаэрном, а Эрбель и двое бретонцев стали ждать солдат.

Те не заставили себя ждать.

Одна из лодок взяла курс на шлюп.

Пьер Эрбель вскарабкался на релинг, чтобы его было лучше видно.

— Эй, на шлюпке! — крикнул командир.

— Здесь! — отозвался Пьер Эрбель на бретонском наречии.

— Э-х, да здесь уэльские ребята! — заметил капитан, обращаясь к своим солдатам. — Из вас кто-нибудь говорит на языке этих дикарей?

— Я, господин офицер, — отозвался один из солдат. — Я родом из Каэрмартена.

— Тогда спрашивай ты.

— Эй, на шлюпке! — крикнул солдат по-уэльски.

— Здесь! — повторил Эрбель.

— Кто вы?

— «Прекрасная Софи» из Памбрука.

— Откуда идете?

— Из Амстердама.

— Что везете?

— Треску.

— Вы не видели пятерых французских пленников, сбежавших с понтонов?

— Нет, но если мы их встретим, они могут быть спокойны.

— Что вы с ними сделаете?

— Обойдемся с ними так, как они того заслуживают.

— Что они говорят? — спросил капитан.

Солдат перевел разговор.

— Хорошо! — кивнул офицер. — Смерть французам, да здравствует король Георг!

— Ура! — грянули трое бретонцев.

Лодка отчалила.

— Счастливого пути! — крикнул Пьер Эрбель. — Теперь вот что, — продолжал он, — через полчаса рассветет; давайте снимемся с якоря и приготовимся к отплытию.

Пятеро наших беглецов провели час в томительном ожидании, наконец на востоке небо стало сереть, — это то, что называется английской зарей.

Почти в то же время яркая вспышка, предшествовавшая пушечному выстрелу, пронесшемуся над волнами и докатившемуся до берегов, блеснула на борту величавого трехпалубного корабля, который, подобно движущейся крепости, охранял вход в гавань.

Для шлюпа это был сигнал к отплытию.

Он не стал ждать повторного разрешения.

Беглецы подняли английский флаг и на расстоянии пистолетного выстрела прошли мимо адмиральского судна.

Вскарабкавшись на фальшборт, Эрбель замахал шляпой и крикнул что было сил:

— Да здравствует король Георг!

Стол на борту шлюпа изысканностью не отличался, однако после того, что пленникам скармливали на борту их плавучей тюрьмы, даже самая простая еда казалась настоящим пиршеством.

Отдадим им справедливость: в каждой их трапезе непременно участником был и незадачливый Питкаэрн. Когда опасность для беглецов миновала, то и их пленник получил послабление: ему вынули кляп изо рта и развязали руки, а Пьер Эрбель прочел ему, как прежде — своим товарищам, курс кимврской истории. Питкаэрн все понял, однако это показалось ему малоутешительным; он дал себе слово впредь остерегаться всех, кто заговорит с ним на уэльском наречии.

Всякий раз, как вдалеке показывалось судно, Питкаэрна заставляли спуститься в каюту. А суда попадались навстречу довольно часто. Но шлюп был английской постройки, шел под британскими парусами, на его гафеле были три английских леопарда, шотландский лев, ирландская лира, даже три французские лилии, исчезнувшие лишь двадцатью годами позже. Было невозможно предположить, что утлое французское суденышко отважится появиться среди английских крейсеров, и никому не приходило в голову, что пятеро матросов, преспокойно развалившиеся на палубе и предоставившие ветру и парусам делать за них всю работу, и есть те самые пятеро пленников, удирающие во Францию.

А ветер дул попутный, и им не нужно было ни о чем беспокоиться.

На следующее утро, то есть через двадцать четыре часа после выхода из Портсмутской гавани, они узнали мыс Ла-Хог.

Надо было убрать паруса, чтобы не проскочить его и не оказаться среди островов Ориньи, Гёрнзея де Серк, Жерсея, принадлежавших Англии со времен Генриха I и надзиравших за нашими берегами.

Убрав паруса, беглецы пошли прямо на Бомон.

Невозможно описать, какие чувства охватили недавних пленников, когда наконец они увидели родную землю не в туманной дымке, а как на ладони, со всеми ее холмами, гаванями, бухточками, неровностями почвы.

А когда они увидели домики с поднимавшимся над крышами дымком, они так засмотрелись на родные берега, что забыли спустить английский флаг.

Пушечное ядро, вспоровшее воду в ста саженях от шлюпа, вывело их из восторженного состояния.

— Что это они делают? — возмутились наши французы. — По своим стрелять?

— Нет, черт побери, не по нам они палят, — возразил Эрбель, — а вот по этой синей английской тряпке.

И он поспешил снять флаг, но было слишком поздно: «Прекрасную Софи» уже заметили. Кстати сказать, и без флага было бы понятно, что шлюп английский.

На флоте все равно что на суше: запустите самую очаровательную англичанку, даже если она воспитывалась во Франции, в толпу француженок, и вы отличите ее по походке.

Итак, шлюп дважды был признан английским: и по флагу, и по внешнему виду. Хотя Эрбель и спустил флаг, за первым ядром последовало второе и упало так близко от «Прекрасной Софи», что водой окатило палубу.

— Ах так! — вскричал Парижанин. — Значит, они не признают в нас друзей?

— Что делать? — недоумевали остальные.

— Идите вперед, — заявил Эрбель. — На борту шлюпа вряд ли найдется французский флаг, и нас в любой французской гавани ожидает такой же прием.

— Мы же можем найти скатерть, салфетку или кусок белой рубашки, — предложил Парижанин.

— Конечно, но сейчас нас уже заметили, и заметили как англичан... Смотрите, вон снимается с якоря корвет. Через десять минут он начнет преследование. Если мы попробуем бежать, через час он нас настигнет и потопит. Ведь как мы сможем во время погони дать понять, что мы французы? Значит, пойдем вперед, дети мои! Да здравствует Франция!

Раздалось дружное «ура!», и беглецы продолжали идти прямо на Бомон.

Огонь прекратился. Видимо, пушкари решили, что один шлюп вряд ли сможет произвести высадку на французский берег.

Но через несколько минут новый выстрел, на сей раз более точный, угодил в рею и пробил обшивку «Прекрасной Софи».

— Ну, времени терять нельзя, — заметил Эрбель, — нацепите на какой-нибудь багор белую тряпку и дайте знать, что мы хотим вступить в переговоры.

Все было сделано так, как просил Эрбель.

Но французы либо белую тряпку не заметили, либо не поверили в искренность «англичан» — огонь продолжался.

Пьер Эрбель сбросил с себя одежду.

— Какого черта ты задумал? — удивился Парижанин. — Хочешь показать им свой зад? Это же все-таки не флаг.

— Нет, зато я им сейчас скажу, кто мы такие, — заявил Эрбель.

Он прыгнул с фальшборта вниз головой, исчез в волнах и вынырнул метрах в семи от шлюпа.

Эрбель поплыл к берегу.

А шлюп лег в дрейф в знак того, что никто не намерен удаляться от берега.

При виде бросившегося в воду человека, а также судна, отдающего себя на волю победителя, французы прекратили огонь. Вскоре навстречу пловцу вышла шлюпка.

Командовал ею боцман родом из Сен-Мало.

По воле случая оказалось, что Пьер Эрбель брал у этого старого морского волка первые уроки каботажного плавания.

Он узнал своего учителя и окликнул его по имени.

Моряк поднял голову, приставил руку к глазам и, бросив руль, перебежал на нос:

— Разрази меня гром, если это не Пьер Эрбель! — вскричал он.

— Что это вы встречаете меня английским ругательством, папаша Берто? — возмутился Эрбель. — Разве так встречают земляка и ученика?! Здравствуйте, папаша Берто! Как поживает ваша жена? Как ваши детки?

И, уцепившись за борт, прибавил:

— Да, клянусь Пресвятой Девой Марией и святым Бриеком, я Пьер Эрбель. Могу поклясться, я приплыл к вам издалека!

Вода текла с него ручьями, однако он бросился в объятия боцмана.

Шлюп находился недалеко от лодки, и четверо товарищей Эрбеля видели это поистине сыновнее объятие.

— Да здравствует Франция! — хором прокричали они.

Их крик достиг слуха тех, кто сидели в лодке.

— Да здравствует Франция! — прокричали в ответ моряки, встретившие Эрбеля.

— Там тоже друзья? — уточнил папаша Берто.

— Еще бы! Судите сами!

Эрбель подал знак, чтобы шлюп подошел поближе.

Беглецы ждать себя не заставили. В мгновение ока суденышко подняло паруса и пошло к берегу, но на сей раз не под звуки выстрелов, а под крики: «Да здравствует король! Да здравствует Франция!»

Все жители Бомона высыпали на мол.

Пятеро беглецов причалили к берегу.

Пьер Эрбель поцеловал родную землю, эту общую мать, словно дело происходило во времена Древнего Рима.

Остальные бросились в объятия тех, кто стоял к ним ближе других. Да и не все ли было равно, кого обнимать? Разве не были они все братьями? А Парижанин обращался главным образом к сестрам.

Тем временем бедный Питкаэрн весьма печально наблюдал за всеобщей радостью.

— А этот баклан чего надулся? — спросил старик Берто.

— Да это англичанин, одолживший нам свою посудину, — улыбнулся Пьер Эрбель.

— Одолжил?! — переспросил Берто. — Англичанин одолжил свою посудину? А ну-ка пусть идет сюда, мы его увенчаем розами!

Эрбель остановил Берто, который в своем воодушевлении собирался прижать Питкаэрна к груди.

— Остынь! — сказал Эрбель. — Он одолжил нам шлюп, как мы одолжили Жерсей королю Георгу, уступив силе.

— Это другое дело, — кивнул Берто. — Значит, ты не только убежал, но и пленников с собой привел! Вот это дело! Красавца моряка да еще прекрасный шлюп! Как пить дать, лодочка стоит двадцать пять тысяч ливров: по пять тысяч франков на брата.

— Питкаэрн не пленник, — возразил Эрбель.

— Как так — не пленник?

— Нет, и шлюп мы продавать не собираемся.

— Почему?

— Питкаэрн оказался в ловушке потому, что говорит по-бретонски и у него добрая душа: мы должны обойтись с ним как с земляком.

Он поманил англичанина, обращаясь к валлийцу на бретонском наречии:

— Подойди сюда, Питкаэрн!

Тому ничего не оставалось, как повиноваться, что он и сделал против воли, как бульдог, слышавший приказание хозяина.

— Пусть подойдут ближе,— пригласил Эрбель,— все бретонцы!— И обвел рукой вокруг.

— Друзья мои!— продолжал он, представляя им Питкаэрна.— Вот земляк, которого надо на славу угостить нынче вечером, потому что завтра утром он вернется в Англию.

— Bravo!— одобрительно прокричали моряки, протягивая Питкаэрну руки.

Тот ничего не понимал. Он решил, что попал в незнакомый валлийский город.

Все говорили по-валлийски.

Эрбель объяснил ему, что происходит и как решили поступить с ним и с его шлюпом.

Незадачливый англичанин не мог в это поверить.

Не беремся описывать праздник, героями которого оказались пятеро беглецов и славный Питкаэрн. Вечер прошел за столом, а ночь— в танцах.

На следующий день сотрапезники, танцоры и танцовщицы проводили Питкаэрна на «Прекрасную Софи», снабженную, как никогда, едой и питьем. Потом ему помогли поднять паруса и якорь. Ветер был попутный, и он величаво вышел из гавани под крики: «Да здравствуют бретонцы! Да здравствуют валлийцы!»

Погода в тот день, да и на следующий, была прекрасная; были все основания полагать, что славный Питкаэрн и его «Прекрасная Софи» благополучно добрались домой, а рассказ об этом приключении можно и сейчас услышать от жителей Памбрука.

XXIV

«Прекрасная Тереза»

Читатели понимают: события, о которых мы только что рассказали, преувеличены бретонской поэтикой и украшены парижской шутливостью, но они создали Пьеру Эрбелю репутацию отважного и вместе с тем осторожного человека; благодаря этому он оказался первым среди своих товарищей, а те были тем более ему признательны, что ни для кого из них не было секретом: он принадлежит к одному из знатнейших родов не только Бретани, но и Франции.

В течение нескольких мирных лет, последовавших за признанием Англией американской независимости, Пьер Эрбель не терял времени даром и в качестве сначала помощника капитана, а потом и капитана торгового судна совершил путешествие в Мексиканский залив, дважды побывал в Индии: один раз на Цейлоне, другой — в Калькутте.

И когда война вспыхнула с еще большим ожесточением в 1794 и 1795 годах, Пьер Эрбель добился от Конвента назначения капитаном, и это почти не стоило ему никаких усилий, принимая во внимание его прошлые заслуги.

Более того, поскольку Пьер Эрбель был известен своим бескорыстием, а также ненавистью к англичанам, ему доверили вооружить корвет или бриг по своему усмотрению. Эрбелю открыли кредит на пятьсот тысяч франков, а в Брестском арсенале было приказано выдать капитану Пьеру Эрбелю любое оружие, какое он сочтет необходимым для вооружения своего корабля.

На верфях Сен-Мало находился тогда прелестный бриг водоизмещением в пять или шесть тонн; за его строительством капитан Эрбель следил с неизменным интересом, приговаривая:

— Вот бы иметь такой кораблик в собственном своем распоряжении: в мирное время — с двенадцатью матросами на борту, торгуя кошенилью и индиго¹, а в военное время — со ста пятьюдесятью матросами, охотясь за англичанами! Тогда мне сам черт не брат!

Когда Пьер Эрбель получил задание и кредит в пятьсот тысяч франков, а также разрешение вооружиться на Брестском рейде, он стал все чаще наведываться на верфи, где, словно подводный цветок, распускалась «Прекрасная Тереза».

Пьер Эрбель окрестил изящный бриг именем любимой девушки.

Торговался он недолго: от имени правительства он как капитан купил бриг у строителей и мог, следовательно, руководить окончанием работ — иными словами, установкой мачт и оснасткой.

Ни один отец не наряжал с такой любовью единственную дочь перед первым причастием, как Пьер Эрбель — свое судно.

Он самолично проверял длину и толщину мачт и рей, сам купил на Нантском рынке холст для парусов; он глаз не спускал с мастеров, ковавших и скреплявших медные части брига, приказал выкрасить в темно-зеленый цвет подводную часть судна, чтобы на определенном расстоянии корабль сливался с волнами. Капитан приказал пробить по дюжине портиков с каждого борта и два в носовой части. Когда подготовительные работы были закончены, он подсчитал, сколько весит судно, затем вес будущего вооружения, заменил его балластом и отправился испытывать бриг вдоль бретонского берега, как пробует крылья морская птица. Так он обогнул мыс Сийон, прошел между островами Ба

¹ Краски, красители.

и Роскоф, обогнул мыс Сен-Ренан и вошел в Брестскую гавань, притаив у себя на хвосте три-четыре английских корабля и напоминая юную красавицу, за которой вечно увиваются три-четыре воздыхателя.

Да, захватить «Прекрасную Терезу» было заманчиво. Однако «Прекрасная Тереза» была пока непорочной девицей и явилась в Брест в надежде подыскать то, что помогло бы ей сохранить невинность.

Надо сказать, капитан ничего не пожалел для этой цели. Бриг принял на нижнюю палубу двадцать четыре восемнадцатифунтовые пушки, которые строго поглядывали с левого и правого борта; кроме того, две тридцатистифунтовые пушки размещались в носовой части на тот случай, если, имея дело с более сильным противником, пришлось бы удирать, но перед тем пустить двойную стрелу, подобно наводившим когда-то ужас парфьянам.

Но когда было необходимо выдать «Прекрасную Терезу» за торговое судно, занимающееся коммерцией, и ничем другим, ни один корабль не мог сравниться с ней безупречностью хода.

Тогда ее двадцать четыре двенадцатифунтовые пушки отступали, ее две двадцатичетырехфунтовые втягивали бронзовые шеи в нижнюю палубу, мирный флаг безобидно развевался на гафеле, а холщовое полотнище того же цвета, что и подводная часть судна, раскидывалось по всей линии бортовых портиков, превращавшихся всего-навсего в отверстия для подачи свежего воздуха.

Сто пятьдесят членов экипажа ложились на нижней палубе, а восемь-десять моряков, достаточных для того, чтобы бриг мог выполнить любой маневр, лениво растягивались наверху или, дабы насладиться еще более свежим воздухом, поднимались на марсы или даже — матросы бывают такими капризными! — развлекались тем, что садились верхом на перекладины грот-брамселя или фор-брамселя и оттуда рассказывали товарищам о том, что происходит в нескольких лье в округе.

Вот так мирно и шла себе «Прекрасная Тереза» со скоростью шесть узлов в час прекрасным сентябрьским утром 1798 года между островом Бурбом и островками Амстердам и Святого Павла, то есть в огромном фарватере, тянувшемся от Зондского пролива до Тристан-д'Акуни, через который обычно проходят все суда: возвращаясь в Европу, они вынуждены обойти мыс Доброй Надежды.

Возможно, нам возразят, что шесть узлов в час — скорость небольшая. Мы бы ответили так: дул легкий бриз, и торопиться было некуда, вот почему «Тереза» шла не под всеми парусами, а подняла лишь большие марсели, фок и кливер.

Что касается других парусов, таких, как бизань, бомкливер, малый кливер, грот, малые марсели, бом-брамсели и лисели, то их, похоже, сохраняли до лучших времен.

Вдруг откуда-то с неба донесся голос:

— Эй, там, внизу!

— Эге-гей! — не отрываясь от игры, отозвался боцман, бившийся в карты с рулевым. — В чем дело?

— Вижу парус!

— С какой стороны?

— С подветренной от нас.

— Эй, там! — продолжая игру, крикнул боцман. — Предупреди капитана.

— И впрямь парус! Парус! — загомонили матросы, стоявшие кто на палубе, кто на фальшборте, кто на вантах.

Замаячившее вдалеке судно подняло волной, и его заметили все моряки, хотя, будь среди них пассажир, он принял бы корабль за чайку или альбатроса, пиратствовавших в волнах.

Заслышав крик: «Вижу парус!» — молодой человек лет двадцати восьми выскочил на палубу.

— Парус? — крикнул он.

Сидевшие матросы поднялись; те из них, у кого на головах были шапки, зажали их в руках.

— Да, капитан, парус! — в один голос отозвались матросы.

— Кто наверху? — спросил он.

— Парижанин, — отозвались несколько человек.

— Эй, наверху! Ты зрение еще не потерял, Парижанин? — спросил капитан. — Или, может, прислать тебе мою подзорную трубу?

— Не стоит! — отказался Парижанин. — Отсюда я способен разглядеть часы на Тюильрийском дворце.

— Значит, ты можешь нам сказать, что там за посудина?

— Это большой бриг, позубастей нашего, и направляется в нашу сторону.

— Под каким парусом идет?

— У него подняты грот-брамсели, марсели, фок, большой кливер и бизань.

— Он нас заметил?

— Вероятно, да, потому что он спустил грот и поднимает грот-брамсели.

— Свидетельство того, что он хочет с нами поговорить, — заметил кто-то рядом с капитаном.

Капитан обернулся, чтобы посмотреть, кто позволяет себе вмешиваться в интересный разговор, столь его занимавший в эти минуты. Он узнал одного из своих любимцев, Пьера Берто, сына того самого Берто, который десятью годами раньше принял его как беглеца в Вомонской гавани.

— А-а, это ты, Пьер? — улыбнулся капитан и хлопнул матроса по плечу.

— Да, капитан, это я, — отвечал молодой человек, рассмеявшись в ответ и показав при этом два ряда отличных зубов.

— Ты полагаешь, он хочет с нами поговорить?

— Да, черт возьми, так я думаю.

— Ну что ж, мой мальчик... Ступай предупреди командира батареи, что впереди показался подозрительный корабль: пусть приготовится.

Пьер нырнул в люк и исчез.

Капитан снова задрал голову.

— Эй, Парижанин! — крикнул он.

— Да, капитан?

— Как выглядит это судно?

— Похоже на военный корабль, капитан; хотя с такого расстояния невозможно разглядеть флаг, готов поспорить, что это *goddam*¹.

— Слышите, друзья: есть ли среди вас желающие вернуться в плавучую тюрьму?

Пятеро или шестеро матросов, отведавшие английского гостеприимства, в один голос ответили:

— Только не я! Не я, тысяча чертей! Не я!

— В таком случае сначала посмотрим, на нас ли он направил свои пушки, а когда убедимся в его недобрых намерениях, покажем ему, на что мы способны. Поднять на «Прекрасной Терезе» все паруса! Покажем англичанину, что умеют делать сыновья Сен-Мало!

Не успел капитан договорить, как судно, которое, как мы сказали, шло только под марсельями, фоком и большим кливером, оделось в брам-стенги, потом подняло грот, а вместе с ним бом-кливер и бизань.

Бриз наполнил все паруса, и «Тереза» взрезала волны, как под рукой сильного пахаря взрезает землю лемех.

Наступила минутная тишина, сто шестьдесят человек экипажа застыли, словно изваяния; слышны были лишь посвист ветра в парусах да гудение тросов.

В этой тишине Пьер Берто снова подошел к капитану.

— Готово? — спросил Эрбель.

— Так точно, капитан!

— Порты по-прежнему закрыты?

— Вы отлично знаете, что их расчехлят только по вашему личному приказанию.

— Хорошо. Когда придет время, я отдам такой приказ.

Попробуем пояснить эти последние слова, довольно неразумительные, может быть, по мнению наших читателей.

Капитан Пьер Эрбель был не только оригиналом, о чем свидетельствует выбор им рода занятий, но еще обладал веселым характером. На первый взгляд, не считая несколько необычной оснастки, заметной лишь опытному моряку, «Прекрасная Тереза» имела столь же мирный вид, насколько привлекательным было ее название.

Помимо того что ее короткие мачты были длиннее обыкновенного (это делало ее похожей на корабли, выходящие

¹ Здесь: «Чертов англичанин» (англ.).

с верфей Нью-Йорка или Бостона), а в трюмах она везла не индиго или кошениль, а то, что на негритянском жаргоне зовется «черным деревом», в остальном она ничем не выдавала своей порывистой походки и неуживчивого характера.

Более того, ее пушки, тщательно спрятанные в твиндеке, без разрешения хозяина и носа не посмели бы высунуть в порты. Да и сами порты были накрыты огромным куском старого паруса, выращенным в тот же цвет, что и подводная часть судна. Правда, во время сражения матросы сдергивали парус, словно театральную декорацию, по первому свисту, открывая взору ярко-красную полосу пушечных портов, в которую пушки, торопясь глотнуть свежего воздуха, сладострастно вытягивали свои бронзовые шеи. И так как одному капитану Пьеру Эрбелю пришла в голову эта веселая мысль, англичанин не знал, что имеет дело с человеком, который сам не станет просить пощады, но и другого не помирует.

Итак, Эрбель и его экипаж стали ждать, как поведет себя английское судно.

Англичане подняли все паруса вплоть до лиселей; похоже было, что они натянули все до единого лоскута, бывшие у них на борту.

— Ну, теперь можно о нем забыть,— заметил капитан Эрбель.— Берусь довести его отсюда в Сен-Мало, так что ему не удастся сократить между нами расстояние ни на пядь. Догонит он нас только когда нам заблагорассудится его подождать.

— А почему бы не подождать его прямо сейчас, капитан,— предложили трое или четверо нетерпеливых матросов.

— Это ваше дело, ребята. Если вы меня хорошенько попросите, я не смогу вам отказать.

— Смерть англичанину! Да здравствует Франция! — прокричали как один все матросы.

— Ну что ж, дети мои, англичанина слопаем на десерт,— предложил капитан Эрбель.— А пока давайте обедать. Учитывая, что случай у нас торжественный, каждый получит двойную порцию вина и по стаканчику рома. Слышишь, кок?

Четверть часа спустя все сидели за столом и ели с таким аппетитом, словно для большинства из них эта трапеза должна была оказаться последней, как для царя Леонида.

Обед был превосходным. Он напомнил парижанину счастливейшие часы его детства, и от имени всех собравшихся, а также с разрешения капитана он попросил своего товарища, матроса Пьера Берто по прозвищу Монтобанн-Верхолаз, спеть одну из любимых всеми моряками песен, которую он так хорошо исполнял: как среди людей сухопутных народная песня «Дела пойдут на лад», эта моряцкая песня была чем-то средним между Марсельезой и «Жарманьолой».

Пьер Берто по прозвищу Монтобанн не заставил себя упрашивать и звонким, словно труба, голосом завел сумасшедшую

и вместе с тем грозную песню, ни слов, ни мотива которой мы, к сожалению, не знаем.

Для пушей правдивости прибавим, что, как бы восторженно ни принимал экипаж в целом, а Парижанин в частности, его необычайное пение, все испытывали такое нетерпение и так расшумелись, что капитану Пьеру Эрбелю пришлось призвать своих людей к тишине, чтобы виртуоз смог допеть восьмой куплет.

Как помнят читатели, Пьер Берто был любимцем капитана, и тот не хотел, чтобы его грубо перебивали.

Благодаря вмешательству капитана Пьер Берто допел не только восьмой, но и девятый, а за ним и десятый куплет.

На этом песня кончалась.

— Это все, капитан,— доложил певец.

— Точно все? — спросил Пьер Эрбель.

— Абсолютно все!

— Да ты не стесняйся: если есть еще куплеты — валяй, у нас есть время! — предложил капитан.

— Нет, это вся песня.

Капитан огляделся по сторонам.

— А где Парижанин? — громко спросил он. — Эй, Парижанин!

— Я здесь, капитан, на своем посту: сижу на перекладине брам-стенги.

И действительно, как только песня кончилась, Парижанин с обезьяньей проворностью снова занял место, которое называл своим постом.

— На чем мы остановились перед обедом, Парижанин? — спросил капитан.

— Как я имел честь вам докладывать, капитан, бриг очень похож на военное судно, от него за милую душу *goddam'om*¹.

— Что ты еще видишь?

— Ничего. Он от нас на прежнем расстоянии. Но если бы у меня была подозрная труба...

Капитан вложил собственную трубу юнге в руки и, дав ему пинка для скорости, напутствовал такими словами:

— Отнеси-ка это Парижанину, Щелкунчик!

Тот бросился вверх по вантам.

Если Парижанин поднимался с проворностью обезьяны, то Щелкунчик, надо отдать ему должное, взлетел вверх, как белка. Он добрался до наблюдателя и передал ему требуемый инструмент.

— Вы мне позволите побыть рядом с вами, сударь? — спросил юнга.

— А разве капитан запретил? — поинтересовался Парижанин.

— Нет, — сказал мальчик.

— Что не запрещено, то разрешено: оставайся.

¹ Здесь: «Чертовым англичанином» (англ.).

Мальчик сел на рее, как грум — на крупе позади наездника.

— Ну что, теперь лучше видно? — спросил капитан.

— Да, теперь будто смотрю на него сверху.

— У него один или два ряда зубов?

— Один, но до чего ж сильна челюсть, черт возьми!

— И сколько зубов?

— Дьявол! На десяток больше, чем у нас.

Как помнят читатели, у «Прекрасной Терезы» имелось на вооружении двадцать четыре пушки да еще две на корме, итого — двадцать шесть штук. Но те, что располагались на корме, капитан называл своим сюрпризом, учитывая, что они были вдвое больше калибра, чем остальные орудия.

И когда с брига, вооруженного двадцатичетырехфунтовыми орудиями, внимательно осматривали «Прекрасную Терезу» с левого и с правого борта и видели, что у нее лишь восемнадцатифунтовые пушки, бриг доверчиво пускался за ней в погоню. «Прекрасная Тереза» уходила от преследования, и так как капитан был опытным артиллеристом, он подпускал неприятельский бриг на расстояние выстрела своих носовых пушек, а потом затевал так называемую игру в кегли.

Пьер Берто был отменным наводчиком, только ему поручалось наводить две тридцатичестьфунтовые пушки. Пока он наводил одну, другую в это время заряжали, и капитан Эрбель находил особенное удовольствие, наблюдая за тем, как из ютовых орудий ядра непрерывно летели одно за другим в паруса или борт вражеского судна в зависимости от его собственного приказа: «Выше, Пьер!» или «Давай-ка пониже!»

— Вы слышите? — спросил капитан матросов.

— Что, капитан?

— Что сказал Парижанин.

— А что он сказал?

— У англичанина на десять зубов больше, чем у нас.

— А два наших клыка, капитан? По-вашему, они ничего не стоят? — возразил Пьер Берто.

— Значит, вы полагаете, ребята, что нам нечего бояться?

— Нет, — подтвердил Пьер Берто. — Мы их прихлопнем вот так.

Он прицелился большим и средним пальцами.

— Давайте сначала узнаем, с кем имеем дело, — предложил капитан.

Он снова обратился к Парижанину.

— Эй, наверху! Ты знаешь все посудины этих еретиков, словно сам их крестил. Можешь мне сказать, что это за бриг?

Парижанин поднес трубу к глазам, осмотрел бриг со вниманием, свидетельствовавшим о том, как горячо ему хотелось оправдать доверие капитана, и, сложив наконец трубу, словно ему нечего больше высматривать, произнес:

— Капитан! Это «Калипсо».

— Bravo! — сказал Пьер Эрбель. — Ну что ж, ребята, пойдёмте утешим ее после отъезда «Улисса».

Экипаж понял эти слова буквально, так как матросы не знали, что хотел сказать капитан, однако смекнули, что это одна из обычных странных шуток Пьера Эрбеля, какие он любит отпускать перед стычкой.

Слова капитана были встречены таким громким криком «ура!», что, прозвучи он на римском форуме, пролетающий над ним ворон упал бы замертво от страха.

Другой капитан долго бы думал, прежде чем напасть на корабль, в полтора раза превышающий по вооружению его самого; однако капитан Эрбель испытывал удовлетворение, знакомое каждому смельчаку, встречающему достойного противника.

Как только отзвучали крики одобрения, капитан с довольным видом посмотрел на загорелые лица матросов, не сводивших с него горящих глаз и показывавших в улыбке белоснежные зубы.

— Спрашиваю в последний раз: вы твердо решили? — громко произнес он.

— Да, да, — единодушно отозвались матросы.

— Вы готовы биться до последнего?

— Да! — донеслось со всех сторон.

— И даже больше! — прибавил Парижанин со своей выбенки.

— В таком случае, братцы, вперед! Поднимите трехцветный флаг и внимательно следите за тем, как поведет себя «Калипсо».

Приказание капитана было исполнено. Война разгоралась, подобно радуге, и все взгляды были направлены в сторону неприятельского брига.

Едва французский флаг был водружен, как, словно приняв вызов, англичане подняли и свой флаг, да еще сопроводили это пушечным выстрелом.

«Прекрасная Тереза» пока не трогала чехол, скрывавший батарею, сохраняя скромный и безобидный вид, более подобавший простому торговому судну.

— Мы посмотрели, теперь давайте послушаем, — предложил Пьер Эрбель.

Матросы «Прекрасной Терезы» стали прислушиваться, и, хотя их еще отделяло от «Калипсо» приличное расстояние, ветер донес до их слуха барабанный бой.

— Отлично! Их нельзя обвинить в том, что они скрывают свои намерения, — молвил Пьер Эрбель. — Ну, дети мои, покажем, на что мы способны, мэтру Джону Булю; пусть знает, что если зубов у нас и не полон рот, как у него, то кусаться мы все-таки умеем.

Едва он успел отдать этот приказ, как чехол, скрывавший батарею «Прекрасной Терезы», исчез как по волшебству, и с борта «Калипсо» могли теперь, в свою очередь, насчитать с каждой стороны «Прекрасной Терезы» по дюжине портов, а в каждом из них — по восемнадцатифунтовой пушке.

Затем Щелкунчик, бывший на судне не только юнгой, но еще и флейтистом, соскользнул с марса на палубу в одно время с барабанщиком; тот поднял палочки, приготовившись по знаку капитана извлечь первый звук из своего певучего инструмента.

Капитан подал долгожданный знак.

На «Прекрасной Терезе» заиграли «По местам стоять, к бою готовиться!»: барабанная дробь прокатилась по палубе, проникла в задний люк и снова вырвалась через передний на свободу под аккомпанемент Щелкунчика, умудрявшегося играть к бою в виде вариации на тему народной песни: «Счастливого пути, мсье Моле!»

Первые же звуки обоих инструментов произвели поистине магическое действие.

В одно мгновение каждый матрос занял положенное ему в подобных обстоятельствах место, вооружившись тем, что ему полагалось.

Марсовые матросы бросились на марсы с карабинами в руках; те, что были вооружены мушкетами, выстроились на баке и шкафуте; мушкетеры были устроены на подставках, а пушки выкатили. Запасы гранат были приготовлены на каждом шагу, откуда только можно было вести огонь по палубе неприятельского судна. Наконец главный старшина приказал подобрать все шкоты и приготовить запалы и abordажные крючья.

Вот что происходило на палубе.

Но под палубой, или, иначе говоря, в утробе судна, поднялась ничуть не меньшая суета.

Пороховые склады были вскрыты, сигнальные огни зажжены, а перегородки разобраны.

Образовалась группа шутников: это были самые высокие и мускулистые матросы «Прекрасной Терезы». Каждый выбрал оружие по себе: один — топорик, другой — гарпун, третий — копьё.

Они напоминали великанов, вооруженных давно уже исчезнувшим из обихода оружием, бывшим в употреблении в дни титанов, но незнакомым со славных времен Антея, Анкелада и Жериона.

Капитан Эрбель, сунув руки в карманы бархатной куртки, в которой он сильно смахивал на мирного буржуа из Сен-Мало, гуляющего на молу в воскресный денек, обошел судно, удовлетворенно подмигивая то тому, то другому; при этом он щедро раздавал табак, отламывая от скрученных в трубку табачных листьев, торчавших у него из кармана, будто голова любопытного ужа.

Окончив осмотр, он сказал:

— Дети мои! Вы, вероятно, знаете, что на днях я женюсь.

— Нет, капитан, — возразили матросы, — нам об этом ничего не известно.

— Ну, будем считать, что я поставил вас в известность.

— Спасибо, капитан, — поблагодарили матросы. — А когда свадьба?

— Пока не знаю точно. Зато одно я знаю твердо.

— Что, капитан?
— Если уж я женюсь, то подарю госпоже Эрбель мальчика.
— Надеемся, что так и будет,— засмеялись матросы.
— Обещаю вам, братцы: кто спрыгнет на палубу «Калипсо» вторым, станет крестным отцом моего сына.

— А первый что получит?— не утерпел Парижанин.

— Первому я раскрою топором череп,— пригрозил капитан.— Пока я здесь, я не потерплю, чтобы кто-то лез вперед меня! Итак, договорились, ребята: подтягивайте на гитовы грот и бизань, убирайте бом-кливер, иначе англичанин никогда нас не догонит и мы так и не поговорим.

— Отлично!— обрадовался Парижанин.— Я вижу, капитан не прочь сыграть в кегли. Займи свое место, Пьер Берто!

Тот взглянул на капитана, желая понять, следует ли ему исполнить предложение Парижанина.

Эрбель кивнул.

— Скажите, капитан...— начал Пьер Берто.

— В чем дело, Пьер?— спросил капитан.

— Вы ничего не имеете против Луизы, правда ведь?

— Нет, мальчик мой, а почему ты об этом спрашиваешь?

— Я надеюсь, что, когда мы вернемся, она станет не только моей женой, но и крестной матерью вашего сына.

— Хвастун!— хмыкнул капитан.

В мгновение ока указанные капитаном паруса были подтянуты, а Пьер Берто, стоя на своем посту, любовно поглаживал свои тридцатисестьфунтовые пушки, словно паша—своих султанов.

XXV

Сражение

Так как с этой минуты французский бриг замедлил ход, а англичане двигались с прежней скоростью, расстояние между преследуемым и преследовавшим кораблями постепенно стало сокращаться.

Капитан стоял на возвышении и проверял расстояние по компасу.

Однако как ни торопился он начать, по выражению Пьера Берто, свою игру в кегли, огонь все же открыл не он.

Несомненно, капитан неприятельского брига видел отделявшее его от «Прекрасной Терезы» расстояние иначе: он приказал убрать некоторые паруса, так что «Калипсо» повернулась боком. В то же мгновение над ее портами показались белые дымки, и прежде чем раздались звуки выстрелов, ядра зашлепали по воде в нескольких кабельтовых от «Прекрасной Терезы».

— Похоже, у наших английских друзей лишние ядра и порох и они просто не знают, куда их девать,— заметил капитан Эрбель.— Мы будем более экономными, чем они, правда, Пьер?

— Вы же знаете, капитан,—отозвался наводчик,—как вы скажете, так и будет. Прикажите только начать, а уж мы им покажем!

— Подпустите его еще на несколько сажений, нам торопиться некуда.

— Да,—мечтательно произнес Парижанин.—Нынче ночь будет лунная... Скажите, капитан, должно быть, красивое зрелище—сражение при луне! Вы бы угостили нас им, а?

— Прекрасная мысль!—обрадовался капитан.—Скажи, Парижанин, тебе этого в самом деле хочется?

— Слово чести, я был бы вам весьма признателен.

— Ну что же, никогда не следует забывать о своих друзьях. Он вынул часы.

— Пять часов вечера, дети мои,—сказал он.—Мы поиграем с «Калипсо» до одиннадцати, а в пять минут двенадцатого возьмем его на абордаж. Думаю, за полчаса мы управимся и в половине двенадцатого каждый из вас уже будет лежать в подвесной койке: «Прекрасная Тереза»—девушка воспитанная и ложится не поздно даже в те дни, когда у нее бал.

— Тем более,—заметил Парижанин,—что к половине двенадцатого у всех танцоров ноги будут отваливаться.

— Капитан,—обратился к Эрбелю Пьер Берто,—у меня руки чешутся...

— Ну что ж, пальни по ним пару раз,—отозвался тот,—но предупреждаю: эти два ядра запишешь на свой счет, а не на мой.

— Будь что будет,—махнул рукой Пьер Берто.

— Погоди немного, Пьер, пусть Парижанин нам расскажет, что они там делают.

— Сейчас доложу,—пообещал Парижанин, вскарабкавшись на самый маленький марс: на сей раз суда находились друг от друга так близко, что ему не нужно было подниматься на рею брамсея.

— Видишь ли ты кого-нибудь, сестрица Анна?

— Вижу лишь, как зеленеет море,—подхватил Парижанин,—да реет флаг ее английского величества.

— А что между морем и флагом?—уточнил капитан.

— Каждый стоит на своем боевом посту: пушкари—у батареи, матросы—на шкафутах и юте, а капитан подносит рупор к губам.

— Как жаль, Парижанин, что слух у тебя не такой же тонкий, как зрение!—посетовал Пьер Эрбель.—Не то ты бы пересказал нам слова капитана.

— Да вы прислушайтесь,—предложил Парижанин,—и сами все узнаете.

Не успел Парижанин договорить, как из носовой части вражеского судна полыхнули две вспышки, раздался оглушительный грохот и два ядра упали в фарватерную струю «Прекрасной Терезы».

— Ага! — бросил капитан Эрбель. — Похоже на кадрили для четверых. А ну, Пьер, давай! Пускай кавалер подаст даме ручку. Стреляй сразу из двух!

Как только капитан выговорил эти слова, Пьер Берто на мгновение склонился над орудием, потом снова поднялся и тоже поднес запал.

Раздался выстрел.

Капитан пристально всматривался в даль, словно пытаясь разглядеть летящее ядро.

Ядро ударило в носовую часть.

Почти тотчас послышался второй выстрел, и второе ядро полетело вслед за первым, будто пытаясь его догнать.

— Так-то лучше! — обрадовался Пьер Берто, видя, как у англичан оторвался огромный кусок надводного борта. — Что вы на это скажете, капитан?

— Ты понапрасну теряешь время, дружище Пьер.

— Почему?

— Да попади ты ему в корпус хоть двадцать раз, ты задашь работу плотнику, и только. Врежь ему как следует, черт возьми! Целься в рангоут, переломай ему ноги, перебей крылья: дерево и холст ему сейчас дороже, чем плоть.

Во время их разговора «Калипсо» по-прежнему приближался к «Прекрасной Терезе»; она полыхнула из двух своих носовых пушек: одно из ядер упало на расстоянии пистолетного выстрела от кормы брига, другое же рикошетом ударило «Терезе» в борт, но не сильно и плюхнулось в воду.

— Знаете, капитан, — заговорил Пьер Берто, растянувшись на одной из двух пушек, — по-моему, мы на приличном расстоянии от англичан — хорошо бы не подпускать их ближе, уж вы мне поверьте.

— А что для этого необходимо?

— Поднять на «Прекрасной Терезе» все паруса. Ах, если бы я мог стоять у руля и в то же время стрелять из пушек, я бы, капитан, так повел судно, что, будь между двумя кораблями натянута паутинка, она осталась бы цела.

— Разверните грот и бизань и переложите бом-кливер! — крикнул капитан Эрбель, в то время как Пьер Берто взялся за запал и выстрелил.

На сей раз ядро угодило в рею.

— Вот это настоящий удар! — похвалил капитан Эрбель. — Ну, Пьер, получишь десять луидоров на то, чтобы прогулять их в первой же гавани, если попадешь в фок-мачту или в грот-мачту между верхним и нижним марселем.

— Да здравствует капитан! — закричали матросы.

— А можно стрелять книпелями? — уточнил Пьер.

— Да стреляй чем хочешь, черт подери! — махнул рукой капитан.

Пьер Берто потребовал у боцмана необходимые снаряды; тот приказал поднести стопку зарядных картузов, состоявших из двух ядер, связанных между собой цепью.

Зарядив обе пушки, Пьер Берто прицелился и выстрелил.

Ядро прошло сквозь фок и грот в полуфуте от мачты.

— Ну-ну, намерение похвальное,— пошутил капитан Эрбель.

Весь экипаж побежал в конец палубы, к юту.

Часть матросов, чтобы лучше видеть происходящее, вскарабкалась на ванты. Марсовые, сидя на марсах, сидели неподвижно, словно в ложе на благотворительном спектакле.

Пьер Берто зарядил обе пушки новыми картузами.

— Э-гей, капитан! — крикнул Парижанин.

— Что там нового, гражданин Муфтар?

— Они, капитан, перетаскивают одну пушку с кормы на нос, а две — с носа на корму.

— И что ты сам об этом думаешь, Парижанин?

— Наверное, им надоело получать от нас по лбу, а самим в ответ щекотать нам пятки, и потому они решили угостить нас тридцатишестифунтовой пушкой.

— Слышишь, Пьер?

— Да, капитан.

— Пьер, десять луидоров!

— Капитан, я и без того постарался бы изо всех сил. Судите сами: огонь!

И, приказав себе стрелять, Пьер поднес фитиль к пороху; прогремел выстрел: в парусах зияла огромная дыра.

Почти в тот же миг «Калипсо» ответило таким же грохотом, и ядро, отломив кусок рей большого марселя, разорвало висевшего на вантах матроса пополам.

— Слушай, Пьер,— закричал Парижанин,— неужели ты позволишь, чтобы нас всех вот так перебили?

— Тысяча чертей! — выругался Пьер.— Похоже, у них тоже есть тридцатишестифунтовая пушка. Погоди, погоди, Парижанин, сейчас ты кое-что увидишь!

На этот раз Пьер Берто прицелился особенно старательно, потом торопливо поднялся, поднес фитиль, и все это заняло считанные секунды.

Послышался оглушительный треск. Грот-стенга покачнулася, словно не зная, куда упасть — вперед или назад, наконец накренилася вперед и, надломившись над марсом, рухнула на палубу, накрыв ее парусом: цепь ядра ее подрубила.

— Пьер! — радостно прокричал капитан.— Я слышал, есть такая книга «Опасные связи»¹. Ты ее случаем не читал? Ты выиграл десять луидоров, мальчик мой!

— Стало быть, выпьем за здоровье капитана! — обрадованно зашумели матросы.

¹ Принадлежит перу Шадерло де Лакло.

— А теперь,— продолжал капитан,— «Калипсо» наша, и досталась она нам почти даром, но надо дожидаться появления луны, верно, Парижанин?

— Я думаю, осторожность не помешает,— отвечал тот.— Уже смеркается, а в той работе, которая нам еще предстоит, не мешало бы видеть, куда ставишь ногу.

— Раз уж вы вели себя примерно,— прибавил капитан,— обещаю вам фейерверк.

Сумерки сгустились, темнело с невероятной быстротой, что характерно для тропических широт.

Капитан Эрбель приказал поднять фонари на брам-стеннге, чтобы англичане не подумали, будто их противник решил скрыться в темноте.

Приказание было исполнено.

Англичанин в знак того, что он тоже не считает эту партию завершенной, водрузил сигнальные огни.

Похоже, обе стороны с одинаковым нетерпением ждали появления луны.

Оба судна вышли из ветра, словно потерпели аварию; в темноте они напоминали две грозовые тучи, плывущие по волнам, в недрах которых кроются гром и молния.

В одиннадцать часов появилась луна.

В то же мгновение нежный свет осветил все вокруг и посеребрил море.

Капитан Эрбель вынул часы.

— Дети мои!— сказал он.— Как я вам сказал, в четверть двенадцатого мы должны захватить «Калипсо», а в половине двенадцатого — уже лежать в своих койках. Времени у нас мало. Не будем обращать внимания на неприятеля, он волен поступать как знает. Нам же предстоит следующее... Пьер Берто перетащил свою упряжку вперед?

— Так точно, капитан,— доложил Пьер Берто.

— Заряжено шрапнелью?

— Да, капитан.

— Мы пойдем прямо на англичанина. Пьер Берто отсалюует из обеих своих красавиц; мы пошлем привет из всех пушек левого борта, потом быстро развернемся, подойдем вплотную, забросим наши крюки и выстрелим из пушек правого борта: превосходно! Так как англичане лишились своей стеньги и проворны теперь не больше, чем человек с переломанной ногой, они в нас успеют выстрелить лишь из пушек правого борта; восемнадцать двадцатичетырехфунтовых орудий против двадцати четырех восемнадцатифунтовых и двух тридцатистеифунтовых: считайте сами, и вы увидите, что у нас чистый перевес в восемь выстрелов. А теперь вперед — остальное за мной. Вперед, братцы! Да здравствует Франция!

Громкие крики: «Да здравствует Франция!» — вырвались, казалось, из самой глубины моря и возвестили англичанам, что бой сейчас вспыхнет с новой силой.

В ту же минуту «Прекрасная Тереза» развернулась, чтобы воспользоваться попутным ветром.

Сначала даже могло показаться, что она удаляется от «Калипсо», но как только она почувствовала, что ветер дует ей в корму, направилась на неприятеля и налетела на него, будто морская хищница на свою жертву.

Надобно отметить, что матросы капитана Эрбеля слепо повиновались любому его приказанию.

Если бы он повелел идти прямо на «Мальстрем» — эту легендарную бездну из скандинавских сказок, заглатывающую трехпалубные корабли не хуже Сатурна, пожирившего детей, — штурман направил бы корабль прямо на «Мальстрем».

Все приказания были исполнены с безупречной точностью.

Пьер Берто послал два шрапнельных снаряда почти в одно время с тем, как в «Прекрасную Терезу» англичане выстрелили из пушек своего левого борта. Потом прогрохотали в ответ и пушки «Терезы». И не успела «Калипсо» развернуться правым бортом и перезарядить пушки, как бушприт «Прекрасной Терезы», облепленный людьми, словно виноградная гроздь — ягодами, врезался в ванты грот-мачты, а капитан, стараясь перекричать скрип снастей, приказал:

— Огонь, дети мои! Последний залп! Врежьте ему как следует, а потом мы возьмем его, слово крепость, приступом!

Двенадцать заряженных шрапнелью пушек будто взвыли от радости в ответ на это приказание.

Зловещая вспышка осветила «Калипсо», густое облако дыма опустилось на его палубу, послышались треск, крики, потом снова раздался голос Эрбеля, будто повелевавшего грозой:

— На абордаж, ребята!

Первым на вражескую палубу прыгнул, как всегда, капитан Эрбель.

Но не успел он еще как следует встать на ноги, как у него над ухом кто-то сказал:

— А все-таки крестником вашего первенца буду я, капитан.

Эти слова принадлежали Пьеру Берто.

В ту же минуту с бушприта посыпались, как зерна из колоса, французы, к ним присоединялись их товарищи, и все они очутились на палубе «Калипсо»: в течение нескольких минут люди падали туда, словно град в летнюю бурю.

Невозможно передать, что потом происходило на палубе «Калипсо»: все смешалось, началась рукопашная схватка, все кричали, будто на шабаше демонов, но, к величайшему изумлению многих, капитана Эрбеля было не видать и не слышать.

Однако спустя несколько минут он выбрался из люка. Он держал в руке факел, и в его свете стало видно, что лицо капитана испачкано порохом и кровью.

— Все на борт «Прекрасной Терезы», ребята! — крикнул он. — Англичанин сейчас взлетит на воздух!

Его слова произвели магическое действие: крики стихли, драка прекратилась.

Вдруг из глубины вражеского судна донесся истошный крик: — Огонь!

Матросы «Прекрасной Терезы» бросились вон с неприятельского брига с тем же проворством, с каким совсем недавно его осаждали; французы цеплялись за снасти, прыгали с борта одного судна на другое, в то время как капитан, Пьер Берто и еще несколько силачей, описанных нами в самом начале сражения и вооруженных невиданным дотоле оружием, прикрывали отступление.

Оно произошло так скоро, что англичане еще не успели прийти в себя; пока два человека с топорами в руках высвобождали бушприт от снастей, в которых он запутался, раздался крик:

— Брасопьте левый борт вперед! Ставьте стаксели! Убирайте грот и бизань! Руль право на борт!

Эти приказания, отдававшиеся властным голосом, которому невозможно было не подчиниться, были исполнены с такой стремительностью, что, вопреки воле английского капитана, сцепить два корабля было уже невозможно, и «Прекрасная Тереза», словно догадываясь о надвигавшейся на нее опасности, отделилась от вант неприятельского судна, обрубая крючья, отсекая тросы и мечтая об одном: как можно скорее убежать от огня.

Тем не менее капитан Эрбель не смог помешать тому, что вражеский бриг, из последних сил развернувшись левым бортом, грохнул из пушек в порыве гнева или из жажды мести. Но матросы были так рады вырваться из опасного положения, в котором оставили своего врага, что почти не обратили внимания на смерть трех или четырех товарищей и крики нескольких раненых.

— А теперь, дети мои, — сказал капитан, — вот и обещанный фейерверк. Внимание!

Из всех люков английского брига повалил густой дым, в то время как над портами и жерлами пушек поднимался дымок совсем другого рода.

До слуха французов донесся голос английского капитана, усиленный рупором:

— Шлюпки на воду!

Приказание было немедленно исполнено, и вокруг фрегата закачались на волнах четыре шлюпки.

— Кормовую и шкафутную шлюпки — солдатам морской пехоты! — крикнул капитан. — Две бортовые шлюпки — матросам. Грузите сначала раненых!

Солдаты и офицеры «Прекрасной Терезы» переглядывались. Они были потрясены дисциплиной англичан. Маневр, проводившийся на борту «Калипсо» с такой четкостью, словно судно проводило учения в Портсмутской гавани или Сальвейском про-

ливне, на борту французского корабля был бы попросту невозможен.

Сначала в шлюпки спустили раненых — их было довольно много, и было решено разместить их в каждую шлюпку поровну, — потом солдаты морской пехоты в безупречном порядке заняли отведенные им шлюпки. Наконец настала очередь матросов.

Капитан стоял на мостике и невозмутимо отдавал приказания, словно позабыв, что у него под ногами мина.

С этой минуты французы перестали видеть происходящее. Дым повалил из всех щелей и окутал вражеский корабль покрывалом, сквозь которое невозможно было что-либо разглядеть.

Время от времени языки пламени взвивались вдоль мачт; потом несколько пушек, оставшиеся заряженными, выстрелили сами по себе; затем стало видно, как из огня вышла одна шлюпка, другая, третья; вдруг раздался оглушительный взрыв, судно изрыгнуло пламя, словно кратер вулкана, в воздух взметнулись горящие обломки, прочертив в ночном небе светящиеся полосы, похожие на гигантские ракеты.

Это и был финал фейерверка, обещанного капитаном Эрбелем.

Обломки корабля рухнули в море, все погасло, и снова наступила темнота. Ничего не осталось от великана, еще недавно крутившегося в огне; лишь три шлюпки бороздили море, удаляясь от места крушения их судна, насколько позволяли весла.

Капитан Эрбель не стал их преследовать. А когда одна из шлюпок оказалась на расстоянии пушечного выстрела от «Прекрасной Терезы», матросы и капитан приподняли шляпы, приветствуя храбрецов, которые, избегнув смертельной опасности от пожара, отправлялись навстречу другой, менее заметной и еще не очень близкой, но все-таки неотвратимой: непогоде и голоду.

Четвертая шлюпка, в которой сидели капитан и четвертая часть экипажа, взлетела на воздух вместе с бригам.

Эрбель и его люди провожали взглядами три шлюпки до тех пор, пока они окончательно не исчезли в крошечной темноте.

Капитан достал из кармана часы и сказал:

— Итак, дети мои, уже полночь. Впрочем, в дни праздников разрешается ложиться позднее обычного.

Теперь, если нас спросят, почему капитан Эрбель не захватил три четверти экипажа «Калипсо» в плен, а дал им уйти, мы ответим, что «Прекрасная Тереза», имевшая сто двадцать человек на борту, не могла взять еще сотню.

Если же наш ответ не удовлетворит кого-нибудь из наших читателей и они захотят узнать, почему капитан Эрбель не потопил шлюпки неприятеля тремя пушечными выстрелами, мы ответим...

Нет, мы промолчим.

Женитьба Корсара

В течение десяти лет, следовавших за событиями, о которых мы рассказали, желая, по своему обыкновению, дать представление о характере наших героев, капитан Эрбель, уже знакомый нашим читателям, шел, не сворачивая с раз избранного пути.

Нам будет довольно сделать краткий обзор его побед, знакомый нам из газет того времени.

«Святой Себастьян» — португальское судно, направлявшееся из Суматры в Иль-де-Франс с трехмиллионным грузом. Доля Эрбеля составила чetyреста тысяч ливров.

«Шарлотта» — голландский корабль водоизмещением триста шестьдесят тонн, имевший на борту двенадцать пушек и семьдесят человек экипажа. «Шарлотта» была продана за шестьсот тысяч ливров.

«Орел» — английская шхуна водоизмещением сто шестьдесят тонн, проданная за сто пятьдесят тысяч ливров.

«Святой Иаков» и «Карл III» — испанские корабли, проданные за шестьсот тысяч ливров.

«Аргос» — русское судно в шестьсот тонн.

«Геракл» — английский бриг в шестьсот тонн.

«Гордец» — английский парусник и так далее.

К этому списку, опубликованному в официальных газетах того времени, мы могли бы прибавить еще тридцать или сорок наименований, однако в наши намерения отнюдь не входило давать полную биографию капитана Эрбеля, мы лишь хотим дать читателям представление о его характере.

Вернувшись в Сен-Мало зимой 1800 года вместе с верным Пьером Берто, он получил от своих земляков все возможные свидетельства симпатии. Кроме того, его ожидало письмо от первого консула, приглашавшего его немедленно прибыть в Париж.

Бонапарт прежде всего поздравил храброго бретонца с его необычайными походами, а затем предложил ему чин капитана и командование фрегатом республиканского флота.

Однако Пьер Эрбель в ответ покачал головой.

— Чего же вы хотите? — удивился первый консул.

— Мне неловко вам в этом признаться, — отвечал Эрбель.

— Вы, значит, честолюбивы?

— Напротив, я считаю, что ваше предложение слишком лестно для меня.

— Вы не хотите служить Республике?

— Отчего же не послужить? Однако я хочу это делать по-своему.

— Как же?

— Оставаясь корсаром... Вы позволите говорить с вами откровенно?

— Пожалуйста.

— Пока приказываю я, все прекрасно; как только мне придется исполнять чью-то волю, я не буду стоять и последнего из своих матросов.

— Но ведь всегда приходится кому-то повиноваться.

— До сих пор, гражданин консул, я исполнял лишь Божью волю, да и то только когда он мне приказывал через своего первого адъютанта, как мы зовем его высочество ветер, убрать или поднять паруса; мне не раз доводилось, когда меня обуревал демон непокорности, подчинять себе море с опущенными парусами, кливером и бизанью. Это означает, что, если бы я был капитаном фрегата, я бы должен был повиноваться не только Богу, но и вице-адмиралу, адмиралу, морскому министру, да откуда мне знать? На одного слугу будет слишком много хозяев.

— Ну, я вижу, вы не забыли, что принадлежите к роду Куртенеев,— заметил первый консул,— и что ваши предки правили в Константинополе.

— Вы правы, гражданин первый консул,— я этого не забыл.

— Однако я не в силах назначить вас императором Константинопольским, хотя постарался избежать всего того, что сделал Бодун, то есть возвращаться из Иерусалима через Константинополь, вместо того чтобы отправиться через Константинополь в Иерусалим.

— Нет, гражданин консул, но вы можете сделать другое.

— Да, я могу установить майорат для вашего старшего сына, женить вас на дочери одного из моих генералов, если вы хотите прикоснуться к славе, или на дочери одного из моих поставщиков, если вас интересуют деньги.

— Гражданин первый консул! У меня три миллиона, что ничуть не хуже майората, а что касается женитьбы, у меня есть на примете невеста.

— Вы женитесь на какой-нибудь знатной принцессе или дочери немецкого маркграфа?

— Я женюсь на бедной девушке по имени Тереза; я люблю ее уже восемь лет, а она семь лет верно меня ждет.

— Дьявольщина! — вскричал Бонапарт. — Не везет же мне: там — Сен-Жан-д'Акр, а здесь — вы!.. Что же вы намерены делать, капитан?

— А вот что, гражданин консул: для начала женюсь, так как мне не терпится это сделать, и, если бы не вы, даю слово, я не двинулся бы до свадьбы из Сен-Мало.

— Ну а что потом?

— Буду наслаждаться мирной жизнью, проедаю три миллиона и приговаривая, как пастух Вергилия:

*O Melibæ! deus nobis hæc otia fecit!*¹

— Гражданин капитан! Я не силен в латыни.

¹ О Мелибей! Этот покой нам даровал Бог (латин.). (Вергилий «Буколики»)

— Да, особенно когда речь о мирной жизни, верно? Да я не прошу у вас тридцатилетнего мира. Нет, год-другой насладиться семейным счастьем, и хватит. А потом с первым же пушечным выстрелом я... что ж, моя «Прекрасная Тереза» еще целехонька!

— Значит, я ничего не могу для вас сделать?

— Да вот я думаю...

— И никак ничего не придумаете?

— Нет, но если мне что-нибудь придет в голову, я вам напишу, слово Эрбеля!

— Неужели я даже не смогу быть крестным вашего первого сына?

— Вам не повезло, гражданин консул: я уже дал слово другому.

— Кому же?

— Пьеру Берто по прозвищу Монтобанны-Верхолаз, нашему боцману.

— А он не может уступить мне свою очередь, капитан?

— Да что вы! Он не уступил бы даже китайскому императору. Да и нечего сказать: он завоевал это право шпагой.

— Каким образом?

— Он был вторым на палубе «Калипсо» и, между нами, храбрецами, говоря, генерал, даже первым, если уж быть точным... Словом, я просто закрыл на это глаза.

— Ну, капитан, раз уж мне с вами так не везет, вы, может быть, позволите мне о вас иногда справляться?

— Стоит вам начать войну, гражданин первый консул, и вы обо мне услышите, за это я вам ручаюсь.

— Итак, с должника нужно брать хотя бы то, что он может отдать: до встречи в случае войны!

— До свидания, гражданин первый консул!

Пьер Эрбель пошел было к двери, но снова вернулся.

— Нет, я не могу вам обещать и свидания,— поправился он.

— Это еще почему?

— Потому что вы сухопутный генерал, а я моряк. Значит, маловероятно, что мы встретимся, если вы будете воевать в Италии или Германии, а я — в Атлантическом или Индийском океане; итак, удачи вам в ваших кампаниях, гражданин первый консул.

— А вам удачных плаваний, гражданин капитан.

На том капитан и первый консул расстались, а встретились вновь лишь пятнадцать лет спустя в Рошфоре.

Через три дня после того, как Пьер Эрбель покинул Тюильрийский дворец, он с распростертыми объятиями вошел в скромный дом Терезы Бреа, находившийся в деревушке Планкоз, что на Аркеноне, в пяти лье от Сен-Мало.

Тереза радостно вскрикнула и бросилась Пьеру в объятия.

Она не видела его три года. Она слышала, что он вернулся в Сен-Мало и в тот же день уехал в Париж.

Другая впала бы в отчаяние и стала гадать, какое неотложное дело могло заставить ее возлюбленного отказаться от

встречи с ней. Но Тереза твердо верила в слово Пьера; она преклонила колени перед Планкозской Божьей Матерью, даже не думая о причине его неожиданного отъезда.

И, как мы видели, Пьер приехал в Париж за час до назначенной аудиенции, а покинул столицу час спустя: его отсутствие длилось всего шесть дней. Правда, Терезе они показались шестью столетиями.

Увидев своего любимого, она метнулась ему навстречу, а с ее губ или, вернее, из самого сердца вырвался радостный крик.

Пьер расцеловал ее в мокрые от слез щеки и спросил:

— Когда свадьба, Тереза?

— Когда хочешь,— отвечала та.— Я уже семь лет как готова, а о нашей помолвке объявлено уже три года назад.

— Значит, нам осталось только предупредить мэра и кюре?

— Ну конечно!

— Идем предупредим их, Тереза! Я не согласен с теми, кто говорит: «Он ждал шесть лет, подождет еще». Нет, я, наоборот, считаю так: «Я ждал шесть лет и полагаю, что этого вполне достаточно: больше ждать я не хочу!»

Тереза придерживалась, разумеется, того же мнения. Не успел он договорить, как она накинула на плечи шаль и приготовилась выйти.

Пьер Эрбель взял ее за руку.

Как бы ни торопились мэр и кюре, необходимо было подождать три дня. За это время капитан едва не лишился рассудка.

На третий день, когда мэр ему сказал: «Именем закона объявляю вас мужем и женой», Пьер Эрбель заметил:

— Какое счастье! Если бы пришлось еще ждать, я бы свихнулся.

Девять месяцев спустя— день в день— Тереза родила крепкого мальчонку, которого, по уговору, крестил Пьер Берто по прозвищу Монтобанн. Записали мальчика в книге актов гражданского состояния Сен-Мало под именем Пьера Эрбеля де Куртена, виконта. Он был Пьером дважды: по имени родного отца и крестного.

Мы уже рассказывали, как, уступая моде той поры, молодой человек латинизировал свое имя и вместо отчасти вульгарного имени апостола-отступника избрал более аристократичное Петрус.

Однако наберитесь терпения, дорогие читатели; мы еще не закончили рассказ о его отце-корсаре, как называл брата генерал Эрбель.

Медовый месяц капитана Эрбеля длился ровно столько, сколько существовал Амьенский мир. Мы ошибаемся: он затянулся на несколько дней дольше.

Десять историков против одного вам скажут, если, конечно, вы пожелаете к ним обратиться, как был нарушен договор 1802 года; зато только я могу вам поведать, чем закончился медовый месяц нашего достойного капитана.

Пока длился мир, все шло хорошо в семье Эрбелей. Муж обожал свою жену, нежную и тихую, будто ангел; он обожал сына и уверял — не без основания, может быть, — что это самый красивый малыш не только в Сен-Мало, но и во всей Бретани, а то и во всей Франции. Короче говоря, это был счастливейший смертный, и если бы не война, это состояние покоя длилось бы, верно, месяцы и годы и ни одно облачко не омрачило бы его ясного небосвода.

Но со стороны Англии стала надвигаться буря. Английское правительство заключило мир вынужденный; для этого императору Павлу I пришлось вступить в коалицию с Пруссией, Данией и Швецией, благодаря чему был опрокинут кабинет министров Питта, а оратор Эддингтон был назначен первым лордом министерства финансов. К несчастью, мир просуществовал недолго. Убийство Павла I пошатнуло это ненадежное здание. Англичане обвинили Францию в том, что она слишком медленно освобождает Рим, Неаполь и остров Эльбу. Франция обвинила Англию в том, что та вообще не уходит из Мальты и Египта. Бонапарт решил встретить грядущие события во всеоружии и снарядил экспедицию в Санто-Доминго. Политический барометр предвещал неизбежную войну.

С того дня, как эта намечавшаяся экспедиция привела все французские гавани в лихорадочное возбуждение, предшествующее обычно морским сражениям, капитан Эрбель потерял покой и сон. Тихое семейное счастье не могло заглушить его жажды приключений: для него семейная жизнь была цветущим островком в океане, где моряк может ненадолго передохнуть, и только. Настоящим призванием капитана было море: оно не давало ему покоя, тянуло к себе, словно ревнивая любовница, и манило помимо воли. Он стал печальным и не пропускал ни одного рыбацкого судна, чтобы не расспросить экипаж, когда начнутся военные действия. Дни напролет он просиживал на самом высоком утесе, всматриваясь в даль, где море сливалось с небом.

Тереза, на все смотревшая его глазами, вскоре заметила, как он переменялся, и долго не могла понять, чему приписать его странное состояние. Мрачное настроение, угрюмое молчание были настолько несвойственны ее мужу, что она не на шутку испугалась, но ни о чем его не спрашивала.

Она понимала, что рано или поздно он заговорит сам. И вот однажды ночью ее разбудили порывистые движения и громкие крики капитана.

Ему привиделось во сне сражение, и он закричал что есть мочи:

— Вперед! Бей англичан! Дети мои, на бордаж! Да здравствует Республика!

Бой был нелегкий. Но через некоторое время он, видимо, закончился, как и для Сида, сам собой: некому стало сражаться.

Капитан, приподнявшийся было на постели, рухнул на подушку с криком:

— Спускай флаг, английская собака! Победа! Победа!

И он снова уснул мирным сном победителя.

Так несчастная Тереза узнала правду.

Сон ее как рукой сняло, и она прошептала:

— Сам того не зная, он только что объяснил мне, почему на него находит тоска. Бедный Пьер! Из любви ко мне он сидит здесь как привязанный, чувствует себя пленником в этом доме и бьется головой о решетку, словно тигр в клетке... Увы, теперь я понимаю: эта тихая жизнь не для тебя, бедный мой Пьер! Тебе нужен простор, вольный воздух, бескрайнее небо над головой, море под ногами; тебе нужны великие бури и сражения, гнев человеческий и Божий! А я ничего не видела, не понимала, ни о чем не догадывалась: я тебя любила! Прости меня, дорогой Пьер!

Тереза в смертной тоске стала ждать утра, а когда рассвело, сказала как можно тверже:

— Пьер, ты здесь скучаешь!

— Я? — отозвался он.

— Да.

— Даже и не думай об этом!

— Пьер, ты никогда не лгал. Даже со мной оставайся всегда честным и искренним, как и подобает моряку.

Пьер пролепетал что-то невнятное.

— Безделье для тебя губительно, друг мой, — продолжала Тереза.

— А твоя любовь меня восхищает, — отвечал Пьер.

— Тебе пора в путь, Пьер, мы на пороге войны.

— Да, так все говорят.

— А ты, любимый мой, уже начал военные действия.

— Что ты имеешь в виду?

Тереза рассказала, что было ночью.

— Вполне возможно, — согласился Пьер. — Всю ночь мне снился ожесточенный бой.

— По тому, с какой страстью ты воевал пусть во сне, я поняла, что время нашей безмятежной жизни прошло, а настоящая жизнь для тебя там, где опасность и слава, и я приняла очень важное решение, мой друг.

— Какое же?

— Помочь тебе как можно раньше выйти в море.

— Ты, дорогая Тереза?

— Я, Пьер. Провидение возложило на нас разные задачи, милый; я ждала тебя семь лет и была счастлива этим ожиданием. Ты пришел, и два года я была самой счастливой женщиной на свете. Скоро ты снова уйдешь, и я опять буду ждать твоего возвращения. Но теперь со мной будет наш сын, и ждать мне будет легче. Мне необходимо многому его научить во исполнение своего материнского долга. Я расскажу ему о тебе, о твоих битвах, слух о которых дойдет и до нас. Каждый день мы будем подниматься на скалу в надежде увидеть вдали твой белый



КОГДА «ПРЕКРАСНАЯ ТЕРЕЗА» ПОДОШЛА К БЕРЕГУ БЛИЖЕ,
ПЬЕР ЭРБЕЛЬ РАЗЛИЧИЛ НА СКАЛЕ
ЖЕНЩИНУ С РЕБЕНКОМ

корабль. Так, дорогой, мы оба исполним перед Всевышним долг. Ты, мужчина, будешь защищать свою родину; я, женщина, стану воспитывать нашего сына; а Всевышний нас благословит.

Пьер обыкновенно не показывал своих чувств, но когда услышал ее слова, ему показалось, что над головой у жены засветился нимб, как у Планкоэской Девы Марии, и упал к ее ногам.

— Ты обещаешь, что не будешь без меня скучать, жена? — спросил он.

— Не скучать, Пьер, — отвечала Тереза, — значило бы не любить тебя! Я буду скучать, но вспомню, что тебе хорошо, и твоё счастье заставит меня позабыть о моей печали.

Пьер бросился в объятия жены, потом выскочил из дома и побежал по улицам Сен-Мало, скликая всех своих матросов по именам, а своему другу Пьеру Берто поручил собрать всех, кого он встретит по дороге или застанет дома.

Спустя неделю «Прекрасная Тереза» была полностью отремонтирована и свежеевыкрашена; она собрала на борту прежний хорошо известный экипаж, усиленный двадцатью новичками, а также двадцать четыре восемнадцатифунтовых орудия и две тридцатидесятифунтовые пушки и вышла из гавани Сен-Мало прогуляться по просторам, на которых пират Пьер Эрбель заработал громкую славу, соперничая со своим другом и земляком Сюркуфом.

Вышла «Тереза» 6 мая 1802 года, а уже восьмого числа того же месяца захватила после десятичасовой схватки невольничье судно с шестнадцатью короткоствольными пушками на борту.

Пятнадцатого она захватила португальское судно с восемнадцатью пушками и семидесятью членами экипажа.

Двадцать пятого она завладела трехмачтовым торговым судном, шедшим под голландским флагом, груженным пятью тысячами тюков риса и пятьюстами бочонками сахара.

Пятнадцатого июня, в ночь, похожую на ту, когда капитан Эрбель расправился с «Калипсо», «Тереза» вывела из строя английский трехмачтовый корабль; руководил операцией Пьер Берто, за что был сейчас же удостоен звания лейтенанта.

Наконец, в начале июля, после восемнадцати боев, пятнадцать из которых закончились захватом неприятельских кораблей, «Прекрасная Тереза» бросила якорь в Иль-де-Франс, откуда вышла с разнообразными трофеями лишь в 1805 году, то есть после Аустерлицкого сражения.

Тереза сдержала данное мужу слово: каждый день она поднималась на скалу вместе с сыном, которому уже пошел четвертый год. И когда «Прекрасная Тереза» подошла к берегу ближе, Пьер Эрбель различил на скале женщину с ребенком, размахивавших руками.

Тереза узнала бриг своего мужа задолго до того, как он ее не только узнал, но и просто заметил.

Наступил 1815 год.
Шестого июля еще дымилось поле битвы при Ватерлоо.
Двадцать первого июня в шесть часов утра Наполеон
вернулся в Елисейский дворец, а 22-го подписал следующее
заявление:

«Французы!

*Начиная войну за национальную независимость, я рассчитывал
объединить все усилия, волю каждого, участие всех национальных
органов власти. Я имел основание надеяться на успех, а потому
пренебрег всеми заявлениями держав против меня. По-видимому,
обстоятельства изменились: я приношу себя в жертву ненависти
врагов Франции. Искренни ли они в своих заявлениях, признаваясь,
что всегда ненавидели только меня? Моя политическая жизнь
кончена, и я провозглашаю своего сына под именем Наполеона
Второго императором Французским. Теперешние министры сформи-
руют временный правительственный совет. Интересы сына заставля-
ют меня обратиться к Палатам с предложением безотлагательно
организовать законное регентство. Призываю всех объединиться
во имя общественного спасения и национальной независимости.*

Написано в Елисейском дворце

22 июня 1815 года.

Наполеон».

Четыре дня спустя после подписания этого заявления, то есть
26 июня, Наполеон — почти сразу после отречения — получил
такое постановление:

«Правительственная комиссия постановляет:

*Статья 1. Морской министр отдаст распоряжение о снаря-
жении двух фрегатов в гавани Рошфор для доставки Наполеона
БОНАПАРТА в Соединенные Штаты.*

*Статья 2. Ему будет предоставлен по желанию вплоть до его
отплытия достаточный эскорт под командованием генерал-лейте-
нанта Беккера, которому приказано обеспечить его безопасность.*

*Статья 3. Главный управляющий почтами отдаст все необ-
ходимые распоряжения почтовым службам.*

*Статья 4. Морской министр обеспечит возвращение фрега-
тов немедленно после прибытия на место.*

*Статья 5. Фрегаты будут безотлучно находиться на Рош-
форском рейде до прибытия охранных свидетельств.*

*Статья 6. Исполнение настоящего постановления поручает-
ся морскому министру, военному министру и министру финансов.*

Подписано:

*Герцог Отрантский, граф Гренье,
граф Карно, барон Кинетт, Коленкур,
герцог Висанский».*

На следующий день герцог Отрантский на основании нового правительственного решения разрешил императору принять по расписке: сервиз столового серебра на двенадцать персон; фарфоровый сервиз от командующих армиями; шесть наборов на двенадцать персон постельного белья из камчатной ткани; шесть комплектов церковных облачений; две дюжины тончайших простынь; две дюжины запасных простынь; шесть дюжин полотенец, две почтовые кареты, три генеральских набора седел и конской сбруи; три набора седел и конской сбруи для доезжающего; четыреста томов из библиотеки замка Рамбуйе; различные географические карты; наконец, сто тысяч франков на дорожные расходы.

Это было последнее приданое императора.

В тот же день около четырех часов пополудни его сиятельство генерал Беккер, отвечавший за безопасность того, кого теперь называли просто Наполеоном Бонапартом, получил от маршала и военного министра принца Экмюхльского письмо. И хотя тот еще называл бывшего хозяина «императором» и «величеством», это, как увидят читатели, ни к чему его не обязывало; кроме того, всем известно, что такое сила привычки.

«Господин генерал!

Имею честь передать Вам прилагаемое распоряжение, которое правительственная комиссия поручает Вам довести до сведения императора Наполеона, заметив Его Величеству, что обстоятельства изменились и Его Величеству необходимо отправиться на остров Экс.

Это постановление было принято как в его личных интересах, так и в интересах дорогого ему государства.

Если император не примет к сведению это постановление, Вам надлежит установить более жесткое наблюдение либо для того, чтобы Его Величество не мог выйти из Мальмезона, либо чтобы предупредить возможное покушение на его жизнь. Вы прикажете выставить охрану на всех улицах, прилегающих к Мальмезону. Я немедленно извещу главного инспектора жандармерии и коменданта Парижа, чтобы он предоставил в Ваше распоряжение жандармерию и войска, которые могут Вам понадобиться.

Повторяю, господин генерал, что это постановление было принято исключительно в интересах государства и личной безопасности императора. Его скорейшее исполнение необходимо, от этого зависит судьба Его Величества и его близких.

Мне нет нужды говорить Вам, господин генерал, что все эти меры должны быть приняты при сохранении тайны.

*Маршал, военный министр,
принц Экмюхльский».*

Час спустя все тот же генерал Беккер получил от герцога Отрантского другое письмо, переданное ему военным министром:

«Ваше сиятельство!

Комиссия отменяет инструкции, которые она передала Вам час тому назад. Необходимо исполнить постановление в том виде, как оно было принято вчера, согласно которому Наполеон Бонапарт останется на рейде острова Экс до прибытия его бумаг.

Очень важно во имя блага государства, которое ему далеко не безразлично, чтобы он оставался там до тех пор, пока окончательно не решится судьба его самого, а также его близких. Будут предприняты все меры к тому, чтобы эти переговоры закончились к его удовлетворению.

Затронута честь Франции, а пока нужно принять все меры предосторожности для личной безопасности Наполеона, а также для того, чтобы он не покидал отведенного ему места для временного проживания.

Герцог Отрантский».

Начиная с 25-го император по приглашению правительственной комиссии покинул Елисейский дворец и удалился в Мальмезон, еще полный воспоминаний о Жозефине.

Несмотря на письмо герцога Отрантского и неотступные просьбы временного правительства, Наполеон никак не мог решиться на отъезд.

Двадцать восьмого июня он продиктовал графу Беккеру письмо. Само собою разумеется, что, хотя граф писал под диктовку императора, он нес за это письмо личную ответственность. Адресовано было это письмо военному министру.

«Монсеньор!

Ознакомившись с постановлением правительства об отъезде Его Величества в Рошфор, император поручил передать Вашему высочеству, что он отказывается от этого путешествия, принимая во внимание, что дороги небезопасны и Его Величество считает, что ему не будет обеспечена достаточная личная безопасность.

Кроме того, прибыв по этому месту назначения, император считает себя пленником, поскольку его отъезд с острова Экс зависит от времени прибытия бумаг для его отправления в Америку, в которых ему, несомненно, будет отказано.

Рассмотрев данный вопрос с вышеизложенных позиций, император решил принять свой арест в Мальмезоне, а в ожидании, пока его судьбу решил герцог Веллингтон, которому правительство может сообщить это решение, Наполеон останется в Мальмезоне, убежденный в том, что против него не будет предпринято ничего такого, что недостойно народа и правительства.

Граф Беккер».

Как видят читатели, Наполеона больше не называют «величеством», зато принца Экмюхльского по-прежнему величают «высочеством».

Подобный ответ должен был привести к крайним мерам.

В течение дня прибыла депеша; сначала подумали было, что в ней говорится об отъезде императора. Наполеон распечатал ее и прочитал следующее:

«Приказ военного министра генералу Беккеру

Париж, 28 июня 1815 года.

Господин генерал!

Вам предписано возглавить часть гвардии, находящуюся в Рюзе под Вашим командованием, а затем сжечь и полностью разрушить мост Шату.

Приказываю также разрушить Безонский мост войскам, находящимся в Курбевау.

Для выполнения этой операции я посылаю туда одного из моих адъютантов.

Завтра я отправлю войска в Сен-Жермен, а пока займите эту дорогу.

Офицеру, доставившему Вам это письмо, поручено вручить мне отчет о выполнении данного приказа».

Генерал Беккер ждал, что скажет император.

Тот, не теряя хладнокровия, передал ему письмо.

— Каков будет приказ вашего величества?—спросил граф Беккер.

— Исполняйте полученное распоряжение,—отвечал император.

Генерал Беккер отдал необходимые приказания в ту же минуту.

Вечером генерала отозвали в Париж: он уехал в восемь часов.

Наполеон не пожелал ложиться до возвращения генерала. Он хотел знать, что произойдет между генералом и военным министром.

В одиннадцать часов генерал вернулся.

Император приказал немедленно пригласить его.

— Что нового в Париже?—едва завидев генерала, спросил император.

— Происходят странные вещи, сир; вы не поверите, ваше величество...

— Ошибаетесь, генерал: с тысяча восемьсот четырнадцатого года я излечился от непонятливости. Рассказывайте, чему вы явились свидетелем.

— Свидетелем! Да, сир, можно подумать, что ваше величество обладает даром ясновидения. Прибыв в особняк министра, я столкнулся с человеком, выходившим от его высочества, на которого я вначале не обратил внимания.

— Что это был за человек?—нетерпеливо спросил Наполеон.

— Принц позаботился о том, чтобы сообщить мне это,—продолжал генерал. «Вы узнали человека, который только что от меня вышел?»—спросил он.—«Я не обратил на него внимания»,—признался я.—«Это господин де Витроль, уполномоченный Людовика Восемнадцатого».

Наполеон не смог сдержать едва заметной дрожи.

Генерал Беккер продолжал:

— «Ну что же, дорогой генерал,— сказал мне военный министр,— это господин де Витроль, уполномоченный Людовика Восемнадцатого, явившийся от имени его величества (Людовик XVIII снова стал «величеством»), передал мне предложения, которые я нашел вполне приемлемыми для страны. Таким образом, если мои предложения одобрены, завтра я поднимусь на трибуну и обрисую наше положение, чтобы дать почувствовать необходимость принятия проектов, которые я считаю полезными для интересов нации».

— Стало быть, интересы нации заключаются отныне в возвращении Бурбонов...— пробормотал Наполеон.— И вы ничего на это не ответили, генерал?

— Напротив, сир. «Господин маршал!— сказал я.— Не скрою, я удивлен, видя, что вы принимаете решение, которое определяет судьбу империи в пользу второй реставрации; поостерегитесь взваливать на себя такую ответственность. Возможно, существуют другие средства отбросить неприятеля, а мнение Палаты не кажется мне, после ее голосования в пользу Наполеона Второго, благоприятным для возвращения Бурбонов».

— И что он ответил?— поторопился спросить император.

— Ничего, сир. Он вернулся в свой кабинет и передал мне новый приказ об отъезде.

И генерал передал бумагу, в которой говорилось о том, что, если Наполеон не уедет в двадцать четыре часа, никто не отвечает за его личную безопасность.

Но император словно и не слышал приказа.

Казалось, его ничто не должно было удивлять, он же не мог понять одного: вопрос о возвращении Бурбонов обсуждался с г-ном де Витролем через принца Экмюхльского, который вел переговоры о возвращении его, Наполеона, через того же человека, который прислал ему на остров Эльба г-на Флери де Шабуллона, чтобы привлечь его внимание к положению дел и передать, что Франция для него открыта и ждет его!

Когда стало известно о высадке, бывший начальник штаба Наполеона оказался настолько скомпрометирован, что попросил прибежища у г-на Паскье, главного хирурга Инвалидов; он знал его еще в армии и мог на него положиться.

Наполеон заблуждался: еще существовало нечто, способное его удивить.

Он отдал приказание о своем отъезде на следующий день.

Но пока шла подготовка к отъезду императора, произошло событие, последствия которого могли привести к серьезным изменениям.

Одним из тех, кто с болью следил за тем, как Наполеон нерешительно борется с Божьей десницей сначала в Елисейском дворце, а потом в Мальмезоне, оказался наш старый знакомый,

г-н Сарранти, в настоящее время искупающий свои грехи за решеткой; а вскоре он и вовсе, может быть, заплатит головой за непреклонную верность императору.

Со времени возвращения Наполеона он неустанно и почти-тельно напоминал своему бывшему генералу, что в такой стране, как Франция, ничто никогда не потеряно. Маршалы были забывчивы, министры неблагодарны, сенат отвратителен. Но армия и народ сохранили ему верность.

Необходимо все отринуть от себя подальше, повторял г-н Сарранти, и призвать на этот великий бой народ и армию.

Итак, 29 июня утром произошло событие, подтвердившее правоту сурового и несгибаемого советчика.

К шести часам утра все изгнанники Мальмезона — жившие в этом замке уже являлись изгнанниками! — были разбужены громкими криками: «Да здравствует император! Долой Бурбонов! Долой предателей!»

Все спрашивали друг друга, что означают эти крики, почти забытые с тех пор, как под окнами Елисейского дворца два полка гвардейских стрелков, добровольцы из числа ремесленников Сент-Антуанского предместья, прошли через сад, громко требуя, чтобы император возглавил их и повел на врага.

Господин Сарранти, казалось, один был в курсе происходящего. Он был одет и стоял в передней, прилежавшей к спальне императора.

Он вошел раньше, чем император успел его позвать и справиться о причине шума.

Сарранти прежде всего взглянул на кровать: она была пуста. Император находился в смежной со спальней библиотеке. Он сидел у окна, положив ноги на подоконник, и читал Монтеня.

Заслышав шаги, он спросил, не оборачиваясь:

— В чем дело?

— Сир, вы слышите? — раздался знакомый голос.

— Что именно?

— Крики: «Да здравствует император! Долой Бурбонов! Долой предателей!»

Император печально улыбнулся.

— Ну и что же, дорогой Сарранти? — спросил он.

— Сир! Это дивизия Брайера возвращается из Вандеи, она стоит у ворот замка.

— Что же дальше? — продолжал император в том же тоне, с прежней невозмутимостью или, точнее, с прежним равнодушием.

— Что дальше, сир?.. Эти храбрецы не хотят идти дальше. Они заявили, что будут ждать, пока им вернут их императора, а если их вожаки не согласятся быть посредниками между ими и вашими, они сами придут за вашим величеством и поставят вас во главе.

— И дальше? — снова спросил Наполеон.

Сарранти подавил вздох. Он знал императора: это уже было не просто равнодушие, а отчаяние.

— Государь! — молвил г-н Сарранти. — Генерал Брайер здесь, он просит позволения войти и положить к стопам вашего величества волю своих солдат.

— Пусть войдет! — приказал император, поднимаясь и откладывая открытой книгу на окно, словно собираясь скоро вернуться к прерванному интересному чтению.

Вошел генерал Брайер.

— Государь! — заговорил он, почтительно склоняясь перед Наполеоном. — Я и моя дивизия пришли за приказаниями вашего величества.

— Вы опоздали, генерал.

— В том не наша вина, сир. Надеюсь прибыть вовремя для защиты Парижа, мы проходили по десять, двенадцать и даже пятнадцать лье в день.

— Генерал! — проговорил Наполеон. — Я отрекся от власти.

— Как император, сир, но не как генерал.

— Я предложил им свою шпагу, но они от нее отказались, — заметил Наполеон, сверкнув глазами.

— Они от нее отказались!.. Кто, государь?.. Простите, что я задаю вопросы вашему величеству.

— Люсьен, мой брат.

— Государь! Ваш брат принц Люсьен не забыл, что первого брюмера он был председателем Совета пятисот.

— Сир! — вмешался Сарранти. — Обратите внимание, что голос этих десяти тысяч человек, стоящих под вашими окнами и кричащих: «Да здравствует император!» — это голос народа, последняя попытка Франции. Более того, это последняя милость фортуны... Ваше величество! Во имя Франции, во имя вашей славы...

— Франция неблагодарна, — прошептал Наполеон.

— Не надо богохульствовать, сир! Мать не может быть неблагодарной.

— Мой сын в Вене.

— Ваше величество дорогу туда знает.

— Моя слава умерла на равнинах Ватерлоо.

— Сир! Вспомните ваши собственные слова, сказанные в Италии в тысяча семьсот девяносто шестом году: «Республика — как солнце. Только слепец или безумец станет отрицать его свет!»

— Государь! Только подумайте: у меня здесь десять тысяч солдат, готовых в огонь и в воду, они еще не были в бою, — прибавил генерал Брайер.

Император на минуту задумался.

— Вызовите моего брата Жерома, — попросил он.

И вот самый младший брат императора, единственный из всех, кто сохранил ему верность, тот, кто, будучи вычеркнут из списка монархов, сражался как солдат, вошел, еще бледный и не совсем оправившийся после двух ранений, полученных в Катр-

Бра и на ферме Гумон, а также после тягот отступления, когда он прикрывал отход войска.

Император протянул ему руку, потом вдруг и без предисловий сказал:

— Жером! Что ты передал в руки маршала Суля?

— Первый, второй и шестой корпуса, ваше величество.

— Реорганизованными?..

— Полностью.

— Сколько человек?

— Тридцать восемь или сорок тысяч.

— А вы говорите, у вас, генерал?..— обратился Наполеон к Брайеру.

— Десять тысяч.

— А в руках у маршала Груши — сорок две тысячи свежих солдат,— прибавил Жером.

— Искуситель! — пробормотал Наполеон.

— Сир! Сир! — вскричал Сарранти, умоляюще сложив руки на груди.— Вы стоите на пути своего спасения... Вперед! Вперед!

— Хорошо, спасибо, Жером. Держись поблизости, ты, возможно, мне понадобится... Генерал, ждите моих приказаний в Рюзе. Ты, Сарранти, садись за этот стол и пиши.

Бывший король и генерал вышли с поклоном, унося в душе надежду.

Господин Сарранти остался с императором наедине.

Он уже сидел с пером в руке.

— Пишите,— приказал Наполеон.

Потом в задумчивости продолжал:

— «В правительственную комиссию».

— Ваше величество! — воскликнул Сарранти и бросил перо.— Я не стану писать к этим людям.

— Не будешь писать к этим людям?

— Нет, сир.

— Почему?

— Все эти люди — смертельные враги вашего величества.

— Они всем обязаны мне.

— Это лишний довод, государь. Есть такие великие благодеяния, что за них можно заплатить только неблагодарностью.

— Пиши, я тебе говорю.

Господин Сарранти встал, поклонился и положил письмо на стол.

— Что еще? — спросил император.

— Ваше величество! Уже прошли времена, когда побежденные приказывали своим рабам себя убить. Написать в правительственную комиссию — все равно что вонзить вам нож в грудь.

Император не отвечал.

— Сир! Ваше величество! — взмолился Сарранти.— Надо браться за шпагу, а не за перо. Необходимо воззвать к нации, а не к людям, которые, повторяю, являются вашими врагами.

Пусть они узнают, что вы разбили неприятеля в тот самый момент, когда они будут думать, что вы направляетесь в Рошфор.

Император знал своего земляка, он знал: его не переубедить, даже приказ императора не помог бы.

— Ладно! — сказал он. — Пришлите ко мне генерала Беккера!

Сарранти вышел. Явился генерал Беккер.

— Генерал! — начал Наполеон. — Должен вам сказать, что я отложил свой отъезд на несколько часов, чтобы послать вас в Париж: вам надлежит передать правительству новые предложения.

— Новые предложения, государь? — удивился генерал.

— Да, — подтвердил император. — Я прошу передать мне командование армией от имени Наполеона Второго.

— Государь! Имею честь вам заметить, что подобное послание уместнее было бы передать с офицером императорского дома, нежели с членом Палаты и правительственным чиновником, чьи обязанности ограничиваются сопровождением вашего величества!

— Генерал! — продолжал император. — Я верю в вашу преданность, потому и поручаю это дело именно вам, а не кому-нибудь другому.

— Сир! Если моя преданность может быть полезна вашему величеству, — отозвался генерал, — я готов повиноваться без колебаний. Однако я бы хотел иметь письменные инструкции.

— Садитесь и пишите, генерал.

Генерал сел на то же место, где только что сидел Сарранти, и взял отложенное им перо.

Император стал диктовать, и генерал записал:

«В правительственную комиссию.

Господа!

Положение во Франции, пожелания патриотов и крики солдат требуют моего присутствия для спасения отечества. Я требую пост командующего не как император, а как генерал.

Восемьдесят тысяч человек собираются под Парижем: это на тридцать тысяч больше того, что я когда-либо имел в своем подчинении во время кампании 1814 года, однако я три месяца сражался с огромными армиями России, Австрии и Пруссии, и Франция вышла бы победительницей из борьбы, если бы не капитулировал Париж; кроме того, это на сорок пять тысяч человек больше, чем было у меня, когда я покорил Альпы и завоевал Италию.

Даю слово солдата, что, отбросив неприятеля, я отправлюсь в Соединенные Штаты для исполнения своего предназначения.

Наполеон».

Генерал Беккер не позволил себе ни единого замечания. Как солдат он понимал, что все это было возможно.

Наполеона снедало беспокойство. Впервые, может быть, мускулы лица выдавали волнение его души.

Его гениальная мысль работала не переставая. Он представлял, как уже все исправил, все восстановил. Он диктовал мир, если не славный, то, во всяком случае, почетный, и исполнял данное слово. Он покидал Францию не как беглец, а как спаситель.

Два часа он вынашивал эту соблазнительную мечту!

Он не спускал глаз с аллеи, по которой должен был возвратиться генерал, прислушивался к малейшему шуму. Временами его взгляд охотно останавливался на шпаге, брошенной поперек кресла. Он понял наконец, где его настоящий скипетр.

Значит, все еще было поправимо, приход Блюшера, отсутствие Груши! Его великая мечта 1814 года о сражении, которое под стенами Парижа похоронит неприятельскую армию, могла осуществиться! Несомненно, люди, к которым он обращался, поймут его правильно. Как и он, на одну чашу весов они положат честь Франции, а на другую—его отречение, и не станут колебаться.

В глазах размечтавшегося Наполеона мелькнуло что-то вроде молнии: это отразился солнечный луч в окне кареты.

Экипаж остановился, из него вышел человек: это был генерал Беккер.

Наполеон провел рукой по лицу, другую руку прижал к груди. Возможно, ему было бы лучше превратиться в ту минуту в изваяние?

Вошел генерал.

— Что?—поспешил спросить император.

Генерал с поклоном подал бумагу.

— Ваше величество!—начал он.—Вы, очевидно, по выражению моего лица уже догадались, что мне не удалось выполнить ваше поручение.

Император медленно развернул бумагу и прочел:

«Временное правительство не может принять предложения генерала Бонапарта и позволяет себе дать ему лишь один совет: уехать незамедлительно, учитывая, что пруссаки наступают на Версаль.

Герцог Отрантский».

Император прочел письмо, и ни один мускул на лице не выдал его волнения. Прекрасно владея собой, он сказал:

— Прикажете готовиться к отъезду, генерал, а когда ваши приказания будут выполнены, предупредите меня.

В тот же день в пять часов пополудни император покидал Мальмезон.

У подножки своей кареты он увидел Сарранти: тот подал ему руку, помогая подняться в экипаж.

— Кстати,—спросил Наполеон, опираясь на его надежную руку,—предупредил ли кто-нибудь генерала Брайера, что он может двигаться к Парижу?

— Нет, сир,—отвечал Сарранти,—и еще можно...

Наполеон покачал головой.

— Ах, сир,— прошептал корсиканец,— вы потеряли веру во Францию!

— Совершенно верно! — подтвердил Наполеон. — Теперь я верю только в собственный гений.

Он сел в карету, дверца за ним захлопнулась.

Лошади поскакали галопом.

Необходимо было прибыть в Версаль до пруссаков.

XXVIII

Рошфор

Третьего июля, в тот же день, как неприятель занял Париж, император прибыл в Рошфор. Во все время пути Наполеон оставался печален, но спокоен.

Говорил он мало. Судя по нескольким вырвавшимся у него словам, он непрестанно возвращался мыслями к Франции, как стрелка компаса непрестанно показывает на север; но он не получал новостей ни от жены, ни от сына.

Время от времени он брал щепоть табаку из табакерки генерала Беккера и вдруг заметил, что на крышке изображена Мария-Луиза. Он решил, что ошибся, и склонился ниже.

Генерал все понял и протянул табакерку императору.

Тот взял ее в руки, с минуту разглядывал, потом без слов вернул генералу.

Наполеон вышел у морской префектуры.

Последняя надежда — скажем больше: последняя уверенность — оставалась ему, что временное правительство передумает и отзовет его назад.

Через несколько часов после того, как он остановился в морской префектуре, прибыл курьер с письмом из правительственной комиссии, адресованном генералу Беккеру.

Император скользнул взглядом по печати, узнал ее и стал с нетерпением ждать, когда генерал распечатает письмо.

Генерал понял желание императора и поторопился.

Наполеон обменялся взглядом с Сарранти, который доставил почту.

Во взгляде корсиканца ясно читалось: «Мне нужно с вами переговорить», но мысли Наполеона витали далеко. Хотя он понял, чего хочет его земляк, он думал только о депеше.

Генерал тем временем успел ее прочесть и, видя, что императору также не терпится узнать ее содержание, не говоря ни слова, подал бумагу императору.

Судите сами, была ли она из тех, что способны укрепить надежды изгнанника, который вот-вот станет пленником.

Вот текст этой депеши:

«Господин генерал Беккер!

Правительственная комиссия передала Вам инструкции относительно отъезда из Франции Наполеона Бонапарта.

Я не сомневаюсь в Вашем усердии для успешного выполнения Вашей задачи. Дабы ее облегчить, насколько это в моих силах, я предписываю командующим Ла-Рошелю и Рошфором оказать Вам всяческую поддержку и помощь в осуществлении мер, которые Вы сами сочтете приемлемыми для исполнения приказаний правительства.

Примите, и так далее.

За военного министра

*Государственный советник, первый секретарь
Барон Мариан».*

Итак, если Наполеон Бонапарт замешкается с исполнением приказа, изгоняющего его из Франции, генерал Беккер мог отныне взять его за шиворот и вывести силой.

Наполеон уронил голову на грудь.

Прошло несколько минут. Император глубоко задумался.

Когда он снова поднял голову, генерал Беккер вышел, чтобы написать ответ комиссии. Один Сарранти продолжал стоять перед ним.

— Чего тебе? — нетерпеливо спросил император.

— В Мальмезоне я хотел спасти Францию, сир, а здесь — вас самого.

Император пожал плечами. Казалось, он полностью подчинился обстоятельствам: последнее письмо уничтожило последние его надежды.

— Спасти меня, Сарранти? — переспросил он. — Мы вернемся к этому разговору в Соединенных Штатах.

— Хорошо, но так как вы никогда не доедете в Соединенные Штаты, сир, давайте поговорим об этом здесь, если не хотите опоздать.

— Почему я не доеду в Соединенные Штаты? Кто мне помешает это сделать?

— Английская эскадра, которая через два часа блокирует Рошфорскую гавань.

— Откуда у тебя такие сведения?

— От капитана брига, который только что вернулся с рейда.

— Я могу с ним поговорить?

— Он ждет, когда ваше величество окажет ему эту честь.

— Где он?

— Здесь, государь.

Сарранти указал на дверь своей спальни.

— Пусть войдет, — приказал император.

— Прежде я хотел бы узнать, угодно ли вашему величеству говорить с ним долго и без помех?

— А разве я уже не пленник? — с горечью спросил Наполеон.

— После только что полученного сообщения никто не удивится, если вы, ваше величество, запретесь.

— Закрой дверь на задвижку и пригласи своего капитана.
Сарранти повиновался.

Заперев дверь, он ввел того, о ком докладывал императору.

Это был человек лет сорока восьми, одетый как простой моряк, без знаков отличия, которые указывали бы на его звание.

— Где же твой капитан?—спросил император у Сарранти, приготовившегося выйти.

— Я здесь, сир,— доложил вновь прибывший.

— Почему же вы не в мундире военно-морского офицера?

— Потому что я не офицер военно-морского флота, ваше величество.

— Кто же вы?

— Корсар.

Император бросил на незнакомца взгляд, не лишенный презрения. Но, взглядевшись в его лицо, сверкнул глазами и воскликнул:

— Ага! Мне кажется, я вижу вас не в первый раз.

— Совершенно верно, сир, в третий.

— А впервые это было?..

Император напряг память.

— ...впервые...— подхватил моряк, желая помочь слабеющей памяти прославленного собеседника.

— Нет, я хочу вспомнить сам,— остановил его Наполеон.— Вы—часть моих приятных воспоминаний, и мне приятно вновь оказаться в окружении добрых друзей. В первый раз я видел вас в тысяча восьмисотом году: я хотел назначить вас капитаном, а вы отказались, верно?

— Так точно, государь, я всегда отдавал предпочтение свободе.

— Во второй раз мы встретились во время моего возвращения с острова Эльба; я возвал к патриотам Франции: вы предложили мне три миллиона, и я согласился.

— Иными словами, сир, в обмен на деньги, с которыми я не знал что делать, вы дали мне акции каналов и полномочий на вырубку леса.

— Наконец, в третий раз—сегодня. Как всегда, вы явились в трудную для меня минуту. Что же вам угодно, капитан Пьер Эрбель?

Капитан вздрогнул от радости. Император помнил все, даже его имя!

— Что мне угодно, сир? Я хочу попытаться вас спасти.

— Прежде всего, скажите, какая опасность мне угрожает.

— Вас могут захватить англичане.

— Значит, Сарранти сказал мне правду? Рошфорская гавань блокирована?

— Пока нет, ваше величество. Но через час так и будет.

Император ненадолго задумался.

— С минуты на минуту мне должны доставить охранное свидетельство,—сказал он.

Эрбель покачал головой.

— Вы полагаете, я его не получу?
— Нет, государь.
— Каковы же, по-вашему, намерения монархов союзных держав?

— Захватить вас в плен, ваше величество.
— Они же все были у меня в руках, но я их отпустил и вернул им троны!
— Возможно, вы допустили ошибку, сир.
— И вы пришли предупредить меня об опасности?
— Я предоставляю в распоряжение вашего величества свою жизнь, если только она может быть вам полезна.

Император посмотрел на человека, говорившего так просто, что не оставалось никаких сомнений в его искренности.

— Я считал вас республиканцем,— заметил Наполеон.
— А я и есть республиканец, сир.
— Почему же вы не видите во мне врага?
— Потому что я прежде всего патриот. О да, сир, я глубоко сожалею, что вы, подобно Вашингтону, не предоставили нации полную свободу. Зато вы сделали Францию великой державой, вот почему я пришел вам сказать: «Будь вы счастливы и на вершине славы, государь, вы бы меня не увидели».

— Да, а когда я несчастен и лишен всего, вы, отдав мне свое состояние, пришли предложить и жизнь. Вашу руку, капитан Эрбель! За вашу преданность я могу заплатить лишь признательностью.

— Вы ее принимаете, сир?
— Да, однако что вы намерены мне предложить?
— У меня к вам три предложения, государь. Угодно ли вам отправиться в Париж по Луаре? Армия Вандеи под предводительством генерала Ламарка, а также армия Жиронды с генералом Клозелем во главе—в вашем распоряжении. Нет ничего проще, как обвинить временное правительство в измене и двинуться против него во главе двадцати пяти тысяч солдат и ста тысяч фанатично преданных вам крестьян.

— Это было бы вторым возвращением с острова Эльба, а мне бы не хотелось начинать все сначала. Кроме того, я устал, сударь. Я хочу отдохнуть и посмотреть, чем мир меня заменит, когда самого меня здесь уже не будет. Перейдем ко второму вашему предложению.

— Ваше величество! Человек, за которого я ручаюсь головой, мой помощник Пьер Берто; его корвет стоит в устье Седры. Вы сядете на коня, переправитесь через солончаковые болота, потом на фелуке выйдете через Момассонский проход, обойдете таким образом англичан и встретитесь в море с американским судном «Орел». Как видите, его название—добрый знак.

— Это бегство, сударь, словно я преступник, а я бы хотел покинуть Францию как император, сходящий с трона!.. Ваше третье предложение?

— Третий способ — наиболее рискованный, однако я за него отвечаю.

— Посмотрим.

— Два французских фрегата — «Ива» и «Медуза», — стоящие на якоре под прикрытием батарей на острове Экс, предоставлены в распоряжение вашего величества французским правительством, не так ли?

— Да, сударь, однако, если гавань блокирована?..

— Погодите, ваше величество... Я знаком с командирами этих фрегатов, это храбрые офицеры: капитан Филибер и капитан Поне.

— Что же?

— Выберите сами, на какой из этих двух фрегатов вы сядете. «Медуза», например, самая быстроходная посудина. Блокада состоит из двух кораблей: шестидесятичетырехпушечного «Беллерофона» и восьмидесятипушечного «Великолепного». Я на своем бриге буду отвлекать «Беллерофона», капитан Филибер сядет со своей «Ивой» на хвост «Великолепному». Пройдет больше часа, прежде чем они нас потопят! За это время вы пройдете на «Медузе», и не как беглец, а как победитель, под огненной триумфальной аркой.

— Чтобы я упрекал себя в гибели двух кораблей вместе с экипажами?! Никогда!

Капитан Эрбель удивленно посмотрел на Наполеона.

— А Березина, ваше величество? А Лейпциг, сир? А Ватерлоо, государь?

— Это было сделано ради Франции, а ради нее я имел право пролить кровь французов. Теперь же я сделал бы это для себя лично.

Наполеон покачал головой и еще тверже повторил:

— Никогда.

Тринадцатого числа того же месяца он обратился к принцу-регенту со знаменитым письмом, ставшим, увы, достоянием истории.

«Ваше Королевское Высочество!

Будучи мишенью заговорщиков, раздирающих мою страну, а также подвергаясь враждебным выпадам со стороны великих европейских держав, я завершил свою политическую карьеру и отправляюсь, как Фемистокл, к очагу британского народа. Я отдаю себя под покровительство его законов, которого настоятельно прошу у Вашего Королевского Высочества как у более могущественного, надежного и великодушного из моих недругов.

Наполеон».

На следующий день, 15 июля, император поднялся на борт «Беллерофона».

Пятнадцатого октября он высадился на острове Святой Елены.

Ступив на проклятый остров, он оперся на руку г-на Сарранти и шепнул ему на ухо:

— И почему я не принял предложение капитана Эрбеля?!

Конец истории капитана Эрбеля прост и много времени не займет. Как и все, кто принимал участие в возвращении 1815 года, Пьер Эрбель претерпел гонения.

Его не расстреляли, как Нея или Лабедуайера, только потому, что он не давал клятву верности Бурбонам и его преследователи не знали, какое обвинение против него выдвинуть. Но акции каналов, которые дал ему император в обмен на его деньги, обесценились; подряд на вырубку леса не был подтвержден; «Прекрасную Терезу» арестовали как контрабандное судно и конфисковали; наконец, банкир, у которого хранилось остальное состояние капитана, разорился, был вынужден объявить себя несостоятельным и заплатил десять против ста.

Пьер Берто оказался более удачлив или ловок, чем он: наученный реакцией 1814 года, он не стал дожидаться повторения и ушел на своем корвете, погрузив все свое добро.

Однако что случилось с ним и его экипажем? Никто так ничего с тех пор о нем и не слышал. Полагали, что корабль сгинул со всем экипажем и имуществом во время какого-нибудь шторма. Если так и случилось, значит, Пьер Берто умер, как и подобает моряку, и Тереза стала поминать его в молитвах, а Пьер Эрбель заказал по нему обедню; и тот, и другая рассказывали о Пьере Берто его крестнику как о замечательном человеке и втором его отце, если бы он когда-нибудь мог вернуться. Потом все успокоилось — так бывает с рекой: ее воды замутятся на время, когда в нее ворвется поток или обрушится лавина, а потом она снова неспешно несет свои волны. Так прошло три года, и когда кто-нибудь заговаривал о Пьере Берто, Эрбель со вздохом отвечал: «Бедный Пьер!» Тереза смахивала слезу и начинала молиться, а их сын говорил: «Он был моим крестным, да, папа? Я очень люблю крестного!»

И этим все было сказано.

Сверх того, Пьер Эрбель перенес собственное разорение философски. Теперь его состояние не превышало того, что он унаследовал от отца.

Когда его брат вернулся во Францию, он предложил продать ферму и разделить деньги.

Генерал Эрбель отказался, называя брата пиратом; позднее и он получил огромный куш в миллиард — вознаграждение за убытки, понесенные эмигрантами, но не предложил Пьеру половину — Пьер, разумеется, отказался бы, даже если бы и получил от него такое предложение, — и оба брата продолжали любить друг друга каждый по-своему: капитан — от всего сердца, генерал — вполне рассудочно.

Что же касается мальчика, то читатели уже в общих чертах знают, как он воспитывался.

Он вырослел.

Его послали в Париж, в один из лучших столичных колледжей. Отец и мать из экономии переехали из Сен-Мало на ферму, дававшую от тысячи двухсот до тысячи четырехсот франков дохода; на образование Петруса уходили все остальные не очень большие их деньги.

В 1820 году капитан Эрбель (ему в те времена было не больше пятидесяти лет, и он умирал от скуки, наблюдая за тем, как зарастает травой ферма) сообщил однажды мне, что один гаврский судовладелец предлагает ему отправиться в Западную Индию.

Супруги решили, что Пьеру необходимо принять участие в этом предприятии и попытаться удвоить свое состояние.

Капитан вложил в это дело тридцать тысяч франков.

Однако счастливые дни миновали! В Мексиканском заливе трехмачтовое судно попало в страшный шторм и разбилось об Алакранские скалы, не менее коварные, чем античная Скилла. Корабль затонул; капитан и самые выносливые пловцы выбрались на коралловые рифы, выступавшие из воды, уцепились за них, а на третий день несчастных моряков, умиравших от голода и разбитых усталостью, подобрал испанский корабль.

Эрбелю оставалось лишь вернуться домой. Капитан испанского судна, державший курс на Гавану, высадил его в этом порту, а там помог пересест на корабль, готовившийся к отплытию во Францию.

Старый корсар приехал домой опечаленный, с понурой головой, и никто не хотел верить, что крушение его судна могло до такой степени огорчить человека, испытавшего на себе все превратности судьбы.

Нет, не это его огорчало, но истинную причину своей печали он открыть не смел.

В последнюю ночь, которую Эрбель провел, уцепившись за риф, когда силы покидали его, живот был пуст, а в голове шумело от оглушительного рева, когда море разбивалось вокруг него о рифы, с капитаном произошло то, что недоверчивый человек назвал бы бредом, а легковерный — видением.

Около полуночи — капитан лучше других умел определять время по звездам — луна спряталась в облаках и сразу сделалось темнее; потом капитану почудился шум крыльев над головой и голос, приказавший волнам: «Уймитесь!»

Голос принадлежал морским духам.

И, как бывает в фантасмагориях, когда издали появляется силуэт сначала едва различимый, а потом становится все больше и наконец достигает нормальных размеров, капитан увидел, как к нему подходит или, точнее, плывет по волнам женщина, закутанная в вуаль, и останавливается перед ним. По всему его телу пробежала дрожь: несмотря на вуаль, он сейчас же узнал Терезу.

Но даже если бы у него и оставалось хоть малейшее сомнение, оно вскоре все равно рассеялось бы.

Подойдя к нему, женщина подняла вуаль.

Капитан хотел было крикнуть или заговорить с тенью, но она приложила палец к бескровным губам, будто приказывая ему молчать, и прошептала едва слышно, так что капитан сразу смекнул, что имеет дело не с живым существом:

— Возвращайся скорее, Пьер! Я только и жду тебя, чтобы умереть!

И, будто внезапно лишившись магической власти, поддерживавшей ее на волнах, тень медленно погрузилась в воду, сначала по шиколотку, потом по колено, по пояс, по шею и, наконец, с головой: видение исчезло... Успокоившееся на время море снова вздыбилось, закованного капитана снова обдало холодными брызгами, все вернулось на круги своя.

Эрбель обратился с расспросами к товарищам, однако те, поглощенные своими страданиями и страхом, ничего не видели: все будто происходило для одного капитана.

Видение это придало ему сил. Он решил, что не имеет права умереть, не повидавшись с Терезой, раз Тереза ждет его возвращения, чтобы проститься перед близкой кончиной.

Как мы уже сказали, на следующий день несчастных подобрало испанское судно. И по мере того, как они приближались к берегам Франции, видение это становилось все более отчетливым, ярким, осязаемым.

Наконец Эрбель высадился в Сен-Мало, где отсутствовал два с лишним года.

Первый же знакомый, которого он встретил в гавани, от него отвернулся.

Он догнал того, кто, как ему показалось, его избегал.

— Так Тереза очень больна? — спросил капитан.

— Вы, стало быть, знаете? — обернулся к нему знакомый.

— Да, — кивнул Эрбель. — Скажите же, что с ней!

— Мужайтесь, капитан!

Эрбель побледнел.

— Вчера я слышал, что она при смерти.

— Не может быть! — воскликнул капитан.

— Почему? — удивился его собеседник.

— Она сама недавно сказала, что дождется моего возвращения.

Знакомый капитана решил, что тот сошел с ума, но не успел расспросить его об этом новом несчастье: Пьер заметил другого своего знакомого, проезжавшего мимо на лошади, бросился к нему и попросил одолжить коня. Тот не стал возражать, испугавшись того, как Эрбель побледнел и изменился в лице. Капитан прыгнул в седло и пустил лошадь в галоп, а через двадцать минут уже отворял дверь в спальню жены.

Несчастная Тереза приподнялась на постели, словно чего-то ожидая. Петрус, с трудом сдерживая рыдания, стоял у ее из-

головья. Вот уже целый час он думал, что мать бредит: она всем своим существом обратилась в сторону Сен-Мало и приговаривала:

— Сейчас твой отец сходит на берег... вот он о нас справляется... теперь садится на лошадь... подъезжает к дому...

И действительно, как только умирающая произнесла последние слова, послышался топот копыт, потом дверь распахнулась, и на пороге появился капитан.

Души и тела супругов слились воедино, так что даже смерть не решалась их разлучить; слова были излишни, они просто соединились в последнем поцелуе.

Поцелуй был долгим и мучительным, а когда капитан разжал объятия, Тереза уже была мертва.

Ребенок занял в отцовском сердце место матери.

Потом могила потребовала отдать ей тело. Париж потребовал возвращения мальчика. Капитан остался один.

С этого времени Пьер Эрбель стал жить уединенно на своей ферме, предаваясь воспоминаниям о славном прошлом, о приключениях, страданиях, счастье.

Из всего его прошлого ему оставался только Петрус; мальчик мог у него просить чего угодно и немедленно получал все, что хотел.

Петрус, избалованный юноша в полном смысле этого слова, представлял собой для капитана и сына, и мать в одном лице. Петрус никогда не вел счет своему небольшому состоянию.

В течение трех лет—с 1824-го по 1827 год—ему не о чем было просить отца: вместе с известностью к нему пришли и заказы, а с ними и деньги, которых ему вполне хватало на жизнь.

Но вдруг молодой человек влюбился в прекрасную аристократку Регину, и его потребности удвоились, потом утроились. Зато заказов поубавилось.

Сначала Петрус стеснялся давать уроки и отказывался от них. Потом ему показалось унижительным и выставять свои работы у торговцев картинами: любители могли прийти и к нему, торговцы картинами могли и сами зайти в его мастерскую.

Доходы прекратились, зато расходы выросли неимоверно.

Читатели видели, на какую широкую ногу жил теперь Петрус: карета, лошадь тягловая и верховая, ливрейный лакей, редкие цветы, вольер, мастерская, обставленная фландрской мебелью, украшенная китайскими вазами и богемским стеклом.

Петрус не забыл об источнике, в котором черпал когда-то, и решил к нему вернуться. Источник был неиссякаемый—отцовское сердце.

Петрус трижды за последние полгода обращался к отцу, причем просил все большие суммы: две тысячи, потом пять, потом еще десять. И безотказно получал все, что просил.

Наконец, мучимый угрызениями совести, краснея, но не в силах устоять перед подчинившей его себе и неотразимой любовью, он в четвертый раз обратился к отцу.

На сей раз тот ответил не сразу; это объяснялось тем, что капитан сначала написал к генералу Эрбелю, результатом чего явилась уже знакомая читателю сцена, а затем сам привез ответ сыну.

Вы помните, какой урок преподавал генерал своему племяннику, когда Пьер Эрбель вышиб дверь, спустив лакея с лестницы.

Вот с этого времени мы и продолжим наш рассказ, прерванный — и читатели нас за это извинят — ради того, чтобы дать представление о достойном и прекрасном человеке, который мог показаться нам совсем в другом свете, если бы мы взяли на веру лишь те существенные, которыми награждал его генерал Эрбель, а также эпитеты, которыми он эти существенные сопроводил.

Но мы заметим, что, несмотря на свое многословие в описании морального облика капитана Пьера Эрбеля, мы совершенно упустили из виду его внешность.

Поспешим исправить этот недостаток.

XXX

Санкюлот

Капитану Пьеру Эрбелю по прозвищу Санкюлот было в те времена пятьдесят семь лет.

Это был человек невысокого роста, широкоплечий, мускулистый, с квадратной головой и курчавыми волосами, когда-то рыжеватыми, а теперь седеющими — словом, бретонский геркулес.

Его брови, более темные, чем волосы, и не тронутые сединой, придавали лицу грозный вид. Зато небесно-голубые чистые глаза и рот, открывавший в улыбке белоснежные зубы, наводили на мысль об изумительной доброте и бесконечной нежности.

Он мог быть резок и стремителен, каким мы видели его на борту судна, в Тюильрийском дворце, в гостях у сына. Но под этой резкостью, под этой стремительностью скрывались чувствительное сердце и сострадательная душа.

Он давно привык повелевать людьми в ситуациях, когда опасность не позволяла проявлять слабость, а потому и лицо у него было волевое и решительное. Лишившись «Прекрасной Терезы» и всего состояния и живя в деревне, он и там умел заставить себя слушать, да не только крестьян, живших с ним дверь в дверь, но и богатых землевладельцев, проживавших неподалеку.

Страдая от вынужденного безделья после объявления мира в Европе и не имея возможности сразиться с людьми, капитан объявил войну животным. Отдавая этому занятию всего себя, он стал страстным охотником и жалел об одном: что имеет дело не с крупными животными вроде слонов, носорогов, львов, тигров

и леопардов, а воюет с такими жалкими зверушками, как волки и кабаны.

Потеряв Терезу и находясь вдали от Петруса, капитан Эрбель почти три четверти года проводил в лесах и на песчаных равнинах, раскинувшихся на десять—двенадцать лье в округе, с ружьем на плече и в компании двух собак.

Иногда он не бывал дома неделю, полторы, две, давая о себе знать лишь повозками с дичью, которые присылал в деревню, как правило, самым нуждающимся. Таким образом, лишившись возможности раздавать нищим милостыню, он кормил их с помощью своего ружья.

Итак, капитан был в большей даже степени, чем Немврод, настоящим охотником в глазах Бога.

Однако эта страстная охота имела иногда свои неудобства.

Читателям, вероятно, известно, что законный порядок вещей таков: самый заядлый охотник вешает, как правило, над камином свое ружье, и висит оно там с февраля по сентябрь. Не то было с ружьем нашего капитана: его «леклер» — он выбрал стволы, вышедшие из мастерской знаменитого оружейника, носящего это имя, — не отдыхал никогда, гремел без перерыва по всей округе и был хорошо знаком местным жителям.

Правду сказать, все сельские полицейские, лесники и жандармы департамента знали, в каких целях капитан охотится и на что идет его добыча, а потому, заслышав выстрел в одной стороне, уходили в другую. Но уж если капитан слишком бесцеремонно вторгался в чужие владения и уводил дичь из-под носа у хозяина земельных угодий, на которых охотился, тут уж полицейский решался составить протокол и препроводить нарушителя в суд.

Как бы строго ни относился суд к нарушениям лесного закона в период Реставрации, но когда судьи узнавали, что это нарушение допустил Санкюлот Эрбель, они смягчали наказание и назначали минимальный штраф. Таким образом за сотню франков штрафа в год капитан раздавал более двух тысяч франков милостыни, кормился сам, посылал восхитительные корзины с дичью своему сыну Петрусу, делившемуся этой добычей в особенности с теми из своих братьев, кто писал натюрморты, — все это лишний раз доказывало, что браконьерство, как и добродетель, всегда вознаграждается.

Во всем остальном капитан оставался истинным сыном моря. Он не только не знал, как живут в городе, но понятия не имел и о светской жизни.

Одиночество, которое переживает моряк, потерявшийся в огромном Океане, величественное зрелище, постоянно открывающееся его взору, легкость, с которой он каждую минуту рискует жизнью, беззаботность, с какой он ждет смерти, — жизнь моряка, а потом охотника свели к минимуму его общение с людьми, и, за исключением англичан, которых капитан, сам не зная почему, считал своими естественными врагами, ко всем остальным себе

подобным — что может обсуждаться и что мы обсудим при первой же возможности — он испытывал симпатию и дружеские чувства.

Единственной трещиной в его гранитном или даже золотом сердце была незаживающая рана, причиненная смертью жены, несчастной Терезы, прелестной женщины, чистой души, беззаветно любившей своего капитана.

И вот, переступив порог мастерской и обняв Петруса, он по-отцовски его оглядел, и у него из глаз скатились две крупные слезы. Протянув руку в сторону генерала, он сказал:

— Посмотри на него, брат: он — вылитая мать!

— Возможно, ты и прав, — отозвался генерал, — но тебе бы следовало помнить, пират ты этакий, что я никогда не имел чести знать его уважаемую мать.

— Верно, — подтвердил капитан ласково, со слезой в голосе, как бывало обычно, когда он говорил о жене, — она умерла в тысяча восемьсот двадцать третьем, а мы с тобой еще были тогда в ссоре.

— Ах так?! — вскричал генерал. — Ты что же думаешь, мы сейчас помирились?

Капитан улыбнулся.

— Мне кажется, — заметил он, — что, когда два брата обнимаются, как обнялись мы после тридцатитрехлетней разлуки...

— Это ни о чем не говорит, мэтр Пьер. Ах, ты думаешь, я помирюсь с таким бандитом, как ты! Я подаю ему руку — ладно! Я его обнимаю — пускай! Но мой внутренний голос говорит: «Я тебя не прощаю, Санкюлот! Не прощаю я тебя, пират! Нет тебе прощения, разбойник!»

Капитан с улыбкой наблюдал за братом, потому что знал: в глубине души тот нежно его любит.

Когда генерал перестал браниться, он продолжал:

— Ба! Да я же на тебя не сержусь за то, что ты воевал против Франции!

— Можно подумать, что Франция была когда-нибудь гражданской Республикой или господином Бонапартом! Я воевал против тысяча семьсот девяносто третьего года, да, против восьмисот пятого, понятно, браконьер? А вовсе не против Франции!

— Не сердись, брат, — добродушно проговорил капитан. — Я всегда полагал, что это одно и то же.

— Отец всегда так думал и будет думать, — вмешался Петрус, — вы же, дядя, придерживались и будете придерживаться противоположного мнения. Не лучше ли сменить тему?

— Да, пожалуй, — согласился генерал. — Как долго ты почтишь нас своим присутствием?

— Увы, дорогой Куртений, у меня мало времени.

Сам Пьер Эрбель отказался от имени Куртениев, но продолжал называть им брата как старшего в семье.

— Как это — мало времени? — в один голос переспросили генерал и Петрус.

— Я рассчитываю отправиться в обратный путь сегодня же, дорогие мои,— отвечал капитан.

— Сегодня, отец?

— Да ты совсем рехнулся, старый пират! — подхватил генерал.— Хочешь уехать, не успев приехать?

— Это будет зависеть от моего разговора с Петрусом,— признался капитан.

— Да, и еще от какой-нибудь охоты с браконьерами департамента Иль-де-Вилен, верно?

— Нет, брат, у меня там остался старый друг, он при смерти... Он сказал, что ему будет спокойнее, если я закрою ему глаза.

— Может, он тоже тебе являлся, как и Тереза? — скептически, как обычно, заметил генерал.

— Дядюшка!.. — остановил его Петрус.

— Да, я знаю, что мой брат-пират верит в Бога и в привидения. Однако тебе, старому морскому волку, очень повезло, что если Бог и существует, то Он не видел, как ты разбойничал, иначе не было бы тебе спасения ни на этом, ни на том свете.

— Если так, брат,— ласково возразил капитан и покачал головой,— то моему несчастному другу Сюркуфу не повезло, и это лишняя причина, чтобы я к нему возвратился как можно скорее.

— А-а, так вот кто умирает: Сюркуф! — вскричал генерал.

— Увы, да,— подтвердил Пьер Эрбель.

— Одним славным разбойником будет меньше!

Пьер огорченно посмотрел на генерала.

— Что ты на меня так смотришь? — смутившись, спросил тот. Капитан покачал головой и лишь вздохнул в ответ.

— Нет, ты скажи! — продолжал настаивать генерал.— Я не люблю людей, которые молчат, когда им велено говорить.— О чем ты думаешь? Это секрет?

— Я подумал, что, когда я умру, мой старший брат помянет меня такими же словами.

— Какими? Что я такого сказал?

— Одним славным разбойником меньше...

— Отец! Отец! — прошептал Петрус.

Он повернулся к генералу и продолжал:

— Дядя! Вы недавно меня ругали, и были совершенно правы. Если теперь поругаю вас я, так уж ли я буду не прав? Отвечайте!

Генерал смущенно кашлянул, не находя что ответить.

— Неужели твой Сюркуф так плох? Черт подери! Я отлично знаю, что в нем было немало хорошего и что он был храбрец под стать Жану Барту. Только надо было ему посвятить себя какой-нибудь другой цели!

— Он служил своему народу, брат! Его целью было счастье Франции!

— Служил народу! Счастье Франции! Произнося слова «народ» и «Франция», санкюлоты считают, что этим все сказано! Спроси своего сына Петруса, этого господина аристократа,

у которого свои ливрейные лакеи и гербы на карете, есть ли во Франции что-нибудь еще, кроме народа.

Петрус покраснел до ушей.

Капитан взглянул на сына ласково и вместе с тем будто вопрошая.

Петрус молчал.

— Он тебе обо всем том расскажет, когда вы останетесь вдвоем и ты, разумеется, опять скажешь, что он прав.

Капитан покачал головой.

— Он мой единственный сын, Куртеней... И мальчик так похож на мать!..

Генерал снова не нашелся что ответить и кашлянул.

Помолчав немного, он все-таки спросил:

— Я хотел узнать, так ли плох твой друг Сюркуф, что ты даже не сможешь поужинать у меня нынче вместе с Петрусом?

— Моему другу очень плохо,— с расстроенным видом подтвердил капитан.

— Тогда другое дело,— поднимаясь, сказал генерал.— Я тебя оставляю с сыном и первый тебе скажу: немало грязного белья вам предстоит перемыть в кругу семьи! Если останешься и захочешь со мной поужинать—добро пожаловать! Если уедешь и я тебя больше не увижу—счастливого пути!

— Боюсь, мы не увидимся, брат,— молвил Пьер Эрбель.

— Тогда обними меня, старый негодяй!

Он распахнул объятия, и достойнейший капитан нежно и вместе с тем почтительно, как и подобает младшему брату, припал к его груди.

Потом, словно боясь поддаться охватившей его нежности, что было бы противно его правилам и, главное, взглядам, генерал вырвался из объятий брата и бросил племяннику:

— Нынче вечером или завтра я увижу вас у себя, не так ли, досточтимый племянник?

Генерал поспешил к лестнице и сбежал вниз с юношеской легкостью, бормоча себе под нос:

— Вот чертов пират! Неужели я так никогда и не смогу сдержать слез при виде этого разбойника!

XXXI

Отец и сын

Едва за генералом захлопнулась дверь, как Пьер Эрбель снова протянул сыну руки. Не разжимая объятий, тот увлек отца к софе, усадил его и сам сел рядом.

Вспомнив слова, вырвавшиеся напоследок у старшего брата, капитан скользнул взглядом по роскошному убранству мастерской, по гобеленам с изображением царствующих особ, по старинным сундукам эпохи Возрождения, греческим пистолетам

с серебряными приливами ствола, арабским ружьем с коралловыми инкрустациями, кинжалам в ножнах из золоченого серебра, богемскому стеклу и старинному фландрскому серебру.

Осмотр был кратким, после чего капитан перевел взгляд на сына, по-прежнему открыто и радостно ему улыбаясь.

Петрус же устыдился своей роскоши, вспомнив голые стены Планкоэской фермы и глядя на скромный костюм отца. Молодой человек опустил глаза.

— И это все, что ты можешь мне сказать?—с нежным укором спросил капитан.

— Простите меня, отец!—взмолился Петрус.— Я упрекаю себя за то, что вынудил вас бросить умирающего друга и приехать ко мне, хотя я вполне мог подождать.

— Вспомни, сынок: в своем письме ты говорил совсем другое.

— Верно, отец, извините меня. Я написал, что мне нужны деньги, но не сказал: «Бросьте все и привезите мне их сами»; я не говорил...

— Не говорил?..—повторил капитан.

— Нет, отец, нет!—обнимая его, вскричал Петрус.— Вы отлично сделали, что приехали, и я рад вас видеть.

— Знаешь, Петрус,—продолжал отец, приободрившись после жарких объятий сына,—мне необходимо было приехать: мне нужно серьезно с тобой поговорить.

У Петруса отлегло от сердца.

— А-а, я догадываюсь, отец!—сказал он.— Вы не могли исполнить мою просьбу и пожелали сказать мне об этом сами. Не будем больше об этом говорить, я потерял голову, я был не прав. Дядя все мне отлично объяснил перед вашим приездом, а теперь, когда вижу вас, я и сам понимаю, как заблуждался.

Капитан по-отечески улыбнулся и покачал головой.

— Нет, ничего ты не понимаешь.

Он вынул из кармана бумажник и положил его на стол со словами:

— Вот твои десять тысяч!

Петрус был подавлен при виде неистощимой отцовской доброты.

— Отец!—вскричал он.— Нет, ни за что!

— Почему?

— Я одумался, отец.

— Одумался, Петрус? Не понимаю...

— Дело вот в чем, отец: вот уже полгода я злоупотребляю вашей добротой, полгода вы делаете больше того, что в ваших силах; полгода я вас разоряю.

— Несчастный мальчик, ты меня разоряешь!.. Это не так уж трудно.

— Как видите, я прав, отец.

— Не ты меня разоряешь, бедный мой Петрус, а я тебя разорил!

— Отец!

— Да! — мысленно возвращаясь к прошлому, печально говорил капитан. — Я сколотил королевское состояние, или, вернее, это состояние сколотилось само собой, потому что я никогда не думал о деньгах, и ты помнишь, как это состояние рухнуло...

— Да, отец, и я горжусь нашей бедностью, когда вспоминаю о том, ради чего мы лишились богатства.

— Отдай мне справедливость в том, Петрус, что, несмотря на бедность, я никогда ничего не жалел ради твоего образования и счастья.

Петрус остановил отца.

— И даже ради моих капризов!

— Как же иначе? Я хотел, чтобы ты был счастлив, мой мальчик. Чтобы я сказал твоей матери, если бы она явилась ко мне и спросила: «Как там наш сын?»

Петрус опустил перед отцом на колени и разрыдался.

— Перестань, иначе я не смогу с тобой говорить, — растерялся Пьер Эрбель.

— Отец! — воскликнул Петрус.

— Впрочем, все, что я хотел тебе сказать, я могу отложить до другого раза.

— Нет, нет, говорите теперь же, отец...

— Мальчик мой! — начал капитан, поднявшись, чтобы освободиться из объятий Петруса. — Вот деньги, о которых ты просил. Надеюсь, ты извинишься за меня перед моим братом, не правда ли? Скажи ему, что я боялся опоздать и потому вернулся тем же дилижансом, который доставил меня сюда.

— Сядьте, отец! Дилижанс отправляется в семь часов вечера, а сейчас два часа пополудни. У вас впереди пять часов.

— Ты думаешь? — проговорил капитан, не находя что ответить.

Он машинально достал из жилетного кармана серебряные часы на стальной цепочке, доставшиеся ему от отца.

Петрус взял в руки часы и поцеловал. Много раз он еще маленьким мальчиком прислушивался с детским изумлением к тому, как тикает эта семейная реликвия!

Он устыдился золотой цепочки на шее, часов с бриллиантовым гербом, подвешенных на этой цепочке и покоившихся в нагрудном кармане.

— Ах, любимые мои часы! — прошептал Петрус, целуя старые серебряные часы отца.

Капитан не понял.

— Подарить их тебе? — предложил он.

— Часы, отмерявшие время ваших сражений и побед, часы, всегда стучавшие, как и ваше сердце, одинаково ровно в минуты опасности и в минуты покоя! — вскричал Петрус. — Нет, отец, я не могу их взять!

— Ты забыл упомянуть о том, что они отметили еще два важнейших момента моей жизни, Петрус: твое рождение и смерть твоей матери.

— Они отметят сегодня и третий важнейший для меня и для вас момент, отец: мою неблагодарность, в которой я сознаюсь и прошу меня простить.

— За что простить, дорогой?

— Отец! Признайтесь, что ради удовольствия привезти мне эти десять тысяч франков вам пришлось пойти на огромные жертвы.

— Я продал ферму, и только, потому я и задержался.

— Продали ферму? — не поверил Петрус.

— Ну да... Знаешь, она была слишком велика для меня одного. Если бы твоя бедная мать была жива или ты жил бы со мной, тогда другое дело.

— Вы продали ферму, принадлежавшую когда-то моей матери?

— Вот именно, Петрус. Она принадлежала твоей матери — значит, она твоя.

— Отец! — вскричал Петрус.

— Я-то свое добро пустил, как безумец, по ветру... Поэтому я и приехал! Петрус, ты меня поймешь: я, старый эгоист, продал ферму за двадцать пять тысяч.

— Да она стоила все пятьдесят!

— Ты забываешь, что я уже заложил ее за двадцать пять тысяч, которые выслал тебе до того.

Петрус закрыл лицо руками.

— Ну вот... Я приехал спросить, могу ли я оставить себе пятнадцать тысяч.

Петрус выглядел совершенно растерянным.

— На время, разумеется, — продолжал капитан. — Если позднее они тебе понадобятся, ты вправе потребовать их у меня.

Петрус поднял голову.

— Продолжайте, отец, — попросил он.

А шепотом прибавил:

— Это мне в наказание!

— Вот каков мой план, — говорил тем временем капитан. — Я куплю или сниму хижину в лесу... Ты же знаешь, как я живу, Петрус. Я старый охотник, привык к своим ружьям, к собаке. Я стану охотиться с утра до ночи. Жаль, что ты не любишь охоту! Ты бы меня навестил, мы бы вместе поохотились...

— Я вас навещу, отец, навещу, не беспокойтесь.

— Правда?

— Обещаю.

— Понимаешь ли, есть еще одна причина... Для меня охота важна, во-первых, тем, что я получаю удовольствие, а во-вторых,

ты даже не представляешь, скольких людей я кормлю своим промыслом.

— До чего вы добры, отец! — восхитился Петрус.

А вполголоса прибавил:

— Как вы великодушны!

И воздел глаза и руки к небу.

— Погоди, — остановил его капитан. — Скоро наступит время, когда без твоей помощи мне не обойтись.

— Говорите, говорите, отец.

— Мне пятьдесят семь лет. Взгляд у меня пока острый, рука твердая, я крепко стою на ногах. Однако я уже вступил в такую пору, когда жизнь идет под уклон. Через год, два, десять лет зрение мое может ослабеть, рука тоже, а ноги будут подкашиваться. И вот в одно прекрасное утро к тебе придет старик и скажет: «Это я, Петрус, больше я ни на что не гожусь! Не найдется ли у тебя места для старого отца? Он всю жизнь прожил вдали от того, кого любил, и не хочет умереть так же, как жил».

— Ах, отец, отец! — разрыдался Петрус. — Неужели ферма в самом деле продана?

— Да, дружок: утром третьего дня.

— Кому, о Господи?

— Господин Пейра, нотариус, мне этого не сказал. Понимаешь, мне важно было получить деньги. Я взял десять тысяч франков и приехал.

— Отец! — поднимаясь, проговорил Петрус. — Мне необходимо знать, кому вы продали ферму моей матери.

В эту минуту дверь в мастерскую отворилась и лакей Петруса с опаской ступил на порог, держа в руке письмо.

— Оставь меня в покое! — крикнул Петрус, вырывая у него письмо. — Я никого не принимаю.

Он собирался швырнуть письмо на стол, как вдруг в глаза ему бросился штамп Сен-Мало.

Надпись на конверте гласила:

Господину виконту Петрусу Эрбелю де Куртенею.

Он торопливо распечатал письмо.

Оно было от нотариуса, у которого капитан, как он сам только что сказал, оформил продажу фермы.

Петрус покачал головой, пытаясь прийти в себя после усыпанного, и стал читать:

«Господин виконт!

Ваш отец, делавший у меня различные заемы на общую сумму в двадцать пять тысяч франков, пришел ко мне третьего дня, чтобы продать свою ферму за двадцать пять тысяч, уже заложенную под вышеуказанную сумму.

Он сказал, что эти двадцать пять тысяч также предназначаются Вам, как и предыдущая сумма.

Я подумал — простите меня, г-н виконт, если я ошибаюсь, — что Вы, возможно, не знаете, на какие жертвы идет ради Вас отец и что эта последняя жертва окончательно его разорила.

Я решил, что обязан как нотариус Вашей семьи и друг Вашего отца в течение последних тридцати лет сделать следующее: во-первых, передать ему двадцать пять тысяч, о которых он меня просит, но не продавать пока ферму; во-вторых, предупредить Вас о том, как расстроены дела Вашего отца; я уверен, что Вы об этом просто не знаете, а как только Вам станет это известно, Вы, вместо того чтобы окончательно потерять отцовское состояние, попытаетесь его восстановить.

Если Вы оставите себе двадцать пять тысяч франков, ферму придется продать.

Однако, если же Вы не испытываете в этой сумме настоящей нужды и можете повременить или вовсе отложить дело, на которое Вам понадобились эти деньги, если Вы так или иначе можете в течение недели вернуть вышеозначенную сумму мне, Ваш высокоуважаемый отец останется владельцем фермы и Вы избавите его тем самым от большого, как мне представляется, горя.

Не знаю, как Вы расцените мою просьбу, однако сам я полагаю, что поступил как честный человек и друг.

Примите, и так далее

*Пейра,
нотариус Сен-Мало».*

Письмо сопровождалось сложным росчерком, которые так любили провинциальные нотариусы двадцать пять лет тому назад.

Петрус облегченно вздохнул и поднес к губам письмо достойнейшего нотариуса, который, уж конечно, никак не рассчитывал на такую честь.

Обернувшись к капитану, Петрус сказал:

— Отец! Я отправляюсь с вами нынче вечером в Сен-Мало.

Капитан радостно вскрикнул, но сейчас же спохватился и обеспокоенно спросил:

— Зачем тебе понадобилось ехать в Сен-Мало?

— Просто так... Хочу проводить вас, отец... Когда я вас увидел, то подумал, что вы погостите у меня несколько дней. Раз вы не можете остаться, значит, я сам съезжу ненадолго к вам.

И действительно, в тот же вечер, написав два письма — Регине и Сальватору — и пригласив отца отужинать (не у генерала, чьи упреки или насмешки могли ранить его измученную душу, а в ресторане, где, сидя за маленьким столом, они провели несколько удивительных минут), Петрус сел вместе с отцом в карету и отправился из Парижа в Сен-Мало, еще более укрепившись в принятом решении.

Душевные невзгоды, отягощенные материальными
трудностями

На что же решился Петрус?
Возможно, мы об этом узнаем из писем, которые он написал.
Начнем с того из них, что адресовано на бульвар Инвалидов.

«Любимая Регина!

Простите, что я на несколько дней покидаю Париж, не увидевшись с Вами, ничего Вам не сообщив ни в письме, ни лично о своем отъезде. Неожиданное событие, в котором, впрочем, нет ничего страшного, уверяю Вас, вынуждает меня сопровождать отца в Сен-Мало.

Позвольте Вам сказать, дабы полностью Вас успокоить: то, что я гордо назвал событием, в действительности всего-навсего денежное дело.

Но оно затрагивает интересы — простите мне это кощунство и извините, что я так говорю! — человека, которого я люблю после Вас больше всех на свете: моего отца.

Я говорю об этом шепотом, Регина, опасаясь, как бы меня не услышал Господь и не наказал за то, что я люблю Вас больше того, кому обязан своей первой любовью.

Если Вам так же необходимо сказать мне о своей любви, как мне — о ней услышать, и если Вы хотите не заставить меня забыть, но помочь мне пережить Ваше отсутствие, написав одно из тех писем, в которые Вы так трогательно умеете вкладывать часть своей души, напишите мне до востребования в Сен-Мало, но не позднее завтрашнего дня. Я намерен отсутствовать ровно столько времени, сколько необходимо на дорогу и призывающее меня туда дело — иными словами, не более шести дней.

Постарайтесь сделать так, чтобы по возвращении я нашел ожидающее меня письмо. Если бы Вы знали, как мне это необходимо!

До свидания, любимая! Вас покидает лишь моя земная оболочка, зато сердцем, душой, мыслями — всем, чем человек способен любить, — я с Вами.

Петрус».

А вот что он сообщил Сальватору:

«Друг мой!

Прошу Вас отнестись к моей просьбе так, словно это завещание Вашего умирающего отца: исполните ее слепо, не рассуждая, умоляю Вас об этом.

По получении моего письма возьмите оценщика и отправляйтесь ко мне. Прикажете описать моих лошадей, оружие, карету, картины, мебель, ковры — словом, все, что у меня есть. Оставьте мне лишь самое необходимое.

Когда опись будет готова, оцените каждую вещь.

Затем прикажите расклеить объявления, а также дайте объявление в газеты — думаю, это входит в компетенцию Жана Робера, — сообщите о распродаже мебели из художественной мастерской.

Назначьте распродажу на шестнадцатое число текущего месяца, чтобы любители успели осмотреть все на месте.

Постарайтесь найти такого оценщика, который бы разбирался в предметах искусства и правильно их оценил.

Я бы хотел получить за движимое имущество не меньше тридцати пяти тысяч франков.

Искренне Ваш, мой дорогой Сальватор.

Ex imo corde¹.

Петрус.

P. S.— Расплатитесь с моим лакеем и отпустите его».

Петрус знал Сальватора: он не сомневался, что к его возвращению все будет в точности исполнено.

И действительно, когда он приехал домой на шестой день после своего отъезда, на двери он увидел объявление, а на лестнице — снующих вверх и вниз любопытных.

У него сжалось сердце.

Ему не хватило смелости войти в мастерскую. Небольшой коридор вел прямо к нему в спальню. Он отправился туда, заперся, тяжело вздохнул, сел и спрятал лицо в ладонях.

Петрус был доволен собой и гордился принятым решением, но это далось ему не без борьбы и сожалений.

Читатели догадались, зачем Петрус ездил в Сен-Мало и зачем он вернулся.

В Сен-Мало он побывал, дабы воспрепятствовать тому, чтобы ферма его изумительного и самоотверженного отца не ушла из рук капитана; он хотел обеспечить пристанище на закате дней тому, кому был обязан жизнью. Сделать это оказалось нетрудно, так что старик ни о чем и не догадался: нотариус разорвал составленный было акт, Петрус попрощался с отцом, и тот поспешил к постели умирающего друга.

Потом Петрус прибыл в Париж, чтобы уладить вторую — более трудную и, признаться, болезненную — часть дела; молодой человек решил, как мы видели, продать лошадей, экипаж, мебель, картины, японские вазы, фландрские сундуки, оружие и ковры, чтобы расплатиться с долгами, а потом так же прилежно снова взяться за работу, как ученик школы изящных искусств готовится к Большому римскому конкурсу.

Разумеется, отказываясь от безумных расходов и в особенности проводя за работой время, которое раньше он тратил даже не на то, чтобы увидеть, а чтобы попытаться увидеть Регину, Петрус надеялся скоро поправить свое положение. Тогда он смог

¹ Сердечно Ваш (латин.).

бы помогать отцу, а не отец был бы вынужден снимать с себя последнюю рубашку, ради того чтобы оплатить безумную роскошь своего сына.

Несомненно, все это было правильно, честно, разумно. Но нет ничего труднее, чем следовать правильному, честному и разумному пути. Вот почему в большинстве случаев ему и не следуют. В самом деле, продать все эти радующие глаз роскошные безделушки, к которым уже успел привязаться, и вновь оказаться в четырех голых стенах — да разве такое сделаешь ради забавы? Нет, положение казалось удручающим, и выйти из него возможно было лишь таким вот мучительным способом.

Бедность сама по себе ничуть не пугала Петруса. Сдержанный от природы и весьма бережливый, он вполне умел обходиться пятью франками в день. Не будь в его жизни Регины, он и не думал бы о богатстве. Разве не был он наделен тремя величайшими дарами: талантом, молодостью и любовью?

Но именно его любовь, то есть то, чем жила его душа, могла оказаться раздавлена бедностью.

Увы! Женщина, готовая ради нашего удовольствия броситься в огонь, поставить на карту свою жизнь и доброе имя и прийти — подобно Джульетте к Ромео, ожидающему под балконом, в сад и одарить его ночным и мимолетным поцелуем, — зачастую не согласится вложить свою аристократическую ручку в нашу руку в дешевой перчатке.

И потом, попробуйте-ка побегать по грязной мостовой за каретой, увозящей вашу возлюбленную, постойте на одной из аллей Булонского леса в ожидании встречи с ней, если еще накануне видели, как она садилась на великолепного скакуна из конюшен Дрейка или Кремье!

Кроме того, бедность наводит тоску, обесцвечивает даже самые свежие и здоровые лица. Бедняк словно носит на лбу отпечаток вчерашних забот и бессонной ночи.

Все, что мы сказали, философу могло бы показаться наивным, несерьезным, смешным, но эта мучительная мысль, что нельзя отныне приехать в собственной двухместной карете или легком двухколесном экипаже на вечер, куда Регина прибыла в своей коляске; что невозможно встретиться с ней во время верховой прогулки по внешним бульварам, где он увидел ее впервые, или на дорожках Булонского леса, где она бывала ежедневно, — мысль эта, вопреки всем философам Земного шара, наполняла сердце Петруса печалью. По правде говоря, философы не понимают любви, а доказательством служит то, что, как только влюбляются, они перестают быть философами.

Далее, как принять подобающий вид в гостиных Сен-Жерменского предместья: там встречают колкостями бедных дворян, а Петрус был там принят не как талантливый художник, а именно как дворянин старинного рода? Сен-Жерменское предместье

прощает дворянину талант при одном условии: если он не зарабатывает талантом на жизнь.

Несомненно, помимо бульвара, где Петрус встречался с Региной, помимо Булонского леса, где он видел ее мельком, он мог время от времени бывать у нее. Но встречи в свете служили предлогом его визитов, и потом, у нее Петрус не только не мог бывать часто, но и почти не оставался с ней наедине: они виделись в присутствии то г-на де Ламот-Гудана, то маркизы де Латурнель, всегда — Пчелки, изредка — г-на Рапта. Граф Рапт наблюдал за ним исподлобья, и взгляд его всякий раз выражал следующее: «Я знаю, что вы мой смертельный враг; я знаю, что вы любите мою жену; однако держите себя в руках, я слежу за вами обоими».

— Да, черт возьми! Да, ваш самый страшный, смертельный, беспощадный враг, господин Рапт!

Целых полгода Петрусу сопутствовала удача, он наслаждался роскошью и получал разнообразные удовольствия, предоставляемые богатством, как вдруг приходилось от всего отказаться.

Повторяем: он оказался в удручающем положении.

О, Бедность, Бедность! Сколько готовых распуститься сердце ты скосила? Сколько уже распустившихся цветов души ты сбила и разметала по ветру! О, Бедность, мрачная богиня! У тебя дыхание и коса смерти!

Правда, Регина была необыкновенная женщина... Может быть!..

Знаете, что происходит с путешественником, заблудившимся в катакомбах? Разбитый усталостью, он садится на чье-то надгробие и, обливаясь потом, тревожно всматривается и вслушивается, не мелькнет ли свет, не донесется ли какой-нибудь звук: ему чудится свет, звук, он встает и говорит: «Может быть!»

Так было и с Петрусом: он только что заметил, как мелькнул огонек в конце темного подземелья.

— Может быть!.. — в свою очередь, сказал он. — Отбросим ложный стыд! В первый же раз, как я ее увижу, обо всем ей расскажу: и о своем глупом тщеславии, и о взятом в долг богатстве. Довольно гордыни! Для меня теперь одна слава, одна радость: трудиться ради нее и положить к ее ногам успех. Она женщина необыкновенная и, может быть... может быть, полюбит меня за это еще сильнее.

О, прекрасная юность, в которую надежда входит, словно луч света сквозь хрусталь! О, прелестная пташка, что поет о страдании, когда не может больше петь о любви!

Очевидно, Петрус сказал себе, принимая это решение, еще много такого, чего мы не станем здесь повторять. Скажем лишь, что, рассуждая таким вот образом вслух, он сбросил дорожный костюм, выбрал элегантный костюм для утренних приемов и поспешно оделся.

Потом, не заходя в мастерскую, откуда доносился топот сапог и разговор посетителей, он спустился по лестнице, оставил

у привратника ключ от спальни, а тот протянул Петрусу небольшой конверт. Молодой человек с первого взгляда узнал дядюшкин почерк.

Дядя приглашал Петруса поужинать, как только тот вернется в Париж. Вероятно, генерал хотел знать, пошел ли его урок впрок.

Петрус сейчас же послал привратника в особняк Куртенеев передать дяде, что племянник вернулся и будет иметь честь навестить генерала ровно в шесть часов вечера.

XXXIII

Песнь радости

Мы не объяснили, ни зачем Петрус оделся, ни куда он направился, однако читатель, должно быть, обо всем догадался.

Петрус спустился по лестнице, словно на крыльях, зашел, как мы сказали, к привратнику, спросил, нет ли для него других писем, кроме дядиного, машинально взглянул на несколько конвертов, которые ему были поданы, и, не увидев желанного почерка, отмахнулся от писем. Потом вынул из кармана изящный надушенный конверт, надписанный мелким почерком, поднес письмо к губам и шагнул за порог.

Это письмо он получил от Регины в Сен-Мало.

Двое влюбленных писали друг к другу ежедневно: Петрус посылал письма на имя Манон, а Регина направляла свои послания непосредственно Петрусу.

Регина черпала в своем исключительном положении силы, помогавшие ей переносить разлуку с любимым.

Однако Петрус сам предложил ей не писать к нему во время его отсутствия: затерявшееся или перехваченное письмо могло погубить их обоих.

Молодой человек хранил письма Регины в небольшом металлическом сейфе великолепной работы, запиравшемся в сундуке.

Само собой разумеется, сундук был исключен из будущей распродажи: это была святыня. Петрус, как и положено в таких случаях, относился к нему с благоговением и продавать его считал святотатством.

Если бы человек занимал одну и ту же квартиру с той же мебелью начиная с двадцатилетнего возраста и до пятидесяти лет, он мог бы по этой мебели восстановить историю своей жизни в мельчайших подробностях. К сожалению, человек испытывает время от времени потребность сменить квартиру и обновить обстановку.

Заметим, что Петрус никогда не расставался с ключом от заветного сундука: он носил его на шее, на золотой цепочке.

Кроме того, слесарь, чинивший однажды этот замок, утверждал, что даже самый ловкий взломщик лишь понапрасну станет терять время, если попытается его отпереть.

С этой стороны Петрус мог быть спокоен.

Но как французские короли ожидают на ступенях подвала Сен-Дени, когда их наследник придет им на смену, так и письмо Регины ожидало на груди Петруса, пока следующее послание займет его место. Тогда первое письмо отправлялось к своим собратям в железный сейф, открывавшийся, когда Петрус бывал в Париже, ежедневно, получая новый вклад, то есть послание, пришедшее накануне.

Еще раз поцеловав и спрятав конверт в карман, Петрус проворно скакнул за порог, поспешил на улицу Нотр-Дам-де-Шан, потом на улицу Шеврез и вышел на внешний бульвар.

Нужно ли говорить о цели его пути?

Петрус тем же пружинистым шагом пошел по бульвару Инвалидов и остановился лишь за несколько шагов до решетки, за которой был расположен особняк маршала де Ламот-Гудана.

Окинув взглядом бульвар и убедившись, что гуляющих почти нет, Петрус осмелился подойти к решетке поближе.

Он ничего не увидел, и его, как ему показалось, никто не заметил; он прошелся немного назад и, прислонившись спиной к огромной липе, поднял глаза на окна Регины.

Увы! Солнце било прямо в окна, и ставни были закрыты; однако он был уверен: прежде чем стемнеет, один или другой ставень непременно приподнимется и за ним покажется возлюбленная, с которой он был разлучен целую вечность.

Однако ему не давали покоя разнообразные вопросы.

Что она делает в настоящую минуту? Она у себя? Думает ли она о нем, когда он совсем рядом?

Обычно бульвар Инвалидов безлюден, но и по нему время от времени случается пройти сбившемуся с пути прохожему.

Один из таких прохожих показался недалеко от Петруса.

Петрус оставил дерево и пошел дальше.

Он уже давно изучил все необходимые марши и контрмарши, чтобы избежать взгляды прохожих или расспросы соседей.

Он снова двинулся пружинящей походкой навстречу прохожему, торопившемуся по своим делам.

Иногда Регина не могла показаться в окне, предаваясь этой игре, этому мимическому телеграфу, выдуманному влюбленными задолго до того, как правительства догадались сделать из него средство политического сообщения; когда она была почти уверена, что Петрус здесь, в окне мелькали то конец шарфа, то локон; Регина роняла в щель между планками жалюзи либо веер, либо платок, а иногда цветок.

Петрус бывал особенно рад цветку, ведь это означало: «Приходи нынче вечером, дорогой Петрус! Надеюсь, мы сможем увидеться ненадолго».

Случалось и так, что он не видел ни шарфа, ни волос, ни платка, ни веера, ни цветка. Но, не видя Регину, он слышал ее голос: она отдавала приказание слуге; иногда доносился звук поцелуя: она целовала в лоб малышку Пчелку — этот сладкий поцелуй эхом отдавался в сердце молодого человека.

Но счастливейшие часы для Петруса наступали с приближением вечера, даже когда у него не было надежды увидеться с Региной.

Независимо от того, роняла девушка цветок, означавший свидание, или нет, с наступлением сумерек Петрус приходил и становился под деревом. У него было свое любимое место, откуда видно было лучше, зато он сам не бросался в глаза.

Стоя там, он шарил взглядом по всему фасаду дома, предаваясь нежнейшим мечтаниям и восхитительному созерцанию. Регина даже не подозревала о его присутствии: если бы она знала, что Петрус здесь, она бы придумала, как отворить окно и послать ему в свете луны или мерцании звезды вполне им заслуженный поцелуй.

Но нет, в такие ночи, когда Петрусу ничто не было обещано, он не просил даже поцелуя, слова, взгляда.

Когда он встречался с Региной, он ни в коем случае не говорил ей: «Все свое время, любимая, я провожу рядом с вами». Нет, он боялся смутить покой молодой женщины во время ее целомудренного сна.

И он хранил в сердце тайну о своих ночных прогулках и был счастлив тем, что не спит в те часы, когда Регина отдыхает, сродни тому, как бывает счастлива мать, глядя на спящее дитя.

Один Бог знает и мог бы сказать, что такое чистая радость, так как в человеческом языке не хватает слов, чтобы выразить тайное блаженство, — что такое чистая радость, трепетные волнения в душе двадцатипятилетнего мужчины, когда он предается мечтам и молчаливому созерцанию под окнами любимой. Тогда небо, воздух, земля — все принадлежит влюбленному. И не только земля, которую он попирает, но все миры, вращающиеся у него над головой, в его власти. Вырвавшись из пут материи, его душа, словно белая звезда, сияет в чистом эфире между Богом и людьми.

Но краток миг, когда ангелы возносят душу влюбленного на своих белоснежных крыльях; наступает минута, когда ей снова хочется воспарить, но не тут-то было: не пускает телесная оболочка, отяжелевшая под спудом прожитых лет, и душа, едва успев подняться, разбивается о землю.

Но вернемся к Петрусу. Как только прохожий исчез из виду, молодой человек возвратился на прежнее место.

Душа его витала вместе с ангелами.

А тем временем ставни оставались совершенно неподвижны. Текли секунды, минуты, часы; очевидно, Петрус опоздал. Регина уехала.

Впрочем, беда была невелика: находилась она дома или отсутствовала — Петрус мысленно не переставал с ней разговаривать. Он рассказывал ей долгую историю своих бед. Безумец! Он думал: чтобы ей понравиться, надо было представляться не тем, кем он был в действительности, выставлять напоказ материальную роскошь, а не великолепие таланта. Он представлял, как Регина, слушая его, рассмеется, пожмет плечами, назовет его глупым мальчишкой! Она проведет своей изящной белой ручкой по его вихрам, окинет его сияющим взглядом и скажет: «Еще! Еще!» — и он, потешаясь над собственными недавними страхами, расскажет все: и о приезде отца, и об истории с фермой. Но вот Регина перестала смеяться, она плачет и говорит ему сквозь слезы: «Трудись, Петрус, стань гениальным художником. Обещаю, что для меня будет важно, как твоя рука умеет держать кисть, а не какая на этой руке перчатка. Трудись, и когда я не встречу тебя в Булонском лесу на твоём сером в яблоках скакуне с черным хвостом и гривой, с глазами и ногами газели, словно созданными для погони, я скажу себе: «Мой Ван-Дейк работает и готовится пожать славу на будущей выставке. Трудись, любимый, и стань гениальным художником!»

Так думал Петрус, как вдруг до него донесся стук кареты, подъезжавшей со стороны Инвалидов.

Он обернулся: это Регина возвращалась в обществе маркизы де Латурнель и маршала де Ламот-Гудана.

Петрус в другой раз пошел прочь, переходя от дерева к дереву, так что если его и заметили, то узнать могла бы только Регина.

Он не смел повернуть головы.

Ворота с грохотом распахнулись, потом снова захлопнулись, огромный ключ проскрежетал в замке.

Только тогда Петрус обернулся: коляска въехала во двор.

На Инвалидах часы пробили половину шестого.

Дядюшка ужинал ровно в шесть: у Петруса было еще около двадцати минут.

Он не стал терять времени даром и занял привычное место для наблюдения.

Он говорил себе, что Регина могла бы сразу после возвращения подняться в свою комнату и подойти к ставню. Это заняло бы всего несколько минут, стоило лишь дожидаться удобного случая или найти подходящий предлог. Да видела ли она его? Как помнят читатели, Петрус не посмел обернуться.

Часы на Инвалидах прозвонили три четверти шестого.

Не успел еще отзвучать последний удар часов, как ставень отодвинулся и в окне показалась сначала белокурая Пчелка.

Но Пчелка всегда была вестником Регины, как Иоанн — предтечей Христа: позади девочки появилась молодая женщина.

Петрус прочел в ее взгляде, что она знала: он здесь.

Но как долго он тут находился? Петрус совершенно позабыл о времени и сам бы не мог этого сказать.

Взгляд Регины ясно говорил: «Я уезжала не по своей воле; я знала, что ты придешь, и ждала тебя. Прости, я не могла вернуться раньше, однако вот и я...»

Регина улыбнулась и будто продолжала: «Не волнуйся, любимый, за ожидание тебя ждет награда: я приготовила тебе сюрприз».

Петрус умоляюще сложил руки на груди.

Что еще за сюрприз?

Регина продолжала улыбаться.

Петрус позабыл о времени, об ужине у дяди, о том, что дядюшка, подобно Людовику XIV, приходит в бешенство, когда его заставляли ждать.

Наконец Регина вынула розу из белокурых Пчелкиных волос, поднесла ее к губам и уронила вместе с поцелуем, а затем прикрыла ставень.

Петрус радостно вскрикнул: он увидит Регину вечером!

Когда ставень захлопнулся, он мысленно послал миллион поцелуев за один, полученный от любимой, и только тогда вспомнил о дяде. Он вынул часы и посмотрел на циферблат.

Было без пяти минут шесть!

Петрус полетел стрелой на улицу Плюмэ.

Профессиональный бегун добежал бы от особняка Ламот-Гуданов до особняка Куртенева за десять минут: Петрус уложился в семь.

Генерал Эрбель был настолько любезен, что подождал племянника две минуты. Однако, потеряв терпение, он сел за стол в одиночестве, как вдруг дважды брякнул колокольчик, предупреждая о приходе запоздавшего сотрапезника.

Генерал уже доедал раковый суп.

При виде племянника он грозно сдвинул брови, словно разбушевавшийся олимпийский бог, и австриец Франц, горячо любивший Петруса, шепотом стал за него молиться.

Но лицо генерала сейчас же просветлело: племянник выглядел довольно жалко.

Петрус обливался потом.

— Ах, черт побери! — заметил генерал. — Тебе бы следовало постоять в передней, чтобы с тебя стекла вода, мой мальчик: ты намочишь стул.

Петрус встретил дядину остроту улыбкой.

В эту минуту генерал мог изрыгнуть на него все молнии преисподней: у Петруса на душе пели райские птицы.

Он поцеловал дядину руку и сел напротив.

Весна — молодость года! Молодость — весна жизни!

В девять часов Петрус простился с дядей и снова отправился на улицу Нотр-Дам-де-Шан.

Перед тем как подняться к себе, он поднял голову и взглянул на окна мастерской, которая через пять дней должна была опустеть. Петрус увидел свет.

— Жан Робер или Людовик, — прошептал он.

Он кивнул привратнику, что означало: «Я не беру ключ, потому что меня ждут» — и прошел к себе.

Молодой человек не ошибся: его ожидал Жан Робер.

Как только Петрус появился на пороге, Жан Робер бросился к нему в объятия с криком:

— Успех, дорогой Петрус! Успех!

— Какой успех? — не понял тот.

— И не просто успех — орация! — продолжал Жан Робер.

— О чем ты? Говори же! — улыбнулся Петрус. — Я с удовольствием присоединюсь и разделю твою радость.

— Как — какой успех? Как — какая орация? Ты разве забыл, что нынче утром я читал актерам Порт-Сен-Мартен свою новую пьесу?..

— Я не забыл, а не знал. Итак, значит, успех полный?

— Несомненный, друг мой! Они словно обезумели. Во втором акте Данте встал и подошел пожать мне руку, а в третьем Беатриче меня поцеловала — как ты знаешь, роль Беатриче исполняет сама Дорваль! Когда же я окончил чтение, все актеры, директор, постановщик, суфлер — бросились мне на шею.

— Bravo, дорогой мой!

— Я пришел поделиться с тобой своей радостью.

— Спасибо! Твой успех меня очень радует, но совсем не удивляет. Мы с Людовиком предсказали, что так и будет.

И Петрус вздохнул.

Зайдя в мастерскую, где он не был уже несколько дней, и оказавшись в окружении произведений искусства, собранных с огромным трудом, Петрус вспомнил, что скоро со всем этим расстанется, и, видя как радуется Жан Робер, не смог подавить вздох.

— Вот как? — вскричал Жан Робер. — Не очень-то ты весел, вернувшись из Сен-Мало! Дорогой друг! Теперь мой черед спросить: «В чем дело?»

— А я вслед за тобой повторю: «Разве ты забыл?»

— О чем?

— Снова увидев все эти предметы, безделушки, мебель, сундуки, с которыми мне придется расстаться, я должен сказать, что мне изменяет мужество, а сердце обливается кровью.

— Тебе придется с этим расстаться, говоришь?

— Разумеется.

— Ты хочешь сдать свою квартиру вместе с обстановкой или намерен отправиться в путешествие?

— Неужели ты не знаешь?

— Чего?

— Сальватор тебе не сказал?

— Нет.

— Ну и отлично, поговорим о твоей пьесе!

— Нет, черт возьми! Поговорим о том, почему ты вздыхаешь. Тогда никто не скажет, что я веселюсь, когда тебе грустно.

— Дорогой мой! В ближайшее воскресенье все это пойдет с молотка.

— С молотка?

— Да.

— Ты продаешь свою мебель?

— Ах, дорогой друг! Если бы это была моя мебель, я бы ее не продавал.

— Не понимаю.

— Она станет моей после того, как я ее оплачу. Вот я ее и продаю, чтобы оплатить.

— Понимаю...

— Ничего ты не понимаешь!

— Тогда объясни.

— По правде говоря, мне неловко рассказывать своему лучшему другу о собственных слабостях.

— Продолжай! Да продолжай же!

— Дело в том, дорогой мой, что я едва не разорил отца.

— Ты?

— Да, моего славного и благородного отца! Я вовремя остановился, друг мой. Еще месяц — и было бы слишком поздно.

— Петрус, дорогой друг! У меня в ящике три билета, подписанных «Гара»¹; одна из подписей не только самых разборчивых, но и уважаемых из всех мне известных. Само собой разумеется, что билеты в вашем распоряжении.

Петрус пожал плечами и, поблагодарив друга, спросил:

— Как твое путешествие?

— Прежде всего, дорогой Петрус, мне было бы грустно путешествовать, зная, что тебе невесело. Кроме того, у меня репетиции, представление.

— И еще кое-что, — со смехом подхватил Петрус.

— О чем ты? — не понял Жан Робер.

¹ Доминик Жозеф Гара — французский политический деятель (1749—1833). Адвокат, избранный от третьего сословия в Генеральные штаты (1789 г.), сменил Дантона на посту министра юстиции (ноябрь 1792 г.), затем был избран министром внутренних дел (март 1793 г.). Обвиненный в модерантизме, он был спасен Робеспьером, которого, однако, предал 8—9 термидора. Сенатор и граф при Наполеоне I, он был избран во Французскую академию (1806 г.), однако исключен в период Реставрации.

— Разве на улице Лаффит все кончено?

— Ах, великий Боже! Почему же кончено? Это все равно что я спросил бы: «На бульваре Инвалидов все кончено?»

— Молчи, Жан!

— Ты меня озадачил! Отказываешься от моих трех тысяч франков, потому что не знаешь, что с ними делать!

— Дорогой мой! Я отказываюсь вовсе не потому, хотя отчасти ты и прав: тысячи экю мне не хватит.

— Послушай! Ты подмажь этими деньгами самых крикливых кредиторов, уговори их подождать до моего представления; на следующий день мы сходим к Поршеру, и у нас будет десять, пятнадцать тысяч франков, раз уж так надо, и без всяких процентов.

— Кто такой Поршер, друг мой?

— Единственный в своем роде человек, Ювеналова *ga ga avis*¹, кормилец всех литераторов, истинный министр культуры, которому Провидение поручило раздавать премии и награды за талант. Хочешь, я скажу ему, что мы вместе пишем пьесу? Он одолжит тебе под нее десять тысяч.

— Ты с ума сошел! Разве я сочиняю пьесы?

— Ты не настолько глуп, знаю; но я напишу ее один.

— Да, а я разделю с тобой деньги.

— Совершенно верно! Отдашь, когда сможешь.

— Спасибо, дорогой. «Когда смогу», наступит нескоро, если вообще когда-нибудь наступит.

— Да, понимаю. Ты предпочел бы обратиться к какому-нибудь еврею из рода Левия: этих не совестно заставлять ждать — они свое всегда наворачстают.

— Евреи здесь ни при чем, дружище.

— Вот чертовщина! Сразу видно, что искусство имеет свои границы. Как?! Я — драматический автор, я обязан придумывать трудные положения, а потом находить из них выход, запутывать ситуацию, а затем распутывать узел. Я претендую на создание комедии в духе Бомарше, трагедии под стать Корнелю, драмы не хуже Шекспира, а в жизни выходит так, что мы пыжимся понапрасну, подобно ворону, который мечтает стать орлом; и нужно-то всего каких-нибудь двадцать пять — тридцать тысяч франков, и мы, может быть, способны заработать эти деньги и руками, и головой, но в будущем. Сейчас же мы не знаем, какому богу молиться! Что делать?!

— Трудиться! — слышался из глубины мастерской чей-то ласковый голос, прозвучавший очень отчетливо.

Читатели, несомненно, уже догадались, какой добрый гений пришел на помощь пребывавшему в нерешительности художнику и смущенному литератору.

Это был Сальватор.

¹ Редкая птица (*латин.*) — см. Ювенал «Сатиры», VI, 165—170.

Двое друзей в одно время повернули головы: Жан Робер — с радостью, Петрус — с благодарностью. Оба протянули вновь прибывшему руки.

— Добрый вечер, господа! — отвечал тот. — Кажется, вы пытались ответить на важнейший вопрос: «Позволено ли человеку жить, ничего не делая?»

— Совершенно верно, — подтвердил Петрус. — И я отвечал величайшему труженику Жану Роберу, который в двадцать шесть лет сделал больше, чем многие члены Академии — в сорок: «Нет, тысячу раз нет, дорогой друг».

— Неужели наш поэт превозносил лень?

— Добейтесь признания в Погребке¹, дорогой мой: будете сочинять по одной песенке в месяц, в три месяца или даже в год, и никто вам слова не скажет.

— Да нет, он просто-напросто предлагал мне свой кошелек.

— Не соглашайтесь, Петрус; если бы вам надлежало принять подобную услугу от друга, я потребовал бы, чтобы предпочтение вы отдали мне.

— Я ни от кого не приму этой жертвы, дружище, — отозвался Петрус.

— Не сомневаюсь, — сказал Сальватор, — и, зная, что вы не согласитесь, я не стал предлагать вам деньги.

— Значит, по-вашему, мы должны смириться с распродажей? — спросил Жан Робер у Сальватора.

— Без колебаний! — заявил Сальватор.

— Продаем! — решительно молвил Петрус.

— Продаем, — вздохнул Жан Робер.

— Продаем, — подтвердил Сальватор.

— Продаем! — эхом отозвался из мастерской четвертый голос.

— Людовик! — обрадовались трое друзей.

— Мы, стало быть, занимаемся распродажей? — спросил молодой доктор, подходя с распростертыми объятьями и улыбкой на устах.

— Да.

— А что продаем? Можно любопытствовать?

— Наши души, скептик вы этакий! — проговорил Жан Робер.

— Продавайте свою, если хотите, — сказал Людовик, — а я свою с продажи снимаю: я нашел ей другое применение.

И, позабыв о распродаже, четверо друзей заговорили об искусстве, литературе, политике, а тем временем чайник запел на огне, и они стали расставлять чашки.

¹ Общество шансонье, основанное в 1729 году и собиравшееся в различных кафе, а первоначально обосновавшееся (в 1737 г.) в кабаре под названием «Погребок» на улице Бюси.

Чай хорош только тогда — примите к сведению эту аксиому, очень важную для настоящих любителей, — когда его готовишь сам.

Друзья просидели до полуночи.

Но, заслышав бой часов, все вскочили словно ошпаренные.

— Полночь, — заметил Жан Робер, — мне пора домой.

— Полночь! — воскликнул Людовик. — И я домой.

— Полночь, — проговорил Сальватор, — я должен идти.

— Мне тоже нужно выйти, — молвил Петрус.

Сальватор протянул ему руку.

— Только мы двое сказали правду, дорогой Петрус, — заметил комиссионер.

Жан Робер и Людовик рассмеялись.

Все четверо загомонили и стали спускаться.

На пороге они остановились.

— Хотите я скажу каждому из вас, куда кто идет? — спросил Сальватор.

— Скажите! — попросили трое приятелей.

— Вы, Жан Робер, направляетесь на улицу Лаффит.

Жан Робер отшатнулся.

— Теперь — им! — рассмеялся он.

— Людовик! Сказать, куда идете вы?

— Пожалуй!

— На Ульмскую улицу.

— Я в самом деле туда собираюсь, — признался Людовик, делая шаг назад.

— А вы, Петрус?

— О! Я...

— Отправляетесь на бульвар Инвалидов. Не падайте духом, Петрус!

— Постараюсь! — отвечал Петрус, пожимая Сальватору руку.

— А куда идете вы? — полюбопытствовал Жан Робер? Вы же понимаете, дорогой друг, что было бы нечестно, если бы вы унесли с собой все три наших секрета, а мы не взяли даже по кусочку вашей тайны!

— Куда иду я? — без улыбки переспросил Сальватор.

— Да, вы.

— Я хочу попытаться спасти господина Сарранти, которого должны через неделю казнить.

На том друзья и разошлись.

Однако художнику, поэту и доктору не давала покоя одна и та же мысль.

Насколько выше них был этот таинственный комиссионер, втайне подготовлявший великое дело, в то время как каждого из них занимала лишь любовь к одной женщине! Он же радел за все человечество!

Правда, он любил Фраголу, а Фрагола любила его.

Последуем за каждым из наших героев; возможно, так мы скорее приблизимся к развязке нашей истории. В порядке подчинения мы начнем с Жана Робера. От Западной улицы до улицы Лаффит путь неблизкий. Поэт взял на улице Вожирар кабриолет, ехавший порожняком от Менской заставы. Жан Робер проехал почти через весь город. К концу 1827 года Париж кончался на Нувель-Атен, а оттуда брала свое начало улица Сен-Лазар.

Жан Робер предупредил кучера, что выйдет, не доезжая до середины этой улицы.

Но напрасно кучер пытался выяснить, какой ему нужен номер. — Я сам вас остановлю, — отвечал Жан Робер.

Часы на церкви Лоретской Богоматери пробили четверть первого, когда Жан Робер прибыл на место.

Он щедро расплатился с кучером, как положено поэту и влюбленному, и, завернувшись в плащ, заторопился прочь. В те времена молодые люди, подражая изображенным на фронтисписах Байрону, Шатобриану и г-ну д'Арленкуру, еще носили плащи.

Подойдя к дому под номером двадцать четыре, Жан Робер остановился.

Улица была пустынна. Молодой человек нажал на едва заметный звонок, расположенный рядом с тем, что бросался в глаза, и стал ждать.

Привратник не стал дергать за шнур, а вышел отпереть дверь самолично.

— Что Натали? — вполголоса спросил Жан Робер, опуская золотую монетку в руку важного привратника, дабы вознаградить его за беспокойство среди ночи.

Привратник понимающе кивнул, ввел Жана Робера в свою каморку и отворил дверь на служебную лестницу.

Жан Робер устремился наверх.

Привратник прикрыл за ним дверь.

Он взглянул на золотую монету и заметил:

— Вот черт! По-моему, Натали делает доброе дело. Неудивительно, что она так хороша собой!

Жан Робер поднимался стремительно; это указывало на то, что он знаком с местностью; он очень спешил поскорее добраться до четвертого этажа, что и было целью его ночного путешествия.

Это было тем более вероятно, что наполовину скрывавшаяся в сумерках девушка поджидала его появления.

— Это ты, Натали? — спросил молодой человек.

— Да, сударь, — отвечала субретка; ее безупречный вид полностью оправдывал то, что сказал о ней привратник.

— Что твоя госпожа?

— Предупреждена.

— Она сможет меня принять?
— Надеюсь, что так.
— Узнай, Натали, узнай!
— Не угодно ли вам пока зайти в голубятню? — спросила с улыбкой современная Мартон.

— Куда скажешь, Натали, лишь бы мне не пришлось ждать слишком долго.

— На этот счет можете не волноваться: вы любимы!

— Правда, Натали?

— Да, но ведь вы того и заслуживаете.

— Не льсти мне.

— О вас пишут в газетах!

— А разве в газетах не пишут о господине де Маранде?

— Это так, но он — совсем другое дело.

— Скажешь тоже!

— Он не поэт.

— Нет, зато он банкир. Ах, Натали, когда бы женщинам пришлось выбирать между банкиром и поэтом, поверь мне, мало кто из них отдал бы предпочтение поэту...

— А вот моя госпожа...

— Твоя госпожа, Натали, не женщина, она — ангел.

— Кто же тогда я?

— Ужасная болтушка, которая отнимает у меня все время.

— Войдите, — пригласила субретка. — Я постараюсь наверстать упущенное.

И она втокнула Жана Робера в «голубятню», как он сам называл небольшую квартирку.

Она состояла из прелестной комнаты, стены которой были обтянуты набивным кретоном, и прилежавшей к ней туалетной комнаты. Диваны, диванные подушки, занавески, кровать — все было из того же кретоны, что и обивка стен. Ночник, подвешенный к потолку в лампе богемского стекла, освещал эту небольшую комнату, напоминавшую шатер, который сильфы и ундины ставят для королевы фей, когда она объезжает свои владения.

Когда г-жа де Маранд не могла принять Жана Робера у себя, она встречалась с ним в этой квартирке; она-то и приказала обставить с этой целью комнату по своему вкусу.

А поскольку комнатка находилась под самой крышей, молодая женщина, так же как и Жан Робер, называла ее «голубятней».

Комната заслуживала такое название, и не только потому, что располагалась на четвертом этаже, но и оттого что там встречались влюбленные.

Никто, кроме г-жи де Маранд, Жана Робера, Натали и обойщика, не знал о существовании этой прелестной норки.

Именно здесь хранились тысячи мелочей, составляющие богатство истинных влюбленных: пряди волос; ленты, оброненные когда-то одной и хранившиеся другим на груди; увядшие букеты

пармских фиалок, даже камешки с прожилками, подобранные на морских пляжах, где влюбленные встречались раньше и бродили вместе. Там же хранилось самое дорогое сокровище: письма, благодаря которым они могли шаг за шагом проследить за развитием их страсти. Письма почти непременно приводят к беде, однако влюбленные не в состоянии их не писать, а потом не в силах их сжечь. А ведь можно было бы сжечь письма и хранить их пепел. Впрочем, пепел — это признак смерти и эмблема небытия.

На камине лежал небольшой бумажник, где оба написали одно и то же число: 7 марта. По обеим сторонам каминного зеркала висели два небольших натюрморта с цветами, написанных г-жой де Маранд еще до замужества. Там же — странная реликвия, к которой Жан Робер как поэт относился с особым благоговением, — над каминным зеркалом висели четки слоновой кости, с которыми Лидия ходила к первому причастию. Там было все, что может быть в комнате, предназначенной не только для любовных свиданий, но и для ожидания, для мечтаний; там было все, что способно скрасить ожидание и удвоить счастье.

Само собой разумеется, ждать приходилось только Жану Роберу.

Поначалу он ни в какую не хотел встречаться в этой комнате, находившейся в особняке Марандов. С деликатностью, свойственной лишь избранным, он выразил это отвращение Лидии.

Однако та сказала:

— Положитесь на меня, друг мой, и не пытайтесь быть деликатнее меня; поверьте, я предлагаю вам то, что могу предложить: это мое право.

Жан Робер хотел бы услышать объяснения этого «права», но Лидия оборвала его на полуслове.

— Положитесь на мою щепетильность, — сказала она, — но большего не просите: это значило бы открыть вам тайну, которая мне не принадлежит.

И Жан Робер, любивший до самозабвения, закрыл на все глаза и позволил отвести себя в небольшую голубятню на улице Лаффит.

Там он проводил счастливейшие часы своей жизни.

Там, как мы сказали, все было сладостно, даже ожидание.

В эту ночь, как и в другие, он находился в возвышенном расположении духа, он испытывал нежность и подпал под очарование, ожидая соблазнительнейшее существо. Он благоговейно припал губами к четкам, украшавшим шею Лидии, когда та была еще девочкой; вдруг он услышал едва уловимый шелест пеньюара и приближавшиеся легкие шаги.

Он узнал походку и, не отрывая губ от четок, лишь полуобернулся к двери.

С четок он перенес поцелуй на лоб трепетавшей молодой женщины.

— Я заставила вас ждать? — улыбнулась она.

— Вы скоры, словно пташка,— сказал Жан Робер.— Однако, как вам известно, дорогая Лидия, страдание измеряется не продолжительностью, но интенсивностью.

— А счастье?

— Счастье неизмеримо.

— Вот, значит, почему оно длится меньше, чем страдание? Ну идите, господин поэт! Вас ждут поздравления.

— А... Но... Почему не здесь?— спросил Жан Робер, с таким же отвращением спускавшийся в апартаменты г-жи де Маранд, с каким поначалу поднимался в голубятню.

— Я хотела, чтобы день окончился для вас так же, как и начался: среди цветов и ароматов.

— О, прекрасная Лидия!— вскричал молодой человек, окинув г-жу де Маранд влюбленным взглядом.— Чем вы не аромат и не цветок? Зачем мне куда-то идти, если рядом вы?

— Вы должны во всем мне повиноваться. Я решила, что нынче вечером вас увенчают лаврами у меня. Идите же, поэт, или останетесь без короны.

Жан Робер осторожно высвободил руку из руки прекрасной волшебницы, подошел к окну и задернул занавеску.

— А господин де Маранд у себя?— спросил он.

— У себя ли он?— беззаботно переспросила Лидия.

— Вот именно,— подтвердил Жан Робер.

— Ах!— обронила молодая женщина.

— Так как же?

— Я вас жду, вот что... Да-а, уж вас-то пташкой не назовешь: вас недостаточно просто поманить...

— Могу поклясться, Лидия: временами вы меня пугаете.

— Чем?

— Я вас не понимаю.

— Да, верно. И тогда вы про себя думаете: «По правде говоря, эта милая госпожа де Маранд— просто...»

— Не продолжайте, Лидия! Я знаю, что вы не только обворожительны, но благородны и деликатны.

— Однако вы же сомневаетесь... Господин Жан Робер! Угодно ли вам пройти в мои апартаменты, да или нет? Я имею на это право.

— И ваше право— тайна, которая вам не принадлежит?

— Нет.

— К счастью, как всякую тайну, ее можно разгадать.

— Лишь бы я вам не подсказывала: тогда моя совесть будет спокойна. Начинайте...

— Мне кажется, я уже догадался, Лидия.

— Ба!— промолвила молодая женщина, широко распахнув глаза, в которых угадывалось скорее сомнение, нежели удивление.

— Да.

— Ну, я вас слушаю.

— Если я правильно угадаю, вы скажете: «Это так»?

— Продолжайте.

— Вчера я встретил вашего мужа на дорожке, ведущей в Ла Мюэтт.

— Верхом или в коляске?

— Верхом.

— Он был один?

— Я должен отвечать как есть?

— Да, дорогой. Я не ревнива.

Госпожа де Маранд произнесла эти слова с такой искренностью, что в ее правдивости сомневаться не приходилось.

— Нет, он был не один: он сопровождал прелестную амазонку.

— Неужели?

— Разве я вам сообщаю что-то новое?

— Нет, но я не вижу во всем этом тайны.

— Тогда я подумал, что, раз господин де Маранд не стесняется кататься в лесу с чужой женщиной, вы считаете себя вправе делать то, что делаете.

— Я вам не сказала, что «считаю себя вправе», я сказала, что «имею право».

— Значит, я не угадал?

— Нет.

— Позвольте, Лидия, задать вам вопрос.

— Пожалуйста.

— А вы ответите?

— Пока не знаю.

— Чем объяснить, что господин де Маранд, имея такую прелестную жену, вместо того чтобы бегать по женщинам...

— Что же?

— Не стал мужем собственной жены?

— В этом и состоит тайна, которую я не могу вам открыть, дорогой поэт.

— Почему?

— Повторяю: это не моя тайна.

— Чья же?

— Господина де Маранда... Идемте!

Жан Робер, не находя больше возражений, пошел за своей прекрасной Ариадной по лабиринту особняка на улице Лаффит.

— Ну, по крайней мере в этом лабиринте нет Минотавра! — прошептал он на ходу.

XXXVI

Ульмская улица

Апартаменты г-жи де Маранд находились, как известно, во втором этаже правого крыла в особняке на улице Лаффит или Артуа, в зависимости от того, позволят ли нам читатели называть эту улицу ее настоящим именем или станут настаивать на прежнем названии. Здесь мы оставим Жана Робера и г-жу де Маранд по причине, которую даже самый

несговорчивый из наших читателей сочтет убедительной: дверь в апартаменты г-жи де Маранд оказалась заперта на два оборота между нами и двумя влюбленными.

Да и что бы мы делали в спальне этой восхитительной г-жи де Маранд, которую любим всей душой? Мы уже знаем эту спальню.

Последуем в менее аристократичный квартал, к которому в задумчивости бредет этот поэт по имени Людовик, сердце которого отогрелось в лучах любви.

Он пришел на Ульмскую улицу.

Спроси его кто-нибудь, как он добирался и какие улицы миновал, Людовик не смог бы ответить.

Сквозь неплотно прикрытые ставни первого этажа, занимаемого Брокантой, Баболеном, Фаресом, Бабиласом и его товарищами, пробивался свет. Он то становился ярче, то бледнел: это доказывало, что в квартире еще не ложились и свет переносили из комнаты в комнату.

Людовик подошел ближе и прищелкнул глазом к щели. Но хотя окно было приотворено, со своего места Людовику так и не удалось ничего разглядеть.

Он понял одно: Розочка еще не поднималась к себе; ничто не указывало на присутствие девочки в верхнем этаже: ни мягкий свет ночника в ее комнате, ни горшок с розовым кустом, который девочка, входя к себе, выставляла на окно; Людовик крепко-накрепко наказал, чтобы она не оставляла цветы в спальне на ночь.

Итак, не имея возможности видеть, Людовик прислушался.

Ульмская улица, тихая даже днем, словно окраина провинциального города, была в этот час совершенно безлюдна. Пристально вслушиваясь, можно было разобрать, о чем говорят в первом этаже.

— Что с тобой, дорогуша? — спрашивала Броканта.

Вопрос этот, очевидно, являлся продолжением разговора, начатого еще до прихода Людовика.

Однако тот, к кому обращалась Броканта, молчал.

— Я спрашиваю, что с тобой, сокровище мое! — продолжала обеспокоенная гадалка.

В ответ — то же молчание.

«Ого! «Дорогуша» и «сокровище», к которому ты обращаешься, мамаша Броканта, — проказник и невежа, — подумал Людовик, — это, конечно, негодник Баболен дуется или притворяется больным».

Броканта продолжала расспросы, но по-прежнему не получала ответа. Можно было заметить, что в ее голосе ласковые нотки сменялись постепенно угрожающими.

— Если не будешь отвечать, мсье Бабилас, — вымолвила наконец цыганка, — обещаю тебе, дорогуша, что ты у меня дождешься хорошей трепки, слышишь?

Вероятно, существо или, точнее, пес, к которому она обращалась с вопросами, счел за благо для собственной шкуры нарушить молчание и отозвался ворчанием, закончившемся жалобным воем.

— Да что с тобой такое, бедненький мой Бабилас? — вскричала Броканта и тоже испустила жалобный стон под стать своему любимцу.

Бабилас, похоже, отлично понял новый вопрос хозяйки и заворчал еще выразительнее: Броканта прямо-таки изумилась.

— Неужели это возможно, Бабилас?

— Да, — отозвался пес на своем языке.

— Баболен! — крикнула Броканта. — Баболен! Слышишь, негодник?

— Что? Что такое? — вскрикнул Баболен, задремавший было и некстати разбуженный матерью.

— Подай карты, бездельник!

— Эге-ге! Карты? Так поздно? Ну и ну! Этого нам только не хватало!

— Карты, я сказала.

Но Баболен что-то проворчал в ответ, это указывало на то, что пареньку был не в диковинку родной язык Бабиласа.

— Не заставляй меня повторять дважды, негодник! — пригрозила старуха.

— На что вам карты в такой час? — проговорил паренек таким тоном, словно устал урезонивать мать. — Ваши карты? Прекрасно! А если полиция узнает, что вы гадаете в неурочное время, в два часа ночи?!

— Ах, Боже мой! — прозвенел ласковый голосок Розочки. — Неужели сейчас так поздно?

— Нет, девочка, еще только двенадцать часов! — возразила Броканта.

— Ну да, двенадцать, — хмыкнул Баболен. — Взгляните сами!

Часы пробили один раз, словно желая положить конец их спору.

— Вот видите: час! — воскликнул Баболен.

— Не час, а половина первого, — возмутилась Броканта, желавшая, чтобы последнее слово осталось за ней.

— Да, да, половина первого! А о чем это говорит? Ваша проклятая кукушка хлопает одним крылом, только и всего. Ну, спокойной ночи, мамочка! Будьте добры, оставьте бедного Баболена в покое: пусть спокойно дрыхнет!

Мы просим у читателя прощения за слово «дрыхнет», однако оно еще употреблялось в описываемую нами эпоху.

Впрочем, Броканта, кажется, отлично поняла, куда клонит Баболен, и закричала:

— Ну, погоди! Я тебе покажу «дрыхнуть»!

Баболен, разумеется, тоже догадался, каким обидным способом собирается его уложить в постель Броканта или, вернее,

поднять его с постели: он прыгнул с кровати на пол, а оттуда — к многохвостой плетке, к которой уже протягивала руку Броканта.

— Я у тебя просила не плетку, а карты! — заметила Броканта.

— Да вот они, ваши карты, — вымолвил Баболен, подавая старухе карты, а плетку пряча за спиной.

Будто комментируя происходящее, он прибавил:

— Какая тоска: взрослая женщина, а убивает время на такие глупости, вместо того чтобы спокойно спать!

— Разве можно быть таким невежественным в твои годы! — возмутилась Броканта и с презрительным видом повела плечами. — Неужели ты ничего не видишь, не слышишь, не замечаешь?

— Как же, как же! Я вижу, что уже час ночи; я слышу, как весь Париж давно храпит; я вам замечаю, что пора бы последовать примеру всего города.

Выражение «я вам замечаю» было, может быть, не очень правильным; но читатели помнят, что Баболен не получил хорошего воспитания.

— Смейся, смейся, несчастный! — вскрикнула Броканта, вырывая у него из рук карты.

— Боже ты мой! Мать! Ну что я, по-вашему, должен замечать? — спросил Баболен и протяжно зевнул.

— Неужели ты не слышал, что сказал Бабилас?

— А-а, ваш любимец... Этого только не хватало: теперь я еще обязан слушать, что скажет мсье Бабилас!

— Так ты его не слушал?

— Слушал, слушал.

— И что слышал?

— Стон.

— И ты не сделал никакого вывода?

— Наоборот!

— Отлично! Что же ты понял из его жалобы? Отвечай.

— А вы позволите мне лечь спать, если я скажу?

— Да, лентяй ты этакий!

— У него плохо с животом. Он ел нынче вечером за четверых, а потому вполне может теперь поскулить за двоих.

— Убирайся спать, злой мальчишка! — выходя из себя, приказала Броканта. — Ты так дураком и помрешь, это предсказываю тебе я!

— Ну, ну, мать, успокойтесь! Вы не знаете, что ваши предсказания — еще не евангельские пророчества. Раз уж вы меня разбудили, объясните хотя бы, чего это Баболен так надрывается.

— Над нами нависло несчастье, Баболен!

— Ах, батюшки!

— Большое несчастье! Бабилас просто так выть не станет.

— Понимаю, мать: Бабилас катается как сыр в масле и ни

с того ни с сего завывать не будет. В чем же дело? На что он жалуется?

— Вот это мы сейчас и узнаем,— тасуя карты, пообещала Броканта.— Фарес, иди сюда!

Фарес не ответил на зов.

Броканта окликнула его в другой раз, однако ворон не двинулся.

— Черт побери! В такое время! — заметил Баболен.— Ничего удивительного: несчастная птица спит, и она совершенно права, не мне ее осуждать за это.

— Розочка! — позвала Броканта.

— Да, мама! — отвечала девочка, в другой раз прерывая чтение.

— Отложи свою книжку, дорогая, и позови Фареса.

— Фарес! Фарес! — пропела девушка нежным голоском, отдавшимся в сердце Людовика.

Ворон сейчас же вылетел из своей колокольни, описал под потолком несколько кругов и опустился девушке на плечо, как это уже было в главе, посвященной описанию внутреннего убранства комнаты, которую с недавних пор занимала цыганка.

— Что с вами, мама? — спросила девочка.— Чем вы так взволнованы?

— У меня дурные предчувствия, Розочка, — отозвалась Броканта.— Ты только посмотри, как нервничает Бабилас, как напуган Фарес; если и карты предскажут недоброе, детка, надо быть готовыми ко всему.

— Вы меня пугаете, мама! — призналась Розочка.

— Какого черта нужно старой ведьме? — пробормотал Людовик.— Зачем она смущает сердечко несчастной девочки. Хотя старуха живет гаданием, и именно потому, что карты ее кормят, она отлично знает, что это шарлатанство. Так бы и задушил ее вместе с ее вороном и собаками.

Карты легли неудачно.

— Будем готовы ко всему, Розочка! — огорченно вымолвила колдунья; что бы ни говорил Людовик, она принимала свое ремесло всерьез.

— Матушка! Если уж Провидение предупреждает вас о несчастье, — заметила Розочка, — оно должно вам и помочь его избежать.

— Девочка, дорогая! — прошептал Людовик.

— Нет! — возразила Броканта.— Нет, в этом-то и беда, я вижу зло, но не знаю, как его отвести.

— А вам от этого легче? — спросил Баболен.

— Боже мой! Боже мой! — забормотала Броканта, подняв к небу глаза.

— Матушка! Матушка! — взмолилась Розочка.— Может, ничего еще не случится! Не надо нас пугать. Какое несчастье может произойти? Мы никому не делали ничего плохого. Никог-

да еще мы не были так счастливы. Нас оберегает господин Сальватор... Я люблю...

Простодушная девочка замолчала. Она хотела сказать: «Я люблю Людовика!» — что ей самой представлялось верхом счастья.

— Ты любишь... что? — спросила Броканта.

— О! Ты любишь... что? — уточнил Баболен.

И вполголоса прибавил:

— Говори же, Розочка! Броканта думает, что ты любишь сахар, патоку или виноград! О! Броканта добрая! Наша славная Броканта!

И он пропел на расхожий мотив:

Мы любим горячо, об этом знают все,
Мсье Лю, лю, лю,
Мсье До, до, до,
Мсье Лю,
Мсье До,
Мсье Людовика!..

Но Розочка посмотрела на злого мальчишку так кротко, что тот внезапно оборвал пение и сказал:

— Нет, нет, ты его не любишь! Видишь, сестричка, какое у меня доброе сердце? Слушай, Броканта, мне кажется, сочинять такие стихи, как господин Жан Робер, нетрудно: видишь, у меня получилось само собой... Все решено: буду поэтом.

Однако болтовня Розочки и Баболена не отвлекла Броканту от мрачных мыслей.

Она стояла на своем; потом мрачным голосом проговорила:

— Ступай к себе, девочка моя!

Она повернулась к Баболену, зевавшему во весь рот, и прибавила:

— И ты тоже отправляйся спать, бездельник. А я пока подумаю, как умолить злую судьбу. Иди спать, девочка.

— Ну, наконец-то разумные слова за все время, пока ты тут болтаешь, старая ведьма! — облегченно вздохнул Людовик.

Розочка поднялась к себе в комнату, Баболен вернулся в постель, а Броканта заперла окно, чтобы, вероятно, никто не мешал ей думать.

XXXVII

Поль и Виргиния

Людовик перешел на другую сторону улицы и прислонился спиной к противоположному дому. Оттуда он стал смотреть на освещенные окна Розочки за небольшими белыми занавесками.

С той самой минуты, как запоздалая любовь поселилась в сердце Людовика, он дни напролет мечтал о Розочке, а с наступлением темноты подолгу простаивал под окнами девочки, как Петрус гулял перед дверью Регины.

Стояла прекрасная летняя ночь. Синий сумеречный свет, разлитый в воздухе, был чист и прозрачен, словно дело проис-

ходило в Неаполе. Луны не было видно, зато звезды искрились серебром. Все это напоминало тропический пейзаж, когда, как сказал Шатобриан, тьма — это не ночь, а отсутствие дня.

Людовик не сводил взгляда с окон Розочки, всей душой отдаваясь охватившему его волнению, и наслаждался несказанной прелестью этой ночи.

Он не сказал Розочке, что придет, они не назначали друг другу свидания. Но девушка знала: не проходило вечера, чтобы Людовик не появился около полуночи или часу ночи и ждал, когда, поднявшись к себе, она отворит окно. Его еще больше утвердило в этом мнении то, что, едва осветившись на мгновение, окна сейчас же погрузились в темноту. Розочка оставила свечу в туалетной комнате, потом потихоньку отворила окно и, ставя на подоконник розовый куст, окинула взглядом улицу.

Ее глаза, еще не привыкшие к темноте, не сразу узнали Людовика в тени под дверью противоположного дома.

Зато Людовик отлично все видел, он подал голос, заставивший Розочку затрепетать всем существом.

— Розочка! — позвал он.

— Людовик! — отозвалась девушка.

Кто, кроме него, мог окликнуть Розочку таким нежным голосом, похожим на дыхание ночи?

Людовик одним прыжком очутился под окнами Розочки.

Перед домом Броканты стояла одна из тех высоких каменных тумб, какие теперь можно встретить лишь на углу какого-нибудь старинного дома в Маре. Людовик вспрыгнул на тумбу, откуда, протянув руку, мог схватить и пожать Розочке ручки. Он долго не отпускал их, шепча лишь:

— Розочка! Дорогая Розочка!

Девушка не могла от волнения вымолвить даже имени молодого человека: она смотрела на него, и ее грудь вздымалась, а личико дышало жизнью и счастьем.

Слова были излишни: влюбленные отлично все чувствовали, но не умели выразить свои чувства и вложили все, что было у них на душе, в нежное рукопожатие и обменялись взглядами, похожими на гимн любви.

Людовик задержал руки Розочки в своих руках, а она и не думала их отнимать.

Он любовался ею, впав в восторженное состояние, знакомое младенцу или слепому, впервые увидевшему свет.

Наконец он нарушил тишину:

— Ах, Розочка! Дорогая Розочка!

— Друг мой! — ответила девушка.

Но как она произнесла это простое слово «друг»! С какой восхитительной интонацией! Передать это мы не в силах. Одно это слово привело Людовика в дрожь.

— Да, я ваш друг, Розочка! Самый нежный, самый верный и самый почтительный... Твой друг, твой брат, возлюбленная сестра!

В это мгновение он услышал шаги. Похоже, кто-то старался ступать тихо, но на пустынной мостовой они отдавались звонко, будто на плитах собора.

— Кто-то идет! — шепнул Людовик.

Он спрыгнул с тумбы и, торопливо перебежав дорогу, скрылся на углу Ульмской и Почтовой улиц.

Он разглядел вдалеке две тени.

Розочка тем временем притворила окно, но оставалась, разумеется, за занавеской.

Две тени приближались: двое мужчин как будто искали дом.

Подойдя к двери Броканты, они остановились, оглядели первый этаж, затем окна Розочки, потом тумбу, на которой незадолго до того стоял Людовик.

«Чего нужно этим двоим?» — подумал Людовик; он перешел улицу и крадучись стал подбираться как можно ближе.

Он двигался бесшумно и незаметно. Двое незнакомцев его не заметили, и он услышал, как один из них сказал другому:

— Это здесь?

«Что бы это значило?» — задумался Людовик, раскрывая сумку с инструментами и вынимая на всякий случай скальпель.

Однако двое уже, очевидно, увидели и сказали все, что хотели; они круто развернулись, перешли улицу наискосок и удалились по Почтовой.

— Ого! — пробормотал Людовик. — Значит, Розочке в самом деле грозит беда, о чем предсказывала Броканта?

Розочка, как мы сказали, закрыла окно, но оставалась стоять за занавеской: она видела, как двое мужчин уходят прочь по Почтовой улице.

Когда они исчезли из виду, она снова открыла окно и выглянула.

Людовик опять влез на тумбу и взял девушку за руки.

— Что это было, друг мой? — спросила она.

— Ничего, дорогая Розочка, — постарался ее успокоить Людовик. — Очевидно, двое запоздалых прохожих, возвращающихся домой.

— Мне страшно, — призналась Розочка.

— Мне тоже, — прошептал Людовик.

— Ты боишься? — не поверила девушка. — Ты? Ну, я-то почему боюсь — понятно: меня напугала Броканта...

Людовик кивнул, будто хотел сказать: «Это я знаю, черт возьми!»

— А я сейчас читаю книжку, которую ты мне дал: «Поля и Виргинию». До чего же красивая история! Такая красивая, что мне не хотелось уходить к себе.

— Дорогая Розочка!

— Но я знала, что ты должен прийти. А я все не поднималась... На чем я остановилась?

— Ты сказала, что тебя напугала Броканта.

— Да, верно. Зато теперь ты здесь и мне не страшно.

— Еще ты сказала, что тебе так понравилась книга «Поль и Виргиния», что ты не хотела подниматься.

— Нет. Вообрази, мне казалось, что я вижу сон. Мне снилось то время, о котором я совершенно забыла. Скажи, Людовик, ведь ты так много знаешь — правда, что мы все уже жили раньше, прежде чем явились на свет?

— Ах, девочка моя! Ты прикоснулась к тайне, которую люди пристально изучают уже шесть тысячелетий.

— Так тебе ничего об этом не известно? — опечалилась Розочка.

— Увы, нет; а почему ты спрашиваешь, Розочка?

— Погоди, сейчас скажу. Когда я читала описание местности, где жили Поль и Виргиния — огромных лесов и ледяных водопадов, прозрачной воды и лазурного неба, — мне почудилось, будто я все это уже видела, но не помнила до тех пор, пока не прочла «Поля и Виргинию». Мне показалось, что я жила в похожей стране, где растут такие же деревья с широкими листьями и плодами с мою голову; там бескрайние леса, над которыми сияет золотое солнце, а море сливается с небом. А ведь моря я никогда не видела!.. Когда я закрываю глаза, мне чудится, будто я лежу в гамаке вроде того, какой был у Поля, а чернокожая женщина, похожая на Доминго, меня качает, напевая песню... Ах, Боже мой, Боже! Кажется, я вот-вот вспомню слова этой песни. Погоди-ка! Погоди!

Розочка прикрыла глаза и напрягла память.

Но Людовик улыбнулся и сжал ее руку.

— Тебе вредно утомляться, сестричка, — сказал он. — К чему напрягать память, если это, как ты говоришь, всего лишь сон: бесполезно пытаться вспомнить то, чего ты никогда не видела и не слышала.

— Может быть, ты и прав, — печально проговорила Розочка. — Как бы там ни было, а я видела во сне прекрасную страну.

Она смотрела вокруг отрешенным взглядом.

Людовик не стал мешать ее мечтам: несмотря на темноту, он видел, что девушка улыбается.

Прошло немало времени, прежде чем он снова заговорил:

— Итак, Броканта тебя напугала, бедная девочка!

— Да! — закивала Розочка, хотя мыслями она еще была далеко от того, о чем спрашивал Людовик.

Тот ясно читал по личику Розочки, какие чувства обуревали ее в ту минуту.

Девушка грезилась о прекрасной тропической стране.

— Броканта просто старая дура, и больше ничего, — продолжал Людовик. — Вот уж я ей задам!

— Вы? — удивилась Розочка.

— Или пожалуюсь на нее Сальватору,— прибавил молодой человек не без смущения.— Он ведь у вас в доме свой человек, верно?

Вопрос этот окончательно вывел девочку из задумчивости.

— Он не только свой человек,— сказала она,— но и полный хозяин; все, что у нас есть, принадлежит ему.

— Все?

— Да, все и вся.

— Надеюсь, только не вы, Розочка?— спросил Людовик.

— Простите, друг мой...

— Как?!— рассмеялся Людовик.— Ты принадлежишь Сальватору, милая Розочка?

— Разумеется.

— С какой стати?

— А разве мы не принадлежим людям, которых мы любим?

— Вы любите Сальватора?

— Больше всех на свете.

— Вы?!— огорченно выдохнул Людовик.

Слово «любить» в устах девушки, адресованное другому, заставило сердце Людовика болезненно сжаться.

— Стало быть, вы любите Сальватора больше всех на свете?— продолжал он настаивать, видя, что Розочка не отвечает.

— Да!— подтвердила она.

— Розочка!— грустно прошептал Людовик.

— Что с тобой?

— Ты спрашиваешь, что со мной, Розочка?— вскричал молодой человек, с трудом сдерживая слезы.

— Ну да!

— Неужели ты ничего не понимаешь?

— Честное слово— нет!

— Не вы ли сказали, Розочка, что любите Сальватора больше всех на свете?

— Да, я так сказала, и это правда. Что в том плохого?

— Если его вы любите больше всех, значит, меня вы любите меньше, чем его; так, Розочка?

— Вас... Меньше, чем его... Тебя! Да что ты говоришь, мой Людовик?! Я люблю Сальватора как брата, как отца... а тебя...

— А меня, Розочка?— трепеща от радости, подхватил молодой человек.

— ...а вас, дорогой, я люблю... как...

— Как?... Говори же, Розочка! Как ты меня любишь?

— Как...

— Договаривай!

— ...как Виргиния любила Поля.

Людовик радостно вскрикнул:

— Девочка моя! Любимая моя! Еще! Еще! Скажи, что любишь меня не так, как всех остальных! Скажи, что бы ты сделала ради Сальватора и ради меня!

— Вот послушайте, Людовик! Если бы, например, господин Сальватор умер... О, я бы очень опечалилась! Для меня это было бы огромное горе! Я никогда бы от него не оправилась!.. А если бы я потеряла вас... Если бы умер ты,—страстно продолжала девушка,—я бы тебя не пережила!

— Розочка! Розочка! Дорогая моя!

Встав на цыпочки и потянув к себе ее руки, он припал к ним губами.

С этой минуты влюбленные могли обмениваться не только словами, но чистыми и нежными поцелуями. Их сердца забились в лад, губы сблизились.

Если бы в это время кто-нибудь проходил мимо и заметил, как они нежно обнимаются в ночи, он унес бы в своем сердце частицу их любви, словно цветок из букета или ноту из концерта.

Да и что, в самом деле, могло быть восхитительнее, чем это слияние двух чистых душ, этих невинных сердец, ждущих от любви лишь таинственного очарования и поэтического вдохновения. В этом и заключалось все самое прекрасное, созданное поэтами или художниками, от влюбленной Евы в цветущем раю до гетевской Миньон, этой второй Евы, рожденной на окраине вселенной, но не в Эдеме на Араратской горе, а в садах Богемии.

Который был час? Они не могли этого сказать, несчастные дети! Быстрокрылые минуты пролетали незаметно, и ни тот, ни другая не выходили из восторженного состояния под шелест их крыльев.

Валь-де-Грас, Сен-Жак-дю-О-Па и Сент-Этьен-дю-Мон вызванивали четверть часа, полчаса, час за часом, но влюбленные не слышали их боя, и даже если бы поблизости грянул гром, они обратили бы на него внимания не больше, чем на падающие с неведомой целью звезды с неба.

Вдруг Людовик вздрогнул: Розочка кашлянула.

У молодого человека выступила на лбу испарина.

Людовик узнал этот кашель: доктор сражался с ним и победил его с таким трудом!

— Прости, прости меня, дорогая Розочка! — воскликнул он.

— Что я должна вам простить, дорогой друг? — спросила она.

— Ты озябла, девочка моя родная.

— Озябла? — удивилась Розочка; внимание Людовика льстило ее самолюбию.

Несчастная девочка не была избалована заботой, если не считать Сальватора.

— Да, Розочка, тебе холодно, вот ты и кашляешь. Уже поздно, пора прощаться, Розочка.

— Прощаться! — разочарованно протянула она, словно хотела сказать: «А я думала, что мы останемся здесь навсегда».

Людовик будто угадал ее мысли и проговорил:

— Нет, дорогая Розочка, нет, нельзя! Пора расходиться. Это приказывает тебе не друг, но доктор.

— Прощай, злой доктор! — грустно вымолвила она.

Ласково улыбнувшись, она прибавила:

— До свидания, милый друг!

С этими словами она склонилась к Людовику, так что коснулась локонами лица молодого человека.

— Ах, Розочка!.. Розочка! — с любовью в голосе прошептал он.

Он снова приподнялся на цыпочки, вытянул шею и дотянулся губами до гладкого белого лба девушки.

— Я люблю тебя, Розочка! — целуя ее, шепнул он.

— Я люблю тебя! — повторила девушка, подставив ему лоб.

Она скрылась в своей клетке поспешно, словно спугнутая птичка.

Людовик прыгнул на землю. Но не успел он сделать и трех шагов — он отступал, пятясь, так как не хотел ни на мгновение упустить из виду окно Розочки, — как окно снова распахнулось.

— Людовик! — окликнула его Розочка.

Молодой человек одним махом снова взлетел на тумбу, не понимая, как это у него получилось.

— Розочка, тебе плохо? — испугался он.

— Нет, — возразила девушка и покачала головой, — просто я вспомнила...

— Что ты вспомнила?

— Свою прошлую жизнь, — призналась она.

— Боже мой! Ты бредишь! — испугался Людовик.

— Нет. Знаешь, в прекрасной стране, пригрезившейся мне недавно, я была маленькой девочкой, лежащей, как Виргиния, в гамаке, а моя кормилица, добрая негритянка по имени... погоди-ка! Ой, у нее было смешное имя!.. Ее звали... Даная!.. Добрая негритянка по имени Даная пела, качая мой гамак.

И Розочка затянула колыбельную, с усилием вспоминая первые слова:

Баю-бай, усни, дитя! Слушай мамочку свою!
Каши я тебе сварила: колыбельную спою.

Людовик бросил на Розочку изумленный взгляд.

— Подожди, подожди, — остановила она его, а сама продолжала:

В море парусник плывет и забрасывает сети.
Ждет детей не только рыба, лишь бы только спали дети.

— Розочка! Розочка! — закричал Людовик. — Ты меня пугаешь!

— Да подожди же, — снова остановила его Розочка. — А ребенок отвечает:

Мам, да не хочу я спать,
Мне б сейчас потанцевать.

Боже! Что ты говоришь мне,
Ты упрямишься опять.
Дочка! Дай покоя мне. Что болтать! Ну, хватит, полно.
Закрывай глаза и слушай, как шумят на воле волны.

— Розочка! Розочка!

— Это не все; ребенок продолжает:

Мам, да не хочу я спать,
Мне б сейчас потанцевать.
Ты упрямишься опять.
Спрячь-ка голову в цветах, руки в травах спрячь зеленых.
Спрячься, ведь мою дочурку всюду ищет злой волчонок.

Бродит этот зверь в лесах, у него зубов не счесть.
Лучше, детка, маму слушать,
Лучше спать и кашу есть.

Дочка! Дай покоя мне. Что болтать! Ну, хватит, полно.
Закрывай глаза и слушай, как шумят на воле волны.

Мам, да не хочу я спать,
Мне б сейчас потанцевать.

Лучше, детка, маму слушать,
Лучше спать и кашу есть¹.

Розочка замолчала.

Людювик задыхался.

— Все,— дoloжила девочка.

— Ступай, возвращайся к себе,— попросил Людювик.— Поговорим обо всем этом потом.— Да, да, ты помнишь, любимая Розочка. Да, как ты недавно говорила, мы уже жили в другой жизни, до того как появились на свет.

И Людювик спрыгнул с тумбы.

— Я люблю тебя! — бросила ему Розочка, притворяя окно.

— Я люблю тебя! — ответил Людювик достаточно громко, чтобы сладкие слова могли проникнуть сквозь щель в окне.

«Странно! — подумал он. — Она пела креольскую песню. Откуда же взялась эта девочка, найденная Брокантой?.. Завтра же справлюсь о ней у Сальватора... Или я ошибаюсь, или Сальватор знает о Розочке больше, чем говорит».

В это время часы пробили трижды, а белесый свет, появившийся на востоке, предвещал скорое наступление утра.

— Спи сладко, девочка моя любимая,— сказал Людювик.— До завтра!

Розочка будто услышала эти слова, отозвавшиеся эхом в ее душе: ее окно снова приотворилось, и девочка бросила на прощание Людювику:

— До завтра!

¹ Стихи в переводе Ю. Денисова.

Сцена, происходившая в тот же час на бульваре Инвалидов, в особняке Ламот-Гуданов, хотя и была похожа по сути на две только что описанные нами, но по форме значительно от них отличалась.

Любовь Розочки была похожа на бутон.

Любовь Регины показала свой венчик.

У г-жи Маранд она расцвела пышным цветом.

Какой период в любви самый сладостный? Я всю жизнь пытался разгадать эту загадку, но так и не смог. Может быть, любовь хороша лишь в тот момент, когда только зарождается? Или когда она развивается? Или когда, готовая вот-вот остановиться в своем развитии, она, сочный и сладкий плод, готова сорваться в золотом одеянии зрелости?

Когда солнце краше всего? На восходе? В зените? В закатные часы, когда, клонясь к закату, погружает свой пламенеющий диск в теплые морские волны?

Пусть кто-нибудь другой попытается ответить на этот вопрос, мы же боимся ошибиться в поисках решения этой непосильной задачи.

Поэтому-то мы и не беремся сказать, кто был счастливее всех: Жан Робер, Людовик или Петрус, и кто больше других наслаждался радостями любви: г-жа де Маранд, Розочка или Регина.

Но чтобы читатели завидовали и могли сравнивать, скажем, какими словами, какими взглядами, какими пьянящими улыбками двое любовников или, вернее, двое влюбленных...— подберите сами слово, дорогие читатели или прекрасные читательницы, передающее мою мысль — двух влюбленных? Нет, двух любящих сердец! — обменивались в эту светлую звездную ночь.

Петрус прибыл к воротам особняка около половины первого.

Он несколько раз прошелся взад и вперед по бульвару Инвалидов, желая убедиться, не следит ли за ним кто-нибудь, а затем забился в угол, образованный каменной стеной и вделанными в нее воротами.

Так он простоял минут десять, не сводя печального взгляда с запертых ставней, сквозь которые не пробивалось ни единого лучика. Он стал опасаться, что Регина не сможет прийти на свидание, как вдруг услышал негромкое «хм, хм», свидетельствовавшее о том, что по другую сторону стены есть еще кто-то.

Петрус ответил таким же «хм, хм».

И, словно короткое это словечко обладало магическим действием, как «сезам», небольшая калитка в десяти шагах от ворот распахнулась как по волшебству.

Петрус скользнул вдоль стены к калитке.

— Это вы, добрая моя Нанон? — тихо спросил Петрус, разглядев в темной липовой аллее, проходившей от калитки к дому, старую служанку, которую любой другой принял бы за привидение.

— Я, — так же тихо отозвалась Нанон, бывшая кормилица Регины.

Ох уж эти кормилицы! От кормилицы Федры и Джульетты до кормилицы Регины!

— А где княжна? — полюбопытствовал Петрус.

— Здесь.

— Она ждет нас?

— Да.

— Но света нет ни в спальне, ни в оранжерее.

— Она на круглой садовой поляне.

Нет, Регины там уже не было: она появилась в конце аллеи, похожая на белое видение.

Петрус полетел ей навстречу.

Их губы встретились, выговаривая четыре слова:

— Дорогая Регина!

— Дорогой Петрус!

— Вы слышали, как я вошел?

— Я догадалась.

— Регина!

— Петрус!

За первым поцелуем последовал второй.

Регина увлекла Петруса за собой.

— На круглую поляну! — шепнула она.

— Куда прикажете, любовь моя.

И молодые люди, стремительные, словно Гиппомен и Атланта, и бесшумные, будто сифлы и ундины, проходящие, не приминяя их, по высоким травам Брюменталья, в одно мгновение очутились в той части сада, что звалась круглой поляной.

Это было прелестное гнездышко для влюбленных, какое только было можно вообразить: скрытое со всех сторон грабовым питомником, словно пятачок настоящего лабиринта, оно казалось неприступным извне; если же кому-нибудь удавалось проникнуть внутрь, было непонятно, как оттуда выбраться. Тесно посаженные деревья настолько переплелись вверху, что их кроны напоминали зеленые шелковые сети, и когда двое влюбленных находились внутри, они чувствовали себя мотыльками, попавшими в сачок.

Однако сквозь густую листву все-таки можно было рассмотреть звезды. Но до чего же робко сами звезды заглядывали в этот зеленый шатер! С какой необыкновенной предосторожностью они играли изумрудами на золотом песке!

На поляне было еще темнее, чем среди деревьев.

Регина в восхитительном белом одеянии походила на невесту.

В особняке был вечер, но Регина успела сменить вечернее платье на пеньюар из расшитого батиста с широкими рукавами, из которых выглядывали ее восхитительные обнаженные руки.

Чтобы не слишком долго заставлять Петруса ждать, она не стала снимать драгоценности.

Шею украшала нитка мелкого жемчуга, похожего на застывшие капли молока; два бриллианта величиной с горошину сверкали у нее в ушах; бриллиантовое ожерелье поблескивало в волосах Регины; наконец, изумрудные, рубиновые и сапфировые браслеты самых разных видов — цепочки, цветы, змейки — унизывали ее руки.

Она была просто обворожительна и напоминала луну: так же сияла белизной и чистотой и, как она, ослепительно сверкала!

Когда Петрус наконец остановился, вздохнул свободнее и вгляделся в нее, он был поражен. Никто лучше, чем молодой человек — художник, поэт и влюбленный, — не мог по достоинству оценить сказочное зрелище, которое было у него перед глазами: освещенный и трепещущий лес, мшистая почва, устланная фиалками и блестящей травой, душистой и сверкающей в лунном свете! Сидевший неподалеку на ветке соловей выводил свою ночную кантилену, перебирая одну за другой звонкие ноты. А она, Регина, стояла, опираясь на его руку, пьянящая и опьяненная — центр этой восхитительной картины, статуя розового мрамора!

Несомненно, в нее влюбился бы даже самый равнодушный мужчина, влюбленный же был способен потерять голову. Она была поистине сном в летнюю ночь, грезой любви и счастья.

Петрус испытал ее очарование на себе.

Но самое страшное для нищего Петруса состояло в том, что больше всего его потрясло богатство Регины.

Разумеется, без жемчугов, бриллиантов, рубинов, изумрудов и сапфиров Регина оставалась бы все той же красавицей. Но ее звали Региной — разве могла она быть простой смертной? Разве не следовало ей показать себя хоть немножко королевой?

Увы! Об этом и подумал влюбленный Петрус и печально вздохнул; он вспомнил, какое признание ему надлежало сделать своей любимой.

Он открыл было рот, чтобы все сказать, но почувствовал, что с его губ вот-вот сорвутся совсем другие слова, переполнявшие его душу.

— Потом, потом! — пробормотал он едва слышно.

Регина опустилась на поросшую мхом скамейку, Петрус лег у ее ног и стал осыпать поцелуями ее руки, отыскивая среди драгоценных камней, куда приложить губы.

Регина увидела, что браслеты мешают Петрусу.

— Простите, друг мой, — извинилась она. — Я пришла в чем была. Мне очень не хотелось заставлять вас ждать. И потом, я торопилась вас увидеть. Помогите мне снять все эти драгоценности.

Она стала один за другим расстегивать браслеты, и на землю полились, будто сверкающий дождь, все эти рубины, изумруды и сапфиры, оправленные в золото.

Петрус хотел их собрать.

— О, оставь, оставь,— сказала она с беззаботностью богатой аристократки,— Нанон подберет. Вот тебе, любимый Петрус, мои руки, теперь они в полной твоей власти: нет больше цепей, пусть даже золотых; нет препятствий, даже если это только бриллианты!

Что на это скажешь? Остается лишь преклонить колени и обожать!

Молодой человек так и сделал. Подобно индусу во власти восхитительного сна, молчаливого созерцания красоты или наркотического опьянения, Петрус обожал!

Влюбленные, не произнося ни слова, не сводили друг с друга глаз, и душа Петруса будто оживала.

— Ах, Регина, любимая!— вскричал он в порыве страсти.— Господь может призвать меня теперь к себе, потому что я прикоснулся руками и губами к неведомому цветку, зовущемуся блаженством, и не умер. Никогда, даже в мыслях, самая моя сокровенная мечта не приносила мне и частицу той радости, какую я испытываю рядом с вами как с настоящим божеством. Я вас люблю, Регина, несказанно! Для меня не существует времени, я целую вечность и готов повторять: я люблю тебя, Регина! Я люблю тебя!

Молодая женщина уронила руку ему на губы.

Как мы уже сказали, Регина сидела, а Петрус лежал у ее ног. Но, целуя руку Регины, он приподнялся на локте. Однако обхватив другой рукой шею Регины, он вдруг поднялся на ноги.

Так получилось, что он теперь стоял, а она сидела.

Он вспомнил о своей бедности и вздохнул.

Регина вздрогнула: она поняла, что мысли его заняты не ей.

— Что с вами, друг мой?— испуганно спросила она.

— Со мной? Ничего,— ответил Петрус и покачал головой.

— Да нет же, Петрус, вы печальны. Говорите, я приказываю.

— У меня были большие неприятности, дорогая.

— У вас?

— Да.

— Когда?

— В последнее время.

— И вы ничего мне не сказали, Петрус? Что случилось? Рассказывайте! Да говорите же!

Регина подняла голову, чтобы лучше видеть Петруса.

В ее глазах была написана любовь, они сияли не хуже бриллиантов, украшавших ее волосы.

Если бы Петрус видел лишь глаза Регины, он бы, возможно, заговорил.

Но были еще бриллианты.

Бриллианты его завораживали.

Разве не жестоко было открыть этой светской даме, столь же богатой, как и красивой, что ее возлюбленный— нищий художник, до такой степени бедный, что через несколько дней всю его мебель пустят с молотка?

Кроме того, признаваясь в своей бедности перед богатой дамой, он был вынужден в то же время признаться своей безупречной подруге в том, что едва не предал отца.

И мужество ему изменило.

— Коварная! — сказал он. — Еще бы я не был печален, когда мне пришлось покинуть Париж и не видеться с вами целых шесть дней!

Регина потянула его к себе и подставила лоб для поцелуя.

Петрус задрожал от радости и прижался к нему губами: молодой человек светился счастьем.

В это мгновение свет нарождавшейся луны упал Петрусу прямо на лицо.

Регина восхищенно вскрикнула:

— Вы мне иногда говорите, что я красива, Петрус.

Молодой человек ее перебил.

— Я говорю это всегда, Регина! — вскричал он. — Если не говорю, так думаю!

— Позвольте и мне сказать вам, что вы прекрасны.

— Я? — удивился Петрус.

— Разрешите вам сказать, что вы красивы и я вас люблю, мой благородный Ван-Дейк! Знаете, я видела вчера в Лувре портрет великого художника; его талантом наделил вас Господь, а его именем называю вас я сейчас. Вспоминая историю, слышанную в Генуе об отношениях Ван-Дейка и графини Бриньольской, я чуть было не сказала вам — какое счастье, Петрус, что мы не встретились в то время: «Я принадлежу вам, как она принадлежала ему, потому что вы так же хороши собой, как он, а тебя я люблю, несомненно, еще сильнее, чем она — его».

Петрус не сдержал радостного крика.

Он упал рядом с ней и, обняв за талию, нежно привлек к себе.

Регина склонилась, словно пальма под вечерним ветерком; положив голову Петрусу на грудь, она стала с улыбкой прислушиваться к учащенному биению его сердца, и каждый удар словно говорил ей: «Регина, я люблю тебя!»

Эта красивая пара смотрелась изумительно: ангелу счастья следовало бы превратить их в камень.

Слова замерли у них на губах. Что они могли сказать друг другу? Девушка ощущала на своих волосах дыхание Петруса и вздрагивала, будто мимоза от дыхания птишки.

Она закрыла глаза, испытывая несказанное наслаждение, даруемое умирающему верой, что они проснутся в другом мире под взглядом Всевышнего.

Так они провели целый час в состоянии дурманящего оцепенения, и каждый из них упивался счастьем, дарил этим счастьем другого и молча им наслаждался, словно слишком явное свидетельство подобного блаженства должно было пробудить ревность в наблюдавших за ними звездах.

Но ни тот, ни другая не сумели справиться с охватившим их волнением: дыхание обоих участилось, их взгляды увлажнились,

они жалобно постанывали; кровь, будто море во время прилива, затопила их сердца и стучала в висках.

Регина очнулась первой, вздрогнув, словно ребенок, которому привиделся страшный сон, и, дрожа всем телом, прильнула губами к губам Петруса, прошептав:

— Уходи... Ступай... Оставь меня, Петрус!

— Уже?.. — не поверил молодой человек. — Так скоро?.. Почему я должен тебя оставить, Боже мой?!

— Ступай же, любимый! Уходи... Уходи!

— Нам грозит опасность, о ангел мой?

— Да, большая, смертельная опасность!

Петрус встал и огляделся.

Регина заставила его снова сесть и, испуганно улыбаясь, продолжала:

— Нет, опасность грозит не оттуда, откуда ты думаешь.

— Где же она?

— В нас самих, в наших сердцах, у нас на губах, в наших объятиях... Сжался надо мной, Петрус... Я слишком сильно тебя люблю.

— Регина! Регина! — вскричал Петрус, сжал в руках голову девушки и страстно припал к ее губам.

Неизвестно, сколько длился их ангельски чистый поцелуй; их души словно слились воедино. С неба сорвалась звезда и, казалось, упала неподалеку.

Регина собралась с силами и вырвалась из объятий молодого человека.

— Давай постараемся не свалиться с небес, как эта звезда, любимый мой, — проговорила Регина, с любовью глядя на Петруса.

Тот взял ее за руку, привлек к себе и по-братски поцеловал ее в лоб.

— Перед лицом Бога, который нас видит, — сказал он, — перед звездами, Его очами, целую вас в знак высочайшего уважения и самого глубокого почтения.

— Благодарю вас, друг мой! — отозвалась Регина. — Подставь свой лоб.

Петрус повиновался, и молодая женщина вернула ему поцелуй. В это мгновение часы пробили трижды и появилась Нанон.

— Через полчаса начнет светать, — сказала она.

— Как видишь, Нанон, мы прощаемся, — отозвалась Регина. И они расстались.

Но прежде чем уйти, Регина удержала руку Петруса.

— Друг мой, — сказала она, — завтра, надеюсь, ты получишь от меня письмо.

— Я тоже надеюсь, — сказал молодой человек.

— Хорошее письмо! — пообещала Регина.

— Все твои письма хороши, Регина, а последнее — в особенности.

— Это будет лучшее из лучших.
— Ах, Господи, я так счастлив, что мне даже страшно.
— Не бойся и будь счастлив,— успокоила его Регина.
— О чем же ты рассказываешь мне в этом письме, любовь моя?
— Потерпи! Не следует ли нам оставлять немножко радости на те дни, когда мы не видимся?
— Спасибо, Регина, ты — ангел.
— До свидания, Петрус.
— До скорого свидания, верно?
— Вы только поглядите,— вмешалась Нанон,— я же говорила: вот и рассвет.

Петрус горестно покачал головой и пошел прочь, непрестанно оборачиваясь.

Что говорила Нанон о рассвете?

В эту минуту влюбленным, напротив, показалось, что небо затянули черные тучи, соловей умолк, звезды погасли: весь этот сказочный мир, созданный для них одних, исчез с их последним поцелуем.

XXXIX

Иерусалимская улица

Покидая трех друзей, Сальватор сказал: «Я постараюсь спасти господина Сарранти, которого через неделю ждет казнь».

Когда молодые люди разошлись по своим делам, Сальватор торопливо спустился по улице Анфер, свернул на улицу Лагарп, миновал мост Сен-Мишель, пошел вдоль набережной и примерно в то же время, когда каждый из трех его друзей прибыл на место встречи, сам он стоял перед Префектурой.

Как и раньше, привратник остановил Сальватора и спросил:

— Что вам угодно?

Как и раньше, Сальватор представился.

— Простите, сударь,— извинился привратник,— я вас не сразу узнал.

Сальватор прошел мимо него.

Потом он пересек двор, вошел в полуарочную дверь, поднялся на третий этаж и очутился в приемной, где сидел дежурный.

— Что господин Жакаль?— спросил Сальватор.

— Он вас ждет,— доложил полицейский, распахнув дверь в кабинет г-на Жакаля.

Сальватор вошел и заметил начальника полиции в огромном вольтеровском кресле.

При появлении молодого человека г-н Жакаль поднялся и предупредительно пошел ему навстречу.

— Как видите, я вас ждал, дорогой господин Сальватор,— сказал он.

— Благодарю вас, сударь,— проговорил Сальватор свысока, как обычно, когда он говорил с начальником полиции.

— Не вы ли сами предупредили, что нам предстоит небольшая загородная прогулка?— заметил г-н Жакаль.

— Вы правы,— согласился Сальватор.

— Прикажите заложить коляску,— приказал г-н Жакаль дежурному полицейскому.

Тот вышел.

— Садитесь, дорогой господин Сальватор,— пригласил г-н Жакаль, указывая молодому человеку на стул.— Через пять минут мы сможем отправиться в путь. Я приказал держать лошадей наготове.

Сальватор сел, но не туда, куда указывал г-н Жакаль, а дальше от начальника полиции.

Можно было подумать, что честный молодой человек избегал соприкосновения с полицейской ищейкой.

От внимания г-на Жакаля не укрылось это движение, однако он лишь едва заметно сдвинул брови.

Он вынул из кармана табакерку, поднес к носу табак, потом откинулся в кресле и поднял очки на лоб.

— Знаете ли, о чем я думал, когда вы вошли, господин Сальватор?

— Нет, сударь, я не умею читать чужие мысли, это не входит в мои обязанности.

— Я спрашивал себя, где вы черпаете силы любить ближних?

— В собственной совести, сударь,— отвечал Сальватор.— Я всегда восхищался даже больше, чем Вергилием, стихами карфагенского поэта, сказавшего так, может быть, именно потому, что он был рабом:

*Номо sum, et nil humano a me alienum puto*¹.

— Да, да,— кивнул г-н Жакаль,— я знаю эти стихи: они принадлежат Теренцию, не правда ли?

Сальватор утвердительно кивнул.

Господин Жакаль продолжал:

— По правде говоря, господин Сальватор, если бы еще не существовало слова «филантроп», пришлось бы его создать ради вас. Пусть самый честный журналист на земле—если только журналист может быть честным—завтра напишет, что вы зашли за мной в полночь и пригласили участвовать в благородном деле—ему никто не поверит! Более того, вас заподозрили бы в том, что вы ищете выгоду в этом начинании. Ваши политические единомышленники не преминут от вас отречься и заявят во всеуслышание, что вы продались бонапартистам; ведь стремиться во что бы то ни стало спасти жизнь господину Сарранти,

¹ «Я человек и считаю, что ничто человеческое мне не чуждо» (латин.).

прибывшему с другого конца света, когда вы его, может быть, видели-то всего раз во время ареста на площади Успения; стремиться доказать любой ценой суду, что он ошибся и осудил невинного, значило бы доказать, что осужденный — бонапартист, не так ли сказали бы ваши политические единомышленники?

— Спасти невинного, господин Жакаль, значит доказать, что осужденный — честный человек. Невинный не принадлежит ни к какой партии, или, вернее, он примыкает к партии Господа.

— Да, да, несомненно, и этого достаточно для меня, потому что я давно и хорошо вас знаю и для меня не секрет, что вы уже давно то, что называется «свободный мыслитель». Да, я знаю, что было бы неуместно даже пытаться поколебать столь глубоко укоренившиеся мнения. Я и не стал бы предпринимать такую попытку. Но вдруг кто-нибудь пожелает это сделать? Вдруг кто-нибудь попытается вас оболгать?

— Напрасный труд, сударь: никто в это не поверит.

— Когда-то я был так же молод, — с легкой грустью заметил г-н Жакаль, — я думал о ближних так же, как и вы. С тех пор я горько в этом раскаялся и воскликнул вслед за Мефистофелем... Вот вы, дорогой господин Сальватор, привели свою цитату, позвольте и мне привести свою! Итак, вслед за Мефистофелем я повторил: «Поверь одному из наших мыслителей: это великое целое создано лишь для одного Бога; для Него существуют негасимые огни! Нас же Он создал и обрек на тьму...»

— Пусть так! — отвечал Сальватор. — Тогда и я отвечу вам, как доктор Фауст: «Но я так хочу!»

— «Время быстротечно, искусство — вечно!» — закончил г-н Жакаль цитату.

— Что ж поделать! — отозвался Сальватор. — Небо создало меня таким. Одни естественно стремятся к злу, я же, напротив, подчиняясь инстинкту, уступая неодолимой силе, иду к добру. Должен вам сказать, господин Жакаль, что все самые педантичные или самые многословные философы, объединившись, не смогли бы поколебать мою веру.

— Ах, молодость, молодость! — в отчаянии обронил г-н Жакаль и огорченно покачал головой.

Сальватор решил, что пора переменить тему разговора. По его мнению, печальный г-н Жакаль только опошлял печаль.

— Раз уж вы удостоили меня чести и согласились меня принять, господин Жакаль, — сказал он, — позвольте в нескольких словах напомнить вам о цели путешествия, которое третьего дня я предложил вам совершить.

— Слушаю вас, дорогой господин Сальватор, — ответил г-н Жакаль.

Но не успел он договорить, как дежурный отворил дверь и доложил, что карета заложена.

Господин Жакаль встал.

— Поговорим об этом в пути, дорогой господин Сальватор,— сказал он, берясь за шляпу и знаком приглашая молодого человека пройти вперед.

Сальватор поклонился и вышел.

Очутившись во дворе, г-н Жакаль усадил молодого человека в экипаж и, ступив на подножку, спросил:

— Куда мы едем?

— Дорога на Фонтенбло, Кур-де-Франс,— сказал тот.

Господин Жакаль повторил кучеру приказание.

— Через улицу Макон,— прибавил молодой человек.

— Через улицу Макон?— переспросил г-н Жакаль.

— Да, мы заедем ко мне и возьмем попутчика.

— Вот черт!— выругался г-н Жакаль.— Если бы я знал, я приказал бы заложить не двухместный экипаж, а берлину.

— О, не беспокойтесь! Этот попутчик вас не стеснит,— возразил Сальватор.

— Дом номер четыре по улице Макон,— приказал г-н Жакаль.

Карета тронулась с места.

Скоро она остановилась перед домом Сальватора.

Молодой человек вошел, отперев ключом входную дверь.

Едва он подошел к нижней ступеньке винтовой лестницы, как сверху появился свет.

Фрагола появилась со свечой в руке, похожая на звезду, которую видишь из глубины колодца.

— Это ты, Сальватор?— спросила она.

— Да, дорогая.

— Останешься?

— Нет, я вернусь завтра в восемь часов утра.

Фрагола вздохнула.

Сальватор не услышал, а скорее угадал этот вздох.

— Ничего не бойся,— сказал он,— опасности нет никакой.

— Возьми на всякий случай Роланда.

— Я за ним и зашел.

И Сальватор позвал Роланда.

Пес будто только этого и ждал; он скатился по лестнице и вскочил передними лапами хозяину на грудь.

— А как же я?— грустно сказала Фрагола.

— Поди сюда,— позвал Сальватор.

Мы только что сравнили девушку со звездой.

Однако ни одна звезда не могла бы скатиться с небосклона так же стремительно, как Фрагола — по перилам лестницы.

Она оказалась в объятиях молодого человека.

Заглянув в безмятежно улыбающееся лицо Сальватора, она успокоилась.

— До завтра или, вернее, до сегодня,— попрощалась Фрагола.

— До встречи в восемь часов.

— Иди, мой Сальватор,— молвила она.— Храни тебя Бог!

Она провожала молодого человека взглядом до тех пор, пока за ним не захлопнулась входная дверь.

Сальватор снова сел рядом с г-ном Жакалем и крикнул в окно:
— Следуй за нами, Роланд!

Будто догадавшись, куда они направляются, Роланд не только последовал за каретой, но обогнал ее и бросился в направлении заставы Фонтенбло.

XI

Замок Вири

Для тех из наших читателей, кто незнаком с целью путешествия, предпринятого Сальватором, г-ном Жакалем и Роландом, скажем несколько слов о том, что произошло накануне.

Узнав, что король назначил время возвращения аббата Доминика таким образом, что тот не успел бы, даже если бы шагал семимильными шагами, Сальватор явился к г-ну Жакалю и сказал:

— Вы позволили мне, сударь, приходить к вам всякий раз, как я окажусь свидетелем какой-нибудь несправедливости.

— Да, дорогой мой господин Сальватор,— отвечивал тот,— я помню, что именно так вам и сказал.

— Я пришел побеседовать об осуждении господина Сарранти.

— Неужели?

— Да.

— Ну что ж, давайте поговорим,— кивнул г-н Жакаль и опустил очки на глаза.

Сальватор продолжал:

— Сударь! Будь вы убеждены, что господин Сарранти невиновен, сделали бы вы для его спасения все, что в вашей власти?

— Естественно, дорогой господин Сальватор!

— В таком случае, вы меня поймете: я просто уверен в его непричастности к преступлениям, вменяемым ему в вину.

— К сожалению,— заметил г-н Жакаль,— я так не думаю.

— Я не только уверен, но и имею доказательства невиновности господина Сарранти и пришел, чтобы представить их вам.

— Вы, дорогой господин Сальватор? Ну, тем лучше!

Сальватор кивнул.

— У вас есть такие доказательства?

— Да.

— Не представите ли вы их в таком случае?

— Я явился как раз просить вас помочь мне сделать их достоянием гласности.

— Я полностью в вашем распоряжении, дорогой господин Сальватор. Говорите скорее!

— Слова — не доказательства: я пришел, чтобы действовать.

— Давайте действовать!

— Вы можете освободиться на ближайшую ночь?

Господин Жакаль искоса бросил на Сальватора молниеносный взгляд.

— Нет,— возразил он.

— А на следующую ночь?

— Прекрасно. Однако мне бы надо знать, на сколько вы меня похищаете.

— Всего на несколько часов.

— Это в Париже или за его пределами?

— За пределами Парижа.

— В скольких лье отсюда?

— Примерно в пяти лье.

— Хорошо.

— Значит, вы будете готовы?

— Я буду к вашим услугам.

— В котором часу?

— После полуночи я ваш телом и душой.

— Итак, послезавтра в полночь?

— Договорились.

И Сальватор покинул г-на Жакаля.

Было восемь часов утра.

В дверях ему встретился господин, закутавшийся в собственный редингот с высоко поднятым воротником словно нарочно для того, чтобы скрывать его лицо.

Сальватор не обратил на него внимания.

Люди, приходившие с визитом к г-ну Жакалю, имели иногда основание не показывать окружающим свое лицо.

Незнакомец поднялся к г-ну Жакалю.

Дежурный доложил о г-не Жераре.

Господин Жакаль не удержался и радостно вскрикнул, потом за ними закрылась дверь.

Встреча продолжалась около часа.

Возможно, позднее мы узнаем, что произошло во время этой встречи; теперь же мы должны следовать по дороге на Фонтенбло за Сальватором, г-ном Жакалем и Роландом.

Время в пути пролетело незаметно.

Когда карета подъехала к мосту Годо, Сальватор приказал кучеру остановить и вышел.

— Я думаю,— сказал г-н Жакаль,— что мы потеряли вашего пса. Было бы жаль: мне показалось, он умный пес.

— Необычайно умный,— подтвердил Сальватор.— Да вы сами сейчас убедитесь.

Господин Жакаль и Сальватор прошли по дороге, обсаженной яблонями, уже знакомой нашим читателям: она вела к воротам парка.

Перед решеткой их уже дожидался Роланд, растянувшись под луной во весь рост и высоко задрав голову, похожий на большого египетского сфинкса.

— Здесь! — доложил Сальватор.

— Прекрасное имение! — отметил г-н Жакаль, подняв очки и заглянув сквозь решетку в глубину парка. — Как же туда проникнуть?

— Очень просто! Да вы сами сейчас увидите, — пообещал Сальватор. — Хоп, Бразил!

Пес вскочил разом на все четыре лапы.

— Мне казалось, вы звали свою собаку Роландом, — заметил г-н Жакаль.

— В городе — да. А в деревне я зову его Бразилом. Это целая история, и я расскажу ее вам в свое время и в подходящем месте. Сюда, Бразил!

Сальватор подошел к тому месту в стене, где он обыкновенно через нее перелезал.

Повинуясь приказанию хозяина, Бразил подошел ближе.

Сальватор поднял его на вытянутых руках — мы видели, как это происходило во время первой их экспедиции в парк Вири — на высоту стены, Бразил уцепился за ее верхушку передними лапами, а задние поставил хозяину на плечи.

— Прыгай! — приказал тот.

Пес спрыгнул по другую сторону каменного забора.

— Ага! — молвил г-н Жакаль. — Кажется, я начинаю понимать. Он подает нам пример.

— Совершенно верно, теперь наш черед, — подтвердил Сальватор; он подтянулся на руках, уцепившись за вершину стены, и сел верхом.

Затем он протянул г-ну Жакалю обе руки и предложил:

— Теперь вы!

— Спасибо, не нужно, — отказался тот от его помощи и вскарабкался на стену сам с ловкостью, которой молодой человек в нем и не подозревал.

Правда, начальник полиции был тощ и его рукам не пришлось выдерживать большой вес.

— Ну, я могу быть за вас спокоен, — заметил Сальватор.

Он спрыгнул в парк.

Господин Жакаль последовал за ним с легкостью и проворством, свидетельствовавшими о том, что гимнастические упражнения ему не в диковинку.

Сдерживая Бразила жестом, Сальватор спросил:

— Знаете ли вы, где мы находимся?

— Нет, — возразил г-н Жакаль, — однако надеюсь, вы будете настолько любезны, что сообщите мне это.

— Мы в замке Вири.

— Ах, Вири!.. Что это за место?

— Я вам напомню: в замке Вири, у честнейшего господина Жерара.

— У господина Жерара? Хм... Имя как будто знакомое...

— Да, я тоже так думаю. В этом имении он не живет уже много лет, он сдал его господину Лоредану де Вальженезу, где тот скрывал Мину.

— Мину?.. Какую еще Мину? — спросил г-н Жакаль.

— Девушку, похищенную в Версале.

— Ну да, ну да... Что с ней случилось?

— Вы позволите рассказать вам одну забавную историю, господин Жакаль?

— Пожалуйста, дорогой господин Сальватор. Вы же знаете, с каким удовольствием я вас слушаю.

— Один мой друг, будучи как-то в России, в Петербурге, имел неосторожность, играя в доме одного богатого сеньора, выложить на карточный стол прелестную табакерку, украшенную бриллиантами. И табакерка исчезла. А он ею очень дорожил.

— Это понятно, — кивнул г-н Жакаль.

— И не столько из-за бриллиантов, сколько из-за того, кто ему подарил эту табакерку.

— На его месте я дорожил бы ею по обоим этим причинам.

— Так как по одной из этих причин он дорожил ею в той же степени, что вы — по обоим причинам, он поведал о приключившейся с ним неприятности хозяину дома, тщательно подбирая выражения, чтобы как-нибудь помягче ему сказать, что у него в доме есть вор. Но, к величайшему его изумлению, хозяин ничуть не удивился.

«Опишите вашу табакерку поподробнее», — только и сказал он в ответ.

Мой друг удовлетворил его просьбу.

«Хорошо, я постараюсь ее отыскать», — пообещал тот.

«Вы намерены обратиться в полицию?»

«Отнюдь нет. Так вы бы никогда ее больше не увидели.

Напротив, не говорите никому ни слова о пропаже».

«Что же вы намерены предпринять?»

«Это мое дело. Я расскажу вам об этом, когда верну табакерку».

Спустя неделю богатый сеньор пришел к моему другу.

«Она?» — спросил он, протягивая табакерку.

«Совершенно верно».

«Это точно ваша табакерка?»

«Ну разумеется!»

«Прошу вас! Однако не кладите ее больше на игральные столы, я понимаю, почему у вас ее украли: она стоит десять тысяч франков как одна копеечка!»

«Как же вам удалось ее отыскать?»

«Ее взял один из моих друзей, граф такой-то».

«И вы осмелились потребовать ее назад?»

«Потребовать назад? Нет, он бы обиделся».

«Как же вы ее забрали?»

«Так же, как и он: я ее украл».

— Ага! — обронил г-н Жакаль.

— Понимаете теперь, на что я намекаю, дорогой господин Жакаль?

— Да. Господин де Вальженез похитил Мину у Жюстена.

— Так! А я украл Мину у господина де Вальженеза.

Господин Жакаль набил нос табаком.

— Я ничего об этом не знал,— проворчал он.

— Нет.

— Почему же господин де Вальженез не пришел ко мне с жалобой?

— Мы уладили это дело сами, дорогой господин Жакаль.

— Ну, раз дело улажено...— начал полицейский.

— Впредь до нового происшествия, во всяком случае.

— Ну и не будем больше об этом.

— Нет, поговорим лучше о господине Жераре.

— Я вас слушаю.

— Господин Жерар, как я вам уже говорил, давно оставил этот замок.

— Некоторое время спустя после кражи господина Сарранти и исчезновения племянников господина Жерара. Мне об этом известно из обсуждений в суде присяжных.

— А вы знаете, как исчезли племянник и племянница господина Жерара?

— Нет, ведь господин Сарранти наотрез отказался от участия в этом деле.

— Он был абсолютно прав. Дело в том, что, когда господин Сарранти уезжал из замка Вири, дети были живы и здоровы и преспокойно играли на лужайке.

— Это он сам так говорит.

— Я знаю, господин Жакаль, что случилось потом с этими детьми.

— Да ну?

— Вот именно так.

— Рассказывайте, дорогой господин Сальватор, мне чрезвычайно интересно!

— Девочку зарезала госпожа Жерар, а мальчика утопил господин Жерар.

— Зачем? — удивился полицейский.

— Не забывайте, что господин Жерар был не только опекуном, но и наследником детей.

— Что вы говорите, дорогой господин Сальватор! Я не был знаком с госпожой Жерар...

— А никакой госпожи Жерар и не существовало, ее звали просто Урсула.

— Может, и так. Зато я знавал господина Жерара, честнейшего господина Жерара, как его называют.

И господин Жакаль скривил в улыбке губу, как умел делать он один.

— Ну что ж, честнейший господин Жерар топил мальчика, в то время как его жена пыталась резать девочку.

— И вы можете это доказать? — уточнил г-н Жакаль.
— Несомненно.
— Когда?
— Немедленно, если, конечно, вы согласитесь следовать за мной.

— Раз уж я здесь... — начал г-н Жакаль.
— ...нужно дойти до конца, не так ли?
Господин Жакаль кивнул и повел плечами.
— Идемте, — пригласил Сальватор.

Шагая вдоль парковой ограды, они направились к дому, в то время как Сальватор голосом и жестом сдерживал Бразила, которого будто влекла в глубину парка неведомая и невидимая сила.

XLI

Глава, в которой господин Жакаль сожалеет, что Сальватор — честный человек

Оба спутника подошли к крыльцу замка. В доме было совершенно темно, ни в одном окне света не было. Очевидно, он пустовал.
— Давайте ненадолго задержимся здесь, дорогой господин Жакаль, — предложил Сальватор. — Я хочу вам рассказать, как все произошло.

— Это ваши догадки?

— Нет, я уверен в том, что сейчас скажу. Перед нами пруд, в котором утопили мальчика. А за спиной у нас — погреб, в котором зарезали девочку. Начнем с погреба.

— Да, но для этого нужно войти в дом.

— Это пусть вас не беспокоит: во время своего последнего визита сюда я подумал, что рано или поздно непременно вернусь, и захватил ключ от входной двери. Войдем!

Роланд хотел было последовать за ними.

— Тубо, Бразил! — приказал Сальватор. — Жди здесь, пока тебя не позовет хозяин.

Бразил сел и стал ждать.

Сальватор вошел первым.

Господин Жакаль прошел следом.

Сальватор прикрыл за ним дверь.

— Вы видите в темноте не хуже кошки или рыси, не правда ли, господин Жакаль? — спросил Сальватор.

— Благодаря очкам, — подтвердил г-н Жакаль, поднимая их на лоб, — да, господин Сальватор... Во всяком случае, я вижу достаточно хорошо для того, чтобы со мной ничего не случилось.

— Тогда прошу следовать за мной.

Сальватор пошел налево по коридору.

Господин Жакаль держался по-прежнему чуть позади.

Вскоре они спустились на двенадцать ступеней вниз, и коридор привел их, как помнят читатели, в кухню, а оттуда — в подвал, где разыгралась уже описанная нами ужасная сцена.

Сальватор не останавливаясь миновал кухню, подошел к погребу и сказал:

— Здесь.

— Что — здесь? — уточнил г-н Жакаль.

— Именно здесь зарезала ее госпожа Жерар.

— Ах, здесь?

— Здесь, Бразил, верно? — крикнул Сальватор.

Пес, словно ураган, влетел через окно погреба и упал к ногам своего хозяина и г-на Жакаля.

— Что это значит? — отступая, спросил полицейский.

— Бразил вам показывает, как все произошло.

— Ого! — воскликнул г-н Жакаль. — Уж не Бразил ли задушил несчастную госпожу Жерар?

— Он самый.

— В таком случае, Бразил — ничтожный убийца и его следует отравить.

— Бразил — честный пес и заслуживает награды.

— Что вы хотите этим сказать?

— Бразил задушил госпожу Жерар, потому что она едва не убила маленькую Леони. Пес обожал девочку, он услышал ее крик и примчался на помощь. Так, Бразил?

Пес громко и протяжно взвыл.

— Теперь, — продолжал Сальватор, — если вы сомневаетесь в том, что это случилось здесь, зажгите свечу и взгляните на плиты.

И, словно было вполне естественно иметь при себе огниво, спички и свечу, г-н Жакаль вынул из кармана редингота фосфорическую коробочку и витую восковую свечку.

Скоро свеча была зажжена и г-н Жакаль заморгал, привыкая к свету.

Можно было подумать, что для него, как для хищной птицы, привычнее была темнота, нежели дневной свет.

— Наклонитесь, — предложил Сальватор.

Господин Жакаль так и сделал.

На плите было едва заметно красноватое пятно.

Сальватор указал на него пальцем.

Вполне можно было усомниться, что это пятно крови, однако г-ну Жакалю, несомненно, не пришло в голову отрицать это обстоятельство.

— И что доказывает эта кровь? Она могла бы принадлежать как госпоже Жерар, так и малышке Леони.

— Это в самом деле кровь госпожи Жерар, — подтвердил Сальватор.

— Откуда вам это известно?

— Подождите.

Сальватор позвал Бразила.

— Бразил! — сказал он. — Ищи! Ищи!

Он указал псу на следы крови.

Пес опустил нос к плите, но скоро снова с ворчанием поднял морду и попытался схватить камень зубами.

— Вот видите! — произнес Сальватор.

— Я вижу, что ваш пес взбесился, и только.

— Погодите!.. Теперь я вам покажу кровь малышки Леони.

Господин Жакаль смотрел на Сальватора с нескрываемым удивлением.

Сальватор взял из рук г-на Жакаля свечу и, перейдя из подвала в погребок, указал ему на плиты в направлении двери, что выходила в сад; там тоже были пятна крови.

— Вот кровь девочки, — сказал он. — Не так ли, Бразил?

На сей раз Бразил осторожно приблизил морду к плите, словно собирался ее поцеловать. Он жалобно взвыл и лизнул плиту.

— Видите! — вскричал Сальватор. — Девочку не успели убить: пока Бразил душил Урсулу, девочка убежала через сад.

— Хм, хм! — усомнился г-н Жакаль. — И что дальше?

— Это все, что касается девочки. Теперь займемся ее братом.

Он потушил свечу и вернул ее г-ну Жакалю.

Потом оба они перешли в сад.

— Здесь мы проследим за второй частью драмы, — объявил Сальватор. — Вот пруд, в котором господин Жерар утопил маленького Виктора, пока госпожа Жерар пыталась покончить с девочкой.

Они прошли всего несколько шагов и очутились на берегу пруда.

— Ну, Бразил, расскажи-ка нам, как ты вытащил из воды тело своего юного хозяина, — попросил Сальватор.

Казалось, Бразил отлично понял, что от него требуется, и не заставил себя упрашивать: он бросился в воду, проплыл примерно треть расстояния, отделявшего его от другого берега, нырнул, снова появился на поверхности воды, потом вышел на берег, улегся на траве и взвыл.

— Этот пес, несомненно, мог бы обыграть в шахматы самого Мюнито, — заметил г-н Жакаль.

— Подождите, подождите, — остановил его Сальватор.

— Я жду, — отозвался г-н Жакаль.

Сальватор повел г-на Жакаля в рошу.

Там он пригласил полицейского снова зажечь свою свечу.

Господин Жакаль исполнил его просьбу.

— Взгляните, — молвил Сальватор, указывая полицейскому на глубокий шрам в стволе одного из деревьев, — взгляните и скажите, что это такое!

— Думаю, это след от пули, — предположил г-н Жакаль.

— А я в этом просто уверен, — заявил Сальватор.

Он достал острый нож с тонким лезвием, служивший ему также кинжалом и скальпелем, отковырнул кору и достал кусочек свинца.

— Видите! Пуля еще здесь,— заметил он.

— Я и не отрицаю,— проговорил г-н Жакаль.— Однако что доказывает пуля в стволе дерева? Надо бы поглядеть, где она прошла, прежде чем застрять здесь.

Сальватор позвал Бразила.

Тот подбежал к хозяину.

Молодой человек взял г-на Жакаля за палец и провел им сначала по правому, а затем по левому боку Бразила.

— Чувствуете?— спросил он.

— Да, что-то есть.

— Что именно?

— Похоже на два шрама.

— Вы спрашивали, где прошла пуля: теперь вы это знаете.

Господин Жакаль смотрел на Сальватора со всевозрастающим восхищением.

— Ну, идемте дальше!— предложил Сальватор.

— Куда мы направляемся?— спросил г-н Жакаль.

— Туда, куда, как сказал Юраций, надо поторопиться: к развязке— *ad eventum festina*.

— Ах, дорогой господин Сальватор!— вскричал г-н Жакаль.— Какое несчастье, что вы честный человек!

И он последовал за Сальватором.

XLII

Охота без добычи

— Теперь вы все понимаете, не так ли?— спросил Сальватор, идя берегом пруда.

— Не совсем,— признался г-н Жакаль.

— Пока девочку пытались прирезать в погребке, мальчика топили в пруду. Бразил бросился на крики девочки, задушил Урсулу, или госпожу Жерар, как вам больше нравится. Потом он поспешил на поиски другого своего друга, мальчика, и нашел его на дне пруда. Он вытащил его на траву и получил пулю в бок, которая, выйдя с другой стороны, угодила в ствол дерева, где мы ее и обнаружили. Тяжело раненный, пес с воем убежал в лес. Тогда убийца поднял труп мальчика, унес его в лес и закопал.

— Закопал!— ужаснулся г-н Жакаль.— Где же?

— Сейчас увидите сами.

Господин Жакаль покачал головой.

— Там, где я видел его сам,— продолжал Сальватор.

Господин Жакаль снова покачал головой.

— А если вы все-таки его увидите?..— спросил Сальватор.

— Если увижу...— с сомнением произнес г-н Жакаль.

— Что вы тогда скажете?

— Скажу, что он там есть.

— Тогда идемте! — сказал молодой человек.

И он ускорил шаг.

Нам знаком их путь: сначала мы проследили за г-ном Жера-ром, совершившим преступление, потом за Сальватором, проводившим расследование.

Бразил опережал двух спутников на несколько шагов, постоянно оборачиваясь.

— Вот мы и пришли, — сообщил Сальватор, входя в чащу.

Господин Жакаль шел по его следам.

Но, придя на место, Бразил остановился, словно сбитый с толку.

Вместо того чтобы уткнуться мордой в землю и поскрести землю лапами, он замер и с ворчанием стал нюхать воздух.

Сальватор, читавший мысли Бразила так же легко, как сам пес понимал хозяина, понял, что произошло нечто необычное.

Он осмотрелся по сторонам.

Его взгляд остановился на г-не Жакале: луна осветила в эту минуту его лицо.

На губах у полицейского мелькнула непонятная усмешка.

— Вы говорите, что здесь? — спросил г-н Жакаль.

— Да, — подтвердил Сальватор.

Он обратился к собаке:

— Ищи, Бразил!

Пес ткнулся мордой в землю, потом поднял голову и пронзительно взвыл.

— Ого! — удивился Сальватор. — Неужели мы ошиблись, славный пес? Ищи, Бразил, ищи!

Однако Бразил помотал головой, словно хотел сказать, что искать бесполезно.

— Ба! — обронил Сальватор. — Неужели?..

Он опустился на колени и сам проделал то, что отказывался исполнить пес, то есть запустил руку поглубже в землю.

Это оказалось тем более легко, что земля была свежевскопана.

— Ну что? — спросил г-н Жакаль.

— Тело похищено, — глухо проговорил Сальватор, потеряв последнюю надежду.

— Жаль! — заметил г-н Жакаль. — Дьявол! Вот дьявол! Это же было бы отличное доказательство!.. Поищите получше!

Несмотря на нескрываемое отвращение, которое испытывал Сальватор, дотрагиваясь в этом месте до земли, он по самое плечо запустил руку в яму, после чего поднялся на ноги бледный, со взмокшим лицом, с горящим взором и снова повторил:

— Тело похищено!

— Кем же? — любопытствовал г-н Жакаль.

— Это сделал тот, кто заинтересован в его исчезновении.

— А вы уверены, что тело здесь было? — спросил г-н Жакаль.

— Говорю же вам, что здесь, на этом самом месте, куда меня привел Роланд, или Бразил, называйте как хотите, я обнаружил скелет малыша Виктора; его сначала утопил, а потом закопал здесь его дядя, а из воды вытащил Роланд. Ведь он был здесь, Роланд?

Пес встрепнулся, вскочил передними лапами Сальватору на грудь и жалобно взвыл.

— Когда же он тут был? — уточнил г-н Жакаль.

— Еще третьего дня, — отвечал Сальватор. — Стало быть, его похитили вчерашней ночью.

— Естественно!.. Естественно! — кивнул г-н Жакаль, хотя ни в его голосе, ни в выражении лица уверенности не ощущалось. — Раз вы полагаете, что еще третьего дня тело было здесь...

— Я не полагаю, — возразил Сальватор, — я утверждаю.

— Вот дьявол! — повторил г-н Жакаль.

Сальватор взглянул полицейскому прямо в лицо.

— Признайтесь, — сказал он, — что вы заранее знали: мы ничего здесь не найдем.

— Господин Сальватор! Я верю каждому вашему слову, а раз вы сказали, что мы здесь найдем нечто...

— Признайтесь, что вы догадываетесь, кто похитил тело.

— По правде говоря, я ни о чем не догадываюсь, дорогой господин Сальватор.

— Черт подери! Дорогой господин Жакаль! — вскричал молодой человек. — Не очень-то вы проникательны нынче вечером!

— Должен вам сказать, — отвечал г-н Жакаль с прежним добродушным видом, — что ночная сцена в безлюдном парке на краю могилы остроумия не прибавит даже большому умнику: сколько бы я ни пытался, я не могу угадать, кто бы мог украсть скелет.

— Уж во всяком случае не господин Сарранти, так как он в тюрьме.

— Нет, — согласился г-н Жакаль. — Однако это может быть делом рук его сообщников, ведь ничто не доказывает, что труп закопал здесь сам господин Сарранти, верно? Ничто не доказывает, что не господин Сарранти утопил мальчика и стрелял в собаку, так?

— Я, я, я докажу! — вскричал Сальватор. — Впрочем... Нет! Слава Богу, я надеюсь отыскать доказательство получше этого... Вы допускаете, не так ли, что похитивший тело мальчика и есть убийца?

— Вы заходите слишком далеко.

— Или по крайней мере его сообщник.

— Повод к подозрению, во всяком случае, есть.

— Роланд! Ко мне! — приказал Сальватор.

Пес повиновался.

— Роланд! Вчера ночью здесь кто-то был, так?

Пес заворчал.

— Ищи, Роланд! Ищи! — приказал Сальватор.

Роланд описал круг, взял след и бросился было к воротам.

— Тубо, Роланд, тубо! — крикнул Сальватор. — Не так скоро! Господин Жакаль! Давайте последуем за Роландом.

Господин Жакаль двинулся вперед со словами:

— Прекрасная у вас ищейка, господин Сальватор! Прекрасная! Если когда-нибудь захотите продать своего пса, я знаю покупателя, который даст вам за него хорошие деньги.

Пес с рычанием шел по следу.

Шагов через двадцать он сделал крюк, потом повернул налево.

— Свернем и мы влево, господин Жакаль! — предложил Сальватор.

Господин Жакаль послушно исполнил просьбу.

Еще через двадцать шагов пес повернул направо.

— Идемте вправо, господин Жакаль, — сказал Сальватор.

Господин Жакаль так же точно исполнил и эту просьбу.

Еще через десять шагов пес остановился посреди рощи.

Сальватор нагнал его.

— Ага! — заметил он. — Тот, кто утащил кости ребенка, хотел закопать их здесь. Он даже копнул два раза лопатой, вот в этом месте, но потом решил, что надо отойти подальше. Верно, Роланд?

Пес жалобно заскулил и побежал к воротам.

Там он остановился, но было заметно, что ему не терпится вырваться наружу.

— Продолжать поиски в парке бессмысленно, — сказал Сальватор. — Тело вынесли здесь.

— Дьявольщина! — выругался г-н Жакаль. — Ворота закрыты, а запор, по-моему, надежный.

— Мы найдем какой-нибудь рычаг или клещи и взломаем замок, — предложил Сальватор. — В крайнем случае мы перелезем через забор, как сделали, забираясь сюда. А по ту сторону ворот мы снова возьмем след.

И Сальватор бросился к каменному забору с намерением через него перелезть.

— Погодите! — остановил его г-н Жакаль, удерживая за полу редингота. — Я знаю еще более короткий путь.

Он вынул из кармана связку отмычек, перепробовал несколько из них, на третьей ворота распахнулись словно по волшебству.

Бразил прошел первым и, как и предвидел Сальватор, сразу же снова взял след.

Следы вели вдоль стены, потом через поля напрямик к большой дороге.

Шагая через пашню, преследователи увидели даже отпечатки следов.

— Смотрите-ка! — вскричал Сальватор. — Теперь видите?

— Вижу, — ответил Жакаль. — К несчастью, на следах не написано, чьи они.

— Ничего! — бросил Сальватор. — Возможно, мы обнаружим владельца в конце нашего пути.

Однако след обрывался на большой мощеной дороге шириной примерно в двадцать пять метров.

Дойдя до нее, Роланд поднял морду и взвыл.

— Здесь ждала карета, — заметил Сальватор, — человек сел в нее вместе с трупом.

— Что же теперь делать? — спросил г-н Жакаль.

— Мне остается поискать, где он вышел.

Господин Жакаль покачал головой.

— Ах, дорогой господин Сальватор, — сказал он, — боюсь, вы хлопчете впустую.

— А я, господин Жакаль, уверен, что найду нечто интересное, — войдя в азарт, возразил Сальватор.

Господин Жакаль скептически усмехнулся.

— След потерян, — продолжал он, — госпожа Жерар мертва, дети — тоже...

— Да, — подхватил Сальватор, — но не оба ребенка.

— Как — не оба? — притворяясь удивленным, воскликнул г-н Жакаль. — Вы же сами мне сказали, что мальчика утопили?

— Да, но я вам показал следы крови маленькой девочки, которая пыталась убежать.

— Что же из этого следует?

— Пока Бразил душил добрейшую госпожу Жерар, девочка убежала... и... спаслась.

— Она до сих пор жива? — спросил г-н Жакаль.

— Жива.

— Вот кто может пролить свет на это дело, в особенности если девочка все помнит.

— Она ничего не забыла.

— Для нее это, возможно, не самое приятное воспоминание, — покачал головой г-н Жакаль.

— Да, — кивнул Сальватор. — Но как бы ни были вы жалостливы, дорогой господин Жакаль, какое бы волнение ни причиняло ей это воспоминание, вы тем не менее допросите ее, раз речь идет о жизни человека, не так ли?

— Разумеется! Это мой долг.

— Вот все, что я хотел на сегодня знать. Скоро рассвет. Если вам угодно вернуться в Париж, я вас больше не задерживаю, дорогой господин Жакаль.

И Сальватор приготовился перепрыгнуть придорожную канаву.

— Куда вы? — спросил г-н Жакаль.

— Хочу найти карету, которую мы оставили на мосту Годо.

— Карета сама сюда придет, — остановил его г-н Жакаль.

Он вынул из своего широченного кармана свисток, поднес его к губам и пронзительно свистнул, так что его должны были услышать в полутора милях в округе.

Он трижды повторил условный знак.

Спустя некоторое время раздался стук колес по мостовой.

Это был экипаж г-на Жакаля.

Оба собеседника сели в карету.

Неутомимый Роланд опять побежал впереди.

В восемь часов утра карета въехала в город через заставу Фонтенбло.

— Позвольте завезти вас домой, господин Сальватор, это нам по дороге,— предложил г-н Жакаль.

У Сальватора не было оснований отказываться от любезного предложения г-на Жакаля.

Он молча кивнул.

Карета остановилась на улице Макон у дома под номером четыре.

— Ну, в другой раз нам повезет больше, дорогой господин Сальватор,— высказал предположение г-н Жакаль.

— Надеюсь, так и будет,— отозвался Сальватор.

— До свидания! — попрощался г-н Жакаль.

— До свидания! — ответил Сальватор.

Он выскочил из кареты, дверца захлопнулась, и лошади помчали галопом.

— Ах, демон! — бросил вслед полицейскому Сальватор. — Я подозреваю, что ты лучше меня знаешь, где труп несчастного мальчика.

С этими словами он отворил дверь и вошел в дом.

— Ну ничего,— успокоил он себя. — Остается еще Розочка.

И он начал подниматься по лестнице, по которой уже взлетел Роланд.

— Это ты, любимый? — донеслось сверху.

— Я! — крикнул Сальватор.

И он бросился в объятия Фраголы.

Он забыл на мгновение о неудаче, постигшей его в парке Вири.

Фрагола первая пришла в себя.

— Ступай, Сальватор! — сказала она. — Тебя с семи часов дожидается какая-то старуха, она плачет, но не говорит, что случилось.

— Старуха?! — переспросил Сальватор. — Это Броканта.

Он бросился в комнату.

— Что с Розочкой? Что с ней? — прокричал он на бегу.

— Увы! — отозвалась Броканта. — Нынче утром вошла я к ней — окно открыто, а девчонки в комнате нет.

— Ах, ты! — вскричал Сальватор, стукнув себя кулаком по лбу. — Мне бы следовало предположить, что, раз я не нашел тело ее брата, кто-нибудь постарается сделать так, чтобы исчезла и сестра!

Да здоровствует размах!

Объясним теперь, как получилось, что исчезло тело, за которым понапрасну приезжали в парк Вири Сальватор и г-н Жакаль.

Читатели помнят, что, выходя от начальника полиции, Сальватор встретил — хотя час был ранний и такая мера предосторожности казалась излишней — человека, закутанного в широкий редингот с огромным воротником, в котором тот прятал лицо.

Незнакомец, на которого Сальватор взглянул лишь мельком, поднялся по лестнице и попросил доложить о небезызвестном г-не Жераре.

Это в самом деле был г-н Жерар.

Судя по тому, как торопливо он пробежал через двор и взлетел по лестнице, которая вела к кабинету начальника тайной полиции, а также по тому, как старательно он наклонялся к земле, тщательно скрывая ту часть лица, которая неизбежно оказывалась открытой, несмотря на низко надвинутую шляпу и высоко поднятый воротник, наблюдательный человек непременно отвернулся бы с отвращением, узнав в этом человеке «доносчика» в полном смысле этого слова.

Как мы уже сказали, начальнику полиции доложили о г-не Жераре.

Дверь в кабинет г-на Жакаля распахнулась, и посетитель шагнул за порог.

— Ага! — молвил г-н Жакаль. — Вот и честнейший господин Жерар! Входите, дорогой мой, входите!

— Я, может быть, не вовремя? — спросил г-н Жерар.

— Вы — не вовремя?! Это невозможно.

— Вы очень добры, сударь, — промямлил г-н Жерар.

— Я, напротив, собирался за вами послать... Чтобы вы меня побеспокоили?! Скажете тоже! Вы — мой верный друг, мой герой, мой любимчик! Надеюсь, господин Жерар, вы сказали это в шутку.

— Мне показалось, что вы стояли...

— Да, конечно. Я только что проводил одного из ваших друзей.

— Одного из моих друзей? Кто же это?

— Господин Сальватор.

— Я с ним незнаком, — растерялся г-н Жерар.

— Зато он вас знает; так я, во всяком случае, думаю.

— Мне показалось, вы собирались выйти.

— И вы надеялись, что наша беседа не состоится, неблагоприятный?

— Господин Жакаль...

— Положите-ка вот сюда свою шляпу. У вас всегда такой вид, будто вы собираетесь сбежать... Вот так, хорошо... Теперь

садитесь! Где еще, дорогой господин Жерар, вы найдете лучшего товарища и более любезного собеседника, чем я? Неблагодарный! Не говоря уж о том, что, пока вы радуете о безопасности короля, я забочусь о вас! Да, я точно собирался выйти. Но вы пришли, и я остаюсь... Выйти! Да, черт возьми! Я готов пожертвовать своими самыми интересными делами ради удовольствия побеседовать с вами. Что же вы можете рассказать мне новенького, честнейший господин Жерар?

— Немного, сударь.

— Тем хуже, тем хуже.

Господин Жерар покачал головой, словно хотел сказать: «Заговор стоит на месте».

— Что еще? — продолжал настаивать г-н Жакаль.

— Вчера к вам должны были доставить человека, которого я приказал арестовать у кафе Фуа.

— Что он делал?

— Вел разнузданную наполеоновскую пропаганду.

— Расскажите об этом поподробнее, дорогой господин Жерар.

— Вообразите...

— Скажите прежде, как его зовут.

— Не знаю, сударь... Вы же понимаете, что с моей стороны было бы неосмотрительно спрашивать у него его имя.

— А приметы?

— Высокий, плечистый, одет в длинный синий редингот, наглухо застегнутый, с красным бантом в петлице.

— Отставной офицер?

— Так я и подумал, особенно когда увидел его широкополую шляпу, надвинутую на глаза и решительно сдвинутую набок.

— Неплохо, господин Жерар, неплохо для начинающего, — пробормотал г-н Жакаль. — Вот вы увидите: мы сделаем из вас отличного сыщика. Продолжайте.

— Он вошел в кафе, и я последовал за ним, так как он показался мне подозрительным.

— Хорошо, господин Жерар, очень хорошо!

— Он сел за столик и спросил маленькую чашку кофе и графин водки, заявив во всеуслышание: «Я пью кофе только с водкой! Обожаю «глорию»!» И он огляделся, словно ожидая, не ответит ли ему кто-нибудь.

— Неужели никто так и не отозвался?

— Никто... Тогда он решил, что не все сказал, и прибавил: «Да здравствует «глория»!»

— Дьявольщина! — выругался г-н Жакаль. — Да он настоящий бунтарь! «Да здравствует «глория»!» — это все равно что сказать: «Да здравствует слава!»

— Я тоже так подумал, а так как при настоящем правительстве, которое по-отечески о нас заботится, у нас нет оснований кричать: «Да здравствует слава!» — этот человек показался мне подозрительным.

— Очень хорошо!.. Вот бандит с Луары!..

— Я сел за стол напротив и решил послушать и посмотреть, что будет дальше.

— Браво, господин Жерар!

— Он спросил газету...

— Какую?

— Откуда мне знать?

— Вот тут вы не правы, господин Жерар.

— Думаю, «Конститюсьонель».

— Да, это была «Конститюсьонель».

— Вы полагаете?

— Я в этом уверен.

— Если так, господин Жакаль...

— Он спросил «Конститюсьонель»... Продолжайте.

— Он спросил «Конститюсьонель», но я заметил, что сделал он это исключительно из бахвальства. То ли случайно, то ли из презрения он все время держал ее вверх ногами до тех пор, пока в кафе не вошел один из его друзей.

— Почему вы решили, господин Жерар, что это его друг?

— Они были одеты абсолютно одинаково, только у вновь прибывшего костюм был поношенный.

— Вот что значит вернуться из Шан-д'Азиль... Продолжайте, господин Жерар, это был его друг, у меня нет в этом ни малейших сомнений.

— Это тем более вероятно, что вошедший направился к тому, что сидел за столом, и подал ему руку.

«Здорово»,— грубо сказал первый.

«Здорово!— в том же тоне отозвался второй.— Ты получил наследство?»

«Я?»

«Ты!»

«Это еще почему?»

«Да потому, черт побери, что одет ты с иголки».

«Это жена меня придела по случаю моих именин».

«А я думал, ты денежки получил!»

«Нет, по-моему, нам придется и дальше верить некоторое время в кредит нашему венскому корреспонденту».

— Герцогу Рейхштадтскому! — заметил г-н Жакаль.

— Я тоже так решил,— кивнул г-н Жерар.

«Знаешь,— продолжал первый офицер,— этот самый венский корреспондент чуть было не приехал в Париж».

«Знаю,— отвечал другой,— да ему помешали».

«Что отложено, то еще не проиграно».

— Хм, хм! Господин Жерар, зачем же вы сказали, что вам почти нечего мне сообщить? Я считаю, что и это уже много, даже если вам нечего было бы прибавить...

— Мне есть что прибавить, сударь.

— А вы продолжайте, продолжайте, господин Жерар.

Господин Жакаль с довольным видом достал табакерку и понюхал табаку.

Господин Жерар заговорил снова:

— Первый офицер сказал:

«Прекрасный редингот, черт побери!»

Он провел рукой по сукну.

«Отличный!» — с гордостью подтвердил второй.

«Чудесный ворс!»

«Эльбефское сукно».

«Широковат, пожалуй».

«Ты о чем?»

«Да твой редингот, по-моему, широковат для солдата...».

— Это лишний раз доказывает,— заметил г-н Жакаль, что то был военный и вы не ошиблись, господин Жерар.

«Почему широковат? — возразил офицер. — Одежда не бывает слишком широка: я люблю все широкое, я за большие вещи! Да здравствует монарх!»

— Да здравствует монарх?! При чем здесь монарх? Это он по поводу редингота сказал?

— Я знаю, что звучит это бессвязно,— смущенно проговорил г-н Жерар. — Но мне послышался «монарх», то есть «император».

Господин Жакаль с шумом втянул носом вторую понюшку.

— Допустим, он крикнул: «Да здравствует монарх!»

— Допустим, так,— обрадовался г-н Жерар; было заметно, что разговор его смущает. — Вы же понимаете, что, услышав этот бунтарский призыв, заставивший обернуться нескольких посетителей, я вышел из кафе?

— Понимаю.

— В дверях я столкнулся с двумя агентами и описал им своего подопечного. Ушел я только после того, как увидел: они взяли его за шиворот.

— Bravo, господин Жерар! Однако удивительно то, что я не видел этого человека; мне не подавали на него рапорт.

— Уверяю вас, он был арестован, господин Жакаль.

Начальник полиции позвонил.

Вошел дежурный.

— Вызовите Жибасье,— приказал полицейскому г-н Жакаль.

Тот удалился.

Прошло несколько минут, г-н Жакаль успел перерыть все папки на столе.

— Ничего не вижу,— сказал он,— абсолютно ничего!

Снова вошел дежурный.

— Ну что там? — спросил г-н Жакаль.

— Господин Жибасье ждет.

— Пусть войдет.

— Он говорит, вы не один...

— Верно... Господин Жибасье, как и вы, господин Жерар, человек скромный и не любит мозолить глаза. По его мнению, он похож на фиалку: его можно найти только по запаху... Перейдите вот в эту комнату, господин Жерар.

Господин Жерар, заботившийся о своем инкогнито не меньше Жибасье, поспешил в соседний кабинет и тщательно притворил за собой дверь.

— Входите, Жибасье! — крикнул г-н Жакаль. — Я один!

Жибасье вошел с неизменной улыбкой на лице.

— В чем дело, Жибасье! — проворчал г-н Жакаль. — Мы поймали важную птицу, а я ничего не знаю!

Жибасье вытянул шею и широко распахнул глаза, словно хотел сказать: «Не понимаю вас!»

— Вчера, — продолжал г-н Жакаль, — арестовали человека, кричавшего: «Да здравствует монарх!»

— Где это произошло, господин Жакаль?

— В кафе Фуа, господин Жибасье.

— В кафе Фуа? Человек кричал совсем не «Да здравствует монарх!»

— Что же он кричал?

— «Да здравствует размах!»

— Ошибаетесь, господин Жибасье.

— Позвольте мне с вами не согласиться: я уверен в том, что говорю.

— Как вы можете быть в этом уверены?

— Да ведь это был я собственной персоной! — сказал Жибасье.

Господин Жакаль поднял очки и, ослабившись, взглянул на Жибасье.

— Вот что значит, — произнес он наконец, — иметь две сотни полицейских! Подобное недоразумение не должно повториться.

Подойдя к двери в соседнюю комнату, где спрятался г-н Жерар, он крикнул:

— Эй, господин Жерар, можете выходить!

— Вы один? — через дверь спросил г-н Жерар.

— Один или почти так, — ответил г-н Жакаль.

Господин Жерар, как всегда, робко вышел из-за двери.

Однако, заметив Жибасье, он отступил назад.

— Кто это?

— Вот этот господин?

— Да.

— Вы его узнаете?

— Еще бы!

Он склонился к уху г-на Жакаля.

— Это тот офицер из кафе Фуа.

Господин Жакаль взял г-на Жерара за руку.

— Дорогой мой господин Жерар! — сказал он. — Позвольте вам представить господина Жибасье, помощника командира полицейской бригады.

Обращаясь к Жибасье, он продолжал:

— Дорогой мой Жибасье, познакомьтесь с господином Жераром, одним из самых преданных наших агентов.

— Господин Жерар? — переспросил Жибасье.

— Да, честнейший господин Жерар из Ванвра, вы его знаете. Жибасье почтительно поклонился и, пятась, вышел вон.

— Что это значит? — спросил г-н Жерар и побледнел. — Неужели господину Жибасье известно?..

— ...все, дорогой мой господин Жерар!

Убийца позеленел от ужаса.

— Пусть это нимало вас не беспокоит, — проговорил г-н Жакаль. — Жибасье все равно что я сам.

— Ах, сударь! — пролепетал шпион. — Зачем вы представили меня этому человеку?

— Прежде всего потому, что знакомство делу не повредит, если люди служат общей цели.

— Кроме того, — продолжал г-н Жакаль, и каждое слово будто отпечаталось в душе г-на Жерара, — разве не важно ему знать вас на тот случай, если какой-нибудь растяпа арестует вас по ошибке?

При мысли о возможном аресте г-н Жерар рухнул в вальтеровское кресло г-на Жакаля.

Однако тот не обиделся. Он оставил г-на Жерара в своем кресле, а сам сел против него на простой стул.

XLIV

Добрый совет

Господин Жакаль дал г-ну Жерару прийти в себя. Наконец г-н Жерар медленно поднял на него глаза. Господин Жакаль повел плечами.

— Ничего не поделаешь! — добродушно выговорил он. — На сей раз опять неудача!

— Какая? — не понял г-н Жерар.

— Я имею в виду орден Почетного легиона.

Надобно признать, что несчастный г-н Жерар и думать об этом забыл.

— Больше вам нечего мне сказать? — спросил г-н Жакаль.

— Нечего, сударь, могу поклясться.

— Черт побери!.. Ну, теперь мой черед сообщить вам нечто такое, что может вас заинтересовать.

Господин Жакаль поднял очки, проницательно посмотрел на собеседника, и тот почувствовал, что бледнеет.

Приказом свыше г-ну Жакалю было предписано оберегать г-на Жерара, однако полицейский не мог отказать себе в удовольствии помучить своего подопечного: он был бессилен против невинного и стойко сносившего свалившиеся на него беды г-на

Сарранти, заключенного в одиночную камеру и с минуты на минуту ожидавшего смертной казни; зато г-н Жерар, гулявший на свободе и по-прежнему уважаемый согражданами, находился в полной власти начальника полиции.

Вот что чувствовал г-н Жерар, вот почему он бледнел под взглядом г-на Жакаля.

Всякий раз выходя из особняка на Иерусалимской улице, он чувствовал себя жертвой после экзекуции.

Разница заключалась в том, шла ли речь о простом допросе или с пристрастием.

Хотя г-н Жерар и побледнел, он с нетерпением ждал, что скажет начальник полиции.

Но кот держал мышонка в когтях и не мог отказать себе в удовольствии поиграть с ним.

Господин Жакаль вынул из кармана табакерку, запустил в нее два пальца, зачерпнул огромную щепоть и с наслаждением втянул табак носом.

Господин Жерар не смел торопить полицейского; он ждал со смирением, не лишенным, впрочем, доли нетерпения.

— Вы знаете, дорогой господин Жерар,— заговорил наконец начальник полиции,— что через неделю истекает срок, отпущенный королем Карлом Десятым господину Сарранти?

— Знаю,— пробормотал г-н Жерар, бросив на г-на Жакаля полный беспокойства взгляд.

— Вам также известно, что аббат Доминик вернется, возможно, послезавтра... завтра... а может быть, и сегодня.

— Да, да, знаю,— отозвался филантроп, дрожа всем телом.

— Если вы так дрожите в самом начале, дорогой господин Жерар, вы непременно лишитесь чувств, когда узнаете, о чем пойдет речь. А лишившись чувств, не услышите того, что мне необходимо вам сообщить, а ведь это, вероятно, самое интересное.

— Что же делать?! — в отчаянии вскричал г-н Жерар.— Это сильнее меня.

— Ну, чего вам бояться со стороны аббата Доминика, раз я вам сказал, что папа отклонит его просьбу?

Господин Жерар вздохнул свободнее.

— Вы действительно так думаете? — спросил он.

— Мы знаем его святейшество Григория Шестнадцатого. Это кремь!

Господин Жерар начал постепенно приходить в себя.

Господин Жакаль дал ему время отдышаться.

— Нет, опасаться вам следует совсем не этого,— продолжал он.

— Ах ты Господи! Значит, мне есть чего опасаться? — прошептал г-н Жерар.

— Дорогой господин Жерар! Неужели вы в такой малой степени философ и не знаете, что человек, слабое создание,

находящееся в постоянной борьбе с окружающим миром, не мог бы ни на мгновение передохнуть, если бы видел нескончаемые опасности, которые ему угрожают и которые он избегает лишь чудом?

— Увы! — промямлил г-н Жерар. — В ваших словах немалая доля правды, господин Жакаль.

— Раз вы готовы это признать, — с поклоном продолжал г-н Жакаль, — я хочу задать вам вопрос.

— Пожалуйста, сударь, задавайте!

— Поэты, господин Жерар... мерзкое отродье, не так ли?..

— Я незнаком с поэтами, сударь. Да и за всю свою жизнь я прочел едва ли четыре строчки.

— Так вот! Поэты утверждают, что мертвые встают иногда из могил. Что вы по этому поводу думаете?

Господин Жерар пробормотал нечто нечленораздельное и снова затрясся всем существом.

— До сих пор я в это не верил, — продолжал г-н Жакаль. — Но происшедший недавно случай с моим знакомым просветил меня на этот счет, и теперь я способен защитить по этому вопросу диссертацию. Нет, сами-то они, конечно, не выходят, но ведь можно их оттуда извлечь!

Господин Жерар изменился в лице.

— Вот моя история, приглашаю вас ее послушать. Один человек вашего темперамента, вашего характера — словом, филантроп, в одну из своих дурных минут — мы все, увы, не ангелы, дорогой господин Жерар, я знаю эту истину лучше, чем кто бы то ни было! — утопил своего племянника. Не зная, куда деть труп, — никогда не знаешь, куда его деть, именно это, как правило, и губит тех, кто хочет от них избавиться! — он закопал его в своем парке.

Господин Жерар издал стон и уронил голову на грудь.

— Он думал, что надежно его спрятал. Однако земля не всегда хранит тайну, как полагают некоторые. Нынче утром — Бог ты мой! этот человек выходил как раз в ту минуту, как сюда входили вы! — ко мне пришел человек и сказал буквально следующее:

«Господин Жакаль! Через неделю казнят невиновного человека».

— Как вы понимаете, я стал отрицать, дорогой господин Жерар, я отвечал, что о невиновности не может быть и речи, после того как суд сказал: «Виновен!» Однако он приказал мне молчать и продолжал:

«Тот, кого собираются казнить, невиновен, а настоящего преступника знаю я».

Господин Жерар закрыл лицо руками.

— Я отрицал как мог, — проговорил г-н Жакаль. — Однако человек этот меня остановил и сказал:

«Вы можете освободиться на одну ночь?»

«Да, разумеется»,— сказал я.

«На ближайшую ночь?»

«Нет, нынче ночью я занят».

«Тогда на следующую?»

«Прекрасно... Вы приглашаете меня на прогулку?» — спросил я наугад.

«Да».

— Как вы понимаете, мне не терпелось узнать, куда он намерен меня отвезти.

«Это в Париже или за городом?» — полюбопытствовал я.

«За городом».

«Хорошо».

— Мы договорились, что ночью, но не сегодняшней, а следующей мне будет представлено доказательство, что виновен не тот, кого собираются казнить, а, напротив, человек, гуляющий на свободе.

— И вы согласились отправиться в такое путешествие? — пролепетал г-н Жерар.

— А разве я мог поступить иначе? Я спрашиваю вас, здравомыслящего человека: вы знаете, какая у меня задача? У Прюдона есть на эту тему картина «Правосудие, преследующее Преступление». Вы знаете, мой девиз тот же, что у женевского философа: «*Vitam impendere vero*»¹. Мне пришлось сказать: «Я поеду».

— И поедете?

— Придется, черт возьми, раз так надо. Но, как я вам сказал, поеду я не нынче ночью, а на следующую ночь. На следующую... на следующую, слышите?

— Да,— кивнул г-н Жерар; слышать-то он слышал, но не понимал ни слова; зубы его стучали, словно кастаньеты.

— Я знал, что вас интересует этот рассказ,— хмыкнул г-н Жакаль.

— Сударь! Зачем вы все это мне говорите? Что означает ваша откровенность? — сделав над собой усилие, пролепетал г-н Жерар.

— Зачем? Неужели не понимаете?.. Я подумал: «Господин Жерар — филантроп! Когда он узнает, что одному несчастному человеку грозит опасность, о которой я ему рассказываю, он представит себя на месте этого несчастного незадачливого убийцы, он испытает такие мучения, словно он сам и есть преступник». Похоже, я не ошибся, не правда ли, господин Жерар?

— О нет... нет!.. — взвыл тот.

— Ну что ж, я доволен результатом и могу продолжать. Завтра в полночь я отправляюсь с другим филантропом... О, он ничуть не похож на вас, господин Жерар. Вполне можно сказать, что есть филантроп и филантроп, как Мольер говорил, что есть

¹ «Отдать жизнь за правду» (латин.) — Ювенал «Сатиры».

хворост и хворост... Я еду с ним и не знаю, в какую сторону мы направим наши стопы. Он ничего мне не сказал, но большой опыт мне подсказывает, что мы поедem в Кур-де-Франс.

— В Кур-де-Франс?

— Да... Там мы повернем направо или налево — скорее всего, направо — и проникнем — каким образом, я еще не знаю, — вероятно, в парк. Там мы обнаружим в яме скелет, составим протокол и доложим о результатах этих печальных трудов господину королевскому прокурору, а тот будет вынужден, получив новые сведения, просить господина министра юстиции об отсрочке для господина Сарранти.

— Господина Сарранти? — вскричал г-н Жерар.

— Неужели я сказал «господина Сарранти»? У меня случайно вырвалось это имя. Не знаю почему, но оно постоянно вертится у меня на языке... Итак, казнь будет отложена, затем будет арестован настоящий преступник и вот уж начинается новое расследование... Вы меня понимаете, верно?

— Отлично понимаю, — кивнул г-н Жерар.

— Вот в каком ужасном положении очутился этот несчастный убийца, — продолжал г-н Жакаль. — Вы только взгляните на этого славного малого: он гуляет на солнышке, сунув руки в карманы, свободный как воздух; вдруг к нему подходят эти мерзавцы жандармы, вырывают его из привычной жизни и бросают в темницу, надев ему наручники; от его беззаботности и спокойствия не осталось и следа, его привычная жизнь потеряна навсегда, а все это — из-за банальнейшей формальности, сущего пустяка. Тогда он раскается, что не воспользовался спасительной возможностью, о которой я ему говорил.

— А разве есть такая возможность?

— По правде говоря, дорогой господин Жерар, сказал полицейский, — надо иметь дубовую голову, куриные мозги и короткую память, чтобы этого не понимать.

— Ах, Господи! — воскликнул честнейший г-н Жерар. — Я слушаю вас во все уши.

— Это лишний раз доказывает, — заметил г-н Жакаль, — что результат не всегда соответствует способностям. Не сказал ли я вам, что отказался ехать нынче ночью?

— Совершенно верно.

— И что я отложил путешествие на следующую ночь?

— Вы так и сказали.

— И что из этого следует?

Господин Жерар ждал с открытым ртом.

— Признаться, — продолжал г-н Жакаль, пожимая плечами на подобную тупость, — это же азы, и надо быть поистине таким честным человеком, как вы, чтобы не понять, о чем я вам толкую.

Господин Жерар мотнул головой и всплеснул руками, что вкупе с глухими звуками, рвавшимися у него из груди, означало: «Продолжайте!»

— Я знаю, что вас это не касается, Бог ты мой,— проговорил г-н Жакаль,— и что у вас нет никакого интереса скрывать следы чужого преступления. Но представьте на минуту — хотя это невыносимо,— что убийца — вы и труп закопал не кто-то другой, а вы. Представьте, что драма разыгралась в вашем имении... в замке Вири, например. Предположим, вы знаете, что завтра или послезавтра в замок Вири явятся представители закона и в парке будет произведено расследование. Ну, что вам остается предпринять в единственную ночь, о которой позаботился ваш друг, в сегодняшнюю ночь к примеру?

— Что мне остается?

— Да!

— Чтобы не нашли?..

— Труп!

— Мне остается...

Господин Жерар вытер пот, градом кативший по его лицу.

— Ну, договаривайте! Вам остается...

— ...мне остается... по...

— ...похитить труп и спрятать его.

Слава Богу! Ну, дорогой господин Жерар, ваше воображение живым не назовешь! Вам необходимо его развивать прогулками на свежем воздухе, на ночном ветру. Словом, я освобождаю вас на сегодня и на завтра. День обещает быть чудесным, это настоящая удача для любителя природы. Поезжайте за город, и, кто знает, возможно, в лесах Медона или Ванвра — леса являются надежным убежищем для грешников! — вы найдете этого несчастного убийцу и по собственному вам милосердию предупредите его о грозящей опасности!

— Понимаю вас! — вскричал г-н Жерар и бросился целовать полицейскому руку. — Спасибо!

— Фи! — обронил г-н Жакаль, брезгливо отталкивая убийцу. — Неужели вы полагаете, что я делаю все это, спасая вашу ничтожную шкуру? Я вас предупредил, остальное — ваше дело.

Господин Жерар выбежал из кабинета г-на Жакаля.

— Тьфу! — не удержался тот, видя, как за ним закрывается дверь.

XLV

Кучер, принимающий собственные меры предосторожности

Господин Жерар торопливо вышел из особняка на Иерусалимской улице. На набережной он бросился в карету и крикнул кучеру:

— Десять франков, если проедешь два лье за час!

— Хорошо... А куда едем, милейший?

— В Ванвр.

Час спустя они были в Ванвре.

— Вас подождать, милейший? — спросил кучер, вполне довольный такой ценой.

Господин Жерар задумался. В имении у него были свои лошади и кареты, однако он опасался, что его кучер может проявить излишнее любопытство: он решил, что лучше иметь дело с чужим человеком, которого он вряд ли когда-нибудь еще увидит после того, как заплатит ему за эту поездку.

И он решил возвратиться в Париж в том же экипаже.

Однако он боялся, что если заплатит столько же и за обратную дорогу, то тем вызовет подозрения кучера. Желание приехать на место как можно скорее заставило его совершить оплошность. Не следовало повторять свою ошибку.

— Спасибо, — сказал он. — Я разминусь с человеком, который должен был меня здесь ждать несколько минут тому назад, а теперь уехал в Вири-сюр-Орж.

— Жаль, милейший, очень жаль! — посочувствовал кучер.

— Я бы хотел тем не менее увидеться с ним сегодня, — пробормотал г-н Жерар, словно размышляя вслух.

— Я бы мог отвезти вас в Вири-сюр-Орж, милейший: семь лье — это пустяки.

— Да, но вы же понимаете, — заметил г-н Жерар, — что в дилижансе я доеду в Вири-сюр-Орж за три франка.

— Понятно, что за три франка я вас туда не повезу. Но имейте в виду: в дилижансе вы рискуете оказаться в сомнительной компании, а в моей карете вы можете чувствовать себя как дома.

— Знаю, знаю, — поспешил согласиться г-н Жерар, как никто другой мечтая чувствовать себя как дома, — это, разумеется, заслуживает вознаграждения.

— Сколько же вам не жалко для бедного Барнабе, который отвезет вас в Вири?

— Обратно вы меня тоже привезете!

— Хорошо.

— И подождать вам придется.

— Подожду.

— Ну, это будет... Послушайте, будьте благоразумны.

— Туда и обратно — тридцать франков.

— А за простой?

— Заплатите за каждый час по сорок су. Ну что, спорить не будем?

Спорить и в самом деле не приходилось. Г-н Жерар сбавил для виду пять франков, и они договорились на двадцати пяти франках в оба конца, а также на сорока су за простой.

Засим г-н Жерар сходил к себе за ключом от замка Вири и, дав передохнуть лошадям мэтра Барнабе, снова сел в карету.

— Поедем через Фроманто? — спросил кучер.

— Через Фроманто, — кивнул г-н Жерар; ему было все равно, какой дорогой ехать, лишь бы прибыть на место.

Лошади поскакали крупной рысью.

Мэтр Барнабе был честный человек, он хотел отработать свои деньги.

Вот почему, когда г-н Жерар приехал в Вири, было еще светло: нечего было и думать о том, чтобы заняться делом, которое привело его в замок.

Надвинув шляпу по самые брови, г-н Жерар вышел из кареты и, оставив кучера в харчевне, приказал ему отдыхать до одиннадцати часов.

Точно в одиннадцать тот должен был ждать у ворот замка.

Господин Жерар отворил эти ворота и запер их за собой, избежав любопытных взглядов нескольких ребятишек и старух, которых привлек шум проезжавшего мимо экипажа.

Читатель понимает волнение филантропа, ступившего в дом своего брата, где он убил одного из племянников.

Мы не станем даже пытаться описывать чувства, с которыми он поднялся на крыльцо и вошел в роковое жилище.

Проходя мимо пруда, он отвернулся.

Притворив за собой дверь в переднюю, он привалился к стене: силы ему изменили.

Он поднялся в свою комнату.

Окна этой комнаты, как помнят читатели, выходили на пруд.

Отсюда он видел, как Бразил нырнул и вытащил на берег тело маленького Виктора.

Господин Жерар задернул занавески, чтобы не видеть пруд.

Однако от этого в комнате стало слишком темно.

Он не посмел остаться в темной комнате.

На камине стояли два подсвечника с наполовину обгоревшими свечами.

Господин Жерар захватил с собой коробочку с фосфорными спичками.

Он зажег свечи.

Несколько успокоившись, он стал дожидаться наступления темноты.

К девяти часам уже совершенно стемнело, и он решил, что пора действовать.

Прежде всего необходимо было раздобыть лопату.

Ее можно было найти в сарае для садового инвентаря.

Господин Жерар вышел из дома и очутился напротив пруда, сверкавшего в темноте, словно полированная сталь; потом он пошел по узкой тропинке в огород, где и стал искать лопату.

Сарай был заперт на ключ. Ключа в замке не было.

К счастью, в сарае было еще окно.

Господин Жерар подошел к окну, намереваясь разбить стекло, отпереть оконную задвижку и залезть в сарай.

Уже занеся руку, он замер от ужаса, представив себе звон разбитого стекла.

Несчастный всего боялся!

Он постоял некоторое время в нерешительности, прижав руку к груди.

Сердце его стучало так, словно собиралось вот-вот выскочить. Так прошло более четверти часа.

Наконец он вспомнил, что у него на мизинце кольцо с бриллиантом.

Он со скрежетом провел драгоценным камнем по стеклу со всех четырех сторон, после чего ему оставалось легонько надавить, чтобы стекло упало внутрь.

Он снова переждал, толкнул стекло и схватился за задвижку. Задвижка повернулась сама собой, и окно приотворилось.

Господин Жерар огляделся, желая убедиться, что вокруг никого нет, и шагнул через подоконник.

В сарае он двинулся ощупью вдоль стен в поисках необходимого инструмента.

Ему попались два или три древка других инструментов, прежде чем он нащупал лопату.

Наконец он добился чего хотел.

Он взял лопату и выбрался из сарая тем же путем.

Часы пробили десять раз.

Он решил, что будет быстрее, если он выйдет через ворота парка к мосту Годо, а не через этот проклятый пруд, все время бросающийся ему в глаза, а уж после того ужаса, который ему еще предстоял, пруд и вовсе заставит его пережить настоящий ад.

Еще он решил предупредить кучера, чтобы тот подъехал к воротам, выходящим на равнину, а не на деревню, как они условились раньше.

Господин Жерар снова отпер ворота, поставил лопату в угол и поспешил вдоль домов к кабачку.

По дороге он снова переменял свое решение.

Карета, ожидающая у ворот парка, могла привлечь к себе внимание, ведь всем было известно, что в доме никто не жил.

Было бы куда осмотрительнее, если бы кучер ожидал на большой дороге на Фонтенбло в сотне футов от Кур-де-Франс.

Подойдя к кабачку, г-н Жерар заглянул в окно.

Он увидел, что его кучер потягивает вино и играет в карты с извозчиками.

Господин Жерар с удовольствием бы не показывался в кабачке, где его могли узнать, хотя с тех пор, как он оставил Вири, он ужасно изменился.

Однако Барнабе не мог догадаться, что г-н Жерар стоит под окном и хочет с ним поговорить. Придется, видно, г-ну Жерару отворить дверь и поманить к себе кучера.

Еще четверть часа ушло на то, чтобы г-н Жерар решился на этот отчаянный поступок.

Он надеялся, что кто-нибудь выйдет из кабачка, и тогда он попросит его вызвать кучера на улицу.

Никто так и не вышел.

Господину Жерару пришлось войти самому.

Когда мы говорим «войти», мы допускаем ошибку: г-н Жерар не вошел, он чуть приотворил дверь и дрожащим голосом позвал:

— Господин Барнабе!

Кучер с головой ушел в карты. Г-ну Жерару трижды пришлось повторить его имя, каждый раз все громче.

Наконец мэтр Барнабе поднял голову.

— Ага! Это вы, милейший! — воскликнул он.

— Да, это я, — отвечал г-н Жерар.

— Хотите ехать?..

— Не сейчас.

— Вот и хорошо. Бедные лошади еще не отдохнули.

— Дело не в этом.

— В чем же?

— Можно попросить вас на два слова?

— Это ваше право, вы же платите!

Он встал и подошел к двери, задев на ходу всех, кого только мог. Лица всех тех, кого он побеспокоил, повернулись к входу.

Господин Жерар отпрянул в тень коридора.

— Ого! — вскричал один из посетителей. — Уж не считает ли ваш седок для себя унизительным зайти в харчевню?

— Да это же сердцеед! — пошутил другой.

— Тогда он просунул бы в дверь колено, а не голову, — возразил третий.

— Дурак! Он же разговаривал! — заметил первый.

— Ну и что?

— Коленом не поговоришь.

— Вот я, милейший, — сказал Барнабе. — Чем могу служить?

Господин Жерар изложил ему изменения в программе, попросив ждать его на главной дороге, а не у ворот замка.

Мэтр Барнабе прерывал речь г-на Жерара частыми «хм-хм!».

Господин Жерар понял, что в изменениях, внесенных в первоначальный план, есть нечто такое, что вызывает неудовольствие мэтра Барнабе.

Когда он изложил свое желание, кучер спросил:

— А если мы не встретимся на главной дороге?

— Почему же нет?

— Вдруг вы пройдете мимо и не заметите меня, к примеру?

— Не беспокойтесь, у меня отличное зрение.

— Видите ли, у некоторых людей зрение неожиданно слабеет, после того как их прожدهшь четырнадцать часов, а они задолжали пятьдесят франков кучеру. Я знавал таких седоков — Боже сохрани, я не имею в виду вас, — которые выглядели вполне прилично, а продержав меня целый день, приказывали отвезти их около пяти часов вечера к переходу Дофин или Веро-Дода, потом говорили: «Подождите меня здесь, кучер, я сейчас вернусь».

— И что? — спросил г-н Жерар.

— И не возвращались.

— Что вы, дружище, я на такое не способен.

— Я вам верю, верю. Но, видите ли...

— Дорогой друг! Если дело только в этом...—сказал г-н Жерар.

Он вынул из кармана два луидора и протянул их мэтру Барнабе.

Воспользовавшись тем, что через приоткрытую дверь проби-
вался луч света, кучер убедился в том, что они настоящие.

— Я буду вас ждать в ста футах от Кур-де-Франс начиная
с одиннадцати часов, как и договорились. После того как вы
заплатили мне вперед, я ничего не имею против.

— Зато у меня есть вопрос.

— Какой?

— Если... Что если...

Господин Жерар не смел договорить.

— Если что?

— ...если я вас не найду, что тогда?

— Где?

— На главной дороге.

— Почему вы меня не найдете?

— Я же заплатил вам вперед...

— Вы, стало быть, не доверяете Барнабе?

— Вы же мне не доверяете!

— На вас номера нету, а у меня—вот он... Да еще какой!
Номер, который приносит счастье всем, кто его видит: первый!

— Я бы предпочел, чтобы он приносил счастье тем, кто
сидит внутри.

— Им он тоже приносит счастье... Первый номер для всех
хорош.

— Тем лучше, тем лучше,—проговорил г-н Жерар, пытаясь
умерить пыл своего кучера, расхваливавшего собственный номер.

— Значит, я вас буду ждать с одиннадцати часов на большой
дороге, раз вы так хотите.

— Хорошо,—прошептал г-н Жерар.

— В ста футах от Кур-де-Франс, так?

— Да, да, все так, дружище. Только не надо так кричать.

— Правильно! Молчок! Раз у вас есть причины прятаться...

— Нет у меня причин прятаться!—возразил г-н Жерар.—
Почему вы так решили?

— Да меня это не касается. Вы мне заплатили—я ничего не
видел, не слышал. В одиннадцать жду вас в условленном месте.

— Постараюсь не заставить вас ждать.

— Наоборот! Я не буду в обиде. Вы мне платите за простой,
так я отвезу вас куда пожелаете, хоть в Иосафатскую долину, и вы,
вероятно, единственный приедете на Страшный суд в фиакре.

Довольный собственной шуткой, мэтр Барнабе со смехом
вернулся в кабачок, а г-н Жерар, отирая со лба пот, вернулся
в замок.

Стесняющий предмет

Ворота оставались приотворены, г-н Жерар нашел лопату на прежнем месте.

Он запер ворота на ключ и опустил его в карман.

Вдруг он вздрогнул и замер, не сводя глаз с окон замка. Одно окно было освещено.

От ужаса негодай затрясся всем телом.

Неожиданно он вспомнил о двух свечах, которые он оставил зажженными на камине.

Он понял, что совершил оплошность.

Этот свет мог видеть кто-то еще. Все знали, что в замке никто не живет, и свет непременно должен был натолкнуть на всякого рода догадки.

Господин Жерар торопливо подошел к дому, стараясь не смотреть в сторону пруда, и взбежал на крыльцо.

Он задул одну свечу и уже подошел к другой, как вдруг представил себе, что ему сейчас придется идти по коридору и спускаться по лестнице в крошечной темноте.

Еще за минуту до того он об этом и не подумал, так он боялся, что кто-нибудь увидит свет.

Материальный страх улегся, на его место пришел ужас душевный.

Чего мог опасаться г-н Жерар в коридорах и на лестницах безлюдного замка?

Того, чего одинаково бояться — как бы мало ни было между ними общего — и ребенок, и преступник: привидений.

В темноте г-н Жерар дрожал как лист: ему чудились шаги за спиной.

Он ждал, что сзади его вот-вот кто-нибудь схватит за редингот.

Ему казалось, что за поворотом коридора он вдруг столкнется лицом к лицу с призраком ребенка или женщины.

Ведь в этом проклятом доме произошло два, а то и три убийства.

Вот почему г-н Жерар не стал гасить вторую свечу.

Он мог выйти через главную дверь или через подвал.

В передней он заколебался.

Напротив главного входа находился пруд, этот наводящий ужас пруд!

Чтобы добраться до двери из подвала, необходимо было миновать сводчатый погребок, где была задушена Урсула.

Господину Жерару вспомнились пятна крови на плитах.

Он все же предпочел выйти через подвал: в этой крови он не был повинен.

Одной рукой г-н Жерар держал свечу, другой взялся за лопату, спустился по лестнице, прошел кухню, замешкался перед

дверью в подвал, помотал головой, чтобы стряхнуть капли пота: обе его руки были заняты, он не мог отереть лоб.

Наконец он пнул ногой дверь в погреб; через разбитое окно ворвался ветер и задул свечу.

Господин Жерар постоял в темноте, ощущая себя ее пленником.

Когда погас свет, у него из груди вырвался крик. Он вздрогнул и умолк. Он испугался, как бы при звуке его голоса не проснулись мертвые.

Ему было необходимо пройти через подвал или отступить.

Отступить! А вдруг его станет преследовать призрак Урсулы?..

Он предпочел продолжать путь.

Невозможно описать, что творилось в душе убийцы, трепетавшего сильнее, чем осиновый лист, в те несколько секунд, за которые он миновал темный погреб.

Наконец он добрался до дровяного сарая.

Господин Жерар решил, что там он почти в безопасности.

Но дверь, выходявшая в парк, оказалась заперта, ключа в замке не было; язычок замка заржавел, не двигался в пазу, и дверь не поддавалась.

Несчастный едва не лишился последних сил.

Ему казалось, что он никогда не выберется из подвала и умрет здесь от ужаса.

Он собрал все свои силы.

Замок поддался, дверь распахнулась.

Свежий ветер ударил г-ну Жерару в лицо, он почувствовал, как его потное лицо мгновенно остыло под порывом ветра.

Однако это ощущение показалось ему бесконечно приятным после удушливого подвала.

Он вдыхал полной грудью чистый ночной воздух!

Его легкие расширились.

Он открыл было рот, чтобы возблагодарить Всевышнего, и не посмел.

Если Бог существовал, то как вышло, что он, Жерар, гулял на свободе, а г-н Сарранти сидел в темнице?

Правда, г-н Сарранти, по всей вероятности, спал так же безмятежно, как поднимается праведник на эшафот, тогда как г-н Жерар не спал вовсе, снедаемый угрызениями совести и смертельным страхом; колени у него тряслись, руки дрожали, на лице то и дело выступал пот.

С какой же страшной целью он бодрствовал? Какое жуткое дело ему еще предстояло исполнить?

Необходимо было выкопать и перепрятать останки его жертвы.

Хватит ли ему мужества? А сил?

Он хотел, во всяком случае, попытаться это сделать.

Он торопливо, почти решительно прошел расстояние, отделявшее замок от парка.

Но когда он вошел в тень высоких деревьев и по обе стороны от него таинственно зашелестела листва, он негнушимися от ужаса пальцами снова схватился за волосы.

Он стоял в аллее, ведущей в рощу.

С этого места уже был виден большой дуб, г-н Жерар уже различал скамейку.

Его охватила такая тоска, что он был бы рад убежать прочь, однако ему во что бы то ни стало нужно было идти вперед.

Его так же неизбежно влекла судьба, как осужденного — эшафот.

В какой-то момент он спросил себя, не лучше ли взойти на эшафот, чем совершить то, что он собирался сделать.

Он был бы счастлив, если бы умер вдруг и безболезненно.

Но агония следствия, темница, смрадное и холодное преддверие склепа, палач в мрачном одеянии, выкрашенный в красное эшафот, две тощие руки которого видны издалека, неизбежные ступени, по которым придется взойти при помощи двух подручных палача, когда тебе изменят силы, приподнимающий вас рычаг, металлическое треугольное лезвие, скользящее по двум пазам, — вот что превращает смерть в мучение, безобразное и невозможное!

Вот из-за чего убийце казалось, что лучше выкопать труп, обмирая от страха, чем принять смерть Кастенгов и Папавуанов.

Он решительно вошел в рощу и взялся за дело.

Прежде всего необходимо было найти могилу.

Господин Жерар опустился на колени и ощупал землю.

Кровь застыла у него в жилах, но не от того, что он делал, — хотя, конечно, это было ужасно! — стряслось еще нечто более ужасное.

Ему показалось, что в так хорошо ему знакомом месте земля была свежевскопана.

Неужели он опоздал?

Один страх уступил место другому.

Обезумев от ужаса, он сунул руку в землю и радостно вскрикнул.

Тело по-прежнему лежало тут.

Господин Жерар ощутил в пальцах мягкие шелковистые волосы мальчика, испугавшие когда-то Сальватора.

Преступник же успокоился...

Он стал копать.

Отведем взоры от его отвратительного занятия!

Вдохнем свежего воздуха!

Полюбуйтесь прекрасными звездами — золотой пылью, летящей из-под ног Всевышнего.

Прислушаемся, не донесется ли до нашего слуха в эту ясную ночь сквозь неизмеримые пространства эфира небесное пение ангелов, прославляющих Бога?

Мы еще успеем вновь обратить взгляды на землю, когда бледный и трясущийся негодяй выйдет из темной рощи с лопатой

в одной руке, а в другой неся нечто бесформенное, завернутое в его плащ.

Что же он ищет, затравленно озираясь и мигая маленькими глазками?

Он ищет надежное место для своего мрачного груза.

Господин Жерар прошел не останавливаясь в другой конец парка, там опустил сверток наземь и взялся за лопату.

Но, копнув несколько раз, покачал головой и пробормотал:

— Нет, нет, не здесь!

Он снова поднял плащ, прошел около ста футов под деревьями, снова остановился, засомневался...

Потом еще раз покачал головой:

— Слишком близко от предыдущей могилы!

Наконец его осенило.

Он снова поднял сверток и торопливо пошел дальше.

Теперь он направился к пруду: на сей раз он не боялся увидеть на его поверхности призрак.

Дело в том, что призрак был завернут в плащ, и негодяй крепко держал его в руках.

На берегу пруда он положил плащ на траву и начал развязывать сверток.

В это мгновение издали донесся жуткий вой.

Это на соседней ферме выла какая-то собака.

— Нет, нет! — крикнул он. — Не сюда, не сюда! Собака уже вытащила его отсюда однажды... И потом, когда будут чистить пруд, найдут скелет... Что же делать?.. Боже мой, надоумь меня!

Его молитва, казалось, достигла небес, словно она не была кошунством.

— Да, да, — пробормотал негодяй. — Верно!

Как бы тщательно он ни спрятал останки в парке Вири, их могли обнаружить снова.

Господин Жерар должен унести их с собой и закопать в своем ванврском саду.

В Ванвре г-на Жерара больше чем где бы то ни было считали честнейшим г-ном Жераром.

Он снова взялся за плащ, однако оставил лопату и поспешил к воротам парка, выходящим к мосту Годо.

У него был ключ от этих ворот, и он отпер их без малейшего труда.

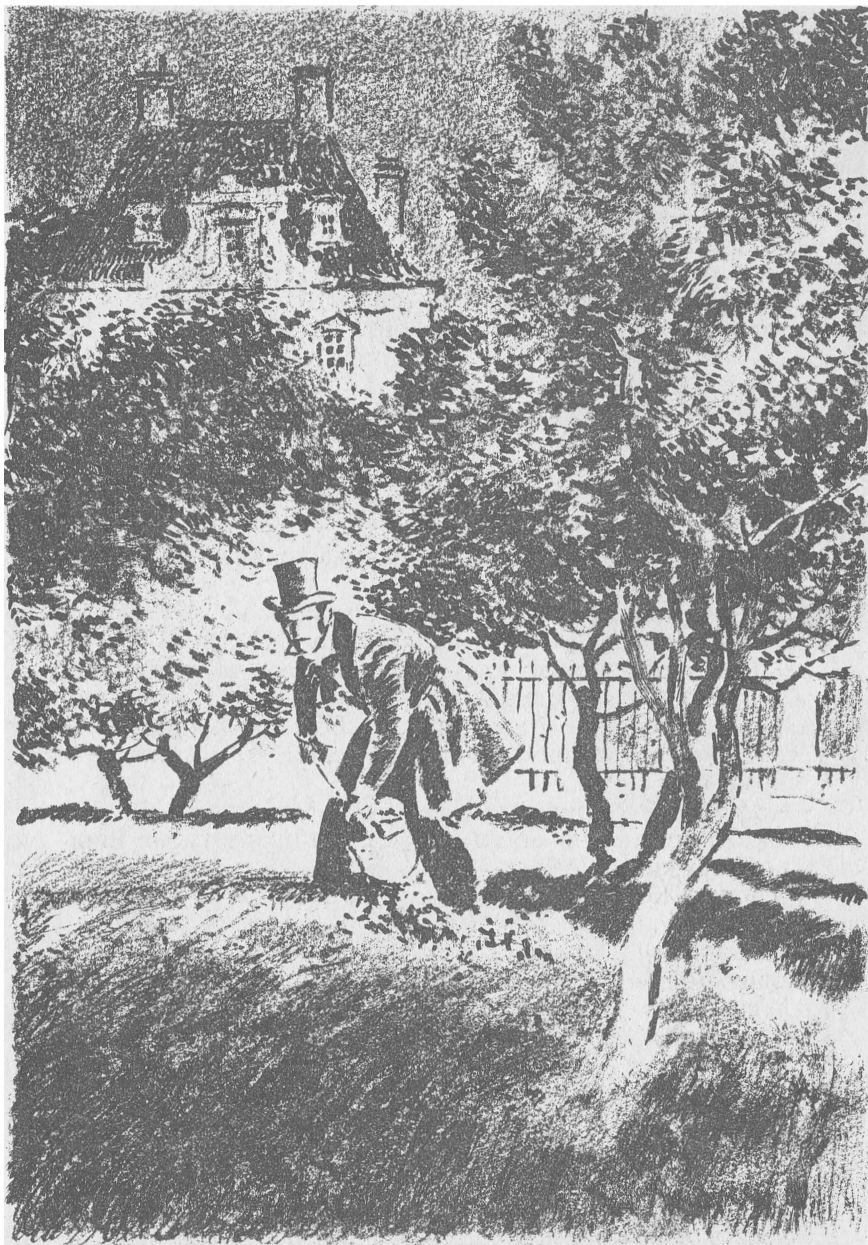
Странное дело! С тех пор как он завернул скелет мальчика в плащ, ужас перед сверхъестественным словно отступил.

Правда, он уступил место страху, и честнейший г-н Жерар ничего не потерял при этом обмене.

Заперев ворота, г-н Жерар двинулся напрямик через поле, чтобы как можно скорее выйти на проезжую дорогу.

Роланд уже показал нам, где прошел г-н Жерар.

Барнабе сдержал слово: он ждал вместе со своим фиакром в условленном месте.



ПРЕСТУПНИК УСПОКОИЛСЯ
И СТАЛ КОПАТЬ

И не просто ждал, а крепко спал на козлах. Однако, когда г-н Жерар отворил дверцу, карета покачнулась и кучер проснулся.

— Хм! Это вы, милейший? — спросил Барнабе.

— Я, не беспокойтесь, — отозвался г-н Жерар.

— Хотите я положу ваш сверток к себе на козлы? Похоже, он вам мешает? — предложил кучер.

— Не надо, не надо! — в ужасе закричал г-н Жерар. — Это редкие растения, с ними надо обращаться крайне бережно; я положу их к себе на колени.

— Ну, как хотите... Куда едем?

— В Ванвр, — приказал г-н Жерар.

— Будь по-вашему! — крикнул кучер и огрел лошадей кнутом.

Тяжелая карета тронулась с места.

Вот как случилось, что Сальватор не обнаружил под большим дубом недалеко от рощи скелет, за которым он приходил.

XLVII

Любитель живописи

Любителей, приходивших в мастерскую к Петрусу, одни — из чистого любопытства, другие — с определенным желанием что-нибудь купить, приходило так много, что у входа постоянно стояла очередь.

Распродажа должна была состояться в ближайшее воскресенье, то есть через три дня.

Теперь был четверг.

Около одиннадцати часов утра мастерская напоминала морской прилив.

Людские волны набегали одна на другую, поднимаясь все выше и с шумом разбиваясь.

Зато в соседней комнате царили покой, неподвижность, безлюдность.

Нам следовало бы сказать не «безлюдность», а «одиночество», так как в комнате находился Петрус.

Он сидел у окна, опершись локтем о небольшой круглый столик, на котором лежало распечатанное письмо. Он прочел его всего один раз, но каждое слово будто отпечаталось у него в сердце.

Было нетрудно заметить, что молодой человек подавлен.

Время от времени молодой человек зажимал руками уши, чтобы не слышать шум, доносившийся из соседней комнаты.

Почему же Петрус, твердо решивший, по совету Сальватора, начать новую жизнь, выглядел бледным и нерешительным, как никогда?

Он только что получил письмо от Регины, оно-то и выбило молодого человека из колеи.

Читатели помнят, что в тот момент, как он расстался с Региной, та нежно пообещала ему, что на следующий день он получит письмо.

Однако она не пожелала ему сказать, что будет в этом письме.

С чисто женской деликатностью она хотела сделать так, чтобы аромат счастья, тем более сладостный, когда он незнаком, окружал ее возлюбленного повсюду.

И Петрус получил это письмо.

На нем теперь он останавливал свой взгляд, на него ронял слезы.

Вы убедитесь сами, что оно сулило счастье и что можно было долго и безутешно рыдать над утерянным счастьем.

Вот это письмо:

«Мой любимый Ван-Дейк!

Вчера, расставаясь с Вами, я обещала сообщить Вам приятную новость.

Вот она!

Через месяц — именины моего отца, и мы с тетей решили преподнести ему в подарок портрет Пчелки.

Кроме того, вчера его сиятельство граф Рапт получил во дворце назначение ко двору в Санкт-Петербурге, и его не будет целых полтора месяца...

Вы догадались, верно?

Как только было решено подарить маршалу портрет его юной любимицы, было нетрудно и решить, что выполнит этот портрет господин Петрус Эрбель де Куртеней.

Вы знаете, что это имя производит огромное впечатление на маркизу де Латурнель, благоговейную перед закрытыми коронами.

Мне остается сообщить Вам следующее.

Начиная с воскресенья сеансы будут проходить ежедневно в полдень в мастерской г-на Петруса Эрбеля де Куртеней.

Пчелку будут сопровождать к ее постоянному живописцу ее тетя, маркиза де Латурнель, и старшая сестра, графиня Регина.

Иногда маркиза де Латурнель не сможет присутствовать на сеансах из-за своего строгого гигиенического режима или обязанностей истинной христианки.

В такие дни сестра Регина будет сопровождать девочку одна.

В зависимости от умения художника портрет будет выполнен за несколько сеансов или же через месяц.

Лишь бы портрет имел сходство с оригиналом, а сколько художник будет его писать — не имеет значения.

Чтобы избежать обсуждений относительно цены, она назначена заранее и составляет двести лудоров.

Однако поскольку господину Петрусу Эрбелю де Куртеню гордость, возможно, не позволит принять эти деньги, было также заранее решено, что эта сумма пойдет на милостыню,

китайские вазы и небесно-голубое платье для Розочки, о котором так мечтала несчастная сказочная принцесса.

Итак, дорогой мой Ван-Дейк, ждите в воскресенье в полдень Пчелку, маркизу де Латурнель и нежно Любящую Вас,

РЕГИНА».

Это письмо, несмотря на добрую весть, а может быть и благодаря доброй вести, которая в нем заключалась, приводила Петруса в отчаяние.

В воскресенье в полдень Регина приедет со своей теткой и сестрой, и что они увидят?

Оценщика, продающего картины и мебель Петруса!

А Петрус ничего не сказал!

Как он переживет такой позор!

На мгновение ему вздумалось убежать, скрыться, никогда больше не видеть Регину.

Но не видеться с ней значило бы отказаться от жизни.

Более того, это означало бы сгубить душу в его живом теле.

На мгновение Петрус пожалел, но не о том, что спас отца от разорения — заверим читателей, что эта дурная мысль ни разу не пришла ему на ум, — а о том, что он не принял предложение Жана Робера.

Петрусу оставалось лишь много трудиться, как он работал когда-то, чтобы вернуться Жану Роберу в короткий срок деньги, которые тот ему одолжил бы.

Его временная праздность, роскошь, лошади, экипаж произвели даже, говоря языком коммерсантов, отличное действие.

Все решили, что он получил наследство от какого-нибудь неведомого дядюшки, что ему не нужны деньги, и с этой минуты его картины стали стоить вдвое дороже.

Но, отдавшись своей любви, Петрус перестал работать.

Однако, если бы ему удалось занять всего десять тысяч франков, он написал бы десятки картин и за три месяца вернул бы сумму с любыми процентами.

Почему бы не обратиться за помощью к Сальватору?

Нет, строгое выражение его лица отпугивало Петруса.

Кстати сказать, голос Сальватора, подобный эху непреклонной верности, уже изрек: «Четвертое апреля!»

Петрус покачал головой и, словно в ответ на собственные мысли, произнес:

— Нет, нет, все, что угодно, только не Сальватор!

Правда, он сейчас же прибавил:

— Все, что угодно, лишь бы не потерять Регину!..

В это самое мгновение в мастерскую вошел новый посетитель.

Поскольку этот новый посетитель призван сыграть в последующих сценах важную роль, мы просим позволения читателей оставить Петруса с его мрачными мыслями и бросить взгляд на вновь прибывшего.

Это был человек лет пятидесяти, довольно высокий, широкоплечий, с могучей шеей и мощной грудью.

Шапка рыжих выющихся волос на голове и черные как смоль щетинистые брови, густые и жесткие, не вязались с цветом волос.

Длинные бакенбарды, рыжевато-каштановые с проседью, почти сходились у него на шее.

В целом лицо у незнакомца было открытое, пожалуй, грубоватое, но совсем не злое.

Напротив, не сходявшая с его губ улыбка выдавала в нем добродушного весельчака, внешне грубоватого, но в глубине души мягкого и славного.

Первое впечатление, которое он производил, было отталкивающим.

При втором приближении ему хотелось подать руку, настолько веселое выражение его лица внушало симпатию.

Мы уже упоминали о его возрасте.

Этот возраст как бы подтверждала довольно глубокая двойная морщинка на переносице.

Что же касается его рода занятий, определить его было нетрудно сразу по нескольким признакам.

Прежде всего, его раскачивающаяся походка выдавала в нем моряка, долгое время проведенного на море; даже когда моряки оказываются на суше, они и здесь ходят, широко расставляя ноги; так сыновья Нептуна, как сказал бы член Французской академии, борются обычно с бортовой и килевой качкой.

Но даже если бы не походка, любопытные могли догадаться о том, что перед ними моряк, по не менее заметному признаку.

У незнакомца были продеты в уши два золотых якорька.

Одет он был довольно изысканно, хотя даже людям неприятным его наряд мог показаться отчасти двусмысленным.

Он состоял из синего редингота с металлическими пуговицами, довольно открытого, так что был виден жилет с толстой золотой цепью.

На незнакомце были широкие панталоны со складками, обушенные в голенищах и известные в те времена как «казаки».

Сапоги же, широкие в отличие от панталонов, повторяли очертания ноги, которую природа в своей материнской прозорливости создала, видимо, такой, чтобы она могла поддерживать своего владельца в равновесии среди самых неожиданных всплесков разбушевавшегося океана.

Его красное лицо выделялось на фоне белого галстука, повязанного под широким воротничком, напоминая букет маков в белой обертке.

Косынка в красную и зеленую клетку, повязанная вокруг шеи морским узлом, и черная фетровая шляпа с широкими полями и длинным ворсом дополняли его костюм.

Прибавим, что он держал в руке огромную трость, приобретенную им, несомненно, в восточной или западной Индии, где

растет удивительный тростник. Очевидно, в память о каком-то событии, с которым была связана и эта трость, моряк приказал приделать к ней золотой набалдашник, пропорциональный ее гигантским размерам.

Что могло привлечь на распродажу картин этого необыкновенного господина?

Если бы Петрус был художником-маринистом, посещение какого-нибудь богатого моряка в отставке, желающего иметь коллекцию марин, не вызвало бы удивления.

Но моряк в мастерской исторического, даже, скорее, жанрового художника не мог не вызвать удивления у истинных любителей.

Вот почему появление моряка в мастерской привлекло к себе внимание присутствовавших, до тех пор занятых исключительно картинами.

Он же не смущаясь остановился посреди лестницы, бросил вокруг испытующий взгляд, вынул из кармана чехол, из чехла — очки с золотыми дужками, водрузил их на нос и пошел напрямик к картине Шардена, привлечшего, казалось, его особое внимание, как только он ее заметил.

На картине была изображена хозяйка, чистившая овощи, которые она сейчас опустит в котелок.

Огонь, котелок, овощи были написаны так правдоподобно, что моряк при виде котелка, крышка которого лежала на печи, громко воскликнул, поднеся нос к полотну и шумно вдохнув воздух:

— Гм! Гм!

Он прищелкнул языком и продолжал:

— Бульон так и просится в рот.

Потом поднял левую руку и восхищенно произнес:

— Превосходно! Просто прекрасно!

Говорил он все так же громко, словно находился в мастерской один.

Несколько посетителей, разделявшие мнение вновь прибывшего о полотне Шардена, подошли поближе, а те, кто думали иначе, напротив, отделились.

После долгого и тщательного осмотра картины, во время которого моряк то поднимал, то опускал очки, он наконец отошел с видимым сожалением и, заметив одну из первых марин Гудена, произнес:

— Ну и ну! Вода как настоящая! Подойдем поближе!

Он в самом деле приблизился к картине, почти касаясь носом полотна.

— Да, тысяча чертей и преисподняя! — выкрикнул он. — Это вода, и не простая, а соленая... Чья же это картина?

— Одного молодого человека, сударь, — сообщил пожилой господин, с наслаждением нюхавший табак перед Мариной, которой любовался моряк.

— Гуден,—подхватил он, прочтя на картине подпись.— Я, кажется, слышал это имя в Америке, но впервые вижу работу этого мастера. Хоть вы и говорите, что он еще молод, на мой взгляд, тот, кто написал эту шлюпку и эту волну,—настоящий мастер. Мне, правда, не очень нравятся матросы, которые в нее садятся, но нельзя же все делать в совершенстве! Ну-ка, посмотрим, посмотрим...

И моряк стал разглядывать картину вблизи.

— А что вы скажете об этом бриге, что виден вон там, на заднем плане?

— Сударь, не в обиду будь вам сказано, но это корвет, а не бриг... Корвет, который идет против ветра с левыми галсами, под гротом, фоком и двумя марселями; хотя это весьма скромно с его стороны. При таком бризе он мог бы поставить свои брамсели и даже лисели. Я в такую погоду обычно приказывал: «Поставить все паруса!»

Моряк по старой привычке выкрикнул эту команду в полный голос.

Все обернулись. Лишь несколько любителей продолжали осмотр мастерской, однако большая их часть сгрудилась вокруг моряка; пользуясь термином, позаимствованным у поэтов, скажем, что толпа пошла с ним сообща.

Незнакомец, как видят читатели, был услышан.

Так, пожилой господин успел обменяться с ним несколькими словами, подхватывая его ответы на лету.

— Ах, сударь,—заметил он,—вы, верно, командовали судном?

— Я имел эту честь, сударь,—отвечал незнакомец.

— Трехмачтовым судном, бригом, корветом?

— Корветом.

Словно не желая продолжать разговор на морскую тему,—моряк оставил волны, лодку и корвет Гудена и перешел к картине Буше.

Однако старый любитель, желавший, без сомнения, знать, что такой большой знаток искусства думает о придворном художнике графини Дюбарри, следовал за моряком по пятам.

Как звезда привлекает к себе спутники, так моряк завладел вниманием всех, кто его слышал, и те не отпускали его от себя ни на шаг.

— Хотя это полотно не подписано,—изрек наш незнакомец, глядя на работу последователя Карле Ванлоо,—нет нужды спрашивать имя его автора: это «Туалет Венеры» кисти Буше. Художник из лести придал своей Венере черты несчастной куртизанки, которая в те времена бесчестила французскую монархию... Плохая живопись! Плохой художник! Не люблю Буше! А вы, господа?

Не ожидая ответа тех, к кому он обращался, незнакомец продолжал по-прежнему в полный голос:

— Это прекрасный колорист, знаю! Но художник он претенциозный и манерный, под стать персонажам его эпохи... Отвратительная эпоха! Жалкое подражание эпохе Возрождения! Ни плоти, как у Тициана, ни мяса, как у Рубенса!

Он повернулся к слушателям:

— Именно поэтому, господа, я люблю Шардена: это единственный поистине сильный художник, потому что он подлинно прост среди аффектации и условностей своего времени... О, простота, господа, простота! Что бы вы ни говорили, к ней всегда нужно возвращаться...

Никто не собирался оспаривать его мнение.

Более того, любитель, уже обменявшийся с моряком несколькими репликами, огляделся по сторонам, будто прося слова, и, видя, что никто не возражает, заметил:

— Вы абсолютно правы, сударь, абсолютно правы!

Любителя постепенно стал увлекать этот моряк, резкий, но искренний, грубоватый, но философ.

— Если бы я мог дожить до того времени, как осуществится моя мечта,— продолжал капитан задумчиво,— я умер бы счастливейшим из смертных, потому что мое имя было бы связано с одним из величайших человеческих деяний.

— Не будет ли нескромностью спросить, сударь, о чем вы мечтаете?— спросил старый любитель.

— Отчего же сударь, отнюдь нет!— отвечал капитан.— Я хочу основать бесплатную школу рисования, где перед учителями будет стоять одна задача: учить простоте в искусстве.

— Великая идея, сударь!

— Правда?

— Величайшая и филантропическая. Вы, сударь, живете в столице?

— Нет, но я намерен здесь поселиться. Что-то мне надоело мотаться по свету.

— Неужели вы объездили весь свет?— в восхищении вскричал его собеседник.

— Шесть раз, сударь,— просто ответил моряк.

Любитель отпрянул.

— Да это же больше Лаперуза!— заметил он.

— Господин де Лаперуз совершил два кругосветных путешествия,— все так же просто проговорил моряк.

— Я, может быть, имею честь беседовать с прославленным моряком?— поспешил задать вопрос любитель.

— Пф!— только и вымолвил скромный незнакомец.

— Могу ли я узнать, как вас зовут, сударь?

— Зовут меня Лазар-Пьер Берто по прозвищу Монтобанн-Верхолаз.

— Не родственник ли вы знаменитого Берто де Монтобана-на, племянника Карла Великого?

— Вы хотели сказать— Рено де Монтобана?

— Да, верно: Рено... Берто...

— Ну да, обычно их часто путают. Думаю, я не имею этой чести; если только по материнской линии... Кроме того, в нашем имени есть непроизносимая буква, которую представители семейства Рено де Монтобанов никогда не имели честь носить.

Любитель, не понимавший, в каком месте своего имени капитан Монтобанн вставляет непроизносимую букву, тщетно примерял ее мысленно со всех сторон.

Наконец он отказался от этой затеи и убедил себя, что просто-напросто не расслышал и неправильно понял: видимо, моряк говорил о различии в гербах, а не в именах.

Он вынул из кармана визитную карточку и передал ее капитану со словами:

— Капитан! Я бываю дома по понедельникам, средам и пятницам от трех до пяти часов пополудни. В пять я обедаю, и если вы пожелаете иногда оказать мне честь, разделив со мной скромную трапезу, я буду счастлив: моя жена без ума от морских сражений, и вы нас обоих порадуете, рассказав что-нибудь из своего прошлого.

— С удовольствием, сударь,— кивнул капитан, опуская карточку в карман.— Сражения, на мой взгляд, и существуют для того, чтобы о них рассказывать.

— Совершенно справедливо, сударь, совершенно справедливо!— с поклоном ответил любитель и удалился.

После этой своей победы капитан пуще прежнего стал расхваливать каждую картину и завоевал сердца двух-трех других любителей, пораженных, как и первый, справедливостью его суждений и его пылкой любовью с простой живописи.

Через два часа он завоевал всеобщее восхищение.

За ним ходили по пятам по мастерской и слушали его со вниманием и сосредоточенностью прилежных учеников, внимающих прославленному профессору.

Это представление— в полном смысле этого слова— продолжалось до пяти часов, то есть до того времени, когда, как мы уже упоминали, посетители расходились.

В тот момент, как слуга Петруса отворил дверь, чтобы напомнить об окончании осмотра, капитан повернул картину, прислоненную лицом к стене и словно не предназначавшуюся для продажи.

Это был эскиз битвы «Прекрасной Терезы» с «Калипсо», который Петрус набросал однажды после оживленного рассказа отца.

Едва взглянув на картину, Пьер Берто восхищенно вскрикнул, заставив остановиться тех, что уже потянулись к выходу.

— Клянусь морским богом, я не думал, что такое возможно!— вскричал он.

Несмотря на просьбу лакея, присутствовавшие столпились вокруг капитана.

— Что вы хотите сказать, сударь? — в один голос спросили человек двадцать.

— Ах, господа, — не унимался капитан, вытирая глаза, — простите мое волнение. Но когда я увидел, как точно передано одно из первых сражений, в которых мне довелось принять участие и прославиться, должен сказать, что слезы сами собой хлынули у меня из глаз.

— Плачьте, капитан, плачьте! — загомонили посетители.

— Только один человек, — прибавил капитан, — мог бы с такой невероятной точностью передать бой «Калипсо» и «Прекрасной Терезы», но этот человек никогда не держал в руке кисти.

— Кто же этот человек? — спросили присутствовавшие; их внимание было возбуждено до последней степени этим драматическим эпизодом.

— Я имею в виду капитана «Прекрасной Терезы».

— А этим капитаном были вы, сударь, верно? — проговорили сразу несколько голосов.

— Нет, не я, — величаво взмахнув рукой, возразил Монтобанн-Верхолаз, — капитаном был мой верный друг Пьер Эрбель. Что с ним случилось с тех пор, как мы расстались в Рошфоре после безуспешной попытки спасти императора... я хотел сказать Бонапарта.

— Говорите «император»! — подхватили некоторые особенно отчаянные из посетителей.

— Да, император! — вскричал капитан. — Сколько бы у него ни оспаривали этот титул, он носил его с честью. Простите его старому слуге этот, возможно, неразумный пыл.

— Да, да, — проговорили сразу несколько человек. — Однако вернемся к капитану Эрбелю!..

— Бог знает, где он теперь, несчастный старик, — продолжал капитан, подняв глаза и простерев руку к небу.

— Сударь! — молвил лакей, которому эта трогательная сцена мешала выпроводить посетителей. — Не знаю, где находится капитан Эрбель ныне, но неделю назад он был здесь.

— Капитан Эрбель? — громовым голосом пророкотал посетитель.

— Он самый, — подтвердил лакей.

— И вы говорите, что не знаете, где он сейчас?

— Ну, я просто не так выразился: должно быть, он в Сен-Мало.

— Я лечу к нему! — вскричал капитан, устремляясь к двери и увлекая за собой других посетителей.

Вдруг он остановился, так что следовавшим за ним любопытным пришлось отхлынуть назад.

— А вы не ошибаетесь? — спросил он слугу. — Точно ли вы видели капитана?

— Да, вот на этом самом месте.

— В этой мастерской?

— Да.
— Вы уверены в том, что говорите?
— Еще бы! Я сам провел его наверх, или, если быть точным, он сам спустил меня вниз.

— За что?

— Я не хотел его сначала пропустить.

— А зачем бы моему старому другу приходиться в мастерскую художника?— спросил капитан.

— Да ведь этот художник—его сын,— пояснил лакей.

— Как?!— вскричал капитан, делая два шага вперед.— Известный художник Петрус—сын прославленного капитана Эрбеля?

— Да, сударь, его родной сын,— отвечал слуга,— а также племянник генерала де Куртеня.

— Я—моряк и не знаю сухопутных генералов, особенно если они стали генералами в армии Конде.

Он сейчас же спохватился и поправился:

— Простите, господа, простите! Возможно, моя резкая откровенность для кого-то обидна. Однако, уверяю вас, я никого не хотел задеть.

— Нет, капитан, нет, не беспокойтесь,— проговорили несколько голосов.

— Значит, если этот юный Петрус... сын моего друга Эрбеля?...— начал капитан, и его лицо расплылось в улыбке.

— Что же?— подхватили заинтересованные посетители.

— Приведите ко мне этого молодца!— отрывисто бросил капитан.

— Прошу прощения,— отвечал лакей,— но хозяин никого не принимает.

Лицо капитана исказилось, словно вздыбившееся море.

— Ты за кого меня принимаешь?— проревел капитан и двинулся с кулаками на несчастного малого, собираясь, по-видимому, схватить его за шиворот.

Лакей вспомнил, как в мастерскую вошел недавно капитан Эрбель, и, не имея оснований полагать, что капитан Монтобанны-Верхолаз сговорчивее своего собрата, вежливо попросил посетителей выйти, чтобы капитан мог встретиться с глазу на глаз с тем, кого он так жаждал увидеть.

К большому сожалению посетителей, им пришлось очистить комнату.

Они бы с удовольствием посмотрели на то, как храбрый капитан обнимет сына своего старого друга.

— Как прикажете о вас доложить, сударь?— спросил лакей, когда они с капитаном остались одни.

— Доложи, что пришел один из героев «Прекрасной Терезы»,— приказал капитан и выпятил грудь.

Слуга вышел к Петрусу.

САЛЬВАТОР

Роман. Перевод с французского Т. Сикачевой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

<i>I. Скачки с препятствиями</i>	9
<i>II. Гостиница «Великий турок» на площади Сент-Андре-дез-Арк</i>	13
<i>III. Предают только те, кому доверяешь</i>	18
<i>IV. Триумф Жибасье</i>	26
<i>V. Провидение</i>	31
<i>VI. Два джентльмена с большой дороги</i>	35
<i>VII. Как организовать мятеж</i>	42
<i>VIII. Арест</i>	50
<i>IX. Официальные газеты</i>	54
<i>X. Родство душ</i>	58
<i>XI. Бесполезные сведения</i>	61
<i>XII. Призрак</i>	71
<i>XIII. Вечер в особняке Марандов</i>	76
<i>XIV. Глава, в которой речь пойдет о Кармелите</i>	80
<i>XV. Представления</i>	90
<i>XVI. Романс об иве</i>	94
<i>XVII. Глава, в которой хлопнушки Камилла дают осечку</i>	100
<i>XVIII. Как было покончено с «законом любви»</i>	104
<i>XIX. Смотр войск в воскресенье 29 апреля</i>	113
<i>XX. Господин де Вальзины</i>	121
<i>XXI. Гнездо голубки</i>	129
<i>XXII. Беседа супругов</i>	135
<i>XXIII. Суд присяжных департамента Сены</i>	149
<i>XXIV. Влюбленные с улицы Макон</i>	169
<i>XXV. Учетверенный союз</i>	173
<i>XXVI. Отсрочка</i>	180
<i>XXVII. Отец и сын</i>	187
<i>XXVIII. Паспорт</i>	198
<i>XXIX. Паломник</i>	206

<i>XXX. Девственный лес на улице Анфер</i>	208
<i>XXXI. Помоги себе сам, и Бог поможет тебе</i>	219
<i>XXXII. Что можно и чего нельзя сделать за деньги</i>	225
<i>XXXIII. Утро комиссионера</i>	234
<i>XXXIV. Вечер комиссионера</i>	245
<i>XXXV. Ночь комиссионера</i>	253

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

<i>I. Разговор на тему о человеке и лошади</i>	271
<i>II. Глава, в которой опасность угрожает г-ну де Вальжесену, а Жану Бычье Сердце становится страшно</i>	274
<i>III. Местное вино</i>	277
<i>IV. Глава, в которой г-н де Вальжесенз решительно заявляет, что не умеет ни пить, ни плясать</i>	280
<i>V. Глава, в которой Жану Бычье Сердце и Туссену Бунтовику выпадает случай разбогатеть, но они отказываются от своего счастья</i>	285
<i>VI. Глава, в которой угроза оказывается столь же бессильной, что и соблазн</i>	290
<i>VII. Глава, в которой автор проливает свет на жизнь Сальватора</i>	294
<i>VIII. Как г-н Конрад де Вальжесенз понял, что его истинное призвание — быть комиссионером</i>	300
<i>IX. Самоубийство</i>	303
<i>X. Новый персонаж</i>	308
<i>XI. Любовь Бабиласа и Карамельки</i>	314
<i>XII. Господин, желающий знать, попадет ли он в рай</i>	318
<i>XIII. Зачем в действительности приходил господин из Мон-ружа к Броканте</i>	321
<i>XIV. Фантазия на два голоса и четыре руки о воспитании людей и собак</i>	325
<i>XV. Миньон и Вильгельм Мейстер</i>	331
<i>XVI. Командор Триптолем де Мелен, дворянин королевских покоев</i>	337
<i>XVII. Глава, в которой г-н Жерар успокаивается</i>	341
<i>XVIII. Что г-н Жакаль предлагает г-ну Жерару вместо ордена Почетного легиона</i>	345
<i>XIX. Метаморфозы любви</i>	351
<i>XX. Глава, в которой Петрус видит, что предчувствия его не обманули</i>	358
<i>XXI. Глава, в которой доказывается, что между музыкантами, издателями и торговцами картин больше сходства, чем может показаться на первый взгляд</i>	362
<i>XXII. Глава, в которой появляется новый персонаж, когда этого меньше всего ждали</i>	365
<i>XXIII. Морской разбойник</i>	369
<i>XXIV. «Прекрасная Тереза»</i>	383

<i>XXV. Сражение</i>	393
<i>XXVI. Женидьба корсара</i>	401
<i>XXVII. Мальмезон</i>	409
<i>XXVIII. Рошфор</i>	419
<i>XXIX. Видения</i>	424
<i>XXX. Санкюлот</i>	428
<i>XXXI. Отец и сын</i>	432
<i>XXXII. Душевные невзгоды, отягощенные материальными трудностями</i>	438
<i>XXXIII. Песнь радости</i>	442
<i>XXXIV. Весна — молодость года! Молодость — весна жизни!</i>	447
<i>XXXV. Улица Лаффит</i>	452
<i>XXXVI. Ульмская улица</i>	456
<i>XXXVII. Поля и Виргиния</i>	461
<i>XXXVIII. Бульвар Инвалидов</i>	469
<i>XXXIX. Иерусалимская улица</i>	475
<i>XL. Замок Вири</i>	479
<i>XLI. Глава, в которой г-н Жакаль сожалеет, что Сальватор — честный человек</i>	484
<i>XLII. Охота без добычи</i>	487
<i>XLIII. Да здравствует размах!</i>	493
<i>XLIV. Добрый совет</i>	498
<i>XLV. Кучер, принимающий собственные меры предосторожности</i>	503
<i>XLVI. Стесняющий предмет</i>	509
<i>XLVII. Любитель живописи</i>	514

Дюма А.
Д 96 Собрание сочинений в 35-ти томах, т. 30. Сальватор.
Роман (части первая, вторая): /Пер. с фр. Т. Сикачевой.
Составитель А. Кукаркин — М.: ФРЭД, 1996 — 528 с.
ISBN 5-7395-0062-1 (т. 30)

Мало известный нашему читателю роман «Сальватор» — продолжение романа «Могикане Парижа», в котором отражена эпоха Реставрации. В настоящий том вошли первые две части этого увлекательнейшего произведения Дюма.

Д $\frac{4703010100-020}{771-96}$ Подписное

ББК 84.4 Фр

Литературно-художественное издание

Александр ДЮМА
САЛЬВАТОР
части первая, вторая

Редактор *Н. В. Ганиковская*
Художественный редактор *М. Г. Егиазарова*
Технический редактор *Л. А. Данкова*
Корректор *Н. Ю. Матякина*

Лицензия ЛР № 062566 от 27.04.93 г.

Сдано в набор 08.07.96. Подписано в печать 10.09.96. Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Тираж 25 000 экз. Заказ 2542. С 020

ООО ФРЭД. 113093 Москва, ул. Дубининская, 94а.

Набрано и отпечатано в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской Федерации по печати. 113054 Москва, Валовая, 28



**Продолжается издание
Собрания сочинений
А. Дюма в 35-ти томах
и
Собрание сочинений
Жюль Верна в 50-ти томах.**

**По вопросам приобретения
указанной литературы
(без торговой наценки)
обращаться в АОЗТ «Центркнига»
по адресу:
г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14
тел.: 171-45-72**

